Герберт Уэллс, Конрад Лоэле,
Борис Фортунатов, Хуан Ми, Натаниэль Готорн,
Рональд Росс, Эдвард Герон-Аллен,
Унно Дзюдзя, Рэймонд Феррерс Брод

18+

СОЗДАТЕЛИ МОНСТРОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ ДМИТРИЯ ХРАМЦОВА

Создатели монстров

Рональд Гросс, Хуан Ми, Конрад Лоэле, Борис Константинович Фортунатов, Унно Дзюдза, Рэймонд Феррерс Брод, Герберт Джордж Уэллс, Натаниэль Готорн, Эдвард Герон-Аллен

Аннотация
Г. Шокин. Создатели монстров. Романы и рассказы
Как создать монстра
Герберт Уэллс. Остров доктора Моро
- Пролог
- Глава 1. В шлюпке с «Леди Вейн»
- Глава 2. Из ниоткуда в никуда
- Глава 3. Диковинное лицо
- Глава 4. У борта шхуны
- Глава 5. Изгой меж двух огней
- Глава 6. Зловещие гребцы
- Глава 7. Запертая дверь
- Глава 8. Крик пумы
- Глава 9. Нечто из леса
- Глава 10. Глас вопиющего

Глава 11. Охота за человеком
Глава 12. Чтецы закона
Глава 13. Дипломатия
Глава 14. Доктор Моро объясняет
Глава 15. Зверолюди
Глава 16. Зверолюди вкушают крови
Глава 17. Бедствие
Глава 18. Моро найден
Глава 19. «Пляжная вечеринка» Монтгомери
Глава 20. Наедине со зверолюдьми
Глава 21. Регресс зверолюдей
Глава 22. Наедине с собой
Конрад Лоэле. Цюллингер и его выкормки
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13

Глава 14
Борис Фортунатов. Остров гориллоидов
Глава 1. Письмо из Африки
Глава 2. В тропическом институте
Глава 3. Механик Дюпон
Глава 4. Призыв из Ниамбы
Глава 5. Ниамба
Глава 6. «Хозяйство» Кроза
Глава 7. Тайна Ниамбы
Глава 8. Снова Дюпон
Глава 9. Каторжная выдумка
Глава 10. Гостиная в Африке
Глава 11. Стрелковое учение с боевыми патронами
Глава 12. Смерть гориллоида
Глава 13. Оккультизм, фашизм и новая дружба
Глава 14. Рабочий вопрос решается просто
Глава 15. От замысла до дела – всего шаг
Глава 16. Встреча в саду
Глава 17. Гориллоид Луи
Глава 18. В лагере гориллоидов
Глава 19. Ленуар во многом ошибается
Глава 20. Драма в саду
Глава 21. Узники Ниамбы
Глава 22. Подкоп
Глава 23. Побег

Глава 24. Переход в наступление
Глава 25. Бунт гориллоидов
Глава 26. Взрыв
Глава 27. Драма в ангаре
Глава 28. Рассказ Дюпона
Глава 29. Бивак на поляне
Глава 30. Снова в воздухе
Глава 31. Не все идет по плану
Глава 32. «В тюрьму или в сумасшедший дом?»
Глава 33. Гибель тропического института
Глава 34. Тянуть на последних каплях
Глава 35. Отклики в прессе
Глава 36. Их точка зрения
Натаниэль Готорн. Ядовитая красота
Эдвард Герон-Аллен. Девушка-гепард
Рэймонд Феррерс Брод. Опыт доктора Фасетки
Унно Дзюдзас. Монстр в неволе
Рональд Росс. Жертва вивисекции
Хуан Ми. Черная статуя
Сведения об авторах

Аннотация

Плоды безумия, спрятанные за стенами лабораторий, и безумные гении, готовые пойти на все ради своих экспериментов, – тема, тревожащая умы людей на протяжении веков. Алхимики, гениальные маньяки, экспериментаторы-отшельники… Их имена звучат как заклятия. Но за всеми этими масками скрывается будто бы один и тот же пытливый дух, жаждущий раскрыть тайны мира любой ценой, пусть даже ценой разума и жизни. Произведения в этой книге – ключи к загадочному миру науки без морали, мрачное путешествие по лабиринтам безумных идей и опасных экспериментов. Культовый роман Герберта Уэллса «Остров доктора Моро», впервые за сто лет издания в России представленный в первом, самом полном и лучшем переводе на русский, дополняют захватывающие повести и рассказы о безумных ученых от английских, немецких, советских и японских авторов – библиографические редкости, многие из которых впервые переведены на русский язык. Исполненные темного

очарования иллюстрации Дмитрия Храмцова приоткрывают завесу над мрачным миром безумств, продиктованных наукой. Прочтите и задумайтесь: так ли правдива старая мудрость о том, что гениальность и злодейства несовместимы?

Г. Шокин
Создатели монстров. Романы и рассказы

© Составление, комментарии и примечания: Шокин Г., 2026
© Перевод: Шокин Г., Сорочан А., 2026
© Иллюстрации и обложка: Храмцов Д., 2026
© Оформление: ООО «Феникс», 2026
© В оформлении книги использованы иллюстрации
по лицензии Shutterstock.com



Как создать монстра

Новые научные открытия всегда оказывают влияние на искусство и гуманитарные науки, потому что, как утверждает немецкий ученый и медик Георг Рихард Левин, наука — это «влиятельная сила, формирующая и перестраивающая то, как организовано общество, как живут люди, и то, как они думают и представляют». Когда в какой-либо области науки делается открытие, событие нередко побуждает теологов, философов, поэтов и романистов поразмышлять над собой. Теолог, естественно, задумывается о религиозном подтексте этого и задается вопросом, соотносится ли оно с библейскими знаниями, предполагает ли оно и существование Бога или представляет угрозу авторитету Церкви. Философ и поэт мыслят о более широком значении этого явления и задаются вопросом, насколько оно повлияет на то, как люди воспринимают мир, природу и реальность. Романист или автор рассказов принимает во внимание все эти вопросы и исследует их в форме художественной литературы, делая вымышленных персонажей ответчика-

ми за возможные последствия открытий. Да, с самых ранних веков художественный вымысел был тесно и естественно переплетен с техникой и наукой. Даже в древних мифах и историях разных культур встречаются описания своего рода ученых — алхимиков, знахарей, — а также их изобретений, экспериментов или практик. Помимо размышлений о возможных научных и технологических достижениях эти мифы и истории также показывают реакцию на новые технологии, знания и изобретения, а также отношение к ним широких масс. Древние мифы, отражающие глубокую тревогу по поводу наших взаимоотношений с миром природы, — ящик Пандоры, добыча огня Прометеем, позже образ Фауста, все еще пронизывающий современную мысль во многих обличьях, — вновь оживают в умах людей, когда появляются новые знания, угрожающие гармонии Вселенной, человеку и человеческому Богу.

С появлением новых наук и технологий возникли и новые проблемы — в частности опасение зайти слишком далеко и нарушить баланс между наукой и религией (или этикой). Потому что наука влияет, конечно, еще и на этику. Следовательно, по мере того как научные знания

становились все более обширными, массы — все более просвещенными, а фигура ученого — все более угрожающей, страх перед наукой и учеными в конце концов материализовался в форме рассказов о «безумных ученых» в литературе XIX–XX веков.

«Безумен» этот усредненный ученый, конечно, не потому (или не обязательно потому), что он душевнобольной. Злых гениев повадились называть так, потому что их устремления выходят за рамки «здравого» ума и они одержимы наукой, что делает их безразличными к другим аспектам жизни. Эта одержимость в сочетании с их исключительным интеллектом вызывает конфликт между их научными устремлениями и морально приемлемой практикой того времени. Так, немецкий профессор социологии Петер Вайнгарт в статье «Властолюбивые маньяки» называет безумными ученых, нарушающих этические границы, чтобы заполучить запрещенные знания и славу. Это объясняет, почему имена вымышленных «безумных» ученых все еще появляются в статьях или новостях, в которых освещают спорные научные разработки, такие как клонирование или генная инженерия. Следовательно, ученые в литературе необязательно являются

безумными в клиническом смысле, хотя у большинства из них иногда проявляются признаки невротического поведения — симптом их боязни потерпеть неудачу и быть разоблаченными. Что важно во всех историях о безумных ученых, так это моральное разложение последних, а не их патологическое состояние.

В этом смысле эпитет «безумный» имеет куда более близкое значение к термину Чезаре Ломброзо «моральное помешательство», ставшему популярным в конце XIX века. По словам Ломброзо, «есть случаи, когда безумие — это простая преступная склонность, отсутствие какого-либо чувства морали, и <..> в области моральных качеств аналогия между преступниками и морально ненормальными неоспорима». В дополнение Ломброзо утверждает, что «все морально ненормальные, даже те, кто предстают здравомыслящими, действуют из тщеславия и совершают поступки, ведущие к абсурдным противоречиям». Почти все современные вымышленные безумные ученые обладают этими чертами, а значит, их безумие может быть расценено как моральное преступление.

Моральные преступники, представленные в произведениях в настоящей книге, очень разли-

чаются (по крайней мере, в том, как их изображают писатели), но нечто вневременное, некий фактор генезиса, сплетает это многообразие в одну зловещую сеть. Конечно, доктор Моро стоит особняком — это, как и Виктор Франкенштейн, образ в чем-то философский, вневременной. Один из самых известных русскоязычному читателю романов английского писателя-классика «Остров доктора Моро» увидел свет в 1896 году, когда фантастика только лишь начинала формироваться как отдельный жанр. Несмотря на то, что прошло уже больше ста лет с момента публикации, он до сих пор сохраняет актуальность. Уэллс был в принципе хорошо известен способностью выдавать «долгоиграющие» истории, интересные читателям и теперь — несмотря на то, что основной сюжет произведений знаком многим. В «Острове…» самое поразительное то, что простая на первый взгляд история, основанная на переработке в те годы уже классического «Франкенштейна», полна разнообразных скрытых смыслов, хотел того автор или нет. Например, один из них — в том, что упрощение и единообразие (равно как и очень упорно насаждаемое и поощряемое многообразие — вторая крайность) не всегда приводят к созданию чего-то хорошего.

Из массы самых разных существ, неповторимых изначально, Моро конструирует недолго живущих уродцев, вроде бы считая, что тут есть благой порыв, но огульно признаваясь главному герою Прендику в том, что ему просто интересно посмотреть, как много мук в Доме Боли может пережить тот или иной индивид. Никогда ничего не объяснять и не держать ответа за свои поступки — это манящая доктора карьера Бога (ибо пути Господни неисповедимы), но, по Уэллсу, желание человека стать Богом, может, и не должно караться смертью, но чаще всего все же карается. Просто вот так действуют Законы (не физические, а метафизические) в нашей отдельно взятой ячейке Вселенной. Можно ли ускользнуть от ответственности? У Моро — не выходит.

Идаев в «Острове гориллоидов», конечно же, прямой наследник угрюмого британца-островитянина-вивисектора. Даже на уровне отдельных тропов (спаивание зверолюдей как способ освобождения их разрушительного потенциала) роман русского ученого западному коллеге вторит; и все же это достаточно самобытное произведение, на все сто процентов революционное, как и роман Конрада Лоэле. Мотив искусственно созданных автоматонов или даже человекопо-

добных существ, способных выполнять определенные рутинные или опасные задания более эффективно, экономно и, как правило, лучше — одна из стандартных тем антиутопической литературы XX века. Так почему бы не повысить ставки, сделав этих самых искусственных людей орудием революционного возмездия против бездушной диктатуры элитизма и наживы? У Фортунатова особо деятельный ученый с недостаточной моральностью — слепое орудие в руках безжалостного милитариста Ленуара. А вот у Лоэле Цюллингер — фактически антигерой-одиночка, персонаж, предстающий полным изъянов с первых страниц, мало подходящий на роль самозваного бога. Шутка ли, Цюллингер — злой, ограниченный, мстительный алкоголик. Но только такой персонаж в обществе абсолютно бесчеловечных сверхгерманцев оказывается заслуживающим венца героя-освободителя. И этот венец — будет ли он легок и долго ли продержится на голове того, кто его заслужил? Рассказать об этом, не выдавая слишком много из сюжета короткого романа, невозможно — так что пусть обо всем узнает сам читатель.

В представленных далее произведениях безумные ученые, конечно, слегка мельчают. Их цели

локальнее, стремления прозрачнее. Чего хотят Раппачини и Бэрроудейл от своих дочерей, сложно сказать: как будто бы бедным девушкам просто суждено пасть жертвами научных притязаний жестоких отцов и погибнуть, не породив ни новую расу зверолюдей («Девушка-гепард»), ни некое, скажем так, токсичное человечество («Ядовитая красота»). Доктор Фасетка и братья Макаллиганы из историй Брода и Росса соответственно — просто жертвы собственного неуемного научного любопытства (с разными отягчающими их участь обстоятельствами). В истории японского фантаста эпохи Сёва Унно Дзюдзы образ злого ученого вовсе выкручен в гротеск, это достаточно типичное, в чем-то забавное эрогуро того времени, первые шаги молодого азиатского хоррора, отчасти настоянного на нехитром детективе. Но за первым шагом, неуверенным, идут следующие, куда более любопытные. В общем и целом, злодей-творец все так же актуален и востребован как архетип по состоянию на лето Господне 2026 года, как и сто с лишним лет назад. Наверное, это все-таки что-то вечное — джинн, однажды выпущенный из бутылки неумолимой рукой Прогресса, да так и не возвращенный назад. Более того, покуда

человечество не пало жертвой злонаучных или каких бы то ни было иных гибельных амбиций, джинн *невозвращаемый.*

Григорий Шокин

Герберт Уэллс
Остров доктора Моро

Пролог

Первого февраля 1887 года «Леди Вейн» погибла при столкновении с обломками затонувшего корабля около 1 градуса южной широты и 107 градусов западной долготы. Пятого января 1888 года, то есть одиннадцать месяцев и четыре дня спустя, мой дядюшка, Эдуард Прендик, бывший на этом судне обыкновенным пассажиром, севший на «Леди Вейн» в Кальяо и всеми считавшийся погибшим, был подобран около 3 градусов северной широты и 101 градуса западной долготы в небольшой парусной лодке. Название судна, содержавшего ее, стерлось почти целиком, но, по-видимому, шлюпка принадлежала пропавшей шхуне «Ипекакуана».

Мистер Прендик наговорил о себе столько странного, что его поначалу приняли за сумасшедшего. Потом он сослался на то, что в его памяти с момента спасения с «Леди Вейн» случился полнейший пробел. Психологи много говорили об этом случае как о любопытном примере потери памяти от умственного и физического переутомления.

Мною же, нижеподписавшимся его племян-

ником и наследником, был найден среди его бумаг прилагаемый далее рассказ, хотя и не подкрепленный никаким указанием на то, что его дозволительно где-либо печатать.

В той части океана, где был найден мой дядюшка, единственным известным клочком земли является остров Нобль, маленький необитаемый островок вулканической природы. Военное судно «Скорпион» посетило его в 1891 году. Часть команды высадилась на берег, но не нашла на нем никаких других живых существ, кроме какого-то вида неопознанных мотыльков с белыми крыльями, ведущих ночной образ жизни, а также свиней, кроликов и, судя по всему, мутировавших крыс.

Ни одно из упомянутых животных не было взято на корабль, поэтому моя повесть так и остается в своей наиболее существенной части безо всякого подтверждения. Приняв все это во внимание, можно надеяться, что ее публикация не принесет никому вреда и совпадет, по моим личным соображениям, с желаниями моего дядюшки. Во всяком случае, в пользу опубликования этой странной истории говорит то обстоятельство, что мой дядюшка выпал из поля зрения человечества около 5 градусов северной широты и 106 градусов

восточной долготы и нашелся в этой же части океана по прошествии одиннадцати месяцев. Так или иначе, но он должен был где-то жить на протяжении этого времени. Известно также, что шхуна по имени «Ипекакуана», управляемая печально известным любителем тунеядства и выпивки капитаном Джоном Дэвисом, вышла из Африки с пумой и несколькими другими животными на борту в январе 1887 года. Судно это было замечено в различных портах Тихого океана — и вдруг бесследно исчезло со значительным грузом сушеных кокосовых орехов в декабре 1887 года на пути из Бахии, куда-то навстречу своей никому не ведомой судьбе. Все это совершенно совпадает с историей моего дядюшки.

Чарльз Эдуард Прендик

Глава 1. В шлюпке с «Леди Вейн»

Я не собираюсь ничего прибавлять к тому, что было уже написано в газетах о гибели «Леди Вейн». Всем известно, что она наткнулась на обломки затонувшего корабля через десять дней после своего выхода из Кальяо. Семь человек экипажа спаслись на баркасе и были подобраны восемнадцать дней спустя канонеркой «Миртл». История их лишений подверглась такому же основательному освещению в обществе, как и потрясающий случай с «Медузой».

На мою долю остается только добавить к уже опубликованной истории гибели «Леди Вейн» другую историю, не менее ужасную и, несомненно, более удивительную. По общим предположениям, четверо людей, находившихся в ее пропавшей шлюпке, погибли в море, но это не так. В моих руках лучшее доказательство для опровержения, ибо я один из этих четырех несчастливцев.

Прежде всего, я должен отметить тот факт, что на шлюпке никогда не было четырех людей, а всего трое: Констанс, которого «видел капитан, как он прыгал в лодку» («Дейли ньюс» от 17 марта

1887 года), по счастью для нас и по несчастью для себя, не доплыл до нашей шлюпки. Он выпутался из неразберихи снастей под штагами бушприта, разбитого в щепки, и кинулся в воду, но зацепился ногой за какой-то фал. Секунду он еще висел вниз головой, а затем упал и ударился теменем о плавающее в волнах бревно или кусок рангоута. Мы принялись грести по направлению к нему, но он не показался уже больше из воды.

Нельзя не признаться, что он не доплыл до нас не только к нашему счастью, но и к счастью для себя самого. У нас оказался только маленький бочонок с водой и несколько насквозь промокших сухарей — так неожиданно было столкновение и так не подготовлен был корабль к какому бы то ни было несчастью. Предположив, что люди, спасшиеся на баркасе, снабжены лучше нас — хотя, кажется, этого и не было, — мы принялись кричать им, но наши голоса, по-видимому, не долетали до них. Следующим утром, когда рассеялась мгла, мы больше их не увидели. Встать и осмотреться не было возможности из-за качки. По морю ходили большие валы, и нам стоило страшных усилий держаться против них. Двое других людей, спасшихся вместе со мной, были Хельмар, такой же пассажир, как и я, и матрос,

чьего имени я не знаю, — коренастый, решительный, но вечно заикающийся человек небольшого роста.

Восемь дней носило нас по морю. Мы умирали с голоду и мучились от нестерпимой жажды, после того как выпили всю воду. Через два дня море утихло и стало гладким как стекло. Читатель не в состоянии представить себе, какие это были восемь дней! Да, счастлив он, если память не рисует ему подобных картин. После первого дня мы почти не говорили друг с другом и неподвижно лежали в лодке, каждый на своем месте, уставившись вдаль или наблюдая блуждающими глазами, как ужас и слабость овладевали товарищами. Солнце пекло безжалостно. Нам грезились страшные видения, и их можно было прочесть в наших глазах. На шестой день, если не ошибаюсь, Хельмар заговорил, наконец, о том, что было у каждого из нас на уме. Помню, наши голоса были так слабы, что мы наклонялись друг к другу и едва выговаривали слова. Я всеми силами восстал против идеи Хельмара, предложив разрубить лодку и погибнуть всем вместе, отдавшись на съедение следовавшим за нами акулам. Но я оказался в меньшинстве: когда Хельмар сказал, что в случае принятия его предложения у нас будет

питье, матрос тоже присоединился к нему.

Все же я не хотел тащить жребия. Ночью Хельмар все шептался с матросом, а я сидел на носу, зажав в руке нож, хотя и чувствовал, что слишком слаб для борьбы с ними. Утром я тоже согласился с предложением Хельмара, и мы поменялись полупенсом, чтобы, кинув жребий, найти несчастного человека.

Жребий пал на матроса, но он был самый сильный из нас и, не желая умирать, кинулся на Хельмара. Они схватились, и оба наполовину встали. Я пополз к ним по дну лодки, намереваясь помочь Хельмару и схватить матроса за ногу, но в эту минуту от движения лодки матрос споткнулся, и оба упали за борт. Они пошли ко дну как камни. Помню, что я засмеялся, при этом сам удивляясь — с чего вдруг мне так весело.

Не знаю, сколько времени пролежал я поперек лодки, думая только о том, что если б я был в силах встать, то напился бы соленой воды, чтобы сойти с ума и поскорее умереть. Потом я увидел, как на горизонте показался корабль, но я глядел на него лежа, с таким же равнодушием, как если бы видел простую картину. Я, по-видимому, был в состоянии невменяемости, но все же помню теперь все совершенно отчетливо. Помню, как

голова моя качалась в такт волнам и как горизонт с судном танцевал перед моими глазами. Помню, как я был вполне убежден в том, что уже умер, и думал, какая горькая это для меня насмешка, что корабль подойдет ко мне слишком поздно и подберет лишь мое тело.

Мне казалось, что я бесконечно долго лежал, опустив голову на перекладину лодки и наблюдая за танцевавшим перед моими глазами судном. Оно было небольшое, оснащенное спереди и сзади — наподобие шхуны. Оно лавировало, описывая все большие и большие зигзаги, так как шло против ветра. Мне даже не приходило в голову постараться привлечь его внимание, и я не помню ясно ничего после того, как увидел борт подошедшего ко мне корабля и очутился в маленькой каюте. У меня осталось лишь смутное воспоминание, что меня поднимали по лестнице и что кто-то большой, рыжий, весь покрытый веснушками смотрел на меня, наклонившись над бортом. Затем у меня осталось несвязное впечатление какого-то смуглого лица со странными глазами, совсем близко смотревшими в мои, но я подумал, что это только кошмар, пока потом снова не встретился с ними. Помню, наконец, что мне вливали сквозь зубы какую-то жидкость. Вот

и все, что у меня осталось в памяти.

Глава 2. Из ниоткуда в никуда

Каюта, в которой я очнулся, была маленькая и довольно грязная. Человек средних лет с белокурыми волосами, щетинистыми усами и отвисшей нижней губой сидел рядом и держал меня за руку. С минуту мы молча смотрели друг на друга. У него были водянистые серые глаза с удивительным отсутствием всякого выражения.

Сверху доносился звук как бы приколачиваемой железной кровати и глухое сердитое рычание какого-то большого животного. Одновременно с этим сидевший рядом со мной ни с того ни с сего заговорил. Ему пришлось дважды повторить свой вопрос:

— Как вы себя теперь чувствуете?

Насколько помню, я отвечал, что чувствую себя хорошо. Каким образом я сюда попал? По-видимому, он прочел этот немой вопрос на моем лице, так как я сам не слышал звука своего голоса.

— Вы были подобраны умирающим в лодке, она называлась «Леди Вейн», и планшир ее был обрызган кровью.

В эту минуту взгляд мой нечаянно упал на мою руку: она выглядела такой худой, что напомнила

кожаный мешок, полный болтающихся костей. При виде нее все, что случилось в лодке, тотчас же воскресло у меня в памяти.

— Выпейте, — сказал мой собеседник, протягивая мне какое-то красное замороженное питье, имевшее вкус крови. Я почувствовал себя бодрее.

— Вам посчастливилось, — сказал он, — попасть на судно, где есть врач.

Говорил он невнятно и глухо, будто заправил себе за щеки марлевые валики.

— Что это за судно? — медленно спросил я, и голос мой хрипел от долгого молчания.

— Это небольшое торговое судно, идущее из Африки в Кальяо. Откуда оно, собственно, я не знаю. Думаю, из страны прирожденных глупцов. Сам я пассажир из Африки. Осел, владеющий этой посудиной, он же и капитан по имени Дэвис, потерял свое свидетельство или что-то в этом роде. Из всех дурацких имен он не мог выбрать для судна лучшего, чем «Ипекакуана», но когда на море нет большого волнения, то оно идет недурно.

Сверху снова послышалось ворчливое рычание вместе с человеческим голосом.

— Черт побери дурака! — произнес сверху чей-то новый голос, и все смолкло.

— Еще немного, приятель, и вы бы гарантиро-

ванно погибли, — сказал мой собеседник. — Да, это был весьма вероятный для вас конец, но я впрыснул вам кой-чего. Чувствуете ли боль в руках? Это от инъекций. Вы пробыли без сознания почти тридцать часов.

Я понимал его с немалым трудом. Мои мысли были прерваны доносившимся сверху лаем множества собак.

— Нельзя ли мне чего-нибудь поесть? — спросил я.

— Благодарите меня, — ответил он, — так как сейчас по моему приказанию для вас жарится баранина.

— Хорошо, — убежденно сказал я ему. — С удовольствием приму кусочек.

— Но вот что, — с минутною нерешительностью произнес мой собеседник, — мне очень хотелось бы узнать, каким образом очутились вы одни в лодке. — Мне показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то подозрение. — Черт побери этот вой! — Он быстро выскочил из каюты, и я услышал, как он сердито заговорил с кем-то, отвечающим ему на непонятном мне языке. Дело, по-видимому, окончилось побоями, но я не был уверен, что слух не обманывает меня. Он прикрикнул на собак и снова вернулся в каюту.

— Ну, — сказал он, стоя на пороге. — Вы хотели рассказать мне все, что с вами случилось.

Я назвал себя и принялся рассказывать, как при моей материальной независимости увлечение естественными науками скрашивало тусклую безызвестность моей жизни. Он явно заинтересовался этим.

— Я и сам когда-то занимался науками в университете. Изучал биологию и писал про половые органы земляных червей, радулу[1] улиток и тому подобные несуразицы. Боже, уже ведь десять лет с тех пор прошло! Но продолжайте, расскажите мне, как вы попали в лодку.

Ему, по-видимому, понравилась искренность моего крайне сжатого рассказа, так как я чувствовал себя очень слабым. Когда я окончил, он снова вернулся к разговору о естественных науках и о своих биологических работах. Он принялся подробно расспрашивать меня о том, как сейчас выглядят Тоттенхем-Корт-Роуд и Гауэр-стрит.

— Все ли процветает магазин Каплацци? Славное, доложу вам, заведение!

По-видимому, он был самым заурядным студентом-медиком и беспрестанно сбивался на тему о

---

[1] Примечания: 1

Ра́дула (лат. radula — «скребок, терка») — орган для соскребания и измельчения пищи у моллюсков.

концертах и балах. Он рассказал мне кое-что из своей жизни.

— И все это было десять лет тому назад, — повторил он. — Как хорошо было! Но тогда я отличался ужасной глупостью. Еще двадцать один год не стукнул, а мне уж и жизнь стала немила. Теперь, увы, все совсем не то… Ладно, пойду проведаю этого неповоротливого кока — узнаю, как там ваша баранина.

Рычание наверху возобновилось так неожиданно и с такой силой, что я невольно вздрогнул.

— Кто там рычит? — спросил я его, но дверь каюты уже захлопнулась.

Он скоро вернулся, неся баранину, и я был так воодушевлен ее аппетитным запахом, что мгновенно забыл о заинтересовавшем меня звуке.

После суток поочередного сна и питания я почувствовал себя настолько окрепшим, что смог подняться с койки и подойти к иллюминатору. Я увидел, что зеленые валы океана уже не воюют с нами. Шхуна поймала попутный ветер.

Пока я стоял, смотря на воду, Монтгомери — так звали блондина — вошел в каюту, и я попросил его дать мне одежду. Он снабдил меня кое-чем из своих вещей, сделанных из грубого льна; тряпье, в котором я ютился в лодке, по его словам, сочли

разумным выбросить. Он был выше меня и шире в плечах, так что одежда этого человека висела на мне мешком.

Между делом он рассказал, что капитан «опять налакался» и не выходит из своей каюты. Одеваясь, я стал расспрашивать его о курсе и назначении судна. Он сказал, что оно следует на Гавайи, но по дороге должно ссадить его.

— Где? — спросил я.

— На острове. Там, где я живу. Насколько знаю, у этой земли еще нет названия.

Он посмотрел на меня, еще более опустив нижнюю губу, и сделал вдруг такое ничего не понимающее лицо, что мне невольно пришло в голову, будто он хочет избежать моих расспросов. И я был настолько деликатен, что не расспрашивал его более ни о чем.

Глава 3. Диковинное лицо

Выйдя из каюты, мы увидели человека, стоявшего около лестницы, ведущей на палубу, и заграждавшего нам дорогу. Он стоял, повернувшись к нам спиной, и внимательно смотрел в глубину люка. Это был весьма нескладно скроенный тип небольшого роста, неуклюжий, широкий, с сутуловатой спиной и головой, глубоко ушедшей меж плеч. Одежда его была из темно-синей саржи, волосы необыкновенно жестки и густы. Невидимые собаки наверху все так же яростно рычали. В ту минуту, как я протянул руку, чтобы отстранить его с дороги, он обернулся назад с чисто звериной быстротой. Черное лицо, мелькнувшее тогда передо мной, глубоко поразило меня. Оно было необычайно безобразно! Нижняя его часть выдавалась вперед, смутно напоминая звериную морду, а в огромном приоткрытом рту виднелись белые зубы такой величины, какой я еще никогда не видел ни у одного человеческого существа. Белки глаз были залиты кровью, оставалась только тоненькая белая полоска около самых зрачков. Выражение странного возбуждения было на его лице.

— Убирайся, — сказал Монтгомери, — прочь с дороги!

Черномазый человек тотчас же отскочил в сторону, не говоря ни слова. Поднимаясь по трапу, я все время невольно смотрел на него. Монтгомери на минуту остановился внизу.

— Нечего тебе торчать здесь, сам отлично знаешь! — сказал он, обращаясь к нему. — Место твое наверху.

Черномазый весь сжался.

— Они не хотят видеть меня на верхах, — проговорил он медленно, странно охрипшим голосом.

— «Не хотят видеть на верхах»? — издевательски и в то же время с явной угрозой переспросил Монтгомери. — Что ж, вот тебе мой наказ — ступай живо туда!

Он хотел сказать еще что-то, но вдруг, взглянув на меня, последовал за мной. Я встал на полпути, оглядываясь назад, все еще крайне удивленный странным безобразием бедного существа. Мне до сих пор еще ни разу в жизни не приходилось встречать такое предельно отталкивающее лицо, и (может ли быть понятно такое противоречие!) вместе с тем я как будто уже где-то встречал *именно такие* черты и телодвижения, настолько поразившие меня теперь. Впоследствии мне

пришло в голову, что, вероятно, я видел его, когда меня поднимали на судно, но эта мысль все же не рассеивала моего подозрения. Только как было возможно, увидав хоть единожды такую необычайную фигуру, позабыть все подробности встречи с нею? Этого я не мог понять!

Шаги Монтгомери, следовавшего за мной, отвлекли меня от этих мыслей. Я повернул голову и стал оглядывать находящуюся вровень со мной палубу маленькой шхуны. Я был уже наполовину подготовлен услышанными звуками к тому, что мне пришлось увидеть. Безусловно, я никогда не встречал такой грязной палубы. Она была вся покрыта обрезками моркови, какими-то зелеными тряпками и неописуемой грязью. К грот-мачте на цепях была привязана целая свора страшных по виду гончих собак, которые принялись на меня лаять и кидаться. У бизань-мачты огромнейшая пума жалась в такой маленькой железной клетке, что с трудом могла в ней повернуться. Дальше с правой стороны борта стояло несколько больших клеток, наполненных кроликами, а перед ними в ящике, имевшем тоже вид клетки, находилась одинокая лама. На собак были надеты намордники из ремешков.

Единственным человеческим существом на

палубе оказался худой молчаливый матрос у руля. Заплатанные и грязные паруса раздувал ветер, и казалось, что маленькое судно шло самым быстрым своим ходом. Небо было ясно, солнце склонялось к закату. Здоровенные пенистые валы пробегали в опасной к нам близости. Мы прошли мимо рулевого и, подойдя к корме, следили, как под ней пенилась вода и как появлялись и исчезали водяные пузыри. Я обернулся и увидел судно во всю его неприглядную длину.

— Это морской зверинец? — спросил я Монтгомери.

— Нечто вроде этого, — ответил он.

— Для чего здесь эти животные? Для продажи как редкие экземпляры? Капитан думает сбыть их где-либо в южных портах?

— Вероятно, — снова уклончиво ответил Монтгомери и повернулся к корме.

В это время до нас неожиданно долетел крик и целый поток бурных ругательств, шедших из люка неподалеку от капитанской каюты. Вслед за ними к нам на палубу быстро взобралось безобразное черномазое существо, и за ним показался коренастый рыжеволосый человек в белой фуражке. При виде его гончие собаки, уже уставшие лаять на меня, снова пришли в страшное воз-

буждение, рыча и стараясь сорваться с цепей. Черномазый субъект на минуту остановился перед ними в нерешительности, а подоспевший рыжеволосый изо всех сил ударил его между лопатками. Бедняга свалился на палубу, как бык на бойне, и покатился по грязи под яростный лай собак. К счастью для него, на них были намордники. Крик торжества вырвался у рыжеволосого, и он стоял, пошатываясь, рискуя упасть или назад в люк, или вперед на свою жертву.

Как только Монтгомери увидел этого второго человека, он весь вздрогнул.

— Осторожно! — крикнул он ему предостерегающим тоном.

На носу судна показалось несколько матросов.

Черномазый субъект с диким воем катался под ногами собак. Но никто и не думал о том, чтобы помочь ему. Гончие, как могли, теребили его, ударяя по нему мордами. Их подвижные серые туловища быстро танцевали по его неуклюже распростертому телу.

Матросы, стоявшие впереди, подбодряли их криками, как будто все это представляло для них какую-то потеху. Гневное восклицание вырвалось у Монтгомери, и он быстрыми шагами заходил по палубе. Я последовал за ним.

Через минуту черномазый был уже на ногах и, шатаясь, побрел в сторону. Он слепо наткнулся на борт судна около главной ванты, где и остался, тяжело дыша и косясь через плечо на собак. Рыжеволосый расхохотался с довольным видом.

— Смотрите, капитан! — пришепетывая сильнее обыкновенного, сказал Монтгомери, схватив за локоть рыжеволосого. — Вы не смеете так поступать!

Я стоял позади Монтгомери. Капитан сделал пол-оборота и взглянул на него тупыми, сонными глазами пьяного человека.

— Да, не годится! — повторил он, с минуту вяло глядя в лицо Монтгомери. — Убирайтесь ко всем чертям! — Быстрым движением он высвободил руки и после двух-трех безуспешных попыток засунул наконец в боковые карманы свои веснушчатые кулаки.

— Этот человек — пассажир, — сказал Монтгомери. — Вы не имеете права пускать в ход ваши руки.

— Убирайтесь к черту! — снова крикнул капитан. Он внезапно повернулся в сторону и чуть не упал. — Я делаю все, что хочу, на своем собственном судне.

Мне казалось, что Монтгомери следовало бы

оставить его в покое, видя, что тот пьян. Но он, только слегка побледнев, последовал за капитаном к борту.

— Смотрите же, капитан, — повторил он еще раз, — вы не имеете права так обращаться с моим слугой. Вы не даете ему покоя с тех пор, как он попал на судно.

На минуту винные пары сделали капитана безмолвным.

— Убирайтесь ко всем чертям! — еще раз завопил он.

Вся эта сцена показывала мне, что Монтгомери обладал одним из тех настойчивых характеров, способных подогревать себя изо дня в день, доводиться до белого каления и никогда не остывать. Я понимал, что ссора эта была не из первых.

— Этот человек пьян, — сказал я, быть может, назойливо, — лучше оставьте его.

Уродливая судорога свела отвисшую губу Монтгомери.

— Он вечно пьян. Вы думаете, это оправдывает его самоуправство с пассажирами?

— Мое судно, — начал капитан и как-то неуверенно махнул рукой на клетки, — вышло из порта чистым. И что же? Взгляните на него теперь!

Действительно, чистым оно ни в каком случае

не могло назваться.

— Моя команда была приличная, уважающая себя команда...

— Вы сами согласились взять зверей.

— Я предпочел бы никогда не видеть вашего проклятого острова. И для чего только, черт его знает, нужны там эти животные. А ваш слуга, разве это человек? Это помешанный. Ему здесь нечего делать! Не думаете ли вы, что все мое судно — в вашем услужении?

— Ваши матросы преследуют беднягу с тех пор, как он появился на шхуне.

— Понятно, потому что это какой-то безобразный дьявол. Мои люди не выносят его, и я не выношу его. Никто из нас не выносит его, да и вы сами сторонитесь.

Монтгомери повернулся к нему спиной.

— Все же вы должны оставить его в покое, — проговорил он, подтверждая свои слова кивком головы.

Но капитану, по-видимому, не хотелось уступать.

— Пусть только, — закричал он, — заглянет в эту часть корабля, я выпущу ему потроха, выверну все кишки! Как вы смеете учить меня тому, что мне делать! Повторяю еще раз: я капитан

корабля, его собственник и капитан. Здесь я один только закон, порядок и пророк. Я согласился отвезти пассажира и его слугу в Африку и обратно на остров с несколькими животными, я не соглашался брать какого-то помешанного дьявола и, черт бы его побрал… какого-то…

Тут он грязно обругал Монтгомери. Тот шагнул по направлению к капитану, но я встал между ними.

— Он пьян, — повторил я.

Капитан принялся еще хуже браниться.

— Замолчите! — сказал я, круто поворачиваясь к нему, так как бледное лицо Монтгомери пугало меня. Этими словами я перевел поток его ругани на себя. Тем не менее я был очень рад, что предупредил близкую схватку, хотя и вызвал неудовольствие пьяного капитана. Мне случалось бывать в самом разнокалиберном обществе, но никогда в жизни не приходилось слышать из человеческих уст такого нескончаемого потока самого ужасного сквернословия, какой лился из уст капитана. Как ни был я кроток от природы, все же часть этих ругательств я слушал с трудом. Конечно, прося капитана замолчать, я совершенно забыл о том, что собой представлял для него — не более как выкинутое волнами человеческое

существо, лишенное всяких средств, безбилетного пассажира, вполне зависящего от доброты или спекулятивной предприимчивости подобравшего его судна. Он напомнил мне об этом весьма энергично, в крепких выражениях, но так или иначе я не допустил драки.

Глава 4. У борта шхуны

В тот же вечер после заката солнца мы увидели сушу, и шхуна кинула якорь.

— Вот она, моя конечная остановка, — заявил Монтгомери.

Из-за удаленности нельзя было разобрать никаких подробностей. Остров просто показался мне низменным темно-синим клочком на неопределенно синевато-сером фоне океана. Почти вертикальный столб дыма вздымался от него к небу.

Капитана не было на палубе, когда заметили землю. После того как он излил на меня свой гнев, он спустился вниз и, как я узнал, заснул прямо на полу своей каюты. Помощник принял на себя фактическое управление судном — тот самый худой молчаливый субъект, что стоял у руля. По-видимому, и он тоже был в дурных отношениях с Монтгомери. Он как будто не замечал нас. Мы пообедали с ним в угрюмом молчании, после пары безрезультатных попыток с моей стороны заговорить с ним. Меня поразило и то, что этот тип относился к моему спутнику и его животным странно враждебным образом. Я находил, что

Монтгомери чересчур скрытен относительно назначения этих животных, но, хотя любопытство мое усиливалось, я все же не расспрашивал его.

Небо было уже сплошь усыпано звездами, а мы все еще беседовали, сидя на корме. Ночь выдалась тихая, ясная, и тишина ее прерывалась только периодическими звуками, доносившимися с освещенного желтоватым светом носа судна, да еще по временам движениями животных. Лежа темной грудой в углу клетки, съежившись, пума наблюдала за нами горящими глазами. Собаки, казалось, спали. Монтгомери вынул сигару.

Он говорил со мной о Лондоне в тоне этакого грустного воспоминания, расспрашивая о всевозможных переменах, происшедших за это время. Он говорил как человек, любивший тот образ жизни, какого он здесь неожиданно и навсегда лишился. Я поддерживал разговор как только умел. Странность моего собеседника невольно приходила мне в голову, когда, говоря с ним, я рассматривал его худое бледное лицо, освещенное слабым светом фонаря, находящегося позади меня. Затем я оглянулся на темнеющий вокруг нас океан, где во мраке ночи был скрыт от наших взоров маленький островок.

«Этот человек, — думалось мне, — явился из

безбрежности только для того, чтобы спасти меня. Завтра же он покидает корабль, и снова исчезает из моей жизни навсегда». Случись мое знакомство с ним при обыденных условиях жизни, и тогда оно, несомненно, произвело бы на меня известное впечатление. Теперь же меня невольно поражало то обстоятельство, что этот образованный человек жил на таком маленьком, не ведомом никому острове вместе со своим необычайным багажом.

Я невольно повторил себе вопрос капитана. Для чего ему нужны все эти животные? Почему к тому же он отрекся от них, когда я впервые о них заговорил? В его поведении было что-то особенно странное, глубоко поразившее меня. Все это, будучи вместе взятым, заставляло работать мое воображение, но притом сковывало язык. К полуночи наш разговор о Лондоне затих, и мы молча стояли рядом, наклонившись над бортом, задумчиво смотря на тихий, отражающий звезды океан. Каждый из нас был полон своих собственных мыслей. Вся окружающая обстановка невольно действовала на чувства, и я принялся выражать ему свою признательность.

— По правде говоря, — начал я, немного помолчав, — вы спасли мою жизнь.

— Это случайность, — ответил он, — простая случайность.

— Но все же я не могу не поблагодарить вас.

— О! Не стоит благодарности. Вы нуждались в помощи, а у меня была возможность оказать ее. Я делал вам инъекции и кормил вас… точно так же, как если бы нашел редкий экземпляр какого-нибудь животного. Я страшно скучал и нуждался в деле. Поверьте, если бы я не был в духе в тот день или мне бы не понравилось ваше лицо… то, право, не знаю, что было бы с вами теперь!

Такой ответ немного расхолодил меня.

— Во всяком случае… — начал я снова.

— Говорю вам, это простая случайность, — прервал он меня, — как и все остальное в человеческой жизни. Одни дураки не хотят этого видеть. Почему это я должен быть здесь, вдали от цивилизованного мира, вместо того, чтобы быть счастливым и наслаждаться всеми удовольствиями Лондона? Только потому, что одиннадцать лет тому назад я на десять минут потерял голову в одну туманную ночь… — Он замолчал.

— И что же? — спросил я.

— И все. На этом все.

Мы оба погрузились в молчание. Он неожиданно рассмеялся.

— Есть что-то в этом звездном свете, развязывающее язык! Я просто осел, но мне все же хочется рассказать вам…

— Что бы вы ни рассказывали, поверьте, на меня можно положиться. Я умею молчать.

Он уже собрался начать повествование, но вдруг с сомнением покачал головой.

— Не рассказывайте, — сказал я, — я вовсе не любопытен. В конце концов, самое лучшее — не доверять никому своей тайны. В случае моей скромности вы не выиграете ничего, кроме небольшого облегчения души. А если я проболтаюсь, что тогда?

Он нерешительно пробормотал что-то про себя. Я почувствовал, что застал-таки его врасплох, и, говоря по правде, мне вовсе не было интересно знать, что заставило молодого медика покинуть Лондон. Для этого у меня было достаточно воображения. Я пожал плечами и отошел в сторону. Какая-то темная молчаливая фигура, склонившись над бортом, следила за отражениями звезд на воде. Это был слуга Монтгомери. Услышав мое приближение, он быстро взглянул на меня через плечо, затем снова отвернулся и уставился в море.

Это маленькое обстоятельство, может быть,

показалось бы вам пустяком, но меня оно поразило, как громом. Единственным источником света около нас служил фонарь у руля. Лицо этого существа только на одно короткое мгновение повернулось ко мне из окружавшей его темноты к свету, но я увидел, что глаза, взглянувшие на меня, светились слабым светом. Во всяком случае, тогда я еще не знал, что красноватый отблеск бывает иногда присущ и человеческим глазам; это обстоятельство показалось мне совершенно сверхъестественным. Темная фигура с огненными очами проникла сквозь все мои мысли и чувства взрослого человека, и на минуту забытые ужасы детского воображения воскресли передо мной. Это впечатление исчезло так же быстро, как и явилось мне. Уже в следующее мгновение я видел только обыкновенную темную неуклюжую человеческую фигуру. Фигуру, в которой не было ничего необычайного, склонившуюся над бортом и глазеющую на желтоватую звездную рябь. Тут Монтгомери обратился ко мне.

— Я хотел бы вернуться вниз, — заявил он, — если вы достаточно надышались воздухом.

Я что-то невпопад ответил. Мы спустились вниз, и он простился со мной у дверей моей каюты.

Всю ночь я видел скверные сны. Убывающая луна взошла поздно. Ее таинственные бледные лучи косо падали в мою каюту, и моя кушетка отбрасывала на стену какую-то чудовищную тень. Наверху проснулись гончие, подняли лай и рык. Мне удалось заснуть только на рассвете.

Глава 5. Изгой меж двух огней

Рано утром — на второй день после моего выздоровления и, кажется, на четвертый после того, как я был принят на судно, — я проснулся, мучимый тревожными сновидениями: какой-то стрельбой и ревом толпы. Я услыхал над собой чьи-то хриплые крики. Протерев глаза, я лежал, прислушиваясь к шуму, и старался собраться с мыслями. Вдруг послышались шлепки босых ног, звуки кидаемых тяжелых предметов, громкий скрип и бряцание цепей. Заплескалась и зашумела вода, так как судно сделало неожиданный поворот. Зелено-желтая пенистая волна ударилась о маленькое круглое окошко каюты и, струясь, отхлынула прочь от него.

Поднимаясь по лестнице, я увидел на заалевшем фоне неба — солнце как раз всходило, — широкую спину и рыжие волосы капитана. Над ним висела в воздухе клеть с пумой: ее он спускал на веревке, пропущенной через блок на главной мачте. Бедное животное до того перепугалось, что, забившись, в глубину своей маленькой клетки, пригибало уши и при том даже не шипело, а просто мелко-мелко тряслось.

— За борт их всех! — рычал капитан. — За борт их! Больше этой компании на моем судне не бывать!

Он стоял у меня как раз на дороге, и, чтобы попасть на палубу, я вынужден был от всей души хлопнуть его по плечу. Он отскочил с испугом и попятился назад, чтобы увидеть, кто это позволяет себе такую фамильярность. Чтобы заключить, что он был все еще пьян, вовсе не требовалось быть экспертом по интоксикациям.

— Кто это? — сначала с глупым видом произнес он, а потом добавил с отдаленными и слабыми проблесками сознания в глазах: — А, это мистер, мистер?..

— Прендик, — ответил я.

— А не пошел бы ты, Прендик! — завопил капитан мне прямо в лицо, брызжа слюной. — Молчок Губа-на-крючок — вот твои новые имя и фамилия! Понял, салага?

Конечно, не стоило отвечать этому пьяному скоту. Но я, безусловно, не мог предвидеть его дальнейших поступков. Он протянул руку по направлению к мосткам, у которых стоял Монтгомери, беседуя с широкоплечим седым человеком в одежде из грязной синей фланели, по-видимому только что появившимся на судне.

— За борт, за борт, проклятый мистер Молчок — вон туда! — ревел капитан.

Монтгомери и его спутник повернулись ко мне при этих его словах.

— Чего вы хотите… — начал я.

— Вон отсюда, проклятый мистер Молчок, вот чего я хочу! За борт, живо! Мы очищаем судно, мы очищаем наше бедное судно от всей швали! Отправляйтесь-ка за борт!

Совершенно оторопев, я смотрел на него. Минуту спустя мне пришло в голову, что это приглашение, по правде говоря, вполне совпадает с моими собственными желаниями. Перспектива дальнейшего путешествия единственным пассажиром с этим сварливым дурнем нисколько меня не прельщала. С немой просьбой я повернулся к Монтгомери.

— Мы не можем вас взять, — решительно сказал мне его спутник.

— Не можете меня… взять? — совершенно оторопев, повторил я. Такого квадратного и решительного лица, как у него, я никогда еще не видел в жизни. — Послушайте-ка, — начал я, снова обращаясь к капитану.

— За борт! — завопил он, как заведенный. — Это судно не для животных и людоедов, которые

хуже, чем животные — да, гораздо хуже! Вон отсюда, мистер Молчок! Возьмут или не возьмут вас — мне плевать, все равно вашей ноги здесь больше не будет, покуда я дышу! Вон отсюда вместе с вашими друзьями! Я этими островными делами сыт по горло. С меня хватит!

— Послушайте, Монтгомери… — начал было я.

Он скривил нижнюю губу и безнадежно кивнул, указав на седого человека, стоящего рядом с ним, — как бы демонстрируя этим свое бессилие помочь мне.

Началось удивительное препирательство. Я попеременно обращался то к одному, то к другому из этих трех лиц, прежде всего — к седому человеку, прося высадить меня на берег, затем к пьяному капитану — с просьбой оставить меня на судне и, наконец, даже к матросам. Монтгомери не произносил ни слова — он только качал головой.

— Я вас однозначно ссаживаю, говорю же! — беспрестанно твердил капитан. — Ах, есть закон, говорите? Да мне плевать на закон! Я на этой посудине — царь, бог и закон!

Голос мой оборвался, не довершив бесполезной угрозы. Чувствуя прилив бешенства, я, на грани истерики, отошел прочь, угрюмо таращась прямо

перед собой.

Тем временем матросы быстро работали, разгружая судно от багажа и сидящих в клетках животных. Большой баркас с двумя поднятыми парусами уже стоял с подветренной стороны шхуны, и туда сваливалась вся эта странная кладь. Я не мог видеть, как выглядят островитяне, принимающие ее, ибо корпус баркаса был надежно скрыт от моих глаз бортом шхуны. Ни Монтгомери, ни его спутник не обращали на меня ни малейшего внимания: они помогали и давали указания четырем или пяти матросам, выгружавшим багаж. Капитан был тоже там, скорее мешая, чем помогая работе. Я попеременно переходил от отчаяния к бешенству и обратно. Раза два, пока я стоял, ожидая дальнейшей участи, меня охватывало неудержимое желание рассмеяться над своей злополучной судьбой. С утра я ничего не ел и чувствовал себя еще более жалким. Голод и слабость лишают человека мужества. Я ясно сознавал, что был не в силах сопротивляться капитану, гораздому каким угодно способом избавиться от меня, а также не мог заставить Монтгомери и его спутника взять меня с собой. Мне оставалось только пассивно ожидать своей судьбы, а выгрузка багажа на баркас между тем

продолжалась, как будто меня здесь вовсе и не было.

В скором времени с работой управились, и тогда пошла «жара»: меня, упирающегося и слабо отбрыкивающегося, потащили к мосткам. Даже в эту минуту мне бросились в глаза странные смуглые лица людей, сидевших в баркасе вместе с Монтгомери. Погрузка была окончена, и баркас быстро отчалил от судна. Подо мной показалась все увеличивающаяся полоса зеленой воды, и я изо всех сил подался назад, чтобы не упасть вниз головой. Тут же сидевшие в баркасе что-то насмешливо крикнули, и я слышал, как Монтгомери выругал их. Капитан, штурман и один из матросов, помогавших ему, потащили меня обратно к корме. Шлюпка «Леди Вейн» была привязана позади нее на буксире, без весел и провизии, да к тому же наполовину затопленная. Я отказался спуститься в нее и растянулся во всю длину на палубе. Но они все же спустили меня туда на веревке, так как мостков со стороны кормы не было, и, отрезав канаты, оставили меня в шлюпке на произвол судьбы. Волны медленно относили меня от шхуны. Я видел в состоянии какого-то оцепенения, как руки матросов взялись за снасти и как шхуна медленно, но решительно

повернулась носом к ветру. Паруса затрепетали и надулись. Я бесцельно уставился на поврежденный непогодами борт круто накренившейся ко мне шхуны. Она постепенно начала скрываться с моих глаз. Я даже не повернул головы, чтобы следить за ней.

Честно говоря, я едва ли верил случившемуся. Пораженный, я забился на дно лодки и бесцельно уставился на пустынный, подернутый легкою зыбью океан. Но постепенно я стал проникаться сознанием того, что снова нахожусь в проклятущей, наполовину потопленной шлюпке. Обернувшись назад, я увидел поверх борта своей лодки шхуну, которая удалялась от меня вместе с рыжеволосым капитаном, что-то насмешливо кричавшим мне с кормы. Повернувшись к острову, я увидел баркас — он становился все меньше и меньше по мере сближения с берегом.

Весь ужас моего положения внезапно вырисовался предо мной. Никакой возможности достичь берега у меня не было, если только меня случайно не отнесет туда течением. Я все еще был слаб после своего последнего приключения; к тому же оголодал и чувствовал себя в полуобморочном состоянии, иначе у меня было бы больше мужества. Рыдания сотрясли мою грудь. Я рыдал так,

как мне случалось только в детстве. Целые потоки слез струились по моему лицу. В припадке отчаяния я принялся бить кулаками воду на дне лодки и бешено колотить ногами о ее борт.

Я громко молил бога ниспослать мне смерть.

Глава 6. Зловещие гребцы

Увидев, что я действительно оставлен на произвол судьбы, люди, сидевшие в баркасе, сжалились надо мной. Меня медленно относило к востоку в направлении к острову, и скоро я с облегчением я увидел, как баркас повернулся и пошел в мою сторону. Он был тяжело нагружен. Вблизи я смог различить седого широкоплечего спутника Монтгомери; тот сидел на кормовых парусах среди собак и нескольких ящиков багажа. Мужчина молча смотрел на меня остановившимся взором. Не менее пристально оглядывал меня и урод, сидевший близ пумы на носу баркаса. Остальных людей было трое — странные звероподобные отродья, на которых дико рычали гончие собаки. Монтгомери, управлявший рулем, подчалил ко мне и, привстав с места, поймал и прикрепил к своей корме мой канат, чтобы оттащить меня на буксире: на баркасе для меня не имелось места. Я успел уже оправиться от своего нервного припадка и довольно бодро ответил на его оклик. Я сказал ему, что шлюпка почти затоплена, и он подал мне деревянный ковш. В тот момент, когда канат между лодками натянулся, я упал

навзничь, но потом поднялся и некоторое время деятельно вычерпывал воду. Пока я не окончил своей работы, я не имел времени еще раз взглянуть на людей, сидевших в баркасе, — занимался очисткой шлюпки. Вполне крепкая оказалась посудина — как выяснилось, в ней не было пробоин, и вода просто набралась в нее за время мотания на волнах.

Подняв затем глаза, я увидел, что седой человек все так же пристально и, как мне показалось, с некоторым замешательством смотрел на меня. Когда наши глаза встречались, он опускал свои, переводя их на гончую, сидевшую у него меж колен. Это был великолепно сложенный человек, с красивым лбом и довольно крупными чертами лица. Глаза его были со странно нависшей на веки кожей, что бывает только у людей в преклонном возрасте, и складка углов нахмуренного рта придавала его лицу выражение отважной решимости. Он говорил с Монтгомери тихо, так что я не мог расслышать слов. Затем взгляд мой перешел на трех остальных людей, сидевших в баркасе, — на редкость странное сборище.

Я видел только их лица: в них было что-то неуловимое. Что конкретно — я, увы, не смог определить, но именно это и пробуждало во мне

странное чувство отвращения. Я усиленно всматривался в них, и впечатление не проходило, хотя я и не мог понять его причины. Они показались мне темнокожими людьми, но их руки и ноги были обмотаны какой-то грязной белой тканью до самых кончиков пальцев. Никогда еще я не видел таких закутанных мужчин — лишь женщины на Востоке носят подобную одежду. На их головах криво сидели тюрбаны, и из-под этих уборов глядели на меня таинственные лица с выдающейся вперед нижней челюстью и сверкающими глазами. Волосы их, гладкие и черные, напоминали лошадиные гривы. В сидячем положении они казались ростом значительно выше всех виденных мною до сих пор человеческих разновидностей. Седой старик, который, как я видел, был добрых шести футов роста, в сидячем положении был на голову ниже каждого из этих трех людей. Впоследствии я увидел, что на деле они не выше меня, но туловища их были ненормально длинными, а ноги, начиная с бедер, — короткими, странно искривленными. Во всяком случае, они представляли собой удивительно безобразный сброд, и выше их всех, под передним парусом, выглядывало смуглое лицо того самого субъекта, чьи глаза светились в темноте.

Когда взгляды наши встретились, он отвернулся от меня, не переставая украдкой поглядывать в мою сторону. При мысли, что, быть может, я досаждаю им, я перестал их разглядывать и направил все внимание на остров, становившийся ближе.

Остров представлял собой низменную полосу берега, покрытую пышной порослью — главным образом, каким-то незнакомым мне видом пальм. В одном месте тонкая белая струя дыма возносилась на огромнейшую высоту и затем рассеивалась в воздухе белыми, как пух, хлопьями. Мы находились в широкой бухте, кончавшейся с обеих сторон низинами. Берег острова был усеян темным сероватым песком и, круто подымаясь кверху на шестьдесят или семьдесят футов над уровнем моря, неравномерно «застолблялся» деревьями и кустарником, а на полдороги кверху находилась странная пестрая каменная изгородь, состоявшая, как я увидел впоследствии, частично из кораллов и частично из пемзовой лавы. Тростниковые крыши в количестве двух штук выглядывали из-за ограды.

На берегу, ожидая нас, стоял человек. Мне показалось издалека, что еще несколько других странных существ поспешно скрылось в кустарниках откоса; подойдя ближе, я уже больше не

видел их. Ожидавший нас мужчина был среднего роста, с черным, как у негра, лицом. Его широкий рот был почти лишен губ, руки отличались патологической костистой худобой, а искривленные дугой ноги кончались узкими и длинными ступнями. С мрачным, вытянутым вперед лицом он стоял на берегу, ожидая нашего приближения. Одет он был, как Монтгомери и его седой спутник, в рубаху и панталоны из синей саржи.

Человек этот принялся бегать взад и вперед по берегу. Беготня сопровождалась весьма нелепыми телодвижениями. По команде Монтгомери все четверо в баркасе вскочили на ноги и на диво неуклюже принялись спускать паруса. Монтгомери сделал поворот рулем и ввел нас в небольшой узкий док. Человек, стоявший там, кинулся нам навстречу. Наверное, я сделал честь этой простой лагуне, назвав ее доком, но так или иначе длины ей вполне хватало, чтобы во время прилива принять баркас.

Почувствовав, что нос баркаса врезался в прибрежный песок, я оттолкнулся от него деревянным ковшом и, распутав веревку, причалил к берегу. Трое закутанных людей с самыми неуклюжими движениями выкарабкались из баркаса и тотчас же принялись выгружать багаж с помо-

щью человека, ожидавшего нас на берегу. Я был особенно поражен странными движениями ног этих трех закутанных и забинтованных гребцов — они не были неповоротливы, отнюдь нет, но ноги их были искалечены неким странным образом, будто скреплены в ненадлежащих местах. Собаки продолжали рычать и рваться за ними с цепей после того, как седой старик сошел с ними на берег.

Трио долговязых субъектов переговаривалось меж собой при помощи весьма диких горловых звуков, а человек, ожидавший нас на берегу, возбужденно заболтал с ними на каком-то, как показалось мне, иностранном языке, когда они принялись за тюки, сложенные у кормы. Уже где-то раньше слышал я точно такой же голос, но где — не мог припомнить. Старик стоял посреди этой суматохи, держа шестерых собак и покрывая все звуки своими громкими приказаниями. Монтгомери тоже сошел на берег, присоединившись к разгрузке карго. Я был слишком слаб, чтобы после продолжительной голодовки и под солнцем, бившим мне в непокрытую голову, предложить им помощь. Вскоре старик как будто вспомнил о моем присутствии и подошел ко мне.

— У вас такой вид, — сказал он, — как будто

бы вы забыли позавтракать. — Его маленькие черные глазки блестели из-под бровей. — Я должен извиниться за это. Теперь вы наш гость, и мы должны позаботиться о вас, хотя, как вы сами знаете, вы гость непрошеный. — Он прямо взглянул мне в лицо. — Монтгомери сказал, что вы образованный человек, мистер Прендик. Он сказал, вы немного занимаетесь науками. Нельзя ли мне узнать какими?

Я рассказал ему, что занимался несколько лет в Королевском колледже и делал кое-какие биологические исследования под руководством Джулиана Хаксли. Услышав это, он слегка приподнял брови.

— Это немного меняет дело, мистер Прендик, — сказал он с легким оттенком уважения в голосе. — Как ни странно, но и мы тут все биологи. Остров — своего рода биологическая станция. — Взгляд его упал на людей в белом, хлопотливо тащивших водруженную на тачку клетку с пумой по направлению к изгороди. — Мы биологи, по крайней мере Монтгомери и я, — добавил он и резко сменил тему: — Когда вам удастся покинуть нас — неизвестно. Наш остров далек от популярных морских трасс. Не чаще раза в год или около того мы видим здесь проходящие корабли.

Он внезапно оставил меня и, пройдя мимо везущих пуму людей, поднялся вверх по откосу и вошел в дверцу в изгороди. Остальные двое остались с Монтгомери, наваливая груду багажа на низкую тележку. Лама все еще оставалась на баркасе вместе с кроличьими клетками; гончие были по-прежнему привязаны к скамьям. Нагрузив пудов шестьдесят на крякнувшую тележку, все трое схватили ее и принялись втаскивать на гору вслед за пумой. Монтгомери оставил их и, вернувшись ко мне, протянул руку.

— Если хотите знать мое отношение к вам, я безумно рад компании, — сообщил он. — Этот капитан — пропащий человек. Рано или поздно его посудине конец. Он и так доставил вам немало неприятностей — не хватало еще затонуть из-за этого идиота.

— Вы еще раз спасли меня, — заметил я.

— Ну, это как посмотреть… Уверен, остров покажется вам чертовски скучной дырой. Будь я на вашем месте, я постарался бы поскорее выбраться отсюда. Он… — Монтгомери замялся и не досказал того, что едва не сорвалось у него с языка. — Не будете ли вы добры помочь мне выгрузить клетки с кроликами? — спросил он.

Поразмыслив над его поведением, я вошел в

воду и помог ему стащить на берег один из кроличьих домиков. Как только это было сделано, он открыл дверцу ящика и, наклонив его, поступил самым удивительным образом — вывернул все живое содержимое на землю. Кролики попадали друг на друга пушистой барахтающейся грудой. Он ударил в ладоши, и зверьки тотчас же скачками разбежались по берегу. Их было штук пятнадцать или двадцать.

— Растите и размножайтесь, друзья, — проговорил Монтгомери. — Пополните запасы на острове. До сих пор у нас здесь ощущалась определенная нехватка мяса.

Пока я наблюдал за разбегающимися кроликами, вернулся старик с бутылкой бренди и пачкой печенья в руке.

— Вот, принес кое-что для вашего подкрепления, Прендик, — сказал он значительно более дружелюбным тоном, чем раньше.

Не заставляя долго себя упрашивать, я принялся за подачку, в то время как он помогал Монтгомери выпускать на волю еще более двух десятков кроликов. Три оставшихся ящика были отправлены к дому вместе с ламой. К бренди я так и не притронулся, будучи крайне убежденным трезвенником.

Глава 7. Запертая дверь

Надеюсь, читатель поймет, что на первых порах все окружающее казалось мне до того необычайным и было результатом таких неожиданных приключений, что относительная странность того или другого обстоятельства даже и не замечалась мною. Я последовал за ламой, но меня нагнал Монтгомери, попросивший не входить за каменную ограду.

Я заметил тогда, что пума в клетке и груда багажа оставались также перед входом в огороженное место. Обернувшись назад, я увидел, что баркас был окончательно разгружен и вытащен на берег и что старик шел к нам.

— А теперь нам предстоит решить вопрос относительно этого непрошеного гостя, — обратился он к Монтгомери. — Что мы будем с ним делать?

— Он обладает научными познаниями, — ответил ему последний.

— Мне страшно хочется поскорее приняться за дело — поработать над новым сырьем, — сказал старик, кивнув по направлению к изгороди. Глаза его заблестели.

— Охотно верю этому, — ответил Монтгомери

далеко не любезным тоном.

— Мы не можем отправить его туда; да и не можем уделить времени для постройки ему новой хижины. Еще меньше, конечно, можем посвятить его в наше дело.

— Я весь в вашей власти, — сказал я. У меня не было ни малейшего представления о том, что означало это загадочное «туда».

— Я думал о том же, — ответил Монтгомери. — Но у меня имеется комната с наружной дверью.

— Вот это превосходно, — бросил старик, и мы все трое подошли к изгороди. — Мне очень досадно, что приходится окружать дело такой тайной, мистер Прендик, — обратился он ко мне с неподдельно виноватым видом, — но не забывайте, что мы вас здесь все-таки не ждали. Наше маленькое учреждение имеет свой секрет, нечто вроде комнаты Синей Бороды. На деле это не представляет ничего особенно страшного для человека с крепкими нервами. Но пока мы еще не приглядились к вам.

— Да бросьте, — отмахнулся я. — Я зарекомендовал бы себя сущим глупцом, если бы обиделся на отсутствие доверия с вашей стороны.

Его угрюмо сжатые губы скривила скупая, циничная улыбка — старик принадлежал к тому

сумрачному типу людей, которые улыбаются одними уголками рта, — и он совершил неглубокий поклон в знак признательности.

Мы прошагали мимо главного входа ограды. Это были тяжелые деревянные ворота, обитые железом и запертые на замок. Перед ними лежали навалом груды багажа с баркаса. В углу ограды находилась небольшая дверца — прежде я ее не заметил. Старик вынул из кармана засаленных синих брюк связку ключей, отворил дверцу и вошел.

Я последовал за ним и очутился в маленькой комнате, просто, но уютно обставленной. Ее внутренняя полуоткрытая дверь выходила на мощеный двор; ее Монтгомери тотчас же запер. В теневом углу комнаты висел гамак. Небольшое, без стекол, окно, забранное клетью из стали, выходило прямо на море.

— Это помещение, — сообщил старик, — и послужит вам покамест пристанищем. Вот эта внутренняя дверь для предотвращения, гм, досадных случайностей, будет запираться с другой стороны — не обессудьте. Это ваша внешняя граница, и я прошу прощения за то, что провожу ее столь очевидным образом. Но зато в вашем распоряжении вот это кресло… оно очень мягкое

и удобное… прекрасный вид из окна… и неплохая библиотека. Здесь немало раритетных книг по хирургии. Много изданий греческих и латинских классиков — и это, как видите, *оригиналы,* а не вездесущие переложения…

— Не то чтобы я хорошо ориентировался в этих языках, — пробормотал я себе под нос.

Старик задумчиво склонил голову, после чего вышел из комнаты через наружную дверь — будто сознательно избегая еще раз отворить внутреннюю.

— Раньше это был наш обеденный зал, — сказал Монтгомери и тут, будто резко в чем-то усомнившись, припустил вслед за ушедшим. — Моро! — окликнул он его.

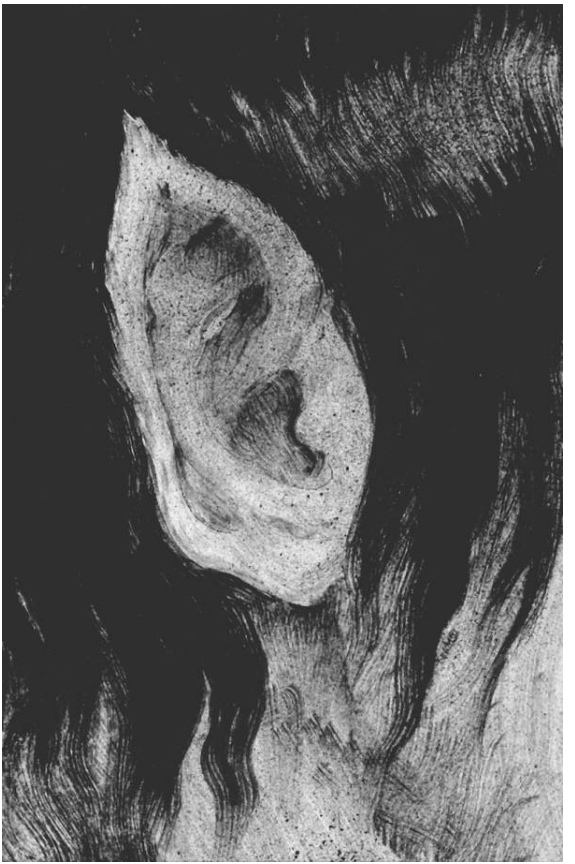
Сначала я не обратил на эту фамилию никакого внимания. Но, просматривая книги на полке, я невольно стал припоминать: где же я мог ее когда-либо слышать?

Сев у окна, я вынул остатки печенья и с аппетитом принялся жевать.

Моро, Моро…

В окно я увидал одного из этих непонятных мужчин в белом, волочившего по пляжу упаковочный ящик. Вскоре его скрыла оконная рама. Затем я услышал, как позади меня в замке по-

вернулся ключ. Через некоторое время я уловил сквозь запертую дверь лай гончих — их все-таки привели с баркаса. Они, в общем-то, даже не лаяли, а как-то странно фыркали и рычали. Я слышал быстрый топот их лап и успокаивающий голос Монтгомери.



На меня произвела большое впечатление тщательно скрываемая этими двумя людьми информация о сути их островного заведения, и какое-то время я размышлял об этом, а также о необъяснимо знакомой фамилии Моро. Но человеческая память — явление странное, и я не смог тогда вспомнить, с какой дисциплиной связан этот довольно-таки известный человек.

Размышления о необъяснимой загадке безобразного, облаченного в белое человека на пляже все больше захватывали меня. Его манера передвижения, все эти странные, дерганые маневры при транспортировке ящика — может, какая-то болезнь спровоцировала подобное искажение привычного человеческого облика? Что ж, если подобная хворь и существовала, я о ней не знал. Вспомнилось, что никто из местных не обмолвился со мной и словом, хотя я замечал их взгляды, порой странные, скользкие, лишенные той открытости, что присуща истинным дикарям. Не смог я разобрать и их язык. Вообще, они отличались поразительной немногословностью, а когда все же нарушали молчание, их голоса резали слух резкостью и неприятным тембром. Что с ними было не так?

В этот момент в памяти всплыли глаза уродли-

вого прислужника Монтгомери.

Он возник как раз тогда, когда мои мысли были заняты им. Теперь он был одет во все белое и нес небольшой поднос с кофе и приготовленными овощами. Я едва не отшатнулся, когда он с учтивым поклоном поставил поднос на стол передо мной.

Крайняя степень удивления навлекла на меня ступор. Прямо под редкими темными прядями его волос я увидел ухо. Оно возникло внезапно перед моим лицом — остроконечное и покрытое тонкой бурой *шерстью!*

— Ваш завтрак, *сэйр,* — сказал он.

Я уставился ему прямо в лицо, чувствуя, что попросту не в силах ответить. Тогда он преспокойно повернулся и направился к двери, диковато косясь на меня через плечо. Я проводил его взглядом, и в этот момент по какой-то странной прихоти подсознания в моей голове всплыла фраза: *меньшинства Моро.* Верно ли?.. Или, может быть…

Бесчинства Моро.

Да, вот как правильно! Память перебросила меня на десять лет в прошлое.

Фраза на секунду всплыла у меня в голове, а затем я увидел ее, написанную красными бук-

вами на маленькой брошюрке темно-желтого цвета, от прочтения которой меня бросало в дрожь. Да, теперь я отчетливо все вспомнил. Эта давно забытая брошюра с поразительной ясностью всплыла в моей памяти. Я был тогда еще совсем мальчишкой, а Моро, я полагаю, было около пятидесяти. Он был выдающимся и искусным физиологом, хорошо известным в научных кругах своей необычайной фантазией и грубой прямотой в дискуссиях.

Неужели старик — *тот самый* Моро? Это он описал несколько поразительных случаев переливания крови и, сверх того, прославился выдающимися исследованиями отклонений и аномалий общего развития организма? Это, получается, его блестящую карьеру жирным крестом перечеркнули — да так, что, по сути, выдворили из Англии? Случилось это так: один пронырливый журналист получил доступ в его лабораторию под видом лаборанта, желая предать все увиденное им сенсационной огласке. Благодаря незавидной случайности — если только это взаправду была случайность, — его пасквиль обрел громкую известность. Как раз в день публикации материала из лаборатории Моро сбежала несчастная подопытная собака с

ободранной шкурой и другими повреждениями.

Все это произошло в пору, когда ощущался недостаток в скандалах, и ловкий издатель, двоюродный брат коварного подложного лаборанта, обратился к совести всего английского народа: вот что вытворяют эти безумные экспериментаторы, когда на них не смотрят! Уже не в первый раз народная совесть противилась «живодерским методам»; поднялась шумиха, и доктор Моро был попросту изгнан из страны. Быть может, его осудили за дело; но уж той тусклой поддержки, какую ученый нашел у своих собратьев, и показушной холодности со стороны бывших горячих соратников Моро точно не заслуживал.

По объяснениям журналиста, иные его опыты проходили «в условиях бессмысленной и ничем не оправдываемой жестокости». Быть может, он мог бы примириться с обществом, прекратив исследования, однако Моро без всякого колебания решил предпочесть свой труд всему прочему, как поступил бы на его месте всякий, кто хоть раз испытывал безумный научный азарт. Моро был холост, так что ему требовалось стоять лишь за самого себя…

Да, надо полагать, старик с острова — *тот самый* Моро.

Буквально все указывало на это. Внезапно в голове моей все прояснилось, и я понял, для чего предназначались пума и прочие животные, доставленные с остальным багажом в ту закрытую зону позади дома. Странный, слабый, смутно знакомый запах, витавший здесь, вмиг получил ясное определение в моих мыслях: это была характерная антисептическая вонь операционной.

Из-за стенки донеслось рычание пумы и жалобный визг одной из гончих.

Собственно говоря, для всякого научно подкованного человека вивисекция — не такой и ужас, и уж точно не требует атмосферы строжайшей секретности. В результате какого-то странного завихрения мыслей остроконечные уши и светящиеся глаза слуги Монтгомери снова ярко встали перед моим внутренним взором. Я смотрел на расстилавшуюся впереди зеленую морскую даль, пенящуюся под напором свежего ветерка, и странные воспоминания этих нескольких последних дней одно за другим стыковались в моей голове.

Что же могло все это означать? Запретная зона на пустынном острове, Моро — в свое время скандально известный вивисектор, эти искалеченные и обезображенные местные жители — что за

этим стоит?..

Глава 8. Крик пумы

Около часу дня мои мысли и подозрения были прерваны приходом Монтгомери. Его странный слуга следовал за ним, неся на подносе хлеб, какие-то овощи и прочую снедь, а еще бутылку виски, кувшин воды, три стакана и три ножа. Я искоса посмотрел на это удивительное существо и увидел, что и оно наблюдает за мной странными бегающими глазами. Монтгомери объявил, что будет завтракать вместе со мной, а Моро слишком занят, чтобы присоединиться к нам.

— Моро? — сказал я. — Мне знакомо это имя.

— Черт побери! — воскликнул он. — И что я за осел, что сказал его вам! Я мог бы раньше подумать об этом. Ну, да все равно, это послужит вам намеком для разъяснения наших тайн. Не хотите ли виски?

— Нет, спасибо. Я, видите ли, вообще не пью.

— Ха, так вы трезвенник? Завидно, завидно! Хотел бы я быть похожим на вас. Ну, тут уж глупо жаловаться на свершившийся факт… Пьянство и сделало меня изгоем. Пьянство и одна весьма туманная ночь. И я счел еще за счастье, когда Моро предложил взять меня с собой. Ирония судьбы…

— Монтгомери, — внезапно прервал я его, как только захлопнулась наружная дверь, — отчего у вашего слуги остроконечные уши?

Монтгомери поперхнулся и с минуту изумленно смотрел на меня с набитым ртом.

— Ос… остроконечные? — переспросил он.

— Да, остроконечные, — ответил я как можно спокойнее, но со стесненным дыханием, — и с тонкой шерстью.

Он преспокойно принялся наливать себе воду и виски.

— Мне всегда казалось, что уши его не видны из-под шапки волос.

— Я увидел их, когда он нагнулся, чтобы поставить на стол присланный вами кофе. А еще его глаза светятся в темноте.

Монтгомери уже пришел в себя от первой неожиданности моего вопроса.

— А я тоже всегда замечал, — спокойно сказал он, слегка шепелявя, — что с его ушами действительно что-то неладно. У него такая, знаете ли, эксцентричная манера прикрывать их волосами. Как же они, говорите, выглядели?

Я был уверен по его виду, что он юлит, но не мог прямо уличить его во лжи.

— Они остроконечны, — повторил я, — неве-

лики и укрыты шерстью, прямо-таки заросли ей. Да и весь этот тип — одно из самых странных существ, какое я когда-либо видел в жизни.

Резкий, хриплый, животный крик страдания донесся до нас из-за находящейся позади ограды. По его глубине и силе можно было понять, что кричит пума.

От моих глаз не укрылось, как Монтгомери вздрогнул.

— Вот как? — вопросительно произнес он.

— Откуда вы его взяли?

— Он из Сан-Франциско. Действительно, он безобразен. Какой-то полупомешанный. Не могу хорошенько припомнить, откуда он. Но я свыкся с ним. Мы оба привыкли один к другому. Чем же он так поразил вас?

— Он весь какой-то противоестественный, — сказал я. — В нем есть что-то особенное… Не примите меня за привереду, но его присутствие инициирует во мне некое отторжение — инстинктивное отвращение, будто я вляпался в какую-то грязь.

Слушая меня, Монтгомери перестал есть.

— Вздор, — сказал он. — Лично я ничего такого не испытываю. — Он снова принялся за еду. — Мне это и в голову не приходило, — проговорил

он, пережевывая кусок. — Сдается мне, матросы на шхуне чувствовали то же самое. Ох, и травили же они беднягу! Вы сами видели, например, как капитан…

Снова раздался жуткий вой пумы, на этот раз еще более страдальческий. Монтгомери выругался. Я уже наполовину решился расспросить его о людях, виденных мною на берегу, но тут бедное животное принялось испускать одно за другим резкие, пронзительные крики.

— Ваши люди на берегу, — все же спросил я его, — что это за этнос?

— Недурные молодцы, не правда ли? — рассеянно ответил он, хмуря брови при каждом новом крике животного.

Я понял, что пытать его бессмысленно.

Снова раздался крик — стократ отчаяннее предыдущих. Монтгомери уставился на меня влажными серыми глазами, постоянно подливая себе виски. При этом он пытался вовлечь меня в спор относительно спиртных напитков; по его мнению, спасением своей жизни я обязан исключительно этому «лекарству». Он, казалось, хотел придать больший вес факту, что я спасся благодаря ему, хотя раньше утверждал, что оценивает поступок достаточно низко, и почестей в свой

адрес не просит. Я отвечал ему невпопад, и вскоре наша трапеза была окончена. Безобразный урод с эльфийскими ушами явился убрать со стола, и тогда Монтгомери снова бросил меня одного в комнате. Завтракая со мной, он все время пребывал в состоянии плохо скрываемого раздражения от криков подвергнутой вивисекции пумы. Он упомянул, что «подобные вещи» его «стращают», и оставил меня с явным доказательством правдивости своих слов.

Я сам находил эти крики весьма раздражающими, а по мере того, как приближалось послеобеденное время, они увеличились в интенсивности и глубине. Сначала они были для меня всего лишь мучительны, но их постоянное повторение в конце концов совершенно расстроило меня. Я отбросил в сторону перевод Горация, который пробовал читать, и, сжав кулаки и кусая губы, стал шагать по комнате из угла в угол. В какой-то момент я даже начал затыкать себе уши пальцами, но действие на меня этих криков все увеличивалось. Наконец в них стала звучать такая потусторонняя степень страдания, что я почувствовал себя не в силах больше оставаться в комнате. Я вышел на воздух, в усыпительный жар полуденного солнца и, пройдя главные воро-

та, снова запертые, повернул за угол ограды.

На воздухе крики звучали еще сильнее.

Казалось, будто все страдание мира сосредоточилось в этих воплях. Я подумал — эта мысль крутилась уже давно, — что если бы точно такое же страдание испытывалось кем-нибудь вблизи меня, но не выражалось бы вовсе звуками, я отнесся бы к нему довольно хладнокровно. Жалость охватывает нас, главным образом, тогда, когда муки облекаются в голос — в звук, терзающий нервы.

Несмотря на яркое сияние солнца в небе и зеленые веера колеблемых свежим морским ветром деревьев, весь мир казался мне мрачным хаосом, полным затуманенных, кровавых призраков. И это видение сохранялось до тех пор, пока я не отошел на расстояние ружейного выстрела от дома с его пестрой оградой.

Глава 9. Нечто из леса

Я пробирался сквозь кустарник, покрывавший холм позади дома, почти не замечая, куда иду. Пройдя мимо густой группы прямоствольных деревьев, я очутился на другой стороне холма. По узкой долине внизу тек ручей. Я остановился, прислушался. Пройденное расстояние (или же густое лиственное убранство деревьев) не пропускало звуки, шедшие из-за забора. Все кругом было тихо. Но вот с легким шорохом выскочил кролик и бросился со всех ног удирать по стелющемуся передо мною склону холма. Постояв немного, я уселся в тени на опушке леса.

Место было красивое. Ручейка было совсем не видать за пышной растительностью его берегов, и только в одном месте треугольной гладью сверкала блестящая поверхность воды. На той стороне, в синеватом тумане, виднелась густая чаща деревьев и ползучих растений, а над ними простиралось все то же ясное голубое небо. Тут и там были разбросаны белые и малиновые сплетения каких-то цветущих вьюнков. Некоторое время взгляд мой блуждал по окрестному пейзажу, но затем мысли мои снова вернулись

к странным особенностям слуги Монтгомери. Однако было слишком жарко для усиленных размышлений, и скоро я впал в какое-то полудремотное состояние — нечто среднее между сном и бодрствованием.

Не знаю, через сколько времени меня разбудил шелест зелени на противоположной стороне ручья. Сперва я увидел лишь колеблющиеся верхушки папоротников и тростников. Вдруг на берегу показалось что-то, но что это было — я не мог рассмотреть с первого взгляда. Оно нагнуло голову и принялось пить. Тут только я увидел, что это был человек… но это был человек, ходящий *на четвереньках,* подобно животному!

Он был одет в голубоватую робу. Волосы у него были черные, а тело и лицо — медно-красного цвета. По-видимому, необычайное безобразие было общей чертой всех островитян по соседству с Моро. Я мог даже расслышать, как он втягивал в себя воду.

Я наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть его. Кусочек лавы, отколовшейся от движения моей руки, покатился вниз по откосу. Дикарь с отчетливо виноватым видом вскинул голову — и глаза наши встретились.

Он тотчас же вскочил и какое-то время стоял,

вытирая рот неуклюжей рукой и смотря на меня. Ноги его были почти в два раза короче его туловища. Так мы, быть может, с минуту смущенно и неподвижно созерцали друг друга.

Затем, оглянувшись на меня раз или два, он рванулся в кусты, и я услышал, как шум листьев делался все слабее и слабее, пока совершенно не затих где-то вдали. Время от времени островитянин оборачивался и пристально смотрел на меня. Еще долго после того, как он скрылся из виду, я продолжал сидеть, глядя ему вслед. Всю мою дрему точно рукой сняло.

Вздрогнув от шума, раздавшегося позади меня, и резко обернувшись, я увидел белый мелькающий хвост кролика, скрывшегося на вершине откоса. Я вскочил на ноги.

Появление страшного полузвериного существа показало мне, что это безлюдное место может быть обитаемым. Я нервно осмотрелся вокруг себя, жалея о том, что не имею оружия. Тут мне пришла в голову мысль, что только что виденный мной человек был в синеватой одежде, а не нагим, каким подобало быть настоящему троглодиту. Я постарался убедить себя, что, по всей вероятности, он был мирно настроен и что мрачная свирепость его вида мне всего лишь

привиделась.

Но все же его появление сильно расстроило меня. Я пошел влево по откосу холма, смотря по сторонам, заглядывая в прорехи меж прямых древесных стволов. Почему этот человек ходил на четвереньках и пил воду ртом, даже не зачерпывая ладонью? Тут я снова услыхал вой животного и, предполагая, что это пума, повернулся и пошел в направлении, диаметрально противоположном доносившимся до меня звукам. Дорога привела меня вниз к ручью. Миновав ручей, я продолжал пробивать себе путь сквозь находящийся позади него кустарник. Ярко-красное пятно на земле привлекло к себе мое внимание. Подойдя к нему ближе, я увидел, что это был странного вида гриб, сильно разветвленный и сморщенный, похожий на листовидный лишайник. При первом же моем прикосновении он расплылся в мягкую слизь. Дальше под тенью роскошных папоротников я набрел на очень неприятную картину: труп кролика, весь облепленный золотистыми мухами, еще теплый, с оторванной головой.

Я остановился, пораженный видом крови. На острове погиб насильственной смертью один из его обитателей! На трупе не было никаких других признаков насилия. Казалось, он был внезапно

схвачен и убит. Смотря на это маленькое пушистое мягкое тельце, я невольно задал себе вопрос: как это могло случиться? Ощущение смутного страха, вызванное во мне нечеловеческим лицом существа, пившего у ручья, приняло теперь куда более конкретную форму. Я почувствовал, сколько опасности заключалось для меня в пребывании здесь, среди этих незнакомцев. Окружающая чаща стала казаться иной моему воображению. Каждый темный уголок превратился в засаду, каждый шорох — в предвестник беды. Мне казалось, что какие-то незримые существа всюду подстерегают меня.

Я решил вернуться обратно к дому. Быстро повернувшись, я стремительно, почти с исступлением, кинулся сквозь кустарник, желая как можно скорее выйти на открытое место.

Я замер как раз перед выходом на лужайку. Она являла собой нечто вроде просеки. Молодые растения уже начинали завоевывать себе пустые пространства, а за ними снова сплошной стеной встала густая чаща стволов, переплетенных лозами и пучками цветущих паразитных растений. Передо мной, поджавши ноги, на грибовидных остатках огромного упавшего ствола дерева, все еще не замечая моего приближения, сидело три

странных человеческих существа.

Одним из них, очевидно, была женщина, два других — мужчины. Они были голы, если не считать кусков красной материи, обвивающих их талии. Кожа их была темно-желтоватого цвета, какой я никогда еще не встречал ни у одного из дикарей. Их округлые крупные лица были лишены подбородка, лоб выдавался вперед, а на голове виднелись редкие щетинистые волосы. Я никогда еще не видел таких странных, воистину звероподобных существ.

Они разговаривали меж собой; или, вернее, один из них говорил с двумя остальными, но все трое были так сильно заинтересованы, что никто не засек моего приближения. Они качали головами и сами раскачивались из стороны в сторону. Слова говорившего вылетали так часто и неясно, что, хотя я и слышал их отчетливо, все же не мог их разобрать. Казалось, он рассказывал какую-то мудреную тарабарщину. Скоро звуки его голоса огрубели, и он, дико размахивая руками, вскочил на ноги.

Остальные двое также встали и, также размахивая руками, принялись вторить ему, раскачиваясь в такт своего пения. Я заметил ненормальную укороченность их ног и утлые неуклюжие ступ-

ни. Все трое медленно кружились, поднимая и опуская ноги и размахивая руками. Своего рода мотив слышался в их ритмическом напеве, а припевом в нем звучало что-то похожее на «алула» или «валула». Глаза их блестели, и безобразные лица озарились выражением странной радости. Слюна текла из беззубых ртов.



И тут внезапно, пока я наблюдал их потешные и невыразимо странные жесты, я ясно понял, чем, собственно, они так неприятно поражали меня и вызывали непоследовательное, противоречивое впечатление чего-то крайне необычного и вместе с тем странно знакомого. Эти существа, погруженные в исполнение таинственного обряда, могли сойти за людей, но только если к ним не приглядываться. Человеческий образ был странно перемешан в них с чем-то знакомым мне… *звериным*. Несмотря на свой внешне людской вид, лохмотья одежд и все их грубое подобие человека, каждый из них имел на всем своем существе печать чего-то животного — в движениях, в манере держаться, в каком-то безусловном звероподобии.

Я стоял, пораженный этими удивительными гибридами, и самые ужасные вопросы вихрем носились у меня в голове. Странные создания одно за другим принялись наконец высоко подпрыгивать в воздухе, крича и как будто хрюкая. Одно из них поскользнулось и на минуту встало на четвереньки, прежде чем успело снова подняться на ноги. Но для меня и в таком кратковременном проблеске этой животной черты достаточно ярко сказалась вся сущность этих монстров.

Насколько мог, я бесшумно повернулся и, весь цепенея от ужаса при мысли, что треск сучка или шелест листьев может выдать меня, бросился назад в кустарники. Прошло много времени, прежде чем я почувствовал себя смелее и свободнее в движениях.

В эту минуту единственной мыслью было уйти подальше от безобразных существ, и я совсем не заметил, как вышел на еле заметную тропинку, проложенную среди деревьев. Тут неожиданно, пересекая мелкую просеку, я вздрогнул, увидев меж стволами неизвестно кому принадлежащую пару ног, бесшумно двигавшуюся параллельно мне на расстоянии где-то в три десятка ярдов. Голова и верхняя часть туловища были скрыты густой листвой ползучих растений. Я сразу остановился, надеясь, что бегущее существо еще не увидело меня. Но в это же самое мгновение остановились и ноги. Я был так нервно настроен, что с величайшим трудом удержался от непреодолимого желания бежать, очертя голову.

Пристально вглядевшись в переплетение ветвей, я различил голову и туловище того самого животного, которое видел пьющим у ручья. Оно взглянуло на меня, и тут из мрака деревьев в глазах его сверкнул зеленоватый огонек — ка-

кой-то светящийся блеск, погасший, как только оно снова отвернуло голову. С минуту оно оставалось неподвижным, а затем снова бесшумно пустилось бежать сквозь зеленую заросль кустов и деревьев. Прошла еще минута, и оно исчезло позади каких-то кустов. Я больше не видел его, но чувствовал, что оно остановилось и наблюдало за мной.

Кем было это создание — человеком или животным? Что ему от меня нужно? Я был совершенно безоружен — не имел под рукой даже палки. Бегство от него было бы безумием. Во всяком случае, этому существу, кем бы оно ни было, недоставало мужества напасть на меня. Стиснув зубы, я прямо направился к нему, всеми силами стараясь не выказать страха, хоть у меня по спине и пробегал мороз. Я пробрался сквозь заросль цветущих кустарников и увидел его в двадцати шагах от себя, смотрящего на меня в нерешительности через плечо. Я приблизился на шаг или два, упорно глядя ему в глаза.

— Кто ты такой? — вопросил я.

Он попытался встретиться со мной взглядом.

– *Нет*, — внезапно выдал он и, развернувшись, побежал прочь от меня через подлесок. Затем он повернулся и снова уставился на меня. Его глаза

ярко сияли в сумраке, царившем под деревьями.

Душа моя ушла в пятки, но я чувствовал, что моим единственным спасением была смелость, и я продолжал идти прямо на него. Он обернулся еще раз и исчез в чаще. Его глаза — нечеловечески яркие — будто бы снова сверкнули на меня, но и только.

Теперь я сообразил, насколько опасным являлся для меня этот поздний час. Несколько минут назад зашло солнце. Скорые сумерки тропиков уже занимались на восточной стороне неба, и ночной мотылек бесшумно порхал над моей головой. Чтобы не проводить ночь среди неведомых опасностей таинственного леса, я должен был поспешить обратно к дому.

Мысль о возвращении в это обиталище страдания была для меня крайне неприятной, но еще более неприятно было оставаться захваченным темнотой и всем тем, что она могла скрывать в себе. Я еще раз взглянул на синеватый мрак, поглотивший странное существо, и затем повернул назад, вниз по откосу, к реке, идя, как я предполагал, в том же направлении, откуда пришел.

Я быстро продвигался вперед, смущенный всем происшедшим, и вскоре очутился на ровном месте с несколькими изредка разбросанными

по нему деревьями. Прозрачная ясность неба, наступающая после заката солнца, уже сменялась мраком. Небесная лазурь темнела с каждой минутой, как будто уходила куда-то вглубь, и маленькие звездочки одна за другой начинали слабо светиться на небе. Промежутки деревьев, прогалины в отдаленной зелени, казавшиеся синевато-дымчатыми в ярком свете дня, становились теперь черными и таинственными.

Я шел вперед. Все кругом потеряло краски. Верхушки деревьев черными силуэтами вырисовывались на светло-голубом фоне неба, и все лежащее ниже их сливалось в единую бесформенную массу. Вскоре деревья поредели, а кустарник стал еще гуще. Он сменился унылым открытым пространством, выстланным белым песком, а за ним потянулась новая заросль зелени.

Меня мучил раздающийся справа слабый шумок. Я решил сперва, что это лишь игра моего воображения, так как стоило мне остановиться, и тотчас же наступала полнейшая тишина, прерываемая только шелестом вечернего ветерка. Но как только я снова продолжал путь, моим шагам вторили *еще чьи-то* шаги.

Я удалился от чащи, держась ближе к открытым местам и стараясь время от времени неожидан-

ными поворотами обнаружить это крадущееся за мною создание, если, конечно, оно существовало. Но я не видел ничего подозрительного, и, несмотря на это, ощущение чьего-то стороннего присутствия становилось все сильнее и сильнее. Я ускорил шаги и, подойдя вскоре к небольшому холму, пересек его и круто повернул в противоположную сторону, не спуская, однако, с него глаз. Холм ясно вырисовывался на темневшем фоне неба.

Тотчас же на горизонте показалась какая-то бесформенная масса; вот она есть — и вот ее уже не видать. Теперь я был вполне уверен, что мой темнокожий противник снова крался за мной. К этому осознанию присоединилось еще новое печальное открытие — уверенность в том, что я заблудился.

По инерции я продолжал продвигаться вперед в безнадежном унынии, преследуемый этим тайным врагом. Как бы то ни было, но этому созданию недоставало мужества напасть на меня, или оно ждало более благоприятных условий. Я упорно держался открытых мест. Временами я останавливался и прислушивался и вскоре наполовину убедил себя, что мой преследователь прекратил погоню… или попросту существовал

лишь в моей расстроенной голове. Почти пустившись бежать, я в то же мгновение услышал, как позади меня кто-то споткнулся.

Мгновенно повернувшись, я уставился на смутно темневшие позади меня деревья. Одна черная тень, казалось, сливалась с другой. Я прислушался, весь цепенея от страха, но слышал только, как кровь стучит у меня в висках. Подумав, что нервы мои переутомлены и слух мой обманывает меня, я снова решительно повернулся и направился к морю.

Минуту или две спустя деревья поредели, и я вышел на оголенный низменный мыс, вдававшийся в темную воду. Ночь была тихая и ясная, свет множества звезд отражался и дрожал в гладкой поверхности моря. Вдалеке на неровно выступающей гряде скал слабым блеском светился прибой.

На западе зодиакальный свет сливался с желтоватым сиянием вечерней звезды. Берег тянулся от меня вдаль на восток, а с западной стороны скрывался за выступом мыса. Я вспомнил тогда, что пляж, где находился дом Моро, лежал к западу.

Позади меня треснул сучок. Послышался шорох. Я обернулся и замер, таращась на темную массу деревьев. Я не мог ничего разобрать или,

вернее, видел слишком много. Каждое темное очертание имело в темноте своеобразную форму, вызывало в душе странное ощущение чего-то живого и подстерегающего. Постояв так с минуту и все еще оглядываясь на деревья, я повернул к западу, собираясь пересечь мыс. И как только я двинулся, одна из подстерегавших меня теней зашевелилась и последовала за мной.

Сердце мое учащенно забилось.

Вскоре на западе показалось широкое очертание бухты, и я снова остановился. Тихая тень замерла вместе со мной, соблюдая дистанцию в десяток шагов. Маленькая светящаяся точка блестела на дальнем повороте изгиба бухты, и весь серый песчаный берег освещался тусклым звездным светом. Тот маленький огонек находился на расстоянии около двух миль. Чтобы достичь пляжа, я должен был пересечь лес, полный коварных теней, и сойти вниз по поросшему кустарником откосу.

Теперь я куда яснее мог разглядеть преследующее меня существо. Оно не было зверем, так как стояло на двух ногах. Я раскрыл рот, чтобы заговорить, но спазма сдавила мне горло. Я попробовал еще раз крикнуть:

— Кто там?

Ответа не было.

Я сделал шаг вперед.

Создание не шевельнулось, но явно насторожилось. Ногой я задел камень.

Тут меня осенило. Не спуская глаз с темной фигуры передо мной, я нагнулся и поднял камень. Увидев мое движение, преследователь быстро повернулся и, как это делают собаки, прянул под защитный покров леса.

Я вспомнил школьный прием, который мы использовали против особенно настырных бродячих собак, непременно прибивающихся к излюбленным мальчишками заброшенным зданиям. Обернув камень в свой носовой платок, я привязал концы тканевого отреза к кисти. Так у меня вышло что-то наподобие цепного моргенштерна[2], разве что без шипов.

В глубинах мрака я уловил движение, как будто бы мой преследователь отступал. Мое состояние сильного возбуждения сразу пропало. Я чувствовал дрожь при виде убегающего противника; холодная испарина выступила на лбу.

---

[2] Примечания: 2

Цепной моргенштерн (нем. Morgenstern, букв. «утренняя звезда») — холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабженного шипами и соединенного с длинной рукоятью цепью.

Прошло какое-то время, прежде чем я набрался смелости спуститься, перебежав деревья и кусты — на противоположную сторону мыса, к пляжу. Выйдя из чащи на песок, я тотчас же услыхал, как кто-то, продираясь с треском, последовал за мной.

Окончательно потеряв от страха голову, я пустился бежать по берегу моря. За мной вдогонку раздавался быстрый топот мягких пят. Я испустил дикий крик и удвоил скорость бега. Несколько неопределенных черных предметов величиной с кролика три или четыре раза, спасаясь от какого-то преследования, скачками направлялись мимо меня в кустарники. Никогда в жизни не забуду я ужаса этой погони. Я бежал у самой воды и иногда слышал топот преследователя, потихоньку настигавшего меня. Далеко, безнадежно далеко светился спасительный огонек… Все вокруг нас было темно и тихо. Звук преследующих меня шагов слышался все ближе и ближе. Я задыхался, так как окончательно выбился из сил; дыхание вылетало у меня со свистом, а в боку кололо так сильно, будто в него вонзили нож. Я видел, что таинственное существо настигнет меня гораздо раньше, чем я успею достичь ограды. В ужасе захлебываясь криком, я сделал крутой поворот и

изо всех сил ударил его, как только оно приблизилось ко мне. Как из пращи, вылетел мой камень из обхватывающего его платка.

Когда я повернулся, преследователь, бежавший за мной на четвереньках, поднялся на ноги, и мой метательный снаряд попал ему прямо в висок. Послышался сильный удар по черепу, и человек-зверь, размахнувшись, оттолкнул меня руками и, шатаясь, упал возле меня, головой вперед и лицом в воду. Он остался там неподвижно лежать.

Я не мог заставить себя подойти к этой черной груде. Я оставил его там около текущей вокруг его тела воды под тихим светом мерцающих звезд и продолжил свой путь к желтому огоньку далекого жилища.

Скоро с чувством подлинного облегчения я услыхал жалобный вой пумы, тот самый вой, что побудил меня к исследованию этого таинственного острова. И хотя я был слаб и страшно утомлен, я собрал последние силы и пустился бежать по направлению к свету. Мне показалось, что чей-то голос звал меня во тьме.

Глава 10. Глас вопиющего

Приблизившись к дому, я увидел, что огонек горит из раскрытой двери моей комнаты, и тотчас же услыхал из темноты голос Монтгомери, кричавший:

— Прендик!

Я продолжал бежать. Несколько минут спустя он еще раз позвал меня. Я едва слышно отозвался на его голос и минуту спустя предстал пред ним, пошатывающийся и запыхавшийся.

— Где вы были? — спросил он, удерживая меня рукой на таком расстоянии, что свет, падавший из двери, бил мне прямо в лицо. — Мы оба были так заняты, что вспомнили о вас только полчаса назад. — Он ввел меня в комнату и усадил в кресло. На несколько минут свет совершенно ослепил меня. — Кто бы мог подумать, что вы отправитесь исследовать остров, не предупредив нас! — укоризненно добавил он.

— Меня доконали эти вопли. Но… что это?.. — Мои последние силы оставили меня, и голова упала на грудь. Монтгомери не без удовольствия заставил меня пригубить бренди. — Ради бога, — взмолился я, — заприте дверь!

— Вы повстречались с кем-то из наших достопримечательностей, да? — спросил он.

Он запер дверь и снова повернулся ко мне. Он не задавал мне больше вопросов, но дал новый глоток бренди с водой и заставил меня есть. Я был в полном изнеможении. Он как-то неясно выразился о том, что забыл предупредить меня, и коротко спросил, когда я ушел из дому и что видел. Я так же коротко, отрывочными фразами отвечал ему.

— Скажите мне, что же все это значит? — спросил я его в состоянии, близком к истерике.

— Ничего особенного, — ответил он. — Но я думаю, вы сегодня вполне натерпелись.

Неожиданно раздался раздирающий душу крик пумы. Монтгомери тихо выбранился.

— Будь я проклят, — произнес он, — если это место не так же скверно, как Гауэр-стрит с тамошними мартовскими котами.

— Монтгомери, — спросил я, — что это было за существо, преследовавшее меня? Это животное или человек?

— Если вы сейчас не ляжете спать, — сказал он вместо ответа, — то завтра совсем сойдете с ума.

Я встал прямо перед ним.

— Что за тварь гналась за мной? — отчеканил

я, всем своим видом давая понять, что на сей раз увернуться от ответа не выйдет.

Монтгомери странно посмотрел мне в глаза и скривил рот. Глаза его, еще минуту назад вполне оживленные, вдруг потускнели.

— Судя по вашему рассказу, — сказал он, — это, должно быть, привидение.

Я почувствовал прилив сильнейшего раздражения, так же быстро исчезнувшего, как и народившегося. Упав в кресло, я сжал лоб руками. Пума опять принялась выть.

Монтгомери обошел меня сзади и положил руку на мое плечо.

— Послушайте, Прендик, — сказал он. — У меня не было ни малейшего желания брать вас с собой на этот остров. Но дело все же не обстоит так плохо, дружище, как это вам кажется. Нервы ваши совсем истрепались. Послушайтесь меня и примите успокоительный порошок. Это безобразие, — тут он явно намекал на крик пумы, — продлится еще несколько часов. Вы обязательно должны заснуть, иначе я ни за что не ручаюсь.

Я не отвечал ему. Нагнувшись, я закрыл лицо руками. Скоро он вернулся с маленькой склянкой, полной какой-то темной жидкости. Он дал

мне ее выпить. Я беспрекословно проглотил ее, и он помог мне взобраться в гамак.

Когда я проснулся, было уже совсем светло. Какое-то время я продолжал лежать без движения, уставившись в потолок. Я увидел, что балки его были сделаны из корабельного леса. Повернув голову, я обратил внимание, что на столе стояла приготовленная для меня еда. Я почувствовал голод и собрался было вылезти из гамака, как он сам весьма любезно предупредил мое намерение — перевернулся и вывалил меня на пол. Я упал на четвереньки.

Поднявшись на ноги, я сел за стол. В моей тяжелой голове крутились весьма смутные воспоминания о происшествии накануне. Утренний ветерок приятно вливался в не закрытое стеклом окно и вместе с вкусным завтраком навевал мысли об отдыхе в тропическом раю.

Позади меня внутренняя дверь, ведущая во двор, распахнулась. Я обернулся и увидел Монтгомери.

— Как поживаете? — спросил он. — Я вот страшно занят. — Он тотчас же захлопнул дверь, но я заметил немного погодя, что он забыл ее запереть.

Мне невольно припомнилось вчерашнее выра-

жение его лица, а вместе с ним воскрес в памяти и весь инцидент. Вспоминая пережитый ужас, я услышал крик. На этот раз кричала не пума. Я опустил руку с поднесенным ко рту куском и прислушался. Царила полнейшая тишина, прерываемая только шепотом бриза. Я подумал, что это мне только послышалось.

После длинной паузы я снова принялся за еду, все еще внимательно прислушиваясь. Немного погодя донесся новый крик, тихий и слабый. Я так и замер на месте. Он потряс меня сильнее, чем все вопли, слышанные до сих пор. На этот раз не могло быть ошибки в характере этих слабых, прерывистых звуков, не было никакого сомнения в их природе: это был стон, прерываемый рыданиями и мучительными вздохами. Это уже не было животное. Это было терзаемое *человеческое существо*. Поняв это, я вскочил на ноги и, в три прыжка очутившись на противоположной стороне комнаты, схватился за ручку двери, выходившей во двор, и широко распахнул ее.

— Прендик, дружище, стойте! — крикнул вдруг выросший передо мной Монтгомери.

Испуганная собака залаяла и зарычала. В раковине, стоявшей у порога, скопилась алая кровь — яркая и вместе с тем темная. По обонянию уда-

рил специфический запах карболовой кислоты. Далее сквозь открытую дверь в неясной полутьме я увидел что-то привязанное к какому-то станку — все изрезанное, окровавленное и забинтованное. И над этим страждущим куском мяса, замывая кровь, показался старик Моро — седой, угрюмый и кошмарный.

В одно мгновение он схватил меня за плечо своей вымазанной рукой, повернул, как ребенка, поднял меня в воздух и яростно швырнул обратно в комнату. Я упал на пол, больно стукнувшись лопатками и растянувшись во весь рост. Дверь захлопнулась за мной и скрыла от меня пышущее гневом лицо Моро. Я услыхал, как ключ повернулся в замке, и как тут же забормотал укоризненный голос Монтгомери.

— …портить работу целой жизни, — услышал я обрывок фразы старого ученого.

— Он не понимает, в чем дело, — возразил на это Монтгомери и добавил еще что-то, чего я не расслышал.

— Но у меня пока нет времени на это, — произнес Моро.

Остального я опять не разобрал. Я поднялся на ноги и стоял, весь дрожа, полный самых страшных подозрений. «А возможна ли, — думал

я, — вивисекция человека?» Этот вопрос блеснул, точно молния, прорвавшаяся сквозь грозовые тучи, и вместе с ним в мой помраченный диким ужасом разум залетела простая мысль: *на этом острове я все время в опасности.*

Глава 11. Охота за человеком

Безрассудная надежда на спасение не покинула меня, так как наружная дверь комнаты все еще стояла открытой. Ныне я окончательно убедился, что Моро занимался вивисекцией людей. С самого начала своего прибытия на остров, слыша его имя, я постоянно силился каким-нибудь образом согласовать чрезвычайную уродливость островитян с его мерзкими деяниями; теперь же все становилось кристально ясным. В памяти воскресли его работы о переливании крови. Виденные мною создания — жертвы его гнусных опытов!

С лживым радушием Моро и Монтгомери собирались охранять меня, притупляя мою бдительность дружескими обещаниями; тем легче уготовить мне участь хуже самой смерти — пытки и ужаснейшее унижение, какое только можно представить. Чтобы я, озверевший от невыносимой боли, примкнул к числу остальных уродов на острове — да ни за что!

Я обшарил помещение взглядом в поисках оружия, но не нашел ничего пригодного. Какое-то вдохновение осенило меня свыше. Я перевернул

складное кресло и, наступив на одну из его сторон ногой, вырвал из него самый толстый брусок. Случайно вместе с деревом вырвался и гвоздь, прошедший его насквозь; с этим «улучшением» брусок вполне сходил за какой-никакой смертоубийственный инструмент. Все лучше, чем просто дурацкая палочка.

Я услыхал снаружи шум приближающихся шагов, моментально распахнул дверь и увидел совсем близко от себя Монтгомери. Он намеревался запереть наружный выход.

Я поднял свою палку с гвоздем и размахнулся ею, намереваясь ударить его прямо по лицу, но он отскочил назад. С минуту я оставался в нерешительности, потом повернулся и бегом обогнул угол дома.

— Прендик, дружище! — услышал я его удивленное восклицание. — Дружище, вы чего!..

«Еще одна минута, — подумал я, — и он бы запер меня, как кролика для вивисекции». Он показался из-за угла, и я снова услыхал, как он позвал меня:

— Прендик! — Затем он пустился бежать за мной, все время крича мне что-то вслед.

На этот раз наудачу я пустился в северо-восточном направлении, под прямым углом от-

носительно моего вчерашнего пути. Стремглав мчась по берегу, я разок оглянулся назад и увидел, что вместе с Монтгомери был и его слуга. Я с бешеной скоростью пересек откос и свернул в восточном направлении вдоль долины, с обеих сторон окаймленной тростником. Пробежал я так порядка мили, выбиваясь из сил и слыша, как в груди у меня колотится сердце. Но, увидев, что ни Монтгомери, ни его слуга более не преследуют меня, и чувствуя себя в крайней степени изнеможения, круто повернул назад, где, по моему предположению, был берег, и упал наземь в тени тростников. Там я долго провалялся, боясь шелохнуться и даже подумать о дальнейшем плане действий. Дикий пейзаж вокруг меня расстилался под знойными лучами солнца, настороженный и неподвижный, и я слышал тонкое жужжание успевших учуять меня комаров. Затем до меня донесся однообразно-усыпительный плеск воды — шум бьющейся о берег морской волны.

Около часа спустя я услышал голос Монтгомери, звавшего меня откуда-то с северной стороны острова. Это побудило меня подумать о дальнейшем плане действий. На острове, по моему убеждению, жили только эти два вивисектора и их озверевшие жертвы. Конечно, последние, в

случае крайней нужды, могли быть натравлены на меня. Я знал, что у Моро и Монтгомери имелось по револьверу; я же, если не считать маленького деревянного бруска, снабженного гвоздем, был безоружен.

Я продолжал лежать до тех пор, пока не подумал о пище и питье, и тут сразу ощутил всю полную безвыходность своего положения. Я совершенно не знал, как раздобыть себе еду в здешних условиях. Я был слишком несведущ в ботанике, чтобы отыскать какие-нибудь съедобные коренья или плоды среди здешней флоры. Еще у меня не было никаких средств, чтобы поймать в западню немногочисленных кроликов, бегавших по острову. Чем больше я обдумывал всевозможные способы, тем яснее становилось, что на практике ни один из них не реализовать. Наконец, осознав безнадежность своего положения, я невольно подумал о тех зверолюдях, встреченных в лесу. Вспоминая их, я старался найти для себя надежду. Я поочередно перебирал каждого из них в памяти, соображая, не может ли хоть кто-то оказать мне помощь.

Вдруг послышался лай гончей собаки, означавший для меня новую опасность. Недолго думая, я схватил палку с гвоздем и стремглав кинулся из

своего убежища по направлению к морю. Помню куст колючек, чьи шипы вонзились в меня, как ножи; я встал из него весь окровавленный, в подранной одежде, и выбежал прямиком к маленькой бухте, тянувшейся к северу. Не колеблясь ни минуты, я вошел в воду и, перейдя вброд бухту, по колено окунулся в маленькую речку. Выкарабкавшись наконец на западный берег и слыша, как сильно бьется в груди сердце, я заполз в заросли тростников, ожидая исхода. Я услыхал, как собака — всего одна, на счастье, — подбежала поближе, залаяв около колючек. Больше я ничего не слышал и начал думать, что избежал погони. Проходили минуты, тишина вокруг меня ничем не нарушалась. После часа спокойствия мужество стало возвращаться ко мне.

Теперь я не чувствовал больше ни сильного страха, ни отчаяния. Эта было потому, что я переступил границы того и другого. Я осязательно чувствовал, что жизнь моя навсегда потеряна, и эта уверенность делала меня способным решиться на что угодно. Мне хотелось даже встретиться с Моро лицом к лицу. После перехода речки вброд я вспомнил о том, что если дело дойдет до крайности, то у меня всегда останется путь к спасению от пыток — они не смогут помешать мне утопиться.

Я уже тогда был на полпути к исполнению этой задумки, но какой-то странный каприз увидеть все до конца, дикий безличный интерес наблюдателя, удержал меня от рокового шага. Я размял усталые руки и ноги, все изрезанные шипами колючек, и огляделся.

Вдруг — так неожиданно, будто оно выпрыгнуло из зеленой окружавшей меня заросли, — я увидел черное лицо, наблюдающее за мной. Я вспомнил: это то самое обезьяноподобное существо, встретившее на берегу баркас.

Оно висело, уцепившись, на косом стволе пальмы. Я схватил палку и встал, смотря прямо ему в лицо. Этот дикарь принялся что-то бормотать.

— Ты, ты, ты, — это было все, что я мог сначала разобрать в его словах. Он внезапно соскочил с дерева и в следующее же мгновение, раздвинув тростники, стал с любопытством смотреть на меня.

Я не чувствовал к этому существу того отвращенья, которое испытывал при встречах с остальными зверолюдьми.

— Ты, — сказал он, — ты был в лодке. — Это, в конце концов, был человек — настолько же человек, сколь и слуга Монтгомери. Он хотя бы умел говорить.

— Да, — сказал я. — Я приехал в лодке с корабля.

— О! — сказал он, и его блестящие, беспокойные глаза забегали по мне, по моим рукам, по палке с гвоздем, по ногам и разорванным клочьям одежды, по порезам и царапинам, полученным мною от шипов.

Он был, казалось, чем-то удивлен. Глаза его возвращались к моим рукам. Он вытянул свою руку и стал медленно считать свои пальцы.

— Один, два, три, четыре, пять, да?

Я не понял тогда, что он хотел этим сказать. Впоследствии я узнал, что у большинства зверолюдей были уродливо-ненормальные руки, коим недоставало подчас даже двух-трех пальцев. Но, думая, что это своего рода приветствие, я в ответ проделал то же самое.

Он оскалил зубы с невыразимым удовольствием. Его шуганный, блуждающий взгляд снова обежал все вокруг. Совершив странный жест, он исчез. Папоротники, где он стоял, с шелестом сомкнулись за ним.

Я вышел за ним из тростников и, к своему удивлению, увидел его раскачивающимся, держащимся одной тонкой рукой как бы за тросы из вьющихся растений, свисавших с деревьев

над его головой. Он висел, повернувшись ко мне спиной.

— Эй! — сказал я.

Он спустился вниз стремительным прыжком и встал, смотря на меня.

— Где бы я мог чего-нибудь поесть? — спросил я его.

— Поесть? — повторил он. — Человеческая пища — это еда. — Взгляд его снова обратился на зеленые качели. — В хижинах.

— Но где же хижины?

— О!

— Я здесь новенький.

Он повернулся и быстро пошел. Все движения его были любопытно-проворны.

— Иди за мной, — сказал он.

Я пошел за ним, чтобы увидеть все до конца.

Я догадывался, что хижины должны быть каким-нибудь первобытным жилищем, где обитал он с другими животными-людьми. Быть может, я найду их миролюбивыми; быть может, я сумею войти с ними в контакт. Я тогда не подозревал, насколько они позабыли вмененное им мной человеческое наследие. Мой обезьяноподобный спутник трусил рядом со мною, с висящими книзу руками и выдающейся вперед челюстью.

Любопытно узнать, насколько в нем сохранилось воспоминание о его человеческом прошлом.

— С каких пор ты на этом острове? — спросил я.

— С каких пор? — переспросил он.

И, повторив вопрос, он поднял кверху три пальца. По-видимому, он был немногим сметливее кретина.

Я постарался выяснить, что он хотел этим сказать, и, очевидно, наскучил ему. После одного или двух новых вопросов он внезапно оставил меня и устремился за каким-то плодом, свисающим с дерева. Он сорвал полную горсть колючих скорлупок и принялся за их содержимое. Я отметил это с удовольствием, так как, по крайней мере, тут был намек на пищу. Я попробовал задать ему еще несколько вопросов, но его быстро протараторенные ответы были наполовину бестолковы. Только немногие из них имели смысл, остальные же были как будто заучены. Я был настолько поглощен всеми здешними странностями, что почти не замечал дороги, по которой мы шли. Скоро мы приблизились к каким-то деревьям, совсем обугленным и коричневым, а за ними вышли на голое место, покрытое желтовато-белой корой. По нему стлался дым, щипавший мне нос и глаза

едкими клубами. Справа за голой каменистой возвышенностью была глубокая гладкая поверхность моря. Извивающаяся тропинка внезапно повернула вниз, в узкую лощину — между двумя грудами шлака. Мы также нырнули вниз.

Этот проход казался особенно темным после ослепительного солнечного света, игравшего на сернистой почве. Стены оврага становились все отвеснее и отвеснее и почти сближались. Красные и зеленые пятна запрыгали у меня перед глазами. Мой проводник тут остановился.

— Дома, — сказал он, и я очутился перед каким-то обрывом, который сначала показался мне совершенно темным.

Услыхав странные звуки, я, чтобы лучше видеть, принялся левой рукой протирать себе глаза. До меня доносился какой-то неприятный запах, подобный тому, какой бывает в плохо вычищенных обезьяньих клетках. Наверху из-за расступившихся скал виднелся пологий, крытый зеленью и залитый солнцем откос, и с обеих сторон свет узкими полосами попадал в проход и в темную глубину помещения.

Глава 12. Чтецы закона

Что-то холодное коснулось моей руки. Я сильно вздрогнул и увидел совсем рядом с собою темно-розовое существо, своим видом больше всего походившее на освежеванного ребенка. Создание обладало точь-в-точь мягкими, но отталкивающими чертами ленивца, его низким лбом и его медленными движениями. Понемногу приучив глаза к темноте, я стал яснее видеть все окружающее. Маленькое ленивцеподобное существо стояло и во всю разглядывало меня. Проводник мой куда-то скрылся.

Все это место представляло собой узкий проход между высокими стенами треснувшей во время своего извилистого течения лавы. Переплетающиеся с обеих сторон прохода груды морского тростника, пальмовых вееров и папоротников слагали галерею первобытных, непроходимо-темных пещер.

Этот извивающийся кверху проход шириной не более трех шагов был загроможден кучами гниющих плодов и всяких иных отбросов, издававших удушливое зловоние.

Маленькое розовое существо все еще смотрело

на меня, когда у отверстия ближайшей из этих пещер снова показался мой обезьяноподобный человек и поманил меня за собой. В то же самое время какое-то переваливающееся чудовище выползло из наиболее отдаленного уголка этой удивительной «улицы» и застыло безобразной статуей на фоне зелени, смотря на меня во все глаза. Я колебался и уже наполовину приготовился бежать обратно по пути, приведшему меня сюда, но потом решился довести приключение до конца и, перехватив за середину оснащенную гвоздем палку, вполз под маленький смердящий навес вслед за своим проводником.

Здесь открылось полукруглое пространство, имевшее вид половинки улья, и около его каменной стены, составляющей внутреннюю сторону, громоздилась куча кокосов, всяких других орехов и всевозможных плодов. Несколько грубых тазов из лавы и дерева стояли на полу, один из них — на грубо сделанной скамье. Огня не было. В самом темном углу пещеры сидела бесформенная телесная масса, проворчавшая что-то, когда я вошел. Мой обезьяночеловек стоял на слабо освещенном пороге жилища и протягивал мне расколотый кокос, в то время как я влезал в противоположный угол и усаживался на землю.

Я взял орех и принялся есть — насколько мог спокойно, несмотря на сильное волнение и почти невыносимую духоту пещеры. Розовое существо стояло у входа, и кто-то новый, с темным лицом и блестящими глазами, пристально смотрел на меня через его плечо.

— Гм! — испустила таинственная тварь, сидевшая напротив меня.

— Се — человек! Се — человек! — затараторил мой проводник. — Человек, такой же живой человек, как и я.

— Замолчи, — ворчливо произнес голос из темноты.

Я лакомился кокосом посреди напряженного молчания; изо всех сил я всматривался в темноту, но не мог в ней ничего различить.

— Это человек, — повторил голос.

— Он пришел с нами жить?

Голос был густой с каким-то особым, поразившим меня присвистом. Произношение у него отличалось шокирующей правильностью.

Обезьяночеловек взглянул на меня как бы в ожидании. Я понял его немой вопрос.

— Он пришел жить с вами, — утвердительно сказал я.

— Это человек. Он должен изучить Закон.

Теперь я стал различать получше темную груду в темноте угла — смутные очертания чьей-то сгорбленной фигуры. В пещере стало еще темнее от появления у входного отверстия двух новых голов. Одна из них напоминала бы женскую, если бы не витые рога, венчающие ее. Рука моя крепче сжала палку. Фигура в темном углу сказала громче:

— Чти закон — повторяй за мной.

Я не вполне уловил, что от меня требуется.

— Не ходить на четвереньках — это Закон, — повторило нараспев существо в углу.

Я был поражен.

— Повторяй, — сказал, вторя только что сказанному, обезьяночеловек, и фигуры у входа в пещеру эхом откликнулись с каким-то угрожающим подтоном в голосах. Я понял, что и я должен повторить эту дикую фразу.

И тут началась самая безумная церемония.



Голос в темноте затянул полоумную литию, а я и все остальные хором вторили ему. В это же самое время они раскачивались из стороны в сторону и били себя руками по коленям, а я следовал их примеру. Мне казалось, что я уже умер и нахожусь на том свете. Эта темная пещера, эти странные силуэты, на которые то тут, то там падали слабые проблески света… и все они одновременно раскачивались и распевали:

На четвереньках ходить мы не будем – разве же мы не подобны людям?

Это наш первый закон.

Воду лакать языком нам не нужно – так уподобимся людям мы дружно.

Это второй наш закон.

Мясо и рыба – еда не для нас; разве не люди мы все в этот час?

Это наш третий закон.

С древа кору не дерем мы когтями, ибо мы люди, так вторьте за нами:

Это четвертый закон…

Можно себе представить все прочее после таких-то глупых запрещений? После них мне показались уместными и всякие другие запре-

тительные статьи — еще более бестолковые, несуразные и безнравственные. Особого рода «музыкальное усердие» овладело всеми нами. Раскачиваясь и бормоча все быстрее и быстрее, мы повторяли статьи странного закона. Хотя я несколько и поддался влиянию этих дикарей, тем не менее в глубине души готов был над всем происходившим смеяться в голос. Мы проговорили вслух целый ряд запретов, а затем напев принял новую форму:

Он – властитель в Доме Боли,

Он умеет создавать,

Он умеет поражать,

Он умеет исцелять…

Далее потянулась длинная серия перечислений, произнесенных на непонятном для меня жаргоне с постоянным присовокуплением слов «Он умеет» или «Он имеет». Кого они подразумевали, для меня оставалось сущей загадкой. Мне казалось, что я сплю и вижу сон, но никогда прежде я не слыхал в чертогах Морфея *пение.*

— Он умеет метать молнии, — пели мы. — Он повелевает волнами…

Ужасное предположение возникло в моей голове, что Моро, превратив этих людей в зверье,

вложил в их бедные мозги своего рода обоготворение себя. Но я слишком ясно видел сверкавшие белизной зубы и острые когти сидевших вокруг, чтобы прекратить из-за этого свое участие в ритуале.

Наконец пение стихло. Я увидел, что все лицо обезьяночеловека покрыто испариной, и мои глаза, привыкшие теперь к темноте, рассмотрели отчетливее фигуру в углу, откуда исходил голос. Она была человеческого роста, но казалась покрытой темно-серой шерстью, почти такой, как у шотландских терьеров.

Кто это? Кто *все* они?

Представьте себя окруженным ужаснейшими калеками и сумасшедшими, каких только может создать воображение — и вы немного поймете мои ощущения при виде этих странных карикатур на людей.

— У него пять пальцев, пять пальцев; пять пальцев, как у меня, — бормотал обезьяночеловек.

Я вытянул руки. Серый некто в углу подался вперед.

— На четвереньках ходить мы не будем — разве же мы не подобны людям? — еще раз изрек он. Вытянув свою странную уродливую лапу, он схватил меня за пальцы. Лапа имела схожесть

с оленьим копытом, разделенным на какие-то пальцеобразные придатки. Я чуть не вскрикнул от неожиданности и боли. Лицо сидевшего в углу существа склонилось вперед и рассматривало мои ногти. Оно склонилось так, что свет от входа упал на него, и я увидел с дрожью отвращения, что это было лицо и не человека, и не животного, а просто какая-то копна серых волос с тремя еле заметными темными дугообразными прорезями — глазами и ртом.

— У него маленькие когти, — сказало в косматую бороду это ужасное чудовище. — Это хорошо. — Оно отпустило мою руку, и я инстинктивно схватился за палку. — Кушать травы и корешки — это его призвание.

— Его призвание! — передразнил обезьяночеловек тонким голоском.

— Я — чтец Закона, — сказала серая фигура. — Сюда приходят все новички изучать Закон. Я сижу в темноте и читаю Закон.

— Да, это так, — подтвердило одно из животных, стоявших у входа.

— Ужасные наказания ждут тех, кто нарушает Закон. Им нет спасения.

— Нет спасения, — повторили животные-люди, украдкой посматривая друг на друга.

— Нет спасения, — повторил обезьяночеловек. — Смотри! Я допустил однажды мелкую провинность, одну нехорошую вещь. Я бормотал, бормотал, я перестал говорить. Никто не мог меня понять. Меня наказали за это — заклеймили руку. Он добр, он велик.

— Нет спасения, — повторило седое существо в углу.

— Нет спасения, — вторили животные-люди, вопросительно посматривая друг на друга.

— У каждого свой недостаток, — сказал седой чтец Закона. — Какой у тебя, мы не знаем пока, но узнаем потом. Одни любят преследовать то, что движется, подстерегать и красться, поджидать и набрасываться, убивать и кусать, глубоко и сильно кусать, высасывая кровь. Это плохо.

— Ни на кого нападать мы не будем; кто теперь скажет, что мы здесь не люди?

— Мясо и рыба — еда не для нас, разве не люди мы все в этот час?

— Нет спасения, — сказало испещренное крапинками существо, стоявшее у входа.

— У каждого — свой недостаток, — повторил седой чтец Закона. — Кто-то любит рвать руками и зубами корни растений, обнюхивая землю. Это плохо.

— Нет спасения, — повторили существа, стоящие у входа.

— Кто-то карабкается, цепляясь когтями, по деревьям, кто-то оскверняет захоронения мертвых. Кто-то дерется лбом, рогами или ногами. Кто-то кусается безо всякой на то пользы, а кто-то любит валяться в грязи.

— Нет спасения, — повторил обезьяночеловек, почесывая ногу.

— Нет спасения, — повторило маленькое розовое ленивцеподобное существо.

— Наказание ужасно и неизбежно. Поэтому учи Закон. Повторяй. — И он снова тотчас же принялся за свои странные причитания, и снова я вместе со всеми принялся петь и, точно маятник, раскачиваться из стороны в сторону. Голова моя кружилась от этого бормотания и затхлого смрада места, но я не останавливался в надежде, что какой-нибудь случай выручит меня из бедственного положения.

— На четвереньках ходить мы не будем — разве же мы не подобны людям? Это наш первый закон…

Мы производили такой шум, что я не заметил смятения, идущего извне, пока кто-то — кажется, один из двух свинолюдей, уже виденных мной

в лесу, — не просунул головы над плечом маленького розового ленивцеподобного существа и возбужденно не закричал что-то, чего я не расслышал. Тотчас же исчезли все стоявшие у входа пещеры. Вслед за ними бросились мой обезьяночеловек и существо, сидевшее в углу. Я заметил, что оно было до оторопи рослым, неуклюжим и покрытым серебристой шерстью.

Я остался один.

Прежде чем я успел дойти до выхода, я услышал лай гончей собаки.

В следующее мгновение я уже выбежал из пещеры с палкой в руке, дрожа каждым мускулом. Передо мной, повернувшись ко мне неуклюжими спинами, стояло около двадцати зверолюдей. Их бесформенные головы наполовину ушли в плечи; они оживленно жестикулировали. Другие полузвериные лица боязливо выглядывали из жерла пещеры. В том направлении, куда они смотрели, я увидел приближающуюся темную фигуру и страшно бледное лицо Моро, ступающего под деревьями недалеко от начала прохода. Он удерживал кидавшуюся собаку, и за ним следом с револьвером в руке шел Монтгомери.

С минуту я стоял, пораженный ужасом.

Я обернулся и увидел, что проход за мной за-

горожен большим, приближающимся ко мне звериным существом с огромным серым лицом и маленькими сверкавшими глазками. Я осмотрелся и увидел по правую руку от себя, в десятке шагов впереди, узкую расщелину в каменной стене. Через нее полоска света косо падала в темную пещеру.

— Ни с места! — закричал Моро, заметив мое движение в ту сторону. — Держите его! — крикнул он.

Сначала одно лицо, а затем и другие повернулись, смотря на меня. По счастью, их звериные мозги соображали медленно.

Я кинулся на неуклюжее чудовище и повалил его на другое, стоящее перед ним. Я почувствовал, как он, желая схватить меня, вскинул руки, но промахнулся. Маленькое ленивцеподобное существо бросилось на меня, но я перескочил через него, поцарапав его безобразное лицо своим гвоздем. В следующее мгновение я уже карабкался по отвесной боковой тропинке, являющейся своего рода дымоотводом пещер. За мной раздавались вой и крики:

— Лови его! Держи!

Сероликое существо показалось за мной, вдавило огромное туловище в расщелину.

— Лови его, лови! — вопили все.

Я пролез между скал и выбрался на западную сторону селения зверолюдей. Эта расщелина была для меня спасением, ибо узкая боковая, ведущая вверх тропинка худо-бедно задержала ближайших преследователей. Я пробежал по белой почве вниз по крутому спуску с несколькими разбросанными по нему деревьями и добрался до лощины, поросшей высокими тростниками. Отсюда я попал в темную чащу кустарника, где черная как уголь почва до того отсырела, что вода чавкала под ногами. Только когда я нырнул в камыши, мои ближайшие преследователи показались на вершине скалы. В несколько минут я пробрался сквозь этот кустарник.

Весь воздух вокруг меня звенел от угрожающих криков. Я слышал позади возню своих преследователей, шуршание камней и то тут, то там — треск ветвей. Иные зверолюди рычали в погоне за мной — совсем как настоящие дикие животные.

Слева от меня залаяла гончая. Я услыхал голоса Моро и Монтгомери, бежавших в том же направлении, и потому круто забрал вправо. Мне показалось даже, будто и Монтгомери закричал мне, чтобы я не останавливался, если дорожу

своей жизнью.

Иловатая, жирная почва быстро стала оседать под моими ногами; тогда с отчаянной энергией я бросился вперед и, выпачкавшись до колен в грязи, наконец выбрался на тропу, вьющуюся среди высоких камышей. Шум преследования удалился влево. В одном месте по дороге трое странных животных розового цвета размером с кошку вприпрыжку бросились прочь от меня — я спугнул их. Тропа вела на гору — на новое покрытое белесой сернистой корой пространство, — и снова спускалась вниз к тростникам.

Вдруг она повернула параллельно краю отвесного оврага — он разверзся передо мной с той же неожиданностью, что присуща рвам в английских парках. Я все еще бежал изо всех сил и не заметил оврага, пока по инерции не полетел в него головой и руками вперед, прямо в колючки, и не поднялся с оборванным ухом и окровавленной физиономией.

Я упал в этот отвесный овраг, каменистый и колючий, полный клочьев неясной мглы. По дну протекал вьющийся ручеек, и от него поднимался туман. Меня поразило, как мог народиться туман среди жаркого дня, но терять времени на изумление я не мог. Я повернул вправо, вниз

по течению ручья, надеясь выйти к морю и утопиться к чертям собачьим. Тут я заметил, что при падении потерял палку с гвоздем.

Скоро овраг стал несколько уже, и я, недолго думая, вошел в ручей. Но я выскочил из него очень быстро, ибо вода оказалась горячей — сущий кипяток. Я заметил также, что на ее поверхности плавала тонкая сернистая накипь. Почти тотчас же за поворотом оврага вырос смутный голубой горизонт. Близко расстилавшееся от меня глубокое море отражало солнце мириадами граней своей поверхности. И эти морские просторы могли подарить мне лишь одно — не самую приятную смерть.

Горячая кровь ударила мне в лицо и приятно заструилась по жилам. Я ощущал нечто более сильное, чем простой восторг от того, что удалось опередить своих преследователей.

Пожалуй, с утоплением можно повременить.

Я прислушался. Кроме писка комаров и стрекотания каких-то маленьких прыгающих в колючках насекомых, в воздухе стояла полнейшая тишина. Затем послышался лай собак, очень слабый шум, щелканье хлыста и голоса.

Они слышались то громче, то снова слабее. Шум понемногу удалялся вверх по ручью и наконец

совершенно затих.

На какое-то время погоня была прекращена. Но я теперь знал, как мало помощи я мог ожидать от здешних зверолюдей.

Глава 13. Дипломатия

Петляя напропалую, я продолжал шествие к морю. Ручей с горячей водой расширился в большую губу, засоренную песком и травой. Там, при моем приближении, закопошилось несметное множество раков и еще каких-то продолговатых тварей с уймой лап. Я добрался до самого берега и худо-бедно почувствовал себя в безопасности. Повернувшись к морю спиной и положив руки на бедра, я ушел в созерцание окружающей густой зелени. Посреди нее серым пятном выделялся туманный овраг. Овладевшее мной беспечное состояние — тут люди, ни разу не попадавшие в суровый переплет, могут заподозрить подвох, но да, как ни странно, в минуту опасности нередко накатывает легкомыслие, — и полная безнадежность положения удерживали меня от немедленного самоубийства.

Тут пришла в голову мысль, что у меня остался-таки один выход.

Пока Моро и Монтгомери со всем их звериным народом охотятся за мной по острову, не могу ли я обойти кругом берег и достичь изгороди? Не могу ли я обойти их с фланга и выломанным куском

камня из их, быть может, неплотно сложенной стены сбить замок с маленькой двери и найти что-нибудь вроде ножа, пистолета или какого-то другого оружия, чем бы мог сразиться с ними по их возвращении? Во всяком случае такой план включал в себя мизерный шанс на спасение моей жизни.

Я повернул к западу и пошел вдоль берега. Заходящее солнце слепило глаза. Слабый прибой Тихого океана накатывал на берег с нежным журчаньем.

Пляж повернул к югу, и солнце очутилось справа от меня. Вдруг в отдалении прямо передо мной показалась сначала одна, а затем и несколько других фигур, выходящих из-за кустов. Это были Моро с серой гончей собакой, затем Монтгомери и еще двое.

Увидев их, я замер. Они тоже заметили меня и стали жестикулировать, приближаясь.

Я стоял, ожидая их прихода. Оба человека-зверя побежали вперед, чтобы отрезать мне путь к кустарникам. Монтгомери приближался прямо ко мне. Моро следовал за ним чуть медленнее в компании собаки.

Я наконец очнулся от бездействия и, быстро направившись к морю, прямо вошел в воду, но

около берега было очень мелко. Я прошел не менее тридцати ярдов, прежде чем погрузился по пояс, смутно различив, как рыбы прянули от меня в разные стороны.

— Что вы делаете! — закричал мне Монтгомери.

Я повернулся, стоя по пояс в воде, и уставился на них. Монтгомери стоял, задыхаясь, у самого края воды. Его лицо было багрово-красным от движения, длинные льняные волосы развевались вокруг головы, и его отвисшая нижняя губа открывала частокол его кривоватых, как оказалось, зубов. Как раз в это время к нему подходил Моро. Лицо его было бледно и решительно; бежавшая рядом с ним собака залаяла на меня. У обоих в руках были толстые хлысты. Далее, на берегу, во все глаза смотрели на меня зверолюди.

— Что я делаю? Хочу утопиться, — ответил я.

Монтгомери и Моро переглянулись.

— Почему? — спросил Моро.

— Потому, что это лучше, чем стать для вас экспериментальным материалом.

— Я говорил вам, — сказал Монтгомери, и Моро что-то тихо ответил ему.

— Почему вы думаете, что я захочу подвергнуть вас экспериментам? — спросил Моро.

— А что, интересно, вы сделали с ними? — Я махнул рукой на зверолюдей.

— Тише, тише. — Моро поднял руку в успокоительном жесте.

— Они были людьми, — сказал я. — А теперь как их назвать? Я не хочу стать как они.

Я взглянул поверх своих собеседников. На берегу стоял остроухий слуга Монтгомери — как я выяснил, его звали М'линг, — и одно из белых закутанных существ с лодки. Дальше, под тенью деревьев, я увидел моего маленького обезьяночеловека, а за ним еще несколько других смутных фигур.

— Кто теперь эти существа? — спросил я, указывая на них и повышая голос все больше и больше, так, чтобы они могли услышать меня. — Они были людьми, людьми, как вы сами, а вы их сделали какими-то животными. Вы их поработили и все же боитесь их. Слушайте, — кричал я, указывая на Моро и обращаясь к находящимся за ним зверолюдям, — слушайте! Разве вы не видите, что эти двое все еще боятся вас, ходят в страхе перед вами? Почему же тогда боитесь вы их? Вас много.

— Ради бога, — крикнул Монтгомери, — замолчите! Прендик!

— Прендик! — кричал Моро.

Они кричали оба вместе, силясь заглушить мой голос. За ними виднелись угрожающие лица зверолюдей — с безобразно висящими вниз руками и сутуловатыми спинами. Как мне казалось тогда, они старались понять меня, припомнить что-то из своего человеческого прошлого. Я продолжал кричать, но что — помню плохо. Оно сводилось к тому, что следует убить Моро и Монтгомери, презрев страх перед ними. Что и говорить, суровые мысли я вложил в головы этих несчастных на свою собственную окончательную погибель! Я увидел, как зеленоглазый — человек в темных лохмотьях, встреченный в самый первый вечер здесь, — вышел из-за деревьев, а остальные последовали за ним, чтобы лучше слышать все то, что я говорю. Наконец я остановился, чтобы перевести дух.

— Выслушайте меня всего одну минуту, — сказал решительным голосом Моро, — а затем уж болтайте все, что вам угодно.

— Ну? — сказал я.

Он откашлялся, подумал и затем воскликнул:

— Латынь, Прендик, скверная школьная латынь; сейчас я перейду на нее, и попробуйте меня понять! *Hi non sunt homines; sunt animalia qui*

nos habemus[3] вивисекции. Это, если вам угодно, процесс *гуманизации.* Я объясню вам. Выходите на берег.

Я засмеялся.

— Презабавная выдумка, — ответил я. — Они говорят, строят жилища, стряпают. Они были людьми. Это так же верно, как то, что я не выйду на берег.

— Воды за вами глубоки и полны акул.

— А мне это как раз, — сказал я. — Коротко и ясно. Прощайте!

— Подождите минуту! — Он вынул из кармана что-то, отразившее солнечные лучи, и бросил на землю. — Это заряженный револьвер, — сообщил он. — Монтгомери сделает то же самое. Мы отойдем от берега на расстояние, какое вы сами признаете безопасным для себя. Тогда вы выйдете и возьмете револьверы.

— Я не сделаю этого. У вас наверняка и третий где-то припрятан.

— Поразмыслите хорошенько, Прендик. Во-первых, я никогда не звал вас сюда, на этот остров. Во-вторых, мы отлично могли бы усыпить вас вчера, если бы хотели причинить вам зло. Когда

---

[3] Примечания: 3

Они не люди, они — животные, подвергнутые нами... (лат.)

ваш первый страх схлынет и вы сможете немного рассуждать, подумайте-ка вот над чем: разве характер Монтгомери подходит к той роли, какую вы ему приписываете? Мы гнались за вами для вашего же блага. Этот остров населен легионом враждебных существ. Для чего бы нам пытаться застрелить вас, когда вы сами только что предлагали утопиться?

— Зачем вы напустили на меня ваших людей, когда я был в пещере?

— Мы были уверены, что захватим вас и избавим от опасности. Потом мы нарочно потеряли ваш след… для вашего же спасения.

Я задумался. Это казалось и впрямь правдоподобным. Тут я снова кое-что вспомнил.

— Но я видел, — сказал я, — там, за забором… в пределах изгороди…

— Вы видели пуму.

— Послушайте, Прендик, — сказал Монтгомери, — вы глупец! Выходите из воды, берите эти револьверы — и поговорим. Мы не можем сделать для вас больше того, что *уже* сделали.

Должен сознаться, что тогда и, по правде говоря, всегда я не доверял Моро и боялся его. Но с Монтгомери можно было как-то сжиться.

— Поднимитесь по берегу, — ответил я и, немно-

го подумав, прибавил: — Подняв кверху руки.

— Вот еще! — фыркнул Монтгомери и выразительно кивнул на толпу наблюдающих за нашей дипломатией зверолюдей. — Это унизительно.

— Как вам угодно. Отойдите тогда к деревьям, — сказал я.

— Вот так глупая церемония. — Монтгомери закатил глаза.

Оба повернулись и стали лицом к шести или семи из тех странных существ, что стояли там, освещенные солнцем, рослые, отбрасывающие тени, двигающиеся… и все же какие-то *нереальные*. Монтгомери щелкнул хлыстом, и они тотчас же бросились врассыпную, найдя прибежище под сенью леса. Когда Монтгомери и Моро отошли на расстояние, показавшееся мне достаточным, я вышел на берег, подобрал и осмотрел оружие. Чтобы удостовериться в отсутствии обмана, я выстрелил в круглый кусок лавы и с удовлетворением увидел, как он рассыпался темным порошком по пляжу. Однако я все еще колебался.

— Что ж, кто не рискует… — сказал я наконец и, держа оружие наготове, пошел к Моро.

— Спасибо за благоразумие, — сказал спокойно Моро. — Извинений не требую, но как-никак я потерял лучшую часть своего дня из-за вашего

разыгравшегося воображения.

И с оттенком презрения, пристыдившим меня, он и Монтгомери повернулись и молча пошли передо мной. Изумленная горстка звериного люда продолжала стоять между деревьями. Я прошел мимо них, сохраняя как можно больше спокойствия. Один из них хотел последовать за мной, но быстро убежал, как только Монтгомери щелкнул хлыстом по земле. Остальные молча наблюдали за нами.

Быть может, когда-то они и были животными.

Но я *никогда* еще не видел животных, пытающихся размышлять.

Глава 14. Доктор Моро объясняет

— А теперь, Прендик, я примусь за объяснения, — сказал доктор Моро, после того как мы утолили голод и жажду. — Должен сознаться, что вы мой самый деспотический гость из всех, с кем я когда-либо имел дело. Предупреждаю вас, это последнее, что я делаю для вашего успокоения. Надумаете еще раз грозиться самоубийством — я вас спасать не стану, даже несмотря на неприятные лично для меня последствия!

Он сидел в кресле, зажав наполовину выкуренную сигару в белых тонких пальцах. Свет висячей лампы падал на его седые волосы; взгляд его был устремлен сквозь маленькое окошко на мерцающие в небе звезды. Я сидел от него как можно дальше, по другую сторону стола, с револьвером в руке. Монтгомери с нами не было. Мне не особенно хотелось быть с ними двумя в такой небольшой комнате.

— Значит, вы соглашаетесь, что подвергнутое вивисекции «человеческое существо», как вы его называли, в конце концов — только пума? — спросил Моро.

Он заставил меня посетить это страшилище

во внутренней комнате, чтобы убедиться в его животной природе.

— Да, это пума, — ответил я, — и все еще живая, но настолько изрезанная и искалеченная, что я молю бога никогда не видеть больше ничего подобного. Из всех гнусных…

— Оставим это, — перебил Моро. — Во всяком случае, избавьте меня от этих юношеских бредней. Монтгомери был таким же. Вы соглашаетесь, что это пума. Теперь сидите смирно, пока я буду излагать вам свои физиологические теории.

Вслед за тем, начав говорить тоном человека, крайне раздосадованного, он понемногу увлекся излагаемым предметом и объяснил мне сущность своей работы. Говорил он очень просто и убедительно. Иногда в его голосе прорезались саркастические нотки. Вскорости я почувствовал себя красным от стыда за все, что вытворял до сих пор.

Оказалось, что существа, виденные мной, не были людьми. Они никогда не были ими. Они были животными, принявшими некое человеческое подобие — наглядными примерами торжества вивисекции.

— Вы забываете, что может сделать искусный вивисектор с живым существом, — сказал Мо-

ро. — Я и по сей день спрашиваю себя, как так вышло, что испробованные мной здесь методы еще не поставлены на поток. Я повидал много разных успешно осуществленных отдельных манипуляций: подрезание корня языка, видоизменение самых разных органов, корректировка формы костей… Видел, как врачи успешно «гасили» шок организма после самых серьезных вмешательств. Но никогда при мне не случалась комплексная серьезная операция. Такое впечатление, будто никто их до меня не делал. А ведь помимо того, что из организма можно много чего убрать, не менее реально туда и добавить всякое. Пигменты и новые железы… по-новому образующиеся жировые ткани… черт, да даже секции мозга при желании можно прижить! А обывателей заставляют разевать рот от того, что хирургическим путем можно как устранить, так и спровоцировать косоглазие. Всего-то!

— Я тоже об этом слышал, — ответил я. — Но эти ваши безобразные существа…

— Все в свое время, — возразил он, прерывая меня взмахом руки. — Я только начинаю. Это обыденные случаи изменения организма. Хирургия способна на большее… на лучшее. У нее огромные возможности как созидать, так и

разрушать. Вы слышали, может быть, об одной расхожей операции в хирургии… к ней прибегают в случаях утери носа? Выбирается донорская зона — скажем, обратная сторона бедра, — и из кожи, взятой оттуда, формируют новые крылья носа и бугорок, заменяющий хрящ. Все приживается. Это ведь, по сути, трансплантация одной части тела животного на другую часть того же животного. Но перенесение свежего материала с одного живого существа на другое также возможно — вспомните, например, о зубах. Донорскую кожу и кости применяют для более успешного и скорого заживления… Хирург помещает в разверстую ткань нужные фрагменты кожи или костей, только что полученных от живого или свежеубитого донора. Слышали, может быть, о шпоре петуха, которую Хантер[4] успешно привил на шею быку? Уместно вспомнить еще и о диковинных «носорожьих крысах», продаваемых алжирскими зуавами. Эти маленькие чудовища фабрикуются тем же проверенным способом: отрезанные с хвостов полоски кожи перемещаются

[4] Примечания: 4

Джон Хантер (1728–1793) — шотландский хирург, один из наиболее выдающихся ученых-анатомов своего времени. Увлекался экспериментальной хирургией, пробовал новые методы операций на животных; в ходе своих опытов определил важную роль коллатерального кровообращения в организме.

на рыльце обыкновенной крысы и заживают там в этом новом положении.

— Фабрикуемые уродцы! — воскликнул я. — Вы хотите этим сказать…

— Да. Существа, виденные вами — животные, выкроенные и обделанные в совершенно новую конфигурацию. Этому изучению образования новых форм я посвятил всю жизнь. Я занимался годами, приобретая постепенно все больше и больше знаний. Вас ужасает мой подход новатора? Спешу заверить — в моем занятии нет ничего нового. Все это уже много лет лежало на поверхности практической анатомии, но ни у кого не хватало духу заняться такими опытами. Я не ограничиваюсь лишь тем, что изменяю внешний вид животного. Физиология, химическое строение существа могут также подвергаться самым радикальным метаморфозам. Вакцинация и иные методы прививки живых и мертвых материй — примеры, с которыми вы, я уверен, хорошо знакомы. Я начинал с простого переливания крови, верите ли. Я прошел много этапов. Определенный интерес для меня с самого начала представляли весьма смелые, но сомнительные с точки зрения морали средневековые операции, успешно производившие карликов, калек,

ярмарочных уродов. Отголоски того искусства до сих пор живут — и не только в «Человеке, который смеется» авторства Гюго… эх, знали бы вы, что делают с собственными сухожилиями современные акробаты! В общем, я ясно излагаю, так ведь? Улавливаете перспективы переноса тканей с одной части тела животного на другую или с одного животного на другое? Понимаете возможность изменения химических условий реакций, происходящих в живом существе, его развития, согласования работы органов… вплоть до изменений его *в самой сущности* строения? И все же эту необычайную отрасль знания никто из современных исследователей никогда не доводил систематически до конца, пока я не занялся ей! На такие вещи люди сами случайно наталкивались при применениях последних достижений хирургии. Львиная доля моей экспериментальной базы, успешно применяемой здесь на острове, наработана тиранами, преступниками, коннозаводчиками и дрессировщиками собак… и, как ни странно, всякого рода необразованными, неискусными людьми, преследовавшими лишь свою личную, корыстную цель. Я первый занялся этим вопросом, вооруженный истинно научным знанием антисептической хирургии

и условий развития живых существ. Все это уже практиковалось до сих пор втайне. Возьмем хотя бы сиамских близнецов. А в подземельях инквизиции… конечно, главной целью инквизиторов выступала утонченная пытка, во всяком случае, некоторые из них должны были обладать известной научной любознательностью…

— Но, — прервал я его, — эти существа, эти животные… они *говорят!*

Моро спокойно кивнул, будто удивляться тут решительно нечему.

— Перекройте ротовой аппарат свинье… немного поколдуйте над ее мозгами… долго и упорно поощряйте ее говорить… и она, черт возьми, *заговорит.* Животные, долгое время находящиеся в биополе людей, сами начинают уподобляться людям — не раз замечено. Да и духовное строение существа, знаете ли, изучено наукой еще меньше, чем физическое… В развивающейся в наши дни науке гипнотизма мы находим возможность заменять старые наследственные инстинкты новыми внушениями и импликациями, как бы делая прививки или перемещения на почве наследственности. Многое из того, что мы зовем нравственным воспитанием — как раз искусственное изменение и извращение инстинкта;

воинственность перевоспитывается в мужественное самопожертвование, а подавленное половое влечение — в религиозный экстаз. Какое главное различие между человеком и обезьяной, хотите знать, Прендик? Устройство гортани. Обезьяна менее способна тонко разграничивать изобилие звуков — символов понятий, с чьей помощью выражается мысль.

— Тут я с вами не соглашусь! — заспорил я.

— Не соглашайтесь столько, сколько вам угодно. Я уже давно потерял вкус ко всякого рода просветительской работе. Если человек хочет оставаться глупым — что ж, это его дело. — Это замечание меня задело, но не успел я ответить на него, как Моро продолжил: — Ну, раз уж вы — мой добрый гость, то давайте предположим, что дела обстоят иначе. Предположим — и только.

— Но зачем приводить животных, органичные сами по себе формы, к подобию людей? — вопросил я. Мне казалось тогда — и все еще кажется теперь, — что в его выборе находила выход какая-то странная мизантропия, озлобленность на человечество.

— Разве это не естественный выбор курса? Конечно, я мог бы с точно таким же успехом переделывать овец в лам и лам в овец, но, мне кажется,

есть что-то в человеческой форме, что потворствует артистическому чутью чуть сильнее, чем все остальные животные формы. Впрочем, я не ограничивал себя одной *гуманизацией*. Разок-другой… — Тут Моро ни с того ни с сего умолк и хранил молчание, быть может, с минуту. — Ох, эти годы! Как быстро они промелькнули! Я уже потерял день, спасая вашу жизнь, и снова теряю часть дня на какие-то объяснения…

— И все же, — сказал я, — я не понимаю вас. Чем вы оправдываете причинение живым существам таких страданий? Если что-то и оправдывало бы в моих глазах вивисекцию, то только применение ее к чему-то позитивному…

— Вот именно, — перебил он меня. — Но я, как видите, иначе устроен. Мы с вами стоим за разные идеалы. Вы вот по убеждениям завзятый материалист.

– *Никакой* я не материалист, — горячо возразил я.

— С моей точки зрения, конечно… с *моей* точки зрения. Потому что нас с вами именно и разделяет этот вопрос о страдании. До тех пор, покуда видимое и слышимое страдание причиняет вам боль, покуда ваши собственные муки владеют вами, покуда мука подлежит вашему представле-

нию о грехе — до тех пор, говорю вам, вы точно такое же *животное,* размышляющее немногим яснее того, что чувствуют настоящие звери. О да, страдания…

Я нетерпеливо пожал плечами в ответ на подобные софизмы.

— Страдания *ничтожны*. Истинно открытый науке разум должен, несомненно, видеть и чувствовать это. Быть может, нигде, кроме нашей небольшой планеты — нашего, знаете ли, шарика космической пыли, пропадающего из виду гораздо раньше, чем можно достигнуть ближайшей звезды… может, нигде во всей остальной Вселенной не существует того, что зовем мы страданиями? Даже и здесь, на Земле, среди живых существ — что, собственно, представляет собой страдание? — Говоря это, он вынул из кармана небольшой перочинный нож, открыл лезвие и подвинул свой стул так, чтобы я мог видеть его бедро. Затем, спокойно и осмотрительно выбрав определенное место, он вонзил в него нож… и выдернул его.

— Без сомнения, вы видели это раньше. Фокус не причиняет ни малейшей боли. Но что же это показывает? Способность чувствовать боль не нужна этому мускулу и потому не вложена в

него. Чувствовать боль необходимо только коже, и потому кое-где на бедре есть места, способные ее ощущать. Боль — просто наш врачебный советчик, она предостерегает и стимулирует нас. Всякая живая ткань неболеспособна, так же, как всякий нерв. Нет и следа боли, действительной боли, в ощущениях оптического нерва. Если вы пораните оптический нерв, вы просто увидите огненные круги перед глазами — точно так же, как и расстройство слухового нерва выражается простым шумом в ушах. Растения не чувствуют боли, низшие животные, подобные морским звездам и речным ракам, тоже, по-видимому, не чувствуют боли. Что же касается людей, чем выше они будут по своему интеллектуальному развитию, тем тщательнее будут заботиться о собственном благополучии и тем менее будут нуждаться в боли — этой палке, ограждающей от угроз. До сих пор не слышал ни об одной бесполезной вещи, какую эволюция не вырвала бы из жизни раньше или позже. А боль уже сейчас мало-помалу становится бесполезной. Кроме того, Прендик, я верующий человек, как и всякий нормально развитый субъект. Я верую в Создателя Мира не меньше, чем вы, но я искал его законы своими собственными путями всю жизнь, тогда

как вы, насколько я это понял из вашего рассказа, занимались коллекционированием бабочек. И я повторяю вам: радость и страдание не имеют ничего общего ни с раем, ни с адом. Радость и страдание… О! Разве религиозный экстаз ваших теологов — это не гурии Магомета в подкладке? Это сонм мужчин и женщин, живущих только радостями и страданиями. Разве они не носят на себе, Прендик, оттиск зверя, от коего произошли? Страдание и радость — они существуют для нас только до тех пор, пока мы слизываем пыль с нижних ступенек эволюции… Видите, я направлял свои исследования по тому пути, по какому они сами вели меня. И это единственный для всех исследователей путь. Я ставил вопрос, измышлял свой собственный способ ответа и в результате получал новый вопрос. Могу ли я сделать это? Сойдет ли мне с рук то? Да вы вообразить себе не можете, что для ученого значат эти вопросы… в каком огне сгорает его ум. Вы не можете себе представить странную, непонятную прелесть желаний мысли. Предмет, находящийся перед вами, уже больше не животное, не создание одного творца, а только загадка. Жалость… о да, я, бывает, вспоминаю о ней — как о чувстве, в последний раз испытанном прорву лет назад. Я

всегда желал по-настоящему лишь одного: изучить от А до Я условия образования форм живых существ. *Желал*, а не *жалел*, понимаете?

— Но, — сказал я, — ведь это ужасно.

— До сих пор я никогда не тревожился нравственной стороной дела. Изучение природы делает человека, в конце концов, таким же безжалостным, как и сама природа. Я продолжал свои опыты, не обращая ни на что, кроме изучаемого предмета, внимания. Изготовленный материал стекал туда, в хижины на другой стороне острова… Прошло уже одиннадцать лет с тех пор, как мы явились сюда: я, Монтгомери и шесть канаков[5]. Я помню безлюдие острова и безбрежный простор океана, расстилающегося вокруг, как будто бы все это было только вчера. Это место, казалось, было создано для меня. Я разместил опытный материал, лично руководил постройкой дома… Канаки сделали себе у оврага несколько хижин. Я принялся за работу над тем, что привез с собой. Сначала со мной случилось несколько неприятных неудач. Я начал с барана

---

[5] Примечания: 5

Канаки — группа меланезийских народов, коренное население Новой Каледонии. Название происходит от гавайского словосочетания «канака маоли» — его европейские открыватели, купцы и миссионеры употребляли в прошлом в качестве пренебрежительного названия для многих неевропейских островитян Тихого океана.

и убил его через полтора дня неосторожным порезом скальпеля. Из другого барана получилось скорбное и боязливое существо; я перевязал ему раны, чтобы оно не погибло. Баран казался мне совершенно очеловеченным, но, приглядываясь к нему, я понял, что и тут все запорол. Рядом со мной, своим Богом, созданное существо трепетало от неизъяснимого страха… Эта форма только напоминала человека, а разума в ней было не больше, чем в обычной скотине. И тогда уже *начал трепетать я* — и ужас мой не поддавался описанию. При каждом новом взгляде на него, оно становилось мне все более и более противным, и наконец я отнял жизнь у этого страшилища. Этот зверь без всякого мужества, существо пугливое и чувствительное к боли, без малейшей искры жизненной энергии не мог презреть страдания и совершенно не годился для фабрикации из него человека…

…Я взял бывшего у меня самца гориллы и, работая над ним с бесконечным старанием, преодолевая препятствие за препятствием, сотворил своего первого зверочеловека. Целыми неделями, ночью и днем, я создавал его. У него главным образом мозг нуждался в переделке: многое требовалось изменить. Он выглядел прекрасным

образцом негроидной расы, как я с ним покончил, — лежал передо мной весь забинтованный, связанный и неподвижный. Только когда я перестал опасаться за его жизнь, я оставил его и вошел в эту вот комнату, где застал Монтгомери в том же состоянии, в каком были и вы. Он слышал крики зверя, претворяемого в человека, — вроде тех, что так вас расстроили. До того дня я не посвящал его всецело в свои тайны. Канаки… те тоже кое-что поняли, и один мой вид страшил их. Приобретя вновь до известной степени доверие Монтгомери, я приложил немало усилий, чтобы они не подняли бунт. В конце концов им это удалось, и мы потеряли яхту. Но это казалось таким пустяком на фоне успешности опыта!.. Много, очень много дней ушло на воспитание моего зверя. Я обучил его азам английского, дал понятие о числах и азбуке. Он соображал медленно, хотя даже в высшем свете Лондона мне попадались идиоты, соображающие, несомненно, стократ медленнее. Мозг его представлял собой совершенно чистый лист: в нем не уцелело никаких воспоминаний о том, кем он был раньше. Когда его шрамы совсем зажили — так, что он не казался более больным и угловатым и мог произносить несколько слов, — я привел его к канакам как интересную для них

игрушку.

Сначала они ужасно боялись его — и это меня несколько оскорбляло, так как я гордился своим детищем, — но его манеры казались такими милыми, а сам он представлялся таким жалким, что вскоре они приняли его, взяв его образование в свои руки. Он быстро учился, был склонен к подражанию и приспособляемости и, как мне показалось, построил себе дом гораздо лучше, чем их собственные лачуги. Среди канаков имелся один — по духу немножко миссионер, — и он научил его читать или как минимум складывать буквы. Он также внушил ему несколько элементарных понятий нравственности, и, по-видимому, инстинкты гориллы в нем совершенно не проявлялись… а это представлялось наиболее желательным.

Я предался легкой лени и собирался написать отчет об эксперименте в Англию, чтобы немножко встряхнуть европейских физиологов. Но однажды я нашел свое детище сидящим на дереве: оно без умолку кричало и корчило гримасы двоим дразнящим его канакам. Я погрозил ему, упрекнул в недостойности поведения, пробудил в нем чувство стыда. Придя домой, я решил, что, прежде чем познакомлю публику с моими рабо-

тами, поставлю еще более удачный опыт. И мне это удалось. Но, как бы ни было, зверство упорно возвращалось к моим созданиям, день ото дня одерживало верх над человеком. Я всеми силами стремлюсь в моих работах к совершенству и надеюсь преодолеть все препятствия. Эта пума…

Однако возвратимся к рассказу. Ни одного из тех парней-канаков нет теперь в живых. Один утонул в море, упав за борт яхты, другой умер, поранив пятку — в рану как-то попал яд из сока одного здешнего растения. Трое бунтовщиков угнали яхту и, полагаю и надеюсь, все они утонули. Последний… ну, его убили. Я наловчился обходиться без них. Монтгомери поначалу вел себя так же, как вы, но потом…

— Что случилось с последним канаком? — резко спросил я. — С тем, кого убили.

— Дело в том, что, создав много человекоподобных существ, я рискнул сотворить еще одного… и этот один был не вполне… — Моро замялся.

— Ну? — настаивал я.

— В любом случае, того монстра уже давно нет в живых. Я видел, как он издох.

— Я не понимаю, — сказал я. — Вы хотите сказать…

— Да, *оно* убило канака. *Оно* убило еще несколь-

ко других существ, которых поймало. Мы охотились за ним почти два дня. Это существо сорвалось с цепи случайно. Я никак не предполагал, что оно сбежит. Оно… не было довершено должным образом. Это был самый странный эксперимент. Это был… скажем так… человек-змея. Он не имел ни рук, ни ног, и его лицо напоминало морду какого-то освежеванного упыря. Он передвигался, пресмыкаясь — отталкивался мускулистой нижней половиной тела от земли. Боль довела этого монстра до критических пределов. Он скрывался несколько дней в лесу, удушая и раздирая зубами все, что попадалось ему на пути. Мы выкурили его на северную часть острова и разделились на отряды, чтобы взять его в кольцо. Монтгомери непременно хотел быть со мной. Канаку я поручил винтовку, но она его не спасла: когда тело его было найдено, мы увидели, что один из стволов оружия согнут в подобие подковы и почти что *прокушен*. Монтгомери сумел застрелить монстра… После этого я несколько пересмотрел свои рабочие стандарты. С тех пор я делал только более-менее антропоморфных тварей. Ну или очень мелких…

Моро замолчал. Я наблюдал за выражением его лица.

— Так работаю я вот уже двадцать лет, если считать девять лет труда в Англии. И все еще в каждом вновь созданном экземпляре я вижу что-то, что не удается мне, что вызывает неудовлетворенность, побуждает к дальнейшим попыткам. Иногда я прыгаю выше головы, иногда не добираю до собственного минимума. Но ни разу еще я не достиг идеала. Мне уже не стоит больших трудов предельно очеловечить животный гибрид. Я умею придать ему гибкость и грациозность или величину и силу, но даже теперь у меня часто происходят затруднения с руками и когтями: это такие тонкие, чувствительные механизмы, что придать им требуемую форму куда труднее, чем перекроить несколько отделов мозга. Хотя… мозги тоже создают проблемы. Умственное развитие этих созданий идет порой неповоротливо и непредсказуемо — то вдруг приводит к необъяснимым успехам, то открывает неожиданные лакуны. Чего я не могу достигнуть и точно определить, так это источника эмоций. Вкусы, инстинкты, стремления, вредные человечеству, — странный и скрытый резервуар. Варево в нем закипает резко и всецело переполняет существо гневом, ненавистью и страхом. Эти изготовленные мной твари пока-

зались вам, Прендик, дикими и опасными при первом же наблюдении. А мне вот с самого начала они представлялись несомненными людьми. Затем, при дальнейшем наблюдении за ними, иллюзия рассеивалась. Сначала одна зверская черта, а за ней и другая всплывали на свет Божий и повергали меня в уныние. Но я еще достигну цели. Каждый раз, как я погружаю живую плоть в эту жгучую бездну боли, я говорю себе: «На этот раз все зверское будет выжжено и из-под рук моих выйдет совершенный разум». К тому же что значат десять лет? Человек формировался тысячелетиями… — Он грустно задумался. — Но я приближаюсь к цели… Все-таки они слишком охотно регрессируют. Как только я оставляю их, зверь начинает выползать, снова проявлять себя.

— Вы отправляете их жить в те пещеры? — спросил я.

— Да. Я бросаю их, когда начинаю чувствовать в них зверя, и они сами рады от меня улизнуть. Все они боятся этого дома — Дома Боли — и меня. У них там своего рода пародия на человеческое общество. Монтгомери знает их быт, так как является посредником между нами. Он приучил одного-двух из них служить нам. Мне кажет-

ся, хотя он сам и стыдится в том сознаться, он недолюбливает этих бедных созданий. Но это его дело, не мое. Во мне они вызывают только чувство неудовлетворенности. Сами по себе они мне неинтересны. Но они с завидным упорством следуют наставлениям того обучавшего их миссионера-канака и выработали себе жалкое подобие разумной жизни. Бедные, бедные твари! У них есть то, что они называют Законом. Они поют гимны о том, что все принадлежит мне, их создателю. Они сами строят себе пещеры, собирают плоды, рвут травы и даже заключают браки. Но я вижу их насквозь, вижу самую глубину их душ… и нахожу там только зверя. Их звериные инстинкты и страсти продолжают жить, искать выход… Все же они странные существа. Как и все иные формы жизни — сложные… В них есть своего рода высшие стремления: отчасти тщеславие, отчасти выродившееся половое влечение, отчасти любопытство. Все это только смешит меня. Но я возлагаю большие надежды на эту пуму — я усиленно работаю над ее мозгом и головой…

Моро долго сидел молча.

— Ну, — произнес он наконец, — что вы об этом думаете? Все еще боитесь меня?

Я взглянул на него более пристально и увидел

седого старца с маской библейского спокойствия на лице и в глазах. Эта ясность, четко написанная в чертах, и умиротворенная решительность всего облика вкупе с мощным телосложением налагали на него печать особой красоты… в остальном же он прошел бы незамеченным в уйме других симпатичных на вид стариков. Я вздрогнул.

Вместо ответа на его второй вопрос я протянул ему оба револьвера.

— Оставьте их себе, — сказал он, сдерживая зевок.

Он встал, с минуту пристально посмотрел на меня и улыбнулся.

— Вы провели два дня, полных приключений, — сказал он. — Советую вам поспать. Я несказанно рад, что все выяснилось. Доброй ночи!

Он задумчиво постоял на месте и вышел через внутреннюю дверь. Я тотчас повернул ключ в наружной. Затем я снова сел… и сидел так в каком-то отупении, чувствуя себя до того усталым нравственно, умственно и физически, что был больше решительно не в силах думать на какую-либо тему. Темное окно, как чье-то ужасное око, взирало на меня.

Наконец я заставил себя потушить лампу и лечь в гамак. Там я провалился в сон.

Глава 15. Зверолюди

Я проснулся рано, сразу ясно и определенно вспомнив весь вчерашний разговор с Моро. Выбравшись из гамака, я подошел к двери — убедиться, что заперта. Подергав на себя заоконную решетку, я счел ее достаточно крепкой. То, что эти человекоподобные твари были в действительности несказанно изуродованными животными — странными, дикими и вульгарными пародиями на людей, — наполняло меня смутной тревогой относительно их дальнейшего образа действия. И тревога эта гложила хуже всякого определенного страха.

Кто-то постучался у двери, и я услышал невнятный говор М'линга.

Я спрятал в карман один из револьверов и, придерживая его рукой, отворил ему дверь.

— Доброе утро, сэйр, — сказал он, внося в придачу к обычному завтраку, состоящему из овощей, еще и довольно неумело приготовленного кролика.

Монтгомери следовал за ним. Его блуждающий взгляд заметил положение моей руки в кармане, и он криво усмехнулся.

Пума была на сегодняшний день оставлена в покое, раны ее требовали заживления, но Моро все же предпочитал уединение и не присоединился к нам.

Я принялся расспрашивать Монтгомери об образе жизни звериного люда. В частности, мне крайне хотелось знать, что удерживало этих ужасных страшилищ от нападения на Моро и Монтгомери и от уничтожения друг друга.

Он объяснил мне, что относительная безопасность как Моро, так и его самого крылась в ограниченном умственном кругозоре этих созданий. Несмотря на их продвинутое, если сравнивать с обычными животными, развитие, с одной стороны, и на стремление вшитых в звериную натуру инстинктов вновь пробудиться — с другой, они, по словам Монтгомери, жили под влиянием нескольких твердо установившихся идей, внушенных им самим Моро; идей, безусловно сковывающих их волю. Они все были крепко «обработаны» — им была внушена немыслимость одних вещей и непозволительность других, и все эти запрещения так прочно вошли в их несовершенные мозги, что исключили всякую возможность непослушания или противоречия. Конечно, по поводу некоторых вещей старый

инстинкт животного враждовал с внушениями Моро. Целый ряд запрещений, называемый Законом — в чем он заключался, я слышал, — боролся в их умах с глубоко укоренившимися, вечно мятежными стремлениями их животной природы. Этот Закон всегда повторялся ими и, как я увидел впоследствии, всегда нарушался. Моро и Монтгомери проявляли особую заботливость, чтобы не дать им узнать вкуса крови. Они опасались неизбежных последствий такого рода пробы.

Монтгомери рассказал мне, что влияние Закона необычайно ослабевало с приходом ночи, особенно среди существ из семейства кошачьих: в это время зверь просыпался в них с особенной силой. С приближением сумерек в них вселялся дух охоты и приключений; они отваживались на такие вещи, о каких днем вовсе не помышляли. Этим и объяснялась погоня за мною леопардочеловека в тот первый вечер на острове.

Но в начале моего пребывания на острове они нарушали Закон только украдкой, и то — при потворстве тьмы; при свете дня царила атмосфера всеобщего уважения к разнообразным запрещениям.

Я могу дать теперь несколько общих сведений об острове и его звериных обитателях. Остров,

низко лежащий над уровнем моря, с весьма неправильными очертаниями берегов, занимает площадь в семь-восемь квадратных миль[6]. Он был вулканического происхождения и с трех сторон окаймлен коралловыми рифами. Несколько дымящихся фумарол[7] на севере да горячий источник являлись теперь единственными следами создавших его когда-то сил. По временам ощущались слабые толчки землетрясения, и в струю дыма врывались клубы пара, но этим все и ограничивалось. Население острова, по словам Монтгомери, состояло более чем из шести десятков этих странных существ — произведений искусства Моро, — не включая меньших по величине уродцев, живущих в кустарниках и не имеющих человеческого образа. По общему подсчету, Моро изготовил их около ста двадцати, но одни умерли сами, а другие, вроде ползучего безногого дьявола, о котором он мне рассказал,

---

[6] Примечания: 6

Это описание во всем соответствует о-ву Нобль. — Примечание Чарльза Эдуарда Прендика.

[7] Примечания: 7

Фумарола (итал. fumarola, от лат. fumare — дымиться) — трещина или отверстие в кратерах, на склонах и у подножия вулканов, источник горячих газов. Различают первичные фумаролы, по которым поднимаются выделяющиеся из магмы газы, и вторичные, где источником газов служат еще не остывшие лавовые потоки и пирокластические отложения, не имеющие прямой связи с жерлом вулкана.

погибли насильственной смертью. Они могли и размножаться, но потомство обыкновенно умирало, и на нем ожидаемо не замечалось никаких следов новых черт, приобретенных их родителями. В период их недолговременной жизни Моро брал их себе и пробовал придать им человеческие черты. Женский пол был куда малочисленнее мужского и подвергался со стороны последнего тайным ухаживаниям, несмотря на моногамию, которую предписывает все тот же Закон.

У меня нет возможности подробно описать этих животных-людей — глаз мой не привык разбираться в деталях, и я, к сожалению, не умею рисовать. Больше всего поражали меня их короткие сравнительно с длиной тела ноги. И все же — относительны наши представления о красоте! — глаз мой, наконец, настолько привык к их виду, что собственные длинные ноги стали в конце концов казаться неуклюжими. Второй безобразной особенностью созданий была выдвинутая вперед голова и нескладный, не похожий на человеческий выгиб спинного хребта. Даже у обезьяночеловека недоставало этой извилистой линии спины, придающей грацию человеческой фигуре. У большинства плечи были сильно ссутулены, короткие руки вяло висели по бокам. Густо

обросшие шерстью встречались нечасто — во всяком случае, так было до самого конца моего пребывания на острове.

Следующая, наиболее очевидная уродливость их заключалась в лицах. Почти у всех были выдающиеся челюсти, уродливая форма ушей, широкие носы, косматые или щетинистые волосы и часто странно окрашенные или странным образом посаженные глаза.

Никто из них не умел смеяться, и только обезьяночеловек с сатирессой как-то странно хихикали. Помимо этих общих черт, их головы имели мало сходного между собою, каждая из них сохранила свойства своей породы; человеческий облик видоизменял, но не скрывал леопарда, быка, свинью, или какое-нибудь другое животное, или нескольких животных, из чьих черт «составлялись» диковинные уникумы-гибриды.

Голоса тварей были также чрезвычайно разнообразны; руки всегда уродливы; и хотя некоторые из них поражали меня своим человеческим видом, почти все обладали разным числом пальцев, имели грубые ногти и недостаточную тонкость осязания.

Двумя самыми страшными зверолюдьми представлялись мне леопардочеловек, что неуди-

вительно, и тварь, созданная Моро из гиены и свиньи. Ростом их превосходило трое человекобыков, вытаскивавших на берег лодку. Затем в ранжире роста по убывающей шли косматый и седой чтец Закона, М'линг и сатиресса — загадочный гибрид обезьянки и козы.

Еще было три человекоборова и одна женщина-свинья, помесь кобылы с носорогом и несколько других существ, чье происхождение я даже не брался уточнить. Было несколько волколюдей, человек-медведь-вол и один человекосенбернар; а еще — омерзительная до ужаса и скверно смердящая старуха, сделанная из самки лисицы и медведя. Я возненавидел ее с первого взгляда. Говорят, она была страстной почитательницей Закона. Меньшими по величине существами были несколько пятнистых кошачьих юнцов и маленькое, похожее на ленивца существо. Но довольно этого каталога.

Сначала я испытывал дрожь отвращения при виде этих уродов и чувствовал слишком сильно, что они все же оставались зверями, но незаметно я стал привыкать к ним и также огорчался отношением к ним Монтгомери. Он жил с ними уже так долго, что начал смотреть на них как на обыкновенных людей, — его прошлая жизнь в

Лондоне казалась ему навеки исчезнувшим сновидением. Только раз или два в год отправлялся он в Африку вести дела с поверенным Моро, торговцем животными, а там, что-то подсказывает, ему едва ли выпадал шанс повидать прекрасные по части наружности экземпляры человеческого рода. Люди на корабле, по его рассказам, казались ему поначалу точь-в-точь такими же странными, какими показались мне зверолюди — у них слишком длинные ноги, плоские лица, выдающиеся лбы; им свойственны подозрительность и бессердечие, извечная аура угрозы витает среди них. Монтгомери не любил людей. Ко мне он почувствовал симпатию, как думал, только потому, что спас мою жизнь. Мне даже казалось, что этот завзятый мизантроп ощущал секретное духовное родство с иными из островных метаморфизированных созданий; некая порочная симпатия, вначале старательно скрываемая от меня, двигала им.

М'линг, темнолицый зверочеловек, слуга Монтгомери и первый из встреченных мной зверолюдей, жил не вместе с остальными своими собратьями в пещерах, а в маленькой юрте за изгородью. Он был едва ли так же развит, как человекообезьяна, но гораздо более кроток

и больше всего похож на человека. Монтгомери выучил его стряпать и убираться. М'линг представлял собой сложный трофей ужасного искусства Моро — помесь обезьяны, медведя, собаки и быка, — и был одним из наиболее тщательно обработанных созданий. Он относился к Монтгомери с удивительной нежностью и преданностью. Тот иногда замечал это, ласкал его, называл полунасмешливыми, полушутливыми именами, заставлявшими его скакать от восторга; иногда же он дурно обращался с ним, особенно после нескольких рюмок бренди, награждал его пинками, побоями, кидался в него камнями или зажженными спичками. Но несмотря ни на хорошее, ни на дурное обращение Монтгомери, М'линг ничего не любил больше, чем быть подле своего господина.

В конце концов я привык к этим уродам, и тысячи их поступков, вначале казавшиеся мне противными человеческой природе, вскоре стали в моих глазах совершенно обычными и естественными. В жизни наши понятия и представления, как я думаю, всецело находятся под влиянием окружающей нас обстановки и людей. Монтгомери и доктор Моро оказались для меня слишком сильными и незаурядными личностями, чтобы,

живя среди них, можно было вполне сохранить представления о человечестве. Если я встречал одного из людей-быков, тяжкой поступью пробирающегося сквозь кусты в лесу, мне случалось спрашивать себя и решать, чем человек-бык отличается от какого-нибудь настоящего серого мужика, после ежедневного механического труда медленно плетущегося домой. Или при встрече с той старухой, полулисой и полумедведицей, с ее подвижно-лукавым лицом, удивительно похожим на человеческое своим выражением хитрости, мне казалось, что я уже раньше встречал ее где-то на улице в одном из городов.

Однако время от времени зверь в них ясно и определенно заявлял свои права.

Урод по наружности, дикарь с безобразными плечами, сидя на корточках у входа в пещеру или хижину, вдруг вытягивал вперед руки и зевал, со странной неожиданностью обнажая острые передние зубы и клыки, сверкавшие и отточенные, как бритва.

Когда я прямо и решительно смотрел в глаза одной из проворных самок, попавшейся мне навстречу на узкой тропинке, то с чувством отвращения замечал неправильный разрез ее зрачков; опустив взгляд, видел изогнутые когти,

которыми она придерживала на бедрах лохмотья одежды. Интересно и необъяснимо, что эти создания женского пола в первое время моего пребывания на острове отчего-то куда острее мужчин-зверолюдей сознавали изъяны в своей наружности и весьма по-человечески стремились украшать себя, придирчиво относиться к скудной одежке и даже проявлять некую стыдливость.

Глава 16. Зверолюди вкушают крови

Моя писательская неопытность невольно обнаруживается в том, что я удаляюсь от главной нити своего рассказа. Позавтракав с Монтгомери, мы пошли пройтись по острову и посмотреть на дымящуюся фумаролу и на горячий источник, в чьи кипящие воды я угодил накануне. У каждого из нас имелись при себе хлысты и заряженные револьверы. По пути туда сквозь густые заросли тростника до нас донесся писк кролика. Мы остановились и прислушались, но, не услышав ничего больше, продолжили путь. Это обстоятельство вскоре совершенно выветрилось у нас из головы.

Монтгомери обратил мое внимание на стайку маленьких животных розового цвета с очень длинными задними ногами; они бежали прыжками, прячась в гуще кустарников. Он объяснил мне, что это были найденные и «обделанные» Моро дети больших двуногих. Моро изначально надеялся, что это потомство послужит кормовой базой, но потом решил, что это слишком негуманно для «бога острова» — есть детей своих подопечных. В целом, он еще не решил вопрос

воспроизводства у зверолюдей: кого-то он стерилизовал, кого-то оставлял фертильным, не придерживаясь системы.

Эти созданьица уже попадались мне той ночью, когда за мной гнался человек-леопард, а также накануне, во время бегства от Моро. Случайно одно из таких животных, убегая от нас, попало в дыру от вырванного с корнем и поваленного ветром на землю дерева. Прежде чем беглец успел выбраться, нам удалось словить его. Он визжал, фыркал, как кошка, пищал и царапался, отчаянно брыкался задними ногами, пытался даже укусить, но зубы его были слишком слабы, чтобы причинить что-то сильнее безболезненного щипка. Мне этот мелкий сорванец даже понравился. Монтгомери подтвердил мне, что его порода никогда не портит землю рытьем нор и чистоплотна в своих привычках.

— Из него вышел бы хороший усадебный питомец, — заметил я, отпуская маленькую химеру. — Ничуть не хуже привычных всем котов и кроликов.

Далее по дороге мы увидели глубоко расщепленный пень дерева. Кора была ободрана с него длинными полосами. Монтгомери обратил на это мое внимание.

— «С древа кору не дерем мы когтями», — сказал он. — Да, кому-то Закон не писан!

Немного спустя, насколько помню, мы встретили обезьяночеловека и сатирессу. Эту последнюю химеру, видимо, вдохновили воспоминания Моро о классических легендах и мифах, и если обезьянье начало в моем компаньоне делало его похожим на карикатурного иудея, то сатиресса, причудливо составленная из примата, козы и еще какого-то загадочного элемента, о котором мне и думать не хотелось, обладала своеобразной сатанинской грацией. То есть все еще выглядела диковато: неприятно блеяла, таращила глаза в разные стороны и неуклюже скакала на нижних конечностях, какие обычно рисуют у чертей. Она глодала шелуху какого-то стручкового плода в то время, как мы проходили мимо нее.

— Приветствую второго с хлыстом! — пробубнила она с набитым ртом.

— Здравствуй, второй с хлыстом, — добавил обезьяночеловек.

— Теперь есть еще третий с хлыстом, — сказал Монтгомери. — Зарубите себе на носах!

— Разве он не сделан? — спросил обезьяночеловек. — Он говорил, что он сделан…

Сатиресса с любопытством посмотрела на

меня.

— Третий с хлыстом, плача, подался в море, — проблеяла она. — У него худое и бледное личико…

— А еще у него есть хлыст, — прибавил Монтгомери.

— Вчера он был в крови и плакал, — сказала сатиресса. — У вас никогда не идет кровь, и вы никогда не плачете. У господ никогда не идет кровь, и они никогда не плачут.

— Ах вы, шельмы! — бросил Монтгомери. — Вас самих бы иссечь до крови за такое вот вольнодумство!

— У него пять пальцев; он человек пятипалый, как и я, — сказал обезьяночеловек.

— Пойдемте, Прендик, — обратился ко мне Монтгомери, взяв меня за руку, и мы пошли с ним дальше.

Сатиресса и обезьяночеловек стояли, наблюдая за нами и переговариваясь.

— Он молчун, — говорила первая. — А ведь у господ есть охота упражнять голоса.

— Вчера он просил меня дать ему поесть, — сказал второй. — Он не знал, где достать.

Дальнейшего разговора их нельзя было расслышать, и до меня дошел только блеющий смех

сатирессы.

На нашей обратной дороге мы набрели на труп кролика. Тельце несчастного зверька было растерзано на куски, многие ребра ободраны до костей, а мясо с позвоночника было бесспорно обгрызано.

Увидав это, Монтгомери остановился.

— Боже мой! — сказал он, нагибаясь и подбирая несколько раздробленных позвонков, чтобы ближе рассмотреть их. — Боже мой, — повторил он, — что это значит?

— Кто-то из ваших хищников вспомнил старые привычки, — сказал я, помолчав. — Этот позвоночник прокушен насквозь.

Монтгомери стоял, не сводя глаз с позвонков, с бледным лицом и перекошенной губой.

— Мне это не нравится, — сказал он.

— Я уже видел нечто в этом роде, — ответил я, — в первый же день своего прибытия.

— Черт побери! Что такое?

— Это был кролик с оторванной головой.

— В день вашего прибытия, Прендик?

— Да, именно тогда. В кустарнике за изгородью, в то время как я ушел вечером. Голова у кролика была напрочь оторвана.

Монтгомери протяжно и тихо свистнул.

— И более того, у меня есть некоторые предположения, кто из ваших животных это сделал. Это, конечно, только предположение. Прежде чем я набрел на того кролика, я увидел одного из чудовищ, пьющего у ручья.

— Лакающего воду?

— Да.

— «Воду лакать языком нам не нужно». Славно же они исполняют Закон, когда Моро не стоит над ними!

— Это было то же самое создание, которое гналось за мной.

— Без сомнения, это так, — сказал Монтгомери, — таково обыкновение всех хищников. Убив свою жертву, они пьют. Это происходит, знаете, вследствие вкуса крови. Как выглядел тот зверь? — спросил он меня. — Узнать сможете? — Стоя над останками кролика, Монтгомери озирался по сторонам, вглядываясь в глубину зеленых зарослей, в эти засады и западни леса, окружавшего нас.

— Он попробовал вкус крови, — снова повторил он.

Вынув револьвер, он осмотрел находящиеся в нем патроны и снова спрятал его в карман. Затем он принялся теребить отвисшую губу.

— Мне кажется, я узнал бы это животное, — сказал я. — Я оглушил его ударом камня. У него должна остаться преизрядная травма.

— Тогда нам остается только доказать, что он убил кролика, — сказал Монтгомери. — Я уже жалею, что привез их сюда.

Я хотел было пойти дальше, но он продолжал стоять в нерешительности. Заметив это, я отошел вперед на такое расстояние, что уже не видел кроличьих останков.

— Идемте, — позвал я его.

Он мгновенно очнулся и направился ко мне.

— Видите, — проговорил он полушепотом, — предполагается, что все они проникнуты мыслью о том, что им нельзя есть ничего бегающего по острову. Если кто-то из них отведает крови…

Мы молча шли некоторое время.

— Удивляюсь, как это могло случиться, — сказал Монтгомери, обращаясь сам к себе. — Вчера я выкинул фортель, — прибавил он, помолчав немного. — Мой слуга… Я показал ему, как правильно свежевать и стряпать кролика. Это странно… Я видел, как он облизывал свои руки… Никогда не замечал за ним такого раньше. Нужно положить этому конец. Я должен рассказать обо всем Моро.

На обратном пути к дому Монтгомери не мог думать ни о чем другом.

Моро отнесся к происшедшему еще серьезнее него, и их очевидный страх невольно передался и мне.

— Нужно принимать меры, — сказал Моро. — Лично у меня нет ни малейшего сомнения, что виновник этого — леопардочеловек. Но как это доказать? Очень жаль, Монтгомери, что вы не приберегли ваших гастрономических наклонностей для себя; можно было отлично обойтись без таких возбуждающих новшеств. Мы сами теперь рискуем обратиться в блюдо.

— Я был ослом, — сознался Монтгомери. — Но теперь дело сделано. Помните, вы сами сказали, чтобы я приобрел их.

— Мы должны сразу все выяснить, — сказал Моро. — Если что-то случится, М'линг ведь сумеет сам защитить себя?

— Я вовсе не так уверен в М'линге, а я как будто достаточно хорошо его знаю.

В тот же день Моро, Монтгомери, я и М'линг отправились на противоположную сторону острова, к хижинам в овраге. Мы трое были вооружены. У М'линга был небольшой топор, которым он обыкновенно рубил дрова, и несколь-

ко пачек проволоки. У Моро через плечо висел огромный пастуший рог.



— Вы увидите сбор звериного люда, — сказал мне Монтгомери. — Интересное зрелище.

Моро за всю дорогу не произнес ни слова, и его решительное, окаймленное сединой лицо хранило угрюмое выражение.

Мы перебрались через овраг, по которому протекал горячий дымящийся источник, и, пройдя извилистой тропой сквозь тростники, достигли обширного, ровного пространства, покрытого густым слоем желтоватого порошка. Это, по-видимому, была сера. Вдали за поросшей сорной травой отмелью сверкало море. Мы добрались до места, имевшего вид естественного амфитеатра, и все четверо остановились. Моро протрубил в рог. Раздавшиеся звуки нарушили сон тропического полдня. Легкие ученого, похоже, отличались отменным здоровьем. Призывные звуки с оглушительной силой разносились все сильнее и сильнее посреди эха, вторящего им со всех сторон.

— Уф! — выдохнул Моро, опуская изогнутый инструмент.

В желтых тростниках послышался шорох, и из густой зеленой заросли на болоте, по которому я бежал накануне, раздались звуки голосов. Затем с трех или четырех сторон этого покрытого серой

пространства показались странные фигуры спешащих к нам животных-людей.

Меня снова охватило чувство ужаса, когда я увидел, как один за другим волочащейся походкой появлялись эти чудовища из-за деревьев и тростников. Но Моро и Монтгомери взирали на них хладнокровно, и я инстинктивно держался рядом с ними.

Первой прибежала сатиресса — удивительно ирреальная, несмотря на отбрасываемую тень и взбиваемую копытами пыль. За ней появилось из-за тростников новое страшилище — смесь лошади и носорога; оно и сейчас, приближаясь, жевало солому. Вслед за ним появились человек-кабан и волколюди. Так, потихоньку, стягивались и остальные. Все страшно торопились. Подходя ближе, они принялись низко кланяться Моро и, не обращая внимания друг на друга, петь отрывки второй половины Закона:

— Он властитель в Доме Боли, он умеет создавать, он умеет поражать…

Приблизившись на расстояние тридцати шагов, они вдруг попадали на землю и, стоя на локтях и коленях, принялись посыпать голову песком. Вообразите только эту картину: нас, троих людей, одетых в синие одежды, рядом с безобразным

темнолицым слугой, стоящих под обширным, залитым солнцем небом и окруженных сборищем подобострастно жестикулирующих страшилищ, одних — предельно похожих на людей, кроме еле уловимых гримас и жестов, других — каких-то калек и, наконец, третьих — так странно обезображенных, что они походили на болезненные видения из самых ужасных кошмаров. И позади, с одной стороны — колеблющиеся очертания тростников, с другой — чаща пальм, отделяющая нас от оврага с его пещерами, а к северу — туманный горизонт Тихого океана.

— Шестьдесят два, шестьдесят три, — считал Моро, — недостает четверых!

— Я не вижу леопардочеловека, — сказал я.

Моро снова протрубил в большой рог, и при звуке его зверолюди стали извиваться и ползать по земле.

И вот, прокрадываясь из камышей, пригибаясь и стараясь украдкой присоединиться к взметающему пыль собранию, появился леопардочеловек. Я увидел шишку и синяки на его лбу. Последним появился маленький обезьяночеловек. Собравшиеся до него зверолюди, разгоряченные и исступленные, бросали на него злобные взгляды.

— Довольно, — звучным и решительным голосом произнес Моро, и вся звериная братия, усевшись на землю, прекратила славословие.

— Где чтец Закона? — вопросил Моро, и косматое страшилище склонилось лицом до самой земли. — Говори, — велел ему Моро, и тотчас коленопреклоненное собрание, качаясь из стороны в сторону и подбрасывая руками серу — сначала правой рукой горсточку, а потом левой, — снова принялось за пение удивительной литании. Когда они дошли до слов: «Мясо и рыба — еда не для нас», Моро воздел вверх свой бледный кулак.

— Довольно! — крикнул он, и воцарилась мертвая тишина.

Мне кажется, все они знали и боялись того, что должно было произойти. Взгляд мой пробежал по их странным лицам.

Увидев их выжидательные позы и скрытый ужас в их блестящих глазах, я удивился самому себе, как мог я когда-либо принять их за людей.

— Сей закон был нарушен, — сказал Моро.

— Нет спасения, — произнесло безликое косматое чудище.

— Нет спасения, — повторило за ним все коленопреклоненное собрание зверолюдей.

— Кто нарушил Закон? — крикнул Моро, обводя

глазами их лица и щелкая хлыстом.

Я заметил, что гиеносвин выглядел смущенным — так же, как и леопардочеловек.

Моро остановился, глядя в упор на тварей, пресмыкающихся пред ним, полных ужаса и воспоминаний об испытанной ими когда-то бесконечной муке.

— Кто нарушил Закон? — повторил Моро громовым голосом.

— Горе тому, кто нарушает, — начал распевать чтец Закона.

Моро взглянул прямо в глаза леопардочеловека так, будто хотел прожечь его до самой глубины зверочеловеческой души.

— Тот, кто нарушает Закон… — начал Моро, отведя глаза от жертвы и поворачиваясь к остальным. Оттенок торжества слышался в его голосе.

— …возвращается в Дом Боли, — воскликнули все хором, — возвращается в Дом Боли! Ибо такова воля господина!

— Возвращается в Дом Боли, возвращается в Дом Боли, — скороговоркой затараторил обезьяночеловек, как будто сама эта мысль доставляла ему удовольствие.

— Ты слышишь? — спросил Моро, обращаясь к преступнику. — Слышишь…

Леопардочеловек, не чувствуя на себе взгляда Моро, поднялся. С воспламененными яростью глазами и с блестящими на солнце громадными кошачьими усами на отвисших губах, он вдруг прыгнул на своего мучителя. Я был убежден, что только отчаянный ужас толкнул его на это нападение. Весь круг шестидесяти чудовищ повернулся к нам. Я извлек из кармана свой револьвер. Человек и зверь столкнулись, я видел, как Моро пошатнулся от прыжка; кругом нас раздавался лай и яростные рычания; все пришло в замешательство, и одно мгновение я думал, что поднялся всеобщий бунт.

Разъяренное лицо леопардочеловека сверкнуло предо мной вместе с физиономией преследующего его М'линга. Я увидел возбуждение, сверкавшее в желтых глазах гиеносвина, и его позу, как будто он почти решился кинуться на меня. Тут я услыхал выстрел револьвера Моро и увидел красноватую вспышку огня, прорезавшую возбужденную толпу.

Вся она, казалось, всколыхнулась по направлению к вспышке, и я был также увлечен общим движением. В следующее мгновение я уже бежал вместе с дико кричащей оравой вслед за мчавшимся леопардочеловеком. Вот и все, что я могу

определенно заявить.

Я увидел, как леопардочеловек ударил Моро, а затем все спуталось вокруг меня до тех пор, пока я не бросился бежать со всех ног.

М'линг был впереди всех, следуя по пятам за беглецом. За ним с высунутыми языками большими прыжками бежали волколюди. Визжа от возбужденья, люди-свиньи скакали в том же направлении, и за ними молчаливо топали затянутые в белые хламиды быколюди. Дальше бежал Моро, окруженный толпою звериного люда. Его широкополую соломенную шляпу сорвал с головы ветер. В руке он сжимал револьвер, и его длинные седые волосы развевались вокруг головы. Сатиресса и обезьяночеловек оба увязались за мной, зачем-то приноравливаясь к моему шагу и украдкой поглядывая на меня заинтересованными глазами. Остальные просто мчали во весь опор, крича и гогоча.

Леопардочеловек пробил себе путь сквозь высокие тростники. Сомкнувшись за ним, те хлестнули по лицу М'линга. Мы все, бегущие в арьергарде, достигнув тростников, взяли курс на протоптанную тропинку. Эта погоня продолжалась, быть может, еще около четверти мили, а затем перешла в густую чащу леса, чрезвычайно

замедляющую продвижение. И все же мы ломились сквозь чащу толпой, листья стегали нас по лицам, липкие, ползучие растения ловили нас за подбородки или обвивались вокруг ног, колючки цеплялись за нас и разрывали одежду вместе с кожей…

— Он пробежал здесь на четвереньках, — задыхаясь, проговорил Моро, находящийся теперь как раз впереди меня.

— Нет спасения! — выпалил волкомедведь, возбужденный погоней, смеясь мне прямо в лицо.

Мы снова очутились среди скал и там-то заприметили нашу дичь, быстро бегущую на четвереньках и рычащую на нас через плечо. В ответ на это рычание раздался азартный вой волчьей братии.

Преследуемое нами существо все еще имело на себе одежду, и издалека лицо его могло сойти за человеческое, но поступь была истинно кошачья, а быстрые движения лопаток ясно выдавали в нем зверя. Он прыгнул через какие-то покрытые желтоватыми цветами колючки и скрылся из виду.

М'линг был на полдороге от этого места.

Большинство из нас растеряло изначальную прыть и перешло на более медленный и разме-

ренный шаг. Когда мы проходили по открытому месту, я увидел, что погоня из колонны растянулась в линию. Гиеносвин выскочил вперед, бесцеремонно оттолкнув меня и бросив по пути ворчливый смешок.

Достигнув края скал, леопардочеловек решил направиться прямо к мысу, на котором он преследовал меня вечером, после моего прибытия на остров, и сделал поворот в чащу кустов, чтобы вернуться по своим же следам. Но Монтгомери, заметив маневр, отсек это направление, заставив зверя отпрянуть назад.

Я продолжал бежать, несмотря на крайнюю усталость и на тропический день.

Наконец пыл охоты остыл, мы окружили несчастного зверя на одном из углов острова. Моро с кнутом в руке расставил нас всех неправильной линией, и мы стали осторожно продвигаться вперед, перекликаясь друг с другом и сужая круг на изгое, затаившемся в тех же кустах, где он уже скрывался во время другого преследования.

— Внимание! Сомкнись! — кричал Моро, пока линия преследователей окружала кусты, заграждая выход зверю.

— Береги заряд! — раздался голос Монтгомери из-за какого-то куста.

Я находился на откосе вверху, над кустарниками, а Монтгомери и Моро курсировали внизу по пляжу. Мы неспешно шли среди переплетенных меж собой веток и листьев.

Леопард не торопился напасть.

— Кто нарушил наш Закон, тот возвращается в Дом Боли, в Дом Боли, в Дом Боли! — раздавался где-то в шагах двадцати справа голос обезьяночеловека.

Услышав это, я простил несчастному отступнику весь страх, какой он пробуждал во мне прежде. Я услыхал, как справа от меня захрустели ветви и с шумом раздвинулись сучья от тяжкой поступи лошади-носорога. Вдруг сквозь густо переплетенную зелень, в полутьме роскошной растительности, я увидел преследуемое нами существо. Я остановился. Оно съежилось, как только было возможно, его блестящие зеленые глаза смотрели на меня через плечо.

Вам может показаться странным противоречием — я не могу объяснить этого факта, — но теперь, видя это существо в позе истинного животного, со сверкающим блеском в глазах, со своим не вполне человеческим лицом, искаженным выражением ужаса, я снова увидел в нем слишком много *людского.*

Еще одно мгновение — и остальные преследователи увидят его, на него нападут и его захватят силой, чтобы еще раз предать ужаснейшим пыткам в Доме Боли…

Я решительно выхватил револьвер, прицелился между его полными ужаса глазами и выстрелил.

В это время гиеносвин также увидел его и кинулся с пронзительным криком, всадив свои жадные зубы в его шею.

Вся зеленая чаща вокруг меня заколыхалась и затрещала, так как звериный люд всей толпой кинулся туда. Одно лицо появлялось вслед за другим.

— Не убивайте его, Прендик! — кричал Моро. — Не убивайте его!

И я увидел, как он нагнулся, пробираясь среди высоких папоротников.

Минуту спустя он уже отогнал гиеносвина ударом ручки хлыста и с Монтгомери осаживал назад от все еще трепетавшего тела возбужденный, кровожадный звериный люд и в особенности М'линга.

Косматое седое страшилище подошло к трупу, проскользнув у меня под рукой и сипло втягивая воздух ноздрями. Остальные в пылу звериного

увлечения толкали меня, чтобы подойти и взглянуть поближе.

— Черт вас побери, Прендик, — сказал Моро, — он был мне нужен.

— Очень жаль, — ответил я, хотя нисколько не сожалел. — Рука дрогнула. — Я чувствовал себя совсем больным от возбуждения и усталости.

Повернув назад, я проложил себе путь сквозь густую толпу звериного люда и пошел один вверх по откосу, к самой высокой части мыса. Я услышал, как, следуя громко отданным приказаниям Моро, трое закутанных в белое быколюдей принялись тащить жертву вниз к воде.

Теперь мне было легко остаться в стороне. Зверолюди проявили вполне человеческое любопытство к мертвому телу и последовали за ним плотной группой, обнюхивая и рыча, пока быки тащили его по пляжу. Я подошел к мысу и наблюдал, как эти мощные, черные на фоне вечернего неба великаны несли тяжелое мертвое тело в море; и, словно волна, на меня нахлынуло осознание невыразимой бесцельности происходящего на острове. На берегу, меж скал подо мной, обезьяночеловек, гиеносвин и еще несколько зверолюдей толпились вокруг Монтгомери и Моро. Все они были по-прежнему сильно возбуждены и выкри-

кивали громкие заверения в своей преданности Закону, однако я был абсолютно уверен в том, что гиеносвин был причастен к убийству кроликов. У меня возникло странное убеждение, что, если не считать грубости линий, гротескности форм, передо мной весь баланс человеческой жизни в миниатюре, все взаимодействие инстинктов, разума и судьбы в простейшей форме. Леопардочеловеку случилось выбыть из круга, но чертово колесо продолжает вращаться. Бедное животное!

Бедные животные! Я начал осознавать еще более отвратительную сторону жестокости Моро. Раньше я не задумывался о боли и неприятностях, выпавших на долю несчастных жертв после того, как они вырвались из рук Моро. Я содрогался только в те дни, когда их по-настоящему мучили в загоне. Но теперь это казалось мне самой простой составляющей его пытки. Ранее они были животными, их инстинкты были приспособлены к окружающей среде, и они были счастливы, насколько это возможно для живых существ. Теперь же они запутались в оковах человечности, будучи в вечном страхе, терзаемые законом, чью суть они не могли понять; их псевдочеловеческое существование, начавшееся в агонии, являло собой одну долгую внутреннюю борьбу, один

долгий страх перед Моро — ради чего? Именно бессмысленность эксперимента в кои-то веки всерьез взволновала меня.

Если бы у Моро имелась хоть какая-то понятная цель, я мог бы ему хотя бы немного посочувствовать. Я ведь не *настолько* щепетилен в отношении боли. Я мог бы даже отчасти простить его, если бы его мотивом выступала, скажем, ненависть. Но он представал… таким безответственным, таким беспечным! Ничего, кроме любопытства, не толкало его вперед, к безумным, бесцельным изысканиям. И вот — новое экспериментальное существо зачем-то выбрасывалось в жизнь на год-другой, чтобы бороться, ошибаться, страдать… и в конце концов мучительно умереть. Зверолюди были *исконно несчастны:* врожденная животная ненависть побуждала их преследовать друг друга, но Закон удерживал от недолгой горячей борьбы за главенство и решительного конца, присущего их природной вражде между собой.

В эти дни мой страх перед животными-людьми уступил место страху перед личностью Моро. Я впал в болезненное состояние, сильное и продолжительное, в какой-то безумный морок, выжегший прочные следы в моем мозгу. Я потерял веру в разумность мироздания, когда увидел

бессмысленность страдания, царящего на этом острове. Слепой Фатум, этот огромный и не знающий жалости механизм, казалось, выкраивал и придавал формы живым существам, и я, Моро (со своей страстью исследования), Монтгомери (со своей страстью к пьянству), зверолюди (со своими инстинктами и ограниченным умственным кругозором) — все мы толкались и дробились в его непрерывно движущихся хитроумных жерновах.

Впрочем, в описанном выше умонастроении я утвердился не сразу.

Мне даже кажется, что, рассказывая о нем, я изрядно забегаю вперед.

Глава 17. Бедствие

Прошло около шести недель, и я перестал испытывать какое-либо другое чувство, кроме неприязни и отвращения к бесчеловечным опытам Моро. Единственным желанием было уйти от творца этих ужасных карикатур, уйти назад к приятному и благодетельному общению с людьми.

Люди-братья, с которыми я был теперь разлучен, стали казаться мне в воображении идиллически добродетельными и прекрасными. Моя первоначальная дружба с Монтгомери не развивалась. Его долгая обособленность от людей, его тайная наклонность к пьянству, его видимая симпатия к зверолюдям — все это отталкивало меня. Несколько раз я оставлял его одного, когда он шел к ним. Я избегал общения с ними всеми возможными способами.

Я проводил много времени на берегу, высматривая какой-либо благодетельный, но никогда не появляющийся корабль, пока, наконец, не разразилось дикое бедствие, совершенно изменившее положение вещей в этой необычайной обстановке.

Это случилось спустя семь или восемь недель после моего прибытия, — может быть, больше, хотя я и не старался вести счет времени. Катастрофа грянула нежданно. Случилась она рано утром, насколько помнится, около шести часов. Я рано встал и позавтракал, так как был разбужен шумом, производимым зверолюдьми при переноске ими дров за изгородь.

Я подошел к открытым воротам и стоял там, куря папиросу и наслаждаясь свежестью раннего утра.

Скоро я увидел Моро, обогнувшего изгородь и поздоровавшегося со мной. Он прошел мимо меня, и я услыхал, как щелкнул за ним замок, когда он открывал свою лабораторию.

Я уже до такой степени успел привыкнуть к ужасу, парившему в этом месте, что без малейшей тени волнения услышал, как жертва Моро, пума, начала новый день своей пытки. Она встретила мучителя пронзительным криком, совершенно походившим на крик пришедшей в ярость женщины.

Затем что-то случилось. Я не знаю, в чем было дело, даже и до сих пор. Я услышал позади себя резкий крик, чье-то падение и, обернувшись, увидел ужасное лицо, мимолетно мелькнувшее

перед глазами. Оно было и не человеческое, и не звериное, а какое-то адское: темное, изборожденное красными переплетающимися рубцами с выступающими каплями крови и лишенными век глазами.

Я поднял руку, чтобы защитить себя от удара, который отбросил меня головой вперед, а огромное страшилище, замотанное корпией с развевающимися вокруг кровавыми бинтами, перескочило через меня и исчезло из виду. Я покатился дальше и дальше, вниз по берегу, стараясь остановиться и, наконец, неудачно приземлился на руку, сломав ее.

Вдруг показался Моро. Его крупное бледное лицо выглядело еще ужаснее от крови, струившейся по лбу. В одной руке он держал револьвер. Он едва взглянул на меня, тотчас же бросившись в погоню за пумой.

Я пощупал другую руку и сел на землю. Вдали передо мною большими, широкими скачками бежала по берегу забинтованная фигура со следовавшим за ней Моро.

Она повернула голову, увидела его и, неожиданно бросившись обратно, направилась в кустарники. С каждым шагом она опережала его. Я увидел, как она нырнула в кусты, а Моро, бегу-

щий наискось, чтобы перехватить ее, выстрелил. Он промахнулся, и она исчезла. Затем и он также канул в зеленую чащу.

Не сводя глаз, я смотрел вслед им, но боль в руке так разгорелась, что я, шатаясь, со стоном поднялся на ноги. На пороге показался Монтгомери, одетый, с револьвером в руке.

— Господи, Прендик! — воскликнул он, не замечая моей травмы. — Животное убежало! Вырвало из стены свои цепи! Видели ли вы их? — Но тут, заметив, что я схватился за руку, он резко добавил: — Что с вами?

— Я стоял в дверях, — ответил я.

Он подошел и взял мою руку.

— У вас кровь идет, — сообщил он, отворачивая рукав.

Он спрятал в карман револьвер, ощупал мою руку и повел меня внутрь дома.

— Ваша рука сломана, — сказал он и добавил: — Расскажите мне, как и что случилось.

Я сообщил ему все, что видел, отрывистыми фразами, прерываемыми вздохами боли, а он тем временем искусно и быстро перевязал мою конечность. Подвесив ее на перевязь, спущенную с плеча, он отошел и посмотрел на меня.

— Так, хорошо, — сказал он. — Но что же те-

перь?

Весь в думах, он вышел и запер ворота изгороди. Какое-то время он не показывался.

Я был главным образом удручен переломом руки. Все происшедшее казалось мне простым случаем среди многих ужасных событий на острове. Я уселся в кресло и, должен сознаться, от всей души проклял этот остров. Тупая боль в руке сделалась острой и жгучей, когда Монтгомери появился снова.

Лицо его было бледно, и нижняя губа отвисла более обыкновенного.

— Мне не удалось ни найти его, ни узнать что-либо о нем, — сказал он. — Я предполагал, что ему понадобится помощь. — Он уставился на меня своими невыразительными глазами. — Это было сильное животное, — сказал он, — оно так-таки вырвало цепи из стены.

Он подошел к окну, потом к двери и тогда повернулся ко мне.

— Пойду искать его, — сказал он. — Вот еще револьвер, который могу вам оставить. По правде говоря, я очень встревожен.

Он достал револьвер, положил его рядом со мной на стол и затем вышел, оставив меня в сильном беспокойстве. Я сидел недолго в комнате

после его ухода. Держа в руке оружие, я подошел к двери.

В воздухе царила смертельная тишина. Не было ни малейшего дуновения ветерка, море блестело, как полированное зеркало, небо было безоблачно, берег пустынен. При моем возбужденно-лихорадочном состоянии тишина действовала на нервы удручающе.

Я попробовал свистнуть, но звук, не слетев с уст, умер. Я снова выбранился, второй раз за утро, подошел к углу изгороди и уставился в глубину острова, в тот зеленый ад, что поглотил Моро и Монтгомери. Когда они вернутся? Вернутся ли?

Далеко на берегу показался маленький серый зверочеловек. Он добежал до края воды и принялся плескаться. Я стал бродить от двери до угла изгороди, шагая взад-вперед, словно часовой на посту.

Один раз я остановился, услышав вдали голос Монтгомери, кричавший:

— Ау, Моро!

Рука моя теперь болела меньше, но в ней чувствовался сильный жар. Меня лихорадило и мучило жаждой. Тень моя становилась все короче и короче. Я наблюдал за виднеющейся вдалеке фигурой, пока она не исчезла. Неужто Моро и

Монтгомери никогда не вернутся?

Три морские птицы затеяли драку из-за какой-то выброшенной на берег падали.

И вот очень далеко за изгородью грохнул звук револьверного выстрела. Наступило продолжительное молчание, а затем раздался второй выстрел, дикий крик где-то вблизи, и снова настала зловещая тишина. Мое несчастное воображение работало вовсю, терзая меня. Затем внезапно раздался совсем близкий выстрел.

Я кинулся к углу изгороди и увидел Монтгомери с багровым лицом, беспорядочно повисшими волосами и разорванными на коленях брюками. Его лицо выражало глубокий ужас. За ним, волоча ноги, шел М'линг. Вокруг челюстей слуги виднелись какие-то темные зловещие пятна.

— Он вернулся? — спросил Монтгомери.

— Моро? — переспросил я. — Нет.

— Господи боже! — Он с трудом переводил дыхание. — Войдите в комнату, — сказал он, взяв меня за руку. — Они обезумели, они совсем сходят с ума. Что же могло случиться? Я не знаю. Я расскажу вам, как только вздохну. Не найдется ли бренди?

Он вошел, прихрамывая, в комнату и опустился в кресло.

М'линг распростерся на земле за дверью и принялся тяжело и громко дышать, как это делают собаки. Я дал выпить Монтгомери разбавленного бренди. Он сидел, смотря перед собой осоловевшим взглядом, и понемногу приходил в себя. Пару минут спустя он принялся рассказывать мне то, что случилось.



Сначала он шел по их следам. Это было нетрудно благодаря помятым и поломанным кустарникам, белым клочьям, оторванным от бинтов пумы, и повсеместно встречающимся пятнам крови на листьях кустов и деревьев. Однако он потерял след на каменистой почве за ручьем, где я видел пьющего человека-леопарда, и пошел назад в западном направлении, зовя Моро. К нему присоединился М'линг с маленьким топором наперевес. М'линг ничего не знал об истории с пумой — он рубил дрова и услышал зов хозяина. Они отправились вместе, продолжая звать Моро. Навстречу им попались двое зверолюдей, тайком следящих за ними и обменивающихся странными жестами. Такое поведение насторожило Монтгомери — он прикрикнул на них, но они с виноватым видом умчались. Тогда он перестал звать Моро и, бесцельно побродив какое-то время, решился посетить хижины.

Он нашел овраг пустым.

С каждой минутой чувствуя все большую и большую тревогу, он тихо возвратился по тому же пути. Он встретил двух свинолюдей, которых я видел танцующими в первый день своего приезда; около ртов у них были пятна крови, и они были страшно возбуждены. Они с треском

пробирались сквозь папоротники и, увидев его, остановились с гордым видом. Он щелкнул на них хлыстом, слегка испугавшись, и тотчас же они напали на него. Никогда до сих пор ни один звериный человек не осмеливался сделать этого. Одному Монтгомери прострелил голову. М'линг набросился на другого, и оба, схватившись, покатились на землю, М'линг подмял врага под себя и всадил ему в горло зубы, а Монтгомери застрелил отступника, пока тот барахтался в тисках М'линга.

С немалым трудом он убедил М'линга последовать за собой.

И вот они пришли ко мне. По дороге М'линг вдруг кинулся в кустарник и вытащил оттуда небольшого ослиного человека, также запачканного кровью и хромающего из-за раны в ноге. Он отбежал от них на несколько шагов и, повернувшись, вдруг тоже зачем-то рванул на них. Монтгомери застрелил и его — сдается мне, без особой на то нужды.

— Что же это означает? — спросил я.

Он покачал головой и снова принялся за бренди.

Глава 18. Моро найден

Видя, как Монтгомери пропускает третью порцию бренди, я решился остановить его. Он был уже более чем наполовину пьян. Я сказал ему, что с Моро, должно быть, случилась какая-нибудь серьезная беда, иначе он бы вернулся, и что на нас лежит обязанность узнать, что с ним случилось.

Монтгомери принялся было слабо возражать мне, но в конце концов согласился.

Мы взяли немного провизии и в сопровождении М'линга отправились вглубь острова.

Как сейчас помню все произошедшее тогда: мы шли втроем через знойное затишье тропического полдня — сутуловатый М'линг ступал впереди всех, крутя черной головой по сторонам и обшаривая взглядом каждую пядь нашего пути. Свое оружие, топор, он потерял в борьбе со свиночеловеком, но его зубы вполне компенсировали потерю. Следом за ним, с опущенной головой и убранными в карманы руками, плелся Монтгомери. Он пребывал в состоянии пьяного раздражения, сердясь на меня за то, что я отобрал у него бренди. Замыкал шествие я. Моя левая рука была на перевязи, — счастье, что левая! — а

в правой я стиснул револьвер.

Мы пошли по узкой тропинке среди дикой роскошной растительности острова, следуя в северо-западном направлении. М'линг вскоре остановился, замер в выжидательной позе. Монтгомери почти что налетел на него и тоже встал как вкопанный. Напрягая слух, мы уловили доносящиеся к нам сквозь деревья звуки голосов и шум приближающихся шагов.

— Он умер, — говорил какой-то низкий дрожащий голос.

— Он не умер, он не умер, — испуганно бормотал другой.

— Мы видели, мы видели, — заговорило вместе несколько других голосов.

— Эй, там! — неожиданно крикнул Монтгомери. — Эй, вы!

— Черт бы вас побрал, — сказал я, сжимая револьвер.

Воцарилось молчание, нарушаемое треском переплетенной между собой зелени. И вот здесь и там появились с полдюжины страшного вида фигур — с каким-то новым, особенным выражением в лицах. Слышно было хриплое ворчание М'линга — звук клокотал в его горле. Я узнал обезьяночеловека — по правде сказать, я признал его еще

раньше, по голосу, — и двух смуглых созданий, виденных мной в шлюпке, закутанных в белое. За ними следовали два пятнистых зверочеловека и блюститель Закона — серое безобразное нечто с длинными седыми космами, падающими на его щеки, и свешивающимися на его низкий лоб двумя прядями, с густыми бровями и странными красными глазами, с любопытством осматривающими нас сквозь зелень.

Какое-то время все молчали. Затем Монтгомери спросил:

— Кто… кто говорил, что он умер?

Обезьяночеловек с виноватым видом посмотрел на косматое седое чудовище.

— Он умер, — сказало страшилище. — Они видели.

Во всяком случае, этот отряд не представлял собой ничего угрожающего. Казалось, все они были проникнуты страхом и изумлением.

— Где он? — спросил Монтгомери.

— Там, — указало седое чудовище.

— Есть ли теперь Закон? — спросил обезьяночеловек.

— Должны ли мы исполнять его повеления?

— Правда ли, что он умер?

— Есть ли теперь Закон? — повторил быкочело-

век в белом. — Есть ли теперь Закон, ты, второй с хлыстом?

— Он умер, — сказало косматое седое чудовище.

И все они стояли, наблюдая за нами.

— Прендик, — сказал Монтгомери, взглянув на меня тусклыми глазами, — это, кажется, правда… он умер.

Во время этого разговора я стоял позади него. Я начал понимать, как обстояли дела. Неожиданно я встал перед ним и повысил голос:

— Дети Закона, — сказал я, — он не умер.

М'линг посмотрел на меня своими проницательными глазами.

— Он переменил свой образ, он переменил свое тело, — продолжал я, — и какое-то время вы не увидите его. В Доме Боли он поставил опыт над самим собой, и теперь он там, — я указал на небо, — и оттуда может наблюдать за вами. Вы не можете его видеть, но он может видеть вас. Бойтесь Закона!

Я посмотрел на них в упор. Они колебались.

— Он велик, он добр, — сказал обезьяночеловек, пугливо таращась вверх сквозь густые деревья.

— А то существо? — спросил я.

— Существо, перепачканное кровью и бежав-

шее с криками и стоном, оно тоже умерло, — сказало седое чудовище, все еще глядя на меня.

— Вот это хорошо, — проворчал Монтгомери.

— Ты, второй с хлыстом… — начало седое чудовище.

— Ну что еще? — спросил Монтгомери.

— Скажи, что он умер.

Но Монтгомери был все же достаточно трезв, чтобы понять причину моего отрицания смерти Моро.

— Он не умер, — медленно сказал он. — Вовсе не умер. Умер не более, чем я.

— Те, кто нарушили Закон, — сказал я, — должны пасть. Кое-кто уже пал. Покажите же нам теперь, где лежит бывшее тело Первого, оставленное им за ненадобностью…

— Надо пройти вот сюда, человек, ходивший в море, — сказало седое чудовище.

Мы отправились сквозь чащу папоротников, ползучих растений и древесных стволов в северо-западном направлении. Послышался крик, затрещали сучья, и маленький розовый гомункул промчался мимо нас; тотчас же показалось громадное чудовище, все измазанное кровью и спешно преследовавшее его. Оно бросилось на нас прежде, чем мы успели сдать в сторонку. Блю-

ститель Закона был отброшен мощным толчком, и тогда М'линг с рычанием кинулся наперерез и тоже полетел в кусты. Монтгомери выстрелил — и промахнулся. Тогда выступил я, однако чудовище, не обращая на меня внимания, продолжало переть без оглядки вперед. Я выстрелил в него в упор — прямо в ужасное рыло. Вся его фигура тут же как будто съежилась. Оно пошатнулось и упало, увлекая следом Монтгомери. На земле оно еще какое-то время корчилось в судорогах агонии.

Мы с М'лингом переглянулись. Монтгомери лежал распростертым на земле, подле него — мертвый зверь. Наконец, Монтгомери поднялся, наполовину протрезвевший, и стал рассматривать продырявленную пулей голову зверя. Показалось и серое чудовище.

— Смотри! — произнес я, указывая пальцем на убитое животное. — Закон, как и прежде, в силе — кто его нарушил, тому смерть!

Чтец Закона рассматривал труп.

— Он умеет разить и калечить огнем, — выдал он замогильным голосом, наконец, само собой, цитируя некогда заученное.

Остальные столпились кругом и тоже смотрели.

В конце концов мы дошли почти до западного

края острова. Мы нашли изглоданное и искалеченное тело пумы с раздробленной пулей лопаткой, а шагах в двадцати подальше — то, что искали. Моро лежал лицом вниз на утоптанном месте среди тростников: одна рука у него была почти оторвана в плечевом суставе, и на седых волосах виднелась кровь. Кровь стекала каплями и по обломанным тростникам. Голова ученого, размозженная, вероятно, цепями пумы, была обезображена.

Мы не могли нигде отыскать его револьвера.

С помощью семи зверолюдей, отдыхая время от времени — ибо труп был тяжел, — мы понесли его обратно к изгороди. Темнело. Два раза мы слышали совсем близко от нашего маленького отряда, как какие-то одичавшие твари кричат и воют под пологом темноты. Как-то раз мне на глаза попалось розовое ленивцеподобное существо — оно поглазело на нас и снова исчезло. Слава богу, на нас хотя бы никто больше не покушался.

У ворот изгороди наша звериная компания оставила нас вместе с М'лингом. Внеся искалеченное тело Моро во двор, мы положили его на груду хвороста и надежно заперлись.

Потом мы отправились в лабораторию и уничтожили всех живых существ, какие были там

— скорее из страха на грани суеверного, а не из разумных соображений.

Глава 19. «Пляжная вечеринка» Монтгомери

Покончив с этим делом, смыв кровь и поев, мы с Монтгомери удалились в маленькую комнату и принялись в первый раз серьезно обсуждать наше положение. Уже приближалась полночь. Он был почти трезв, но с трудом мог собраться с мыслями. Он слишком привык во всем полагаться на Моро. Не думаю, чтобы ему когда-либо приходила в голову мысль о том, что доктор может умереть. Смерть патрона тяжело ударила по нему, разрушив образ жизни, сделавшийся его второй натурой в продолжении десяти или более лет, проведенных на острове. Он говорил неопределенно, уклончиво отвечал на вопросы и пускался в общие рассуждения.

— Как глупо устроен свет, — разглагольствовал он. — Жизнь — такая бессмыслица! У меня вовсе не было жизни. Удивляюсь, когда это она начнется! Шестнадцать лет я барахтался под надзором нянек и учителей, исполняя их милую волю, пять лет в Лондоне без устали зубрил медицину, скверно питался, жил в уголке с клопами, щеголял в

обносках — разве странно, что я пристрастился к вышивке? Ну да, совершил разок глупость — да я ведь не знал ничего лучшего, — и был выброшен на этот скотский остров. Десять лет здесь… Ради чего все это, Прендик? Мы что, мыльные пузырьки, выдуваемые ребенком?

Мне было трудно заткнуть его словесный поток.

— Нужно подумать о том, как убраться отсюда, — сказал я.

— А оно нам надо — убираться? Я натуральный изгой. Куда я подамся? Вам-то, может, и есть куда, Прендик… Бедный старый Моро! Могу ли я бросить его здесь, чтобы зверье все кости ему обглодало? Да и потом, что будет с теми созданиями, которые произведены более-менее удачно? Что станет с *лучшей частью* звериного люда?

— Обсудим это завтра, — заключил я. — Полагаю, нужно сделать из хвороста костер и сжечь его тело вместе с остальными. Почему вы так печетесь о зверолюдях? Моро упомянул, что вы их ненавидите. Какая разница, что с ними здесь станет?

— Не знаю. Думаю, переделанные хищники рано или поздно проявят себя по-скотски. Но нельзя убивать всех, нет-нет, нельзя. Против этого взы-

вает наша человечность… Боже, Прендик, дайте им шанс! Они изменятся. Я уверен — изменятся!

Он продолжал говорить таким бессодержательным образом, покуда я не почувствовал, что теряю терпение.

— Черт бы побрал вашу жестокость, Прендик! — воскликнул он на какое-то мое резкое замечание. — Разве вы не видите, что мое положение куда хуже вашего?

Он встал и пошел за бренди.

— Пейте, — сказал он, вернувшись. — Пейте же, вы, логично рассуждающий безбожник с бледным лицом святого.

— Не буду, — сказал я злобно, усаживаясь и разглядывая его освещенную желтоватым светом лампы физиономию, покуда он напивался до состояния болтливого гонора. Увы, но практика показала, что в компании выпивающих людей я слишком быстро и сильно утомляюсь.

Он снова пустился в защиту зверолюдей и М'линга. М'линг, по его словам, «на всем этом свете распоследняя тварь, всерьез уважающая и любящая меня». Вдруг по красному лицу Монтгомери будто проползло озарение.

— И как я только раньше не догадывался, — сказал он, пошатываясь, вставая на ноги и хватая

бутыль с бренди, и я вмиг сообразил, что у него за намерения.

— Вы не дадите напиться этому животному, — сказал я, вставая лицом к лицу перед ним.

— Животному? — воскликнул он. — Вы сами животное. Всяк, кто может держать стакан в руке прямо, — человек… Прочь с дороги, Прендик!

— Ради бога… — начал было я.

— Прочь с дороги! — завопил он, выхватывая неожиданно револьвер.

— Отлично! — бросил я язвительно, отойдя в сторону, уже наполовину решившись на него напасть, когда Монтгомери брался нетвердой рукой за задвижку двери. Впрочем, помня о сломанной руке, я сдержался. — Вы сами обратились в скотину, так и отчаливайте к ним.

Он распахнул дверь и стал вполоборота ко мне, освещенный с одной стороны желтым светом лампы, а с другой — бледным сиянием луны. Его глазные впадины казались черными пятнами под густыми бровями.

— Вы, Прендик, напыщенный дурак, совсем осел! Вы вечно чего-то боитесь и что-то воображаете. Мы стоим на краю пропасти. Я обещаю завтра же перерезать себе горло — мне ничего другого не остается. Но сегодня вечером я закачу

себе отличную вечеринку!

Отвернувшись, Монтгомери вышел.

— М'линг! — закричал он. — М'линг, старина!..

Три смутные фигуры, освещенные серебристым оком луны, шли по краю темнеющего вдалеке пляжа. Одна из них была в белой одежде, остальные две казались черными пятнами. Они остановились, таращась в нашу сторону. Затем я увидел сгорбленные плечи М'линга, огибавшего угол дома.

— Пейте! — кричал Монтгомери. — Пейте, вы, звери. Пейте и становитесь людьми. Черт возьми, я умнее всех. Моро забыл про это. А это последнее испытание. Пейте, говорю вам. — Размахивая бутылкой, он побежал рысцой на запад вместе с М'лингом, вставшим между ним и тремя следовавшими за ними неясными фигурами.

Я подошел к двери. Их было уже трудно рассмотреть в туманном лунном свете, но вот Монтгомери остановился. Я увидел, как он потчевал М'линга бренди и как все пять фигур слились в один сплошной клубок.

— Пойте, — услышал я возглас Монтгомери, — пойте все вместе: «А не пошел бы этот Прендик куда подальше»! Вот, хорошо! А ну, ребята: «Черт побери Прендика»!

Черный клубок разбился на пять отдельных фигур, и они медленно удалялись от меня вдоль озаренного лунным светом берега. Каждая из них вопила на свой собственный лад, выкрикивая в мой адрес всевозможные ругательства, давая выход своему пьяному запалу.

Вскоре я услышал вдалеке голос Монтгомери, командующего: «Напр-р-раво марш!» С криками и завываниями они исчезли в темноте прибрежных деревьев. Мало-помалу голоса их перестали быть слышны — мирное великолепие ночи захлестнуло округу. Луна миновала меридиан и клонилась к западу — полная, ярко сиявшая в полете по безоблачному голубому небу. У моих ног расстилалась тень от стены — шириной в ярд и черная, как чернила. Море на востоке казалось бесцветно-серым и таинственным, и между ним и тенью вспыхивал и горел серый песок берега. Объяснить иллюминацию было просто — песок сплошь состоял из гранул вулканического стекла и кристаллов лавового происхождения. Казалось, что весь пляж усыпан бриллиантами. За мной ярким красноватым огнем горела керосиновая лампа.

Я притворил дверь, запер ее и отправился внутрь изгороди, где лежал Моро со своими по-

следними жертвами: гончими собаками, пумой и другими несчастными животными. Хоть его и постигла ужасная смерть, даже после нее крупные черты его лица лучились вящим спокойствием. Широко распахнутые безжалостные глаза смотрели вверх на бледный лик мертвой луны. Я присел на край сточной трубы и, не отводя взгляда от этой мрачной груды, где серебристый свет луны чередовался со зловещими тенями, принялся раздумывать о своем положении.

Утром я наберу немного провизии в лодку и, предав огню находящиеся передо мной тела, пущусь еще раз бороздить неприкаянные просторы открытого моря. Я чувствовал, что Монтгомери спасать бессмысленно — он и впрямь по духу ближе к зверолюдям и в обществе более не приживется.

Не знаю, сколько времени просидел я так, размышляя. Думаю, не менее часа. Потом мои размышления были прерваны появлением где-то поблизости Монтгомери. Я услышал крики многочисленных голосов, направляющихся к берегу, — ликующие возгласы, гиканье и завыванье. Все это, казалось, замерло на самом краю пляжа. Гвалт усилился, а затем стих. Я услышал стук тяжелых ударов и треск раскалываемого

дерева, но тогда это нисколько не встревожило меня. Началось нестройное пение.

Мысли мои вернулись к способам бегства. Я встал, принес лампу и наведался в сарай — взглянуть на несколько бочонков, виденных там. Меня заинтересовало содержимое нескольких жестянок с печеньем, и я открыл одну из них. Краем глаза я будто различил за спиной какую-то алеющую фигуру и вмиг обернулся.

Сзади меня тянулся двор, рассеченный на полосы тенью и светом, с кучей хвороста и дров. Поверх кучи покоились Моро и его искалеченные до неузнаваемости жертвы — будто сцепившиеся в последнем мстительном объятии. Раны Моро были открыты и черны, точно окружающая ночь, а кровь, вытекшая из них, разлилась по песку, образовав нефтеподобную лужу. Тогда-то я и увидел красноватый отблеск на противоположной стене, который танцевал, уходил и вновь появлялся. «Вероятно, это не что иное, как забавное отражение света лампы», — думалось мне, и я спокойно прошел в сарай за провизией. Я рылся повсюду только правой рукой, ибо левая висела на перевязи и болела. Я откладывал в сторону все то, что находил для себя полезным, чтобы завтра нагрузить шлюпку. Двигался я неловко

и неспешно, а время утекало стремительно. За этим делом меня застал рассвет.

Пение внизу уступило место неразборчивому гомону, затем началось снова и перешло ни с того ни с сего в звуки борьбы. Я услышал крик: «Ну давай, давай!» и шум, как будто происходила ссора. Вдруг над пляжем пролетел пронзительный рев. Характер звуков сразу изменился так сильно, что невольно привлек к себе мое внимание. Я вышел и прислушался. И вот, подобно блеснувшей стали ножа, эту сумятицу прорезал револьверный выстрел.

Я мгновенно кинулся через весь сарай к маленькой двери. Тут я услыхал, как несколько находящихся позади меня ящиков рухнуло на пол, разбившись вдребезги и издав треск лопнувшего стекла. Но тогда я не обратил на это внимания. Я распахнул дверь и выглянул наружу.

Внизу на берегу у лодочного сарая горел костер, посылая целый дождь искр в смутно белеющее рассветом небо. Вокруг него боролась груда темных фигур. Я услыхал голос зовущего меня Монтгомери и тотчас же пустился бежать к костру с револьвером в руке. Я увидел, как один раз, у самой земли, полыхнуло что-то красное — это Монтгомери стрелял. Значит, он упал! Я крикнул

изо всех сил и выпалил из револьвера в воздух.

Кто-то закричал: «Господин!» Черный барахтающийся клубок распался на отдельные фигуры, огонь в костре ярко вспыхнул и погас. Толпа зверолюдей в панике рассеялась прочь от меня по всему пляжу. Захваченный непонятной злостью, я стал стрелять убегающим в спины, но они схоронились за пологом кустарников. Потом я повернулся к черным грудам, находившимся на песке.

Монтгомери лежал на спине с косматым седым чудовищем, распростертым поперек него. Животное было мертво, но все еще сжимало горло Монтгомери изогнутыми когтями. Рядом с ним, лицом к земле, замогильно спокойный, лежал М'линг. Шея его была насквозь прокушена, а в руке осталась верхняя часть разбитой вдребезги бутылки с бренди. Две остальные фигуры лежали у костра — одна неподвижно, другая время от времени чуть приподнимала со стоном голову, но почти сразу снова роняла.

Я обхватил седое чудовище — по иронии судьбы, это оказался блюститель Закона, — и оттащил его от Монтгомери. Тот весь посинел и еле дышал. Я побрызгал ему в лицо морской водой, а под голову вместо подушки подложил свою сверну-

тую куртку.

М'линг был мертв. Раненое существо, — это был волкочеловек с бородатым серым лицом, — лежало передней частью тела на все еще тлевшей золе костра; несчастный был так ужасно обожжен и изранен, что я из сострадания тотчас же выстрелом размозжил ему череп. Второй фигурой оказался один из закутанных в белое быколюдей. Он тоже был мертв. Остальные зверолюди сбежали с пляжа.

Я снова подошел к Монтгомери и опустился рядом с ним, проклиная свое незнание медицины. Костер догорал, и только остававшиеся обуглившиеся бревна, перемешанные с серой золой, тлели на концах. Я невольно с изумлением подумал, откуда это Монтгомери достал такое топливо. Я заметил, что уже почти рассвело. Небо светлело, заходящая луна становилась бледной и прозрачной на ясной лазури наступающего дня. Восток окаймился красноватой полосой зари.

Вдруг позади себя я услышал взрыв и шипение. Оглянувшись назад, я с криком ужаса вскочил на ноги. Огромные, беспорядочные клубы черного дыма подымались навстречу восходящему солнцу, и сквозь их бушующий мрак прорывались кровавые языки пламени. Они охватили

покрытую соломой крышу дома. Я увидел, как эти кровавые языки изменили направление, схватывая отлого выставленную соломой крышу. Столб пламени вырывался также из окна моей комнаты.

Я сразу понял, что случилось. Я вспомнил услышанный мною треск. Бросившись на помощь Монтгомери, я опрокинул лампу.

Безнадежность спасти что-нибудь, оставшееся по ту сторону изгороди была для меня очевидной. Я снова подумал о плане своего бегства и почувствовал желание взглянуть на обе лодки, находящиеся на берегу. Их там не было! Два топора лежали около меня на песке, всюду вокруг были разбросаны щепки и куски дерева, и пепел костра темнел и дымился в лучах рассвета. Монтгомери сжег лодки, чтобы отомстить мне за себя и помешать вернуться к обществу людей!

Внезапный порыв бешенства охватил меня. Мне захотелось размозжить камнем его голову, лежавшую беспомощно у моих ног. Вдруг его рука встрепенулась — такое слабое, такое жалкое вышло движение, что злоба моя утихла. Он застонал и на минуту открыл глаза. Я опустился возле него на колени и приподнял его голову. Он снова открыл глаза, безмолвно смотря на расцве-

тающий день. Взор его встретился с моим. Его веки закрылись.

— Жалко, — с усилием произнес он. Казалось, он пытался собраться с мыслями. — Вот и все, — прошептал он, — кончилась глупая жизнь. Такая-то бессмыслица…

Я прислушался. Голова его беспомощно завалилась набок. Я подумал, что глоток воды мог бы, пожалуй, оживить его, но под рукой не было ни воды, ни посудины, чтобы принести ее! В его теле как будто прибавилось тяжести. Сердце мое похолодело.

Я нагнулся к его лицу, просунул руку в разрез его рубахи. Он был мертв. И в эту самую минуту полоса яркого света, ореол солнца, блеснула на востоке за выступом залива, щедро разливая свой блеск по небу и превращая темное море в колышущуюся ослепительную массу. Этот солнечный свет, как будто сиянием, окружил его лицо с заострившимися после смерти чертами. Тихонько опустил я его голову на жесткую подушку, которую сам для него приготовил, и встал на ноги. Передо мной расстилался ослепительный простор моря, где было выстрадано мной ужасное одиночество; позади меня в лучах рассвета лежал тихий остров с его звериным

людом, немотствующим и невидимым. Изгородь со всеми запасами пищи и тепла шумно горела, разрождаясь внезапными вспышками, отчаянным треском и грохотом падения свай и иных несущих конструкций.

Густой дым медленными клубами, не доходя до меня, тянулся вверх по пляжу, поверх отдаленных вершин деревьев, к хижинам в овраге. Рядом со мной лежали обуглившиеся остатки лодок и пять мертвых тел.

Но вот из-за кустарников показались трое зверолюдей с сутулыми спинами, неуклюже свисавшими безобразными руками, выдающимися на шеях вперед головами, враждебно-пытливыми глазами. Они нерешительно приближались ко мне.

Глава 20. Наедине со зверолюдьми

Я стоял к ним лицом, презирая в них свою судьбу, — одинокий, с одной лишь здоровой рукой, но хотя бы с револьвером в кармане, заряженным еще четырьмя пулями. Посреди разбросанных по берегу обломков лежало два топора, употребленных для рубки лодок.

Прилив ослабевал.

Не оставалось никакого другого средства защиты, кроме собственного мужества.

Я твердо уставился на приближающихся чудовищ. Они избегали моего взгляда, и их трепетавшие ноздри обнюхивали тела, лежавшие позади меня на берегу. Я сделал несколько шагов, поднял запачканный кровью хлыст, лежавший около тела волкочеловека, и щелкнул им. Они остановились в нерешительности и уставились на меня.

— Поклон, — приказал я, — на колени!

Один из них встал на колени. Я, хотя душа у меня, как говорится, ушла в пятки, повторил свое требование и приблизился к ним.

Еще один опустился на землю, а за ним и последний. Я повернулся и направился к мертвым

телам, не спуская глаз с трех коленопреклоненных зверолюдей, — точно так же, как это делает актер, смотрящий со сцены на публику.

— Они нарушили Закон, — сказал я, став ногой на тело чтеца Закона. — Они были убиты. Даже и сам чтец Закона; даже и тот, второй, с хлыстом. Закон велик! Подойдите и смотрите.

— Нет спасения, — сказал один из них, приближаясь и поглядывая на меня.

— Нет спасения, — сказал я. — Потому слушайте и исполняйте то, что я приказываю.

Они встали, вопросительно переглядываясь друг с другом.

— Стойте там, — сказал я.

Я поднял оба топора и сильным размахом руки кинул их через их головы, перевернул Монтгомери, поднял его револьвер, заряженный еще двумя пулями, и, нагнувшись, чтобы пошарить, нашел в его карманах с полдюжины патронов.

— Берите его, — сказал я, снова встав на ноги и указывая хлыстом на тело Монтгомери. — Возьмите его, унесите и бросьте в море.

Они подошли к телу Монтгомери, видимо, все еще боясь его. Я, как мог, подгонял их, щелкая окровавленным хлыстом. Преодолев первую оторопь и наслушавшись моих криков, они осто-

рожно подняли его, понесли вниз к берегу и под аккомпанемент плеска вошли в ослепительно сверкавшие волны моря.

— Дальше, — сказал я, — дальше! Отнесите его далеко.

Они вошли по грудь в воду и остановились, смотря на меня.

— Опустите, — сказал я. И тело Монтгомери с всплеском исчезло. Что-то сжало мне сердце. — Хорошо, — сказал я надтреснутым голосом.

Они торопливо и со страхом поспешили назад на пляж, оставляя в серебристых волнах длинные черные полосы. У самого берега они остановились, смотря назад в море, как будто ожидая, что вот-вот оттуда выберется Монтгомери и потребует отмщения.

— Теперь вот этих, — сказал я, указывая на остальные тела.

Они, тщательно избегая приблизиться к тому месту, где бросили тело Монтгомери, пронесли трупы остальных зверолюдей вдоль по берегу сотню шагов, прежде чем вошли в воду и бросили там останки четырех своих собратьев. Наблюдая, как они опускали в воду изувеченное тело М'линга, я услышал за собой чьи-то легкие шаги и, быстро обернувшись, увидел тушу гиеносвина

в опасной близости с собой. Гиеносвин держал голову низко опущенной, буравя меня блестящими глазами. Сжав уродливые руки в кулаки, он как-то вальяжно подбоченился.

В ту минуту, как я оглянулся на него, он остановился, слегка отвернувшись.

Мгновение мы стояли так лицом к лицу. Я бросил хлыст и схватился за находящийся в кармане револьвер. Нужно при первом же удобном случае убить эту тварь, самую опасную из всех оставшихся теперь на острове; она была для меня страшнее двух любых зверолюдей вместе взятых. Одним фактом своего существования гиеносвин угрожал моей жизни.

Несколько секунд я собирался с духом, затем крикнул:

— Поклон! На колени!

Зубы свина с рычанием сверкнули передо мною.

— Кто ты такой, чтобы я…

Слишком судорожно я выхватил свой револьвер, прицелился и поспешно выстрелил.

Я услышал его визг, увидел, как он, повернувшись, отскочил в сторону, и понял, что промахнулся. С помощью большого пальца я взвел курок для нового выстрела. Но свин уже убегал стрем-

глав, прыгая из стороны в сторону, а я не хотел рисковать патроном.

Время от времени он оборачивался, глядя на меня через плечо. Пробежав вдоль берега, он исчез в стелющихся клубах густого дыма, все еще валившего от горящей изгороди.

Я стоял, смотря ему вслед. Затем повернулся к трем послушным звериным созданиям и сделал рукой знак бросить в воду тело, до сих пор удерживаемое ими на весу. Потом я вернулся к тому месту у костра, где недавно лежали трупы, и мешал ногами песок до тех пор, покуда не исчезли все темные пятна крови.

Своих трех слуг я отпустил движением руки и отправился в находящуюся над берегом чащу. В руке я держал револьвер, а хлыст и топоры были засунуты за перевязь. Мне страшно хотелось остаться одному и обдумать свое насущное положение.

Самая ужасная вещь — и ясно сознавать ее я начал только теперь, — заключалась в том, что на всем острове не оставалось больше ни одного уголка, где я мог бы передохнуть в безопасности и уединении. Я удивительно окреп за время пребывания здесь, но все еще легко утомлялся, да и нервы по-прежнему шалили. Я чувствовал, что

должен перейти на противоположную сторону острова и поселиться вместе со звериным людом, гарантируя их доверием свою безопасность. Но сделать это у меня не хватало сил. Я вернулся назад и, пройдя в восточном направлении мимо горящей изгороди, побрел навстречу узкой полосе кораллового рифа.

Тут можно было сидеть и думать, повернувшись спиной к морю, а лицом — ко всяким случайностям. Солнце падало отвесно на мою голову, напекая темя. Я сидел, уткнув подбородок в колени. Возрастающая боязнь мутила мой ум, и я искал способ прожить до минуты моего спасения с острова, если эта минута в принципе могла наступить. Хотя я и старался оценить свое положение со всем хладнокровием, у меня не было возможности подавить в себе волнение.

Я принялся обдумывать со всех сторон причину отчаяния Монтгомери.

«Они изменятся, — сказал он как-то, — они непременно изменятся».

А Моро, что говорил Моро?

«Упорные звериные инстинкты пробуждаются в них с каждым днем…»

Потом мысли мои перешли на гиеносвина. Я чувствовал уверенность, что если не убью его,

то он убьет меня. Чтец Закона был мертв — тоже проблема. Зверолюди получили наглядное доказательство тому, что вышестоящие чины и люди с хлыстами могли умереть так же, как и они сами.

Не поглядывали ли они уже на меня из зеленой чащи растущих вдали папоротников и пальм, поджидая только, чтобы я приблизился на расстояние прыжка? Не замышляли ли они что-нибудь против меня? Что рассказал им гиеносвин? Мое воображение затягивало меня далеко в топкую почву необоснованных опасений.

Мои мысли были прерваны криком морских птиц, слетающихся к какому-то черному предмету, выброшенному волнами на берег недалеко от изгороди. Я знал, что это был за предмет, но у меня не хватило сил пойти туда и отогнать их.

Я принялся шагать по берегу в противоположном направлении, намереваясь обогнуть восточный край острова и прийти к оврагу с хижинами, обойдя возможные лесные засады.

Пройдя около полумили по берегу, я увидел одного из зверолюдей, идущего навстречу из-за береговых кустарников. Собственная фантазия до того взвинтила меня, что я тотчас же выхватил револьвер. Миролюбивые жесты приближа-

ющегося существа не успокаивали меня. Оно подходило нерешительно.

— Прочь! — закричал я.

В его раболепной позе прослеживалось что-то собачье. Он отошел назад на несколько шагов, совершенно как собака после команды «фу», и остановился, умоляюще взирая на меня своими песьими карими глазами.

— Убирайся! — сказал я. — Не подходи ко мне.

— Можно мне подойти? — спросил он.

— Нет, уходи, — настаивал я и щелкнул хлыстом. Затем, взяв в зубы хлыст, я нагнулся за камнем и этой угрозой отогнал его прочь.

В одиночестве обогнув остров, я дошел до оврага с хижинами и, прячась в камышах и высокой траве, отделяющих этот проход от моря, принялся наблюдать за появляющимися зверолюдьми, стараясь определить по их виду и жестам, насколько повлияли на них смерти Моро и Монтгомери и уничтожение Дома Боли.

Теперь мне очевидна вся нелепость моей тогдашней трусости. Если бы я проявил ту же отвагу, что озарила меня на рассвете, и не позволил бы себе утонуть в мрачных мыслях, то, возможно, скипетр Моро был бы в моих руках, и я стал бы правителем звериного племени. Однако я не

воспользовался этой возможностью, и теперь я лишь самый умелый из них — не более того.

Около полудня появились мои товарищи по острову и, сидя на корточках, стали греть кости на горячем песке. Повелительный голос голода и жажды преодолел мой страх. Я вышел из-за кустов и с револьвером в руке направился к сидящим фигурам. Одна из них, волкоженщина, повернула голову и уставилась на меня, за нею и остальные. Никто из них не думал подняться или просто приветствовать меня. Я чувствовал себя слишком слабым и усталым, чтобы настоять на этом — против меня и так, уверен, к тому моменту ополчились многие, — и упустил благоприятную минуту.

— Я хочу есть, — сказал я, почти что оправдываясь и подходя ближе.

— Еда в хижинах, — с сонным видом сказал быкочеловек, отворачиваясь от меня.

Я прошел мимо них и спустился во мрак и зловоние почти безлюдного оврага. В пустой хижине я нашел кучку плодов и с наслаждением их уничтожил. Потом забаррикадировал вход грязными и полусгнившими ветками и прутьями и улегся лицом к нему, держа руку на револьвере. Переутомление последних тридцати

часов предъявило свои права, и я увяз в чутком сне, рассчитывая на то, что сооруженная мною непрочная баррикада произведет все же при своем передвижении достаточно шума, чтобы меня не застали врасплох.

Глава 21. Регресс зверолюдей

Так я стал одним из зверолюдей на острове доктора Моро. Когда я проснулся, вокруг меня царила полная темнота. Забинтованная рука сильно болела. Я сел, не понимая сначала, где нахожусь. За стеной раздавались чьи-то грубые голоса. Я увидел, что баррикада моя была снята, и вход зиял напропалую. Но револьвер по-прежнему был у меня в руке.

Я услыхал чье-то дыхание и увидел кого-то, съежившегося совсем рядом с собой. Я затаил дыхание, стараясь рассмотреть, что это было. Оно зашевелилось. Вдруг что-то мягко-тепло-влажное прошлось у меня по руке.

Я задрожал всем телом и отдернул пальцы. Крик ужаса замер у меня на губах. Лишь минуту спустя я сообразил, что случилось, и удержался от выстрела.

— Кто там? — спросил я сиплым шепотом, все еще прицеливаясь.

— Я, господин.

— Кто ты?

— Они говорят, что теперь больше нет господина. Но я знаю, я знаю. Я относил тела в море, тела

тех, кого ты убил. Я твой раб, господин.

— Ты тот, которого я встретил на берегу?

— Тот самый, господин.

Существо это было, очевидно, вполне лояльно, так как могло при желании свободно напасть на меня во время моего сна.

— Хорошо, — сказал я, протягивая руку для вторичного поцелуя-лизка. Я, кажется, стал понимать, что означало его присутствие.

— Где остальные? — спросил я.

— Они сумасшедшие, глупые, — ответил собакочеловек. — Они теперь разговаривают между собой. Они говорят: «Господин умер. Второй с хлыстом тоже умер, ну а тот, другой, ходивший в море, — такой же, как и мы. У нас нет больше ни господина, ни хлыстов, ни Дома Боли. Этому пришел конец. Мы любим Закон и будем соблюдать его, но для нас навсегда исчезли боль, господин и хлысты». Так говорили они. Но я знаю, господин, я знаю.

Я нащупал в темноте и погладил голову собакочеловека.

— Хорошо, — снова повторил я.

— Скоро ты убьешь их всех? — сказал он.

— Скоро, — ответил я, — я убью их всех, но нужно подождать несколько дней и кое-каких

событий. Все они, кроме немногих, полягут.

— Господин убивает тех, кого желает, — произнес собакочеловек с удовлетворением в голосе.

— И чтобы прегрешения их возросли, — продолжал я, — пусть живут в своем безумии до тех пор, пока не пробьет их час. Пусть они не знают, что я — господин.

— Все будет по воле господина, — ответил собакочеловек со сметливостью исконной собачьей породы.

— Но один согрешил, — сказал я. — Я убью его, как только встречу. Когда я скажу тебе: «Это он», — смотри, бросься на него. А теперь пойду к собравшимся мужчинам и женщинам.

На миг в пещере стало совсем темно от того, что собакочеловек загородил собой отверстие. Я последовал за ним и остановился почти в том же месте, где услыхал когда-то приближающихся в погоне за мной Моро с гончей. Но теперь была ночь, вокруг меня чернел полный миазмами овраг, а позади, на месте зеленого, освещенного солнцем откоса, красным пламенем пылал костер, вокруг которого двигались страшные сгорбленные фигуры. Далее темной полосой, окаймленной сверху черным кружевом ветвей, виднелась чаща деревьев. Над краем оврага

всходила луна, и столб дыма, вечно струившийся из вулканических недр острова, темной чертой пересекал ее лик.

— Иди рядом со мной, — сказал я собакочеловеку, подбадривая себя, и мы принялись спускаться бок о бок по узкой тропинке, почти не обращая внимания на какие-то неясные фигуры, выглядывающие из отверстий хижин.

Никто из сидящих у костра не сделал ни малейшего движения или поклона. Большинство из них с величаво-важным видом просто не замечало меня. Я оглянулся, ища глазами гиеносвина, но его не было. Я насчитал около двадцати зверолюдей. Сидя на корточках, смотрели они в огонь или вели друг с другом разговоры.

— Он умер, он умер, господин умер, — послышался справа от меня голос обезьяночеловека. — Дом Боли пал, нет больше Дома Боли.

— Он не умер, — произнес я громким голосом, — он и сейчас наблюдает за вами.

Это ошеломило их. Двадцать пар глаз устремилось на меня.

— Дом Боли исчез, — продолжал я, — но он снова будет воздвигнут однажды. А вы, хоть и не можете более видеть господина, даже сейчас обозреваемы им сверху.

— Все так, все так, — подтвердил собакочеловек.

Мое утверждение привело их в замешательство. Животное может быть свирепым и хитрым, но только человек, один из всех, умеет лгать.

— Человек с завязанной рукой говорит странную вещь, — сказал кто-то из зверолюдей.

— Говорю вам, что это так, — сказал я. — Господин и Дом Боли вернутся снова. И горе тому, кто нарушит Закон!



Они с любопытством переглядывались. С напускным равнодушием я принялся лениво ударять по земле топором. Я заметил, что они смотрели на глубокие следы, остававшиеся в дерне. Оживленный спор завязался у костра. С каждой минутой я все более и более убеждался в своей теперешней безопасности. Я говорил, не останавливаясь, чтобы передохнуть, как это делал вначале от сильного волнения. По прошествии часа мне удалось убедить нескольких зверолюдей в правоте слов — податливее остальных оказались сатиресса, обезьяночеловек и маленький ленивец, — а в остальных заронить сомнения. Все время я зорко осматривался, нет ли где моего врага — гиеносвина. Но он залег на дно. Порой я вздрагивал от чьего-либо подозрительного движения, но мое доверие к зверолюдям вскоре существенно укрепилось.

Луна стала спускаться с зенита, и мои слушатели принялись зевать один за другим, показывая при свете потухающего костра самые неровные в мире зубы, а затем друг за другом удалились в свои пещеры в овраге. И я, боясь безмолвия и мрака, тоже пошел вместе с ними, зная, что нахожусь в большей безопасности в стае, а не с кем-то одним.

Так началась наиболее продолжительная часть моего пребывания на острове доктора Моро. Но с того вечера и до самого крайнего дня моей островной жизни случилась только одна вещь, достойная упоминания. Все остальное представляло длинный ряд бесчисленных мелких неприятных подробностей на постылом фоне растущего беспокойства. Ввиду этого я предпочитаю не вести хроники всему тому времени, а рассказать лишь о главном событии тех десяти месяцев, проведенных в тесном единении с этими наполовину очеловеченными животными. Многое еще осталось в моей памяти, о чем я мог бы рассказать, и многое такое, о чем я хотел бы позабыть. Право слово, если бы мне предложили отсечь пару пальцев в обмен на избавление от тяжелого островного наследия, я бы согласился, не раздумывая.

Когда смотрю назад, мне странно вспоминать, как быстро я усвоил нравы этих чудовищ и снова приобрел их доверие. Конечно, бывали с ними и стычки, и на мне до сих пор видны следы укусов, но в общем и целом они достаточно быстро прониклись благоговейным уважением к моему искусству бросать камни и орудовать топором. Слепая преданность моего человека-сенбернара

была для меня бесконечно драгоценной. Я увидел, что степень их уважения основывалась главным образом на способности наносить глубокие раны. Говоря искренне, совсем без хвастовства, я пользовался самым привилегированным положением в островном обществе. Один или двое из них, в ссорах получившие от меня в подарок недурные шрамы, были враждебно ко мне настроены, но злоба у них проявлялась главным образом в гримасах, да и то за моей спиной и на почтительном расстоянии.

Гиеносвин избегал меня; я зорко следил за ним. Мой верный собако-человек страстно ненавидел и боялся его. Эта ненависть как бы срослась с его привязанностью ко мне. Скоро для меня стало очевидным, что мой враг отведал вкуса крови и пошел по стопам леопардочеловека. Где-то в лесу он устроил себе берлогу и поселился в одиночестве. Я попробовал один раз склонить звериный люд к охоте за ним, но мне недоставало авторитета, чтобы заставить их всех действовать для достижения одной цели. Я не раз пытался подойти к его берлоге и напасть на него врасплох, но он был так осмотрителен, что, видя или чуя меня, тотчас же скрывался. Своими скрытыми засадами он сделал опасной для меня и всех моих

союзников каждую лесную тропинку. Собакочеловек почти никогда не решался оставлять меня одного.

В первый месяц звериный люд вел себя вполне приличным человеческим образом сравнительно со своим последующим поведением, и к одному или двум из этих созданий, не считая моего собачьего приятеля, я даже чувствовал дружескую снисходительность. Маленькое розовое ленивцеподобное существо проявляло ко мне робкую привязанность и всюду следовало за мной. Сатиресса приносила мне фрукты. Обезьяночеловек по большей части досаждал мне. Он утверждал, что раз у него пять пальцев и у меня пять пальцев, то мы с ним — ровня, и вечно болтал со мной, тараторя самый невообразимый вздор. Только одна вещь забавляла меня в нем: он обладал отменной способностью выдумывать новые слова. Мне кажется, он полагал, что истинное назначение человеческой речи заключается в произнесении бессмысленных слов. Эти бессмысленные слова назывались им большими мыслями — в отличие от маленьких мыслей, под которыми подразумевались здравые, обыденные интересы жизни. В тех случаях, когда я делал какое-либо непонятное для него замечание, оно

всегда ужасно нравилось ему, он просил меня сказать его еще раз, выучивал его наизусть и уходил, повторяя, перепутывая и переставляя слова. Он говорил его всем своим участливым собратьям. Ко всему, что было просто и понятно, он относился с легким презрением. Я придумал несколько забавных «больших мыслей» специально для него. Теперь он кажется мне самым глупым существом, какое когда-либо приходилось встречать в жизни. Он самым удивительным образом развил в себе отличительную человеческую глупость, не потеряв при этом ни одной сотой глупости прирожденной обезьяны.

Все это было в первые недели моей одинокой жизни в среде зверолюдей. Все это время они следовали привычкам, установленным Законом, и вели себя внешне благопристойно. Только один раз я нашел нового кролика, растерзанного на куски, — за этим, конечно, стоял гиеносвин. Впервые, ориентировочно в мае, я ясно заметил увеличивающуюся разницу в их говоре и манере держать себя, растущую неясность произношения, нерасположение к человеческой речи. Болтовня обезьяночеловека, хоть и приросла в освоенных им звуках, становилась все менее и менее понятной, все более и более обезьяньей.

Остальные, казалось, также потеряли дар речи, но хотя бы понимали то, что я говорил. Можете ли вы себе представить, как когда-то ясный и определенный язык вдруг стал постепенно расплываться, терять форму и смысл, снова становиться одними обрывками звуков? Прямохождение тоже представляло для них все более трудную задачу. Хотя они, видимо, стыдились этого, но я временами натыкался то на одного, то на другого бегущего на четвереньках и уже совершенно неспособного вернуться к вертикальному положению. Они также стали еще более неуклюжим образом держать предметы, пили, лакая воду, ели, обгладывая и грызя, с каждым днем огрубевали и упрощались. Я видел собственными глазами то, о чем говорил мне Моро как «об упорных звериных инстинктах». Они возвращались к первобытному состоянию на диво быстро. Им стало не до былых потешных приличий, да и установленная прежде моногамия явно трещала по швам. Закон терял силу. Мой собакочеловек незаметно превратился снова в обычную собаку; с каждым днем он становился все более немым, четвероногим, обросшим шерстью. Мне трудно было уследить, как постепенно совершилось перерождение моего протеже в гуляющего у ног

пса. Так как небрежность и беспорядок в среде звериного люда с каждым днем возрастали, и шалаш, бывший всегда достаточно неприятным, стал теперь уже окончательно омерзительным в плане жилых условий, я решил покинуть его и, обойдя весь остров, построил себе шалаш из сучьев среди черных развалин изгороди Моро. Воспоминание о боли, похоже, делало это место самым безопасным для меня убежищем от звериного люда.

Нет никакой возможности подробно описать каждый шаг их падения; рассказать, как с каждым днем уменьшалось их сходство с людьми; как они понемногу разоблачались, вплоть до последнего клочка одежды, как их голые тела стали вновь обрастать волосами, лбы — западать, а лица — вытягиваться вперед; как та получеловеческая близость, которую я позволил себе с некоторыми из них в первый месяц своего одиночества, стала впоследствии для меня одним из ужаснейших воспоминаний.

Перемена совершалась медленно и неизбежно. Для них и для меня она произошла без резких скачков. Я продолжал безопасно ходить среди них, так как не было толчка, который дал бы прорваться звериным свойствам их натуры, все

увеличивающимся с каждым днем и с каждым днем изгоняющим из них человеческие черты. Все же я начинал опасаться, что вот-вот толчок этот произойдет. Мой сенбернар следовал за мной до самой изгороди, и его бдительность позволяла мне иногда спать почти спокойно. Мелко-розовое ленивцеподобное существо стало пугливым и покинуло меня, вернувшись снова к естественному для него образу жизни на ветвях деревьев. Мы находились как раз в точке того равновесия, какая наступает в отношении циркового укротителя и его подопечных, — многие склонны баланс этот идеализировать, но он, увы, сохраняется обычно только до смерти самого укротителя.

Конечно, эти существа не опустились до степени тех животных, каких читатель видел в зоологических садах. Они не превратились в обыкновенных медведей, волков, тигров, коз, быков, свиней и обезьян. Во всех них оставалось еще что-то странное; каждый представлял собой гибрид; но в одном, быть может, преобладали медвежьи черты, в другом — кошачьи, в третьем — бычьи, но в каждом была помесь с одним или несколькими животными, и за специфическими наклонностями у них у всех проглядывали своего рода общезвериные черты. Теперь же меня

поражали только проявлявшиеся у них порой проблески человеческих черт: неожиданное употребление человеческой речи, сноровистость передних ног, жалкая попытка держаться прямо.

Со мной, по-видимому, также произошли странные перемены. Одежда висела на мне желтыми лохмотьями, и сквозь них просвечивала смуглая от загара кожа. Волосы на голове так отросли, что их приходилось заплетать в косы. Мне говорят даже и теперь, что мои глаза обладают странным блеском, — они всегда настороже при всяком постороннем движении.

Сначала я проводил весь день на южном берегу острова, высматривая, не появится ли корабль, надеясь, что это случится, и молясь о таком подарке судьбы. Уже проходил год со времени моего прибытия, и я рассчитывал на возвращение «Ипекакуаны», но она больше не появлялась. Я пять раз видел вдали корабли и три раза дым, но никто никогда не приставал к острову. У меня всегда был наготове костер, но, без сомнения, дым от него все принимали за естественные выбросы из фумарол, памятуя о вулканическом происхождении острова.

Лишь только в сентябре или даже октябре я стал впервые думать о сооружении плота. К это-

му времени рука моя зажила, и я мог орудовать обеими. Сначала беспомощность моя в этом деле была ужасающей. Я никогда в жизни не занимался плотничеством или другой подобной работой, и потому проводил целые дни в лесу в попытках срубить и связать деревья. У меня не было веревок, и я никак не мог придумать какой-нибудь способ их изготовления. Ни одно из обильно растущих на острове вьющихся растений не обладало достаточной гибкостью и прочностью для этой цели, а с моими обрывками научных знаний я ничего не мог изобрести, чтобы придать им эти качества. Я провел более двух недель, роя обугленные развалины изгороди и пляж там, где Монтгомери сжег лодки, в поисках гвоздей или каких-нибудь других случайно уцелевших металлических предметов, способных пойти в дело. Иногда за мной наблюдало какое-нибудь из созданий Моро, но, как только я окликал его, оно подскакивало и убегало. Потом наступил период ливней, сильно замедливших мою работу. Но в конце концов плот был готов.

Я был в восторге… поначалу. Потом сообразил, что из-за недостатка практического ума — извечное мое злосчастье, — я построил плот на расстоянии более мили от моря. Пока я тащил

его к воде, плот развалился. Может, и хорошо, что не на воде — я хотя бы не утонул, спасибо провидению. Но осознание краха затеи так тяжко сказалось на мне, что я несколько дней бродил по пляжу в отупении, неспособный взяться за какую-либо работу, созерцая волны и помышляя о смерти.

И все-таки умирать мне не хотелось.

Затем случилось событие, наглядно продемонстрировавшее мне, что промедления тут подобны смерти. Каждый новый день приносил с собой все увеличивающуюся опасность от окружавших меня чудовищ. Однажды я лежал в тени у стены изгороди, смотря на море, как вдруг прикосновение чего-то холодного к пяткам заставило меня вздрогнуть. Вскочив, я увидел маленькое розовое ленивцеподобное существо прямо перед собой. Оно давно уже разучилось говорить и быстро двигаться. Мягкие волосы мелюзги с каждым днем отрастали все гуще и гуще, а когти на его кривых лапках загибались все круче. Существо издало жалобный стон и, увидев, что привлекло мое внимание, сделало несколько шагов в сторону кустарника и оглянулось на меня.

В первую минуту я не понял, чего оно от меня хотело, но потом сообразил, что оно приглашало

меня следовать за собой. Так как день был жаркий, я медленно поплелся за ним до деревьев. Оно вскарабкалось на них, так как свободнее двигалось по свисающим с них вьющимся растениям, чем по земле.

И вот на утоптанном месте в лесу я наткнулся на ужасную сцену. На земле мертвым лежал мой сенбернар, а гиеносвин припал к нему, обхватив его трепетавшее тело безобразными лапами, раздирая его и рыча с наслаждением. Когда я приблизился, чудовище подняло на меня блестящие глаза; его дрожавшие губы обнаружили покрытые кровью клыки, и оно угрожающе зарычало. Оно нимало не было испугано или смущено; последний проблеск человечности исчез. Я вынул револьвер, видя врага прямо перед собой.

Животное не сделало никакой попытки к бегству. Но уши его отогнулись назад, шерсть ощетинилась и все тело сжалось в комок. Я прицелился меж глаз и выстрелил. Оно одним прыжком бросилось на меня, сбило с ног, как кеглю, и, схватив своей безобразной рукой, ударило когтями по лицу. Но, не рассчитав, оно перескочило через меня. Я упал под заднюю часть его туловища, и, к счастью, прицел мой оказался верным — это был предсмертный прыжок. Выкарабкавшись из-под

омерзительной туши, всем весом лежавшей на мне, я, дрожа, поднялся. Опасность миновала. Но я знал, что это был лишь первый случай в целом ряде ожидаемых мною событий.

Я сжег оба тела на костре из хвороста. Теперь я ясно видел, что моя смерть является лишь вопросом времени, если я не покину остров. Все животные, за исключением одного или двух, оставили овраг и сообразно своим наклонностям устроили себе в лесу берлоги. Немногие из них выходили днем, большинство спало, и какому-нибудь пришельцу остров мог показаться совершенно безлюдным, но ночью воздух звенел от их голосов и рычания. Я даже наполовину решился убить их всех: поставить западни или перерезать ножом. Обладай я достаточным количеством патронов, я бы ни на миг не поколебался перестрелять их всех. Оставалось не более двадцати опасных хищников: самые кровожадные из них были уже мертвы. После смерти моего последнего собачьего приятеля я также взял за привычку дремать днем, чтобы ночью быть настороже. Я перестроил свое логовище в стенах изгороди, сделав такой узкий проход, что каждый, кто бы попытался войти в него, непременно должен был произвести сильный шум.

Животные разучились добывать огонь и стали снова бояться его. Я еще раз, теперь уже в темпе, принялся сколачивать колья и сучья, чтобы сделать новый плот для своего спасения.

Я встречался с тысячами затруднений. Я вообще чрезвычайно неловкий и неумелый человек; более того, когда я учился, в школах еще не ввели систему Слойда[8], и неловкость моих рук сказывалась на каждом шагу. Но в конце концов большинство нужных для плота вещей я нашел тем или другим путем, на сей раз уладив дела с прочностью. Единственным препятствием виделось мне отсутствие посудины для воды, необходимой на случай моих блужданий по этой части не посещаемого кораблями океана. Я вылепил бы себе глиняный горшок, будь на острове хоть что-то похожее на глину. Долго бродил я в унынии по пляжу, всеми силами стараясь решить это последнее затруднение. Иногда меня охватывало дикое бешенство, и я бесцельно рубил топором ни в чем не повинные пальмы.

---

[8] Примечания: 8

Слойд (от шведск. slöjd — «ремесла») — система учебного ручного труда в общеобразовательных школах, направленная на развитие у детей трудолюбия и уважения к физическому труду, а также на приобретение начальных трудовых навыков. Впервые как отдельный обязательный школьный предмет введена финским педагогом Уно Сигнеусом в народных школах Финляндии в начале 1860-х годов.

Но вот настал один прекрасный день, когда меня охватило натуральное исступление, — и на то имелись веские причины: в море на юго-западе показался парус будто бы небольшой шхуны. Я немедленно развел громадный костер из хвороста. Я стоял около него, с ног до головы обдаваемый жаром огня, а сверху — горячими лучами полуденного солнца. Целый день следил я за этим судном, не беря в рот ни крошки и ни глотка воды, и от голода у меня кружилась голова. Животные подходили, смотрели на меня, казались удивленными и снова уходили. Наступила ночь, а судно было все еще далеко: мрак поглотил его, но я поддерживал пламя высоким и ярким, и глаза островных жителей удивленно светились в темноте.

На рассвете судно подошло ближе. Это была утлая и грязная парусная шлюпка. Мои глаза устали от наблюдения. Я смотрел и не верил. В лодке находилось двое людей: один на носу, другой — у руля. Вот только лодка шла каким-то странным образом. Она не держалась носом по ветру, и ее просто волокло течением.

Когда еще больше рассвело, я принялся махать людям в лодке последними клочьями своей рубахи, но они не замечали меня, продолжая сидеть

друг против друга. Я отправился на наиболее выдающуюся в море точку мыса и там снова принялся дико махать руками и орать. Ответа не было, и лодка продолжала свой бесцельный ход, приближаясь медленно, *ужасно* медленно к заливу. Вдруг из глубины лодки вылетела большая птица, но ни один из сидящих людей не пошевелился и не обратил на это внимания. Птица описала круг в небе и понеслась по ветру, расправив сильные крылья. Тогда я перестал кричать и, сев на землю, уставился вдаль, подперев руками подбородок. Медленно, медленно плыла шлюпка, направляясь к западу. Я мог бы доплыть до нее, но что-то — некое холодное, пробирающее до костей опасение, — удерживало меня. Днем ее приливом прибило к берегу, и она осталась там — на расстоянии сотни футов к западу от развалин изгороди.

Люди, находящиеся в ней, были мертвы. Они умерли уже так давно, что оба тела в прямом смысле развалились на куски, когда я наклонил лодку и вытряхнул их из нее. У одного из них на голове была копна рыжих волос, как у капитана «Ипекакуаны», и на дне лодки лежала грязная белая фуражка, тоже будто бы смутно знакомая.

Когда я стоял около лодки, трое животных

выбежали украдкой из-за кустарников и приблизились ко мне, нюхая воздух. Я оттолкнул шлюпку от берега и вскарабкался в нее. Приближавшимися ко мне с трепетавшими ноздрями и сверкавшими глазами оказались два волкочеловека и ужасное, неописуемое животное — гибрид быка и медведя. Увидев, как они, рыча друг на друга, подкрадывались к жалким человеческим останкам, скаля белые зубы, я содрогнулся от отвращения, смешанного с ужасом.

Я повернулся к ним спиной, спустил парус и принялся грести, чтобы выйти в море. Я не мог заставить себя оглянуться назад. Эту ночь я провел между рифом и островом, а на следующее утро добрался кружным путем до ручья и наполнил водой находившийся в шлюпке пустой бочонок.

Затем с терпением, каким я был еще в состоянии располагать, я собрал запас плодов и последние три патрона потратил на убийство трех подкарауленных кроликов.

На это время я оставил лодку привязанной к внутреннему выступу рифа — из страха перед чудовищами.

Глава 22. Наедине с собой

Вечером я тронулся в путь и вышел в открытое море, медленно, но упорно гонимый легким юго-западным ветром. Остров становился все меньше и меньше, и узкая струя дыма тоже превратилась в истончившуюся полоску на облитом заходящими лучами солнца фоне неба. Вокруг меня вставал океан, скрывая с глаз этот низменный темный клочок земли.

Как светящаяся завеса, понемногу сходил с неба дневной свет, и струившееся сияние заката угасало, и в какой-то миг передо мной разверзлась голубая необъятная бездна, что днем скрыта за солнечным маревом. Я увидел плывущие в небе сонмы звезд. Море было безмолвным, небо было безмолвным. Я остался наедине с ночью и тишиной.

На море я пробыл трое суток. Я экономил в пище и питье и размышлял обо всем, что случилось со мной, не особенно надеясь снова увидеть людей. На мне колыхались какие-то черные обноски, волосы слиплись в темную всклокоченную массу. Меня вполне могли и за сумасшедшего счесть. Как ни странно, я не чувствовал ни малейшего

желания вернуться к людям. Я был только рад, что распростился навсегда с омерзительной жизнью в близости к чудовищным звериным гибридам.

На третий день я был подобран бригом, следующим из Самоа в Сан-Франциско. Ни капитан, ни штурман не поверили моему рассказу, решив, что я чокнулся от одиночества и страха перед смертью. Опасаясь, как бы это мнение не было разделено и другими, я не стал дополнять рассказ о своем приключении подробностями, объявив, что не помню ничего из того, что случилось со мной после гибели «Леди Вейн» и до того времени, как был подобран бригом. То есть амнезия длиной в год.

Мне пришлось действовать крайне осмотрительно, чтоб спасти себя от подозрения в безумии. Меня преследовали воспоминания о Законе, о двух мертвых моряках, о скрытых в темноте засадах, о теле, найденном в тростниках. Как ни парадоксально, возвращение в общество вместо ожидаемого доверия и расположенности к окружающим лишь усилило мои прежние островные опасения и неуверенность. Мне никто не доверял, и сам я стал относиться к людям с той же настороженностью, как когда-то к зверям,

принявшим облик человека. Вероятно, я перенял толику дикости у своих бывших товарищей.

Утверждают, что страх — источник мучений, и я познал это за несколько лет: весь нескончаемый испуг, подобный тому, какой, возможно, ощущает львенок, лишь частично приручённый. Моё волнение было весьма специфическим. Я не мог отделаться от мысли, что окружающие меня люди — лишь звери в человеческом обличье, полузвери, принявшие человеческую форму, готовые в любой момент вернуться к своей подлинной сущности и проявить самые дикие инстинкты. Пришлось доверить свое состояние одному необычайно талантливому специалисту по нервным болезням. Он знавал Моро и как будто наполовину поверил моему рассказу. Помощь, оказанная им, была для меня неоценима.

Я вовсе не рассчитываю на то, что ужасные картины острова совершенно изгладятся когда-либо из памяти, но теперь все же они лежат в глубине моего сознания и, всплывая, возбуждают слабые сомнения в самом факте своего существования. Но бывают дни, когда маленькие облачка воспоминаний растут до тех пор, пока не затемняют собою все небо. Тогда я оглядываюсь на окружающих меня людей и хожу в страхе. Лица одних

кажутся мне решительными и ясными, других — мрачными и опасными, третьих — изменчивыми, неискренними; ни одно из человеческих лиц не выражает, как кажется мне, той спокойной ясности, присущей разумным человеческим существам. Кажется, что под этой оболочкой скрывается зверь, и передо мной в скором времени снова разыграется то падение, какому я стал свидетелем на острове… только на сей раз — в больших масштабах. Я знаю, что это моя фантазия, что эти мужчины и женщины, окружающие меня, действительно всего-навсего мужчины и женщины, люди от рождения и до смерти, вполне разумные создания, полные человеческих стремлений и нежной заботливости, освободившиеся от инстинкта. Они не какие-то там рабы фантастического Закона; они совершенно не похожи на зверолюдей. Но все же я удаляюсь от них и от их любопытных взглядов, расспросов и помощи. Я спешу уйти от них, чтобы быть одному.

По этой причине я и живу вблизи открытой холмистой местности и могу бежать туда, когда тень эта окутывает мою душу. Как хорошо бывает там под безоблачным небом! Когда я жил в Лондоне, чувство овладевшего мною ужаса было почти невыносимо. Я не мог нигде укрыться от

людей; их голоса проникали сквозь окна; даже запертые двери были непрочной защитой от них. Я выходил на улицу, чтобы пересилить этот сплин, и в моем воображении охотящиеся женщины, как хищные кошки, мяукали у меня за спиной. Ненасытные мужчины бросали на меня взгляды, как на конкурента. Переутомленные, бледные рабочие шли мимо, покашливая, с усталыми глазами и быстрой поступью — похожие на раненых, истекающих кровью животных. Странные, сутулые и мрачные, шептали что-то про себя и шли длинной ломаной цепью, не замечая ничего вокруг, болтливые обезьянки-дети. Посещая часовню, я пребывал в плену сильнейшего наваждения, будто и тут патер-горилла болтал «большие мысли», подобно обезьяночеловеку с острова Моро. Если я заходил в библиотеку, то сосредоточенные над книгами люди казались мне выжидающими добычу. Особенно отвратительными мне виделись бледные, лишенные всякого выражения физиономии людей в поездах и омнибусах. Эти люди просто напоминали мне мертвецов, и я не решался никуда ехать, пока не убеждался, что нахожусь один. И мне порой мнилось даже, что и сам я не носитель разума, а простой недалекий зверь, терзаемым каким-то

странным беспорядком в мозгу, заставляющим меня, как барана, пораженного вертячкой, скитаться в одиночестве.

Но, слава богу, это состояние овладевает мной теперь значительно реже. Я удалился от шума городов и людской толпы и провожу дни, окруженный книгами — этими широкими окнами, открывающимися на нашу жизнь и пронизанными светлой душой писавших их людей. Я вижу мало незнакомых лиц и веду скромнейший образ жизни.

Все свое время я посвящаю чтению книг и химическим опытам и провожу много ясных ночей в изучении астрономии. В сверкающих мириадах небесных светил я нахожу — не знаю, каким образом и почему, — успокоение. И мне кажется, что все должно найти утешение и надежду именно в этих вечных всеобъемлющих законах Вселенной, а никак не в мелких обыденных житейских заботах, горестях и прегрешениях.

Я надеюсь на это, в противном случае мне незачем жить.

Здесь, одинокий, но полный надежд, я и ставлю точку в своей истории.

Эдуард Прендик

Перевод с английского Владимира Штейна[9]

[9] Примечания: 9

Воспроизводится по изданию: Собрание сочинений Уэллса. Невидимка. Остров доктора Моро. — Санкт-Петербург: издательство П. Ф. Пантелеева, 1901. — С. 135–249.

Конрад Лоэле
Цюллингер и его выкормки

Глава 1

С февраля 1952 года, двадцать пятого и самого последнего года сверхгерманского благополучия, по май 1953 года разыгралась весьма роковая для сверхгерманцев история. Бывший профессор химии, а ныне, после искоренения всех иностранных слов, тайный советничек науки о составе веществ Арнольд Цюллингер, сидя на высоком табурете перед своим рабочим столом, смотрел в окно на вечерние сумерки. Мокрый снег падал на обширный заводский двор, изрезанный густою сетью рельсов, угрюмый туман смешивался с густым фабричным дымом. Внезапно на всех разъездах вспыхнули огни, зажглись дуговые фонари и лампы на мачтах, замерцали длинные полосы электрических проводов. За бесконечным рядом ангаров в ослепительном свете встали двенадцать недавно еще расплывчатых гигантских черных труб, и тусклый серый фон обратился вдруг глухой тьмой.

Вдали, в проеме между зданий, неожиданно заблестели сооружения каменноугольных шахт. У спуска в них медленно крутились бесформенные землечерпалки. Все это прорезало полотно

железной дороги; дальше к северо-востоку торчал столб, указывающий, как пройти к главному денежному городу страны — Берлину.

Часы возвестили о наступлении конца работ, и одновременно гигантские куранты на крыше самого высокого ангара заиграли хорал. Вздымающееся посередине двора распятие, подсвеченное изнутри, запылало яркими цветами в сказочном великолепии. Выразительный гул машин смолк. Из открытых ворот показались ручейки одинаково одетых людей, идущих со всех сторон к центру двора.

Цюллингер оскалил зубы, как делал это уже в течение двадцати лет, с того самого достославного дня, когда все, что осталось от Германии, было объединено под штандартом капиталистического православия. Затем он боязливо оглянулся за спину, что тоже привык частенько делать, но никаких оснований к беспокойству не выявил.

В соседнем помещении глухие женские голоса тянули унылую ноту хорала.

Тайный советничек скалил зубы, как дьявол; он прямо-таки блеял от злобной радости, следя за привычным зрелищем во дворе. Толпа образовала вокруг распятия звездообразную изгородь; согбенные мужчины и женщины стояли, склонив

непокрытые головы, и молча ждали грузовиков, отвозивших их в отдаленные рабочие казармы. «Кто мог предположить, что такие вещи будут возможны», — думал Цюллингер. Он опустил в теплоудерживатель несколько чашек из тонкого стекла, сделал несколько заметок. Тихо вывинтив стеклянную пробку из бутылки с семидесятипроцентным спиртом, он торопливо глотнул из нее. Сразу же сквозь узкую дверную щель в комнату сунулась двоюродная сестра Цюллингера Ида.

— Арнольд! Бога ради, не делай этого! Ты же так попадешь на каторгу, — прошептала сухая дева и умоляюще заломила худые руки.

Цюллингер сконфуженно поставил бутылку на место между прочими реактивами. Да, алкоголь был разрешен только сверхгерманцам, прямым потомкам подлинно немецкой и истинно народной партии. Полукровкам, таким как Цюллингер, прежним демократам и всей остальной массе населения, состоявшей из остатков бывших левых партий, баловаться алкоголем было запрещено под страхом пожизненной каторги.

Прибежали Фекла и Стефания — две другие двоюродные сестры тайного советничка.

— Ш-ш-ш! — зашипела Фекла на свою сестру Иду и трижды перекрестилась. Стефания едва не

уронила поднос с чаем и черно-бело-красными особо питательными бутербродами.

Цюллингер угрюмо хрюкал, пока Фекла стирала пятно с его накрахмаленной блузы ослепительной белизны, с тщательно выглаженными складками.

— Арнольд! Ах ты, господи боже мой! У сверхгерманца Кноббе удивительный нюх!

— Иди пить чай! Ешь скорей!

Три престарелых девы в одинаковых белых накрахмаленных и выглаженных балахонах жужжали как пчелы вокруг Цюллингера, приставали к нему с едой, болтали и при этом прислушивались, не идет ли кто-нибудь.

— Поспи часок перед тем, как снова засесть за работу.

— Погуляй немножечко по двору.

— Не делай того, что ты только что делал.

— Не ходи сейчас в проклятую комнату…

Их назойливая любовь частенько доводила тайного советничка до тошноты, несмотря на то, что уж четверть века он пользовался подобным уходом. Тайный советничек не мог обойтись без своих двоюродных сестриц и в то же время не выносил их. Он беспомощно оглянулся по сторонам, и на его бледном лице появилось выражение ре-

шимости и вместе с тем отвращения. Он вскочил и с быстротой ласки скрылся за дверью, но той полусекунды, которая потребовалась, дабы открыть и снова закрыть эту дверь, было достаточно для того, чтобы по комнате распространилась волна горячего приторного запаха, как будто в соседнем помещении лежало множество рожениц.

Ида, Фекла и Стефания разом вздрогнули от отвращения.

— Арнольд! Милый, хороший Арнольд! — изнемогая, кричали они ему вслед. — Ради всех святых, выйди оттуда!

Но все оставалось мертвенно-тихим. Помещение, куда скрылся Цюллингер, обладало двойными стенами — как бутылка для жидкого воздуха; и, в сущности, было оно не чем иным, как огромным инкубатором без окон, откуда ни один звук не проникал наружу.

Цюллингер посмотрел привычным взглядом на градусник, показывающий неизменно ровную температуру в тридцать семь градусов по Цельсию; затем, повозившись у погребца с ликерами, он глубоко вздохнул, несмотря на жару, и ощутил неизменно приходящую к нему здесь тошноту. Он, пьяница по натуре, чувствовал себя более-менее в безопасности в этом жарко натопленном

инкубаторе. Но предварительно он должен был подавить в себе чувство некоторого беспокойства и страха.

Тихое «плоп-плоп», как будто от бесчисленных пузырей, лопающихся при брожении, наполняло непривычно легкий воздух. В длинных кафельных желобах лежали на ситах из стекла белые и красноватые комки, похожие на огромные куски теста, или на наполовину прозрачный студень, или, что точнее, на икру какой-то гигантской амфибии. Здесь и там по выпуклостям этих мягких образований пробегала дрожь — внезапно вспыхивающее и снова мягко исчезающее волнение. Снизу, через целую сеть труб, эти комки непрерывно обдувало приточным воздухом. Несмотря на раскинутые над ними широкие волнообразные вентиляторы, они издавали сладковатый запах протухшего мяса.

Полуголый человек, в свое время умышленно сделанный немым, поднялся из угла с жалобным вздохом и проковылял к Цюллингеру. Тот отдал ему несколько приказаний, и человек урегулировал приток воды во второй сети труб, после чего на желоба пролился мелкий дождь.

— Хорошо, — сказал Цюллингер, дал человеку стакан водки и отослал назад в угол.

Посередине инкубатора шла стеклянная, плотно закрытая от притока воздуха галерея. Туда, где температура была немного более сносной, отправился тайный советничек. Он сел за столик с книгами, стоявшими в маленькой, похожей на клетку и также стеклянной нише. Здесь лежали в беспорядке печатные и рукописные труды тайного советничка, аккуратно стенографированные отчеты о работах. Но сейчас он даже не взглянул на них.

— Прочь весь этот гнусный навоз! — Он сдвинул в сторону груду книг и вытащил из-под стола толстый фолиант, обыкновенно служивший ему скамьей для ног. Это медицинское руководство конца семнадцатого века было объемистым трудом, написанным во славу Бога и на пользу Человечества, и принадлежало перу некоего Гофмана, изобретателя всемирно известных капель[10]. Тайный советничек читал с просвет-

[10] Примечания: 10

Фридрих Гофман (1660–1742) — профессор медицины университета в Галле, создавший смесь эфира и спирта, названную «Гофманскими каплями». Эти капли были настолько популярны, что упоминались как универсальное средство даже в «Графе Монте-Кристо» Александра Дюма.

ленным лицом об Апопе и Аментет[11], о силе цветов и животных. Переворачивая страницу за страницей, добрался он наконец до описания целебных влияний, таящихся в органах и отбросах человеческого тела, и при этом почти радостно качал совершенно лысой головой.

— Да, это прекрасно сказано!

Дважды перечитал он весь отрывок: «В человеческих выделениях пребывает начало микрокосмических магнитов или духовных микрокосмических мумий. Если сжечь их на раскаленных угольях, то непочтительный адепт, от коего произошли эти выделения, ощутит такие боли в заднем проходе, как будто уголья коснулись его самого».

Он проглотил эти строки, как мед.

— Клянусь адскими огненными крючьями! Клянусь Абаддоном и Фурфуром! Но, само собой, слава Деве Марии! Глупость родилась на земле не сегодня и не вчера! И до чего же мне утешительны эти пахнущие мочевиной бумаги!

Задребезжал звонок. Цюллингер недовольно

---

[11] Примечания: 11

Древнеегипетские боги мертвых; Апоп — олицетворение зла и мрака, змей, обитающий в глубине земли, возле подземного Нила, где каждую ночь происходит его борьба с Ра; Аментет — богиня запада (царства мертвых) — покровительствовала умершим, встречая их в Дуате и провожая на поля Иалу.

поднял голову; немой уверенно орудовал штепселями на электрическом переключателе. «О, если бы я был так же слеп, как он глуп», — подумал Цюллингер. Тотчас же, как бывало всякий день в час усталости, из-за изгороди его твердого ученого мозга выползло воспоминание. Тщетно пытался он высвободить в себе чистое, ни с чем не смешанное чувство ненависти и презрения.

— Я не дух, — заключил он, — я всего лишь человек… навоз и прах! Мне всегда подавай причины. Мне нужна легко усваиваемая пища для ненависти. А еще мне нужна водка!

Взамен последней впрыснул он себе маленькую дозу морфия. Тогда из недр бездонных глубин появились смеющееся лицо девушки и стройное тело молодой женщины. В лунную летнюю ночь прыгнул юноша с белого камня в теплую реку — прыгнул головой вперед, оттолкнувшись руками, как ловкий и сильный пловец. Он плавал туда-сюда в текучей мозаике волн из желтого месяца и черной воды. Мужчина и женщина проходили рядом под пестрым майским небом по майской пестрой земле, переполненные желанием, — совсем как разбухшая пестрая земля у них под ногами. Но вот колючие проволочные заграждения разорвали на части и девушку, и

юношу, и весь смеющийся зеленеющий пейзаж покрылся чумовыми дырами пустынной страны, серыми проплешинами безвременья и обгорелыми язвами неумолимого разрушения. Та же пара, больная, опаленная пятью годами несчастий, зачинала мертвого ребенка — плод нужды и страдания; и еще одного — на погибель женщине, чье кроткое нежное лицо избороздили сухие, истерические морщины. Мягкое лоно любви превратилось в прожорливую, бесстыдную бездну, поцелуи стали вонючей мерзостью, а некогда сладкие губы сделались вместилищем кривды и извращений.

Все это являлось следствием ряда закономерных причин, и первая из них называлась война. Все это было длинной вереницей смешных чертей, где первый изрыгнул второго, второй — последующего.

— Как могли эти звери разорвать Игнатия[12]? Он был подобен пшеничному зерну; Бог захотел его размолоть…

— Что же теперь будет! — бросил Цюллингер равнодушно. — Ведь часто бывает, что жена сходит с ума и сдирает кожу со своего мужа живьем,

---

[12] Примечания: 12

Имеется в виду Игнатий Богоносец, священномученик древней Церкви, брошенный на съедение зверям императором-язычником Траяном.

а потом чахнет в сумасшедшем доме… Но мне-то какое до этого дело!

Но вот приползли суетливые муравьи, звавшиеся Идой, Феклой и Стефанией; пришли, распространяя вокруг себя благоухание девственности, преисполненные Бога и всех его святых. Они несли любовь и благодеяния в дом, и в первую очередь — ему, доброму кузену Арнольду, тяжко хрипевшему под бременем их внимания.

— Ах, до чего же вы добры ко мне! Как я должен быть вам благодарен!

Их заботливый и болтливый уход окончательно уничтожал последний остаток его мужества, превращая его волю в какую-то кашицу — вроде той, что сочилась по желобам; и оставалась только ежедневно и еженощно полируемая сталь презрения к людям. Она хоть и не растворялась в головомойках, задаваемых ему двоюродными сестрами, но по итогу все-таки превращалась в соль в кислотах его вынужденного одиночества.

«Клянусь сверхгерманским пеклеванником[13]! Клянусь белком и всеми питательными веществами! Для философа, каким я себя утверждаю, нет ничего нового. Все равно будешь позволять

[13] Примечания: 13

Хлебец, выпеченный из пеклеванной (тонко размолотой) ржаной или пшеничной муки.

родственникам терзать себя до тех пор, пока не умрешь и не утихнешь навеки».

Так бесстрастно размышлял тайный советничек. Немой повизгивал в своем углу.

— Ох, да я, — издеваясь над собой усмехнулся Цюллингер, — замкнутый в самом себе ноль и сломленный рабством полукровка. Почему мы такие? Каждый день — новая невзгода и новая неприглядная примета времени, а мы такие…

Войска великой войны грохотали по улицам и наконец разбились вдребезги, как стекло. Потом поднялись грозовые волны гражданской войны: они вздымались, брызгали пеной и снова опадали. Вихри переворотов извивались, как змеи. Диктатуры сменялись с быстротой кинематографических картин. Восстали, казавшиеся непобедимыми, серые многомиллионные народные массы. Немые, требовавшие свободы, взывающие к мщению, прорывались вперед, захватывали власть и снова теряли ее, та́я, подобно снегу в апреле. Силы страны падали, на улицах громоздились трупы, младенцы не созревали в утробах матерей, старцы уходили во мрак земли, побеги священной весны тянулись через границу в поисках более чистых земель. Великие деяния, свершенные только наполовину, рушились и

погребали под развалинами своих горе-героев. Лень и деньги, более сильные, чем воля и дух, сковывали хаос нового времени, обесплодили лоно великих возможностей.

Таково было третье десятилетие этого века.

Тогда-то и создалась славная Троица из великой монархии Мамоны[14] — святой корысти, великого богодержавия священной глупости и великого земледержавия собственности. Все это опиралось на выводок господских сынков и наймитов. Страна замкнулась меж Рейном на западе и Одером на востоке. При этом дула пушек были направлены внутрь усмиренного государства, ибо снаружи раздавался лишь громкий хохот.

— Ау! — взвыл из своей стеклянной клетки Цюллингер. Он невольно сжал правую руку в кулак, в то время как левая пыталась повторить то же движение. Но она заболела при этом, его бедная левая рука, простреленная на войне, и стала ощущаться так, будто ее вылепили из воска. Перед ним, как и во всяком другом доме, на стене над желобами висел длинный манифест. Цюллингеру была хорошо знакома в нем каждая буковка красиво заостренного готического

---

[14] Примечания: 14
Демон алчности.

шрифта. Даже закрыв глаза, он ясно видел узоры золотой рамки и христианские символы над документом. Но какая-то дьявольская сила заставила его снова открыть глаза и тупо, пристально прочесть:

«С НАМИ БОГ!»

Мы с вами пережили смутное время губительных и уничтожающих страну и народ переворотов. Отныне наша непреклонная воля будет вести народ по пути Спасения. Для достижения этой цели мы всемерно будем способствовать тому, чтобы в стране были обеспечены внутренний порядок, права и власть законов и наживы. Без труда и дисциплины наша возлюбленная Родина погибнет. Мы хотим снова и в полном объеме восстановить власть христианской морали. Высшую власть мы будем осуществлять толерантностью, любовью и бронированным кулаком. Вырождение, призыв к классовой борьбе и различные подстрекательства, мешающие наживе, мы будем подавлять беспощадно. Мы встанем на страже чистоты общественной жизни. Мы кон-

фисковали имущество бессердечной орды мошенников-иудеев, взвинчивавших цены и укрывавших продовольствие, и выслали их всех из страны. Мы желаем построить все будущее Родины на добродетели сверхгерманского народа. С нравственностью, осторожностью и христианским мировоззрением надеемся мы создать на развалинах новую жизнь. Для этой Цели даровал нам Владыка владычество, нам, сверхгерманцам, 1927 года 1 апреля:

Блюстителю Великого мамонодержания – сверхгерманцу Краппе,

Блюстителю Великого богодержавия – сверхгерманцу Геценлейхтеру,

Блюстителю Великого земледержавия – сверхгерманцу Янушальку.

С этого времени Цюллингер от всего сердца и от всей души начал презирать свою родину. Мучения последних тридцати лет его жизни смягчались алкоголем и ненавистью — ничем другим. Как-то он даже занялся изготовлением сверхяда, способного отравить всю страну, но это оказалось слишком трудным делом. Кроме того, самому ученому хотелось еще пожить.

Так, по принуждению, работал он на государственной службе, ибо ему не оставалось ничего другого, и мало-помалу он сделался первым мастером в науке об искусственной органической материи. Но порой ему мерещилось, что он призван к иному, к высшей задаче, к роли Мессии-Освободителя.

— Цюллингер?..

Сверхгерманец Кноббе поднялся на бесшумном, как дух, лифте и сидел теперь подле тайного советничка, куря толстую сигару, чтобы отбить дурной запах.

— Вы какой-то понурый, Цюллингер. Чего нос повесили?

— Простите меня, ваша милость, я позволил себе заняться решением одной маленькой концепции…

— Три дня домашнего ареста за иностранное слово! Сколько времени продлится еще эта история? — Кноббе указал сигарой на желоба.

— Смею думать, теперь уже недолго.

— Смотрите же, поторопитесь! Удастся вам — и будете у нас действительным тайным советничком, а не удастся…

И Кноббе выразительно указал на немого.

Глава 2

Сверхгерманцы очень не любили слово «прогресс»; за употребление этого слова они налагали наказание, а вместо «прогресс» говорили «использование». С 1920 года техника у сверхгерманцев, в общем-то, вперед не продвинулась — в употреблении осталось даже еще множество варварских паровых двигателей. В какой-то мере были задействованы водяные силы, но пользоваться ими могли только фабрики по добыче азота из воздуха.

Можно было бы также утилизировать, как источник силы, энергию атомов — например, в сороковых годах текущего столетия удалось достигнуть полного разложения и соединения атомов. Явилась возможность совершенно перестать зависеть от угля. Можно было извлечь золото и другие благородные металлы из благородных материй и таким образом наконец расплатиться со всеми государственными долгами. Но сверхгерманцам это показалось делом нецелесообразным. Они предпочитали использовать колоссальное бремя долгов как предлог для самой безудержной эксплуатации народа.

Уголь по-прежнему оставался базой и основой всей промышленности, а тем отважным исследователям, кто пытался браться за разработку силы атома, впрыскивали в спинной мозг раствор, превращавший их в идиотов.

Только в одной области не могли не быть достигнуты значительные успехи, а именно в области химии продуктов питания. Когда сверхгерманцы окончательно захватили власть в свои руки, им пришлось разрешить вопрос о питании широких масс порабощенного ими народа. Низкий курс сверхгерманской валюты за границей сделал ввоз зерна и мяса делом убыточным. Куда выгоднее было продавать на сторону долю выращенных в стране злаков и скота. Поэтому порабощенным и содержащимся в положении рабов слоям населения строго-настрого запретили употреблять в пищу мясо. Скота выращивали ровно столько, сколько требовалось для покрытия пищевых нужд сверхгерманцев; рабочим же полагалась весьма однообразная растительная пища и концентраты. К немалой досаде власти, все показатели производительности полукровок при этом упали — гораздо ниже требуемого минимума, так что пришлось срочно принимать меры. Спасти положение должна была химия,

но к ней уж поздно было обращаться, так как большинство химиков либо сошло с ума, либо умерло. И вот что к этому привело.

Так как имелось достаточное количество годных для продажи химических продуктов, правительство, чтобы сохранить свободную рабочую силу, решило запретить всякого рода новые исследования. Химики были приравнены к простым рабочим; впрочем, до этого их заставили перевести на немецкий язык все термины их науки. «Общество по искоренению иностранных слов в науке о составе веществ», состоявшее из избранных исследователей, не без успеха трудилось над переводом таких слов, как динитродифенил-диацетилен, или фенилметилпиразолон, или даже тетраметил-диаминотрифенилметан. В сущности, задача предстояла не из сложных, но, должно быть, растительная пища слишком ослабила мозги прежде очень недурных специалистов. Нередко, дойдя до крайней степени умственного напряжения, ученые сбивались в стада и начинали бегать кругами, как олени, в стадном жесте замешательства и во множестве погибали от этой ехидной болезни. Шум, какой они поднимали, стараясь вызубрить в своем безумии все новые слова, был настолько велик, что в

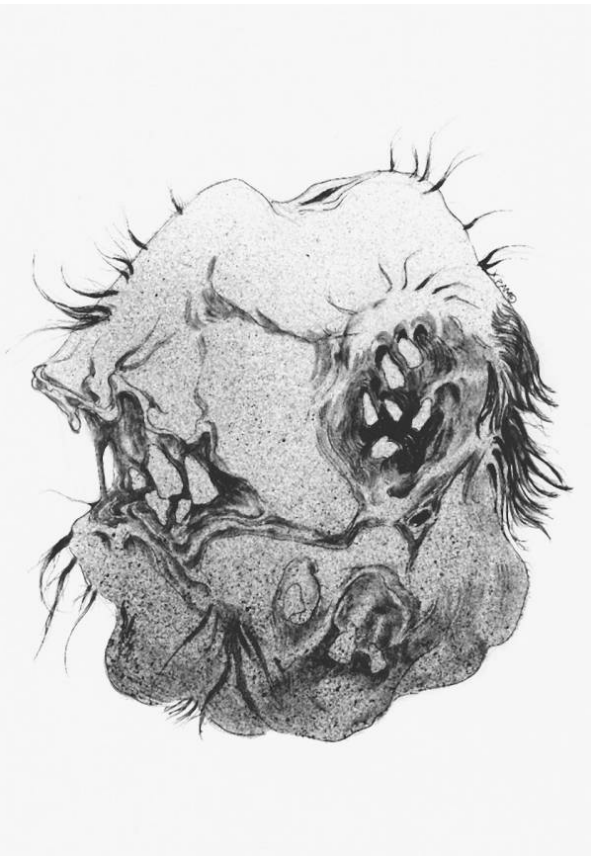
конце концов всем химикам пришлось выжечь голосовые связки, каковая мера немало способствовала их выздоровлению. Впрочем, иные из химиков, в том числе и Цюллингер, перенесли «онеметчивание» своих терминов без особо тяжелых последствий.

«Нужда в белковых веществах должна быть удовлетворена!» — так прозвучал приказ, отданный химикам. Уполномоченный по продовольствию, сверхгерманец Доннерсмарк, нашел магическую формулу: «Пивные дрожжи в крупном масштабе! Народное Скрепное Средство!» Оставшиеся трудоспособными химики приступили к исполнению задачи, и у них получились питательные вещества, вполне себе усваиваемые — содержащие высокий процент белка и даже, сверх ожидания, жира. Увы, вкус мало кого мог соблазнить: клейкое вещество залепляло гортань потребителей, и через короткий срок народ изъявил желание скорее умереть, чем жить и питаться этим восхитительным изобретением.

Во всяком случае, занимаясь такой фабрикацией, государственные химики сделали огромные успехи в области анализа питательных веществ, какими были обязаны не столько своим духовным способностям, сколько непрерывным

опытам. Они без труда разрешили проблему питания иным образом. Воспользовавшись старым опытом, они начали растить клетчатку животного происхождения в приспособленной для этого жидкой среде. Все, что требовалось, — поддерживать жизнедеятельность, направлять и ускорять рост. И это удалось сделать, создав оптимальные вентиляционные и сепарационные условия. Один конкурент Цюллингера, химик Доттервейх, вывел ускоряющую рост культуру дрожжей органическим путем и из очень дешевого сырья. Благодаря химии и вышеупомянутым средствам окорока коров и свиней делались длиной в километры. Сама процедура напоминала плетенье лент: кусок мяса, предназначавшийся для ускоренного роста, непрерывно выпускал из себя пучки мускульных нитей; эти пучки вытягивались через два отверстия, после чего их солили, коптили и наматывали на огромные катушки. Фабрики поставляли безукоризненно вкусный и при этом дешевый товар. Но кое-что в этих опытах оказалось поистине роковым. Вид и вкус хотя бы и искусственного мяса пробудили в рабочих почти заснувшие инстинкты к мятежу, каковые пришлось подавлять при помощи пулеметов. Кровопускание, которое при этом произошло,

показалось сверхгерманцам явлением, безусловно, вредным.



Блюститель великого мамонодержавия, сверхгерманец Геценлейхтер, придумал выход — добавлять к искусственному мясу маленькую дозу одуряющего какодилата, чтобы унять волнение народных масс. После долгих размышлений и ряда секретных опытов его идею отвергли: если рабочие дурманились превосходно, полукровки, на чьи плечи был возложен духовный труд, под влиянием какодилата совсем расклеивались и ни на что не годились. Пришлось бы новым законом провести разграничение в равном доселе питании полукровок и масс, а это противоречило незыблемости священных законов.

— Что ж! Значит, искусственное мясо — на импорт! — сказал сверхгерманец Янушальк. — Химические прохвосты и навозные исследователи придумают более спокойную пищу для наших возлюбленных подданных!

Склонившись перед ним в почтении, химики снова приступили к работе.

Слишком большое сходство искусственного мяса с настоящим и сделалось, очевидно, причиной его мятежеобразующего действия. Нельзя было пробуждать в человеке инстинкт хищного животного. С другой стороны, от рабочих требовалась сила. Продуктом народного потребления

должен был стать благочестивый и настраивающий только на правильный лад молочный коктейль. Усиленное питание клетчатых тканей животных оказалось ни к чему не пригодным, поэтому нужно было отказаться от клеток и использовать бесформенные белковые препараты.

Химики превратили искусственное мясо в муку, смешали ее с картофельной мукой и, таким образом, после обработки получили более нежный продукт питания. Но и он все-таки требовал доработки.

Доттервейх и Цюллингер трудились, соперничая друг с другом. Гениальному спецу по дрожжам Доттервейху удалось добиться почти небывалых результатов… в конце концов оказавшихся роковыми. После многих неудач Доттервейх смог создать соединения, при котором продукты дрожжей превратились в настоящие белковые вещества. Прибавка кислых экстрактов, добытых из варки клеток, превратила невероятное в действительность — субстанция ожила, и бедный Доттервейх был уже уверен в государственной премии и, даже больше того, надеялся попасть в число сверхгерманцев. Он занялся разведением амебоидов (каждый — с тарелку длиной) и, как дитя, радуясь неловким движениям созданных

существ, поспешил сообщить о своем открытии управлению питания. Там только покачали головой. Собрался духовный государственный суд и единогласно постановил подвергнуть бедного Доттервейха одурению: во-первых, за то, что он проводит время в бесполезных забавах, а во-вторых, за то, что он грубо оскорбил при этом божественный мировой порядок. Вызывая жизнь из мертвой материи, он совершил неслыханное кощунство над богочеловеческим союзом (так тогда называли религию).

Чертежи и рецепты Доттервейха не были, однако, уничтожены. Вместе с записями об использовании сил атомов они ушли в спецхран к прочим государственным сокровищам. Кто знает, может быть, со временем эти записи могли еще на что-нибудь сгодиться!

Цюллингер сделался осторожнее. Он удовольствовался тем, что начал свои опыты с живого белка. Его мысли были чрезвычайно близки мыслям его предшественника. Он взял коровье вымя, вложил его в ускоряющую рост мяса машину и получил путем коррекции баланса питательных жидкостей равномерную непрерывную молочную струю. Усушенная и спрессованная молочная масса пользовалась огромным успехом. Даже

больше того: это было настоящее лакомство, поднимающее настроение народа. Управление питания, вовсе не желая кормить народ деликатесами, сделало Цюллингеру выговор и приказало заняться изготовлением более грубой пищи. Тогда Цюллингер храбро схватился за половые органы страуса и возбудил семенные канальцы к обильному выделению белкового вещества. Что ж, воистину — колумбово яйцо!

Управление питания выписало (к немалому удивлению всей Южной Африки) целый взвод страусов-самок. Яички этих птиц были распределены по фабрикам. Производство было рассчитано на потребности всего населения. Полученные при этом белковые вещества почти не имели ни запаха, ни вкуса. Они смешивались и перемалывались с картофельной мукой, после чего это месиво всходило на дрожжах, и, следовательно, на пути к выделке безобидной и однообразной пищи не стояло больше никаких преград. Все прочее было поручено управлением питания государственному пекарю, полукровке Форке. Форке понял, что для поддержания аппетита пища должна быть обязательно разного вида, поэтому окрасил тесто в черные, белые и красные цвета, надушил его разнообразными эс-

сенциями и отлил в различные соблазнительные формы. Таким образом, подданные ели черно-бело-красных поросят, колбаски, яблоки и баранки национальных германских цветов.

Сверхгерманцы милостиво разрешили им это удовольствие, сами, однако, не следуя их примеру. Они все еще предпочитали питаться неподдельными дарами природы.

Цюллингер после этого испытания своих способностей был назначен смотрителем государственных белковых заводов и мог бы вполне удовлетвориться этим почетом. Но, к сожалению, поездки, связанные с исполнением служебных обязанностей, были до тошноты отравлены тремя его двоюродными сестрами: Идой, Феклой и Стефанией. Эти три девы неотступно следовали за ним повсюду, донимая его своими материнскими заботами, кутали в шерсть его сухое тельце, разглядывали его язык, открывали на нем катаральные налеты, щупали его живот, чтобы убедиться, не был ли он чрезмерно набит, и исследовали его мочу на предмет прозрачности и отделения белка и сахара.

Цюллингер сохранил от прежних времен некоторую долю тщеславия; три девы были настоящим мучением в его общественной де-

ятельности. С другой стороны, он во многом зависел от них. Без них он забыл бы про еду и питье и больше даже, чем дома, нуждался в их услугах во время путешествий. Поэтому он подумывал о том, чтобы отказаться от своей должности. Но это не так-то легко было сделать. «Если бы я только знал, как мне уйти от этих трех драконов. Конечно, если бы я только попросил, ко мне приставили бы для ухода трех преступниц. Они злобно или меланхолично пялили бы на меня глаза, что бы я с ними ни делал — при этом всегда бывает слишком много чувства, черт побери!» — так размышлял Цюллингер. Люди, какими они тогда были, вызывали на его коже непрерывный зуд, подобно блохам.

В конце концов перед ним все-таки открылись широкие горизонты.

Управление народонаселения обратилось к нему за помощью.

Крылся ли тут злобный умысел или, может, простое бессилие, но цифра рождаемости среди порабощенного населения начала падать все ниже и ниже. Этой беде требовалось положить конец. Теперь начинали даже жалеть, что приговорили Доттервейха к одурению, так как все остальные химики тщетно напрягали свои силы

с целью устранить эти бедствия. Народ оказывал пассивное сопротивление. Речь шла не об исправлении какой-то причины органического толка — скорее, оживить любовь и охоту к жизни. Но даже самые сильные меры не помогали… и все-таки надо было что-то придумать.

— Неужели возможно то, о чем вы болтаете? И все это можно будет сделать, даже не оскорбляя законы! Горе вам, если вы кормите нас пустыми обещаниями! — Так говорили Цюллингеру в управлении народонаселения. При этом говорившие ухмылялись, так как опыт все-таки мог быть сделан. Цюллингер был смещен со своего поста и под угрозой ужасных наказаний должен был присягнуть свято хранить тайну. Известный смекалкой заводчик Кноббе увез тайного советничка вместе с тремя его двоюродными сестрами в закрытой карете к себе, построил по планам Цюллингера возле своего завода особое здание, затем (уже по собственному плану) запер его туда и там, в этом здании, изолировал от всего внешнего мира. В таких условиях Цюллингер работал уже третий год. Предварительные опыты удались вполне. Идея Цюллингера охватывала сущность вещей в целом, ибо он был врагом полумер. Если народ не желал плодиться по собственному же-

ланию, то нужно было прибегнуть к фабричной политике производства народонаселения.

Цюллингер начал свои опыты с мышей. Добиться развития яйцеклетки вне мышиного тела не представлялось особенным фокусом при той высоте, где стояло исследование белков в Сверхгермании. В конце концов, почему не могла мышиная матка, вложенная в известную машину, произвести на свет молодых мышат?

Цюллингер разрезал матку мыши на сто кусков, дал кускам вырасти до нормальной величины в уже испытанной питательной жидкости, проделал эту же операцию с мышиным яичником и предоставил своим двоюродным сестрам, как слишком хлопотливую для себя заботу, пересаживать мягкие яйца из яичника в матку. Оплодотворение при помощи обработанных вышеупомянутым образом мужских органов, как занятие более легкое, он взял на себя.

— Как прогресс? — спросил сверхгерманец Кноббе.

— С вашего милостивого разрешения, — ответил не без гордости Цюллингер, — я мог бы обеспечить весь мир безусловно жизнеспособными мышами.

— Благодарю, — ответил Кноббе. — Теперь при-

ступайте к самому главному.

— Остается только кастрировать самого сильного и здорового мужчину из народа и у такой же женщины изъять яйцеклетки.

Просьба была удовлетворена. Советник здравоохранения, сверхгерманец Кирилейзон, устроил себе из этого забаву и развлечение. Медицина была привилегией сверхгерманцев точно так же, как право, богословие и филология (сведенная к очищению сверхгерманского языка от иностранных слов). Правда, сначала поднимались голоса за то, чтобы свалить медицину на полукровок. Но среди старых врачей было очень много приверженцев истинно немецкой народной отечественной партии. Кроме того, многие из них отличились во время войны своим умением драть шкуру с солдат, так что, в конце концов, медицину все-таки пришлось включить в число сверхгерманских наук.

К этому времени начались всевозможные затруднения, которые Цюллингер предвидел лишь отчасти. Человеческие органы оказывали куда больше сопротивления, чем мышиные. Процесс созревания, невзирая на все ускоряющие средства, протекал слишком медленно. Впрочем, это препятствие было не из самых важных. Имелось

ведь еще достаточное количество сильных и здоровых женщин, которым из человеколюбия удалили только один яичник, так что это не принесло им особенного вреда.

Гораздо хуже было то, что процесс развития, протекавший вполне закономерно, в итоге привел к совершенно никчемным, смешным и даже чудовищным результатам. Первые опыты дали только огромные, покрытые кожей и волосами комья, прорезанные роговыми наростами и полусгнившими зубами. Запах, издаваемый ими, дюжину немых ассистентов Цюллингера попросту извел, а его самого уложил в постель. Советник здравоохранения Кирилейзон явился в противогазе.

— Что это за ерунда у вас вышла? Клянусь свиной похлебкой! У вас получились, друг вы наш ученый, гангренозные образования, а не люди. Слабо, Цюллингер! Совсем слабо!

Кноббе испытывал желание швырнуть несчастного изобретателя вместе со всем его вонючим выводком в газовую печь. Он попросил совета у Кирилейзона.

— Оставьте парня в покое, герр Кноббе, — сказал тот миролюбиво. — Все внешнее, то есть кожа, волосы и зубы, у него готово. Посмотрим,

сумеет ли он наполнить этакое добро внутренним содержанием.

Цюллингер лихорадочно продолжал работать: не столько из-за страха перед своими мучителями, сколько из-за мелькнувшей перед ним возможности удовлетворить ненависть к человечеству. Это была смутная и неосознанная надежда, но она согревала ему сердце и закаляла мозг. Его пыл делался реально сверхчеловеческим, а работоспособность — прямо-таки устрашающей. Цюллингер был близок к тому, чтобы окончательно изнурить себя. Он изобрел новый вид питательной среды, куда с кожей и покровами уложил растущий плод, затем он разостлал в среде особые пластические подстилки из надхрящевой оболочки, дабы предупредить пролежни; позаботился об особой, гениально изобретенной вентиляции; не упустил решительно ничего из виду и… преуспел.

Плодом всех этих трудов явилась первая серия прекрасно сложенных и невероятно здоровых младенцев. Более того, Цюллингер сделал так, что эмбриональный период длился всего пять месяцев, и, в конце концов, он смело смог пообещать господину сверхгерманцу Кноббе добиться еще большего ускорения процесса.

— Хорошо, — сказал Кноббе, взглянув на сосавших пальцы больших красноватых лялек. — Впрочем, что же мы будем с ними делать? Не ждать же нам двадцать лет, покуда наконец они сделаются работоспособными. Подумали ли вы об этом, герр головастик?

Но об этом затруднении Цюллингер еще не думал. Дети были вынуты из инкубатора, очищены от среды и в дальнейшем не представлялось ничего другого, как оставить их расти нормальным образом. Кноббе хотя и бранился, но все-таки должен был признать — ученый сдержал обещание, но он не видел зазорным требовать от советничка еще больших успехов.

— На этот раз я прощаю вам этих сосунов, пачкун вы этакий! Только с тем условием, что на следующий раз вы доставите мне товар, годный для употребления.

— Слушаюсь, ваша милость!

Но, отвечая так, Цюллингер чувствовал себя, однако, очень скверно. Ему было ясно, что все его мечтания насчет младенцев прошли впустую, так как ему было уже шестьдесят лет, а вдобавок к этому — недолговечная печень пьяницы и две сморщенные почки. Поэтому он сжал в мощную пружину все свои силы и всю свою ненависть и

преодолел это последнее препятствие. Он засунул готовых младенцев еще глубже в питательную среду и тем самым лишил их всякой возможности двигаться. Затем он подверг их особенно тщательному душу из насыщенных растворов. Он обрабатывал их гормонами с рвением хозяйки, что опыляла красивые цветы в саду, и добился того, что дети начали расти.

Кто-то из них погиб — впрочем, больше от небрежности. При более тщательном уходе убыль была самая незначительная. Плодом всех этих забот, доведенных Цюллингером до границы возможного, явились существа, по пробивавшимся усам и всяким иным признакам соответствующие юношам и девушкам.

Теперь Цюллингер мог прекратить свои опыты. От труда среди легионов инкубаторов его брала оторопь. Порой он даже начинал мечтать о каком-нибудь несчастье, способном положить конец всем его отпрыскам, столь пышно взраставшим в желобах. Мощность этой искусственной природы пугала его, зрелище сверхзародышей преследовало даже во сне, его отвращение к извилистым, медленным движениям этих больших тел делалось все сильнее и сильнее. Вместе с тем он испытывал своеобразную отцовскую гордость.

Так обстояли дела в феврале 1952 года.

— Торопитесь же, вы, неуч, — бранился Кноббе. — Если ваш опыт удастся, вы будете произведены в действительные тайные советнички, а не удастся — тогда… — Выразительно указав на немого, сверхгерманец Кноббе спустился на лифте на нижний этаж здания.

Цюллингер поклонился ему вслед — так низко, что едва не свалился в отверстие лифта на голову заводчику.

Глава 3

Через несколько дней первые два десятка искусственных людей покинули странную питательную среду. Рождение произошло безо всяких осложнений: лежавшие в желобах голые существа судорожно и ожесточенно задрыгали руками и ногами, впервые открыли глаза и замкнутые до того уста. В их легкие ворвался воздух, их груди высоко приподнялись от первого вздоха, из их глоток вырвался дикий, болезненный, весьма негармоничный крик — все разом переживали свою первую ломку голоса.

Кноббе и Кирилейзон, наблюдавшие событие из закрытого лифта, спустились вниз, спасаясь от шума, сам же Цюллингер и его ассистенты отскочили назад, заткнув обеими руками уши.

Снаружи, из кабинета Цюллингера, невзирая на весь этот шум, донесся далекий и все же явственно слышный пронзительный крик трех голосов. Это вскрикнули три двоюродные сестры Цюллингера — Ида, Фекла и Стефания, — подслушивающие у двери.

Торжественное поведение их двоюродного брата возбудило сверх меры любопытство трех

старых дев. Они подозревали, что произошло нечто особенное, но найти объяснения неожиданному, ужасающему воплю, донесшемуся из всегда мертвенно-тихого помещения, было выше их сил. Они упали на спины, сведенные судорожными корчами и уверенные в злодейском преступлении. Самая старшая и самая нежная из них, Ида, тут же и скончалась от чрезмерного стресса.

— Ну, хоть одной меньше! — сказал Цюллингер, узнав о случившемся.

Новорожденные были доставлены на носилках во временно выстроенное для них жарко натопленное помещение. Там они должны были закалиться, а их мускулы и жилы — пока что вялые, хотя и мощно развитые, — сделаться гибче. Цюллингер боялся переходного периода: неизвестно, как будут вести себя эти существа по отношению к внешнему миру. Пока что они держались глупее молодых телят, хотя и мощно сосали соски, наполненные особо питательной смесью. Их сморщенная кожа разглаживалась, их тела выпрямлялись, а волосы потемнели и начали виться.

Само собой разумеется, что управление народонаселения, при подборе атлетических мужчин и

женщин, чьи органы должны были служить для опытов, позаботилось о том, чтобы плодом этих опытов не явился германский тип. Они старались добиться славяно-романской смеси. Голубые глаза и белокурые волосы должны были оставаться привилегией сверхгерманцев. К сожалению, этот идеал не был еще окончательно достигнут.

Выводок Цюллингера был в этом отношении безупречен: у всех младенцев — темные волосы, черные брови и большие водянистые глаза, их кожа была болезненно бледна, но все надеялись, что в будущем это изменится. Их физическое развитие протекало с удивительной быстротой. Через четыре недели они ходили, как годовалые дети, держась за протянутые вдоль залы шесты. Еще через месяц можно было приступить к дрессировке.

Но даже такие успехи казались слишком долгими Кноббе, ежедневно посещавшему свой скотный двор. Он ругал действительного тайного советничка (чин советника давался только сверхгерманцам) последними словами, называл жалким лодырем. Ему не нравилось, что Цюллингер занимается своими искусственными людьми, он с большим удовольствием держал бы его вдали от этих необыкновенно удавшихся созданий.

— Чего вам здесь надо? Ваше дурацкое лицо пугает этих зверьков. Убирайтесь к себе в лабораторию. Где-то через год мы должны иметь еще десять тысяч таких скотинок. Никак не позже!

Цюллингер получил от государства приказ обучить шестьдесят химиков искусству изготовления людей. Управление народонаселения полагало само управиться с выделкой человеческих существ. Господа из воспитательного учреждения никак не желали видеть Цюллингера в своей среде. Они предпочитали развлекаться воспитанием без посторонних.

Но, на удивление всем, когда Цюллингер пропускал хотя бы день, весь искусственный выводок становился таким жалким и так вешал головы, что походил на комнатные цветы, которые забыли полить. Это обстоятельство поставили Цюллингеру на вид и пригрозили наказанием. Действительный тайный советничек почтительно просил извинить его.

— Искусственные люди, — оправдывался он, — которые, так сказать, еще нуждаются в уходе за собою, видят во мне сразу и отца, и мать. Когда их лишают моего присутствия, они начинают печалиться, как сироты. Но со временем это, безусловно, у них пройдет.

Цюллингера высмеяли, думая, что открыли его тайну.

— Он отравляет корм! — ревел Кирилейзон. — Мы опять никак не можем справиться с этими чучелами.

— Не может быть! — сказал госсоветник Цумбрех, глава воспитательного учреждения.

— Не верьте вы этому малому! Он, наверно, ежедневно подсыпает детишкам в молоко какое-нибудь оболванивающее месиво.

— Цюллингер, что вы делаете с кормом? А ну, отвечать!

— Почтительно прошу разрешить мне разделить участь моего коллеги Дотервейха, — мрачно бросил Цюллингер. — Я слишком обременен работой, и жизнь не обладает никакой прелестью для меня, вашего покорнейшего слуги.

— Это мы всегда успеем сделать, но сначала объясните, чего они пучат глаза, словно вытащенные из воды карпы?

— Подумайте только, ваша милость, — сказал Цюллингер, внутренне лукаво хихикая, — подумайте только, что я годами добивался благоприятных плодов опытов под милостивым руководством моего уважаемого хозяина, сверхгерманца Кноббе. Я не разрешил вопроса

о правильном питании. Мои скромные поиски в этом направлении еще не доведены до конца. Для того чтобы быть здоровыми, дети нуждаются еще в усиленном откорме. Я добиваюсь его, производя день за днем внимательное исследование состояния их здоровья.

— Вы никуда не годный невежда! — выругался государственный советник Цумбрех.

Цюллингер продолжал оправдываться:

— Дело пошло бы гораздо скорее, если бы только я всецело мог посвятить себя этой задаче. Предоставленные в мое распоряжение ученые прошли весь курс ухода за детьми. Умоляю, простите мне мое присутствие в этом помещении.

На самом деле он и впрямь с самого начала подмешивал в детскую пищу тормозящие рост вещества. Его деятельность на кухне ограничивалась тем, что изо дня в день он делал эти вещества все более и более безопасными. Это был самый удобный способ сохранить власть над созданными им существами. Его мало печалило то, что его понизили до звания повара, обслуживающего ораву искусственных детишек. В практическое воспитание он не должен был вмешиваться, увы.

Воспитание протекало по правилам, выра-

ботанным для дрессировки собак. Цумбрех выдвинул четыре основных положения:

1) Разговор действует вредно. Дрессировка вплоть до отдачи приказов ведется молча.

2) Красота природы действует вредно. Искусственные люди должны работать только в закрытых помещениях под землей.

3) По окончании обучения искусственных людей лишат возможности дальнейшего развития путем изобретенного Цюллингером одуряющего вещества.

4) Половые органы во избежание разврата должны быть приведены в негодность.

На том и порешили. Всех искусственных людей вместе назвали выводком, а каждого отдельно — выкормком. Вместо имен им были даны клички: Тир, Плутон, Бумбараш, Мопс, Минерва. Впоследствии любимым именем сделалось имя Спартак.

Днем одурения первых двух десятков было назначено пятнадцатое мая.

— Умоляю вас не забывать, что дети нуждаются в играх и в солнце, — позволил себе заметить Цюллингер.

— Оставьте, пожалуйста, эти глупости, — огрызнулся Кноббе. Но выкормки прыгали и скакали так занятно, что каждый раз он должен был хва-

таться от смеха за свой толстый живот. Смех был необходим его вялому пищеварению, и он оставил питомцев скакать на свободе. Необходимость в укрепляющем влиянии солнца была слишком очевидна, чтобы ею можно было пренебречь. Поэтому дрессуру стали проводить при солнечном свете — на цинковой крыше здания.

Ранним утром пятнадцатого мая Цюллингера мучила резь в желудке. Он выпил пачку слабительного и с тяжелым сердцем отправился к своему выводку.

Позвонил Кноббе:

— Все в порядке? Испытательная комиссия явится ровно в десять часов. Выкормки должны предстать перед ней голыми.

— Слушаюсь, — прорычал в трубку повар искусственных детей.

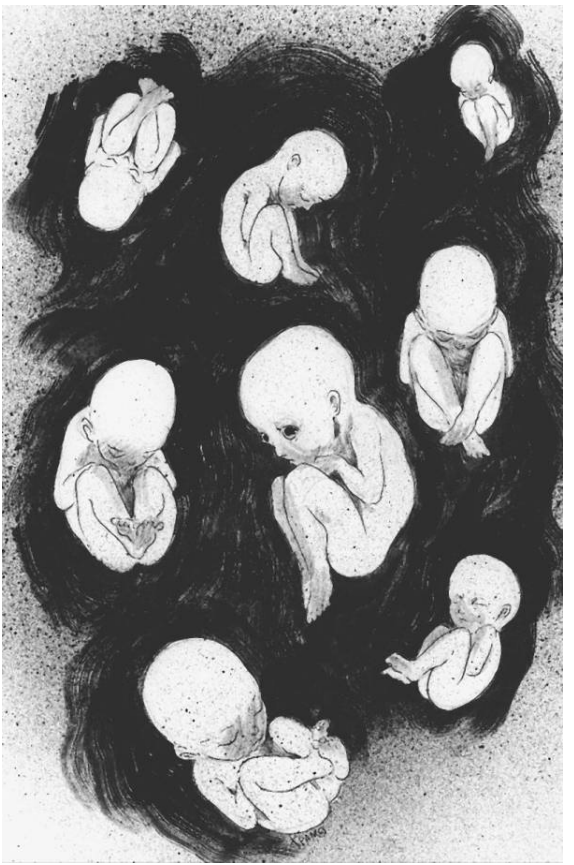
Его глаза были мутны от алкоголя. Иначе он должен был бы заметить, что дочь Кноббе Изольда вместе со своей подругой Герлиндой стояла у окошка напротив. Эти две холеные высокопоставленные девицы, хихикая, устанавливали большой телескоп, желая наблюдать предстоящее зрелище втихаря.

— Посмотри, Герлинда, там вот на нарах спят великаны. Не правда ли, очаровательно? — про-

шептала Изольда.

— Отец не говорит ни слова, однако ж я кое-что узнала. Ты только следи внимательно. Вон там! Ай! — Они вытянули шеи, попирая друг друга носами у окуляра телескопа.

Сегодня выкормкам разрешили поспать лишний часок. Как раз в эту минуту Арнольд Цюллингер будил их, стаскивая с них шерстяные одеяла. Он снял с них также шерстяные куртки. Солнце тепло светило в окна, до испытанья выкормки должны были приучиться к своей непривычной наготе. Они ворчали и охали, и зевки их напоминали львиное рычание. Молодые великаны вытягивали мощные руки и, желая поспать подольше, прятались под соломенными мешками.



— Подъем! — кричал Цюллингер, стараясь подражать сверхгерманским интонациям Кноббе, и созданные им существа стали покорно подниматься, ожидая ударов бича. Немой слуга принес утреннее питье; выкормки, почти не чавкая, стали хлебать кашицеобразную массу из оловянных мисок. Дрожа, прижимались они друг к другу, как овцы. Несмотря на детскую безмятежность, они бессознательно начали ощущать наготу тела и разницу полов. Покраснев от собственного внутреннего жара, они расселись по двум сторонам и смотрели друг на друга большими, удивленными глазами. Цюллингер хорошо понимал, что творилось с его выводком.

— Бедные дети, — вздохнул он, потом обратился к слуге: — Вели привести в готовность рентгеновские аппараты.

Сердца у Изольды и Герлинды забились сильнее, дыхание обеих девиц участилось.

— Какое неприличие! — воскликнула Изольда. — Уходи домой.

— Уходи сама, если хочешь! — парировала Герлинда.

«Здесь, безусловно, слишком жарко», — подумал Цюллингер и открыл окно. Утренний ветер принес, бог знает откуда, сладкий запах жасмина.

Пестрая бабочка, преследуемая двумя бабочками-самцами, пролетела через все помещение. Питомцы зафыркали и еще дальше отошли друг от друга.

— Вот как! До сих пор они ведь были совсем невинны! — Цюллингер сам был безумно взволнован. — Мопс! Треф! Каро! — Он звал каждого юношу в отдельности. — Хоп! А ну, на крышу! Диана, кыш! Кыш, Минерва!

Больше нельзя было медлить. Выкормки, до сих пор позволявшие делать с собой что угодно, абсолютно ничего не знавшие о собственной чудовищной силе, даже более кроткие, чем ягнята, и повиновавшиеся каждому слову, — эти выкормки медлили теперь следовать за своим пастырем. Они с ворчаньем скалили зубы, сжимали кулаки и в упор смотрели друг на друга, как будто скованные взглядами. Но в конце концов дрессировка взяла свое. Через минуту все самцы были уже на крыше, а самки тихо лежали в своем помещении. Так, по крайней мере, думал Цюллингер. Но Изольда с Герлиндой были осведомлены лучше него — они вытягивали шеи, не будучи, впрочем, вполне удовлетворенными.

— Что же теперь будет? — сказал Цюллингер.

Вдруг лежавшие на земле девушки принялись

горько и жалобно всхлипывать. Тогда он дал им привычную работу — перенести груду камней с одного места на другое. Работая, они продолжали плакать, и в глазах их было отражение грез.

Цюллингер начинал уже надеяться, что предупредил самое худшее, как вдруг с крыши раздался крик, похожий на вопль оленя. За ним последовал другой, потом третий, потом на крыше поднялся целый вихрь мощных голосов.

— Ревуны! Обезьяны! — воскликнул жалобно Цюллингер. Спотыкаясь, он взбежал по лестнице и остановился в испуге. Юноши стояли друг против друга, их наклоненные вперед тела блестели при солнечном свете, их крики гулко звучали, их мускулы напряглись для решающей битвы титанов. Он прикрикнул на них, но они не обращали на него внимания. Тогда, растерявшись, горе-изобретатель стал звать на помощь.

Внизу во дворе собирались группы рабочих. В окошке показалась голова и угрожающе поднятая рука владельца экспериментальной базы Кноббе. Примчало авто, полное господ в черных фраках.

— На помощь! На помощь! — орал Цюллингер, но его голос тонул в этом реве. Уже двое юношей, сцепившись, валялись на полу, уже раздавались удары, похожие на щелканье бича. — Огнетуши-

тель! Где огнетушитель?

У лестницы висела большая пожарная кишка. Цюллингер поспешно втащил ее на крышу. Его блуждающий взгляд упал на кучку молодых девушек. Он увидел дикий хаос из судорожно дергавшихся рук и ног, кипящую лаву, тут и там выбрасывающую пряди черных волос. «Я никоим образом не могу разорваться!» — подумал несчастный Цюллингер, первым делом принявшись за тушение «пожара» на крыше. Под водяной струей вся напряженная сила бойцов мигом спала; они принялись жадно глотать воздух, их еще недавно кроваво-алые тела сделались зелеными и голубыми и потом застыли в мрамор.

«Управа есть! — решил Цюллингер. — Теперь скорее к женщинам!»

Он вскочил и, пыхтя под тяжестью пожарного насоса, побежал вниз. Там он застал испытательную комиссию. Господа не отваживались подходить к сплетенным в клубок девушкам. Они стояли с беспомощно открытыми ртами, заткнув руками уши. Их обычно столь крепкие нервы дрожали теперь от этого пронзительного крика, от этого вихря женских рук и ног.

Цюллингер потушил и этот «вулкан», затем стал оказывать комиссии соответствующие зна-

ки уважения. Ему не удалось довести до конца весь обряд — разъяренный сверхгерманец Кноббе бросился на него с хлыстом и при третьем поклоне сшиб его с ног.

— Пока что разумнее всего будет оставить в живых этого смерда, — миролюбиво изрек председатель комиссии, сверхгерманец Фогельман.

— Экая падаль! Вдвойне паршивый полукровок! Он оскорбил мою честь! Мою святую честь! — Кноббе заскрежетал зубами, затем наступила торжественная тишина. Огромные тела выкормков начали снова дергаться и напрягаться.

— Удивительно! — бросил Фогельман и пощупал одну из девушек. — Клянусь Вотаном[15] и Папой, а тут есть за что ухватиться!

Господин с отвисшим животом причмокнул и ущипнул мягкое мясо.

В это время Кирилейзон приводил Цюллингера в чувство нашатырным спиртом.

— Простите, ваши милости, — растерянно лепетал тайный советничек, — я не виноват. Пробудившиеся половые инстинкты! На крыше! Носилки! Узел из рук и ног!.. Операция должна быть произведена как можно скорее…

---

[15] Примечания: 15

Вотан — германское прочтение имени скандинавского бога Одина.

Тут явился отряд слуг и унес покрытых ссадинами и шишками полубесчувственных питомцев. Кноббе взволнованно бегал взад и вперед.

— Торопитесь же, вы, свиньи! Скоро ли вы перенесете все двадцать штук?

— Восемнадцать, ваши милости. Больше там нет!

— Цюллингер, двоих не хватает! — бросил с убийственным взглядом Кноббе.

Цумбрех, бывший какое-то время генеральным прокурором, устремил острый взгляд во все углы. Никакая тайна не могла укрыться от этих крысиных глаз.

— Посмотрите там! — И он указал пальцем на кучу подозрительно сложенных мешков для соломы. Под этими мешками, действительно, была найдена недостающая парочка, спавшая в тесном объятии. Испытательная комиссия сумела сохранить самую степенную серьезность. Шприц с углекислотой еще раз исполнил свое назначение.

— Стоп, — что-то обдумывая, сказал Цумбрех слугам, собравшимся и эту последнюю пару унести. — Господа, — обратился он к комиссии, — тут возникает некоторое затруднение. Подумайте: наш трижды священный закон защищает вся-

кую зарождающуюся жизнь. Здесь ведь могла зародиться жизнь, следовательно, эту женщину нельзя подвергнуть влиянию рентгеновских лучей.

— Результатов следует ожидать с нетерпением, — также с научной точки зрения заметил Кирилейзон. — Цюллингер, подвергните этого выкормка одурению, не прибегая, однако, к рентгеновским лучам. Затем следите за дальнейшим; можете использовать искусственного человека для своей пакостной кухни. — После этого решения все общество отправилось в рентгеновскую комнату.

Изольда и Герлинда, опьяненные этим увеселительным зрелищем, воспользовались уходом комиссии, чтобы убраться восвояси из своего тайника.

— Ах! — вздыхала Герлинда.

— Если бы только этот глупый Цюллингер не торчал там все время и не загораживал обзор! — жаловалась Изольда.

В рентгеновском кабинете все девятнадцать выкормков были подвергнуты краткому, но чрезвычайно интенсивному воздействию лучей, навсегда изгнавших из них все скотские инстинкты. Программа, однако, была испорчена, так как

вышеупомянутый акт должен был состояться в самом конце испытания, одновременно с актом одурения.

Как бы там ни было, а выкормкам все-таки нужно было дать отдохнуть.

Комиссия утешилась завтраком, продлившимся до самого вечера.

На следующее утро все пошло как по маслу. Все девятнадцать выкормков были снова кротки и послушны. Цюллингер стоял, приготовившись к операции одурения, и странно было видеть, как после этой процедуры по светлым лицам несчастных созданий пробегала тень, а их большие глаза делались стеклянными и бессмысленными.

Цюллингер правильно рассчитал дозу. Весь выводок был великолепно приспособлен к работе.

Теперь могла начаться массовая фабрикация. Кноббе охотно сохранил бы за собой монополию, но можно было предвидеть, что ему не удастся выполнить всех заказов, так что он продал патент за баснословную сумму нескольким другим заводчикам.

Глава 4

Сверхгерманцы, несмотря на испорченное испытательное утро, были все же весьма признательны Цюллингеру и даже назначили его тайным обер-советничком по вопросам одурения. Поговаривали также о чине «случника выкормков», но этому из нравственных соображений воспротивилось духовенство, так что стал Цюллингер ведать питанием и одурением питомцев. Он же подвергал их и действию рентгеновских лучей.

Он делал вид, что всякая работа ему нипочем, и придумывал затруднения из разряда таких, какие уже, собственно, были давно преодолены. Пока его обязанности не отнимали у него особенно много времени. Но он не сидел сложа руки и использовал свободные часы для опытов вроде тех, какими некогда занимался царь Митридат. Он искал средство против одуряющего эффекта какодилата. При этом в целях предосторожности объектом для своих опытов взял не самого себя, а воспользовался для этого выкормком-самкой, за которой ему было поручено присматривать.

— Вот, девочки, — сказал он Фекле и Стефа-

нии, — вот вам вместо бедной умершей Иды!

Его двоюродные сестры ахали и заклинали его всеми святыми избавить их от такого общества. Фекла особенно боялась этого безобидного существа, носившего гордую кличку Гера и обнаруживающего несомненные признаки беременности.

— Арнольд, убери это злое животное! — заклинала она двоюродного брата, но Арнольд, сославшись на правительственное распоряжение, оставил Геру у себя. Стефания вскоре примирилась с ее обществом. Фекла же продолжала упрямиться и в страхе проливала обильные слезы. Впрочем, она не теряла надежды избавиться от присутствия «чудовища» — Гера часто болела и порой была близка к смерти. Это случалось с ней, когда Цюллингер впрыскивал ей особо сильную дозу предполагаемого противоядия, но всякий раз Гера выздоравливала. Ее организм обладал запасом выносливости низших животных, и она могла выдержать больше, нежели дюжина нормальных людей.

Цюллингер не принадлежал к числу тех, кого обескураживают первые блины комом. Каждый раз, начиная утрачивать веру в собственный научный гений, он вспоминал судьбу своего кол-

леги Доттервейха.

— Доттервейх! — говорил он тогда себе. — Ты, вызывая жизнь из мертвой материи, получил в благодарность прививку самого черного непонимания. Мне не была бы дорога жизнь моих искусственных созданий, если бы я мог с их помощью найти мертвую материю противоядия. — Он понимал, что, как только перестанет быть необходимым, духовенство будет судить и его за святотатство.

Однажды Цюллингер вышел в глубоких думах из рентгеновского кабинета, в котором только что подвергнул влиянию лучей одного из выкормков, и направился в свою рабочую комнату, помещавшуюся теперь возле самой заводской кухни. В кухне стояла Гера и чистила огромные котлы.

— Гера! — окликнул он ее, намереваясь вспрыснуть ей еще не испробованную жидкость.

— Слушаюсь! — ответила Гера почти со стоном — от непривычки произносить слова.

— Гера?

— Слушаюсь!

— Гера говорит!

Пара жалких слов обрадовала Цюллингера выше меры. До сих пор она умела только хрюкать:

с ней явно произошло значительное просветление! Чтобы выразить радость, он воспользовался излюбленной сверхгерманской формулой:

— Слава и победа!

— Шалава и обеда! — повторила Гера с трудом.

— Нет, не так. Слава и победа!

— Господин Цюу-уллингер! — протянула за его спиной дочь Кноббе Изольда и отчего-то заливисто захихикала.

— Что угодно уважаемой барышне? — чопорно спросил ученый и поклонился куда ниже обыкновенного для того, чтобы скрыть страх, ибо он боялся этой досадной и опасной девки — неожиданной, словно расстройство кишок.

— Вы одни, Цюллингер? С вами нет ваших старых песочниц? В день рожденья я должна получить от вас подарок — маленький, хорошенький подарок, — и совсем по секрету! Идемте скорее! — Она побежала вперед и с важным видом уселась в кабинете. Важность, несвойственная ее юности, обусловливалась, однако, ее одеянием: на ней, как и на всех сверхгерманских девушках, было длинное белое платье старогерманского покроя с черно-бело-красной каймой. Одежда эта служила символом невинности и одновременно чехлом для платья новейшего фривольного фасо-

на прямиком из Парижа.

Цюллингер думал, что эта девица явилась шпионить за ним. Она часто делала это по поручению отца. Но на сей раз у Изольды было кое-что другое на сердце, и она без обиняков перешла к цели своего посещения.

— Господин тайный обер-впрыскиватель, ваши ребята никуда не годятся!

— Может быть, они слишком глупы?

— Да, слишком глупы!

И, лукаво смеясь, Изольда рассказала, что она заставила отца подарить ей одного такого новомодного батрака, но парень никак не может удовлетворить ее.

— Почему же? — спросил Цюллингер и озабоченно сморщил лицо.

— Мне не нужна такая тряпка. Вы должны заменить его другим. Он может быть глупым и неболтливым, как ваша Гера. Я ведь все слышала и все расскажу отцу!

Цюллингер уверил ее, что Гера промолвила сегодня свое первое и последнее слово, но Изольда ничего не хотела слушать.

— Я хочу настоящего мужчину! От этого никому не убудет. Послушайте, Цюллингер, вы никак не хотите меня понять. Я хочу иметь мужчину для

того, чтобы *играть* с ним! Я непременно хочу иметь *мужчину!..*

Цюллингер давно уже решил доставить ей это развлечение. Таким образом он мог хоть немножко насолить старому Кноббе. Но на всякий случай он немного поломался.

— С величайшим удовольствием я исполнил бы ваше желание, уважаемая барышня, но у меня имеется предписание. Знаете, что ждет меня, если я пренебрегу предписаниями?

— Цюллингер, я знаю только, что вы пьяница. Что будет с вами, если я вас выдам?

— Тогда я уж подавно никоим образом не смогу вам помочь.

Изольда сладко улыбнулась всеми презираемому полукровке.

— Пожалуйста! Прошу вас, дорогой Цюллингер!

Цюллингер притворился, будто прельстился ее ужимками.

— Для вас, уважаемая барышня, я готов пойти хоть на убой.

При первой возможности неспособный батрак был заменен другим, более сильным. Сделать это было чрезвычайно просто: кого-нибудь из выкормков следовало подвергнуть частичному

влиянию лучей. Одно время Цюллингер хотел даже совсем не прибегать к этим проклятым лучам. Он хихикал, обдумывая все способные возникнуть из этого последствия, но потом оставил эту мысль, так как не хотел скрещивать сверхгерманцев с созданными им существами. Это дало бы сверхгерманцам нежелательную фору.

Но Изольда получила требуемое развлечение. Цюллингер злорадно потирал руки и продолжал работать над противоядием.

Через три месяца Цюллингера постигло разочарование.

— Посмотрите-ка на свой подарок! — сказала ему с упреком Изольда. — Ваши парнишки все еще ни на что не годятся. — Она привела с собой выкормка.

— Крестная сила! — воскликнул, не скрывая удивления, ученый. Безупречный, полный соков парень походил теперь на выжатый лимон.

— Не смотрите, пожалуйста, на меня с таким упреком. Вы, кажется, даже позволяете себе ухмыляться, старый греховодник?

— Но... ведь... это же... это невозможно! — удивился Цюллингер.

— Вы, кажется, думаете, что в этом виновата я? Мы с ним только чуть-чуть поиграли. Герлинда

тоже хочет заиметь такого, и мне тоже нужен новый, и всему нашему кружку. Готовьтесь к заказам, Цюллингер.

— Хорошо, — сказал тайный обер-впрыскиватель, коему из нравственных мотивов было отказано в звании случника выкормков.

С тех пор у сверхгерманских девиц сделалось модно держать при себе подвергнутых частичному влиянию рентгеновских лучей искусственных батраков. Зло распространялось с такой быстротой, что господа из управления народонаселения диву давались. Управление труда безостановочно требовало выкормков, но спрос все время превышал предложение.

— Сколько у нас теперь всех выкормков? — спросил сверхгерманец Фогельман.

— Около четырех тысяч работоспособных.

— Слишком мало. — Фогельман многозначительно подмигнул глазом. — Не забывайте, в каком ходу теперь самочки.

— Наши дамы просто без ума от парней. По-моему, это не совсем пристойно, — заметил какой-то престарелый господин.

— Помилуйте! Цюллингер отлично делает свое дело.

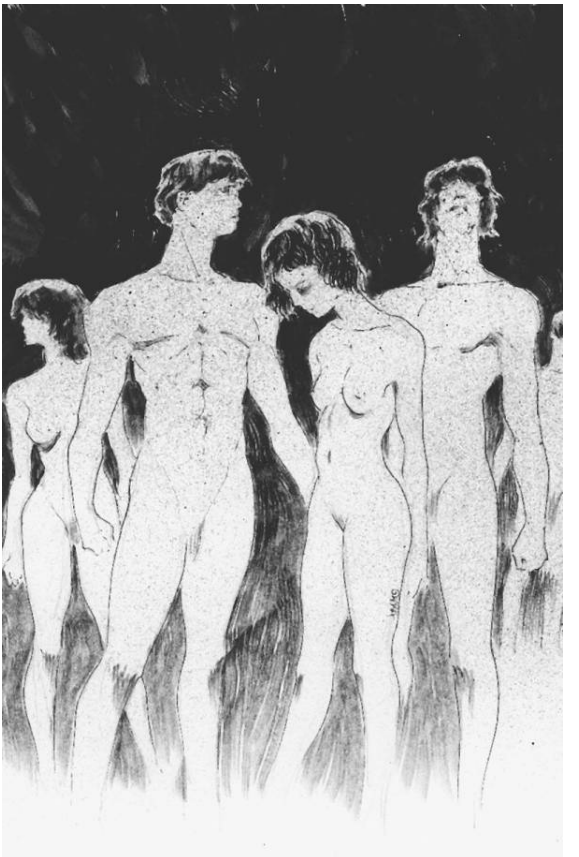
— Все-таки будет лучше издать закон, запре-

щающий нашим дамам держать подобных, гм, слуг, — начал было опять престарелый господин, но ему не дали договорить.

— Попробуйте-ка! Легче перегрызть бетонный бордюр! Общественное благополучие! Увеличение рабочей силы! Дешевизна!..

После оживленного обмена мнениями все согласились с предложением высшего начальства. Затем последовало запрещение пользоваться выкормками для домашних работ, но так как для сверхгерманцев существовали только денежные штрафы, то дамы нисколько не были опечалены законом. Они исправно платили штрафы, и запретный плод казался им только слаще.

Меж тем Цюллингер в темной каморке обучал Геру таблице умножения.



Несмотря на ее успехи, он не был доволен. Ученый мечтал о средстве, которое по его желанию могло бы после вспрыскивания уничтожить влияние какодилата — через час, день или месяц. При этом он должен был действовать с величайшей осторожностью, так как к нему часто заходил советник по врачебной части Кирилейзон, чтоб справиться о состоянии здоровья Геры. Сначала Цюллингер перед каждым его приходом прибегал к вспрыскиванию одуряющего вещества. Впоследствии Гера сделалась такой хитрой, что могла разыгрывать из себя дуру, не будучи одурманенной.

Кирилейзон исследовал Геру только поверхностно. Его посещения больше относились к самому Цюллингеру, ибо ему он не доверял. И причиной его недоверия была не служанка, умеющая считать, а дочь Кноббе Изольда. Врач задался целью жениться на Изольде, готовя себе для этого почву. Прежде Изольда советовалась с ним при каждом удобном случае, и он отлично знал, что скрывалось под ее германской одеждой с черно-бело-красной каймою. Теперь же Изольда сделалась внезапно суха с ним и высмеивала его, когда он справлялся о ее здоровье. Все ее поведение явно говорило: «Не трудитесь, гос-

подин советник, мне и без вас хорошо». Вся эта неприятная перемена произошла с того самого дня, когда Кирилейзон встретился с ней у дверей Цюллингера. Тогда она покраснела, что случалось с ней редко.

«Старый негодяй заколдовал мою золотую уточку!» — подумал Кирилейзон и злобно выругался. Но сколько он ни пытался выспрашивать, Изольда ничего ему не говорила, ну, а Цюллингер был всегда настороже.

Кирилейзон обратился тогда к Кноббе, своему желанному тестю, и выхлопотал у него разрешение надзирать за работой Цюллингера. Но, будучи хирургом, он мало понимал в химии и вместе с тем не хотел оскандалиться перед Цюллингером. Он довольствовался тем, что принимал очень важный сверхгерманский чиновничий вид и напропалую мешал Цюллингеру в его работе. Изредка он задавал ему вопросы, обнаруживая невежество:

— Что это за желтая штука на той тележке у кухни? Отвечайте, мерзкий пилюльщик.

Цюллингер смиренно читал ему каждый раз лекции.

— С вашего милостивого разрешения там стоит контейнер с питательными пивными дрожжами,

которые, как известно вашей чести, не были приняты народом как питательный продукт. Теперь мы соединяем их с возбуждающими солями и кормим ими наш выводок. Нам обходится в деньги только доставка, и, таким образом, министерство питания надеется использовать мало-помалу все запасы, а запасов у нас несколько сот тысяч центнеров.

— Бросьте болтать! Скажите мне лучше, зачем нужны вам ежемесячно сотни литров спирта? Отвечайте осмотрительно!

Цюллингер показал ему отчеты.

— Проклятый отравитель! А что это за толстый том в переплете свиной кожи на вашем столе? — Кирилейзон открыл сочинение всемирно знаменитого Гофмана и прочел несколько строк, где шла речь об оленьем роге: «Большинство людей думает, что сила, заключенная в рогах оленя, происходит от змей. Ибо олени едят змей, чтобы омолодиться». — Что это за вздор, Цюллингер?

— Я пользуюсь этим трудом как образчиком благочестивого стиля — для собственных жалких записок…

— Что делала дочь сверхгерманца Кноббе Изольда в вашей вонючей конуре? Ну-ка!

— Всемилостивейшая барышня приходила про-

верить по приказу своего августейшего батюшки, не занимаюсь ли я тут какими-нибудь тайными и недозволенными делами. Но я вернейший слуга моего господина!

— Заткните глотку!

Подобные разговоры, которые вели они почти каждый день, приводили ученого в восхищение.

— Ага! — говорил он себе, когда врач наконец уходил. — Ага! Я кое-что замечаю. Зачем спрашивает меня этот жирный бык о своей жабе? Изольдочка заставляет его трепыхаться! У Изольдочки есть теперь собственный Ванька-Встанька. Теперь держись, Кирилейзон! Но мне ведь не трудно! Меня слишком долго попирали ногами — вот я и сделался скользким!

Глава 5

Сверхгерманцы изо всех сил старались сохранить тайну происхождения выкормков. Но, само собой разумеется, любопытство их жен было сильнее, чем их умение молчать. За кофейным столом начались шепотки и пересуды, и в кругу сверхгерманских матрон стал дуть ветер подозрений.

— Не знаете ли вы, госпожа Ирминтруда, откуда взялись эти рослые красавцы? Мой муж что-то болтал мне об усиленном питании, делающим из обычных детей великанов. Вы верите этому, почтеннейшая моя?

— Моя тетка, Кунигунда, рассказывала, будто их выращивают в горшках, как герань.

— Тише, тише, душечка!

— Что же тут такого? Это ни для кого не тайна.

— Подумайте только, — сказала, поглаживая высокую грудь, некая глубоко верующая и во всех отношениях превосходная дама, — подумайте только! Если это правда, тогда наши милые, хорошие дочечки могут оставаться чистыми, как ангелы. Мои мечты исполнятся. Но об этом не следует говорить. Будем целомудренны и в

словах, и на деле…

— Нужно не говорить, а *кричать* об этом. Мы тоже хотим выращивать детей в горшках!

— Это позор, что мы должны так же мучиться, как женщины из простонародья.

— Это прямо неслыханно.

Но более старые дамы, прошедшие уже через все то, о чем говорилось, оживились и начали славить святые, установленные Господом страдания женщины. Дамская болтовня становилась все громче.

— Существует только одно дозволенное использование науки!

— Неужели мы будем такими дурами? Изобретение ведь уже сделано.

— Будем крепко и верно держаться старых обычаев, — прошамкала чья-то прабабушка. Несмотря на все крики, старые дамы оказались все-таки в меньшинстве, но они ни в коем случае не желали умолкнуть. Распри продолжались в двух самых любимых газетах страны: в черно-бело-красном «Материнском Сокровище» и в сверхгерманской «Подушке». Кипели страсти — все ради девственных дочерей! — в полусловах и в туманных намеках.

Правительство обратило на это внимание и в

испуге созвало всеобщий женский съезд.

Сначала получила слово представительница молодых женщин. Нужно отдать ей должное, она отлично сумела осветить скользкую тему. Технические затруднения почти не шли в счет. Она полагала, что небольшой наркоз на первом или втором месяце и последующую за этим пересадку семени могла выдержать каждая женщина, и это явилось бы большим облегчением для нее. В самой процедуре не было ничего, что шло бы вразрез со светскими или духовными законами. Может быть, все дело можно настолько упростить, что совершенно исключить сладострастие и похоть. Конечно, целомудрие сверхгерманских женщин высоко, но, поступая вышеописанным образом, может быть, можно приблизиться к непорочному зачатию. Во имя здоровья, красоты, нравственности, словом, во имя святой сверхгерманской человечности просим о введении нового способа!.. Представительница вещала четыре часа подряд и вызвала единодушное одобрение своих подруг.

Поднялся приглашенный в качестве эксперта медицинский советник Кирилейзон и начал устрашать дам.

— Предыдущий оратор, — начал он свою

речь, — говорил великолепно, но относительно главного пункта заблуждается. Действительно — если вы все равно знаете, — мы, так сказать, свободно выращиваем вышеупомянутых гигантов из яйца, но как полагаете вы применить этот способ к своему потомству? Дело обстоит совсем не так просто. — Он стал расписывать опасность новой методы в таких ужасающих и отвратительных красках, что целые ряды дам падали, испуганно вскрикивая, в обморок.

— Правильно! Правильно! — раздавалось с трибун жесткое карканье старых теток.

Представительница молодых женщин не считала еще свою игру потерянной. Если пока что, действительно, тут предвиделись затруднения, которые Кирилейзон, несомненно, преувеличивал, то они должны быть устранены. Женщин из простого народа следовало бы использовать для опытов, аки морских свинок, пока все не пойдет гладко.

Она встретила такое сочувствие, что три блюстителя государственной власти, один за другим, должны были подняться на ораторскую трибуну, чтобы выступить против нее.

Носитель великого мамонодержавия начал так:

— Глубокоуважаемые дамы! Без сомнения, было бы гораздо лучше, если бы вы укротили ваше любопытство. Но вы, грешные, не смогли это сделать, и настоящее собрание показывает мне, что вы предаетесь преувеличенным надеждам, невыполнимым ожиданиям. Допустим, что все обстоит именно так, как вы себе это представляете, а не так, как оно есть на самом деле, то есть так, как сравнительно мягко осветил нам вопрос господин эксперт. Предположим, что подобный способ размножения будет вам удобен. Если же он удобен вам, тогда, рассматривая дело с точки зрения отца семейства, он должен быть удобен также и для нас. Для чего же противиться нам? Мы, сударыни, все-таки хотим оставить все как есть и не будем производить подобных опытов, нет! Мы ставим благо государства выше, чем наше собственное! К сожалению, вы знаете нашу тайну, но я прошу вас — надеюсь, что не ошибусь в вашей любви и верности отечеству, — я прошу, встаньте и поклянитесь молчать. Поклянитесь также за тех, кто, к нашему сожалению, отсутствует здесь. И помните: в эту минуту отряд национальной гвардии занял все выходы этого здания для того, чтобы арестовать некоторых батраков и всех тех, кто не принадлежит к числу

сверхгерманцев, и подвернуть их, как это ни тяжело нашему милосердию, безусловно нужному одурению. Ибо весть о наших опытах никоим образом не должна утечь за границу! Этого, однако, нельзя было бы избежать, если бы вы сами захотели подвергнуть себя таким опытам. Поймите меня! Ваши слуги, ваши сиделки, ваши мамки, словом, все-все-все непременно узнали бы о них. Само по себе, это было бы для нас безразлично, так как мы уверены в наших возлюбленных подданных. Но через неведомые грязные каналы проклятых шпионов весть об этих опытах непременно падет на уши нашим врагам за рубежом! Вы, сударыни, знаете: по ту сторону наших черно-бело-красных пограничных столбов царит глубокое варварство. Ослепленные народы погружены в ночь животного существования. Петля позорнейших, так называемых социалистических идей задушила у них настоящую свободу, и они едва ценят священную мощь и бесконечную благость трижды возвышенной наживы. Эти безумные оголтелые скоты погрязли в вонючей лени и, благодаря нашему железному прилежанию, должны многое покупать у нас. Пользуясь дьявольским мирным договором, они выжимают из нас все соки. И они могли бы потребовать от

нас тысячи искусственно выращенных дешевых работников — для того, чтобы лишить нас многих плодов нашего изобретения. Они могли бы также со своей обычной дурацкой недоверчивостью заподозрить нас в том, что, пользуясь нашими выкормками как войском, мы хотим начать с ними войну, и тогда — о, горе! — они же могут запретить нам выделку выкормков! Заботьтесь о том, чтобы нашему общему благу не был нанесен удар. Храните тайну в своей груди, храните также своих будущих младенцев в своем лоне!

Эта длинная речь блюстителя мамонодержавия не вполне удовлетворила собрание. Многие полагали, что изготовление искусственных рабочих в конце концов все равно не останется в секрете. Домашнюю прислугу можно было бы подвергнуть одурению для того, чтобы быть уверенным в ее молчании. Иные особо воинственно настроенные дамы запели даже национальные гимны и храбро не желали ничего слушать о заграничной сволочи. Самые громкие из этих валькирий были как раз те, кто недавно падал в обморок от доклада Кирилейзона.

Тогда появился окруженный шестью миропомазанными отроками со свечами его преосвященство блюститель богодержавия, и его

медоточивый язык на миг унял упрямых.

— Возлюбленные во господе! — изрек он. — Моим помазанным миром ртом говорит наш бог — так поставлено в 1932 году собором, созванным для упорядочения союза между богом и человеком. Поэтому слушайте меня: если бы ваше желание было согласно воле Господа, разве я мог бы тогда выступить против вас? Конечно, нет, возлюбленные мои! Я — источник из глубины Его мудрости, мой раскрытый рот — это лишь стены божественного колодца.

При этих словах несколько строптивых дам бесстыдно рассмеялись, но блюститель богодержавия, сверхгерманец Геценлейхтер, не обратил на них внимания и продолжал на чуть повышенных тонах:

— Если я предостерегаю вас, это значит, что вас предостерегает Господь. Подумайте также и о том, что искусственно выращенные, внешне человекообразные существа не имеют бессмертной души; они только мясо, и они недолговечны, как всякое мясо. Вы сомневаетесь? У полукровок — только половина души; у всех, принадлежащих к народу, — лишь четверть. Все тысячи выкормков возникли искусственным путем от одной женщины из народа. Рассчитайте сами, на

сколько кусочков была разделена четверть души той матки и на сколько кусочков придется ей еще быть разделенной. Этот невыразимо ничтожный остаток души, конечно, вообще не может быть принят в расчет для Вечности. Неужели мы хотим поставить наших детей на одну ступень с бездушными тварями? Всем вам, согласно принятому в 1932 году постановлению божественного откровения, предназначены райские радости сразу, а не по прохождении Чистилища. Нам и нашим детям! Но откуда вы знаете, что Господь признает таких детей, каких вы хотите иметь, законными наследниками царства небесного? Можем ли мы предположить, что душа ребенка получает вне материнского лона полное развитие? Господь должен был бы ответить на этот вопрос путем нового собора духовенства. Но он этого не сделал, ибо иначе мы, его слуги, давным-давно собрались бы уже вместе. Так не обижайте, не оскорбляйте и не гневите господнего высокого и святого всемогущества тяжелым грехом.

Сопя, сошел он с трибуны; тогда из заднего угла зала раздался пронзительный голос какой-то совсем молоденькой женщины:

— Пускай попробует этот толстопузый сам родить ребенка! Не поддавайтесь ему, не будьте

дурами!

— Пускай он болтает все это народу! — крикнул другой голос.

Уважение к духовным особам было весьма низко среди этих дам. Тут не было ничего удивительного, ибо сверхгерманское правительство гарантировало им безо всяких препон доступ в царство небесное — это было весьма легкомысленно, и об этом не раз уже жалели.

— Янушальк, образумьте вы этих баб! — ободряли оба сошедших с трибуны блюстителя власти своего коллегу.

Одним скачком очутился эластичный блюститель великого земледержавия на трибуне и разгладил свои огромные усы.

— Дорогие, очаровательные сударыни. Прекрасные и достойные похвалы слова были сказаны моими товарищами, но вы, кажется, ничего не желаете слушать. Оставим в покое ту и эту сторону границы. Будем держаться только близлежащего. Каковы были бы первые последствия ваших планов? При вожделенной легкости всей процедуры — дюжины детей в каждом доме? Ха-ха! То-то будет хлопот! Каждая мало-мальски здоровая женщина сможет без особых усилий родить сотню детей…

Но его вмиг прервало шипенье, писк, пронзительный крик, целая буря звонкоголосого возмущения. Но возмущение превратилось в жалобы, а ярость — в скорбь. Не было никакой возможности отбросить в область вымысла картину будущего, нарисованную Янушальком. Испуг был велик, и все слушали его с разинутыми ртами.

— Да! Вы удивлены, вы поражены! Вы колеблетесь! Но это еще не самое худшее!

— Ах, если бы я только могла заиметь хоть одного из этих потенциальных деточек! — удрученно вздохнула жена Янушалька. Ее звали Хейльвик; она была высокого роста, что-то около двух метров.

— Допустите вы, умные дамы, — торжествующе продолжал Янушальк, — допустите, что плоды вашего чрева попадут в инкубатор. Там придется им висеть прямыми, как палки, колбасами, один подле другого. Потом их еще нужно будет вертеть и переворачивать — этих поросят! Хорошо! Потом их занумеруют, чтобы не перепутать. Вы ведь не можете стоять подле них все время. Они растут, и время от времени их нужно будет перекладывать с боку на бок. Неужели вы думаете, что на слуг в инкубаторе можно вполне положиться? Да

они по злобе будут делать всякие глупости. Что же случится, если даже соблюдать величайшую осторожность? А случится то, что вы получите обратно чужих детей. Даже и с этим можно было бы примириться, если бы только знать, что все это дети сверхгерманцев…

— Нет! Мы хотим получить обратно *своих собственных* деток!

— Да, мы хотим этого. Но нам, что, не сумеют подсунуть обыкновенного массового выкормка — какого-нибудь низкопробного урода?

Его слова были заглушены стонами. Янушальк сделал широкий жест. Прилив жалоб отхлынул назад, только здесь и там, подобно порывам ветра, проносились по залу обрывки молитв и призывы святого духа.

— Что же будет тогда? Наследственная часть — столп и опора всякой нравственности, всякой справедливости и всякой законности, — будет попрана. О боже мой! Вот, я вижу уже: дрожит, трясется, колеблется, шатается и валится, наконец, в ужасном падении златой венец нашего пречистого сверхгерманского государства! Вы что, *этого* хотите?

Потрясенные дамы слушали молча, сжавшись от страха и не находя слов. Похожий на тысячу

пил, звонкий и скрипучий голос оратора не пожелал при этом сжалиться над ними.

— Вам известен закон: с бесплодной женой можно — и даже *должно* — развестись, если встает вопрос о находящемся в опасности наследии…

Хейльвик, супруга Янушалька, вздрогнула.

— Иметь слишком много детей также нежелательно. Но что же произойдет, если жена получит подложных детей — подмененных уродов? Ужас! Ужас! Ужас и мрак! — Сдавленный голос Янушалька дрогнул. Тяжелые гневные складки на его благородном челе расправились все разом, монокль выпал из глаза, грянул о трибуну и осыпался с нее дождем стеклянных осколков. Тотчас же весь обширный зал превратился в море слез. По нему плавали, кукожась и коробясь от влаги, бесчисленные носовые платки. Стенания, полные раскаяния и абсолютного осознания неправоты, вознеслись под своды подобно пузырям болотного газа. Пожилые, подлинно сверхгерманские дамы ринулись на представительницу молодых женщин и чуть не растерзали ее за то, что она ратовала за искусственное вынашивание плода. Словом, опасность была отвращена, Янушальк одержал безусловную победу. Собрание разошлось под клятвенные обещания держаться

добрых, старых нравов.

— Арчибальд, твоя речь была ужасно хороша! — прошептала мужу удрученная госпожа Хейльвик, садясь с триумфатором в украшенную цветами парадную карету.

— Она была необходима, — сказал Янушальк просто.

— Но скажи, неужели ты развелся бы со мной, если бы у меня опять родился неживой ребенок?

Блюститель великого земледержавия, только что собравшийся забыться заслуженным сном в уголке кареты, вспылил:

— Что за глупые вопросы? Ты должна разродиться нормальным ребенком к Рождеству. На этот раз, насколько меня заверили, все в порядке!

— Конечно, но… мало ли что может случиться.

— Прошу, не говори вздор! Тут *нечему* случаться! — Янушальк прорычал что-то еще, но потом его рычанье перешло в храп. Хейльвик охотно последовала бы его примеру, но заботы мешали ей заснуть. За десять лет их супружеской жизни она уже десять раз побывала в интересном положении — и каждый раз не больше пары месяцев. Причиной этому было одно незначительное половое заражение Арчибальда. Надежды и ныне

рухнули преждевременно, но Хейльвик до сих пор скрывала сей факт от мужа, боясь его порывистого гнева.

— Если и на этот раз ничего не выйдет, я тебя выставлю! — резким тоном пригрозил он ей. Она обещала святому Поликарпу шестьдесят восковых свечей, каждая длиной в метр, если будет введено искусственное вынашивание детей, ибо для нее это могло быть сущим спасением. Но все попытки, тайно поддерживаемые ее немалым влиянием, не удались. Ее собственный муж задушил в зародыше и эту надежду.

Вдруг ей вспомнилась болтовня одной ее подруги. «Цюллингер! На заводе Кноббе. Изобретатель новомодных увеселительных слуг». Может быть, он мог ей помочь? И когда шестерка жеребцов галопом промчала карету через ворота Победы, она решила попытать счастья и предпринять паломничество к этому чудодею.

Глава 6

— Это невозможно, милостивая госпожа. Это не входит в область моих работ. Я даже не имею доступа в инкубаторы. — Отказывая, Цюллингер был в то же время чрезвычайно обрадован ее просьбой.

— Это *должно быть* возможно! — Голос Хейльвик звучал остро, как стрела. Цюллингер поклонился ей до самого пола.

— Убейте меня — не могу. Но даже если бы я и мог, как ваша милость может довериться низменному полукровке вроде меня?

— У вас честное лицо, Цюллингер. И моя мера — крайняя. Пускай, если уже нельзя мне, другая рожает вместо меня. Подберите кого-нибудь похожего…

Цюллингер украдкой наблюдал за Хейльвик. Прошло несколько мгновений; он окинул ее испытующим взглядом с головы до пят.

— Вы особа царственного роста. В стране нет другой женщины такой величественной красоты.

— Что за вздор вы городите? Какое отношение имеет это к ребенку? Я хочу ребенка, ребенка от

меня и Арчибальда. Он должен родиться к Рождеству. Все остальное — ваше дело.

Цюллингер притворился, будто обуян страхом и печалью. Его план был уже готов, но он не хотел открывать всех карт жене блюстителя великого земледержавия.

— Уважаемая госпожа, вы должны предаться супружеской любви и через несколько дней снова прийти ко мне. Опасности нет никакой. Это не будет больно, иначе нельзя никак.

Хейльвик несколько раз возмущенно прерывала его. Она приводила всевозможные возражения, план, предложенный Цюдллингером, казался ей чересчур рисковым. Ученый хотел сыграть роль повивальной бабки — позаботиться о женщине необходимого роста, у которой к тому времени должен был родиться ребенок, и заменить отпрыска этой женщины срочно выношенным искусственным дитем Хейльвик и Арчибальда, а затем, как дело будет сделано, исчезнуть вместе со своей пособницей. Будучи мизантропом, Цюллингер с весьма большой охотой устранил бы мнимую роженицу.

— Но все это слишком сложно, — не переставал вздыхать он. — Ничего не выйдет, того и гляди. Вы правы. — Слыша это, Хейльвик сердилась. Она

ждала большего от его искусства, но одно знала точно: ее муж будет настаивать на присутствии врача, нужно позаботиться о том, чтобы роды состоялись непременно. Необходимость иметь ребенка заставляла ее до сих пор не обращать внимания на побочные обстоятельства. Она унизилась до слез, не находя, впрочем, лучшей возможности выполнить задуманный план. В конце концов она заявила, что согласна на все, и, наполовину утешась, ушла из цюллингеровой мастерской, в душе уже готовясь к исполнению задуманного плана. Ученый состроил ей вслед ужасную рожу, после чего кликнул Геру, плодовитую служанку.

— Гера, есть ли у тебя желание сыграть хорошую шутку?

— Всегда, — ответила служанка, сделавшаяся благодаря противоядию, которое давал ей хозяин, удивительно хитрой.

— Хочешь доставить ребенку, которого носишь в своем чреве, одно из почетнейших мест в сверхгерманской государственной верхушке?

Он думал, что Гера будет польщена, но Гера с горечью закричала, что не желает делать своего ребенка таким негодяем. Пришлось пригрозить ей одуряющим шприцом.

— Я все сделаю! Я все сделаю! — простонала она и покорно проглотила ускоряющий фермент. С его помощью нормальный срок беременности сокращался до пары месяцев.

— Я это знал, знал! — ликовал Цюллингер. — Я предназначен для великих деяний. Теперь я сделаю сухому стволу здоровенную прививку! Есть от чего прийти в восхищение. Хи-хи! Герин отпрыск удастся не хуже других, а первые два десятка моего выводка похожи друг на друга, как близнецы. Так сказать, не двойня, а двадцатня. Ведь Герин-то ребенок тоже плод преступной связи. То-то будет хорошенькое семейное сходство. Я рад, рад на закате своих дней… Но клянусь бородавками Янушалька, как мне скорее превратиться в повивальную бабку? О! Я симулирую болезнь и оденусь в платье Стефании. «Ибо лишь мужество делает из Маленького Мука большого человека!»…

С этих пор Цюллингер ходил бодрый, и на это обратил внимание шпионящий за ним врач Кирилейзон.

— Цюллингер, вы делаетесь все веселее. Ваша веселость подозрительна. Сознайтесь!

«Экий верблюд!» — подумал Цюллингер и ответил с благочестивым видом:

— Милостивый государь, я ясно чую приближение моего последнего часа. Поэтому я и радуюсь, ибо пресытился жизнью.

— Негодяй! Сдохнуть и потом ничего больше не делать — вот, значит, что удумали. А ну покажите язык. Да от вас водкой пахнет! Я так и думал. — И он дал Цюллингеру грубый пинок ногой. Цюллингер упал и с визгом пополз от него прочь на четвереньках. Случайно эту выходку заметил из окна Кноббе и, перегнувшись через подоконник, крикнул:

— Уважаемый друг, сегодня я должен обратить ваше внимание на то, что этой свинье нужно дать еще немного пожить! Мы покамест нуждаемся в ней!

— Этот удар — настоящий подарок неба, — вздохнул, забыв про свою боль, Цюллингер.

Действительно, ему удалось получить ордер на двухнедельное лечение в больнице. В больницу, однако, он не пошел, а отправился к повивальной бабке, с которой познакомился через своих двоюродных сестриц, и начал брать у нее уроки. Это все было в сентябре; ну а в октябре он прямо-таки сбился с ног, наверстывая все, что было упущено за предыдущие две недели. Производство выкормков шло самым ускоренным

темпом; был издан приказ изготовить к концу года десять тысяч голов. Цюллингер облучал их рентгеном и одурял с утра до вечера. Кроме того, Изольда прожужжала ему все уши новыми заказами. А по ночам к нему ходили гонцы от жены Янушалька — или сама она приезжала в автомобиле, — чтобы задать ему «несколько совершенно незначительных вопросов». Ко всему этому прибавился еще и заводчик Кноббе, заставивший Цюллингера прочесть ему обстоятельный курс теории и практического применения одуряющих жидкостей для каких-то своих целей, о которых ученый ничего не знал. Кноббе желал получить такую жидкость в свое распоряжение, какая действовала бы медленно и не обладала хоть сколько-нибудь выраженным запахом.

«Надеюсь, эта братия отравит друг друга», — думал Цюллингер, стараясь изо всех сил. За себя он почти совсем не боялся, так как его противоядие было испробовано и оказалось во всех отношениях удачным.

Кноббе был недоволен. Он злился, что в свое время так дешево продал патент на выделку выкормков. Уже началась конкуренция, и его создания упали в цене. Кроме того, недавно его постигла крупная неприятность: вследствие

небрежности ассистента погиб большой выводок в две сотни почти выросших зародышей.

Цель, поставленная им — сделаться самым богатым человеком в Сверхгермании, — как будто отодвинулась от него еще дальше. Кноббе был честолюбив, как все заводчики, и хотел сделаться блюстителем великого мамонодержавия, ибо должность эта была тесно связана с поистине астрономическими доходами. Куда иначе обстояло дело с блюстителями великих богодержавия и земледержавия: из них первый избирался пожизненно кардиналом, а второй и вовсе был должностью, переходившей из рода в род.

Кноббе был вторым богачом страны, но очень хотел сделаться первым. Сверхгерманец Краппе все время обгонял его на целую голову. Краппе принадлежали самые большие заводы, от него зависели цены на азотные соединения, и у него хватало наглости, чтобы вздувать эти цены, тогда как питомцы, выделкой которых, как было уже сказано, занялся Кноббе, потребляли невероятное количество азота и, несмотря на то, дешевели с каждым днем. Краппе был большая умница, поэтому необходимо было немного защемить ему голову. Одновременно нужно было подвергнуть этой операции и Цюллингера — Кноббе не терпел

сообщников.

Цюллингер утверждал, что опыты над необходимыми для выкормков питательными дрожжами еще не были закончены, и еженедельно посылал на все принимающие участие в выделке выкормков предприятия огромные бутыли с соком, который следовало прибавлять к корму. Если бы все остальные химики не были так тупы, они давно заметили бы, что этот сок был не что иное, как самая обыкновенная сахарная водица. Но они умели работать только по предписаниям.

Цюллингера нужно было заставить зафиксировать соединение жидкостей в форме рецепта. Кноббе думал, что очень тонко подошел к делу, рисуя для Цюллингера прелестную картину беззаботной, спокойной старости.

— Вы становитесь все дряхлее и дряхлее, Цюллингер, — говорил Кноббе. — Я намерен оказать вам совершенно особенную, хотя и незаслуженную почесть. Вы знаете, что к новому году должны быть готовы десять тысяч выкормков. Я хотел на юбилейном торжестве в честь десятитысячного выкормка сказать пару благодарственных слов о вашей деятельности при условии, что вы предварительно подадите в отставку. Вы, конечно, понимаете, что я не могу вас хвалить до тех пор,

пока вы находитесь на службе — это было бы против наших основных законов, весьма суровых к полукровкам. Поэтому приготовьте ваши рецепты. Вы получите от меня домик с садом, где доживете до Мафусаилового возраста, с обеими кузинами, если только не полетите раньше этого к черту. Неужели это вас не прельщает?

Цюллингер отвечал на эту необыкновенную общительность Кноббе бесчисленными знаками благодарности. Он громко заверил, что его работы будут закончены к концу года. Одновременно у обоих была одна и та же мысль: *«То-то ты у меня попляшешь!»*

— Следовательно, еще восемь недель, — воскликнул, уходя, Кноббе и состроил гримасу удовлетворения.

— Так точно, ваша милость, еще восемь недель, — прошептал Цюллингер и принял многозначительный вид.

Двадцатого декабря у Геры начались родильные схватки. Цюллингер все уже наладил; он поглядел, ухмыляясь на свои чертежи и на бутылки с прибавкой к корму питомцев, сунул в рот вставную челюсть с полыми зубами, заполненными противоядием против одуряющих веществ, и отправился к Кноббе.

— Почтительнейше осмелюсь доложить, что приказания все выполнены! Покорнейше прошу милостивого разрешения совершить поездку по всем питомникам, дабы сделать последние указания.

— Вы, вонючий козел! Неужели, вы не можете сделать этого письменно?

— Некоторые приемы, ваша милость, требуют личного контроля…

— Этакая неловкость! Впрочем, все равно. Вы получите автомобиль и охрану, чтобы с вами не приключилось в дороге какого-нибудь несчастья.

Цюллингер уехал; по дороге он одурманил обоих заснувших охранников и шофера, уколов его в спину шприцом, наполненным сильным ядом; повернул обратно, посадил Геру вместе со всем необходимым в машину и благополучно прибыл в дом Янушалька, стоящий посередине огромного личного надела земли. Там нетерпеливо ждала его Хейльвик. Эта осторожная дама тоже не сидела без дела: она приготовила две смежных комнаты, причем абсолютно идентично обставленных, и поспешила пригласить дряхлого полуслепого старшего медицинского советника, который должен был присутствовать при родах.

Гера разрешилась ребенком. Цюллингер разыграл роль повивальной бабки, старший советник медицины преподал несколько добрых советов и поскорей побежал поздравлять Янушалька. Хейльвик между тем легла в другой комнате, симулируя роды. Предварительно Цюллингер повязал ей большой ватный узел, в котором тихо мяукала молодая кошка. Он торжественно заверил, что ее он успешно подменит ребенком привезенной женщины.

И в целом все прошло как по маслу. Слепой советник не заметил подвоха.

В комнату влетел радостно взволнованный Янушальк.

— Гром и молния! Здоровый мальчишка! Добрый день, плод от чресл моих! Доброе утро, ты, следующий за мной блюститель великого земледержавия. Слава и победа!

— Гигантский ребенок! — сказал Цюллингер, ловко подделываясь под старушечий голос повивальной бабки.

— Заткните глотку!

Янушальк внимательно оглядел чудо-ребенка.

— Странно! Почему он не белокурый и голубоглазый, как я и ты, Хейльвик?

— Это еще будет, — уверял его Цюллингер. —

Так всегда бывает с маленькими детьми!

Но Хейльвик испугалась.

— Что же! Будем звать гостей на крестины! — сказал Янушальк.

Во все стороны полетели телеграммы, начали съезжаться автомобили, парадный зал замка наполнился самыми знатными сверхгерманцами. Троица носителей государственной власти заняла места на тупых углах огромного треугольного стола; от острия каждого из углов тянулись почетные места для духовных, денежных и военных сановников государства. Кноббе сидел по правую руку около Краппе, как и полагалось ему по чину.

Летели приветственные возгласы, звонко цокали бокалы, пятьдесят труб выплевывали триумфальные марши, хор девушек пел хвалебные песни. Время от времени раскрывались позолоченные ресницы вделанного в потолок треугольного глаза, радужный луч падал на сановных гостей, и звучный низкий голос возглашал:

— Родина, ты святое триединство!

И каждый раз в такт ему раздавались с трех углов стола возгласы:

— Бог! Деньги! Крупная земельная собствен-

ность!

Голос свыше продолжал:

— Сверхгермания — во веки веков!

Духовные, денежные и землевладельческие сановники заканчивали священный канон:

— Вера в Бога! Выгодная сделка! Сила и пыл!

Затем снова начинало шипеть вино, катясь по гортаням.

— Да здравствует благой отпрыск нашего возлюбленного Янушалька! — в десятый раз провозгласил Краппе. Счастливый отец кивнул, один из лакеев стремительно выбежал из зала, и в дверях появился Цюллингер с ребенком. Он кряхтел под тяжестью своей ноши, но сердце его радостно билось от ненависти и ликования. Торжественные крики, от которых сотрясались стены, позволяли ему высказать вслух свое мнение:

— Вы, перепившиеся ослы! Вот перед вами стоит маленький Цюллингер — лев, который проглотит вас всех!

«Эта повивальная бабка кого-то мне напоминает!» — подумал Кноббе, оставшийся вопреки обыкновению трезвым. Ребенок пронзительно кричал; Янушальк снова кивнул, и готические обитые серебром и украшенные черным деревом двери закрылись.

Призрачные драконы беспробудного опьянения поднялись из винных паров, точили свои клювы о края драгоценных сосудов, хлопали серыми крыльями по красным лицам гостей и длинными когтями вырывали мозг из жирных затылков. Зал закрутился, мужчины осели, как пустые мешки, тяжелые стулья закачались, как лодки.

Глава управления народонаселением Фогельман попытался было произнести речь, но его слова утонули в гуле распутного разгула.

Голова Краппе вдруг жестко ударилась о стол. Кноббе давно уж ждал этой минуты. С коварным видом он достал из жилетного кармана шприц, полный медленно действующего одуряющего яда. Делая вид, что хочет помочь оправить осанку блюстителю мамонодержавия, он воткнул острие вредоносного инструмента ему в мякоть. Медленный нажим… Краппе вздрогнул и пробормотал со сладким видом:

— Ну вот и все, сокровище мое! Будто комарик укусил!

Совершив злодеяние, Кноббе отдернул руку и украдкой оглянулся.

Никто не следил за ним. Или нет!.. За драпировкой исчез кто-то.

— Мне показалось, будто это была отвратительная харя моего советника Цюллингера! — В возбужденном мозгу Кноббе эта мысль вспыхнула, как молния, и померкла.

Празднества длились три дня, до самого сочельника. Затем был назначен день крестин ребенка. Они должны были протекать при участии всего цвета сверхгерманских женщин и продолжаться целую неделю. Так оно и прошло. После этого высшее общество разъехалось в разные стороны.

Цюллингер воспользовался суматохой отъезда для того, чтобы убраться вместе с Герой восвояси. Хейльвик теперь была полна других забот, так что Цюллингер питал обманчивую надежду вовремя закончить объезд инкубаторов.

Глава 7

Между тем как Кноббе сеял своим шприцем семена, из которых должна была вырасти для него должность блюстителя великого мамонодержавия, Кирилейзон добивался руки дочери Кноббе Изольды, но рука эта наставляла ему один нос за другим. Ее упорство распаляло в нем желание, и так как, несмотря на все свое искусство, он не мог очаровать Изольду, он решил спрятаться за ее благосклонную к нему маменьку.

— Я рада увидеть в вас своего зятя, — заверяла она, — но Изольда не желает! Поставьте мою дочь перед свершившимся фактом. В Рождество вы обручитесь.

— Свершившийся факт — дело хорошее, — сказал себе Кирилейзон. — Но как подловить мою зайку? — Изольда ловко захлопывала двери перед его носом, и Кирилейзон становился все пламеннее. «Если ничего не выходит с дверями, — с отчаянием думал он, — то остается еще исстари излюбленное окно». Правда, в декабре окна вряд ли оставались открытыми, но этого, собственно, и не требовалось. Нравственность сверхгерманцев была так велика, что достаточно

было увидеть кого-нибудь в недвусмысленном положении под окном у девицы. Если Изольда и тогда не захочет сдаться, ее репутация в обществе будет сильно подмочена.

В сочельник Кирилейзон пригласил к вилле Кноббе нескольких старых дам в качестве свидетельниц. Сам он явился в сумерки со стремянкой и в недвусмысленных подштанниках (опасаясь холодного ветра, он надел их три пары — одну поверх другой). Прислонив лесенку к слабо освещенному окну Изольдиной спальни, он бесшумно полез по ступеням, держа в руках роскошный букет орхидей.

Старые дамы, собравшиеся вовремя, поджидали в некотором отдалении. Им удалось полюбоваться заманчивым зрелищем, увы, лишь очень короткое время, так как Кирилейзон испустил отвратительный крик и полетел с лестницы в частую буковую заросль. Он увидел через окно нечто такое, на что с удовольствием поглядел бы в другом месте, но чего ни под каким видом не желал видеть здесь.

Изумленные старушки сбежались, как куры на корм, к месту происшествия, чтобы освободить Кирилейзона из неудобного положения и получить более подробные сведения. Но ах! От

падения Кирилейзон словно сошел с ума. Он дико размахивал руками и совсем позабыл все необходимые правила приличия.

— Цюллингер! Собака! Свинья! Сводник! Горе! Горе!

И Кирилейзон убежал. После него остались только лестница, букет из орхидей и цилиндр, который он счел нужным надеть. Вокруг этих реликвий стояли приглашенные в качестве свидетельниц старые дамы, почти лишенные дара речи. Наверху в комнате потушили свет, и окна были озарены мягким сиянием лунного света. Через двор в сторону мастерской Цюллингера длинными скачками, почти галопом бежал Кирилейзон. Он был уже практически у цели, как вдруг понял всю тщету своей спешки.

— Проклятие! Эта ящерица уехала! Но зато эти бабы, его двоюродные сестры, должны быть дома!

Фекла и Стефания, не предчувствуя ничего дурного, занимались украшением елочки. Вдруг явился Кирилейзон в сопровождении двух вооруженных до зубов стражников и отвел их в тюрьму. Несчастный любовник продолжал неистовствовать и забыл о беспорядке, в котором находился его наряд.

— В чем дело? Что случилось? — спросил Кноббе, шедший с празднеств у Янушалька.

Кирилейзон помог ему вылезти из кареты.

— Господин Кноббе, спасайте свою отцовскую честь! — прошептал он трагически.

— Это вы к чему клоните? — нехотя отвлекаясь от грез о будущем, уточнил Кноббе. — И как вам не холодно в этих подштанниках? Простудитесь ведь!

— Завтра я должен быть обручен с Изольдой.

— Постыдитесь, господин советник! Что вы там наглупили?

Кирилейзон, существенно смягчая факты, рассказал о своем приключении.

— Утверждаю, что Цюллингеровых слуг менее всего можно назвать целомудренными!

— Клянусь поднятием акций! — жаловался Кноббе. — Удивительное дело. Кирилейзон, обнимите меня, как полагается зятю. Мы положим конец ремеслу этого парнишки. У меня тоже есть кое-какой счетец к этому Цюллингеру. Нет, прямо-таки удивительно! Впрочем, оставьте меня, у меня дико болит голова с похмелья. Наладьте же, что нужно. Позвоните в питомники, чтобы там задержали этого мерзавца. Поставьте охрану вокруг завода… Меня от ярости сейчас удар хватит!

Через полчаса Цюллингер и Гера были привезены под стражей. Тайный советничек напрасно старался опередить Кноббе — ему хотелось доставить Геру домой и самому затем срочно продолжить поездку. Как раз в это время преследователи захватили его и вместе со служанкой отвели к Кирилейзону. Тот приказал дать пленнику двадцать пять ударов палкой, после чего собственноручно отвел его в темный чулан.

— А что делать с этой пеликаншей? — спросили стражи. Гера состроила неподражаемо глупую рожу. В сущности, не было ничего удивительного в том, что ее захватили вместе с Цюллингером. Гера находилась у него в услужении. Но что делал с ней Цюллингер ночью? Почему не выполнил он поручения? Очевидно, здесь скрывалась какая-то особенная тайна. «Нужно скорее расспросить этого преступника, чтобы у него не было времени для *лжи*», — подумал Кирилейзон, сильно, впрочем, уставший от всех передряг сегодняшнего вечера. Он запер также Геру и возвратился к Цюллингеру.

— Откуда вы явились? — спросил он. От полученных побоев Цюллингер находился в полубессознательном состоянии, но Кирилейзон изысканными пытками привел ученого в чув-

ство. — Я спрашиваю, откуда вы явились и куда ехали? Откройте свою глотку!

Цюллингер сразу осознал свое плачевное положение и потому не дал себя провести.

— Всеподданнейше прошу вашу милость простить мне причиненное мною ей ночное беспокойство. Вашей милости известно: я по поручению моего высшего хозяина, заводчика сверхгерманца Кноббе, должен был предпринять деловую поездку. По привычке я захватил с собой Геру. Вспомните, ваша милость, о пятнадцатом числе мая! Я ни о чем не тревожился, но в дороге, вследствие тряски, случилось то, чего я ожидал только в феврале. Горе мне, несчастному! — И он захныкал так жалобно, что Кирилейзон сжалился бы над ним, если бы только не был сверхгерманцем.

— К чему это жалостливое блеяние! Что это вы мне заливаете!

Цюллингер прерывающимся голосом, но довольно подробно начал рассказывать, что Гера в дороге совершенно неожиданно сделалась матерью, но при этом взбесилась и частью разорвала, частью сожрала своего преждевременного, но вполне созревшего младенца, как это делают иной раз хомяки со своими детенышами.

— Я страшился гнева вашей милости, так как отлично сознавал свою вину. Я страшился также справедливого гнева моего светлейшего господина сверхгерманца Кноббе, так как прервал свое путешествие прежде, чем начал его. Гера разделяет со мной мою вину, о, горе! Она выбросила обоих приставленных ко мне стражей из автомобиля, убила в своем безумии шофера и, таким образом, положила конец моему дальнейшему путешествию. Успокоилась только сегодня — вот я и торопился отвезти ее обратно домой! — Ему казалось, что он отлично продумал легенду. Каков же был его ужас, когда он услышал такие слова Кирилейзона:

— Посмотрим, так ли все это было. Если ваши слова — правда, вряд ли вы очутились бы здесь. Поэтому сидите и ждите, что принесет вам рождественский дед!

На следующее утро Кирилейзон обручился с Изольдой. Он добился своей цели как раз к Рождеству. Впрочем, настроение его было не совсем праздничное. Изольда была нежна и безмятежна — приключение Кирилейзона под ее окном не ускользнуло от ее внимания. Она справедливо предполагала, что Кирилейзон увидал слишком многое, и поэтому стыдливо дала согласие.

— Теперь следует испросить божьего благословения, — благочестиво сказала госпожа Кноббе, и согласно строгому обычаю все семейство отправилось в прилегающую к заводу церковь, переполненную коленопреклоненными рабочими. Процедура заняла не слишком много времени, ибо духовник был приглашен отцом невесты к обеду. Тем не менее Изольде стало невтерпеж сидеть молча. Она подняла добродетельно опущенные до сих пор глаза, обвела ими всю церковь, и взгляд ее через красиво разукрашенное окно упал во двор. Тогда она горько заплакала, и все присутствующие в церкви, глубоко растроганные, смотрели на нее.

Во дворе по направлению к рентгеновскому кабинету двигалась небольшая процессия. Изольда увидела Цюллингера, закованного в цепи и шедшего меж двух стражей, а позади Цюллингера — своего милого батрака Гектора, которого отнимали у нее навсегда. Это было слишком ужасно, и глаза ее потускнели от слез.

В полдень началось заседание суда. Кноббе, зевая, столкнулся с Кирилейзоном у врат темницы, где содержали Геру.

— Мы изучили состояние здоровья Геры, — сказал врач. — Она и впрямь недавно родила. Может

быть, этот тип и в самом деле сказал правду.

Кноббе хмыкнул. Внезапно в его мозгу возникло короткое, тусклое воспоминание о занавеске и о чьей-то голове за ней.

— Досадно! Жалко ребенка! Впрочем, мы узнаем, как было на самом деле.

— Нет! Нет! — прервал Кноббе своего зятя. — Пожалуйста, разрешите мне произвести дознание по этому поводу. В конце концов, не это важно. Цюллингер все равно не уйдет от нас. Во-первых, небрежное отношение к служебным обязанностям… нецелесообразное использование батрака… этого вполне достаточно! Кроме того, я наверняка знаю — парень в течение многих лет выпивает. В итоге: растрата, хищение государственного имущества и святотатство…

— Я давно уже удивляюсь вашей снисходительности, — упрекнул его Кирилейзон.

— Может быть! Однако до сих пор мы не могли без него обойтись. Теперь он созрел! Пожалуйста, будьте с ним ласковы во время допроса. Он не должен подозревать, что ему грозит серьезная опасность.

— Вы слишком добры, дорогой тесть. Вы балуете своих людей пряниками в то время, как уместнее было бы пользоваться кнутом.

— Пряник — это своего рода мухоловка, мой милый. Вы этого не понимаете, так как вы не делец.

Цюллингер услышал скрип ключа в замке и принял подобострастный вид. Он знал, что ему не удастся избегнуть одурения. Смертная казнь, к которой присуждали народ, не касалась его, как полукровки; от этого его защищало то обстоятельство, что сверхгерманцы прямо-таки до педантизма любили законность. Правда, он мог умереть от применявшихся при допросе пыток, но с пытками могли еще подождать. Пока что он не боялся. Он думал о своих зубах, наполненных противоядием, поэтому стойко выдержал мрачный и грозный взор Кирилейзона. Преувеличенная вежливость Кноббе казалась ему куда более злобной.

Кноббе поглаживал свой подбородок.

— Цюллингер, из благодарственной речи, которую я планировал произнести на Новый год по поводу вашей отставки, разумеется, ничего не выйдет. Клянусь миром, Богом и всеми святыми, я не знаю, как затушевать все ваши глупости.

— Паршивый, кривоносый козел! А что это вы проделали со слугой Гектором? — кричал Кирилейзон, перебивая спокойную речь тестя. Он не в силах был дольше сдерживать себя.

Цюллингер умоляюще протянул к ним руки, убеждая в своей невинности. Вероятнее всего, что тут виной колебание тока, за которое он отвечать не может. С его стороны не было никаких упущений.

— Дорогой зять, а спросите-ка Изольду, что она скажет по этому поводу, — посоветовал Кноббе, желавший остаться наедине с Цюллингером. Кирилейзон неохотно повиновался. Дабы излить свою злобу, он мимоходом дал Цюллингеру несколько пощечин.

Кноббе подождал, пока затихли шаги доктора. Потом он спросил, насторожившись:

— Цюллингер, что вы делали у блюстителя великого земледержавия?

«Все пропало», — подумал Цюллингер, но терять ему уже было нечего и он спокойно ответил:

— Не понимаю, что вы хотите сказать, ваша милость.

— Я спрашиваю, что вы делали у сверхгерманца Янушалька?

Кноббе смотрел на него неподвижным взглядом удава, и Цюллингер радовался теперь пощечинам Кирилейзона. Отпечаток их скрывал краску волнения на его лице.

— Где ребенок Геры?

«Он спрашивает, чтобы что-нибудь узнать, не зная ничего определенного», — подумал Цюллингер. Но ученый был так зол на этого сверхгерманского негодяя, что больше не был в состоянии притворяться. И он ответил с некоторым злорадством:

— Ребенок Геры там же, где и ваша милость соизволила воткнуть носителю великого мамонодержавия одуряющий шприц в седалище — он получил царские почести от высших представителей страны.

— Ага! Я это подозревал. Великолепно, удивительно! Вы ужасно ловкий старикашка, Цюллингер. Недурной выходит скандал. Великолепно, великолепно!

Веселость Кноббе удивила Цюллингера. В течение тридцати лет ученому достаточно случаев выпало, чтобы изучить характер этих сверхгерманцев. Он знал, что против врагов из-за границы или подвластных народов они, правда, держались сплоченно, точно спаянные смолой. Он знал также, что меж собой они были недоброжелательны и завистливы.

Благодушное настроение заводчика наконец вывело Цюллингера из себя и, прожив целую

человеческую жизнь в собачьей подчиненности, он вдруг впал в ярость. Теперь он доставил себе удовольствие излить эту ярость на собеседника, так тонко отравляющего его кровь своими любезностями.

— Благородный палач! Самое грязное из божьих творений, бессовестное животное!

— Ну-ну, пожалуйста, продолжайте, — сказал Кноббе благодушно.

— Вам известно, что ваша дочь, эта грязная развратница, развлекалась самым скотским образом с одним из выкормков? Вам известно, что я застал вашу милость, когда вы делали одуряющую прививку носителю великого мамонодержавия? Вам известно, что я подменой ребенка поставил в смешное положение Янушалька, и с ним — всю сверхгерманскую мразь… И после всего вышеизложенного вы тут стоите и скалите зубы?

Кноббе успокоительно похлопал Цюллингера по плечу.

— А почему бы и нет? Подмена ребенка меня смешит. Пусть наслаждается эта обезьяна Янушальк. А все то, что вы мне сообщили с такой страстью, оставим лучше погребенным. Цюллингер, ну не скрипите вы так зубами! Вы разволновались, и я уж вижу, что ради вашего

здоровья мне придется вас тут подержать. Я дам распоряжение двум испытанным на службе государства агентам, чтобы вы не утомляли свой драгоценный голос — скоро к вам явятся на обучение новые химики. Ничего плохого вас пока не ждет. Вы мне еще нужны!

С этими словами Кноббе покинул тюрьму, глубоко погруженный в свои мысли. А вот Цюллингер, так же глубоко погруженный в себя, остался в одиночестве.

«Это может бедняге Янушальку стоить его положения. Надо только направить всю эту историю в правильное русло. В самом деле, зачем блюститель великого земледержавия вообще нужен? Достаточно и двух блюстителей. Только бы мне чувствовать твердую почву под ногами!» — так думал Кноббе. А Цюллингер спрашивал себя, не наделал ли он глупостей своей руганью. Но удовольствие почувствовать себя хоть раз в жизни человеком оказалось сильнее всех других соображений. «Пустяки! — говорил он себе. — Крикуна всегда считают безопасным человеком. Но подождите, подождите только, собачье племя! Подавитесь вы, акулы, маленьким Цюллингером».

Прошло немного времени, и к нему явилось

двое господ, одетых как джентльмены и обращавшихся с Цюллингером с утонченной вежливостью. Это были сыщики.

— Вы свободны, господин тайный советничек! — сказал один из них нежно.

— Арнольд! Арнольд! — Двоюродные сестры Фекла и Стефания были одновременно выпущены на свободу и порывисто бросились навстречу брату. — Арнольд, что же все это значит? Какой ты, однако, грязный! Скажи, теперь опять все будет хорошо? Ах, если бы Иде пришлось пережить все это! Она умерла бы со страху! — Так они и журчали, как ручейки… — А, вот и Гера. Арнольд, не знаешь ли ты, куда девалось мое серое рабочее платье? — Они суетились и приседали, смеялись и плакали, стряхивали пыль с его одежды и рассказывали про чудные черно-красно-белые пряники, полученные от щедрот Кноббе.

Цюллингер закончил обучение наскоро приглашенных химиков. Он посвятил их в последние тонкости одурения.

— Теперь вам все это понятно, — сказал он под конец трехдневных занятий, — но я должен вас еще познакомить с очень важным питательным составом. Вот тут стоят бутылки, тут записаны мои наставления. Начинайте спустя две неде-

ли после одурения с одной столовой ложки и особо не удивляйтесь, если заметите сначала какие-нибудь странности. Держитесь строгого предписания, берегитесь новшеств и никогда не забывайте об участи моего коллеги Доттервейха! Она, наверное, завтра постигнет и меня. — Ученый не скупился на советы и поучения, и химики не могли не заметить, что он уже простился с жизнью.

Потом Цюллингер отправился все еще в сопровождении обоих сыщиков к себе домой. Он с удовольствием посвятил бы в кое-какие дела своих двоюродных сестер и служанку Геру, но сыщики следили за каждым его словом. «Не может быть, чтобы я не сумел обойти этих почтенных господ», — соображал он. Оставалась еще ночь под Новый год. В этот вечер сыщики скучали и с удовольствием бы напились.

— Мы свяжем старику ноги и побалуемся пуншиком, — сказал один.

— Прекрасная мысль, но кто принесет нам пунш?

— Одна из старух.

— Я не доверяю обеим ведьмам.

— Может быть, нам услужит выкормок Цюллингера — его тупоумная служанка.

Они позвонили в колокольчик. В дверях показалось испуганное лицо Феклы.

— Пусть придет большая женщина-выкормок!

— Цюллингер, понимает эта хорошенькая барышня по-немецки?

— Знает она дорогу на кухню Кноббе?

— К вашим услугам! — прокряхтел Цюллингер, которого в это время крепко связали.

Пришла Гера и принесла несколько бутылок из кухни Кноббе. Лицо у нее было самое глупое, но исподтишка она следила за своим господином, с которым так грубо обращались. Сыщики, считавшие ее совершенно безопасной, позволяли себе с ней непристойные шутки. Гера отвечала глупым смехом, издавала звуки, похожие на блеяние овцы, и, наконец, прянула к Цюллингеру, точно ища у него защиты.

— Куда ты! — зарычали на нее сыщики. Но и этого мгновения было достаточно, чтобы Цюллингер и Гера могли сговориться. Она покорно вернулась к столу и с невинным видом подсела к сыщикам.

— Слушай, ты! Не кривляйся!

— Жирный кусочек!..

Вдруг Гера с отвратительным смешком идиотки так сжала в своих могучих объятиях обоих

сыщиков, что они чуть не испустили дух. Лица у обоих посинели, и тела беспомощно затрепыхались, точно огромные полые чучела на ветру.

— Хватит! Не задави их до смерти, — шепнул Цюллингер. — Слушай хорошенько: завтра меня будут одурять. Дави молодцов, они в обмороке? У меня есть с собой средство против одурения. Ты знаешь, где находятся бутылки в случае, если моего запаса не хватит. Сделай вид, будто ты дура набитая! Моим двоюродным сестрам ничего не говори, но старайся все время оставаться около меня. Вот и все, теперь отпусти их.

Гера раскрыла объятия, и сыщики скоро пришли в себя.

— Что это было? Вон отсюда, падаль. Это животное опасно!

Они выпроводили Геру, все еще не в силах отдышаться, заперли дверь покрепче, связали Цюллингера и перепились вдрызг.

В день Нового года в питомниках Кноббе царило большое волнение. На четыре часа пополудни было назначено одурение десятитысячного по счету выкормка, но до тех пор, чтобы пополнить это число, надо было приготовить еще несколько сот питомцев. На лбах химиков выступал пот не только от усиленной работы, но также и от

страха.

Явился так называемый малый левый суд, выносивший скорый приговор виновным в чем-либо полукровкам. Это не сулило ничего хорошего. Цюллингер успокаивал:

— Не бойтесь, господа коллеги, это касается одного только меня.

Но никто не знал наверняка, ограничится ли дело одним Цюллингером.

Уйма сверхгерманских сановников шастала по рабочим помещениям и увеличивала беспорядок постоянными требованиями особого почтения. Один только ученый оставался спокойным и рассудительным. Ему даже удалось уберечь от участи быть подвергнутым действиям лучей с полсотни особенно великолепных выкормков и поставить им штемпеля как успешно одуренным.

В три часа Кноббе попросил судей собраться. Его зять Кирилейзон был свидетелем.

— Речь идет о полукровке Цюллингере, моем помощнике, — так начал свое обвинение Кноббе. — За ним имеется ряд заслуг, и я дал ему слишком много воли. Само собой, он сразу стал страдать манией величия. Кроме того, свинья пьянствует и в пьяном виде рассказывает такие

страшные разбойничьи истории, что волосы встают дыбом. Тот еще нахал…

Кирилейзон подтвердил всю эту речь клятвой, и судьи приговорили Цюллингера за такую печальную испорченность к одурению, к лишению прав, дарованных полукровкам, и отбыванию принудительных работ по третьему разряду.

— Мне его очень жаль, — сказал Кноббе с притворной грустью, — ему предстояла честь одурить перед взорами наших гостей десятитысячного выкормка.

— Но он еще может это сделать. А потом он должен одурить себя самого, как десять тысяч первого, — вынес изворотливое решение суд.

Кноббе взглянул на часы.

— Уже пора, господа! Надеюсь, что вам самим тоже будет забавно посмотреть на это зрелище! Прошу вас в эту дверь…

На замысловато сооруженных подмостках была прикована дюжина выкормков в ожидании одурения. Тут же в креслах восседали приглашенные сановники. Это были, за немногими исключениями, те самые господа, что сидели восемь дней назад за треугольным столом Янушалька. Блюститель великого мамонодержавия сверхгерманец Краппе прислал извинение: его

удерживала дома мучительная и упорная головная боль.

Близ каждого из прикованных выкормков стоял химик в ослепительно-белом рабочем халате. Возле последнего, с ног до головы позолоченного выкормка, над чьей головой сияла цифра 10 000, поставили Цюллингера. На шее Цюллингера красовался довольно жалкий лавровый венок, а на ногах были тяжелые кандалы. Так одновременно его чествовали и выставляли на посрамление. Слуга подал ему на серебряной подставке пять шприцов.

Сначала выступил с речью Кноббе.

— Девять тысяч семьсот этих существ, — начал он с неподражаемым жестом в сторону подмостков, — девять тысяч семьсот этих выкормков работают на наших заводах. Двести восемьдесят восемь стали сегодня утром работоспособными, а к этим двенадцати будет сейчас в последний раз приложена наша рука. Как я вижу, господа, вы вполне понимаете значение этой минуты. Десять тысяч атлетов, всегда охотно работающих. В следующем году у нас будут их сотни тысяч. Таким образом, мы уверенно побиваем всякую иностранную конкуренцию. Мы можем смеяться над нашими ленивыми соседями-позерами.

Более того, духовным оком я провижу уже великий день, когда мы наконец подчиним себе эти народы. Да, добродетель сверхгерманцев должна оздоровить весь мир. Вам всем понятно не только разрешенное, но даже обязательно введенное в употребление иностранное слово *«реванш»*!

Тут поднялся шум одобрения, и, потеряв нить речи, Кноббе провозгласил троекратное «ура». При третьем возгласе химики подняли шприцы и один за другим воткнули их в затылки жертв. Оставался только Цюллингер со своим выкормком. Ученый колебался всего миг. Кругом все стихло, слышались лишь слабые стоны одуренных. Кноббе настаивал:

— Что же, господин старший заведующий одурением, вспрыскивайте же, наконец!

И Цюллингер на этот раз с ловкостью выполнил возложенную на него задачу.

Тут поднялся председатель левого суда и огласил приговор.

— Кноббе — внимательный хозяин! Всегда заботится о развлечении для своих гостей, — говорили между собой приглашенные сановники.

— Имеете вы еще что-нибудь заявить? — спросил судья у приговоренного.

Право последнего слова давалось всем полу-

кровкам. Это была только формальность, ничего не менявшая в приговоре. Несмотря на это, Кноббе беспокойно заерзал на стуле. И когда Цюллингер всего лишь попросил милосердия для своих двоюродных сестер, Кноббе облегченно погладил бороду.

— Хорошо, женщины останутся здесь и будут сделаны посудомойками. Еще что-то? — деловито спросил судья. — Ну, тогда, пожалуйста, воспользуйтесь вашим шприцом.

Цюллингер еще раз обернулся к умолкнувшему собранию. Он увидел Янушалька, сидевшего близ него на почетном месте, и Кнобее, нетерпеливо ожидавшего исполнения приговора. Он также увидел, что Краппе отсутствовал. Лицо Цюллингера позеленело от ненависти, а глаза засверкали злобой.

— Янушальк, у вас от меня ребенок! Кноббе, расскажите господам, где застрял Краппе! Поздравляю вас с постом блюстителя! — С такими вот неучтивыми словами воткнул себе Цюллингер шприц в затылок, одновременно раскрошив свои искусственные зубы. В один судорожный глоток всосав противоядие, он с пронзительным криком упал на пол.

— Что он сказал? — в злобе зарычал Янушальк.

— Этакий сумасшедший! Этакая обезьяна!

Поднялся шум, некоторые повскакали со своих мест.

— Вот вы и сами увидели теперь его безумие и бесстыдство! — крикнул Кноббе, все же слегка побледнев. Да и Янушальк был заметно взволнован. Он тут же вспомнил странную, весьма плебейскую внешность своего сына.

Судья кивнул ближайшему химику, который должен был стать почетным преемником Цюллингера, и тот принялся за впрыскивание дальнейшей дозы какодилата. Жутко было видеть судороги, проходившие по телу Цюллингера, но для крепких нервов сверхгерманцев это было приятным зрелищем, и они даже позабыли про дурное впечатление, вызванное последними словами ученого. Ожидание праздничного пира приводило их в приподнятое настроение. Они встали, оживленно беседуя, и щупали мускулистых, находящихся теперь в бесчувственном состоянии выкормков, которых снимали и уносили с подмостков.

— Уберите и этот навоз, — крикнул Кноббе работнику и толкнул ногой неподвижного, точно полено, Цюллингера. Работник живо подхватил его, выволок во двор и швырнул в мусорную яму.

Таков был позорный обычай после одурения полукровок, но близкие люди все еще имели право позаботиться о наказанных после исполнения приговора.

Глава 8

Фекла и Стефания были уже наготове — в конце концов они сообразили, что предстояло в этот день их двоюродному брату вместо почетной отставки. С горькими слезами унесли они бесчувственного Цюллингера. Фекла искала себе духовной поддержки:

— Так угодно было Богу. Ах, наш добрый бедный Арнольд! Стефания, мы должны теперь усердно молиться, чтобы он не умер.

Но горе ожесточило Стефанию.

— Так угодно было этому черту, сверхгерманцу Кноббе. А против сверхгерманцев Бог ничего не может поделать, — бранилась она вполголоса, к ужасу Феклы.

— Не богохульствуй! Господь накажет тебя!

— Меня накажет Кноббе. Бог пляшет под его дудку!

Фекла принялась громко выкрикивать славословия, чтобы заглушить речи Стефании.

Цюллингера опустили на кровать. Несмотря на малый вес худого тела, слабосильным старым девам было тяжело возиться с ним. Ко всем прочим несчастьям, исчезла еще и Гера. Позаботившийся

обо всем Кноббе распорядился привести ее в свои угольные копи.

Цюллингер едва заметно дышал, и пульс его иногда останавливался. Доза яда, которая была в его теле, могла бы свалить даже слона.

— Он умирает! — вдруг воскликнула Фекла при наводящем ужас вздохе Цюллингера.

— Ах, лучше бы ему умереть. Где же теперь его душа, когда он так одурен? — плакала Стефания, стараясь влить ему в рот чай. И они принялись горячо спорить, засыпает ли душа при одурении или покидает-таки тело.

— Тише, — таинственно шепнула Фекла, — душа одуренных витает возле тела, она нас слышит. Арнольд, ты невинен, правда? Это только испытание! Бог милосерден!

— Бога нет. Есть только дьявол и черт-сверхгерманец Кноббе — пророк его, — злобно заявила Стефания. С кровати послышалось сопение, прозвучавшее подтверждением. Фекла вся затряслась от ужаса.

— Ты сама черт! Я донесу на тебя!

В комнате было почти совсем темно. Узкий белый луч уличного фонаря падал прямо на искаженное лицо Цюллинтера. Он отвратительно ворочал остекленевшими, почти уже выскочив-

шими из орбит глазами и раскрыл рот, похожий на грязную яму.

— М-м-м…

— Слушай! — воскликнула Фекла, и Стефания напрягла слух.

— М-м-м…

Цюллингер выплюнул обломки искусственных зубов, блестевших в мертвенном свете, точно жемчужины.

— М-м… месть!

Это было последнее слово, которое пронеслось в мозгу Цюллингера перед одурением. Теперь оно грозно прозвучало его лексическим первенцем.

— Вот, слушай. Душа еще сидит в нем, и она во гневе! — воскликнула Стефания.

Фекла перекрестилась. Она не могла вынести этого полного угрозы изречения своего двоюродного брата. Не было сомнения, что душа его попала в когти владыки ада.

— Ой! — Фекла жалко застонала. Она чувствовала себя все слабее и слабее, и Стефания увидела, как она покачнулась на стуле.

— Что с тобой, Фекла?

— Я умираю, — едва слышно шепнула она и взаправду упала замертво.

Со Стефанией сделался обморок от раскаяния

и горя.

И Цюллингер, лежавший опять неподвижно, стал теперь самым живым из трех.

Время шло своим чередом, наступила глубокая ночь, на улице шел снег. Гера тихо отворила дверь и, повернув выключатель, осветила комнату.

— Черт возьми! Вот так хорошенькая картина! — пробормотала она.

Она посадила обеих бездыханных сестер на диван и принялась за ученого.

Цюллингер проглотил осторожно влитое Герой из бутылки ему в рот противоядие. Его глаза постепенно стали оживать. Перед его мысленным взором начала мелькать какая-то черная полоса, похожая на змею. Потом она стала кроваво-красной и, наконец, золотой. Гера вычистила из его рта указательным пальцем последние осколки зубов. При этом она залезла слишком далеко в горло, и лицо ученого исказилось гримасой тошноты. В ушах зашумело, и он захныкал.

— Он в стадии грудного ребенка, — определила Гера, которая знала все эти явления по бесчисленным опытам, произведенным над ней. Она подняла его голову выше, сильными движениями стала растирать ему затылок, и в ее умелых руках он скоро пришел в себя.

— Что это было?

Гера дала ему нужные объяснения.

— Ах да, верно, я вспоминаю! Но что случилось с Феклой и Стефанией?

— Фекла вся одеревенела, точно доска, и холодна, как камень. Но Стефания еще теплая, — отчиталась Гера.

Цюллингер, слабый и с тяжелой головой, переполз с кровати к дивану.

— Эта еще немножко барахтается, а вот та уже умерла. Бедолага! Еще одной меньше! Сначала были три, но осталась всего одна. Гера, я очень обязан своим двоюродным сестрам: благодаря им я сделал свои ценнейшие изобретения. Чтобы избавиться от их заботливости, я уходил в свой рабочий кабинет. Чтобы забыть их болтовню, я забивал голову знаниями. Я ведь полукровка — радость, какую дает работа сама по себе, мне незнакома… Но погоди-ка, родимая, мне пришла хорошая мысль.

Стефания слышала его голос, как во сне.

— Арнольд?

— Проснись, Стефания!

Тут она очнулась и обняла двоюродного брата, обливая его обильными слезами. Тот был очень тронут, и Гере пришлось утирать ему глаза. Потом

они совещались втроем, и Цюллингер изложил пришедшую ему в голову хорошую мысль.

— Месть! — воскликнул он еще раз, и Стефания ему вторила: «Месть, месть!»

— Есть у тебя мужество, Стефания?

— В достатке, — ответила она. Горечь последних дней превратила ее в валькирию.

— Так слушайте: серьезное дело требует необычного в иных обстоятельствах поступка. Глубоко печальный конец Феклы должен прийти нам на помощь. Я превращусь в Феклу. У меня есть некоторый опыт в ношении женского платья. Феклу похороним как Арнольда Цюллингера. Ты, Стефания, объявишь завтра о моей смерти — это никого не удивит. Теперь ложись в постель, а я с помощью Геры займусь переодеванием.

Стефания заплакала, но согласилась и ушла. Цюллингер занялся переменой своего внешнего вида и затем предстал перед Герой как жрец богини мести.

— Гера, тебе я скажу то, чего еще не должна знать Стефания. Выкормки очнутся от одурения, как очнулся я, только медленнее. К тому времени настанет весна, и я надеюсь, что это будет невеселая пора для Кноббе, скверная пора для всех сверхгерманцев. Гера, ты моя надежда! Ты

живешь среди выкормков, ты плоть от их плоти. Оберегай их, когда они будут приходить в сознание, чтобы они не выдали себя преждевременно. Ты моя правая рука. Ты будешь светить рядом со мной, как луна, и будущие поколения единогласно будут воздавать тебе хвалу.

— Твоя правда, хозяин. Лишь бы мне при этом вволю позабавиться, — произнесла Гера, легко относившаяся к жизни.

На следующий день явился Кирилейзон для осмотра трупа Цюллингера. Он был пьян, так что живо покончил с этим делом.

— Отвратительно выглядит старикашка. От него воняет ядом! Грязная собака получила по заслугам. — И он приказал «закопать эту падаль». Потом Кирилейзон посетил невесту и рассказал ей все виденное. Но Изольда была с ним очень неприветлива. Были еще некоторые другие сверхгерманские дамы, жалевшие о мнимой смерти Цюллингера. Кноббе радовался: он ничего не подозревал о злой судьбе, бродившей по его заводу в образе старухи.

Глава 9

— Сколько миллионов? — спросил сверхгерманец Краппе своего главного бухгалтера. Тот назвал внушительную цифру. Краппе плохо понимал. — Да разразит вас гром! Говорите яснее. Подайте сюда книгу! — Но какой-то туман стоял у него перед глазами. Туман окутывал его мозг, и до сознания все никак не доходили цифры прежде такого приятного для него баланса. Многозначные цифры его неисчислимого богатства показались ему детской игрой, и он глупо рассмеялся. Потом он испугался собственного поведения, и из неповрежденных еще уголков его нервной системы выскочила на него целая свора оскаленных страхов. Он потер ноющий лоб.

— Позовите врача… мне нехорошо!

Уже много недель ничем не могло помочь ему искусство лучших врачей.

Однажды пришло письмо.

«Как поживаете, господин Краппе? (Сколько будет семью восемь? Что будет, если мы сложим блюстителя великого мамонодержавия и шприц для одурения? В состоянии ли вы еще восстановить в своей памяти пир по случаю крестин у

Янушалька? Кто сидел тогда по правую сторону от вас? Господин Кноббе со шприцем для выкормков. Он вас ловко одурил! Скоро вы будете принимать самую прекрасную золотую монету за пуговку для брюк. Пока время еще на вашей стороне, поторопитесь навестить безотлагательно, если вы на такое еще способны, господина Янушалька — знаменитого родителя».

Краппе постоянно заставлял себя читать вслух это послание. Потом с ним сделался припадок ярости. Он выл часами, ерошил холеную бороду и разбил большое зеркало, откуда на него смотрело бессмысленное лицо идиота. В конце концов он послушался совета и поехал к Янушальку. Он застал разъяренного тирана ломающим о служанку свой хлыст.

— Господин Краппе? Одну минуту! — Блюститель великого земледержавия сначала окончательно успокоил стонавшую служанку. — Так! Господин Краппе, мне нужно вам кое-что сказать. Пожалуйста, сюда, направо. Стоп, вы идете налево. Вы что, плохо позавтракали, старый дружище?

Краппе спотыкался. Дорога привела его нервы в еще большее расстройство. В конце концов приятели оказались в потайной комнате Янушалька.

— Я уже предупрежден о вашем приезде анонимным письмом, — сказал Янушальк, беспрестанно краснея от злости.

— Еще письмо! — заревел Краппе. — Вот, почитайте-ка, Янушальк, наше государство в опасности!

Краппе передал коллеге зловещее послание.

— Это тот же почерк. Так это правда! Нет, это не имеет никаких оснований! Да ведь быть такого не может!..

— Что же делать? — спросил Краппе, вдруг забывший цель своего прихода.

— Краппе, по сравнению со мной вы еще легко отделались. Ваша честь не запятнана. Если дело с вами обстоит так, как написано тут, вы все-таки и без разума можете оставаться блюстителем великого мамонодержавия. Ваше богатство остается при вас. А меня, меня-то опозорили! Ха! Достаточно ли ясен ваш взгляд, мой друг?

Он открыл дверь и провел гостя в обширное помещение, плотно увешанное портретами предков. В глубине его красовался большой девиз: «Осторожно! Кто без спросу ступит вперед — будет убит».

Краппе молча разинул рот.

— Взгляните туда! — воскликнул Янушальк

и указал на воздвигнутую вдали комнаты баррикаду из железных листов. Из-за нее грозно высовывались дула орудий.

Краппе собрался с мыслями, чтобы задать несколько вопросов.

— Да что это, я совсем с ума сошел! Ничего не понимаю. Там ведь, кажется, помещался ваш склад оружия.

— Совершенно верно! — ответил Янушальк, напрасно пытаясь овладеть собой. — Да, это мой склад оружия. Но там засела моя жена Хейльвик и царит оттуда над всем домом. Будьте осторожны.

Краппе осмелился подойти слишком близко, и тотчас мимо него пролетели и засели в стене несколько пуль.

— Святой домашний очаг!

— Хейльвик — храбрая женщина! Она воюет за ребенка. Краппе, я тоже получил такое письмо. Ребенок — из питомника Цюллингера. Это проделка низкого негодяя Кноббе. Этот недоносок хочет забрать всю власть в свои руки. Конечно, государство в опасности! Теперь вы знаете мой позор. Горе нам!

— Мне не по силам разобраться со всем этим! — выдавил с трудом Краппе.

— До сих пор это было и вне моего понима-

ния. — Блюститель великого земледержавия засунул руку в карман. — Вот письмо, полученное мной. Оно объясняет все: и рождение ребенка, и внезапно исчезнувшую повивальную бабку. Все подробно описано. Конечно, это могло быть простой клеветой. Но сходство, проклятое сходство мальчика с Цюллингеровым выкормком — оно бесспорно! Я стал допрашивать жену. Она вся побледнела и испугалась. Я показал ей письмо. Тогда она начала лгать и клясться, что это чья-то месть. Я стал сам себе смешон, но все-таки потребовал осмотра ребенка. И вот вам результаты — она в компании всех своих слуг забаррикадировалась в моем оружейном складе. Я хотел бы думать, что она это сделала из возмущения перед моей недоверчивостью. Но тут явились вы, как сказано в письме. Вот, читайте: «Краппе придет к вам, безнадежно одуренный руками Кноббе. Дайте ему выпить рюмочку и развлекайтесь вдвоем». Что же дальше? Я совсем потерял рассудок. Больше я уже не могу сомневаться.

— Дайте мне выпить рюмочку, хоть я и ждал от вас большего, — тупо сказал Краппе.

Оба горе-блюстителя вернулись в комнату Янушалька.

— Что же нам теперь делать? — снова спросил

Янушальк. — Вот это-то я и хотел узнать от вас.

— Я бы на вашем месте экстренно созвал рейхсвер.

— Довольно и того, что вы видели мой позор.

— Взорвите дом.

— Замок моих предков? Никогда в жизни!

— Морите голодом вашу жену.

— Мой арсенал полон консервированного провианта. Там надолго хватит!

— Тогда вам придется взять ее хитростью.

— Какой?

Но Краппе больше не мог ничего советовать. Он был почти без сознания от сильного напряжения остатков своих умственных способностей.

— Краппе! Умоляю вас, во имя нашего государственного герба, напрягите все ваши душевные силы. Нужно ее заставить выйти оттуда, или все полетит к черту. — Янушальк тряс за плечо коллегу, сидевшего с выпученными глазами. — Неужели вы ничего не можете придумать?

— Я уже придумал! — объявил Краппе. Сильное волнение еще раз прорвало тот туман, что плотно окутывал его мозг. — Это же совсем просто. Скажите вашей жене или осторожно сообщите ей письменно, что я пришел к вам и развеял все ваши подозрения. Пускай ваш домашний оркестр

играет веселые мотивы. Сами вы беззаботно расхохочетесь несколько раз возле самого арсенала. В остальном я полагаюсь на вашу сообразительность.

— Такая ложь противна моим честным правилам. Но ничего не попишешь — придется испить чашу до дна… — И Янушальк последовал советам Краппе. Он был так умен, что слуг вооружил дубинами и вилами и посадил их в засаду так, чтобы они тотчас же после ухода Хейльвик напали на ее слуг, лишенных предводительницы. Но Хейльвик была осторожна и поставила следующее условие: муж должен был сам прийти к ней с Краппе и доказать ей все свои миролюбивые намерения. Краппе боялся, но Янушальк силой поволок его с собой.

Хейльвик встретила их приветливо.

— Маленькое домашнее недоразумение? Такое случается в знатных семьях. Теперь все выяснилось? Ах, как я рада! Арчибальд, прими своего сына в отцовские объятия.

Она провела мужа к великолепной детской кроватке, скрытой за неуязвимыми для огня и пуль панцирными листами. На всякий случай она взвела курок своего револьвера:

— Поцелуй ребенка, Арчибальд!

Янушальк заставил себя поцеловать выкормка.

— Вот так-то! А теперь мы отпразднуем здесь примирение, — сказала Хейльвик, еще не вполне успокоившаяся.

— У тебя сейчас будут гости. Краппе положил только начало своим приходом! Ты та-а-ак удивишься, Хейльвик, тебя ждет тако-о-ой замечательный сюрприз, — лгал против всей своей совести Янушальк в этот критический момент. — Ты слышишь, музыка уже играет! Мне надо, чтобы вся страна узнала про наше маленькое недоразумение.

Хейльвик слышала музыку. Она также чутко улавливала какой-то отдаленный шум. Но любопытство ее было слишком велико, и она дала себя одурачить.

— Извините меня, господин Краппе. Мне придется одеться понаряднее. — Сдав свою выгодную позицию, она удалилась в сопровождении пары камеристок. — Вы пока будьте все здесь! — крикнула она людям, стоявшим у орудий. Но видно было, что они уже менее чутко относятся к своим обязанностям.

— Теперь нужно не терять времени, — шепнул Краппе Янушальк и тут же подал свисток

— сигнал к наступлению. Поднялся страшный шум. Прибежала Хейльвик и, осознав, что ее карта бита, выстрелила себе в висок. Она упала, сраженная насмерть, и мутнеющими глазами увидела, как ее муж среди всеобщей суматохи разбивает о мраморный пол череп ребенка Геры. Потом душа ее рассталась с телом, и Янушальк стал снова хозяином в доме.

Слуги Хейльвик были перебиты. Янушальк убил собственными руками с дюжину молящих о пощаде людей и стоял теперь, высоко подняв голову, но все же приниженный. Он победил, и все же не мог преодолеть страха. Даже в это мгновение думал он об опасностях, грозящих благополучию его родины. Он кивнул домоправителю и писцу:

— Приготовьте все необходимое для торжественных похорон. Ну а ты, писец, подготовь скорбное извещение: «Скоропостижно и нежданно скончались моя горячо любимая супруга и мой подававший большие надежды сынок». Поторопитесь, бездельники! Приготовьте мне самый быстрый автомобиль! Господин Краппе, мы едем к блюстителю богодержавия!

Краппе считал, что достаточно потрудился, но Янушальк так торопился, горя злобой и патрио-

тизмом, что едва дал гостю слегка подкрепиться. Вмиг подъехала машина и увезла обоих.

— Я хотел бы все-таки узнать, отчего вы так торопитесь? — недовольно спросил Краппе.

Янушальк закурил для успокоения сигару и пускал, мрачно супясь, дым из ноздрей.

— Отечество, Краппе! Негодяй Кноббе!

— Да, негодяй Кноббе, негодяй Кноббе…

— Краппе, меня осенила божественная мысль! Как нам быть с Кноббе? У нас ведь нет свидетелей, есть только письма без подписей. Да если бы и были свидетели, мы не можем заставить их говорить. Сверхгерманские сановники обыкновенно не обвиняют друг друга в государственной измене. Кроме того, у Кноббе много сторонников. Мы можем допросить его под честное слово, а потом, ну, разве что на дуэль вызвать!

— Потом… — эхом откликнулся Краппе и хотел прибавить еще что-то, но тут же уснул с открытыми глазами. Далее Янушальк продолжал свои излияния в форме монолога:

— Мы не можем уличить Кноббе в попытке переворота. Но он все-таки должен как-то попасться! Слушайте, каков мой божественный план. Наше тройственное правительство не оправдало себя. Да и как оно могло себя оправ-

дать, будучи уступкой разгневанным массам! Слово «республика» многим тогда бередило ум… и на эту удочку мы все попались. Теперь есть только один выход — мы должны основать новое государство с помазанным на власть единым государем. Да здравствует король! Сотни потомков великого Вильгельма Лемана[16] стоят в качестве предводителей блестящего рейхсвера на границах страны. Отлично! Нужно выбрать самого глупого из них. Носитель великой божественной власти помажет его на царствие и коронует. Мы дружно споем ему: «Хвала тебе, герой в победном венце». Что на это скажете, Краппе? Как вам новое, святое, сверхгерманское, богоугодное государство?

Краппе ничего не сказал. Янушальк напрасно пытался растормошить его — волнения насущного дня, сошедшие, точно лавина, превратили бедного блюстителя мамонодержавия в окончательного и бесповоротного идиота.

Автомобиль мчался все дальше, комки грязного снега летели у него из-под колес. Он мчал по полям, пересекающим границы, — от Бранденбургских ворот мимо Потсдама, мимо Целендор-

---

[16] Примечания: 16

В 1848 году тогдашний наследник прусского престола Вильгельм скрылся за границу по паспорту на имя купца Лемана.

фа и Штейгица, Шенеберга и величественного Крейцберга, откуда на всю страну бросал тень высокий купол Церкви Святой Троицы. Еще там стоял дворец сверхгерманца Геценлейхтера. Автомобиль остановился.

— Что вы привезли хорошего? — удивленно спросил Геценлейхтер.

— Я привез жертву измены, два извещения о смерти и дельную мысль!..

В этот день блюстителю великого богодержавия пришлось множество раз прибегать к библейским псалмам. Он смотрел то на отчаянно жестикулирующего Янушалька, то на тупо и неподвижно, точно бочка, сидящего Краппе и все покачивал головой. В глубине души он восхищался интригами Кноббе и, наконец, улыбнулся тонкой, поповской улыбкой.

— Отлично, мои дорогие коллеги, мы оснуем в противовес одичалым республикам новую монархию, как несокрушимую скалу в море. Сверхгерманцам все должно служить на пользу. — Восстановление монархии казалось ему раем. Тогда, втайне радуясь, думал он, исчезнут эти двое трусов-недоправителей, а он, великий первосвященник, будет в гордом одиночестве дергать царственного паяца за духовную вере-

вочку.

— А что будет с Кноббе? — спросил Янушальк.

— Мы последим за ним. Не стоит чересчур спешить. Он подозрителен, но ведь его и оклеветать могли. Разве вы знаете, кто писал эти письма? А точно ли Цюллингер умер? Вспомните-ка, что он говорил перед своим одурением: «Янушальк, у вас ребенок от меня. Кноббе, поздравляю вас с назначением в правители». Никогда не доверял этому полукровке. Мы правим слишком мягко. Кто знает, не напали ли мы на след самого крупного заговора полукровок в истории? — Так говорил Геценлейхтер. Он не столько верил в невиновность Кноббе, сколько хотел навлечь подозрения на особенно ненавистных ему полукровок.

— Держитесь невозмутимо, — сказал он назидательно, — и пригласите Кноббе посетить похороны вашей жены. Иначе это покажется подозрительным. Заодно посмотрите, как он будет себя вести.

Двоюродная сестра Цюллингера Стефания, которая из мести к Кноббе написала, без ведома своего брата, письма Краппе и Янушальку, была не вполне довольна результатами. Слухи о смертных случаях и о торжественных похоронах в доме Янушалька достигли и кухни Кноббе, где Стефа-

ния с переодетым в платье Феклы Цюллингером чистила ложки. Теперь она ждала с нетерпением известия о гибели Кноббе. Но ее постигло большое разочарование — Кноббе предельно хладнокровно заказал траурную карету и поехал с семьей к Янушальку. Некоторым утешением для Стефании было только веселое настроение Цюллингера.

— Жди, просто жди, дорогая Стефания, — говорил он, коварно посмеиваясь, — это всего-то маленький пролог. Сама драма еще только начинается. — И он размахивал тряпкой, точно боевым штандартом, и месил языком во рту горькую, застойную слюну пророка.

Глава 10

Выкормки получали порцию питательного экстракта каждые две недели, согласно указанию Цюллингера. После первой столовой ложки не случилось ничего особенного. Их лица после второй порции заметно посвежели, ну а после третьей надзиратели нашли, что выкормки стали значительно подвижнее.

— А все-таки Цюллингер — гений, — переговаривались меж собой химики. — Да, как же он был хорош! Но и мы кое-чего стоим сами по себе…

Владельцы заводов не могли нарадоваться таким работникам. Работоспособность выкормков все возрастала. Заводы, где трудились выкормки, выпускали наперебой большими партиями любую продукцию. В марте в производстве занято было более двадцати тысяч голов этих искусственных существ.

Но вдруг — то тут, то там — стали происходить странные вещи.

Первое время выкормков заставляли работать по строгим правилам дрессировщика Цумбреха только под землей и в закрытых помещениях. Но так как до сих пор они ни разу еще не бесились

и атмосферные перемены влияли на них очень слабо, то постепенно стали пренебрегать правилами и ставили их на работу всюду, где труд был тяжел и где особо не требовалось сообразительности. Одна парочка, как раз из тех пятидесяти, которых Цюллингер оставил неодуренными, грузила мешки на цементном заводе. Оба изо дня в день накладывали мешок за мешком в телегу и тащили ее вместо волов до железнодорожной ветки. Это делалось с точностью и неутомимостью часового механизма, и надзиратели не имели никаких причин жаловаться на их труд.

Аякс и Диана (так звали этих выкормков) не имели понятия об окружающем их мире. Они знали только работу, для которой их выдрессировали. Каждые две недели получали они столовую ложку Цюллингеровского экстракта, и с каждым разом их глаза прояснялись.

По краям дороги, по которой они везли мешки, посажены были молодые каштановые деревья. Зимой они были голы, как палки, но теперь почки их набухли, блестя на солнце, лопнули, и свежая зелень вылезла наружу. Это было ново для Аякса и Дианы.

Оба выкормка не были еще настолько обездурманены, чтобы удивляться и радоваться чему

бы то ни было. Но они заметили, что вокруг них есть еще нечто, кроме мешков, телеги и людей. Они показывали пальцами на деревья, издавали странные звуки, вроде ворчания, и в одно прекрасное утро Аякс, бросившись на свежую зелень деревьев, стал откусывать почки и обрывать ветки, а Диана с громким ржанием прыгала вокруг него, украсив вырез своего шерстяного балахона большим пучком зеленых листьев.

За такую нежелательную резвость они были основательно проучены кнутом и снова с обычной охотой принялись за работу. Но на их обычно бесстрастных, одинаково застывших лицах остался отпечаток тоски.

Прошло несколько дней. Однажды к вечеру Аякс, как всегда, стоял на телеге и грузил тяжелые мешки, которые ему подвозила на тачке Диана. Он справлялся со своей работой скорее, чем его товарка, и в свободное время равнодушно посматривал вокруг. Глаза его открывались все шире. Что-то похожее на душу затрепетало в нем, и он увидел все в ином свете, чем до того. Он увидел перед собой широкую зеленую равнину, потом белую линию цветущих деревьев и вдали мягкие фиолетовые очертания холмов. А еще выше, резко ограниченный холмами, виднелся

золотистый прорезанный узкими полосами облаков горизонт, остававшийся загадкой для Аякса. Блуждающий взгляд его вернулся к небу, и он увидал над своей головой тяжелые черные тучи. Блеснули последние лучи солнца, и на побледневшем горизонте ярким огнем зажглись обрывки облаков — и запылали, точно языки пламени. Ветер гнал по небу большие розовеющие клочки небесной перины.

Стоя на телеге, Аякс распухал изнутри, как раскушенные им почки. Он потянулся — что-то теснилось у него в груди, — и в его мозгу точно разорвалась черная, беспросветная завеса. Он поднял руки и закричал, подобно оленю:

— Хо! Хо! — И снова после короткой паузы: — Хо!

Диана услышала его зов и увидала его стоящим в свете вечерней зари. Сердцу ее стало тягостно от непонятного чувства. Она опустилась на колени и зарыдала.

Тут прибежал надзиратель.

— Черт возьми, это что за свинство! — вскричал он. На этот раз наказание было ужасно. Он сломал об них кнут и, так как наступило окончание работ, провел их в барак, отведенный для выкормков. Там за кашей уже сидело около

дюжины этих рабов. Но обстановка царила чуть шумнее обыкновенного, ибо и на них уже стало действовать противоядие.

Аякс и Диана держались в стороне от всех и отказались от пищи. Надзирателю это показалось подозрительным, и он доложил обо всем управляющему заводом.

На следующее утро Аякс проснулся раньше других выкормков. Его мучило какое-то беспокойство, и давала о себе знать боль от вчерашних побоев. Диана, пробудившаяся еще раньше, сидела возле него и рассматривала рубцы на своей блестящей коже. Аякс, сам того не зная, почувствовал жалость и ощупал ее красные отметины. И они почувствовали любовь, не догадываясь, что это за чувство такое. Кроме того, в противоположность тем первым двадцати выкормкам Цюллингера, они ощутили стыд, потому что дурман уже рассеивался.

Но вот пришел будить выкормков надзиратель, за ним работник нес чан с кашей.

Надзиратель звонил в колокол.

— Живо встаем, собачьи скоты! Тролль, Штунс, Шрулле, Аякс, Диана! Жрите, бестии!

На этот раз все еще шло обычным порядком. Выкормков повели на работу, и Аякс шел рядом

с Дианой. Вдруг он толкнул ее, оба бросились в сторону с дороги, перебежали через железнодорожное полотно и стали кувыркаться на зеленой лужайке.

Но Диана, непривычная к свободе, боялась. Надзиратель свистнул, и она последовала его зову.

— Подожди, я тебе помогу! — заревел надзиратель, злобно замахиваясь кнутом. Но уже в следующее мгновение он, сбитый с ног, лежал на земле, а Аякс в остервенении разрывал его на куски.

Прибежали другие рабочие. Это все были люди из народа, боязливые, нерешительные. Аякс бросился на них, точно волк на стадо, и они в страхе разбежались по сторонам.

Диана, зараженная неистовством Аякса, мчалась вслед за ним. Они бросились вдогонку за беглецами, которые думали теперь только о спасении жизни. Дикая охота мчалась прямо к главным заводским воротам.

У ворот стояло два вооруженных сторожа. Они выхватили из-за пояса ручные бомбы, бросили их в Аякса и Диану и тяжело ранили их. Но ни Аякс, ни Диана не пали. Брызнувшая кровь только усилила их безумие. Кулаками они убили обоих часовых, после чего ворвались в машинное отде-

ление, откуда мигом исчезли все рабочие. Только два выкормка возились с кучей камней — они повернули головы. Аякс и Диана подбежали к ним, выкормки отбросили лопаты в сторону. Но эти труженики камня, испугавшись запаха крови, не пожелали принять Аякса и Диану в свою среду. Они увидели красноречивые взгляды обоих раненых, почувствовали толчок, нарушивший неподвижный покой в их головах, но, неспособные еще к самостоятельному действию, они недовольно заворчали и отвернулись.

Аякс и Диана побежали дальше. Шум машин, их крутящиеся колеса, резкие свистки сирен и кровь, бушевавшая в их жилах, — все это оглушило и ослепило их. Они выбежали из мастерских и наскочили на трещавший пулемет. Пули вонзились в их тела, и они умерли, обнявшись, посреди двора.

— Черт возьми! И живучие же твари оказались! — сказали сверхгерманские юнкера, стоя у пулемета и трясясь от ужаса. Это были парни шестнадцати — восемнадцати лет, на охране заводов проходившие подготовку к двухгодичной военной службе по защите государственных границ.

— Метко стреляли! — похвалил их начальник

завода, только-только поднятый ото сна. — Но так не годится! — заволновался он потом. — К чему это нас приведет? Это подлог! — И он, вызвав по телефону питомник, откуда получил Диану и Аякса, потребовал замены столь негодного товара.

— Что же это значит?! — вопили владельцы питомников. Отовсюду, где только работали выкормки, приходили однородные жалобы и требования.

Химиков подвергли строгому наказанию. Одуряющие дозы были удвоены, но вместе с тем утроили и дозы экстракта, действующего как противоядие. Как бы то ни было, но на время снова воцарилось спокойствие. Выкормки стали осторожнее, подобно животным, чующим возрастающую опасность. Еще потому царило спокойствие на заводах, что всюду уже имелись выкормки из питомников Кноббе, а их Цюллингер и Гера раньше остальных излечили от дурмана. Они распространяли брожение среди питомцев, сами неспособные к речи, но объясняющиеся знаками, приученные лишь к тому, чтобы хранить спокойствие и сдерживать светлеющий разум остальных выкормков. Так и разгорался тайно и заботливо раздуваемый пламень бунта, и лишь иногда прорывалась наружу

быстро тухнувшая искра.

Выкормки скоро научились всему, что было нужно. Брошенные без материнской ласки и без материнского молока, они не знали ни сказок, ни наставлений, и никакие узы религии или семьи не сдерживали их. Они ничего не ведали о сребролюбии и тщеславии, первых добродетелях сверхгерманцев, и не имели понятия о чувстве зависимости, благодаря коему порабощалась народная масса. Они знали лишь кнут и назначаемую для них господами работу. Поэтому они научились только осторожности и ненависти. И чем они становились разумнее, тем сильнее они ненавидели, и все труднее им становилось быть осторожными.

Глава 11

Сверхгерманские юноши в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет охраняли заводы, а от восемнадцати до двадцати — несли охрану границ страны. Отпрыски старой аристократии оставались верны рейхсверу, пока не наследовали отцовских имений. Сыны менее знатных, но все же сверхгерманских родов покидали в двадцать лет военную службу, чтобы пройти трехлетний курс высшей школы.

Они занимались с присущим им чувством долга, без которого их владычество не было бы так прочно, по утрам, с десяти до двенадцати часов. В остальном они также не были ленивы — на них было возложено достаточно обязанностей. Они украшали грудь широкими пестрыми лентами, носили хорошенькие шапочки, дрались на шпагах и рапирах, чтобы получить почетные шрамы, ездили верхом на отличных лошадях и тщательно оберегали то, что звали старой товарищеской честью. Упражнение в строго оберегаемом церемониале выпивки, перенятом от старого студенчества, тоже требовало много напряжения и труда.

Так приобретали они благородный лоск, обеспечивающий им блестящую жизнь. Так они проникались сознанием достоинства сверхгерманцев.

Корпорация «Благородные Пруссаки» собралась для начала летнего полугодия в своем помещении. Компания богато разодетых юношей сидела за подковообразным столом в малом парадном зале, предназначенном для подобных вечерних собраний. Председатель, занимавший место на закругленном конце стола, ударил рапирой по жести, коей для усиления звука была сплошь обшита дубовая столешница. Староста фуксов[17] и руководитель кружка фехтования шумно подражали ему. Зазвучали товарищеские песни, с тупым звоном падали тяжелые крышки на кружки.

Гигантский выкормок по имени Кролло следил тупым взглядом за столом и, замечая пустую кружку, бросался наполнять ее из большой бочки.

---

[17] Примечания: 17

В германских университетах студенты составляли особые корпорации, имевшие свои уставы, знамена, девизы и пр. Вновь поступившие студенты назывались фуксами и только впоследствии, сделавшись полноправными членами корпорации, превращались из фуксов в буршей. Сверхгерманцы сохранили эти названия, свято придерживаясь остроумных и благородных традиций своих предков.

В корпорациях было обычаем брать выкормков в качестве слуг. Выкормки обладали достаточной силой, чтобы подбирать тела юношей, слишком увлекшихся пивом, и, кроме того, были достаточно выносливы и невозмутимы, чтобы выдерживать без телесного вреда все безобразия, приходившие в голову благородным пьяницам.

Кролло только что поступил слугой. Его предшественник скончался после операции, которую ему сделали медики из корпорации «Благородные Пруссаки». Они как-то раз поспорили за пивом, насколько сердце выкормка сохранило эмбриональные особенности. Вивисекция, произведенная тут же на столе, где распивали пиво, если и пошла впрок, то только науке, но никак не выкормку. Но Кноббе, бывший почетным членом корпорации «Благородные Пруссаки», сейчас же пожертвовал взамен убиенного выкормка этого Кролло.

Кролло был уже вполне излечен от одурения. Он понимал, что говорят кругом почти в полном объеме, но искусно скрывал ясный разум под маской животной тупости.

Беседа в «Благородных Пруссаках» держалась на уровне, достойном сверхгерманских студентов.

— Голубчик, полкружки за твое драгоценное здоровье!

— Дружище! Я буду не я, если не выпью целую залпом!

— Ганс Иохим, сколько у тебя было женщин во время каникул?

— Феноменальная штука!

— Клянусь, он молодец! Лей в кружку.

— Вы уже знаете? Сверхгерманец Янушальк стрелялся с нашим почетным членом, сверхгерманцем Кноббе. Шесть выстрелов с обеих сторон, легко ранен Янушальк. На этом покончили.

— Через две недели коронование государя. Старая сверхгерманская честь еще жива!

— А я нахожу замечательно удачным, что коронация назначена как раз на первое мая. Ведь в глупые времена переворотов это был великий народный праздник толпы.

— Вот когда нам следовало бы жить!

В те дни студенты вписали незабываемую славную страницу в историю. Родина всегда возлагала на них особые надежды.

— Народ постепенно будет уничтожен. Выкормки удобнее. А все-таки жаль — некого будет больше пристреливать!

— Не беспокойся, существуют и другие народы.

Да здравствует Кноббе, изобретатель питомника!

Кролло прислушивался всякий раз, когда раздавалось имя Кноббе. Но он не забывал своих обязанностей и автоматически наливал в кружки пиво. Постепенно опьянение стало проявляться у младших фуксов, кого еще сдерживали в рамках правила, существовавшие при выпивке. Заносчивые разговоры прерывались бурной икотой. Но никто из благородных юношей не был принужден хотя бы на мгновение удалиться для отправления естественных потребностей. Стол, за которым сидело общество, имел патентованное приспособление. У него был приподнимающийся край, а под ним помещалась споласкиваемая водой лоханка. Это было удобное и в то же время приличное устройство, так как при откидывании борта стола выскакивала клеенчатая ширма, скрывавшая соседей друг от друга. У приспособления этого, впрочем, имелся один недостаток: надо было предварительно отодвинуть стакан или кружку на середину стола. Иначе он падал и причинял неприятности.

С самым молодым студентом, сыном советника правления Цумбреха, такая неудача случилась уже в третий раз. Насмешки товарищей рассердили его, отпрыска вспыльчивого рода. Ему

потребовалось на ком-нибудь сорвать свой гнев, и, не задумываясь, он бросил опрокинувшийся стакан в голову Кролло. Тот вытащил изо лба осколок, продолжая мирно убирать со стола. «Какие они все-таки странные существа», — подумал он про себя.

Алые капли на лбу Кролло разожгли воинственный пыл юношей, один из них размазал шелковым платочком кровь по лицу выкормка. Кролло равнодушно терпел их забавы.

Между тем председатель кружка из уважения к собственному душевному состоянию положил конец деловой части вечера, и началось навеянное пивом веселье. Вследствие этого разговор стал еще более непринужденным, не теряя, конечно, своего внутреннего содержания. Стали обсуждать вопрос, каким же образом ярче выказать блеск «Благородных Пруссаков» на таком великом событии, как коронование нового государя. Чем больше юноши пьянели, тем сильнее озабочены они были благом родины.

— В сущности говоря, избрание государя является нововведением, противоречащим конституции 1932 года. Три блюстителя государства великолепно справлялись со своими обязанностями, — заявил один студент-юрист.

— Ты ничего не понимаешь, — поучал его начинающий философ, — этого требуют законы исторической необходимости. До сих пор у нас было междуцарствие. Все еще действовали последствия народного безумия. Но теперь снова восходит солнце самодержавия!

— Да, — сказал третий собеседник, — старый вечный девиз опять будет в чести: «С богом за государя и Сверхгерманию». Нам предстоят еще великие дела. Слава и победа!

— Старый бог еще жив! Да здравствует государь!

Но юный юрист стоял на своем:

— При чем тут какая-то историческая необходимость? Если бы блюститель великого мамонодержавия не сгорал от сонной болезни, да если бы сынок Янушалька не умер так таинственно, кто знает, как обстояли бы дела…

— Послушай, мне кажется, что ты пьян, — заявил философ. Юрист обозвал его пивным младенцем. Для разбора инцидента собрался пивной суд.

— Чокайтесь! Начинайте! Пейте!

Кончилось тем, что победителем, благодаря более широкой глотке, оказался философ. Юрист с выражением раскаяния на красном лице взял

свои слова обратно.

— Не волнуйтесь, устроим лучше репетицию торжественного шествия, — предложил руководитель кружка фехтования. — Наш дорогой председатель будет изображать государя. Он поедет верхом на выкормке Кролло. Кролло, поди сюда!

Кролло покорно подошел, и руководитель фехтования продел ему через ноздрю кольцо от ключей.

— Остается только достать веревку! Фуксы, начинайте свистеть.

И юноши, не мешкая, образовали торжественное шествие и важно, поскольку они не покачивались на ногах, обошли вокруг большого стола. Кролло, которого грубо дергали за веревку, бежал на четвереньках, точно медведь. На спине его сидел правитель и обращался к своему народу с вдохновенной речью, навеянной пивом.

«Экие удивительные существа! Хочется даже рассердиться на них», — подумал Кролло, обегая в пятый раз вокруг стола, и решил было остановиться. Староста фуксов погнал его вперед и воткнул ему в заднюю часть тела рапиру.

— Не пытайся быть непокорным, великолепное животное, — благосклонно сказал он.

После седьмого круга участники обессилели и снова уселись вокруг патентованного стола. Кролло опять принялся наполнять кружки, но привязанная к кольцу в его ноздре длинная веревка попала ему под ноги. Он споткнулся и разбил почетную кружку одного из членов «Благородных Пруссаков». Этот проступок был наказан тридцатью ударами рапирой плашмя. Тут на лбу Кролло появилась складка бешенства — ему не удалось более сохранить выражение тупоумной безмятежности. Тотчас же один из «Благородных Пруссаков» обратил внимание на эти зловещие признаки.

— Эта свинья собирается взбеситься!

— Поглядите-ка на эту скотину. Берегитесь!

— Фуксы, тащите-ка револьверы, — приказал руководитель кружка фехтования.

Фуксы побежали исполнять поручение, а их главарь прицепил Кролло маленькую мишень для дротиков на грудь. Выкормок покорился и этому.

— Садись на задние лапы, мопсик, — приговаривал фехтовальщик. — Ну! Служить!

— Давайте оденем ему веревку на шею, — посоветовал достойный отпрыск Цумбреха.

Так и сделали, и Цумбрех-младший, распалив-

шись, так затянул веревку, что выкормок начал задыхаться. Он захрипел, и злоба его вдруг стала сильнее вмененной осторожности. Он сорвал с себя привязь, одним прыжком подскочил к пивной бочке, поднял ее могучими руками и изо всех сил швырнул на патентованный стол. Тот разлетелся вдребезги вместе со всеми стоявшими на нем кружками, пепельницами и бутылками. Именные рапиры, кующие славу своим владельцам, со звоном разлетелись по сторонам; песенники студенческого братства в новеньких переплетах залило пивом. «Благородные Пруссаки» стояли столбами, объятые ужасом, среди этого разгрома — столь неожиданный всплеск агрессии со стороны обычно мирного Кролло подавляюще подействовал на их боевой задор. Проклятия, стоны, призывы к Дьяволу и к Божьей матери разом смешались со звуками отдельных выстрелов. Весь этот шум был едва ли достоин благородных корпорантов. Руки и глаза юнцов плохо действовали от опьянения и страха. И только председатель и руководитель фехтовального кружка, оба — опытные дуэлянты, попали в мишень на груди Кролло.

Они, впрочем, не успели сосчитать пробоев и поспорить о том, за кем из них остается звание

превосходного стрелка. Кролло схватил ножку стола, разбил ею головы обоих и всех, кто еще двигался по зале, растоптал. Бойня вышла ужасная — и только немногие пьяные, что сошли за мертвых, умудрились избежать гибели.

После этого Кролло покинул малый парадный зал, превращенный им в покойницкую. Но он недалеко ушел — пуля разорвала ему аорту, а это было слишком много даже для него. Он умер на лестнице здания корпорации, счастливый от свершенного им великого и доброго дела.

Ужасное несчастье, о котором уцелевшие могли дать лишь очень смутный отчет, стало горькой пилюлей для радостного и праздничного настроения сверхгерманцев. Взбунтовался еще один выкормок! И опять-таки — с заводов Кноббе!

Теперь-то накопилось достаточно обвинений, чтобы призвать Кноббе на тайный суд.

— Сверхгерманец Кноббе, — сказал блюститель богодержавия Геценлейхтер, и глухой его голос гулким эхом раздался под сводами Церкви Святой Троицы, где происходил суд. — Что ответите вы по совести на следующие три вопроса? Что знаете вы про таинственную болезнь блюстителя мамонодержавия? Откуда взялся сын сверхгерманца Янушалька? Что скажете вы про ужасные убий-

ства, совершенные выкормком Кролло с вашего завода? Мы считаем, что эти три вопроса неотделимы один от другого, считаем их связанными между собой таинственной связью. Дважды мы усыпляли наши подозрения, принимая в учет, что сверхгерманец вашего положения не способен на такие поступки. И теперь, когда погибшие сверхгерманцы указывают на вас перстами, мы желали бы верить в вашу невиновность. Но все же нам необходимо подвергнуть вас этому неприятному допросу!

— Он подкуплен иностранцами, чтобы погубить Сверхгерманию, — заворчал, сидя на своем судейском кресле, Янушальк, у которого после дуэли рука все еще была на перевязи.

Кноббе поднял от возмущения крик, а затем, исходя из сознания собственной невиновности, произнес блестящую речь в свою защиту. Янушальк молча подал ему два обвинительных письма Стефании.

— Ах, — заявил, прочитав их, Кноббе, — теперь я наконец понимаю. Вот из-за чего пролил я кровь моего былого друга. Янушальк, убейте меня, но сначала выслушайте. Этот хитрый полукровка Цюллингер, забывший почести, коими я засыпал его в течение многих лет, проделывал

все эти ужасные вещи. И именно он, только он один, мог одурить бедного Краппе. — Кноббе подробно рассказал, при каких подозрительных обстоятельствах он видел Цюллингера на рождественском вечере. Он назвал в качестве свидетелей, которых следует опросить, Кирилейзона и многих сторожей. Он клялся страшными клятвами и под конец всего расплакался.

— Конечно, я виновен, — признал он. — Я должен был бы лучше охранять этого негодяя Цюллингера. Да, несчастье «Благородных Пруссаков» тоже падает на мою голову. Я уверен, что Цюллингер перед казнью привил последним произведенным им выкормкам некий яд злобы и сумасшествия. Разве не видите, господа, что за всем этим скрывается ужасный план мести? Что за выгода была для меня в преступлении против моих братьев по корпорации? А эти два письма, так грозно меня обвиняющие? Кто их написал? Да, мне пришла в голову мысль, оправдывающая меня! Прикажите арестовать обеих двоюродных сестер полукровки Цюллингера, которые работают у меня посудомойками. Паутина клеветы, в коей запутана моя честь, разорвется. Но сама возможность такого ужасающего подозрения убивает меня!

Он говорил так убедительно, так умно и с таким трогательным благородством, что под конец его речи Янушальк умиленно просил у него прощения. Геценлейхтер тихо улыбался. Ему бросилось в глаза, что Кноббе отрекался от одурения Краппе куда менее основательно, чем от двух других обвинений. Но он почел за благо промолчать.

Кноббе стоял теперь перед судом почти что оправданный. Но его не могли сейчас же объявить свободным от всех обвинений. Сначала надо было выслушать свидетелей и добиться признаний от двоюродных сестер Цюллингера. Тайное судилище решило оставить Кноббе на свободе. Он получил назначение устроителя праздничного шествия, и это был удобный способ держать его на виду. Помимо того, эта должность была связана для Кноббе с большими расходами, что являлось для него своего рода наказанием за слишком большую свободу, какую он, по собственному признанию, предоставил полукровке Цюллингеру.

Между тем связались по телефону с заводом Кноббе и распорядились арестовать двоюродных сестер Цюллингера. Но оттуда пришли дурные вести: обе женщины исчезли бесследно.

— Господи боже мой! — воскликнул Кноббе в

отчаянии. Геценлейхтер успокоил его и членов суда, нашедших то исчезновение весьма подозрительным.

— Они не уйдут от нас, — сказал он благодушно. — Наши сыщики нашли бы вошь, не то что двух старух. — Но он отнесся к поискам небрежно, дабы как-нибудь не навредить Кноббе — к прохвосту он относился более чем благожелательно. Само дело против него он затеял сугубо по настоянию Янушалька. Кроме того, процесс потерял свой интерес. Предстоящие коронационные торжества приводили сверхгерманцев в состояние такого волнения, что они совсем забыли про убийство «Благородных Пруссаков». Сверхгермания жила в эти деньки накануне торжества в каком-то непонятном для иностранцев состоянии очарования. Сотни поэтов корпели над новым гимном государю, за который назначено было невероятное вознаграждение. Тысячи заводов наводняли страну черно-бело-красными украшениями, хотя в них не было недостатка и раньше. Имелись целые горы государственных орлов, скипетров, корон, держав, которыми должны были украситься все здания, площади, памятники, столбы, экипажи, лошади и собаки, каждый фонарь и каждая сверхгерманская грудь.

Миллионы сердец бились быстрее, старые дамы и мужчины, помнившие еще дивные времена прежней императорской власти, стояли на коленях в церквях и у домашних алтарей, прося божьего благословения. Но самые безумные оргии праздновала радость ожидания среди обычных служащих, принадлежавших к низшим слоям сверхгерманцев. Это были духовные лица, преподаватели учебных заведений, законоведы. Грудь их теснил восторг, и они не могли дождаться, когда наконец станут называться императорскими чиновниками. Крупные аграрии покинули свои обширные поместья, а заводчики — свои несгораемые кассы. Все причисляющие себя к верхним слоям населения отправились в священный город коронования, то есть в Потсдам. Охотнее всего выкрасили бы также и небо, и землю в национальные цвета — черный, белый и красный, — но с неохотой ограничились тем, что на месте торжества воздвигали сказочные подмостки высотой в триста метров, увенчанные грандиозным немецким орлом с золочеными крыльями шириной в пятьдесят метров. Это сооружение было не чем иным, как эпической сетью газовых труб, и в день торжества из орла должны были вылетать и подниматься вверх

черно-бело-красные воздушные шары.

Глава 12

Но где же прятался в это время Цюллингер — это порождение дьявола? И где укрылась его двоюродная сестра — бывшая ханжа, ныне ставшая валькирией?

Покинутая штольня в угольных копях Кноббе стала для них безопасным убежищем.

Цюллингер все еще был в женской одежде, но поверх юбок он носил рабочий халат, чей грязный вид приводил в ужас Стефанию. Старик-ученый грустно сидел на окаменевшем пне в самом отдаленном и темном углу пещеры. Все его время протекало в думах о прошлом и будущем. В темные ночи к нему приходила Гера и другие выкормки, бывшие в состоянии мыслить и хоть как-то говорить. Являлись также иные рабочие из народа — их хоть и с трудом, но все же удалось завербовать для общего дела. Это были ветераны прошлых гражданских войн. Мозоли на их руках, оставшиеся от ружейных прикладов, и старые шрамы на телах все еще зудели. Цюллингер раздувал в этих горячих головах потухшее пламя, и все они теперь торопили его с решительными действиями, почитая своим вождем и отцом.

— Необходимо что-то предпринять! — говорили они. — Наши братья ропщут под гнетом рабства. Мы не вправе их дольше сдерживать!

— Ах, у нас слишком мало оружия и людей, — с грустью говорил Цюллингер.

Гера выступила вперед:

— Нас уже тридцать тысяч. У нас крепкие кулаки, мы выносливы и смелы!

— Этого мало. Вас всех перебьют!

Но выкормки не имели ни малейшего понятия о смерти.

Цюллингер оставался подавленным и погруженным в себя.

— Вспомни о твоих бедных двоюродных сестрах, о наших несчастных Иде и Фекле, — уговаривала его Стефания, ныне казавшаяся решительнее его. «Господи, боже мой, это меня мало волнует», — думал он про себя.

— Подумай о нас, — кричали выкормки и немногочисленные рабочие из народа.

— Вы слишком молоды либо слишком стары. Мы не справимся. Мы не подготовлены.

Конечно, Цюллингер понимал, что такой удобный случай, как коронация, подвернется еще не скоро. Он также знал, что не может вечно сидеть в своей пещере. Алкоголь у него почти уже весь

вышел. Маленький бочонок денатурированного спирта, захваченный им при бегстве из заводской кухни Кноббе, стал подходить к концу, а ведь только спирт и держал дух в его исхудавшем, почти воздушном теле. И все же он не мог взять себя в руки. Темень его убежища точно омрачила его душу и уничтожила всю его решимость. Но дело было не только в этом. Настоящая причина его нерешительности лежала глубже. Странный случай с одним выкормком совсем выбил его из колеи.

Этот выкормок был кочегаром при паровой машине, установленной в копях. Исходно звали его Плутоном, но Цюллингер, обнаружив в нем после его оздоровления от одурения философские наклонности, называл его Платоном. Этот выкормок до того был убежден, что машина, чей огонь он поддерживал углем, — живая тварь, что предельно серьезно просил, чтобы Цюллингер дал ей средство против одурения, чтобы ему больше не требовалось эту штуку обслуживать. Цюллингер ответил, что это сделать нельзя, так как машина собрана из мертвого железа. Только созданные из живого вещества люди обладают даром разумного мышления. И в ответ на удивленный вопрос выкормка, человек ли он, Цюллингер рассказал о

его появлении на свет и об истории всей страны. Надо было думать, что теперь Платон озлобится на сверхгерманцев и станет стремиться к борьбе с несправедливостью, но Платон спокойно заявил, что сверхгерманцы были, похоже, на самом правильном пути к решению социального вопроса. Потом в нем закипела злоба, и он стал упрекать Цюллингера.

— Зачем вывел ты нас из яиц, без твоего наглого вмешательства обреченных на вечный сон? Зачем освободил ты нас теперь от дурмана? Чтобы мы для вас таскали каштаны из огня голыми руками? Твое поведение безнравственно, и я не хочу иметь с тобой ничего общего. Ты сказал, что я и мой брат были сыновьями порабощенного отца и что мы многим обязаны тебе. Конечно, несчастный человечек, обманщик — это ты наш отец! Мне кажется, что иметь родителей — большое несчастье… Ты в своей низости утверждаешь, что вы были когда-то свободны и что свободу мы потеряли только вследствие несчастных обстоятельств. Моим настоящим отцом, значит, был углекоп, работавший на сверхгерманцев, когда-то бывший свободным человеком. Ты смеешь мне это рассказывать? Вы не могли быть свободны, ибо как свободный человек может стать рабом?

Неужели я должен бороться за свободу рабов? Все, что вам нужно, — это быть рабами, иначе вы не были бы ими или не жили бы больше на свете. Ты говоришь, что глупость и слабость людей больше, чем следовало бы ожидать, и что я тоже человек. Спасибо за такое удовольствие! Стыдись, Цюллингер! — Проговорив это, Платон сердито, не желая слушать дальнейших поучений, полез в огонь под паровым котлом и даже притворил за собой дверь топки.

Остальные выкормки не были столь чувствительны, как Платон. Они требовали мести. Однако, как сказано, этот случай подавляюще подействовал на решимость Цюллингера.

Но тут Стефания задумала хитрость и потихоньку переговорила с Герой. Та поступила так, как ей приказала Стефания.

— Хозяин, — закричала она при следующем посещении, — наши дела плохи! Химики знают теперь, почему выкормки становятся все бодрее. Они не дают нам больше вашего питательного экстракта. Всех нас будут одурять во второй или даже в третий раз!

Это известие положило конец его сомнениям. Цюллингер вскочил.

— Недурная новость! Гера, созови ко мне всех

наших друзей. Пожалуй, Платон был прав: мне не стоило изобретать выкормков. Но раз они уже изобретены, Платон, вероятно, не возражал бы против повторного одурения, ведь это тоже в каком-то роде смерть. Но для меня выбор прост — мои создания не должны быть снова превращены в машины. А я, старая полевая мышь, не хочу полыхать, как устрица в раковине. Несчастные, жалкие химики! Нет ничего отвратительнее полукровки, сдается мне. Право, даже и сверхгерманцы… и те мне в чем-то милее!

Кое-чему Цюллингер все же научился у Платона. Он осыпал страшной бранью своих прежних товарищей по службе. Он пытался было восстановить кое-кого из них против сверхгерманцев, но все старания разбивались о добронравие этих людей, желавших слушать только мягкие речи. Теперь они раскрыли его тайну. Его толстый, лишенный волос затылок трясся от злобы.

— Вальпургиева ночь! — крикнул он своим выкормкам и рабочим.

— Что это такое? — спросили выкормки.

— Это ночь, в которую добрый дракон будет давить сверхгерманцев, как блох.

— Мы их раздавим! — ликовала в глубине пещеры Стефания. — Горе тебе, Кноббе!

План военных действий был очень прост. Конечно, сперва требовалось уведомить всех выкормков, но это было нетрудно. Ежедневно с заводов Кноббе отправлялись вглубь страны целые эшелоны выкормков. Наблюдение за ними как раз в эти дни велось довольно слабо. Само собой, очень легко было добавить в каждый из этих эшелонов парочку бунтовщиков.

— Прежде всего мы должны перерезать все провода, — повторял Цюллингер свои наставления, — потом уже все остальное, как было условлено. Затем марш на вокзалы! Все, кто носит звание выкормка, и все, кто на работе сохранил хотя бы искру мужества, должны собраться тут, на заводе Кноббе.

Стефания радовалась, как дитя:

— Вот так план, вот так план! Арнольд, ты тогда будешь государем, так ведь?

«Глупая гусыня», — подумал Цюллингер; он предчувствовал плохой конец, но скрывал свои сомнения. В пещере снова стало тихо.

Так обе стороны готовились к торжеству, и первого мая утром солнце взошло над Потсдамом. Весело сверкала новая, чрезмерно широкая, окаймленная трибунами улица, построенная для нужд торжества. Но прохладный северный

ветер гнал по небесам облака, и дамы, явившиеся в белых шелковых нарядах, кутались в свои черно-бело-красные меха. Трибуны гнулись под тяжестью переполнявших их сверхгерманцев. Далеко вокруг не было видно ни одного дерева, ни одного кустика или даже травинки. Все зеленое старательно уничтожили. Этот цвет мешал бы гармонии трех национальных цветов.

Несмотря на огромное скопление людей, царила почтительная, благоговейная тишина. Сверхгерманцы умели вести себя с достоинством! Но все сидевшие на трибунах: мужчины во фраках с орденами в петличках и на груди, дамы в шуршащих шелковых платьях и даже хорошенькие девочки и маленькие мальчики, одетые в детские костюмчики, скроенные на манер генеральских мундиров, — были недовольны, что не могли принять участия в шествии (вообще, по факту этого самого участия установились неприязненные отношения между многими, несмотря на то, что право участия решалось лотереей).

С севера ветер донес смутный шум — там был отправной пункт шествия. В конце триумфальная улица расширялась, и там, прямо под возвышением в триста метров высотой, украшенным фигурой орла, сидели на золоченых стульях три

блюстителя государства: в середине — блюститель великого богодержавия, а слева и справа от него — сверхгерманцы Янушальк и Краппе. Безнадежно бессмысленный взгляд Краппе был уже не в состоянии воспринять весь этот блеск, все это черно-бело-красное великолепие. Краппе напоминал теперь собой лягушку, но восседал он все же в прежней позе, полной достоинства.

Вдруг загремели тысячи труб, первый шар поднялся из орла к небу, и сверхгерманцы все как один обнажили головы. Торжественное шествие проходило мимо трибун. Впереди шествовал *Он* — Избранник, которого просветитель неверных избрал как самого глупого из потомков Вильгельма Лемана. Он стоял во весь рост на великолепной колеснице, влачимой дюжиной жеребцов. Среди зубцов гигантской короны, возвышающейся над колесницей, он казался крысой в мышеловке. Вокруг него толпились, исполненные скромности и в то же время достоинства, высшие духовные лица страны, сзади следовали гурьбой придворные сановники. В их экипажи было запряжено по шесть лошадей: две вороных, две белых и две рыжих. Потом следовали оркестры, почетный конвой, делегаты от государственных учреждений, от сословия крупных помещиков,

от заводчиков, от чиновников и от студентов.

Вот, тяжело ступая, промаршировали три сотни самых здоровых выкормков. Первая сотня несла золотые кресты, вторая — мешки с золотыми монетами, третья — корзины, полные золотых картофелин. Эти три сотни воплощали собою блеск всех трех блюстителей государства. Далее за ними, радуя взор, проходили группы, символически изображающие гордость королевства: Карл Великий, Людовик Благочестивый, Барбаросса с огромной рыжей бородой… все великие личности в истории воскресли к этому торжеству.

Потом следовали опять экипажи, верховые и оркестры. В самом конце ехал Кноббе — далеко не в праздничном настроении. Его возмущало, что он оказался в хвосте, но как организатору шествия ему не оставалось ничего другого.

Он мог бы утешиться тем, что торжественное шествие следовало в большом порядке и производило внушительное впечатление. Оно растянулось во всю длину триумфальной улицы, и всё, конечно, не могло вместиться на коронационной площади. Вследствие этого экипаж Кноббе остановился на полпути между трибунами, и Кноббе не мог видеть самой коронации. Он не увидел, как юный кандидат на престол сошел с

коронационной колесницы и опустился на колени на бархатную подушку перед Геценлейхтером. Кноббе не слышал великолепной речи блюстителя великого богодержавия и довольствовался лишь взрывами ликования, доносившимися к нему от трибун.

— Теперь Янушальк сдает власть блюстителя великого земледержавия. Вот поднимают кресло Краппе. Краппе не может говорить — Геценлейхтер говорит за него.

«А мне даже увидеть ничего не удалось!» — проклинал свою судьбу Кноббе. Его мечта стать блюстителем мамонодержавия развеялась теперь как дым.

И вдруг сама земля будто содрогнулась. До сих пор с трудом сдерживаемый восторг разразился в приветствиях государю — троекратное «ура» новому кайзеру. Волны воплей относило к самой Юнгферзее — Геценлейхтер возложил на Него, на Избранного, мантию из шкурок горностая и украсил его, дегенерата, голову императорской короной.

Наступила тишина. Казалось, за этой паузой скрывается что-то безумно значимое. Сильнее затрепетали бесчисленные флаги на высоких мачтах.

«Ну, теперь начинайте ваше обезьянье представление», — злобно подумал Кноббе.

Подобострастный шепот пронесся по толпе, точно ветер по осиновому лесу. Огромная светящаяся корона зажглась над высоким сооружением на площади.

— Государь! Он будет говорить тройную речь!

В то же мгновение новый монарх стал виден и злобствующему Кноббе. Площадка с кафедрой, где стоял государь, при помощи механизмов вознеслась в воздух на добрых два десятка метров. Этот величественный постамент под нежные звуки молитвы с царственной медленностью двинулся над трибунами, и весь сверхгерманский народ увидел Владыку во всем его величии. Лицо кайзера было бледно, как снег, что объяснялось не одной лишь важностью момента, но и круговым движением кафедры, причиняющим ему дурноту вроде той, что бывает при морской болезни.

Музыка враз умолкла, и на мгновение над местом торжества воцарилось молчание, достойное отдельной отметки в истории. Затем тишину прорезал скрипучий голос. Это свое веское слово молвил государь. И он выразил все, что его волновало в этот момент, в одной фразе:

— Вашу жизнь я сделаю прекрасной.

Потом он развернул лист бумаги, чтобы прочесть то, что написал ему Геценлейхтер. Но не успел этого сделать.

Где-то на краю площади что-то заколыхалось. Послышался злобный недоверчивый ропот, крики возмущения посыпались с трибун.

Кноббе тщетно вытягивал шею, силясь разобрать, в чем там дело. Вдруг позади себя он услышал отчаянный крик. Велокурьер дико мчался по опустевшей триумфальной улице. Кноббе узнал одного из своих слуг.

— Карл? — вопросительно взревел Кноббе.

— Выкормки! Они овладели заводами! Цюллингер…

— Глупости! Это невозможно! — закричал Кноббе и приказал слуге молчать, но колени его дрожали.

Впереди на праздничной площади распространилось такое же тревожащее известие. Сверхгерманцы, не ожидавшие ничего серьезнее незначительной местечковой вспышки, не очень-то беспокоились. Отдавались приказы, и то один, то другой покидал площадь или трибуну, а потом все снова начало стихать. Геценлейхтер старался успокоить всех.

Тут произошло нечто неописуемое.

Триста выкормков, чье шествие занимало не последнее место в программе, вдруг сразу выпрямились, точно только ждали знака. С криком мести побросали они в сверхгерманцев свои кресты, мешки с деньгами и корзины, полные золотых плодов, и, пробив себе дорогу, стали бесноваться, подобно диким кабанам, и в суматохе давить упавших. Столь страшная неожиданность — давка, безумные крики женщин и детей — парализовала всех на трибунах. А вскоре уже и сами сверхгерманцы стали давить друг друга, спеша спасти свои жизни.

Выкормки были охвачены дьявольской злобой. Они добрались и до того места, где восседали блюстители государства, правители. Краппе, окаменелым взором смотревший перед собой, был убит. Янушальк пал, храбро отбиваясь. Спасся один лишь Геценлейхтер, спрятавшись за суконной драпировкой трибун. Кайзер тоже поспешил скрыться. Он слез с постамента и соскользнул по его трубчатой раздвижной опоре вниз, как пожарный.

Почетная конная стража должна была броситься в атаку, но фыркающие, врезающиеся в толпу лошади вставали на дыбы, бесились и только увеличивали число жертв. Не помогли и юнкера

— их теснили к трибуне, и они ранили друг друга шпагами. Умирая от рук выкормков, они издавали отчаянный воинственных крик.

Через пять минут вся краса и гордость Сверхгермании, участники торжественного шествия лежали на земле в судорогах, хрипя или уже сведя все счеты с жизнью. А выкормки собирались штурмовать трибуны. Но тут их испугал пронзительный, ими никогда до сих пор не слышанный крик женщин. Они заткнули себе уши, отступили назад и сгрудились в кучу посреди площади.

У них тоже были потери. Сверхюнкерство в особенности не сдавалось без боя. Даже лежа на земле с выпущенными потрохами, юнкера ухитрялись разрезать выкормкам сухожилия ног. Эти охромевшие валялись теперь подобно раненым медведям среди трупов сверхгерманцев, и стоны их возбуждали жалость в их собратьях. Оставшиеся невредимыми выкормки рассеялись по площади и пытались подобрать своих товарищей. При этом они не обращали внимания на выстрелы, раздающиеся теперь с трибун. Большая часть из них не имела никакого понятия об огнестрельном оружии, и они только удивленно вскрикивали, когда в их тело впивалась пуля.

И тут Кноббе стал спасителем отечества. В

самом начале свалки он, благословляя теперь судьбу за свое место в хвосте, повернул экипаж и галопом помчался к месту старта торжественного шествия. Там стояли наготове, обеспечивая нормальное течение праздника, два огнетушителя. Такими же огнетушителями год назад Цюллингер унял любовный пыл первых питомцев. Итак, Кноббе вскочил в попавшийся ему тут броневик. Путь теперь был более или менее свободен. То, что было бы невозможно несколько минут назад из-за всеобщей свалки, теперь уже не представлялось трудной задачей.

Оба огнетушителя выдвинулись вперед. Выкормки бросились было навстречу новому врагу, но ловко направленные струи окончательно привели их в замешательство. В то же мгновение хлынула с трибун на площадь волна разъяренных, обозлившихся людей, и орда выкормков пала бесславно, перебитая, подобно баранам. А под конец дамы еще протыкали их шляпными булавками.

Но все равно торжество неожиданным образом было прервано. Поднялись жалобные вопли. Слезы оставшихся в живых смешались с кровью погибших. Геценлейхтер, дрожа всем телом, вылез из своего угла и вспомнил о кайзере. Тот

лежал, жалобно охая, на полу за кафедрой — полумертвый из-за отшибленного в процессе экстренного спуска седалища.

Но вскоре злоба преодолела подавленность. Яростные слова передавались из уст в уста. Никто не мог пока себе объяснить неожиданного несчастья. Определенных известий еще не было, так как телефонные и телеграфные провода оказались перерезанными, а это было плохим знаком. Случайные же сообщения по радио не могли осветить положения. Только к вечеру выяснился весь ужас произошедшего.

Выкормки разрушили все заводы, где работали, убили сторожей и завладели оружием. Большая часть рабочих перешла на их сторону. Они захватили вокзалы, составили поезда и уехали. По всем данным, заводы Кноббе выступили очагом восстания. Туда направились все выкормки и оттуда нельзя было получить ни малейших вестей. Паж Кноббе, бежавший оттуда на велосипеде, смог рассказать очень мало — только уверял, что своими глазами видел полукровку Цюллингера живым. Это казалось чем-то невероятным. Но, впрочем, при всех остальных слагаемых ситуации, невероятным ли? Выкормки овладели речью, они подняли восстание среди части со-

вершенно спокойных до сих пор рабочих. Тут скрывались тайны, вполне способные свести с ума суеверный люд, но сверхгерманцы не были суеверны. Они, конечно, в огорчении вздымали руки к небу, ибо такое несчастье будет иметь подавляющее влияние на положение промышленности и экономики. Но руки их скоро сжались в кулаки. Они высчитали, сколько выкормков и рабочих могло собраться на заводах Кноббе. Подсчет показал, что всего не могло быть больше 25 000 выкормков и 1 000 рабочих. К счастью, успели остановить в открытом поле несколько поездов повстанцев и уничтожить снарядами с ядовитыми газами. У бунтовщиков было оружие, но пользоваться им они, вероятно, не умели — владение оружием с давних пор было привилегией одних только сверхгерманцев, и за нее они очень цепко держались. Принимая это во внимание, сверхгерманцы оправились от испуга и спешно стали готовиться к борьбе.

Глава 13

— Все идет великолепно! — ликовала Стефания, когда один за другим стали подъезжать поезда с выкормками. Цюллингер был менее радостно настроен: он страшился последствий своей смелости.

— Лучше всего было бы нам не ждать прихода сверхгерманцев, — говорил он вождям бунтовщиков, — а рассесться по поездам и уехать за границу. Ближе всего — Богемские леса…

Рабочие из народа были согласны с ним. Расписание поездов составили наскоро.

— Я остаюсь, — заявила Стефания.

— Мы тоже остаемся, — сообщили выкормки.

— Вы в своем уме? — накинулся на них Цюллингер.

— Мы не убили никого из семьи Кноббе — ни жену, ни дочку, ни самого старика. И Кирилейзона тоже. Не уеду, пока не выдеру этому Кноббе глаза, — упрямилась Стефания.

— Мы плохо переносим езду по железной дороге, да и стук колес нам неприятен. Мы остаемся тут, и дело с концом, — заявили предводители выкормков от лица всех. Из гордости они скры-

вали настоящую причину отказа. Дело в том, что рабочие уже повадились дразнить выкормков за их полное незнание всяких мелочей практической жизни. Это их так обижало, что они не хотели ехать вместе с рабочими.

Цюллингер всячески старался склонить их к отъезду.

— Сверхгерманцы ведь еще со времен великой войны искусны в использовании синих и желтых ядовитых газов! Они выкурят нас, как кроликов, — пояснял он.

— Да чего там толковать! — воскликнула Стефания, а за ней Гера и все предводители питомцев. — Мы верим в твой гений!

— По вагонам! — кричали рабочие, горел уголь в котлах паровозов, тендеры полнились топливом и бензином для автомобилей.

— По вагонам! — уговаривал также и Цюллингер, но выкормки не слушали его. Рабочие не стали долго думать. Они забрали отобранное у сверхгерманцев оружие и уехали. Вечером того же дня достигли они границы, и так как пограничная стража по случаю торжества была пьяна, то они полным ходом счастливо проскочили мимо нее.

Выкормки без сожаления и без понимания про-

исходящего глядели вслед рабочим, не осознавая своего положения. Они по-детски радовались новой свободе, удивлялись тому, что за их спиной не стоит больше надзиратель с кнутом. Многие из них, все еще мало развитые, воображали, что сверхгерманцев уже больше не существует и что, следовательно, все уже в порядке. Но от непривычной бездеятельности они становились беспокойными и задумчивыми. Они оглядывали свои руки, в это утро свернувшие шеи своим тиранам. Так как они росли на вегетарианской пище, кровь и насилие были им глубоко противны. Когда ненависть к мучителям была наконец-то выказана, они ощутили нечто вроде мук совести.

— Может быть, нам не следовало этого делать, — говорили одни.

— Высекли бы их кнутом, как они нас, да и дело с концом, — сокрушались другие. Ну а третьи, самые сознательные, находили себе оправдание в том, что должны были мстить также и за свое одурение.

— Так и мы должны были их, в свою очередь, одурить, — говорили первые, ища в мире справедливость.

А Цюллингер, пока выкормки предавались мудрствованиям, совещался с ближними.

— Что вы думаете обо всем этом? — спрашивал он озабоченно.

— Думаю, все просто, — сказала Стефания. — Мы подождем прихода сверхгерманцев, а пока ты придумаешь средство против их ядовитых газов. Мы спрячемся в штольне, дадим им истратить все их заряды, а потом нападем. Представляю себе, как они запищат!

Гера была того же мнения, но остальные выкормки не отличались кровожадностью. Они достаточно побесновались, их жажда мести была удовлетворена, и они предложили отправить делегацию к сверхгерманцам. Они готовы жить в мире, если их больше не будут тревожить. Это было, по их мнению, справедливое условие, и сверхгерманцы должны были согласиться.

Цюллингер горько улыбнулся. Стефания стала злобно ругаться. Вокруг них собралась большая толпа выкормков, и ученый пытался разъяснить им всю серьезность их положения.

— Мы хотим работать без кнута и иметь детей, как все прочие люди. Если и впрямь еще осталось много злых сверхгерманцев, кроме тех, кого мы сегодня утром убили, то они должны быть достаточно понятливы, чтобы оставить нас в покое. Иначе ведь мы можем еще убить многих из них!

Они нас били кнутом и одуряли. За это мы покончили со многими из них, теперь мы квиты. — Так отвечали выкормки, внимательно выслушавшие Цюллингера.

— Бараньи вы головы! — закричала вдруг Стефания, не давая больше говорить своему двоюродному брату. — Вы хотите иметь детей, как другие люди? Да разве вы не знаете, что сверхгерманцы обесплодили вас? Вы все просто-напросто рабочие волы!

Тут выкормки стали грустны. Цюллингер вынул из кармана записную книжку.

— Пятьдесят из вас остались способными к деторождению, — сказал он, утешая их, и огласил номера этих счастливцев. Оказалось, правда, что из этих пятидесяти выжило не более половины. Они были горячее своих товарищей, с большим пылом бросались в бой, и потому многие погибли.

— Значит, вы будете производить детей, — сказали выкормки своим способным братьям и сестрам, — и ваши дети будут принадлежать всем нам. Мы будем работать ради их блага и защищать их. Конечно, нам следовало бы обесплодить большинство сверхгерманцев — так же, как они обесплодили нас!

— Арнольд, скажи же что-нибудь! Ведь ты же наша опора! — горячо накинулась на него Стефания, не зная, как быть дальше.

— Итак, — взял слово Цюллингер, — мы, прежде всего, выроем ров и насыплем вокруг заводов Кноббе кучи земли. Пусть сверхгерманцы чувствуют к нам уважение. В остальном мы последуем твоему совету, Стефания. Конечно, я не могу так скоро изобрести средство против ядовитых газов, но эти угольные копи кажутся мне очень удобными для нас. Мы выберем самую длинную штольню и начнем в конце нее буравить выход наружу. Только надо действовать со всей возможной поспешностью! Идемте же, дети мои. — Он распределил работу, и выкормки, начинавшие уже скучать, от усердия чуть не сбивали друг друга с ног. Сам он пошел со Стефанией, Герой и самыми ловкими из выкормков в помещение, где хранились яды для одурения. Там стояли огромные бочки, полные вредоносной жидкости. Тут он принялся за изготовление особых ядовитых бомб. Он наполнял большие железные реторты взрывчатым веществом и пропитанными ядом шлаками. Эти адские машины он заставил закопать в разных местах глубоких шахт и протянуть от них провода к поверхности земли, чтобы в

нужный момент можно было привести их в действие. Самые опытные по части земляных работ старались изо всех сил. Бомбы были закопаны, а на следующее утро вал и ров были уже готовы. С каждым часом углублялась штольня, готовя выход беглецам.

Стража, стоявшая на валу, не спускала глаз с широко раскинувшихся кругом полей, но ни один сверхгерманец не показался на горизонте. Выкормки начинали уже посмеиваться над опасениями Цюллингера. Весело было на заводах Кноббе. Все работали от души, отдыхом же служили объяснения и наставления, а до них выкормки были большие охотники.

— Зачем нас били и одуряли? — спрашивали они. — Такая-то глупость. Вот если бы нам не делали зла, нам не пришлось бы мстить.

Верный правде Цюллингер отвечал, что у сверхгерманцев есть изъян, и имя изъяну этому — барыш. Если они этому богу усердно приносят в жертву человеческие жизни, то бог этот дает им их царство небесное — капитал. Само собой, такой ответ показался выкормкам чересчур замысловатым.

— А что такое барыш? Что такое бог? Что такое капитал? — спрашивали они.

Цюллингер пытался говорить как можно понятнее и проще, но выкормки смеялись, ибо то, что объяснил ученый, казалось им ужасно смешным. Тут Цюллингер принялся читать целую лекцию о развитии человеческого рода и рассказал, как в древние времена нужда приводила к вражде и как сильнейший заставлял слабейшего работать на себя.

— Ближе к делу! — кричали выкормки. — Ведь мы сильнейшие! Да и сверхгерманцы — разве же они голодают?

Цюллингер не давал сбить себя с панталыку выкриками.

— Я только хочу вам показать, откуда все произошло. Сильнейший стал богат, и, чтобы использовать свое богатство, ему понадобилось изобрести удобный и легко переносимый в жилетном кармане эквивалент собственности — деньги.

— Это было совсем не так глупо, — одобряли выкормки.

— Но тогда богатые могли стать слабыми, как селедки, — продолжал Цюллингер. — Вся их сила крылась в деньгах.

— Так, значит, бог существует?

— Конечно. Очень сильный и очень злой!

— Его почитают в больших домах с башнями, где много крестов и пестрых картин?

— Это особенно хитрое измышление. Прежде люди были достаточно честны, чтобы почитать того Бога. Но со временем это показалось им бесполезным делом. А богатые знали, как им поступить в этом случае. В древние времена они как будто распяли одного бедного хорошего человека и из года в год продолжали его распинать на крестах из черного дерева, слоновой кости и золота. И они заставляют своих рабов склоняться перед распятием и говорят им: «Вот ваш бог! Мы распяли его на кресте. То же мы могли бы сделать с вами! Поймите, как великодушны мы по отношению к вам. Он добровольно дал распять себя. Так и вы не противьтесь тем мукам, какие исподволь причиняем мы вам. Вам лучше бы плясать от радости и благодарности, что мы вас только щекочем кнутом, тогда как Господа вашего — распяли». Сами они тоже становятся на колени перед крестом и молятся. «Мы бесконечно преклоняемся перед тобой, милый, славный символ. Что бы стало с нами без тебя! Так виси же там, где мы приколотили тебя золотыми гвоздями, еще не один век». Так чтут они бедность и страдания, ибо благодаря им они получают богатство и счастье.

— Это несправедливо, — сказали выкормки. Они нашли, что очень глупы те рабы, что позволяют так поступать с собой. С ними поступать таким образом нельзя было бы! Затем они попросили разъяснить, что такое барыш.

— Какой ужас, — воскликнули они тогда, — барыш превращает малое в большое? Он из ничего создает нечто? Но в этом ведь неподражаемая, божественная сила! Но получается, божественная сила безнравственна. Не годится превращать ничто во что-то. Необходимо уничтожить этого бога.

— Так сделайте это, — воскликнул Цюллингер, — а это очень трудно! Окружающие нас народы собственными силами сбросили иго этого кумира, и мы тоже бывали уже не раз свободны от такого гнета. Но каждый раз в нашей стране деньги в конце концов оказывались сильнее людей. После великой войны наступила нужда, и народ вопил: «Мы помираем с голоду». Тогда им дали немного денег, чтобы купить необходимое, но этих денег не хватило надолго, и вопль о голодной смерти зазвучал вновь. Снова им дали немного денег на самое необходимое. И так повторилось раз сто… Бедняги все гонялись за деньгами, чтобы голод не убил их. Они привыкли

из нужды уважать деньги, хотя должны были их презирать. Ну а кумир радовался и губил не верующих в него, либо убивая их, либо изгоняя из страны. Так сверхгерманцы и стали господами — дьяволами из дьяволов!

Выкормки шумели, они хотели стереть этот чудовищный порядок в порошок.

— Довольно, — кричали они Цюллингеру, — нам малопонятна твоя речь. Мы только понимаем, что сверхгерманцы, про которых ты нам рассказываешь, хуже свиней и дурнее только что одуренных выкормков.

Цюллингер приуныл; он вспомнил надвигающуюся опасность, и сердце защемило у него в груди от горя при мысли, что эти неиспорченные, дышащие здоровьем существа, несомненно, уже скоро тем или иным путем будут стерты с лица земли. Но они пока жили и должны были еще бороться, совершать великие подвиги…

Душевное волнение заставило его умолкнуть, и он пошел посмотреть приготовления к обороне. На продуктовых складах шла усердная работа: тачка за тачкой, полные продуктов, исчезали в темной пасти штольни. А из штольни возвращалась тачка за тачкой, полные землей, и уже вырос высокий холм, как доказательство усердной ра-

боты выкормков.

— Отлично, — хвалил Цюллингер, — проделайте наверх отверстия для воздуха, закройте дыры получше кустарником, поставьте такие двери, чтобы их быстро можно было запереть. Не ленитесь!

Над заводом показался аэроплан. С него на землю вдруг слетели тысячи больших черно-бело-красных листов бумаги. Выкормки любовались падающими листками, видя в них вестников мира. Они не умели читать, так что с содержимым листков их познакомила Стефания. Сверхгерманцы ставили условием выдачу Цюллингера и всех его защитников. Только в таком случае им обещали помилование, иначе грозили, что выкормки не доживут до утра следующего дня.

Появился еще аэроплан. Он покружился высоко в воздухе и затем исчез.

Выкормки решили, что над ними нагло издеваются, и стали еще усерднее рыть окопы. Стража на валу увидала вдали конницу и повозки. Сверхгерманцы надвигались со всех сторон. Медленно и нерешительно подъехал к самому валу одинокий автомобиль. На нем развевался большой белый флаг.

— Кто там? — закричала стража и вооружилась

острыми камнями.

— Это я, — заблеял из автомобиля голос, — я, ваш старый друг и благодетель Кноббе!

Пораженные, выкормки на валу провели владельца заводов Кноббе к Цюллингеру.

Поездку эту Кноббе предпринял далеко не по собственному почину и не по доброй воле. Несмотря на его геройский поступок в роли тушителя народного пожара, его судили вторично. Когда сверхгерманцам стали ясны объемы и опасность восстания выкормков, они пустились в поиски виновника. Семьи убитых государственных правителей Янушалька и Краппе вспомнили старые свои подозрения, и на Кноббе посыпалась куча обвинений. Они громко кричали, что это он взбунтовал выкормков, чтобы с их помощью забрать всю власть и погубить государство. Обвинение, особенно в первой своей части, было бессмысленно, но сверхгерманцам срочно требовался козел отпущения. И даже Геценлейхтер отвернулся от Кноббе.

Так как изобличить Кноббе и довести его до признания не удавалось, а линчевать столь высокопоставленную персону не давал закон сверхгерманского общества, то было решено предоставить решение дела высшему правосу-

дию. Постановлено было отправить Кноббе в качестве шпиона к выкормкам.

— Если вы, господин сверхгерманец Кноббе, — изрек кайзер, сам выносивший приговор в этом затруднительном процессе, — действительно заодно с этими свиньями, чему нам не хотелось бы верить, то наше великодушие предоставляет вам шанс взять там в свои руки верховное командование. Если же вы, как мы надеемся, невинны, то возвращайтесь к нам с необходимыми для дела сведениями. Мы от всего сердца желаем вам в этом благородном предприятии счастья и благословляем вас.

Сверхгерманцы были довольны решением государя. Они считали, что Кноббе хотя бы погибнет: если невиновен — питомцы его растерзают, но и поделом, если виновен — пушки и начиненные ядовитыми газами снаряды стояли наготове. Смерть бунтовщикам!

Но Кноббе пока не терял надежды. Он рассчитывал обмануть выкормков лживыми посулами и доболтаться до благополучного возвращения в стан к «своим». Все же ему стало не по себе, когда он предстал перед Цюллингером.

— Вы еще живы, господин тайный советничек? Какое счастье для вас! Я поражен!

— Что вам угодно, господин Кноббе? — спокойно спросил Цюллингер, в свою очередь изрядно удивленный.

— Я привез вам предложения сверхгерманцев.

— Вы хотите сказать, что вы всеподданнейше позволяете себе оскорблять наш слух лживыми уверениями отвратительных мучителей? Извольте повторить за мной!

Кноббе повторил его слова, но готов был при этом откусить себе язык.

— Говорите четко и раздельно, Кноббе. Чего же вы хотите?

— Сверхгерманцы извещают вас через меня…

— Прошу вас: банда пьяниц и бездельников, так называемых сверхгерманцев, имеет дерзость через мою вонючую акулью морду… и далее в том же духе. Покорнейше прошу вас не пренебрегать установленными формами вежливости.

Так «исправлял» Цюллингер речь Кноббе. Он не смог отказать себе в этом маленьком торжестве. Кноббе весь вспотел от злобы. Его сверхгерманская честь кипела от возмущения перед таким унижением. Но, в конце концов, жизнь ему была дороже гордости. Он послушно повторял все, что от него хотел Цюллингер. Суть послания Кноббе сводилась к следующему: выкормки получали

разрешение на свободный выезд за границу, либо же им выделялась область в стране по их выбору, где они могли бы спокойно жить и работать. Все, что от них сейчас ждали, — чтобы они поскорее определились с конкретными требованиями.

Выкормки прислушивались к речам Кноббе с открытыми ртами. По своей простоте они принимали его выдумки за чистую монету.

— Не верьте ему, — предостерегал их Цюллингер, но они не желали слушать его советов.

— Почему нам ему не верить? Он ведь говорит все как есть!

Вдруг сквозь толпу прорвалась Стефания и, точно мамка, защищающая своих птенцов от ястреба, бросилась на пораженного Кноббе.

— Этот человек повинен в смерти моих сестричек! Ида! Фекла! Поглядите с небес, как я рву этому палачу бороду! — Она пронзительно кричала, кусалась и царапалась, и, подобно огромному пауку, болталась на роскошной бороде Кноббе. Выкормки, со свойственным им чувством справедливости, не мешали расправе Стефании. Но Кноббе был сильный мужик: он быстро оправился от испуга, крепко схватил Стефанию за костлявые руки и отвел ее от себя. Она, продолжая кричать, плюнула ему в лицо, и он швырнул ее на

землю. Выкормки заворчали и помогли Стефании подняться на ноги. Но они не тронули Кноббе: им казалось недостойным делом обидеть посла.

Стефания бесновалась. Цюллингер пытался ее успокоить. Выкормки ничего не имели против повторения рукопашного боя между двумя врагами. Гера услышала скрипучий голос Стефании, поспешно подбежала и за юбку удержала старуху, готовую снова броситься на Кноббе. Гера сделала это, конечно, не из любви к Кноббе — она боялась за исход неравного боя. Указывая на Кноббе, она вторила ругательным выкрикам Стефании.

— Вот стоит черно-бело-красный урод, делавший из вас фабричный товар! Это он вас продавал, как скотину, это он одурял и стерилизовал вас! Вырвите этому коршуну когти!

— Кажется, это и впрямь плохой человек, — сказали выкормки и приняли угрожающие позы. Но один из них, самый умный, выступил вперед и высказался за то, чтобы схватить Кноббе и дать Стефании выпороть его хорошенько. Затем он предложил отослать Кноббе обратно к сверхгерманцам с тем, чтобы он сообщил им, что выкормки не желают ничего иного, кроме как спокойно оставаться на заводе Кноббе.

Это предложение всем понравилось, и с Кноббе

поступили соответствующим образом. Но когда Кноббе убедился, что дело не угрожает его жизни, снова взялся за старое.

— Тупоголовое дурачье! Навозные кучи! И ты, старый мошенник Цюллингер, все вы еще поплатитесь за это! — злобно кричал он под ударами Стефании. Но питомцев смешила его злость, и Стефания продолжала наносить удары.

В это время Цюллингер посмотрел на небо и заметил, как на горизонте показалось множество аэропланов.

— Скорее! Отходите в сторону! — вдруг крикнул он. — Бросьте его, пусть удирает!

В воздухе он услышал свист, знакомый ему с юности.

Сверхгерманцы не стали дожидаться возвращения Кноббе. Когда военные сборы были закончены, они без промедления открыли огонь.

Крах! Крах! Бомбы взрывались, оторванные конечности разлетались в стороны. *Крах!* В толпе, посреди которой стояли Кноббе и Стефания, взорвалась бомба, смертельная для многих. Умерло много выкормков, умер Кноббе. Давлением воздуха Стефанию отбросило об стену, точно перышко, и разбило ей затылок. Каким-то чудесным образом невредимым остались Гера и Цюллингер.

Цюллингер предвидел подобный обстрел и предусмотрительно велел выкопать целый ряд траншей у входа в штольню. Туда кинулись все выкормки, забрав с собой трупы товарищей, оставив одного только Кноббе. Наблюдатели с аэропланов удивились, как быстро исчезли всякие следы жизни там, на земле. Сейчас же были поданы сигналы во все расположения сверхгерманцев. Секунду спустя огромная, наполненная газом граната со звуком, похожим на хрюканье чудовищной свиньи, разрезала воздух.

Сверхгерманцы из своего богатого запаса выбрали самый ядовитый тяжелый газ, и он проникал в землю, точно какой-то адский дождь. Подобный обстрел они производили в течение пяти часов, и знатоки считали, что можно гарантировать успешные результаты. Им оставалось только подождать полдня, чтобы газ, окислившись в воздухе, стал безвреден.

Но выкормки сидели преспокойно в подземелье. По распоряжению Цюллингера все отверстия в руднике были защищены двойными дверьми. Он даже позаботился о том, чтобы в штольню имелся надлежащий приток свежего воздуха. На расстоянии примерно одного километра от рудников располагалась маленькая фабрика с двумя

высокими трубами, и как раз под ней проходила штольня. Выкормки проделали ход наверх и под руководством Цюллингера так искусно установили вентиляторы, что те могли снабжать свежим воздухом прямо через фабричные трубы. Но электрические установки были разрушены выстрелами сверхгерманцев, и свет в штольне потух.

Цюллингер, как человек осторожный, распорядился притащить в подземелье запас аккумуляторов, но приходилось быть экономными. Мрак и грохот разрывающихся наверху снарядов утомляли мозг, и выкормки улеглись спать, пока их не разбудила наступившая тишина. Тут они принялись, зевая, спрашивать друг друга, что все это, собственно, означает.

Цюллингер осветил подземелье и велел выкопать могилы для Стефании и выкормков, убитых при взрыве бомб. Он изрек надгробную речь, слышную, правда, очень немногим.

— Вот и ты, Стефания, третья и самая верная из трех, лежишь глубоко в недрах земли. Теперь отпали все мелочи жизни. До сегодняшнего дня ты заботилась о состоянии пуговиц на моих рубашках. Вся твоя жизнь была полна заботами о заботах других, и ты одновременно достойна

была любви и отвращения. Жизнь твоя не была такова, чтобы ты могла радоваться радостями других. Когда же, когда, спрашиваю я, настанет день, что люди будут радовать других, радуясь при этом сами? Когда же люди будут людьми? О, горе! Прощай, обманутое порождение нужды, рабыня! Лучше было бы тебе не жить вовсе. Проклятье, чума на головы сверхгерманцам!.. И вы, жертвы надежды на лучшее время, противоестественно созданные и противоестественно уничтоженные, вы, не знавшие матерей, взращенные для каторжной работы, вас одуряли, били кнутом и убили после трехдневной свободы. Вас хотели сделать рабами, но вы, вопреки всем мозолям, не опозорили себя рабством. На вас нет той вины, что проклятием ляжет на нас, стариков. К вам, предвестникам, путеводителям во мраке, к вам, умершие, я взываю... Глубоко в земле хороним мы тебя, женщина, рожденная для любви и умершая в ненависти, и вас, созданных для рабства и взращенных для ненависти. Вас, познавших радость свободы, убили с высоты ликующего майского неба. Проклятие на головы сверхгерманцев! Да здравствует освобожденный мир!

Могилы были засыпаны. Выкормки справля-

лись, долго ли еще придется так сидеть.

— Подождите до утра, — ответил им Цюллингер и прошел к отверстию под фабричными трубами. — Смотрите, звезды еще блестят! — И он заставил одного из выкормков подняться вверх по трубе. — Что ты там видишь?

Выкормок через рупор дымовой трубы ответил:

— Небо, усыпанное звездами, огни близко к земле и дальше, в одном месте, много огней, а совсем вдали светлый луч.

«Еще час», — подумал Цюллингер и стал отдавать распоряжения.

— Побудем кротами! Усердно ройте сто отверстий к поверхности земли — сотни дверей к свету. Когда раздастся громкий зов, выскакивайте без колебаний. Но не бегите к туче, какую увидите над копями Кноббе, и всяко избегайте дыма, ползущего по земле. Бросайтесь на сверхгерманцев, убивайте их. Они убили ваших братьев — и пришли теперь за вами!

У него не было никакой надежды на успех. Он только желал скорейшего конца.

— Что ты видишь? — снова спросил он человека на вершине трубы.

— Я вижу, как бегают по одиночке туда, где бы-

ли прежде копи, существа с огромными чепцами вместо голов. На месте копей теперь только груды камней. Становится светло. Я слышу крики, стук копыт и шум колес. Теперь подошло к заводу много народа, но еще более крупные толпы удаляются, крича, в разные стороны. Все дороги забиты. Слушайте, как они воют! Они поют ужасную песнь.

Цюллингер прислушался.

— Клянусь чертом, они поют национальный гимн! Момент самый подходящий!..

И он взорвал свои ядовитые мины.

Глава 14

— Что же это такое? — говорили люди по ту сторону границы. Десять тысяч рабочих, так неожиданно прибывших вечером первого мая, рассказывали очень странные вещи про сверхгерманцев, Цюллингера и его выкормков.

— Вы лжете! — недоверчиво говорили иностранцы.

— Убедитесь сами! — кричали, задыхаясь от волнения, рабочие. Тогда в Сверхгерманию отправился аэроплан, покружился над заводами Кноббе и вернулся обратно. Наблюдатели подтвердили рассказы рабочих.

— В таком случае, мы придем на помощь. Истребим, наконец, сверхгерманцев — эту язву рода человеческого!

Оповестили соседние народы, выпустили воззвание, выкатили из арсеналов давно замолкнувшие царь-пушки. И все как один при этом приговаривали:

— Уничтожим, наконец, эту язву рода человеческого! Убьем дракона!

Они прорвались через границы — охраняемые плохо, ибо весь цвет сверхгерманского рейхсвера

выступил против выкормков. Чужеземные войска со всех сторон вторгались в страну и гнали сверхгерманцев впереди себя. Невероятный ужас обуял сверхгерманцев, но новый кайзер, стоявший с войсками у заводов Кноббе, поторопился обнародовать звонкие призывы к бою, а Геценлейхтер предал врагов анафеме. В то же время, правда, они, дрожа от страха, послали парламентеров врагам.

— Сложите оружие! — приказали свободные народы. — Все ваши богатства переходят к угнетенным, ваша страна — под наш надзор, а руки ваши должны стать рабочими руками.

Эти предложения показались сверхгерманцам в высшей степени недостойными и по всем параметрам неприемлемыми.

— Руки наших героев задушат вас, — ответили они, не переставая, однако, дрожать от страха.

Они вооружили народные массы и произносили громкие речи о всенародной войне против дерзких варваров, о помощи неба, о справедливой и мягкой власти сверхгерманцев, благословенной богом, и о благой задаче сверхгерманцев стать примером нравственности для всего мира. Но все же их старания и пламенные речи не привели ни к чему. Угнетенные неохотно брались за оружие

и бросали его, а свободные народы проникали все глубже в страну. За ними возвращались еще и изгнанники, полные тоски по родине. Сверхгерманцы в бессильной злобе совещались, как им быть дальше.

— Неужели нам действительно придется пожертвовать нашей жизнью? — сетовали они. — Враг слишком силен. Мы лучше притворно покоримся ему, и со временем наш ум найдет дорогу к новому подъему!

Но сначала они хотели убедиться, что ничего не осталось от проклятых выкормков, виновников всего несчастья. Подосланные шпионы увидели выкормка, сидящего в трубе, нашли разорванное на части тело Кноббе и заметили крепко запертые двери, из-за которых доносилось заглушенное гудение. Все это показалось небезопасным.

— Будь что будет! Если бы мы только могли четвертовать эту собаку Цюллингера, — сказали сверхгерманцы и принялись распевать национальный гимн. Они думали, что таким образом им удастся гарантировать почетное отступление. Как раз в этот момент Цюллингер взорвал свои мины. Авангард чужеземцев, достигший удобного для наблюдений далекого холма, увидел поднимающееся облако дыма, услышал грохот

взрыва и невольно замер в восхищении перед столь грандиозным зрелищем. В стороне от развалин заводов, откуда все новые и новые облака дыма подлетали к небу, разверзлась во многих местах земля, и из нее на зеленые поля стали изливаться, точно лава, целые потоки людей. Они рьяно бросались на сверхгерманцев, отступавших в панике.

— Это, вероятно, и есть искусственные люди. Что ж, может быть, нам и не понадобится пачкать руки о сверхгерманцев, — говорили между собой чужеземцы. — Посмотрите, какая суматоха! Там, позади, сверхгерманцы устанавливают свои пушки. Да этак случится сущий конец света — они же стреляют напропалую, как черти! Святое небо, какую же нужно иметь подлость, чтобы стрелять в людей!

— А разве мы не собираемся делать то же самое?

— Сверхгерманцы не люди!

— В таком случае зачем напрасно терять время? Вперед! Где же наши броневики?

Два часа спустя на поле битвы явились первые отряды иноземцев. Но почти все уже было к тому времени кончено. Остатки сверхгерманских войск скучились на краю далекого обрыва. Они

махали белыми флагами и, наполовину обезумев от дикого воя и кошмарного вида новых врагов, покорно складывали оружие. Кайзер, сохранивший свою божественную персону в центре войска, сложил с себя корону и пытался идиотски-нахально улыбнуться. Но это ему не удалось.

На долю выкормков выпала слишком тяжелая роль в этой борьбе. Они боролись до последнего человека, до последней женщины. Они прорвали линию войска и уничтожили все, что попалось им на пути. Нечувствительные к ранам, они в остервенении проникали все дальше за огневую завесу, скрывавшую отступление сверхгерманцев; в конце концов и они пали, пронзенные пулями. Бесчисленные трупы выкормков лежали на поле битвы, но еще больше было трупов сверхгерманцев. Неутолимое озлобление битвы точно пережило саму смерть: напрочь растерзанные тела все еще крепко держали жертв, оторванные руки, точно клещи, висели на шее одного сверхгерманца, на выросших горах трупов лежало по мертвому выкормку. Стоны раненых жалобно раздавались над растоптанной равниной.

За деревьями, в котловине, сверкало в утренних лучах солнца мелкое озеро. Иноземцы заметили там на берегу движение. Они увидали огромные

тела, еще пытавшиеся встать на ноги, но снова падавшие и трепыхавшиеся на земле, как моржи. Это были сильно раненые выкормки. Они приползли туда, где на камне перед мертвой женщиной сидел маленький лысый человек. Выкормки думали, что их настигают враги, и сами искали себе смерти.

Иноземцы тщетно пытались их спасать и в конце концов, поняв всю бессмысленность затеи, обратились к какому-то лысому старцу, сидевшему на камне и смотревшему на кровь, бежавшую из большой раны в его груди. Они перевязали ему рану, но он отнесся к подобному участию равнодушно.

— Кто ты, человек? — спросили иноземцы, но он не отвечал.

— Это Цюллингер! — воскликнул один из рабочих, пришедший с иноземцами в качестве проводника. — Хозяин, сверхгерманцы разбиты и покорены! Страна свободна!

Цюллингер молча глядел на лежавший перед ним труп Геры и на воду, на поверхности которой плавали трупы выкормков.

— Мясо! Много мяса! — выдавил он наконец. — Скажите, разве сегодня не тот день, что у христиан назван Днем Вознесения Господня?

Рабочий еще раз окликнул его:

— Цюллингер, страна свободна!

— Я тоже скоро буду свободен, — сказал он с неподвижным взглядом.

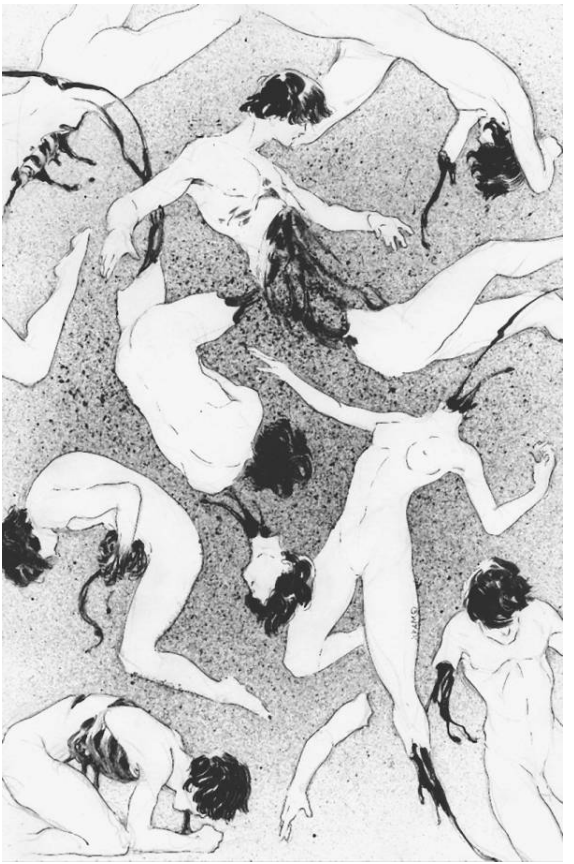
— Так радуйтесь же! Сверхгерманцы побеждены!

— Я тоже побежден.

— А, ерунда! Сейчас мы привезем врачей, вас подлатают, и вы станете героем нашей революции! У нас все получилось благодаря вам!

— Человек, ты должен был сам позаботиться обо всем сорок лет тому назад! Теперь молчи!

Над его головой запел дрозд. Цюллингер, умирая, поднял голову и увидел птицу в ветвях сосны, протягивавшей к небу свои шишки, точно красные пальцы.



«Вы снова согнете спины», — подумал он, погружаясь в небытие. Вдруг ему показалось, что еще ребенком он весело играл на берегу этого озера. Ему вспомнилось, что тогда, на том месте, где ныне росли деревья, была лужайка. Воспоминание детства слезой прокатилось по его лицу, острая тоска по юности ударила в грудь, и родная земля, наконец, сомкнулась над ним.

— Жаль, славный старик умер. И его бедные создания тоже все умерли… — говорили иноземцы, качая головами. Они похоронили все трупы, препоручили страну изгнанникам и угнетенным и вернулись домой. Из разумной предосторожности они, конечно, забрали с собой пленных сверхгерманцев. Но шедший рядом с кайзером Геценлейхтер не унывал даже и теперь.

— Не горюйте, ваше величество, — говорил он. — Конечно, дело наше окончилось очень неудачно. Но мы-то везде найдем единомышленников! Не думайте, что за какие-нибудь два десятка лет среди этих народов умерли набожность и благородство монархического и капиталистического образа мыслей. Старый Господь еще жив! Когда мы будем на вершине власти снова, тогда-то мы опять зададим этим голубчикам перцу!..

Перевод с немецкого анонимного переводчика[18].

[18] Примечания: 18

Воспроизводится по изданию: Лоэле, Конрад. Цюллингер и его выкормки. — Ленинград: Прибой, 1924. — 122 с.

Борис Фортунатов
Остров гориллоидов

Глава 1. Письмо из Африки

Ассистент кафедры гистологии Московского университета Андрей Николаевич Ильин был вполне правильно устроенный молодой человек высокого роста, с широкими плечами, простодушной физиономией и еще более нехитрой психологией; наукой увлекался горячо, футболом — еще горячее, газеты прочитывал бегло, советской власти искренне сочувствовал и политикой, как ему казалось, совершенно не интересовался.

Великих открытий за ним не числилось, да и в будущем вряд ли они предвиделись, но известное имя он к тридцати трем годам уже заработал. Жизнь молодого ученого катилась как по рельсам, и, казалось, его будущее можно было предсказать с точностью до одной тысячной, когда он получил письмо с иностранной маркой.

Ильину приходилось поддерживать переписку с заграницей, но марка одной из африканских французских колоний была все же необычной, и он с интересом вскрыл конверт.

Фразы были официальны и шаблонно любезны, но фамилия Идаев сразу покрыла все содержание письма. Так неожиданно было это, когда-то такое

знакомое имя, что Ильин невольно привстал со стула, положил письмо, затем снова его развернул и перечитал. Держа письмо в руке, он быстро зашагал по комнате.

Старый учитель! Около пятнадцати лет прошло с тех пор, как Ильин видел его в последний раз, но, как живое, встало из глубины памяти это худощавое с седой бородкой и развеселыми глазами лицо. Словно не было вовсе долгих лет и великих потрясений войны и революции, и как будто только вчера он, еще студент, говорил с любимым профессором за несколько дней до отъезда его в Тропический институт, только что созданный в глубине лесов Южной Гвинеи. Ласково улыбались близорукие глаза, но смотрели они поверх него, Ильина, и чувствовалось, что в них залегла сосредоточенная мысль — вряд ли профессор толком видел своего собеседника.

Идаев уехал — и не вернулся. Научных сообщений под его именем в печати не ходило. Через несколько лет, как это часто случается, о нем перестали вспоминать, и удивительно было видеть теперь это имя, давно забытое и вдруг вернувшееся в мир живых.

Содержание письма было простым: Тропический институт в Гвинее предлагал Ильину

занять должность ассистента в лаборатории профессора Идаева и уведомлял об условиях и оплате работы. Вот и все; и с того мгновения, когда скользнули по сознанию первые строки, решение уже было принято. Расхаживая взад и вперед по комнате, Ильин обдумывал план действий на ближайшие дни. Квартиру необходимо за собой оставить: неизвестно, как там пойдут дела и долго ли придется пробыть в этой самой Гвинее. На время отсутствия можно поселить Мурашкина с женой. Работу с трипаносомами можно просто бросить — все равно из нее ничего не выходит. С Лидочкой тоже два месяца одна канитель, и никакой надежды на лучшее. Разговор с профессором будет довольно кислым, но если его, Ильина, зовут за границу, да еще ни много ни мало в знаменитый институт в Гвинее, то с высокого дерева ему наплевать на какого-то там профессора Колпакова…

Затем пришлось обдумать еще ряд дел, потому что Ильин был человек положительный и ничего не любил делать наобум.

* * *

Оказалось, получение заграничного паспорта — вовсе не такая отчаянно безнадежная вещь,

как принято думать.

Разговор с профессором вышел действительно кислым, но Ильин предусмотрительно приберег его к самому концу. Лидочке он решил написать из Африки, что, несомненно, должно было произвести на нее нужное впечатление.

Об остальных хлопотах Ильина нечего рассказывать, потому что все люди более или менее одинаково завершают дела перед отъездом и нет ничего скучнее описания сборов в дорогу. А кроме того, все это не имело никакого отношения к дальнейшему.

Глава 2. В тропическом институте

Когда маленький речной пароходик остановился у пристани и Ильин сошел на берег, его первое впечатление было довольно безотрадным. Сонная, желтая, в низких берегах река. Справа бесконечное плоское болото, поросшее редкими мангровыми деревьями. Левый берег, немного более высокий, покрыт лесом. Только под самыми зданиями института почва повышалась, образуя длинный пологий холм. Скат холма к реке был превращен в густо разросшийся парк.

На вершине, в тени тропических деревьев, стояли одноэтажные здания лабораторий и дома научных работников с широкими верандами, а внизу налево у самой реки и довольно далеко вне ограды парка теснились многочисленные хижины рабочих, большей частью негров.

Появление Ильина на территории института, как это и следовало ожидать, прошло незамеченным. Очутившись среди многочисленных построек, он отчетливо представил, каким, в сущности, маленьким винтиком этого крупного механизма ему предстояло быть.

Идаева найти сразу не удалось, и даже фамилия

его почему-то оказалась многим здесь неизвестна. Где-то через полчаса сыскался молодой человек довольно плюгавой внешности, ведавший какими-то хозяйственными функциями и осведомленный о прибытии Ильина. Этот завхоз, любезно раскланявшись, немедленно отправился отводить ему помещение.

Небольшая ослепительно чистая комната выходила двумя окнами на реку. Пальма с толстым, как бочка, стволом и глубоко рассеченными листьями, росшая в промежутке между окнами, закрывала их сверху и создавала внутри комнаты спасительную тень. В остальном — комната как комната: стол, несколько стульев, длинная плетеная качалка, большая кровать с пологом от москитов и пара явно бездарных картин на стене.

По сообщению того же молодого человека, большинство научных работников обедало за табльдотом в соседнем здании, но на сегодня «мсье еще не записан, и потому горничной будет дано распоряжение подать ему в комнату чай. Кроме того, придется завтра явиться к директору, принимающему с одиннадцати до часу…»

После чая Ильин пошел осматривать парк и берег реки, потом лес, простиравшийся далеко к

западу, и вернулся обратно уже в темноте, потому что сумерек, на чей приход он бессознательно уповал, не оказалось, и после захода солнца сразу наступила черная ночь. А еще через десять минут молодой ученый спал как убитый.

* * *

Вместо директора Ильина принял какой-то вежливый старичок в сером полотняном костюме и с аккуратно подстриженными бобриком седыми волосами. Через несколько дней Ильин уяснил себе, что директор и не мог его принять: профессор барон Делярош был слишком важной персоной, чтобы разговаривать с каким-то приезжим ассистентом. Что касается Идаева, то его здесь не оказалось. Он работал в другом отделении института, расположенном вверх по реке.

Старичок объяснял все это с величайшей предупредительностью.

— Когда можно будет увидеть профессора Идаева? — спросил Ильин.

— Пока не скажу. В Ниамбе ведутся работы, временно не подлежащие опубликованию, и доступ туда для посторонних воспрещен.

Почему мсье все же приглашен ассистентом к Идаеву — этого старичок не знал. Пока мсье

Ильин будет работать здесь как ассистент профессора Кремье, но директор, вероятно, даст распоряжение перевести его впоследствии туда, где работает Идаев.

Старичок настолько явно ничего не значил, что Ильин не стал затягивать разговор и отправился к профессору Кремье. Профессор был занят в лаборатории и просил передать, что он «примет мсье завтра».

Делать пока было нечего, и часов до пяти Ильин болтался по окрестностям, а затем отправился обедать. Тут впервые ему пришлось соприкоснуться с будущими сослуживцами, и первый блин этот вышел круглым и плотным комом.

Столовая была отделана со вкусом. Стильная мебель, стены, облицованные темным деревом, почти художественная сервировка стола — все это здесь, в тропической Африке, показалось Ильину неожиданным. Через широкие двери виднелась вторая такая же большая комната с мягкой мебелью и роялем. Ильин уселся у края длинного общего стола, положил на стул шляпу, сообщил подошедшему гарсону имя и в ожидании обеда стал рассматривать окружающую публику. В комнате находилось лишь несколько человек, так как большинство обедающих уже

разошлось. С первого же взгляда Ильин понял: его запыленные ботинки, весьма посредственно сшитый пиджак и мягкий воротник рубашки мало гармонировали с костюмами остальных обедающих.

До чего трудно человеку избежать психического давления со стороны других особей своего рода, даже если те кажутся ему бесконечно далекими, ничтожными и чужими! Особо Ильина задел взгляд сидевшего напротив высокого старика профессорского вида, который, приподняв брови, удивленно дважды провел глазами вдоль его фигуры. Что значило для Ильина мнение беседовавшей со стариком полной, лет сорока, основательно подрисованной дамы? И все-таки краска залила все его лицо, когда она в свою очередь подробно осмотрела костюм вновь прибывшего и слегка пожала плечами.

Через несколько минут дама встала, заглянула в висевшее напротив зеркало и вместе со своим спутником направилась в соседнюю комнату. Через широкие двери было видно, как они, смеясь, разговаривали с каким-то молодым офицером. Ильину показалось, что разговор шел о нем, потому что раза два собеседники оглянулись в его сторону. Затем все трое прошли через столовую

к дверям.

Лейтенант был настолько вытянут, и такое сознание своего величия выражалось в нем от кончиков сапог до пробора над гладко выбритой физиономией, что на этот раз уже Ильин с долей интереса раза два провел по нему глазами, и их взоры на мгновение встретились. По лицу лейтенанта скользнула брезгливая улыбка. Возможно, виной тому было чувство досады, испытанное минуту назад, но внезапно слепой гнев ударил Ильину в голову, и, не отдавая себе отчета в том, что он собирается делать, Ильин быстрым движением поднялся со стула и шагнул вперед. Однако лейтенант уже прошел, и Ильин снова опустился на свое место. Руки его слегка вздрагивали. Столовая была почти пуста, и за исключением лакея, взиравшего с выражением легкого недоумения, никто не заметил его странного выпада.

Поспешно проглотив обед, Ильин нахлобучил шапку и вышел в сад. Все это было абсолютно глупо. Хорошо еще, что так обошлось и он не учинил скандала в первый же день по прибытии, а то какой был бы срам возвращаться сейчас же в Москву и снова являться к профессору Колпакову с просьбой принять на службу!

В будущем подобной слабости допускать нель-

зя, но нельзя и ручаться, что, близко соприкасаясь со здешним обществом, он не напорется на какую-нибудь глупую историю. Пренебрежительного к себе отношения он, Ильин, не допустит, каких бы последствий это ни имело. Но рисковать вылетом из института тоже не следует. Отсюда вывод — поскорее заняться тем, для чего он и приехал: работать, составлять себе имя, брать все что можно от Африки и поменьше путаться с этой сомнительной публикой. А обедать он будет дома.

* * *

На следующий день Ильин познакомился с Кремье. Тот оказался высоким, стройным, несмотря на свои пятьдесят, и очень элегантным даже в лабораторном халате мужчиной. Держался он холодно, но просто, и непродолжительный разговор вполне разъяснил Ильину его положение.

Оказывается, он был приглашен в лабораторию Идаева по его же рекомендации и настоянию, но затем было решено оставить Ильина на территории института. Дело в том, что в Ниамбе развернута работа, не подлежащая по различным причинам оглашению, и доступ туда чрезвычайно ограничен. Кроме того, Идаев тяжело заболел, и, хотя жизни его не угрожает опасность, на

скорое выздоровление мало надежды. Поэтому Ильину решили предложить занять место ассистента в лаборатории Кремье. Профессор несколько знаком по литературе с работами мсье Ильина и считает, что мсье окажется чрезвычайно ценным сотрудником. В случае его несогласия администрация, принося свое глубокое извинение, конечно, оплатит обратный проезд и возместит все прочие издержки. Мсье Ильин согласен остаться?.. Он, Кремье, очень рад и просит нового коллегу принять с завтрашнего же дня участие в оборудовании лаборатории, пребывающей ныне в стадии развертывания…

Глава 3. Механик Дюпон

Со времени прибытия Ильина в институт прошло уже более недели, но приступить к работе еще не удалось, так как красились стены, прокладывались трубы, и вообще, все в лаборатории было перевернуто вверх дном. С другой стороны, благодаря этому завязалось знакомство Ильина с Дюпоном. Плотный, чернявый, с квадратной физиономией механик-водопроводчик, торчавший по своим делам целыми днями в лаборатории, оказался очень веселым и разговорчивым парнем. Собственно, нельзя было точно установить, когда от деловых замечаний по поводу укладки труб они перешли к посторонним разговорам, из которых получилось затем нечто вроде дружеских отношений.

Молчаливость никогда не входила в число добродетелей Ильина, а вместе с тем как-то вышло, что с Кремье невозможно было поддерживать какой-либо разговор, кроме чисто делового. С прочими же научными работниками и вовсе не было общения. Конечно, первое время разговоры с механиком велись со всей необходимой дипломатией, потому что… черт его знает! И вообще,

никогда не следует болтать лишнего, особенно в чужих местах. В этом же роде держался сначала и Дюпон: охотно слушая рассказы о советской республике, сам он говорил мало и осторожно. Отсюда Ильину было легко сделать соответствующий вывод, после чего разговаривать стало проще.

В институте Дюпон служил около года, но о содержании происходившей здесь работы ничего не знал, да и мало этим интересовался. Об Идаеве он также ничего не слышал. Что же до Ниамбы, то о ней Дюпон сообщил Ильину довольно бестолковые и несообразные вещи. Разговор на эту тему зашел на третий или на четвертый день после того, как Ильин засел в амбулатории. На вопрос Ильина Дюпон немного помялся, взглянул на собеседника и вдруг широко улыбнулся.

— Знаете, — сказал он, — я бы вам не советовал расспрашивать здесь всех и каждого об этом заведении. Дело в том, что вокруг Ниамбы наворотили какую-то особую тайну. На службу туда принимают только по контракту на пять лет и без права выезда раньше срока. Я думаю, что администрация вряд ли придет в восторг, узнав, что вы интересуетесь этим местом. Да, впрочем, я и сам знаю о Ниамбе немногое. Только вы никому

не рассказывайте, что я говорил с вами об этом. Порядки здесь строгие, и я, наверное, полетел бы за это со службы… обратно через океан, в Европу.

Ильин засмеялся.

— Думаю, мне тоже нет особого толка объявлять во всеуслышание, что я интересовался вашими маленькими секретами. А спрашиваю о Ниамбе я только потому, что меня самого пригласили именно там работать, а затем неизвестно почему планы переменились.

Механик на минуту задумался.

— У меня есть там приятель-негр, работающий на пристани, — сказал он, — но я его давно не видел. Вообще, болтают черт знает что, а насколько это правда, я сказать не могу.

Ильин выжидающе молчал.

— Ну… Во-первых, при мне оттуда никто не возвращался — ни белый, ни черный, за исключением двух-трех лиц из администрации. Во-вторых, туда везут много материалов, приборов и продовольствия. В-третьих, Ниамба — остров среди такого болота, по которому нельзя пройти ни в какое время года. И потом… за последние годы туда привезено несколько больших партий негритянок — этак, пожалуй, несколько сотен, если не больше. Скажите, какого черта им могут

быть нужны негритянки?..

Ильин потер себе лоб:

— Не знаю… А вы как думаете?

— Никак! Откуда же мы можем знать, если с Ниамбой нет никаких сообщений? Ну, вот, пожалуй, и все. Только, значит, еще раз… пожалуйста, этот разговор — между нами.

В коридоре раздались голоса негров, тащивших тяжелый ящик. Ильин открыл дверь, и, когда носильщики в сопровождении рыжего бельгийца вошли в лабораторию, механик сосредоточенно свинчивал два колена трубы.

* * *

Период дождей закончился как-то неожиданно, но трудно было сказать, изменилась ли от этого погода к лучшему. Медленно просыхала насквозь промокшая почва. Утро еще можно было пережить, но к середине дня воздух переполнялся знойным, как в бане, паром, тело делалось тяжелым и вялым, и слабеющей воле не удавалось принудить его даже к незначительному действию.

Работа в лаборатории Кремье протекала в области для Ильина совершенно чуждой, а погода располагала к лени, и творческого увлечения

делом молодой ученый не чувствовал. Кремье был крупным специалистом по эмбриологии гибридов, особенно — гибридов между далеко отстоящими друг от друга видами. В его лаборатории создавались искусственным оплодотворением весьма замысловатые помеси — в данный момент, преимущественно меж различными породами местных змей. Затем анатомировались и изучались их зародыши на различных стадиях развития. Часть материала шла для обработки из других лабораторий; в частности, несколько раз доставлялись зародыши помесей различных видов обезьян.

Один из препаратов — четырехмесячный зародыш помеси гориллы с шимпанзе — был принесен в самом начале работы Ильина в лаборатории и особенно врезался в его память отвратительной несоразмерностью частей.

Эмбриологией Ильин никогда прежде не интересовался, да и в будущем не чаял ею заниматься. Кроме того, передавая новое задание, Кремье редко снисходил до пояснения его смысла и цели, а в таких условиях интерес к работе быстро таял. В общем, Ильин проводил в лаборатории не больше того, сколько требовалось; с наступлением же полуденной жары, следуя примеру Кремье

и его второго ассистента Латура, укрывался в свою комнату или в глухие углы парка. Впрочем, иногда, если имелись какие-либо неотложные задания, работа возобновлялась вечером.

Латур был весьма практичный молодой человек. В Африку он приехал из-за крупного жалованья и через полгода предполагал возвратиться обратно, ибо скопил достаточно денег, чтобы открыть у себя на родине, в Мобеже, кабинет для бактериологических анализов. О выгодности и солидности этого дела он мог распространяться подолгу. Другой возможной с ним темой разговора было внимание дам. Что же касается науки, то это было, во-первых, «ремесло, как и все прочие», во-вторых, прекраснейшее средство, чтобы составить себе имя, а «без имени нельзя упрочить свое положение в свете»... На иные темы диалог с Латуром был затруднителен, и знакомство это оказалось несколько скучным.

Поэтому Ильин обрадовался, встретив однажды на пути домой механика Дюпона, после окончания установки труб больше не показывавшегося в лаборатории. Физиономия механика просияла, и он крепко пожал протянутую руку.

— Ну, как там ваши дела с Кремье? — спросил он. — У меня уже давно не было случая заглянуть

в ваше заведение, и я очень рад, что вас встретил. Вы знаете, здесь просто не с кем перекинуться словом: либо недоступные боги, вроде Кремье, либо канальи, способные продать за пять франков отца с матерью, если бы кто-то польстился на такое добро. Что вы хотите? Путный человек не заберется в колонию, особенно в здешние болота, будь они неладны!

— А зачем же, в таком случае, вы сами попали сюда? — заметил Ильин, бессознательно сворачивая вслед за механиком на боковую дорожку.

— Я? — Дюпон пожал плечами и высоко поднял брови. — А почему вы думаете, что я путный человек? Вот и вас каким-то ветром принесло из Москвы на другой конец земного шара. Я никогда не поддался бы этому ветру, будь я на вашем месте… или хотя бы даже и в моей шкуре, но на вашей родине.

Улыбающееся лицо Дюпона вдруг стало серьезным, он замолчал и быстрее зашагал по аллее. Ильин окинул своего спутника долгим взглядом и попытался протянуть в том же направлении нить разговора.

— А почему бы и нет? — спросил он, беря механика под руку. — К нам, правда, не так-то легко попасть людям нежелательным — с нашей, ко-

нечно, точки зрения. Но для друзей границы Союза всегда открыты. И знаете, раз на то пошло, когда кончится срок моей работы в институте, я постараюсь помочь вам в исполнении вашего желания, если, конечно, к тому времени оно у вас не испарится.

— Я не знаю, что я отдал бы, — сказал Дюпон, — если бы это удалось осуществить! Впрочем, мне нечего отдавать, кроме своей головы, а относительно ее ценности, наверно, нашлось бы несколько полярных мнений… Знаете, за прожитые мною сорок лет выпадали, случалось, здорово красивые куски жизни, но с самыми паршивыми промежутками, потому что без этого ведь не проживешь. И все-таки редко мне хотелось так, как сейчас, перейти на другие рельсы и как можно круче свернуть в сторону…

Дюпон остановился, поднял голову и опять заговорил, сначала медленно, с длинными промежутками между словами, затем все быстрее и быстрее:

— По ту сторону океана также не очень-то все похоже на христианский рай, и крепко бы пригодились там кое-какие лекарства из вашей советской аптеки, но все-таки в Европе среди прочих водятся и живые люди, а сюда она высыпает

самого последнего сорта отброс. Поверите ли, прекрасные ребята попадаются, пожалуй, только среди негров, хотя в них, увы, слишком много детского, а наши, даже рабочие… — Дюпон злобно махнул рукой, энергично плюнул. — То есть пара-другая приличных людей, конечно, найдется. Но среди научных работников вы первый, с кем приятно встретиться. Это, должно быть, оттого, что вы из России… Ну, вот мы и на границе! Мне в поселок. До свидания!

Дюпон остановился в воротах парка и протянул Ильину руку. Тот, улыбаясь, задержал в своей руке жилистую лапу механика.

— А почему бы вам не пригласить меня к себе домой? — спросил он. — Ведь, надеюсь, вы не думаете, что для меня ограда парка является также государственной границей?

Лицо Дюпона просияло. Он молча взял Ильина под локоть и зашагал по направлению к видневшимся во тьме огонькам рабочего поселка.

Сидя у Дюпона, новые друзья кипятили кофе, болтали на разные темы и расстались уже за полночь. История Дюпона оказалась, по его выражению, несколько угловатой. Он был участником мировой войны и пошел на фронт, охваченный патриотическим подъемом первых ее дней.

Профессия шофера открыла ему доступ в авиацию. Потом с блеском развернулась его карьера летчика-истребителя, и за полгода работы на фронте четыре боша[19] были спущены с облаков в пламени горящих аэропланов. Осколок снаряда из зенитного орудия покончил с этой полосой жизни, и начались месяцы мучительной возни в госпиталях с раздробленной костью ноги.

Летный состав по характеру его работы в период империалистической войны мало соприкасался с оборотной стороной происходившего, но в госпиталях Дюпону пришлось на опыте узнать, что в войне есть кое-что еще помимо славной победы и славной гибели. Гнусные гноящиеся раны и нестерпимые муки лежащих кругом сотен искалеченных людей, потом выход из госпиталя с упорно не заживающей ногой и, наконец, почти двухлетняя голодовка в последние годы войны, когда остановилась вся жизнь страны, зажатой тисками пайка и военного хозяйства.

О дальнейшем Дюпон говорил глухо, но было видно, что сгоревшее увлечение первых дней войны перешло в противоположную крайность; созданная лазаретом и голодовкой ненависть

---

[19] Примечания: 19
Бош — презрительное прозвище германца.

вряд ли ограничилась разговорами за бутылкой вина…

Ильин возвратился домой поздно ночью. Сам он войны не пережил. Она была для него лишь прошедшим где-то близко историческим событием. Его нервы странно напряглись от соприкосновения с не угасшей за долгие годы живой человеческой ненавистью.

Глава 4. Призыв из Ниамбы

После душного дня на диво приятна была относительная прохлада ночи. Слабый, но освежающий ветерок тянул вниз по реке, наверху в прорезах листьев горели и переливались звезды, а внизу песок дорожки резко отделялся от черной стены окаймляющих ее кустов.

Внезапно в двух шагах от гулявшего в парке Ильина из темноты вырос силуэт рослого негра, затем другая тень, пониже, и раздался голос механика:

— У меня к вам новости, Ильин, от вашего соотечественника, работающего в Ниамбе. И новости… немного по секрету.

— От Идаева?

— Не знаю. Оттуда приехал мой товарищ, грузчик, и привез вам записку.

— Наш камрад из Ниамбы дал бумагу, — заговорил негр на ломаном французском языке. — Сказал: дать молодому русскому.

В темноте Ильин схватил небольшую, в несколько раз сложенную бумажку.

— Кто ее писал?

— Не знаю. Он сказал: дать молодому русско-

му. Больше ничего. Я плыл в лодке. Пришел к камраду Дюпону. Сейчас поплыву назад. Скажу, хотел достать рому. Будут бить… Ничего, я принес письмо.

— Письмо прочтете дома, — сказал механик. — Мы уходим. Завтра у меня опять работа в лаборатории, и если вам потребуется что-то передать в Ниамбу, я помогу это устроить.

Ильин молча и крепко пожал огромную ладонь негра, и в следующее мгновение тени ночных гостей слились с бархатным мраком.

* * *

В открытое окно вливался тяжкий, влажный, как в теплице, жар. Громадная пурпурно-зеленая стрекоза монотонно билась о стекло верхней части рамы. Листья пальм за окном, мутная неподвижная река и темная стена леса за садом лежали в глубоком сне. Ильин тщательно сложил и спрятал в карман квадратную бумажку и присел к окну.

Записка от Идаева, полученная вчера, была не вполне понятна:

Я не видел Вас много лет, но обращаюсь только к Вам: приезжайте и помогите

мне. Успех моей работы превосходит все мои надежды, но я запутался. Половины того, что я сделал, достаточно для завоевания мирового имени, но я в ужасе от того, чего мне удалось достичь. Приезжайте во что бы то ни стало. Больше мне не к кому обратиться.

Я посылаю через профессора Кроза директору института просьбу командировать Вас в Ниамбу. Обстоятельства требуют, чтобы Вы не ответили отказом.

Ваш А. Идаев

Слова «Приезжайте во что бы то ни стало» были дважды подчеркнуты.

Ильин встал и, опустив голову на грудь, зашагал взад и вперед по комнате.

Идаев принадлежал к редкому типу ученого с беспокойной эксцентричной мыслью. Подобный склад мышления малограмотного человека толкает на страстные и безнадежные поиски вечных двигателей, а научно подкованному работнику открывает дорогу к великим достижениям в неизведанных областях.

Несомненно, Идаев открыл что-то большое. Не-

сомненно, это что-то внушает ему самому ужас. Несомненно, французское правительство хочет использовать это открытие в самом широком масштабе. Иначе чего ради сюда вложены такие средства и почему такой тайной окружена работа в Ниамбе?

Но если это открытие так скрывается от всего мира, если так тщательно преграждается к нему доступ, то вряд ли в Ниамбе творятся дела, направленные во благо человечества.

Весь этот последовательный ход рассуждений показался Ильину бесспорным. Но в таком случае, что же делать? Ехать в Ниамбу — принять участие в работе, по всей видимости, сенсационной? Не такой человек Идаев, чтобы попусту бросаться словами. С иной стороны, ехать в Ниамбу — значит, похоронить себя минимум на пять лет, потому что только под этим условием принимают туда на службу, и принять участие в очень, быть может, скверном деле.

Но не ехать в Ниамбу — значит, безучастно отнестись к развитию дела, внушающего ужас даже Идаеву; а Идаев был всегда безразличен ко всякой политической и общественной жизни, ко всему, кроме предмета его лабораторной работы.

Аргументы за и против мешались в голове

Ильина. Задача казалась неразрешимо трудной, и, когда промелькнули короткие тропические сумерки, истрепанный борьбой мозг властно потребовал забытья. Бросившись, не раздеваясь, на постель, Ильин мгновенно заснул.

* * *

Почему вчера не приходил Дюпон? Как ни верти, а и здесь что-то неладно…

Впрочем, в данном случае можно было действовать, не вызывая никаких подозрений, потому что предстояло отрегулировать вновь привезенный инкубатор, и Ильин позвонил в контору с просьбой прислать механика. После обеда явился пожилой рабочий и не спеша принялся за дело. К особе Ильина он проявлял абсолютное безразличие, и, чувствуя себя не больше, чем лабораторной принадлежностью, молодой ученый увидел, что бесцельно даже пытаться обратиться к пришедшему с каким-либо вопросом.

На следующий день проверка аппарата закончилась. А Дюпон все не являлся.

* * *

— Итак, мсье Ильин, вы соглашаетесь перейти

на работу в лабораторию Ниамбы? Мне очень жаль лишиться талантливого ассистента, но раз уж таково ваше желание, я могу вас порадовать: исполнение его обеспечено. Сегодня утром директор уведомил меня, что он принципиально согласен и примет вас вечером в шесть часов.

Профессор Кремье откинулся на спинку кресла, холодно и внимательно глядя в лицо собеседника.

— Вместе с тем я должен вас предупредить, если это вам еще не известно, что ввиду особого значения, придаваемого работам в Ниамбе, свобода передвижений будет связана там с известными ограничениями.

— Эти и другие, какие понадобятся, условия, профессор, я принимаю.

Кремье слегка улыбнулся.

— Вы, русские, фанатики во всем — в политике так же, как и в науке. Впрочем, в данном случае это только полезно. Несколько лет уединенной жизни в Ниамбе, вероятно, наскучили бы человеку, любящему жизнь. Не думаю, что ваш коллега Латур, часто вспоминающий о развлечениях Европы, пожелал бы поменяться с вами местом. Зато вас ждут лабораторные условия и объекты работы, — Кремье слегка улыбнулся, — каких нет

больше нигде на всем земном шаре. В соединении с вашей техникой и усидчивостью это обеспечит вашей работе большой успех…

* * *

Завтра моторный катер идет вверх по реке. Вещи упакованы, разговор с директором института был очень короток и свелся к обмену несколькими незначительными фразами. Подписан контракт. Очень крупное жалованье, но взамен — обязательство в течение пяти лет не покидать территории Ниамбы. Почему он пошел на это безумное решение?

Бывают моменты, когда путь жизни раздваивается и когда большие и равные силы властно тянут человека вправо и влево. Тогда в мучительной борьбе за решение ничтожный добавочный груз вдруг перетягивает одну из чаш весов, и резким изгибом человеческая жизнь сворачивает в сторону.

Это было всего несколько дней назад, но будто в другой жизни. Короткая формальная бумага с просьбой дать ответ на предложение профессора Кроза перейти на работу в его лабораторию в Ниамбе. Инстинктивное непреодолимое чувство жути…

И когда заскрипело по бумаге перо, выводя официальные холодно-вежливые строки, вдруг с фотографической четкостью перед глазами встало лицо Идаева. Седые редеющие волосы, ласково улыбающиеся глаза, лицо шестидесятилетнего ребенка. Его, Ильина, звали на помощь, а он из подлого страха оттолкнет протянутую руку и будет спокойно жить и вести научную работу, когда, быть может, рядом погибает великий ученый?..

Кровь ударила в лицо. Перекресток дорог остался позади, и решение пришло сразу, простое и легкое, подводящее итог борьбе и колебаниям последних дней. Тогда с глубоким спокойствием и уверенностью Ильин написал ответ.

Глава 5. Ниамба

Несколько домиков на берегу, большой, удивительно нелепый среди пальм кран для выгрузки тяжестей и два длинных пакгауза — таково было несложное убранство пристани. Она была расположена на низком пологом холме, представлявшем нечто вроде островка между рекой и бесконечным болотом. От пристани через болото шла длинная прямая дамба, пересекающая в четверти километра от берега второй крошечный плоский остров на болоте. Здесь негры с пристани сложили багаж Ильина и повернули обратно. Вышедший из домика с двумя солдатами-неграми капрал молча посмотрел полученный при отъезде из института пропуск; другие негры подняли багаж на голову, и, пройдя еще такое же расстояние по узкой насыпи, Ильин очутился в тени громадных деревьев с раскинутыми между ними зданиями. Через несколько минут ученый уже находился в отведенных ему апартаментах.

Были милы и уютны две комфортабельные комнаты с широкой верандой под окнами и густым садиком за ней. Пейзаж портила только высокая голая бетонная стена, замыкающая слева дом,

веранду и сад.

Усталость после плавания под палящим солнцем дала о себе знать, как только Ильин растянулся на качалке. Мрачная бетонная стена обнаружила одно крупнейшее достоинство, закрывая веранду от солнца. По сравнению с огненным жаром в катере и на дамбе здесь было прохладно. Прежде чем Ильин успел это заметить, он заснул крепким освежающим сном.

Когда он проснулся, острые длинные тени на еще светлой восточной стороне сада показывали, что солнце спускалось к горизонту. В дверь раздался осторожный стук; черная фигура, изогнувшись крючком в дверях, протянула сложенную конвертом записку.

Профессор Кроз в самых любезных выражениях приглашал новичка зайти. Ильин с сомнением оглядел свой далеко не элегантный костюм, затем пренебрежительно выпрямил спину и направился к дверям. Пройдя широкий, довольно темный коридор и перешагнув через порог предупредительно распахнутой двери, он попал в большую, загроможденную вещами комнату и с первого же взгляда понял, что его опасения за корректность своего костюма были напрасны.

Круглая фигурка хозяина, облаченная в белую

с полосками рубашку и такие же брюки, белые волосы, выбивающиеся из-под черной шапочки, широчайшая, сияющая улыбкой физиономия и неистовый беспорядок кругом произвели на Ильина впечатление чего-то настолько родного, что он чуть было не произнес своего приветствия по-русски. От этого избавил его хозяин — в одно мгновение оказавшись около Ильина, он крепко потряс его руку и, указав жестом на стоявшее у стола глубокое кожаное кресло, первый заговорил:

— Я чрезвычайно счастлив, дорогой коллега, что наконец вижу вас у себя. Я уже кое-что слышал о вас и не мог дождаться, когда мы будем работать рядом… Чашку чая, может быть? Пожалуйста, будьте как дома! Я никуда не годный хозяин: я сразу же обращаюсь с просьбой действовать за столом так, как если бы меня не было в этой комнате. — Глядя на изумленно-любопытную физиономию Ильина, ученый не смог сдержать смеха. — Наверное, после гостиной профессора Кремье моя квартира производит впечатление диссонанса? Вы ожидали чего-то другого, верно ведь?

— Пожалуй, верно, — улыбнулся Ильин. — Признаюсь, такая обстановка показалась мне

почти родной.

Профессор Кроз с комическим ужасом осмотрелся кругом:

— Для меня всегда являлось загадкой, как другие научные работники умеют сохранять порядок в своей квартире. Что касается меня, то я не могу позволить прислуге дотронуться до столов, потому что после этого я за целый день там ничего не найду, и не могу прибирать сам — у меня на это не хватает времени. Еще я не могу ограничиться одним-двумя столами — заваливаю бумагами и препаратами всю квартиру, иначе не хватает места.

Ильин расхохотался.

— Во всяком случае, я бесконечно рад, — сказал он, — что встретил здесь диссонанс, как вы называете. Должен сказать откровенно, что стиль института мне нравился гораздо меньше. А теперь, может быть, вы сообщите мне, профессор, в двух словах, в чем будет состоять моя работа?

Кроз комфортабельно уселся в глубочайшее кресло и, прихлебывая чай, принялся с увлечением рассказывать:

— Боюсь, дорогой коллега, в ближайшее время ваша работа может вас разочаровать. Дело в том, что здесь накопилось по некоторым причинам

громадное количество очень однообразного материала, требующего проработки и быстрого приведения в систему. Речь идет о микроскопическом исследовании продуктивности большого количества гибридов, над чем, как я слышал, вы уже работали у Кремье. Задача — выяснить степень недоразвития семенных канальцев, производящих сперматозоиды, иначе — степень плодовитости или бесплодности данной мужской особи. Характерные срезы каждый раз придется закреплять в виде фотографий. Вот и все. Дело простое, но кропотливое, требующее большой точности. Будучи знаком по литературе и по письмам Кремье с вашими работами, я заранее убежден, что вы проведете это задание, как никто другой.

Ильин воспользовался паузой и спросил:

— Скажите, а как связана эта работа с остальными ведущимися здесь исследованиями?

— Существенно связана, коллега. Большинство самцов помесей, исследуемых нами, бесплодны. Кто-то частично плодовит, и лишь очень немногие гибриды дают потомство. Я уже обнаружил, что эта последняя особенность передается по наследству при скрещивании гибрида с гибридом. Вам придется проработать большое количество

законсервированных препаратов павших экземпляров, и это поможет мне уточнить ценность наследственных линий среди их потомства. Объектом исследования являются обезьяны, главным образом — человекообразные.

— И с кем вы их скрещиваете?

Профессор на мгновение запнулся.

— Отчасти друг с другом… конечно, посредством искусственного оплодотворения. Это гениальная инициатива вашего соотечественника Идаева. Но есть и другие помеси. Позже вы ознакомитесь с ними подробнее. Завтра я буду очень рад лично показать вам хозяйство.

— Да, кстати, я, конечно, могу увидать завтра Идаева?

— Идаева? — Кроз заметно смутился. — Видите ли… он очень болен. Тяжелое нервное расстройство, ужаснейшая лихорадка. Мы очень боимся за его участь. Сейчас врач и мне не разрешает его посещать. Да, Африка — плохое место для нашего брата-европейца…

Смущение профессора, особенно в первый момент, было столь заметно, что Ильин насторожился и сразу прекратил всякие расспросы. Еще через несколько минут он вернулся к себе, провожаемый Крозом до самых дверей своей комнаты.

Ильин разделся и лег в постель, но, выспавшись днем, теперь никак не мог заснуть. Ночь была невероятно тиха. Медленно остывал раскаленный воздух. Луна — круглая, белая и необыкновенно блестящая — отбрасывала резкие черные тени. Еле слышно гудел где-то под потолком пробившийся сквозь густую сетку окна одинокий комар. Вдруг громкий вопль разбил тишину вдребезги — и где-то слева, из-за бетонной стены, вслед за ним раздались тихие стонущие причитания. Ильин, напрягая слух, не мог уловить, человек это или зверь на что-то жалуется там, за стеной.

Затем снова — тот же дикий крик, начавшийся на хриплой низкой ноте, перешедший в течение секунды в протяжный вой и замерший еле слышным стонущим звуком… Сначала казалось, что это был голос какого-то дикого зверя. Но эти жалобные причитания за стеной! В них слышалась человеческая тоска и интонации разумного существа. И все-таки это не голос человека, однозначно!

Охваченный непреодолимой жутью, Ильин выхватил из кармана брюк револьвер и долго полусидел в постели, не решаясь сделать движения и напряженно прислушиваясь к каждому

шороху за окном. Все было тихо, и в конце концов он незаметно для себя уснул.

С сияющим утром пришла беспричинная молодая радость. Когда распахнулась сетка окна и поток лучей сверканием и блеском заполнил комнату, нелепым и комичным показался заряженный револьвер на стуле возле кровати. Быстро одевшись, Ильин прошел на веранду.

Сад был невелик и запущен. Буйная тропическая зелень победоносно захватывала дорожки. У самой веранды гигантское дерево раскидывало на огромной высоте широкую крону. Лиана полудюжиной толстых канатов обвивала бугристый корявый ствол и, взобравшись наверх, спускалась нарядной бахромой. Стайка огненно-алых птичек с писком и гвалтом ссорилась высоко в ветвях. Спереди и справа сад замыкала густая стена кустов.

Когда Ильин через небольшую калитку вышел наружу, характер местности стал ему ясен с первого взгляда. Остров в этом месте представлял собою узкую, всего шагов в триста шириной, но довольно длинную гряду, полого спускающуюся в обе стороны к болоту. Далее, насколько хватало глаз, тянулось болото, кое-где поросшее мангровыми деревьями с сетью воздушных корней,

конусом встающих над топью. Справа виднелся ряд крыш, закутанных в зелень, слева остров прорезала поперек бетонная стена. В стене имелись, по-видимому, единственные ворота с крошечным домиком возле них. В данный момент они были заперты, и на скамье у караульного домика сидели двое солдат.

Ильин счел преждевременным направлять любопытство в эту сторону и пошел вправо от дороги, пролегающей в нескольких шагах от края болота. В этот ранний час мир был пуст и тих. Вдруг Ильин услышал насмешливый голос Кроза:

— Доброго утра, коллега! Я вижу, вы встаете рано, но, если уж я застал вас вне дома, разрешите показать вам лабораторию, животных и прочее наше хозяйство!

Глава 6. «Хозяйство» Кроза

То, что сидело в клетке, с трудом поддавалось описанию. Во всяком случае, это не могло быть ни одной из крупных человекообразных обезьян. Кроз наслаждался изумлением молодого ученого.

Громадные, ниже колен свисающие руки, низкий череп и чудовищные клыки, горящие глаза под нависшими надбровными дугами и, по крайней мере, в два метра тулово, покрытое длинной буро-серой шерстью, производили жуткое впечатление. Завидев людей, гигантское животное с такой яростью бросилось к решетке, что Ильин невольно отшатнулся.

Кроз похлопал его по плечу:

— А хороша обезьянка, коллега? Вы не находите, что «Гагенбек»[20] упустил возможность сотворить подобное чудовище и выдать его за новую человекообразную обезьяну, только что найденную, скажем, в глубине недоступных джунглей Центральной Африки? Я думаю, что любой зоологический сад пошел бы на какие угод-

---

[20] Примечания: 20
Известная германская фирма, торгующая дикими животными.

но жертвы ради получения этакого экспоната.

— Хорошо, профессор, — сказал Ильин. — Вижу, перед нами один из ваших гибридов — помесь орангутана и гориллы. Об этом говорит цвет шерсти, явно промежуточный между рыжей мастью орангутана и серо-черной шерстью гориллы. Но откуда же этот чудовищный рост? Это что-то ужасающее: этот зверь несравненно крупнее самой гигантской гориллы!

Кроз снова расплылся в улыбке:

— Вот это-то, дорогой мой, и является самым интересным. Разумеется, не тот факт, что гибрид оказался больше обеих родительских форм. Это вещь старая и общеизвестная. Возьмите семикилограммовых петухов, происшедших от скрещивания бойцовых петухов с породой доркинг, или громадных гусей, полученных от гуся тулузского и гуся эмденского, или верблюдов, иногда чуть ли не со слона ростом — итог скрещивания чистого одногорбого верблюда с чистым двугорбым. Интересно выяснить причину этого явления, а выяснение причины — оно же и овладение механизмом явления. Обратите внимание: когда культура накладывает руку на какое-либо растение или животное, нередко достигается увеличение роста и веса, иногда весьма

значительное. Однако это увеличение не беспредельно, и вскоре мы упираемся… ну, если хотите, в потолок. Упираемся, и дальше ни с места. От лесной земляники до громадной культурной ягоды в сто граммов весом расстояние огромно. Так? Но можно ли вывести породу земляники с ягодами в полкило? Нельзя. Другой пример. Еще в прошлом столетии была создана знаменитая свинья в две трети тонны весом, а после этого мы бессильны прибавить сюда хоть сотню кило. Потолок — и как будто ничего не поделаешь.

— Вы сказали: «как будто», — вставил Ильин.

— Да, только «как будто», потому что в ряде случаев потолок-то, знаете ли… гнется. В самом деле: максимальный вес петуха крупнейшей чистой породы — шесть кило. И вдруг помесь имеет уже семь! Что означает лишний килограмм? Дыру в потолке, дорогой мой, дыру в потолке! Вы никогда не задумывались над этим вопросом, мсье Ильин?

— Нет… Но раз перед нами в клетке имеется явление такого рода, то я был бы очень рад услышать ваше мнение о его причинах.

— Причинах? — Кроз усмехнулся, и его узкие серые глаза блеснули. — Причин имеется несколько, дорогой мой, но на первое место я

выдвигаю прежде всего одну. Она очень проста, мсье Ильин, но, по-видимому, как раз самое простое постигается с наибольшим трудом. Чтобы не ходить далеко, возьмем для примера сидящее перед нами чудовище. Как произошла от более мелких предков горилла? Вследствие того, что на протяжении веков возникли несколько усиливающих рост генов. На другом конце земного шара орангутан произошел также от мелких предков и также вследствие появления усиливающих генов, но только… тех ли самых генов, коллега?

— Я считаю последнее маловероятным, — сказал Ильин.

— И тут вы правы. Да, гены, усиливающие рост гориллы, и гены, усиливающие рост орангутана, — разные. Когда мы произвели скрещивание, одни гены усилили другие, и вот — результат перед вами. Отсюда для вас ясно, где надо искать особо резких уклонений вверх. Они будут получаться посредством скрещивания наиболее крупных пород, притом пород, происшедших от мелких предков, возможно, независимо друг от друга. И теперь уже я спрошу вас: какой еще вывод, по-вашему, вытекает из этого объяснения, — если, конечно, оно верно, — и каким путем это объяснение можно было бы подтвердить или

опровергнуть?

Кроз умолк и, слегка усмехаясь, взглянул на собеседника. Ильин на минуту задумался.

— Я полагаю, — ответил он, — что этот путь напрашивается сам собой. Если во втором поколении при расщеплении, согласно закону Менделя, часть потомства сохранит крупный рост родителей, то вы правы. Но вместе с тем… — Ильин чуть запнулся. — Вместе с тем в этом случае мы имели бы возможность создания стойких гигантских рас посредством расщепления полученных крупных гибридов.

Лицо Кроза просияло.

— Я думаю, коллега, — сказал он, — что мы с вами далеко пойдем, если мы понимаем друг друга с полуслова. Вы правы. И я могу сообщить вам, что этот гигант — гибрид второго поколения и что гигантские расы здесь, в Ниамбе, мы уже создаем!

Вольер для обезьян был очень обширен. Он тянулся рядом отдельных павильонов, окутанных густой тропической зеленью. В громадных клетках, погруженных в полумрак лесной чащи, находились гориллы. Их было около двух десятков. Гигантские старые самцы с могучими клыками и самки с детенышами помещались то

группами, то поодиночке. В большинстве своем они оказались ручными и всеми способами выражали восторг при приближении Кроза.



Орангутанов, шимпанзе и помесей последнего с гориллой оказалось всего несколько штук. На вопрос Ильина Кроз дал следующее объяснение:

— Видите ли, сама-то станция построена здесь именно потому, что лежащие за рекой леса являются центром распространения горилл, и естественно, что последние и явились основным объектом нашей работы. Что касается орангутанов, то, во-первых, нам трудно их доставать, а во-вторых, помеси их не дали ничего нового сравнительно с помесями гориллы. Больше интереса представляют гибриды шимпанзе, но работа с ними находится еще в начальной стадии.

Приблизительно в середине участка, занятого под обезьян, находилась лаборатория Кроза — сравнительно небольшая, но блестяще оборудованная. Две крайние ее комнаты были предоставлены Ильину. Осмотр и изучение великолепных микроскопов и аппаратов для микрофотографирования заняли несколько часов, после чего Кроз обратился с просьбой перенести продолжение беседы на следующий день, и Ильин отправился домой.

Глава 7. Тайна Ниамбы

Солнце уже стояло низко, когда за стеной раздались те же, что и прошлой ночью, звуки. На этот раз нелепого ночного страха, конечно, не было, и Ильин пытливо прислушивался к тому, что там происходило. Вдруг у Ильина родилось предположение настолько жуткое, что невольный холод пробежал у него по спине.

Кроз ни словом не обмолвился о том, что делается по ту сторону стены, а Ильин также этой темы не затронул. Вещь общеизвестная: спрашивать о том, чего явно не хотят говорить, — лучший способ ничего не узнать.

С другой стороны, Ильин чувствовал, что он не в силах оставаться в неизвестности. Первая идея — подставить к стене лестницу — отпала, потому что никакой лестницы в доме не оказалось. Воспользоваться веревкой? Но на гладком полукруглом ребре стены ее не за что было бы зацепить.

Взгляд на гигантское дерево у веранды принес решение вопроса. Обвивающая ствол лиана давала возможность подняться по стволу до уровня стены. Заперев дверь комнаты и калитку

сада, он решительно полез вверх. Кора дерева была бугристая и неровная, и толстые жгуты лианы так крепко срослись с ней, что подъем оказался нетрудным, и через минуту Ильин уже погрузился в густую зелень кроны. Взгляда по сторонам было достаточно, чтобы убедиться в своей невидимости, но и ему ничего не удавалось рассмотреть. В следующий момент он вспомнил о громадном суке близ вершины, выдвигающемся из кроны, и полез выше. Еще немного усилий и, лежа в глубокой развилине, скрытый, как одеялом, бахромой листьев лианы, он взглянул поверх стены.

Узкая полоса твердой земли с редкими, беспорядочно стоящими деревьями ширилась за стеной, образуя порядочный остров площадью не менее ста гектаров. Вдали виднелось множество небольших зданий с фигурами людей между ними.

Расстояние было слишком велико, чтобы рассмотреть подробности. Но в очертаниях и движениях этих фигур чувствовалось что-то странное. Не будучи в состоянии разобраться толком в происходящем возле бараков, Ильин уже собирался слезть за биноклем, как вдруг у самой стены, справа, раздался шум шагов. Опустив

глаза, он невольно вздрогнул.

За стеной на расстоянии не более тридцати метров от него двигалось существо, до того неправдоподобное и чудовищное, что Ильин, внутренне готовый к чему-то необычайному, все же почувствовал, как весь холодеет. Во всяком случае то, что неуклюжим, но быстрым шагом шло за стеной, никоим образом не было человеком. Широкая сутулая фигура была нелепо и несоразмерно громадна, длинные, как у гориллы, руки спускались ниже колен, черная шерсть покрывала грудь, плечи и конечности, но прямые, длинные, как у человека, ноги ступали твердо, и в руках чудовища была военная винтовка с приткнутым штыком.

Несколько секунд, почти не веря глазам, Ильин смотрел вниз. Да, это так! Никаких сомнений больше быть не может. Жуткое предчувствие, заставившее его влезть на дерево и еще несколько минут назад казавшееся блажью, оправдалось. Так вот в чем заключается отвратительная и страшная тайна Ниамбы: французы скрещивали здесь негров с гориллой!..

Чудовище прошло мимо и, дойдя до болота, повернуло назад. Теперь Ильину было ясно видно его лицо, и он впился в него глазами, стараясь

не упустить ни одной детали. Сравнительно с мохнатым телом лицо было почти голое, как и спина, и совершенно черного цвета. Громадные, выпяченные вперед губы казались чудовищной пародией на губы негра. Низкий покатый лоб спускался к далеко выдвигающимся вперед надбровным дугам. Громадные квадратные челюсти, по-видимому, спокойно могли бы смять ружейный ствол. Все тело было непропорционально огромно даже для гориллы, по крайней мере в два метра высотой, если не больше. Нечеловеческая, сокрушающая сила ощущалась в тяжелых и вместе с тем быстрых движениях чудовища.

Сгорбившись и опустив вниз лицо, неуклюже-размашистым шагом гориллоид прошел до другого конца стены и снова повернул обратно. Очевидно, это был часовой.

В взбудораженном от всего увиденного мозгу Ильина затеснились, перегоняя друг друга, самые несообразные предположения. Если в руки такого создания вложена винтовка французской армии, значит, он обучен обращению с оружием — это дисциплинированный солдат, потому что не может же быть, чтобы дикому зверю была дана в лапы такая опасная «игрушка». Но этого мало. Раз налицо часовой, значит, имеется какая ни на

есть воинская часть. И не служит ли окружающая Ниамбу тайна прикрытием опыта создания армии из помесей человека с гориллой?! И следовательно, казармами для этих чудовищ являются виднеющиеся вдали ряды бараков?

Словно в ответ на его мысли, от бараков донесся сухой треск винтовочного выстрела, затем другой, третий. Через минуту стрельба возобновилась с неправильными длинными промежутками. Всего было сделано десятка полтора выстрелов, после чего все смолкло. Очевидно, в этих выстрелах не было ничего необычного, потому что мохнатый часовой продолжал мерно ходить вдоль стены, даже не оглядываясь в ту сторону.

Прошло с полчаса, а может быть, и больше. Ничего нового не происходило. Лежанье на суку начало делаться утомительным, и Ильин решил слезть, чтобы немного спустя вернуться с биноклем и как следует рассмотреть, что делается вдали, у бараков. Выбрав момент, когда чудовищный часовой шел, повернувшись к нему спиной, Ильин быстро скользнул вниз по лестнице лиан и через минуту сидел в кресле у себя в комнате. Он чувствовал себя совершенно потрясенным.

Несомненно, в Ниамбе и должны были иметь

место вещи из ряда вон выходящие. Он знал это, когда ехал сюда. Однако подобной истории он все-таки не ожидал.

В том, что правильны его предположения о попытке создать вооруженную силу из гибридов человека с гориллой, он уже почти не сомневался. Но какой в этом смысл? Ведь нельзя же допустить, что подобные невероятные скрещивания поставят на конвейер.

Итак, вот что означали слова в письме Идаева об успехе, ему самому внушающем ужас. Чего-либо особо ужасного Ильин здесь пока еще не видел — если, конечно, отнестись спокойно к самому факту изготовления помесей человека с гориллой. Но все это было до последней степени дико, неожиданно и отвратительно.

Производить дальнейшие наблюдения в этот день уже не пришлось, ибо наступили сумерки, и утомленный впечатлениями дня Ильин лег очень рано.

Глава 8. Снова Дюпон

Новый день принес новые неожиданности.

Прежде всего, в лаборатории к Ильину подошел молодой человек в огромных, круглых в роговой оправе очках и обратился с приветствием на чистейшем русском языке. Немного спустя Ильин вспомнил случайное замечание Дюпона, что в Ниамбе работает один молодой русский ассистент, но в первое мгновение он от неожиданности немного растерялся и не сразу ответил на приветствие.



Молодой человек говорил не спеша и каждое слово произносил с необыкновенной отчетливостью. Оказалось, зовут его Виктор Петрович Ахматов, и он вот уже три месяца трудится в лаборатории профессора Кроза, в соседней комнате. Он специализировался на экспериментальной биологии, и ему было радостно познакомиться с Ильиным, хотя бы из-за того, что тот был его соотечественником. В общем, Ахматов сказал все, что полагается говорить при первой встрече, затем с той же отчетливостью откланялся и направился в свою комнату.

Может быть, так подействовали на воображение слишком необычные переживания последних дней, но вся эта коротенькая встреча, круглая, под машинку остриженная голова Ахматова, его огромные круглые очки и законченно округленные выражения оставили у Ильина впечатление чего-то не вполне реального, будто всего этого и не было — ни Ахматова с его очками, ни Кроза, ни вчерашнего монстра за стеной. Такое состояние продолжалось, вероятно, одно мгновение, потому что Ильин был абсолютно рациональный человек и не проявлял ни малейшей склонности к каким-либо мистическим переживаниям. Но когда через несколько минут

дверь лаборатории снова открылась, Ильину стало ясно, что он начинает сходить с ума… потому что Дюпон вошел в комнату, затворил дверь и, улыбаясь, протянул ему руку.

Должно быть, на физиономии Ильина выразилась крайняя степень изумления, так как Дюпон рассмеялся.

— Только, пожалуйста, не смотрите на меня как на покойника, — сказал он. — Могу вас уверить, что я не привидение и что на моих костях еще надето здоровое и свежее мясо.

Ильин пришел наконец в себя.

— Но каким же чертом вы сюда попали? — воскликнул он.

— Каким чертом? Черт здесь ни при чем, а виновата, во-первых, кое-какая литература, которую я не умел как следует прятать, а во-вторых — капитан Ленуар. Дело, видите, в том… — механик уселся на стул, и его физиономия засияла. — До чего же я рад, что я вас вижу, и как это хорошо вышло, что и вас занесло в это проклятое заведение!

— Но погодите… — При мысли, что он наконец все узнает, Ильин почувствовал, что он не в силах сейчас выслушивать дружеские излияния. — Говорите толком: почему вы тогда как в воду

канули там, в институте, и что за чертовщина творится у них здесь, в Ниамбе?

Дюпон подошел к двери, приоткрыл ее, заглянул в коридор, снова запер на ключ, затем бросил взгляд через окно в сад и, опершись обеими руками на спинку стула, изложил:

— Прежде всего, имейте в виду, что говорить здесь можно спокойно, потому что эти две стены выходят в сад, а стену к Ахматову я только что хорошенько осмотрел, когда ставил около нее термостат. Стена плотная, и ни дыр, ни вентиляции в ней нет. В институте я влип, благодаря чьим-то длинным языкам. Думаю, тут не было предательства, а только паршивая привычка болтать чего не следует. Собственно, когда меня загребли, то нашли всего-навсего несколько газет да брошюрок. В общем, так, ерунда, но в институте и этого не полагается, и после трех дней отсидки докладывают мне очень вежливо, что меня отправляют в Европу, а уж там, значит, разберутся. Для меня это было дело неподходящее, потому что, надо вам сказать, у меня остались за океаном кое-какие дела того же рода, и ехать туда мне не было никакого расчета. Поэтому настроение у меня немножко упало, когда вдруг приводят меня в кабинет начальника тамошней

полиции, и рядом с ним, смотрю, в кресле капитан Ленуар, комендант Ниамбы.

— Да? — Ильин повернулся на стуле и нагнулся вперед.

— Ленуар взглянул на меня и говорит: «Это и есть ваш коммунист?» — «Да, капитан, кое-какая коммунистическая литература и подозрения в попытке устройства радикальной ячейки. Надеюсь, в Париже охранка найдет в его прошлом более пикантные вещи». Капитан посмотрел еще раз на меня, словно хотел влезть глазами под кожу, затем ни с того ни с сего рассмеялся. Надо сказать, что Ленуар — самая опасная гадина, какую я когда-либо встречал в жизни, но кроме того, это самый решительный, веселый и беззаботный человек на свете… Как будто меня здесь и не было, он продолжал разговор с начальником охраны. «Знаете что, — говорит, — вам не кажется, что двери Ниамбы запираются крепче ворот любой тюрьмы в Европе? Если, по вашим словам, Дюпон — способный механик, то как раз такого нам сейчас и нужно. Давайте мне вашего бунтаря. Из Ниамбы он никуда не удерет, а моих доверенных уж никак не идеологизирует. — При этих словах капитан засмеялся вновь. — Если я останусь им недоволен, то… разве не было слу-

чаев, когда тонули в болоте люди, пытавшиеся вопреки контракту раньше срока выбраться из Ниамбы?» Начальник полиции ухмыльнулся, и дело было решено. Меня отправили прямо на катер, и в тот же день вечером я был в Ниамбе…

Дюпон взглянул в глаза Ильину.

— Ну, вот и все. История самая простая. А в остальном особенно жаловаться на судьбу не приходится. Комната отличная, обеды прекрасные и обращение гораздо более вежливое, чем в институте. А главное, попав сюда, я узнал самую каторжную выдумку, которая когда-либо приходила в голову человеку.

— Это насчет помесей негра с гориллой? — Ильин жадными глазами уставился в лицо собеседника.

— А, вы уже знаете? Дело не в помесях, о всякой такой науке я очень мало беспокоюсь. Дело в том, что они здесь строят ядро войска из таких чудовищ, с которыми вряд ли приятно будет когда-нибудь столкнуться. Вся эта история — дело рук вашего Идаева. Собственными бы руками пристрелил эту старую собаку!

Ильин с негодованием вскочил со стула.

— Да, да, и нечего обижаться! Вы, как маленькие дети, забавляетесь, выдумываете себе игрушки,

играете с огнем и не можете осмыслить, что от брошенной вами спички может заполыхать пожаром и залиться кровью мир.

Ильин не мог не признать правильности приведенного Дюпоном аргумента и сдержал готовый вырваться резкий ответ.

— Дурак выдумал, — продолжал механик, — а умный человек пустил в дело. Этот Ленуар отдает себе отчет в своих действиях и их последствиях. Хотя и его собственные винтики не вполне отлажены, это лишь делает его еще более непредсказуемым. Логичен вопрос: почему молодой красавец капитан генерального штаба добровольно изолировал себя на краю света и тратит время на работу с существами, вызывающими отвращение даже при мимолетном взгляде? Ответ прост: у него четкий и верный план. С помощью Ниамбе он намерен достичь невероятных высот в карьере. Имея в своем распоряжении такую армию, он сможет взлететь к вершинам власти и признания в самом начале гражданского конфликта.

Ильин понял, что у него нет больше терпения слушать общие рассуждения.

— О всякой подобной философии, — прервал он Дюпона, — мы потолкуем после, а прямо сейчас

рассказывайте толком, что и как делается в Ниамбе? Я приехал по вызову Идаева. В той записке, какую я, помните, тогда получил через негра, Идаев звал меня, и он же устроил мой перевод сюда, а когда я приехал, оказалось, что здесь он совершенно невидим — не то действительно болен, как говорит Кроз, не то его почему-то прячут, никак не могу понять.

— Этого и я не знаю, — ответил Дюпон. — Я его не видал и могу только сказать, что он находится за стеной в обезьяньем лагере, потому что здесь его безусловно нет. Вы хотите знать в двух словах, что здесь делается? Очень просто — делают гибриды негров с гориллой. Мамашами служат негритянки — потому, должно быть, что их легче доставать, чем самок гориллы. И несколько сот негритянок содержатся для этой цели там, за стеной.

Ильин невольно вздрогнул.

— Как они это делают, вам, ученым, лучше знать, а мне о такой мерзости и думать не хочется. Тьфу, черт, какая гнусность! Вот уж за что придется в будущем расстреливать без всякой пощады… Так вот. Полученным гибридам дают боевую подготовку, и обучение идет, видимо, полным ходом. Ведает всем этим капитан Ленуар. Для мохнатого

войска он царь и бог, и дисциплина там такая, что лучшей, пожалуй, не было и в наполеоновской гвардии. Сколько их там, я не знаю, но много, и это такие чудовища, что от одного вида их любое войско обратится в бегство.

— Я их видал, — сказал Ильин.

— Каким образом?

— Влез на дерево и заглянул через стенку.

Дюпон одобрительно рассмеялся:

— Молодчина! Это не по-профессорски! Ну, а теперь вот что. Я у вас засиделся, нужно идти и кончать термостат у Ахматова. Надо будет нам с вами еще раз встретиться и уже как следует потолковать.

— Погодите, — Ильин жестом остановил его в дверях. — Что думаете про Ахматова?

— Ах, этот… Форменная скотина.

— Что ж, ясно… До свиданья!

Механик кивнул и скрылся за дверью.

Глава 9. Каторжная выдумка

В этот день Ильин обедал у Кроза, ибо тот зашел в лабораторию без стука и, не слушая никаких возражений, потащил его к себе. Через несколько минут после их прихода появился и капитан Ленуар, и Ильин снова испытал чувство ошеломляющего недоумения.

Когда мы много думаем о человеке, известном нам лишь своими делами, его поступки помимо нас формируют в нашем представлении некий телесный образ. И чем ярче сущность поступков человека материализуется в воображаемых нами чертах лица, фигуры и всего его облика, тем сильнее бывает впоследствии чувство изумления, когда этот человек появляется перед глазами живым, реальным, и оказывается совсем иным.

По тому, что Ильин слышал о Ленуаре, он представлял капитана удалым, рослым, с красным носом и нахально торчащими рыжими усами. Вместо этого к столу, улыбаясь, подошел и чрезвычайно просто представился молодой человек с бритым, красивым и очень юным лицом и с несколько более длинными, чем это полагается военному, каштановыми, слегка вьющимися

волосами. Ему можно было дать лет двадцать пять от силы, хотя, как потом Ильин узнал, он был почти на десятилетие старше.

Однако не в чертах лица заключалась сущность физиономии Ленуара. Когда Ильин впоследствии вспоминал о нем, линии лица и фигуры стирались, и, закрывая их, вставала перед глазами сияющая радостью улыбка — улыбка столь неотразимо привлекательная, что, несмотря на все слова Дюпона, первым непроизвольным чувством у Ильина по отношению к вошедшему была ни на чем не основанная, но несомненная симпатия.

За обедом завязался веселый и непринужденный разговор. Местных дел почти не касались. Кроз и Ленуар с увлечением расспрашивали Ильина о впечатлении, какое на него произвела Франция, где он был проездом по пути сюда, как ему понравились бульвары в Париже, какой вид имеет сейчас Москва…

Когда разговор коснулся СССР, улыбка исчезла с лица капитана, и широко открытые серые глаза наполнились таким жадным вниманием, что Ильин как-то сразу насторожился и принял безразличный тон. Как ни был очарователен на вид Ленуар, Дюпон говорил о нем вещи слишком

определенные, и, чтобы проникнуть поглубже в здешние дела и секреты, Ильин счел самым умным изобразить человека, равнодушного ко всему, кроме науки.

Поэтому, подробно распространяясь об университетских делах и спорте, об остальном он упоминал вскользь, как о делах, для него абсолютно не интересных; а затем, решив сразу выяснить свое положение, перевел разговор на Ниамбу, выказал восхищение апартаментами и задал вопрос, с какой целью устроена эта безобразная бетонная стена.

Глаза Ленуара заискрились смехом.

— А разве профессор вам еще не рассказывал?

— Видите ли… — Кроз вытер салфеткой рот и откинулся в кресле. — Мы с коллегой за вчерашний день не успели как следует ознакомиться даже с моей лабораторией. Кроме того, знаете, ввиду вашего, капитан, отсутствия и касательства вопросов, находящихся далеко вне области моей компетенции, я счел… более удобным воздержаться до вашего возвращения от информации, касающейся уже главным образом вашей работы.

— Я удивляюсь, — ответил, улыбаясь, Ленуар, — что наш новый гость не задал вам этого

вопроса еще вчера. Я думаю, поскольку мсье Ильин надолго останется нашим товарищем по работе и покинет Ниамбу, когда ее маленькие и большие тайны уже перестанут быть тайнами, он, конечно, должен знать все… Ну, а кто же из нас будет рассказывать? Знаете, начинайте вы, профессор, потому что… ведь вашей наукой было положено начало всему.

Кроз налил себе стакан вина и уселся поудобнее.

— Вы в самом деле малолюбопытный человек, коллега, — сказал он. — И знаете, в такой, как у нас, работе — это очень большое достоинство. Я с большим удовольствием еще вчера ввел бы вас в курс наших дел, если бы, как я сейчас сказал капитану, это не зависело прежде всего от его разрешения… Вы видели вчера наших гибридов между гориллой, орангутаном и шимпанзе, и вы, вероятно, согласитесь, что они достаточно необыкновенны, так ведь?

Ильин утвердительно кивнул.

— Но и это не все. По пути возможностей, открытых искусственным оплодотворением, здесь пошли дальше и поставили — уже полтора десятка лет назад — опыты искусственного оплодотворения самок гориллы спермой негра,

а потом рискнули обратить процесс, и… — Кроз встал, и в голосе его звучал глубокий подъем: — И опыты эти удались, дорогой коллега!

Он остановился и выжидательно посмотрел на Ильина.

— Вы самый невозмутимый человек на свете! — воскликнул он, хлопнув себя руками по штанам. — Если бы мне сообщили такую новость, я чувствовал бы себя ошеломленным, а вы… вы приняли ее так, как… ну, скажем, сообщение о смене министерства в Париже.

Ленуар расхохотался, а Кроз, снова усевшись на стул, продолжал:

— Да! И эти помеси оказались изумительнее всего, что можно было предвидеть и ожидать. Я не стану описывать их подробно, потому что не хочу портить ваше впечатление от лицезрения их воочию. Достаточно сказать: чрезвычайное увеличение роста у гибридов орангутана оказалось еще незначительным по сравнению с тем, что дали гибриды негра и гориллы. Сначала эти опыты имели чисто академический характер, но затем судьбе было угодно, чтобы сюда попал совсем еще юным офицером Ленуар, и с этого момента начала медленно раскрываться, — я имею смелость это сказать, — новая страница

мировой истории! Отчасти чудовищный рост и непомерная физическая сила, отчасти врожденная скорость реакций, злобность и готовность к нападению самцов этих гибридов дали Ленуару идею попытаться использовать их как военную силу…

Ильин пришел к заключению, что этакое сообщение действительно должно вызвать изумление и недоверие у всякого нормального человека; излишняя невозмутимость могла бы показаться даже подозрительной.

— Не может быть! Вы смеетесь! — счел он необходимым воскликнуть.

— Ага, и вашу дубленую русскую кожу пробрала такая новость!

— Ерунда! Не думайте, пожалуйста, что я способен поверить этому… Хотя, впрочем, конечно… — Ильин запнулся. — Самую возможность помесей человекообразных обезьян с человеком я, конечно, никогда не стал бы отрицать.

— Знаете что? Довольно! — Капитан Ленуар, сияя своей изумительной улыбкой, встал и протянул вперед руку. — Есть моменты, чей эффект грешно ослаблять… Кроз! Пускай это будет шутка! Да, шутка после обеда!.. Сегодня вечером мсье Ильин будет у меня? Правда?

Он подошел и обеими руками крепко сжал руку молодого ученого.

— Знаете? Мне с первого взгляда понравилось ваше лицо и то, что у вас широкие плечи. Простите, что я это так нелепо и прямо говорю, но мир создан для настоящих, крепко устроенных людей, и их не так много. И когда они попадаются на пути, их очень приятно видеть.

Ильин невольно улыбнулся.

— Значит, приходите часов в семь. Не знаю, придет ли Кроз. Этот старый медведь очень туго вылезает из своей берлоги, но все остальное наше, увы, немногочисленное общество, наверное, будет в сборе. Я очень общительный человек, и, если публика предпочтительно собирается у меня, то отчасти, должно быть, потому, что со мной все чувствуют себя просто и свободно… А завтра мы с вами посетим мир по ту сторону стены, и на другой день после этого вы расскажете нам, что вы видели во сне. До свидания!

Ленуар пожал руки собеседникам и быстрыми легкими шагами исчез за дверью. Через несколько минут Ильин также пошел домой. Настроение у него было самое сумбурное. Что же, собственно, представлял собой Ленуар? Он был прост и положительно симпатичен. А с другой стороны, прав

Дюпон, что чудовищный опыт ставится в Ниамбе по инициативе этого же Ленуара. И против кого этот новый род оружия?.. Или прав Дюпон и в том, что все это готовится с целью залить кровью и нечеловеческим ужасом вспыхнувшую первыми искрами и неотвратимо надвигающуюся социальную войну?.. Какая чушь!

Ильин тряхнул головой и почувствовал себя почти успокоенным. Лишь одно из сонма дурацких военных изобретений, и ничего больше. Изобретений, на девяносто девять сотых оказывающихся ни на что не годными. Как жаль, что такой вот милый парень губит лучшие годы жизни на нелепую и абсурдную затею!.. Впрочем, говорят, что у всех изобретателей чего-то не хватает в голове; и никому нельзя препятствовать по-своему сходить с ума, если это ему угодно и никому не вредит. На днях все это выяснится и тогда можно будет толком разобраться в обстановке.

Успокоившись на этих рассуждениях, Ильин отправился в лабораторию и часов до пяти работал над оставленными Крозом препаратами, восхищаясь совершенством двух новеньких, со всеми новейшими приспособлениями микроскопов.

Глава 10. Гостиная в Африке

Когда Ильин поднялся на широкую, окутанную вьющимися растениями веранду здания, занимаемого капитаном, там за чайным столом уже сидели несколько человек, и Ленуар, быстро выйдя навстречу гостю, принялся знакомить его с остальными:

— Мсье Ильин — наш новый научный сотрудник, о нем я уже вам говорил. Лейтенант Тракар — летчик. Мсье Ахматов, ассистент Кроза, — ваш соотечественник.

— С Виктором Петровичем мы уже познакомились, — перебил Ильин.

— Тем лучше. И, наконец, разрешите представить вас моей жене.

Ильин поднял глаза и… потерялся.

Вероятно, на улице Москвы мадам Ленуар показалась бы ему просто очень красивой женщиной, но здесь, в Африке, и вдобавок на этом сумасшедшем острове, среди тихих и унылых топей… нет, это было невозможно! Ильин увидел высокую и тоненькую, слишком, может быть, для Ниамбы нарядно одетую женщину с большими серыми глазами и светлыми вьющимися

волосами, остриженными «под пажа» и низко спускавшимися на лоб. Но кроме всего этого в ее внешности было нечто, не укладывающееся в обычное описание, — у него было впечатление, что нет и не может быть на свете другой такой женщины.

Мадам Ленуар поздоровалась с ним очень приветливо, затем все снова уселись за стол.

Уже через несколько минут Ильину стало ясно, что Ленуар заблуждался, считая, что немногочисленное общество Ниамбы собиралось ради него. Было очевидно, все находились здесь из-за мадам Ленуар, — именно к ней тянулись нити, заставившие каждого прийти на эту веранду, под широко раскинувшие листву громадные латании. И вместе с тем, должно быть, слишком далекой для всех была эта красивая женщина, потому что настроение гостей оказалось довольно молчаливым.

Летчик, отказавшийся от чая, молча сидел, опершись локтями о перила, глядя в землю. Иногда поднимая глаза, он впивался ими в хозяйку дома, затем снова начинал осматривать мыски своих сапог. Ахматов, бывший в довольно замысловатом сером костюме и высоком воротничке, также сидел молча и лишь изредка на мгнове-

ние проводил взглядом по лицу мадам Ленуар. Ильин, вообще говоря, не имел обычая стесняться в присутствии женщин, но сейчас почему-то потерял способность речи и чувствовал себя круглым идиотом.

За всех троих без умолку болтал смуглый, с основательным брюшком инженер — он приехал сюда на днях в связи с предполагавшимися крупными постройками. Шоколадные глаза этого малого почти не отрывались от лица хозяйки. Может быть, присутствие такой собеседницы вдохновляло его, но, надо отдать должное, рассказывал он остроумно и изящно. Ворох зачастую рискованных новостей и скандалов Парижа у него облекался в самую безупречную форму.

Однако после одного особенно сложного эпизода, в котором оказались одновременно замешаны министр народного просвещения, певичка из «Фоли Бержер», шофер министра и аббат церкви святой Женевьевы, мадам Ленуар засмеялась и, заявив, что она решительно не согласна больше слушать такие рассказы, поднялась и направилась в гостиную.

Из-за вершины пальмы вылезла почти круглая ослепительно белая луна, и призрачно далекими стали в ее свете человеческие лица. Ахматов

предложил не зажигать лампы и попросил мадам Ленуар в дополнение к обстановке тропической лунной ночи что-нибудь сыграть. Та без возражений уселась за рояль. Первые вещи вовсе не произвели на Ильина впечатления, потому что в музыке он ничего не смыслил, и слишком сложные узоры звуков оставляли в нем впечатление простого шума. Затем мадам Ленуар сказала, что она исполнит старинную народную мелодию западных Пиреней — ее родины, и под аккомпанемент рояля запела. Голос у нее был небольшой, но красивый и мягкий. Непонятны были слова древнего языка басков[21], но захватывающей душу радостью звучал торжественный и простой мотив.

Сияние луны падало прямо на лицо молодой женщины. Зеленоватым блеском сияли низко спускавшиеся на лоб золотые волосы, и настолько прекрасной в эти минуты казалась она Ильину, что ему вдруг стало жутко. А что, если

[21] Примечания: 21

Баски (бискайцы, басконцы) — небольшой горный народ, обитающий на границе Франции и Испании, по обоим склонам Пиренеев. Басков насчитывается около миллиона, часть их эмигрировала в Америку (Куба, Аргентина, Мексика). Это один из древнейших народов Европы, потомки иберов. Их язык (запрещенный в школах и учреждениях Франции и Испании) сильно отличается от всех европейских языков. Он очень богат гласными, грамматика его сложна, а запас слов ограничен (нет, например, слова «животное» и т. п.).

действительно впереди еще пять лет здесь, на этом чертовом острове, рядом с такой женщиной? Неужто по прошествии времени у него, Ильина, будет в глазах такая же покорная собачья любовь, как у этого злосчастного летчика или у Ахматова?.. Нет! Этого не будет! Он встал и без дальнейших околичностей начал прощаться.

Ленуар запротестовал, сказав, что отсюда так рано не уходят; его жена присоединилась к протесту и, с комическим ужасом всплеснув руками, сказала, что она никогда не села бы за рояль, если бы знала, что ее игра немедленно выгонит гостей из дому. После такого уйти было, очевидно, нельзя, а кроме того, Ильин вдруг осознал, что его непреложная решимость куда-то исчезла, и ему вовсе не хочется уходить.

Затем Ахматов предложил устроить спиритический сеанс. Ленуар высказался против, так как, во-первых, по его мнению, Ахматов сам поднимает ногой стол, а во-вторых, нельзя придумать более глупого занятия, чем сидеть в темноте и ждать, пока кому-то или чему-то незримому будет угодно пошевельнуть мебель. Инженер заявил, что спиритизм, бесспорно, является одним из самых совершенных методов флирта — и с этой стороны он его вполне признает, — но так

как мсье Ахматов, по-видимому, оценивает эти вещи иначе, то он советует прежде всего зажечь свет: хорошая лампа всегда лучше самой полной луны, а кроме того, она прекрасно разгоняет «потусторонние» настроения. Свет зажгли, потом мадам Ленуар по общей просьбе снова уселась за рояль, потом ужинали, и было уже довольно поздно, когда Ильин вернулся домой. Настроение у него было весьма неясное. Законченной оценки положения, какая была у Дюпона, Ильин в себе не находил.

Сначала никак не удавалось заснуть. Лунный свет заливал комнату, упорно звучал в памяти голос и смех молодой женщины. Потом появился и снова исчез образ ее золотистых волос над сияющими серыми глазами, и Ильин провалился в сон.

Глава 11. Стрелковое учение с боевыми патронами

Когда Ленуар и Ильин подошли к воротам, часовой отдал честь, два раза провернул в замочной скважине небольшой двери тяжелый ключ и дернул висевшую у стены веревку. С той стороны отозвался небольшой колокол. Так как солдат не сделал после этого никакого движения, чтобы открыть дверь, Ильин с недоумением обернулся к капитану — и вдруг дверь отворилась. Ильин первый перешагнул через порог и невольно остановился.

Слева, в трех шагах от двери, в нелепой напряженной позе стоял гориллоид, на голову выше Ильина, держа обеими руками винтовку «на караул». Длинная ли черная шерсть на теле чудовища или то, что отсутствовал хотя бы самый что ни на есть «фиговый листок» на бедрах, — что-то потрясающе несообразное было в этой гигантской сгорбленной фигуре с ружьем, отдающей честь капитану. Был момент, когда образами из сна показались Ильину серая стена, залитая солнцем, и нечеловеческие впалые глаза горил-

лоида, устремленные на капитана с одурелой неподвижностью.

Не задерживаясь у ворот, Ленуар пошел дальше, и когда Ильин через несколько секунд посмотрел назад, чудовищный страж, придерживая левой рукой винтовку, правой задвигал тяжелый засов и поворачивал ключ.

— Ну? — Ленуар обернулся и с любопытством взглянул в лицо спутника. — Каково ваше впечатление, мсье Ильин?

Выражение лица Ильина было красноречивее слов, и капитан весь засиял от радости.

— Для меня, — пояснил он, — эти полузвери давно потеряли остроту и яркость новизны. Человек, увы, способен привыкать даже и к таким вещам, но я приблизительно представляю себе ваши впечатления!

Ильин повернулся к капитану и широко открытыми глазами уставился в его лицо.

— Может быть, в другой обстановке — в клетке, в лаборатории, в лесной чаще — он не был бы таким... — Ильин остановился, не находя для своей мысли подходящего выражения. — Ведь существовали на земле куда более невероятные создания. Но эта винтовка в руках мохнатого животного, сутулая фигура зверя и в то же

время какая-то чудовищная пародия на военную выправку... Знаете, это все буквально не укладывается в моем мозгу. Я даже не способен представить, на что они могут быть похожи в массе.

— Сейчас увидите, — сказал Ленуар.

Капитан бодро зашагал к видневшимся вдали баракам. Ильин шел рядом, напряженно вглядываясь во все кругом и стараясь запечатлеть в памяти малейшие детали местности и обстановки. До бараков было не более полукилометра. Изрытая канавами и ямами и почти лишенная травы песчаная равнина производила унылое впечатление.

Когда Ленуар подошел к первому домику, оттуда выскочили два гориллоида и в нелепо напряженной позе, с опущенными по швам длинными лапами, замерли, уставясь прямо на капитана. Ленуар сделал знак рукой, и один из них, с висевшей на кожаном ремне саблей, карикатурно маленькой для его роста, горбясь и размахивая руками, зашагал рядом.

Капитан отрывисто изрек несколько слов — очевидно, на местном негритянском языке, — на что чудовище ответило короткими лающими звуками. Впервые Ильин слышал совсем вблизи

голос гориллоида, и впечатление было не менее жуткое, чем от его внешнего облика. В звуках этого голоса не было ничего человеческого: они напоминали лающий крик самцов гориллы, и в то же время это была, несомненно, членораздельная речь. Из звериной глотки вылетали… слова! На каком-то непонятном языке, но, бесспорно, *человеческие слова!*

Справа от барака тянулась, пересекая остров, полоса довольно густого кустарника, за ним оказалось снова поле. Здесь, как только Ильин вышел на опушку, перед его глазами, не больше чем в ста шагах от него, выросла длинная в две шеренги цепь гориллоидов.

При приближении капитана Ленуара винтовки поднялись вверх, и равнина огласилась настолько необычным лающим воплем нескольких сотен чудовищ, что у Ильина пробежал по коже мороз. Ленуар молча прошел вдоль рядов, затем отдал какой-то короткий приказ. Несколько гориллоидов ответили на это громким криком, шеренги разомкнулись и начали расходиться в разные стороны.

Ленуар обернулся к Ильину и улыбнулся при виде его побледневшей физиономии и горящих глаз.

— Отряд, уходящий направо, — сказал он, — это гориллоиды старших возрастов, уже получившие хорошую военную подготовку, а те, кто идет в другую сторону, — они заметно меньше ростом, обратите внимание, — это молодняк, только начинающий свое образование.

Ильин как зачарованный следил за перестроением «солдат».

— Всякой дурью, которой по старой памяти еще увлекаются в войсках многих стран, — продолжал Ленуар, — мы здесь абсолютно не маемся. Ни шагистики, ни парадных ружейных приемов мы им, конечно, не преподаем, а ограничиваемся боевой подготовкой — да и то, как вы увидите, весьма своеобразной. Ибо я создаю здесь, может статься, самое грозное, какое видел мир, орудие борьбы… а вовсе не балет для услаждения взоров военного начальства! Дисциплина, которую я утвердил среди моих ребятишек, беспощадна, но пустяков мы не требуем от зверя, обученного убивать и побеждать. Нелепо было бы добиваться, скажем, какой-либо стройности и чистоты ружейных приемов от этих мохнатых отвратительных животных, на которых вдобавок не имеется не только штанов, но даже и маленького пояска.

Капитан засмеялся. Затем, опять сделавшись

серьезным, продолжал:

— Сейчас вы увидите, как мы готовим их к войне, и поймете, почему я уверен, что с этим войском, как с ударной частью, я в первом же бою сломлю всякое сопротивление. Старший возраст обороняет окопы. Молодежь ведет наступление. Огонь ведется боевыми патронами! — Ленуар выпрямился, черты его лица как-то заострились, обычно смеющиеся глаза стали алчны и пусты, и почти жуткой показалась Ильину эта слишком уж внезапная перемена в знакомом и приветливом лице.

Внимательно вглядываясь в движение цепей гориллоидов, Ленуар прошел примерно три сотни шагов направо и остановился. Ильин молча шел рядом.

Двигавшийся вправо отряд вдруг исчез — словно провалился сквозь землю. Только еле заметное на поверхности земли движение голов и рук с винтовками показывало, что в том месте, очевидно, тянулись узкие, хорошо замаскированные окопы. Потом над всей линией окопов появилось множество разноцветных кружков, величиной примерно в человеческую голову. Некоторое время кружки шевелились, затем застыли на месте, и длинная пестрая их полоса, разбитая

промежутками на группы, выросла над полем на высоте около трети метра над землей.

Ленуар стоял молча, и Ильин, пока во всем этом ровно ничего не понимавший, не хотел обращаться к нему с вопросами. Между тем второй отряд отошел влево, к окраине болота, и в рядах молодых гориллоидов началась какая-то возня и суета. И там замелькали в воздухе разноцветные кружки, затем они исчезли, и цепь, широко развернувшись, улеглась на землю. Ленуар поднял руку. Стоявший сзади него громадный гориллоид, тот самый, что присоединился к ним у крайнего домика, поднес к губам свисток, и оглушительный свист прорезал воздух. В ответ с обеих сторон раздались редкие неторопливые выстрелы.

Капитан и Ильин стояли не больше чем в ста шагах сбоку от границы поражаемого пространства, и казалось, что совсем рядом жужжит рой пуль, несущихся от одной цепи к другой.

Через минуту со стороны отряда, залегшего у края болота, вскочили и резво побежали вперед группы черных фигур. Ружейный огонь сразу участился, торопливо затрещали два или три пулемета со стороны окопа, и бежавшие мгновенно упали. Однако в тот же момент в других местах вскочили новые группы и, сделав ко-

роткую перебежку, в свою очередь припали к земле. Перебежки с необыкновенной быстротой, как искры, вспыхивали и гасли вдоль наступавшей цепи, и хотя Ильин проходил не так давно учебный сбор и был знаком с тактикой стрелкового боя пехоты, все-таки изумительная частота и короткость перебежек поразили его. Было непонятно, почему наступавшие бежали и вскакивали всегда парами и какой смысл имели болтавшиеся между стрелками каждой пары разноцветные кружки на бечевках.

Ильин никогда впоследствии не мог определить даже примерно, сколько времени продолжалась эта необычная атака. Во всяком случае, очень недолго, ибо в целом цепь не останавливалась ни на минуту и не было мгновения, чтобы не бежали стремительно вперед несколько групп гориллоидов. Еще минута, и громадные мохнатые фигуры с винтовками наперевес поравнялись с Ильиным и Ленуаром. Теперь было ясно видно, что каждые два гориллоида связаны тонкой бечевкой, длиной немного побольше метра, и что на середине ее болтался металлический кружок, прицепленный к ней верхним краем.

В тот момент, когда правофланговая шестерка пробегала совсем вблизи, несколько попаданий

взбили пыль у самых ног бежавших, и гориллоиды, словно прихлопнутые чем-то сверху, разом рухнули на землю. На этом расстоянии Ильину хорошо было видно, как два крайних гориллоида, прильнув всем телом к земле и, видимо, тщательно целясь, несколько раз выстрелили. Затем летевшие из окопов пули стали бить левее, и вся шестерка как один человек с воем вскочила на ноги. Пробежав два-три десятка шагов, стрелки снова упали, как только около них ударили первые пули.

Еще несколько минут, и наступавшая цепь оказалась возле самых окопов. Тогда с оглушительным ревом вся масса гориллоидов вскочила на ноги. Огромными прыжками они перемахнули через окопы, и каждый с видимым азартом пробил штыком одну из мишеней.

Пробежав по инерции еще немного, гориллоиды начали быстро строиться, и у каждого на штыке поставленной к ноге винтовки красовался избитый пулями стальной кружок.

Ленуар медленно прошел по рядам, затем обернулся к своему спутнику:

— Вы что-нибудь понимаете в этом, Ильин?

— Не очень. То есть сущность атаки, конечно, понятна, но как при таком бешеном огне они

все остались целы? И какой смысл имеют эти привязанные к вашим солдатам мишени?

— А между тем, все это просто. — Ленуар покачал головой и улыбнулся. — Вы никогда не бывали в бою, Ильин?

— Нет.

— Ну вот, а если бы вы прошли сквозь эти ощущения, то узнали бы две вещи. Во-первых, всякому человеку страшно, когда пули в большом количестве пролетают близко. А во-вторых, из них попадают в цель только очень немногие. Хорошо обстрелянный солдат — тот, кто твердо усвоил эту истину. Сколько паники и поражений иной раз сеют новички, впервые попавшие под хороший огонь!.. Эту привычку к близкой смерти и умение метко стрелять, когда пули противника жужжат у самых ушей, я и даю своим горилло-идам.

Ильин молча кивнул.

— Теперь спрашиваете, к чему эти кружки? Все просто: огонь ведется исключительно по целям с обеих сторон. Каждому подразделению для прицеливания указана конкретная группа противника, расположенная напротив. При этом каждый солдат сосредоточен на единственной круглой мишени, предписанной к поражению.

За попадание в цель дается награда в виде добавочных пайков, а за попадание… ох, я чуть не сказал в человека… виновный строго карается. При такой системе боец привыкает к свисту пуль у самой головы, а процент убыли сравнительно с достигаемым результатом очень невелик. Право, жаль, что этого метода обучения нельзя ввести в обыкновенных войсках в Европе[22]… Впрочем, постойте, — Ленуар повернулся влево, внимательно всматриваясь в даль. — Вот вам пример того, что такое обучение далеко не вполне безопасно…

[22] Примечания: 22

Авторитетами в царской армии в России (и в Германии) неоднократно выдвигалась идея применения на маневрах боевых патронов. В этом смысле ученые генералы смотрели на русских солдат приблизительно так, как смотрел на гориллоидов Ленуар. — Прим. автора.

Глава 12. Смерть гориллоида

С той стороны, откуда шла атака, медленно двигались три гориллоида, с усилием тащившие раненого или убитого товарища. Ленуар пошел к ним навстречу. Носильщики положили на землю трепетавшее тело, и Ильин уже вплотную мог рассмотреть умирающего.

Тонкая струйка крови стекала с простреленной мохнатой груди, голова была сильно отогнута назад и в сторону, кровавая пена с прерывистым хрипом выбивалась между оскаленными и крепко сжатыми зубами. Все тело гиганта билось мелкой дрожью, и одна нога периодически с силой сгибалась и снова распрямлялась в колене.

Ленуар сделал знак, и двое гориллоидов бесцеремонно повернули набок умирающего. Капитан нахмурился:

— Угодила в спину, возле лопатки. Вполне горизонтальное попадание. И на таком расстоянии от мишени! Черт знает, какой безобразный промах!

Ленуар коротко и властно передал какое-то приказание неотступно следовавшему за ним гориллоиду с саблей через плечо. Потом обернулся к Ильину:

— За такой промах, да еще и со стороны старого солдата, виновный получит самую основательную в своей жизни порку. Ну, а с этим парнем как будто бы сейчас все будет окончено.

Хрип умирающего делался все медленнее и глубже. Может быть, с полминуты тело оставалось неподвижным, только часто дрожали длинные пальцы на ногах, потом он вдруг весь изогнулся червем, широко открыл рот и с той же стремительностью снова выпрямился.

Еще пару раз предсмертная судорога встряхнула тело гиганта, а затем его согнутые конечности медленно выпрямились и остались неподвижными.

— Профессор Кроз на днях говорил мне, — приветливо и спокойно, как и всегда, сказал Ленуар, — что ему были бы нужны сейчас определенные железы молодого гориллоида. Вот как раз подходящий случай, и у вас будет совершенно свежий препарат, мсье Ильин. Думаю, что Кроз будет доволен, если получит тело еще теплым. Я дам распоряжение немедленно отвезти его к лаборатории, а вы, очевидно, уже устроите все остальное.

— Я… не могу… — взволнованно произнес Ильин.

Он почувствовал, что внутри у него все дрожит, и мутная волна отвращения и ужаса поднимается к горлу.

Ленуар выглядел совсем таким же, как тогда за обеденным столом у Кроза, та же любезная и детски наивная улыбка сияла на его лице — и было в этом что-то нечеловечески жуткое.

— Почему?.. — Капитан широко открыл глаза, недоуменно глядя на своего собеседника. — Неужели эта маленькая история произвела на вас такое впечатление?

Ильин почувствовал, что кровь прилила к лицу, и голос его зазвенел возмущением.

— Я не понимаю, — резко сказал он, — как вы можете так говорить через несколько секунд после смерти только что бившегося перед вами в агонии человека! Если бы я был причиной этого, то…

— Человека?! — Ленуар даже отступил на шаг назад, так его поразило это выражение. — Да бог с вами, какой же это человек? Право, как вам не стыдно, мсье Ильин! Судя по вашим плечам и фигуре, я думал, у вас более крепкие нервы… Жаль, конечно, хороший экземпляр — из него вышел бы приличный солдат. Но ничего не поделаешь. Все равно ведь без этого не обойдешься… Ну, а

теперь идемте домой.

Капитан направился к воротам, и не успели они еще подойти к опушке кустарника, как сзади раздался отчаянный, звучавший нестерпимой болью вопль. Это уже не был рык грозной разъяренной гориллы — скорее уж, визг избиваемой собаки.

Ильин невольно оглянулся, но ничего не спросил. Он понимал — это кричал виновник происшествия, которого наказывали за неудачный выстрел.

Глава 13. Оккультизм, фашизм и новая дружба

Следующая неделя прошла буднично и монотонно. Кроз наведывался по нескольку раз в день, чтобы смотреть, как идет работа, и немедленно забирал готовые микроснимки.

Ильин и вообще был человек редкой работоспособности. Теперь же на новом месте и в такой необычайной обстановке он чувствовал, что нужно сразу же себя зарекомендовать, и поэтому не выходил из лаборатории, случалось, до самой ночи. Вечером его порой тянуло зайти к Ленуару, но какое-то смутное, неоформленное чувство восставало против этого.

С Ахматовым приходилось встречаться ежедневно, и как-то раз Ильин просидел у него весь вечер. Обе комнаты Ахматова сияли удивительной чистотой. Книги в шкафах и на полках и даже письменные принадлежности на столе были разложены в таком образцовом порядке, что Ильин полушутя-полусерьезно спросил, пользуется ли ими хозяин или держит специально напоказ.

Библиотека у Ахматова, по большей части из

его собственных книг, оказалась очень большой, но весьма своеобразной по подбору. Одна стена рабочего кабинета была занята литературой по железам внутренней секреции (в этой области Ахматов, несмотря на его молодость, являлся уже крупным специалистом); на противоположной стороне два больших шкафа были заняты исключительно книгами по оккультизму на всех языках, включая латинский и древнееврейский (ими Ахматов владел свободно).

Напротив стола висел на стене большой в черной раме портрет Муссолини.

Несмотря на свой преувеличенно элегантный костюм, Ахматов оказался типичным книжным червем, и говорить с ним о чем-либо, кроме внутренней секреции и оккультизма, было трудно. Был момент, когда Ильина крепко тянуло за язык спросить, о чем Ахматов может разговаривать в обществе в принципе, но вспомнились глаза, какими тот смотрел украдкой на мадам Ленуар, — и стало жалко нажать на больное, должно быть, место.

Родился Ахматов в помещичьей семье в Тульской губернии, революцию же провел за границей, где и окончил университет. Газет он, по его словам, не читал, но убеждения имел кристально

твердые.

— Революцию, — заявил он, — надо было в корне задавить. Четвертую часть рабочих — меньшим не обойдется, — расстрелять. Прочно обеспечить существование и развитие науки и культуры…

В дальнейшем беседа свелась к тому, что Ахматов сначала битый час распространялся о гигантских лягушках, создаваемых им путем пересадок различных желез, потом перешел к утверждению, что всё ныне вершащееся в науке и политике было предсказано мудрецами древности, и, вытащив с полки пару толстых книг на допотопных языках, стал выкладывать оттуда цитату за цитатой. Однако содержание книг было настолько замысловато, что Ильин, хотя и долго старался что-нибудь понять, ничего не понял и пришел к заключению, что, очевидно, уж очень умные люди жили раньше на свете, если они были способны не только читать, но даже и писать такие книги. В общем, молодой ассистент был стопроцентный чудак и, рассуждая логически, Ильин нашел это даже естественным, ибо действительно нужно было быть большим чудаком, чтобы добровольно закабалиться в такое несообразное место, как Ниамба.

* * *

Вечером после работы в лаборатории вдруг потянуло увидеть мадам Ленуар. Капитана дома не оказалось, он уехал из Ниамбы по делам, и молодая женщина была одна.

Ильина она встретила упреками:

— Если в таком ужасном и отвратительном месте люди будут прятаться каждый в своем углу, жить здесь будет невозможно! Тут и без того так скучно и тоскливо! Каждому вновь прибывшему мы бесконечно рады…

…И неужели он не понимает, что ей, кроме того, интересно поговорить с человеком, жившим в этой чудовищной стране — России — и только что оттуда приехавшим?

Ильин свалил всю вину на Кроза, засыпавшего его накопившейся работой. В отличие от предыдущей их встречи, разговор вмиг завязался свободно и просто. Ильин умел недурно рассказывать, и через несколько минут завладел вниманием собеседницы. Правда, и сами-то рассказы Ильина оказались уж очень непохожи на слышанное ею о России от Ахматова.

Ильин родился и почти всю жизнь провел в Москве и был влюблен в громадный, бурно раз-

вивающийся город, где с таким изумительным своеобразием расцветающая молодость только что построенных гигантских домов и заводов переплеталась с древней красотой стройных стен и башен Кремля, высоко повисших над Москвой-рекой.

Он говорил с возрастающим увлечением о беспримерном развитии рабочего спорта, о тысячах обнаженных с великолепно тренированными мускулами коричневых телах на Ходынском поле или в воде Москвы-реки, и — может ли она это представить! — о сапожниках, фехтующих на шпагах, и о слесаре с завода «Динамо», в борьбе на эспадронах побившего капитана Круазье, первого бойца и мастера в этом роде оружия во всей Европе…

Да, этого молодая женщина при всем ее желании представить себе никак не могла. Когда выяснилось, что в СССР люди друг друга не едят, живут кипучей и многообразной жизнью, занимаются спортом и искусством и широко развернули научную работу, она очень наивно стала расспрашивать, зачем же в таком случае нужно непременно готовиться к войне с Советским Союзом.

От этой темы Ильин на всякий случай уклонил-

ся, и разговор перешел на родину мадам Ленуар — Приморские Пиренеи. Ярких и красивых воспоминаний здесь оказалось не менее, чем у него, и когда Ильин, дав обещание бывать ежедневно, шел домой, он со странным волнением думал, что мадам Ленуар — простая и милая женщина и что за этот вечер они почти подружились.

Глава 14. Рабочий вопрос решается просто

Вечером на следующий день Кроз анатомировал павшего гибрида шимпанзе, после чего до глубокой ночи все сидели над препарированием извлеченных из трупа желез. Зато на другой же день, закончив раньше обычного работу в лаборатории, Ильин немедленно отправился к Ленуару. Он и его жена были дома, и еще за столом, по обыкновению, молча, восседал Ахматов. Капитан, только что вернувшийся из поездки, быстро ходил по комнате, глаза его горели возбуждением, и в ответ на свои мысли он временами улыбался.

С Ильиным Ленуар поздоровался очень рассеянно и, видимо, продолжая начатый разговор, обратился к жене:

— …А кроме того, в институте состоялось свидание с генералом Дюруа. Он еще не знал о решении министерства, но счел его предопределенным, и, по его словам, отношение там к Ниамбе после его предыдущих отчетов в корне перевернулось… Да, Ильин! — Ленуар подошел к нему и положил руку на его плечо. — Когда напором своей воли

вы ломаете стену недоверия и насмешек, когда перед величием выполненного дела склоняются люди, год-два назад презрительно пожимавшие плечами, когда победой заканчивается тяжелая и упорная борьба, — это счастье! Я желал бы, чтобы и вы как-нибудь познали радость такого момента.

— Это в связи с вашим войском из горилло-идов?

— Да! — Ленуар высоко поднял голову.

— Вы знаете, капитан, — Ильин откинулся на спинку кресла и заговорил, стараясь взять беззаботный тон. — Не сердитесь на меня за то, что я не понимаю пока вашего настроения. Может быть, это потому, что еще многое для меня неясно. Я представляю, с каким восторгом победы Идаев приветствовал рождение на свет сотворенных им чудовищ. Понятно, почему профессор Кроз забывает все в мире, ведя генетическую работу с таким удивительным и редким материалом. Но… почему вы-то сидите здесь? Какой смысл правительству бросать деньги на разведение и воинское обучение нескольких полуобезьян?

— А почему нескольких, мсье Ильин? — Ленуар уселся против него на стул и со странной усмешкой посмотрел на собеседника.

— Но ведь не хотите же вы этим сказать, что…

— Как раз это я и хочу сказать! В самом деле, почему пятьсот, а не пять тысяч? Или, быть может, вы укажете непреодолимые препятствия к превращению пяти тысяч, скажем, в пятьдесят?

— Но ведь какое же нужно количество…

— Негритянок, хотите вы сказать? А почему бы нет? Этого добра хватит, дорогой мой, да и сами самки гибридов благодаря работе Кроза и… вашей, — Ленуар любезно склонил голову, — тоже будут использованы, я надеюсь, почти сполна. А потом, знаете, вы напрасно с таким пренебрежением отозвались о полуобезьянах. Не хотел бы я оказаться на месте тех, на кого обрушится атака этих чудовищ… И наконец — самое главное. Как вы думаете? Мог бы их спропагандировать самый талантливый советский агитатор?

— Ну, знаете… Это уже просто наивно! — Ильин пожал плечами. — Кому охота всерьез относиться к вашим игрушкам?

Капитан расхохотался, затем со странно заострившимся сразу лицом начал говорить медленно, жестко выделяя отдельные слова взглядом загорающихся и сейчас же потухающих глаз:

— Мы не знаем, где и как взорвется нарастающее во всем мире напряжение борьбы, но

несомненно одно, что впереди — и, быть может, совсем скоро — дни небывалой в истории человечества, ожесточенной, беспощадной войны. Ибо щит свой, Ильин, мы не опустим!

Ленуар поднялся, и глаза его засверкали.

— Да, но прежде всего надо до конца уяснить себе обстановку — в случае, например, борьбы с вашими Советами… или с нашими безумцами… опереться твердо на массы мы не сможем. В наших руках — деньги, власть и оружие. Это немало. Но винтовки и пушки сами не стреляют, а шансов на изменение настроения масс в нашу пользу нет… — Ленуар умолк и несколько мгновений сидел неподвижно. Ильин первый прервал молчание:

— Хорошо, капитан, но какой же тогда практический смысл в вашем фашизме? Кто сможет изменить естественный ход событий, если вы сами признаете, что с пролетариатом бороться — дело безнадежное?

Ленуар поднял голову и ответил только одним словом:

— Я!

Ильин смотрел на собеседника во все глаза. Ленуар взглянул на него и усмехнулся.

— Ужасно, — произнес он, — до чего ж труд-

но постигаются именно самые простые вещи! Возьмите в руки свои мозги, Ильин, и немножко встряхните их, чтобы сделать немудреный вывод из весьма простых положений. Если мы не можем заставить рабочих сражаться за наши интересы, если даже колониальные войска ненадежны, как это было с индусскими частями в Китае, — значит, оружие надо вложить в другие руки. Уже широко развертывается начатое мною в Ниамбе дело, и — пусть только задержится на несколько лет надвигающаяся социальная война — горе тем, кто увидит против себя тысячи сотворенных тут и обученных к бою чудовищ!

Ильин смерил его недоверчивым взглядом и, дотронувшись пальцем до лба, спросил:

— А вы… не того, капитан?

Ленуар захохотал и сразу сделался знакомым Ильину веселым и смешливым молодым человеком.

— Ну, конечно! Как раз эти самые слова я услышал, когда в свое время беседовал на эту тему с его превосходительством генералом Дюруа. Только вообразите: генерал пощупал у меня пульс и спросил, мерил ли я себе утром температуру.

— Ну, и что?

— В другой раз я говорил с ним уже здесь, в

Ниамбе, после того, как он с группой офицеров генерального штаба видел сначала стрельбу в цель, а потом проведенную перед ними атаку моих обезьян. Вы ее тоже видели, но вы человек штатский, и для вас это китайская грамота, а Дюруа все-таки на войне съел свои зубы. И вы знаете, когда я повернулся к нему, он был совсем бледным. Вы можете себе представить? Ей-богу, даже я сам удивился! — Охваченный приятным воспоминанием Ленуар расплылся в улыбке.

— И что же было дальше?

— Что дальше? — Улыбка, как стертая губкой, исчезла с лица капитана, смеющиеся глаза стали холодными, и он заговорил медленно, разделяя слова длинными паузами: — Вы видели ряды строящихся бараков? Так вот, десять тысяч негритянок в ближайшие месяцы прибудут сюда, а другие станции организуются по соседству.

Ильин почувствовал, что холод пробежал у него по коже, затем ощущение, похожее на тошноту, подкатилось к горлу… В следующий момент Ленуар уже снова заливался смехом, глядя на побледневшее лицо собеседника.

— Если бы вы видели в зеркале свою кислую физиономию, Ильин! — смеясь, говорил он. — Вам, очевидно, трудно сразу переварить эту идею,

и она колом застряла у вас в мозгу. Вот и Мадлен никак не может перестать приходить в ужас от моих слов и поступков.

Мадам Ленуар виновато улыбнулась:

— Я уже говорила тебе, Марсель. Я чувствую, что здесь я сойду с ума. Или — ты знаешь, — мне иногда кажется, что это *ты* сошел с ума.

Ленуар рассмеялся.

— Ты у меня совсем глупышка, дорогая девочка, — ласково сказал он. — И, пожалуй, я потому тебя и люблю, что ты решительно во всем на меня не похожа. Даже характером. У меня всегда хорошее настроение, и мне смешно от каждого пустяка, а у тебя от всякой ерунды глаза на мокром месте.

Ильин резким движением поднялся со стула.

— Она права. Это ужас! Десять тысяч женщин — для такого чудовищного дела!.. — Он почувствовал, как кровь снова отлила у него от головы.

Ленуар похлопал его по колену.

— Пока еще не женщин, дорогой мой, а всего лишь негритянок.

Ильин с остро вспыхнувшей яростью оттолкнул руку капитана.

— У меня голова кружится! Чудовища, запертые за бетонной стеной, ближе к человеку, чем вы, ка-

питан! Это же безумие и ужас, это преступление — и за него мало смертной казни! Или вам место в доме умалишенных, или государство, идущее на такое чудовищное дело, заслуживает, чтобы его смели с лица земли!

Ленуар нисколько не обиделся и продолжал говорить спокойно и мягко:

— Прежде всего, сядьте, дорогой мой. Сядьте, уймитесь и постарайтесь, не поддаваясь элементарному чувству возмущения, холодно и логически подойти к разрешению вопроса. Вы увидите, что я вовсе не являюсь каким-то извергом и что просто вы столкнулись с идеей слишком новой, а новые идеи иной раз неимоверно трудно переваривать. Постойте, не прерывайте меня, и через пять минут вы со мной согласитесь.

Он взглянул прямо в глаза Ильину.

— Считаете ли вы, что такая война, как мировая война 1914–1918 годов, — хорошее дело и что допустимо бросать на смерть миллионные человеческие массы? Не считаете? Я так и думал. Так я вам скажу, что и я не считаю. Правда, я полагаю, что человечество рождено для борьбы и, значит, для войны. Но теперешняя война с ее газами, миллионными армиями, сметаемыми в несколько дней пулеметным огнем, и с прочими

мерзостями — это настолько гнусная вещь, что и у меня она не вызывает никакого восторга. Значит, мы с вами в этом согласны. Но тогда… как же можно возражать, если вместо людей в бой будут брошены батальоны этих чудовищ?

Ильин пожал плечами.

— Постановка вопроса абсолютно нелепая. Вы спрашиваете, чего я хочу: чтобы меня повесили или расстреляли? Или, может быть, я предпочту сгореть на костре? Да я не хочу ни того, ни другого, ни третьего. А если вы желаете, чтобы я ответил вам по существу, так я отвечу: воевать вообще не надо.

Ленуар засмеялся.

— Ну, конечно, вы остроумно оппонируете. Только, к сожалению, это утопия, потому что, хотим мы или не хотим, а воевать все же придется. Это и для коммунистов ясно. Теперь дальше. Если это так, то с самой что ни на есть кисельно-гуманной точки зрения меня надо превозносить, а не ругать… Ты слышишь, Мадлен?.. И какой может быть разговор о десяти, пятидесяти… да черт бы их побрал! — если на то пошло — пятистах тысячах негритянок, если мы этим избавляем от фронта несравненно большее количество молодых белых людей! Еще шаг: пусть мы лик-

видировали бы на этот раз обычными способами надвигающуюся опасность социальной революции. Это было бы отсрочкой! При наличии все растущих масс пролетариата революция вспыхнет снова в какой-нибудь точке земного шара, и снова надо будет начинать всю историю сначала. Так вот, что вы скажете, если предпринятое здесь дело развернется на территории всего черного материка и будет организовано масс-производство не только солдат, но и рабочих? — Капитан обвел глазами присутствующих, чутко следя за произведенным его словами впечатлением.

Ахматов, до этого упорно молчавший, вставил свое слово:

— Это будет, конечно, разрешением рабочего вопроса.

Ленуар так и покатился со смеху.

— Это вы чрезвычайно удачно сказали, Ахматов — как припечатали! Технических или научных затруднений тут не будет. Сперва придется потратить миллион-другой негритянок, потом пойдет приплод от своих самок, и так как Кроз уже выделил плодовитую линию, и поскольку одного самца хватит на десятки самок, то успех обеспечен. В чем дело? Для этих целей, вероятно, придется шире использовать шимпанзе. Они

способнее, да и безобиднее. Но это потом, когда мы свернем шею революции. А пока задача одна — творить солдат.

Ильин был не в силах произнести ни слова, он встал из-за стола и направился к выходу. В дверях, встретив испуганный и спрашивающий взгляд хозяйки, он крепко пожал ей руку.

Глава 15. От замысла до дела – всего шаг

В черной тьме быстро упавшей ночи даже силуэта Дюпона за окаймлявшей сад живой изгородью не было видно. Раздавался осторожный шепот механика:

— Дело, значит, становится солидным. Это плохо.

Ильин отвечал также шепотом.

— Не думаю. Сплошное безумие с начала до конца!

Дюпон возражал со все увеличивающимся раздражением:

— Никакого безумия здесь нет. Расчет точный, и исполнение идет по порядку. Смотрите сами. Начали с маленького, испробовали, дело пошло, теперь развертывают на десять тысяч. Можете вы доказать, что они дальше на чем-нибудь споткнутся?

Ильин молчал.

— Трудно начать, но если уж они пошли на такое расширение, будьте покойны — не пройдет двух лет, как будет организован с десяток таких

же станций. Ведь время не ждет, а где и как они дождутся другого такого счастья? С пропагандой к нему действительно не подойдешь, ибо это — скотина; политграмоту ему в мохнатую башку также не втолкуешь. А когда из таких уродов создадут армию, дело дрянь: первую же стачку зальют кровью.

— Но точно ли?..

— Сами же видели, как они стреляют и перебежками идут в атаку!

Какое-то время оба молчали. Потом Ильин глубоко вздохнул и тихо сказал:

— Да, надо действовать.

— Я и сам знаю, что надо, да не могу придумать как.

— Убить Ленуара?..

— Согласен и на это, но что толку? Пришлют новую гадину, а нам с вами маленько укоротят фигуру: на длину головы. Вот и весь результат. Если бы как-нибудь взбунтовать этих чертей и учинить такой скандал, чтобы сразу отбить охоту к продолжению аферы, да как это сделать?

Опять наступило долгое молчание, затем Ильин задумчиво и не совсем уверенно проговорил:

— Кажется, я поймал у себя в голове хвостик мысли. Еще не знаю, будет ли то, что я скажу,

очень умно или очень глупо.

Дюпон ожидающе молчал.

— Да… спирт! На туземцев он действует с непреодолимой силой, а на этих подействует еще сильнее.

Механик сразу встрепенулся:

— Вот это уже похоже на дело. Правильно! В пьяном виде они бы вдребезги разнесли все здешнее заведение. Но как это устроить?.. Слушайте, дружище, теперь уж я дам совет. Вы с Ленуаром знакомы и ухаживаете за его женой…

Ильин почувствовал, что невольно краснеет, и рассердился.

— Как вам не стыдно чушь пороть, Дюпон? — почти резко прервал он механика.

— Ну, это дела не касается. Так вот что: знакомство с этим мерзавцем поддерживайте. Начните помаленьку сочувствовать его планам и посоветуйте — так, между прочим — давать этим бесштанным солдатам по чарочке, в награду за хорошую, скажем, службу и работу.

— И?..

— А когда они войдут во вкус, мы уж как-нибудь натравим их на склад спирта. Я ведь хожу в обезьяний лагерь… Ладно, пока довольно. Мне надо идти, и за день мы обмозгуем это дело получше да

поподробней. Затем я вам скажу вот что: нервов своих не распускайте.

Ильин улыбнулся, чего в темноте Дюпону не было видно.

— Это не дело, — пояснил механик, — что вы не сдержались и выкатились шаром от капитана. Хватит и того, что Идаев взаперти сидит. Если и вы попадете в то же положение, я один в этом змеином гнезде буду совершенно бессилен… Да и вас-то самого мне будет все же жаль: вы хороший и верный товарищ… — в голосе Дюпона скользнула мягкая нотка.

Слегка зашуршали кусты, и он исчез под низко нависшими ветвями.

* * *

Когда на другой день Ильин поднялся на веранду дома коменданта, Ленуар встретил его добродушно.

— Я был уверен, дорогой друг, — сказал он, — что хороший сон смоет следы вчерашнего негодования. Вы решительный, горячий и прямой человек, поэтому-то мне и понравились. Вскоре вы поближе ознакомитесь с великим делом, начатым здесь, в Ниамбе, и поймете, что лучшего средства для победы нам не придумать.

Мадам Ленуар казалась грустной и почти не поднимала глаз. Ильин также чувствовал себя как-то нескладно и лишь изредка вставлял в разговор короткие фразы.

Разговор сперва не касался Ниамбы. Ленуар сидел на подоконнике и, сияя улыбкой, рассказывал о своей родине — о синем глубоком заливе родного Сен-Жан-де-Люза, о редких пушистых тамарисках на холмах над морем, о скалах на берегу у подножья руин древней башни Цокоа.

— Какая же там ловилась рыба! — с восторгом вспоминал он. — Мальчишкой я с парой удочек забирался в отлив далеко в глубину лагуны. Самое интересное — никогда нельзя было знать, что поймаешь. Десятки пород пестро разрисованных, с перетянутыми хвостами рыб, а бывало, удочка чуть не вырывается из рук, и начинается отчаянная возня с полуметровым тунцом. А что было, когда однажды я вытащил электрического ската!..

Когда он с увлечением говорил о мальчишеских похождениях на серебряных от прибоя берегах родины, дикий разговор вчерашнего дня казался немыслимым. Мадам Ленуар раза два или три на мгновение поднимала глаза на мужа, и Ильину показалось, что во взоре ее скользили

удивление и испуг.

Затем пришел летчик Тракар, поцеловал руку хозяйки и уселся в углу.

— Как хотите, капитан, — сказал он, — но вид ваших обезьян мне окончательно надоел. Можете быть уверены, что ради них я и одного дня не остался бы сидеть в здешнем болоте. — При этих словах он слегка покосился в сторону хозяйки дома.

Ленуар с любопытством рассматривал узкую, с прилизанными волосами физиономию лейтенанта.

— А чем они обидели вас, дорогуша? — спросил он.

— Меня? — летчик высоко поднял брови. — Меня еще никто в жизни не обижал, но они действуют мне на нервы. Да, я только теперь неожиданно заметил, что нервы у меня есть. До сих пор я думал, что эта гадость имеется только у женщин… прошу прощения. — Летчик привстал и слегка поклонился в сторону мадам Ленуар.

Молодая женщина подняла глаза на лейтенанта и первый раз за все время улыбнулась. Длинное лицо Тракара как-то все просияло, он поспешно отвернулся; и Ильину показалось, что острый шершавый ноготь скребнул по его настроению.

— Дело в том, — продолжал Тракар, — что все не так, как следует, делается на свете, кроме, конечно, воздушного боя. Убивают врага, не видя его, вместо солдат будут воевать обезьяны, а вместо равного себе противника в мундире придется иметь дело с канальями в драных блузах… Извините… — лейтенант снова приподнялся.

Ленуар похлопал его по плечу.

— Это все эстетика, дорогой мой, — сказал он, — а в вопросах эстетики по одному и тому же предмету, как известно, всегда существуют двадцать четыре различных мнения. Если мы с женой иногда не сходимся во взглядах на костюмы, то как же вы хотите, чтобы внешность моих гвардейцев одинаково действовала на воображение всех нас? Что касается меня, то они мне очень даже нравятся. Да, на них не напялишь мундира с галунами, но зато перед вами нечеловеческая первобытная мощь зверя, и одного движения моей, очевидно, мирной человеческой воли довольно, чтобы бросить их на резню и смерть.

— И все-таки я прав, — упрямо возразил Тракар. — Эти образины порочат последние остатки романтики в войне.

— В одном вы правы — только ваша профессия сохранила еще радость и удаль боя былых вре-

мен. Даже больше. Когда из бездонного неба ас вертикально падает на врага, в тридцати метрах открывает огонь и снова после мгновенного боя забирает кругами высоту, а глубоко внизу, кувыркаясь, летит в бездну аэроплан побежденного, — это больше, в десять раз больше, чем мог переживать в отчаянной битве воин былых времен!.. Это так. И все-таки я не завидую вам, Тракар. Мне трудно передать это словами, и, вероятно, вы даже не поймете меня, но… захватывающая красота в звериной мощи моих чудовищ — я уже вам это только что сказал, — и грозная ослепляющая радость в сознании моей безграничной власти над боевыми рядами свирепых могучих зверей! Я не командир и даже не вождь гориллоидов. Для них я бог — безгранично могущественный, всеведущий, не знающий слабости, жалости и страха.

— Бог-пугало, — вставила Мадлен.

Ленуар умолк, затем глаза его вдруг заискрились смехом, и он продолжал уже совсем другим, легкомысленным тоном:

— Да, это не всегда хорошо. У всякого порядочного бога должен иметься где-нибудь рай, а вот этого-то мне как раз еще не удалось завести. В самом деле, никак не придумаешь, чем бы таким

можно награждать за добродетель и подвиг этих полузверей… таким, чтобы награда соответствовала размерам моей грозной и карающей власти. Ведь нелепо же устраивать для них кинематограф или, скажем, наделять их шоколадными конфетами.

Ильин, молча сидевший в глубоком кресле у окна, неожиданно вмешался в разговор:

— А известно ли вам, капитан, что дает самые громадные и острые ощущения наиболее низко стоящим человеческим расам?

Ленуар выжидающе молчал.

— Чем ниже культурный уровень племени или расы, чем беднее внутренняя жизнь, — спокойно продолжал Ильин, — тем острее, сильнее, неотразимее действие спирта… Что ж, попробуйте! В добавление к тому, что здесь уже создано, у вас будет как раз подходящий по стилю рай.

Ленуар привстал, глядя широко раскрытыми глазами в искривленное презрительной улыбкой лицо собеседника.

— Какой вы еще глупый, Ильин, какой вы глупый! — сказал он. — Не сердитесь, что я так говорю. Ведь вы хотели только меня уколоть, так? А вместо того вы сказали огромную и технически ценнейшую истину, и я воспользуюсь ей, потому

что вы правы: действие спирта на низкостоящие, но все же подобные человеку существа в самом деле громадно. Как я мог это забыть и не использовать?! — Капитан взволнованно ходил по веранде. — О, конечно, награда будет даваться нечасто, но знать о ней и желать ее будут все, и еще одно звено крепче скует созданное мной в Ниамбе оружие борьбы!

Мадлен поднялась с дивана. По ее лицу скользнуло выражение боли, и Ильин ощутил острый, мучительный стыд. Он сделал дело. Дюпон похвалит его, но почему так стыдно?..

Оставаться и продолжать разговор было слишком тяжело. Ильин заставил себя вполне любезно попрощаться с капитаном и летчиком, но кровь прилила к лицу, когда он подошел к мадам Ленуар и увидел, что на прекрасном, обычно матово-бледном, а сейчас розовом лице молодой женщины также читалось выражение стеснения и почему-то как будто тоже стыда.

Глава 16. Встреча в саду

Прошла неделя. Настроение Ильина с каждым днем становилось все хуже и хуже, и он не мог или не хотел понять, в чем дело.

Было тяжело говорить с Дюпоном, потому что механик целиком ушел в одну заботу — как бы покрупнее и поскандальнее да поскорее взбудоражить мохнатое войско, — а об этом было мучительно противно думать.

Было неловко встречаться даже с капитаном — тот в последнее время ничего не говорил о делах, но был прост и приветлив.

Часто думалось о Мадлен, но видеть ее не хватало сил. Слишком дикой и чудовищной казалась Ильину мысль, что подготовляемые им и Дюпоном события могут раздавить эту женщину — такую прелестную, милую и по-детски беспомощную…

А все же события назревали: длинные ряды новых бараков быстро росли, и Кроз деятельно работал над отбором наилучших производителей из числа гибридов. Было ясно, что Дюпон прав и надо спешить, и Ильин бранил себя за то, что не мог победить непреодолимого отвращения к

участию в этом деле и ужаса перед готовящимся.

И была еще постоянная смутная тоска, как будто совсем не связанная ни с Дюпоном и его планами, ни вообще с какими-либо делами Ниамбы.

Работа шла из рук вон плохо, да и какого черта вообще имело смысл вести научную работу!

Поэтому большую часть дня Ильин без толку шатался по острову или валялся на земле, отгоняя от себя всякие мысли, в дальнем, глухом и заросшем углу сада.

* * *

Здесь же он встретил мадам Ленуар — примерно через неделю после памятного вечера у капитана. Она сидела на небольшой скамье; столько слабости было в ее позе и опущенных глазах, что сердце Ильина вдруг сразу оборвалось. Не зная еще, что он сейчас будет делать, и в то же время ощущая в себе наполнившую все тело упруго собравшуюся решимость к какому-то действию, Ильин молча сел на скамью и просто, как если бы рядом был старый хороший друг, взял обеими руками тоненькую руку молодой женщины.

В следующую секунду он испуганно отодви-

нулся, но мадам Ленуар отнеслась к его жесту без всякого удивления и, как-то жалобно улыбнувшись, начала говорить первая:

— У меня последнее время нехорошее настроение, да и вам, мне кажется, почему-то плохо в Ниамбе.

Ильин несколько мгновений смотрел на нее, потом быстро, не останавливаясь между фразами, заговорил:

— Я не могу усвоить всего, что делается здесь. Я ведь только человек, простой человек, и в моем мозгу не умещается то, для чего здесь, на островке среди африканской топи, выросли эти вот здания, стены, лаборатории и прочее. Я не проклинаю день, когда я попал сюда, потому что… — Он запнулся и секунду смущенно молчал. — Но вы правы, мне тяжело. Иногда у меня впечатление, что я попал… ну, точно на другую планету. Кругом существа, с внешней стороны во всем похожие на меня, но в то же время бесконечно далекие. Дело даже не в том, что мы, скажем, не сходимся в политических взглядах, а в чем-то… ну, я уж не знаю, как вам это назвать, — в чем-то совсем другом… Я так рад, что мне удалось сказать вам это. Я думаю, и на вас все происходящее производит подобное же впечатление, и вам тоже тяжело.

Ильин остановился, и несколько секунд оба сидели молча. Затем молодая женщина задумчиво, как будто говоря с собой, сказала:

— Да, это верно: те люди — с другой планеты… Ведь вы знаете, Ильин, Марсель очень милый. Да! Очень простой, веселый и милый. И в то же время так же просто и радостно он создает вокруг себя этот ужас. И мы с разных планет, потому что этого я понять не могу. Если бы он был дурной человек, я бы что-нибудь понимала, но он очень хороший, и иногда мне кажется, что для него Ниамба — только мальчишеская игра. Но ведь из этой игры скоро выйдет что-то невероятно отвратительное и страшное!.. Вы помните, последний раз, когда вы у нас были, вы хотели оскорбить его насмешкой относительно спирта? — При этих словах Ильин неожиданно понял, что ощущение стыда за неделю нисколько не ослабло. — Так вот, он совсем не обиделся. Он просто не знает, что значат слова «дурно» или «стыдно». И он убежден, что мое отвращение к его чудовищам — *эстетика,* и больше ничего.

Она замолчала на мгновение, затем тихо добавила:

— Мне очень хочется поскорее уехать отсюда.

Ильин дернулся на скамье и, не задумываясь,

сказал:

— Уезжайте. Я тоже больше не могу оставаться здесь.

Через секунду он понял смысл своих слов.

Мадам Ленуар также поняла и, покраснев, поднялась со скамьи.

Она шла по дорожке сада, а Ильин, идя рядом, торопливо говорил:

— Вы на меня рассердились? Вы думаете, что я сказал глупость или что за моими словами скрывается дурной смысл? Это не так. Давайте я скажу прямо, как если бы говорил с товарищем. Ведь я не ухаживал за вами, как все остальные здесь. Правда же? Я просто сказал вам, что я уеду, потому что сейчас я только об этом и думаю и потому что только вам одной здесь я мог это сказать… Что вам тоже нужно отсюда уехать, это вы сами знаете, а от себя добавлю, что вся здешняя затея добром не кончится и почти наверное обратится на тех, кто ее создал. Когда я думаю об этом, меня охватывает ужас, и я готов к черту на рога полезть, чтобы только вас не было в Ниамбе… И знаете, что я вам скажу? Мы в СССР за последние десять лет привыкли и в очень красивой женщине видеть прежде всего человека.

Мадам Ленуар остановилась и подняла глаза на

своего спутника.

Ильин также остановился и тихо спросил:

— Скажите, вы верите, что я говорил с вами сейчас как товарищ и друг? И если хотите, вы больше меня не увидите.

Молодая женщина несколько мгновений смотрела на склонившееся над ней лицо, затем так же тихо ответила:

— Верю.

Ильин пожал ее руку и молча повернул в боковую аллею.

* * *

Дюпон был до последней степени возмущен, когда Ильин пересказал ему — конечно, с известными опущениями, — разговор с мадам Ленуар, и в первый раз за все время их дружбы голос механика зазвучал злобно и жестко.

— Я никогда не стал бы с вами связываться, — сказал он, — если бы мог допустить, что вы способны сообщить тайну постороннему, да еще салонной красавице!

Ильин с возмущением прервал его:

— Мадлен Ленуар особенная женщина, и…

— Особенная! — Дюпон с безграничным презрением протянул это слово. — Все-то они *особенные*.

Будьте покойны, вчера же вечером она все ваши излияния передала муженьку…

Ильин с внезапным гневом вскочил с места, но механик не дал себя прервать:

— Ухаживали бы за ней сколько влезет, ведь дал же я вам на это свое благословение. Да хоть влюбляйтесь, черт возьми. Самое было бы богоугодное дело. Так нет, разнежничался, сантиментов напустил, жене врага выложил планы, а теперь и сам сядет, и погубит дело, от чьего успеха зависит, быть может, жизнь миллионов. — Дюпон был так озлоблен, что не стал слушать дальнейших объяснений и, круто повернувшись, не прощаясь, пошел домой.

Глава 17. Гориллоид Луи

Со времени последнего разговора с мадам Ленуар прошло уже более недели. Ильин раза два заходил к капитану, но сидел недолго. Ленуар был, как и всегда, очень приветлив, Мадлен держалась просто, но говорила мало, и раза два-три Ильин поймал на себе ее взгляд.

Ахматов изготовил наконец несколько гигантских лягушек в четыре-пять кило весом и теперь носился с ними как с писаной торбой. Однажды притащил в гостиную к мадам Ленуар, но та его тут же выпроводила. Вот и все события за неделю.

Впрочем, как-то в лабораторию зашел для переделки ацетиленовой печи Дюпон. По случаю он рассказал Ильину новости об обезьяньем лагере.

Во-первых, часть новых бараков уже была готова, и Дюпон целыми днями работал там — главным образом над оборудованием кухонь. Во-вторых, воинские занятия шли полным ходом, причем к ним были привлечены даже группы очень молодых особей — ранний по сравнению с человеком приход половой зрелости у гибридов позволил Крозу взрастить за полтора десятка

лет два поколения гориллоидов[23]. В-третьих, капитан испробовал на них действие спирта, и результат был до того уморителен, что механик при одном воспоминании об этом опыте принялся хохотать во все горло. Награждены были лучшие стрелки, причем после первой же доброй чарки гориллоиды пришли в телячий восторг: плясали, выли, потом бегали на четвереньках и в конце концов передрались друг с другом, за что и получили при вытрезвлении хорошую порку.

Тем не менее, по словам Дюпона, капитан остался доволен результатом и говорил, что получившие награду из кожи лезли, чтобы заслужить повторение. По реке переправили на станцию несколько бочек спирта, часть поместили в главном складе, а часть — «на текущий расход» — по ту сторону стены, в кладовой лагеря гибридов. Все это подавало значительные надежды, но Дюпон считал, что торопиться отнюдь не следовало…

Ильин решил внести изменения в сложную конструкцию труб ацетиленовой печи цилиндрической модели, что логично продлило его встречи с Дюпоном на ближайшие дни. Дюпон

---

[23] Примечания: 23

Орангутаны и гориллы достигают нормального развития к 12–15 годам, но половая зрелость гориллоидов наступает значительно раньше — к 8–10 годам. — Прим. автора.

поделился интересной информацией о существе, похожем на гориллу, по имени Луи, с которым у него состоялся весьма продуктивный диалог. Кто знает, возможно, этот разговор в будущем приведет к неожиданным и значительным результатам!

Относительно Луи Ильин уже и раньше кое-что слышал, потому что капитан раза два или три о нем рассказывал. Это был совсем молодой гориллоид второго поколения, то есть родившийся от гибридного отца и гибридной матери. С внешней стороны он был типичным громадным мохнатым чудовищем, но выделялся среди других совсем уж непомерной силой и необычной для этих полузверей, совершенно человеческой сообразительностью.

Подолгу общаясь с капитаном, Луи сравнительно недурно усвоил французский язык и, хотя не шел в нем далее отрывочных фраз, понимал разговор довольно свободно. Прочие гориллоиды еще с детства усваивали понимание негритянского языка, а сами же были почти неспособны к членораздельной речи.

Выдающееся развитие у Луи умственных способностей Кроз объяснял расщеплением в силу закона Менделя. По этому закону, помеси двух

разных пород — все равно, животных или растений, — неустойчивы, и при скрещивании таких помесей друг с другом начинается так называемое расщепление. Потомство оказывается крайне пестрым, отдельные признаки обеих пород комбинируются друг с другом во всевозможных отношениях, порождая новые, иной раз крайне замысловатые формы. Иногда при этом тот или иной признак наследуется лишь от одного из родителей, тогда итоговый экземпляр по этому признаку тоже неустойчив и в дальнейшем снова дает расщепление. Иногда же бывает, что слившиеся зародышевые клетки обоих родителей содержат ген одного и того же признака. В этом случае дочерний экземпляр оказывается по этому признаку «чистым» и в дальнейшем никакого расщепления не дает. Иначе говоря, посредством расщепления возможно создавать «чистые» и стойкие новые комбинации признаков.

Среди гориллоидов второго поколения расщепление порождало крайне неожиданные формы. Так, в Луи наблюдалось чудовищное соединение мохнатой шкуры и громадных челюстей гориллы с высоким лбом и мыслительной способностью человека. Случай этот был редким. Других, подобных Луи, экземпляров пока еще не появлялось,

о чем, по мнению Ленуара, не приходилось жалеть.

Подавляющее большинство гориллоидов как по строению тела и шерстистости, так и по развитию интеллекта стояли примерно посредине меж человеком и гориллой. Большого ума от них и не требовалось: иначе, как однажды заметил Ленуар, вся затея не стоила бы ломаного гроша.

Военной подготовке Луи отдавался со страстью, проявив в этой области такой талант, что Ленуар выдвинул его из среды всех остальных и дал ему очень широкую власть над его товарищами.

Как-то в разговоре с Тракаром капитан, смеясь, стал выражать сожаление, что Луи никак нельзя произвести в офицеры, и только потому, что у него мохнатая шкура, — «а какая была бы прелесть представить его в офицерском собрании целующим ручки у дам!..» При этой мысли Ленуар чуть не умер от смеха, а Тракар был глубоко возмущен. Еще туда-сюда использовать этих чудовищ как солдат, но мохнатый гориллоид-офицер, то есть равный ему, Тракару, — это была такая гнусность, которой никто и никогда не допустит!

По словам Дюпона, его разговор с Луи вышел таким: двое гориллоидов перетаскивали на место

стройки тяжелую железную балку и, запыхавшись, остановились. Наблюдавший за работами Луи толкнул одного из них так, что тот свалился навзничь, затем поднял без видимого напряжения балку на плечо и, отнеся на место, с грохотом бросил на землю.

Потом, обращаясь к наблюдавшему эту сценку Дюпону, гориллоид гордо ударил себя кулаком в грудь и лающим басом сказал:

— Луи сильный! Всех бьет, никого не боится!

— Когда он это мне выложил, — докладывал Дюпон, — меня вдруг что-то словно за язык подтолкнуло. Я и говорю ему: «Ну, капитана-то и ты боишься, хотя мог бы его убить одним ударом кулака». — Этот болван долго молча смотрел, словно старался до чего-то додуматься. «А капитан может умереть?» — «Конечно, — отвечаю я, — пуля пробьет капитанскую голову так же, как и твою. Да ты его убьешь прямо кулаком, если захочешь». — «А что будет, если капитан умрет?..» Надо вам сказать, товарищ Ильин, этот второй вопрос он тоже задал после долгого раздумья и, хотя на их собачьей морде ничего, конечно, не разберешь, но я полагаю, что для него самый-то предмет был уж очень необыкновенный… И вот, кстати, что бы вы ответили ему, товарищ

Ильин?

— Не знаю. Ответить можно было по-разному…

— По-разному?! — голос Дюпона задрожал торжеством. — Настоящий ответ всегда один, и я вам скажу, что дурак был Ленуар, когда взял меня в Ниамбу.

— Ну?..

— Я ответил этой образине, что тогда он, Луи, сам будет капитан!

— Здорово! — Ильин одобрительно усмехнулся. — Вы, видно, агитатор хорошей школы, Дюпон.

— Да! И затем я, конечно, сейчас же добавил: «Помни, Луи, капитан убьет тебя, если узнает, что я тебе это сказал. Он хочет, чтобы ты его боялся и не знал, что он может умереть». И — можете себе представить! — эту вещь Луи уразумел с ходу. Вообще, хотя шкура у них мохнатая, но хитрости у этих бестий, я вам скажу, вполне достаточно… Конечно, на этом я пока остановился. Хорошего — понемножку! Несколько дней он над новой идеей свою башку поломает, кое-какие выводы сделает, а до чего не додумается, то я добавлю через несколько деньков от себя… Ну, всего хорошего. — Дюпон ушел, весь сияя. Мысль, что ему наконец удалось зацепить сбоку рукоять гроз-

ного оружия, созданного в Ниамбе, наполняла механика гордой радостью. Первая брешь пробита. Борьба началась! Теперь уже во многом от него самого, от его решимости, хитрости и воли зависел ее исход.

Глава 18. В лагере гориллоидов

Через два дня после этого разговора снова состоялась встреча Ильина с Дюпоном в запущенном грязном углу сада позади мастерской. Вдоль стены валялись груды железных обломков и строительного мусора. Остатки фундамента и стен находившейся здесь ранее и несколько лет назад сгоревшей пристройки к мастерской поросли густым колючим тернием. Место было малоинтересно для прогулок, редко когда кем посещалось и поэтому оказалось достаточно удобным для тайных бесед.

За эти два дня как будто не произошло ничего существенно нового, и тем не менее с первых слов Дюпона Ильину стало ясно, что период общих разговоров остался позади, и их предприятие получило самостоятельное развитие, увлекающее за собой инициаторов.

Механик сообщил, что он еще раз вчера перекинулся несколькими словами с Луи, и у него создалось впечатление, что молодой гориллоид сполна захвачен мыслями о чарующих полузверя перспективах, открывшихся благодаря намекам Дюпона. Луи жадно спрашивал: как умирают

белые? Верно ли, что и капитан может умереть? Сколько белых живет там, за рекой?..

— Можете быть спокойны, — прибавил механик, — по всем этим пунктам он получил подходящие ответы. — Глаза Дюпона горели сосредоточенным возбуждением, все черты лица, как показалось Ильину, словно заострились, и ученый сразу понял, что он, Ильин, теперь только маленькая пешка в завязавшейся игре: с ним или без него события все равно будут развиваться.

— Пока, — продолжал механик, — дело идет по линии моего знакомства с этим мохнатым чертом, но очень желательно, чтобы и у вас получился с ним какой ни на есть контакт… Ну, хотя бы для начала, чтобы он знал вас в лицо… Сделать это нетрудно, потому что Ленуар вам в любой момент разрешит бывать по ту сторону стены, а чтобы он дал вам в проводники Луи… — Дюпон запнулся на половине фразы и задумался.

— Я полагаю, что сделать это очень просто, — быстро перебил Ильин, — я проявлю желание посмотреть гориллоидов в их, так сказать, естественной среде, когда их не гнет к земле и не превращает в рабов присутствие грозного капитана.

— Великолепно! Но я вас предупреждаю, —

продолжал механик, — что обращение с этой публикой чрезвычайно трудное. Скажем так: вы ведь ясно представляете, как надо приучать к себе крупную злобную собаку? А теперь представьте, что к вам хитро приглядывается дикарь. Приглядывается и соображает, с какого боку от вас можно получить пользу… Так вот, мой мохнатый приятель — это и то и другое, и до черта трудно сообразить, когда имеешь перед собой крупного пса, приручаемого лаской или страхом, а когда человека, может быть, похитрее и поумнее тебя самого… Это все вы имейте в виду при встрече с Луи, но связаться с ним нужно, потому что не так-то легко будет и нам в случае чего вылезть из воды, если и не вовсе сухими, то по крайности не слишком высоко замочив штаны.

* * *

Ленуар был очень заинтересован идеей осмотра Ильиным в сопровождении Луи лагеря гориллоидов и, давая пропуск, поставил одно условие: чтобы Ильин в тот же вечер зашел к нему и передал свои еще свежие впечатления.

Туземный солдат проводил Ильина до первых домов лагеря за стеной, где уже ожидал молодой гориллоид, предупрежденный о предстоящем

визите. Едва солдат повернул спину к воротам, гориллоид резким движением пригнулся и подался вперед. Его темные, глубоко запавшие глаза уперлись в Ильина, с жадным вниманием изучая всю его фигуру.

Ильин уже привык к бесцеремонному рассматриванию своей особы неграми, но здесь было нечто совсем иное. Там глядели наивные и потому чуть трогательные человеческие глаза, здесь перед ним находилось бесконечно жадное существо иного мира. Так, должно быть, чувствует себя зверь в клетке зоологического сада под упорными, алчными взглядами столпившихся вокруг людей…

Потом жуткую рожу гориллоида исказила странная гримаса, и нельзя было понять, какому переживанию она соответствовала. Луи выпрямился и хрипло, но внятно сказал:

— Пойдем!..

Лагерь представлял собой почти что беспорядочное скопище деревянных бараков. Луи молча вошел в ближайший из них. Внутреннее устройство там оказалось самого обычного казарменного типа — с двумя рядами нар по стенам и с проходом посредине. Барак был пуст, и на нарах слева валялась одинокая, свернувшаяся клубком

мохнатая фигура. Луи тут издал резкий, ни на что не похожий лающий крик, и лежавший горилоид сразу сорвался с места, дико оглянулся на вошедших и, нелепо согнувшись, почти касаясь пола руками, выкатился наружу.

— Каналья! — забормотал Луи. — Он должен быть на учении… Буду бить!..

Он зашагал вперед и через вторые двери вышел наружу.

Воздух в казарме был тяжел. К характерному запаху пота примешивался еще другой, противный и острый, и, выйдя наружу, Ильин с наслаждением подставил лицо ветру.

Барак находился на гребне небольшой возвышенности, прорезывающей остров вдоль и полого спускавшейся с обеих сторон к болоту; отсюда вся средняя и северо-восточная часть острова виднелась как на ладони. Остров был сильно вытянут в длину в направлении с северо-востока на юго-запад, почти параллельно руслу реки, видневшемуся справа сквозь заросли мангровых деревьев на болоте. Судя по илисто-песчанистой почве, остров был наносного происхождения и образовался вследствие передвижения русла реки к югу, после чего окреп и застыл сухим пятном над поверхностью полужидкого ила.

Мангровые деревья иногда густыми зарослями покрывают болота Западной Африки. В таком случае толстые воздушные корни, конусом спускающиеся со ствола, соприкасаются или даже переплетаются друг с другом и образуют как бы воздушные мосты, позволяющие перебираться через топь с дерева на дерево. Здесь же мангровые деревья были разбросаны поодиночке на далеком расстоянии друг от друга, лишь кое-где соединяясь в мелкие группы. Поэтому болото было недоступно для любых животных, даже для обезьян, и производило впечатление пустоши. Несколько цапель бродили вдали по берегу протока, пересекавшего болото, да многочисленные илистые прыгуны суетились и прыгали на поверхности ила.

Прыгун, рыбка из подотряда колбневых, благодаря особому устройству жабр имеет способность жить вне воды. Ее плавники преобразовались в подобия лап — на них илистые прыгуны не только стремительно бегают по илистым отмелям, но еще и высоко взбираются по корням мангровых деревьев. Прыгуны совершенно несъедобны. Ими пренебрегают даже цапли, и эти рыбы массами заселили болота Западной Африки.

Справа и слева от срединной возвышенности

остров представлял собою почти голую равнину с редкими чахлыми деревьями. Меж бетонной стеной и бараками тянулась полоса довольно густой древесной заросли, пересекавшей поперек остров и закрывавшей с юга вид на часть острова, занятую лагерем гориллоидов. Поверх поросли вдали маячила вершина одинокого гигантского дерева, и, взглянув на него, Ильин невольно улыбнулся, вспомнив о том, как с этого дерева он в первый раз бросил взгляд поверх стены. Наконец, впереди, в северной части острова, светлыми пятнышками блестели на солнце ряды новеньких, только что выстроенных бараков, предназначенных для вновь прибывающих партий негритянок. Здесь в ближайшее время должна была уже в широком масштабе развернуться чудовищная идея Ленуара. Последние дни мысль об этом пассивно скользила по сознанию Ильина. Но теперь вдруг остро почувствовалось, что светлые точки там вдали означают совсем близкое осуществление бесчеловечного заговора, и горячей волной хлынувшее отвращение сразу смыло остатки колебаний и сомнений. Он обернулся к спутнику и неожиданным для самого себя тоном приказания отрывисто бросил:

— Пойдем к Дюпону!

По лицу гориллоида снова, как при встрече, пробежала странная гримаса, возможно, означавшая улыбку, и он, ничего не ответив, пошел к ближайшему бараку, откуда доносился стук молота по металлу.

Несколько гориллоидов втаскивали в двери здания какой-то тяжелый железный бак. При первом посещении лагеря в присутствии Ленуара Ильин, естественно, не мог заострить внимание на деталях, но теперь пристально осмотрел фигуры работавших. Судя по росту и живости движений, это был подрастающий молодняк. Ильину бросилось в глаза внешнее разнообразие этих особей: у одних — типичная мохнатая шкура гориллы, у других туловище заросло не сильнее, чем бывает у человека. Один из гориллоидов оказался весьма похожим на Луи, и его стройная, почти антропоморфная фигура была с ног до головы покрыта густой мохнатой шерстью зверя. Все эти различные комбинации, очевидно, создались в результате расщепления между признаками человека и обезьяны.

При приближении Луи ближайшие гориллоиды боязливо посторонились, затем снова торопливо потащили свою ношу. Луи, не оглянувшись в их сторону, направился к дверям барака. В

движениях его массивного, несоразмерно громадного даже в сравнении с прочими гориллоидами тела чувствовалась гордая уверенность в своей силе и власти.

Внутри помещения раздался голос Дюпона, и механик показался в дверях.

— Ну, вот вы у нас в гостях, — сказал он, улыбаясь и протягивая руку. — Мы сейчас устанавливаем здесь водопроводный бак, а воду берем из колодца глубиной в четыре метра вон там, за стеной барака. Болотная водица оказалась немного плоховатой даже и для этой публики, даром что она не отличается слишком нежной комплекцией. Скажи-ка им, Луи, — продолжал он, — чтобы они втащили бак внутрь и оставили его покамест. Дело это не уйдет, а мы сейчас покажем гостю здешнее царство капитана Ленуара… Или, может, твое, а?..

Он усмехнулся и взглянул в сторону стоявшего рядом с ним гиганта. Тот ничего не ответил. Вообще, как убедился Ильин, он не злоупотреблял даром речи и объяснялся по мере необходимости короткими отрывистыми фразами.

Оставив позади группу бараков, Дюпон направился вдоль гребня возвышенности к той части острова, где происходило размножение горил-

лоидов. Еще утром Ильин имел в виду подробно осмотреть эти бараки, но теперь под влиянием вдруг вспыхнувшего в нем несколько минут назад чувства отвращения он категорически отказался. Мысль увидеть несчастных негритянок с маленькими чудовищами на руках вызвала ощущение, похожее на тошноту.

Как передавал Кроз, материнский инстинкт и здесь полностью сохранил свою силу. Логически это было вполне естественно, ибо чувства человека, как и инстинкты животного, — половое влечение, материнский инстинкт и другие, — являются не чем иным, как реакцией организма на проникновение в кровь тех или иных возбуждающих веществ, выделяемых различными частями организма. Но здесь правильность научного положения получила жизненную проверку на самом, может быть, высоком человеческом чувстве — материнской любви, и это казалось отвратительным и ужасным…

Дюпон не стал настаивать. В этом пункте его отношение к опытам Ниамбы было еще более непосредственным и прямолинейным. Всякий научный опыт является в той или иной форме отклонением от естественной жизни природы, и для научного работника извлечение из опыта но-

вой истины оправдывает многое. Дюпон не был научным работником, и его точка зрения была как-то раз выражена фразой, что всех участников предприятия в Ниамбе он бы без колебаний отправил на смерть, если бы имел возможность это сделать.

По мере обхода лагеря гориллоидов тяжелое настроение Ильина все нарастало, и через полчаса он отправился обратно. Впрочем, чего-либо особенного ему и не пришлось увидеть. Обстановка жизни обучаемых военному делу чудовищ сводилась к муштре, труду, еде и сну.

При прощании Ильин мгновение поколебался, но все-таки протянул руку молодому гориллоиду. По лицу Луи снова пробежала уже знакомая гримаса, кости руки Ильина чуть не хрустнули под пожатием железных пальцев, и, обернувшись в воротах, он увидел, что мохнатый гигант провожает его пристальным взглядом.

Глава 19. Ленуар во многом ошибается

Уже около двух недель прошло с осмотра Ильиным лагеря, и за это время события неотвратимо назревали.

С молодым гориллоидом, по сообщению механика, дело значительно продвинулось: жажда кровавой борьбы и власти над толпами вооруженных чудовищ целиком захватила примитивный мозг полузверя.

Момент действия еще не был решен, но откладывать удар, по мнению Дюпона, не имело смысла, да и за Луи трудно было ручаться, потому что «черт его знает, как устроены мозги у этих животных»: никак нельзя быть уверенными в постоянстве их настроений или в том, что тот же Луи не выкинет сдуру какую-нибудь несообразную штуку. А потому надо ковать железо, пока оно горячо.

Ильин объективно не мог не признать справедливости этих рассуждений, но перед ним вставал вопрос: как быть с Мадлен? После памятного разговора в саду он видел ее несколько раз, всегда дома, и каждый раз чувствовалось, что молодая женщина избегала оставаться наедине с ним,

да и он сам почему-то начинал прощаться, если представлялась возможность.

Авиатор, к коему мадам Ленуар относилась с подчеркнутой сдержанностью, заметно осунулся и пристрастился к алкоголю, но исключительно в пределах своего жилища — никто не замечал его в состоянии опьянения. Его постоянным спутником стал Ахматов, однако не питавший склонности к спиртному, но обнаруживший в захмелевшем Тракаре подходящего слушателя для своих мыслей.

Ленуар был поглощен работой в лагере горилоидов и зачастую не ночевал дома. В обращении его появилась какая-то холодность и как будто настороженность, коих прежде не было, и несколько раз Ильин поймал взгляд капитана, переходивший с жены на него и обратно. Последнее казалось тем более странно, что Ильин не ухаживал за мадам Ленуар, а любовь летчика была вся как на ладони. И все же капитан относился к Тракару с полным безразличием.

Часто бывает трудно уловить момент, когда скрытые и постепенно крепнущие силы начинают разряжаться действием. Быть может, это произошло именно тогда — в полуденные часы тягостно длинного и знойного дня.

Низкое жаркое солнце плыло в густой сероватой мгле, монотонный звон цикад стекал с неподвижных вершин деревьев, и неопределенное, томительно нараставшее беспокойство сливалось с тяжелым влажным дыханием болота.

В эти часы работа была почти невозможна, и Ильин по возвращении из лаборатории долго лежал в постели, перебирая в уме события последних месяцев. Разорванными тенями проходили и снова таяли бессвязные обрывки мыслей. Моментами вставала перед глазами родина — такая недосягаемо далекая. Образы прошлого казались видениями какого-то иного, покинутого и уже навсегда недоступного мира.

Теперь только порывом дикого помешательства Ильин мог бы объяснить подписание пятилетнего контракта, оторвавшего его от мира нормальных живых людей. Правда, он еще молод, а пять лет — это всего лишь пять… Но тут же Ильин горько усмехнулся и, выругав себя за наивность, порывисто поднялся с постели.

Ведь не через пять лет, а вот уже совсем скоро — кто знает, может быть, даже через несколько дней! — все разрушая кругом, совьется в огненный клубок отчаянное предприятие Дюпона, и

заранее можно сказать, что не очень велики будут тогда для них самих шансы выбраться целыми из гибельной мглы, нависшей над Ниамбой.

Но кроме них, здесь была Мадлен. И он пока даже приблизительно не представлял, с какого конца подойти к задаче спасения молодой женщины.

Минуту Ильин оставался в нерешимости, потом надел пробковый шлем и решительно двинулся к дому капитана.

Он и сейчас не знал, как и о чем придется говорить с Мадлен. Он чувствовал только, что оставаться в бездействии больше нельзя и что для самой безопасности Мадлен нужно как-то перебросить мостик через разъединяющую их пропасть условностей.

Ленуары оказались одни. Капитан равнодушно поздоровался с Ильиным и сейчас же возобновил монотонное хождение по диагонали от одного угла комнаты к другому, — это была его обычная манера, когда он о чем-либо напряженно думал.

Мадлен молча сидела в углу. Видимо, она обрадовалась приходу Ильина, но затем как-то сразу потухла и на его слова отвечала редкими и короткими репликами.

Капитан, не обращая внимания на жену и гостя,

да, пожалуй, и не замечая их вовсе, продолжал мерно и быстро ходить по комнате. Иногда, очевидно, в ответ на свои мысли, он слегка улыбался и сейчас же ускорял шаг.

Мадам Ленуар вдруг заговорила необычно для нее резким тоном:

— Знаешь, Марсель, если ты не можешь думать о чем-нибудь иначе, то, может быть, ты выберешь для этого другое место? Я не обижаюсь на то, что мы для тебя сейчас вообще не существуем, но я чувствую, что твоя привычка часами мерить комнату, не видя ничего окружающего, действует мне на нервы.

Капитан остановился, явно с неохотой оторвавшись от своих мыслей.

— Нервы у тебя испортились от скуки, — возразил он. — Вот если бы ты интересовалась моей работой… Ну да, пожалуйста, не возражай! Я достаточно знаю твое отношение к этой теме. Ничего! Через четыре-пять лет моя миссия здесь будет в основном закончена, и мы снова вернемся в цивилизованный мир.

Мадлен резким движением поднялась со стула, и Ильин с удивлением в первый раз за все их знакомство увидел на лице молодой женщины жесткое и решительное выражение.

— Пять лет? — спросила она. — И ты серьезно думаешь, Марсель, что я останусь здесь еще пять лет!.. Ты понял ли, что ты сказал?

Капитан изумленно взглянул на жену, подошел к столу и опустился в кресло.

— Погоди, Мадлен, — уже серьезно сказал он. — Ты же понимаешь, что начатое здесь дело не может закончиться в ту минуту, когда мне захочется. Мне *физически* невозможно отлучиться отсюда — меня никто не сможет заместить!

— А почему бы, капитан, — вмешался Ильин, — вам не отправить на время вашу жену в Европу?

Ленуар обернулся и широко открыл глаза.

— Чтобы через месяц наши здешние дела во всех пикантных подробностях описывали все иностранные газетенки? — возразил он. — Да вы же наивный ребенок, Ильин! Мадлен женщина. Вдобавок совершенно не интересующаяся моей работой. Я представляю, как она будет жаловаться своим родственникам и знакомым на жизнь в Ниамбе. Сполна воздаст она и мне, а затем выплывут на свет мои гориллоиды… Не возражай, пожалуйста, Мадлен! Что бы ты ни обещала, я ведь знаю, что это объективно неизбежно, потому что ты женщина, а женщина…

— Не человек, — вставил Ильин.

— Конечно, не вполне! Хотя должен отметить, что и среди лиц, носящих брюки, не так много настоящих мужчин. Да чтобы не ходить далеко… Не сердитесь на меня, Ильин. У вас широкие плечи и великолепные мускулы, но вы очень феминный по сути. Видимо, это у вас от рождения, и вашей вины здесь нет. Сказать вам, какова будет ваша дальнейшая жизнь? Прежде всего, вы отработаете свои пять лет в Ниамбе. Отработаете с большим трудом, ведь будете киснуть хуже нее. — Ленуар кивнул в сторону жены. — Будете думать о самоубийстве, но с собой не покончите. Будете мечтать о побеге, но планов в исполнение не приведете, ибо вы неспособны на решительный поступок. И даже с ума не сойдете, что со многими случается, так как у вас совершенно здоровое и нормальное тело.

Ильин молча переждал паузу, сделанную Ленуаром.

— Это относительно вас, — опять заговорил капитан. — А тебе, Мадлен, я скажу вот что. Через четыре-пять лет ты выйдешь отсюда вместе со мной. Ты разделишь со мной славу грозного подвига, потому что выход в свет рожденных здесь чудовищ будет великим днем в жизни нашей родины и цивилизации. Тогда тебе воздастся за

все, а пока ты останешься здесь со мной… как и Ильин, и многие другие… как бы им ни хотелось этого избежать.

Мадам Ленуар встала и, тряхнув головой, ответила так же, как говорил он, холодно и твердо:

— Этого не будет, Марсель. Мне не нужно того, что ты предлагаешь мне через пять лет. Эти пять лет жизни принадлежат мне, а не тебе, и тебе я их не отдам. Да просто я не смогла бы сделать этого, если бы и согласилась, потому что…

Она снова опустилась на стул и закрыла глаза рукой.

— Я не могу больше, — сказала она вдруг изменившимся и задрожавшим голосом. — Я скорее покончу с собой в этой топи, но я не могу прожить здесь даже и один еще год…

Капитан внимательно посмотрел на жену и чуть усмехнулся.

— Ничего этого, конечно, не будет, — спокойно возразил он, — в особенности проекта с болотом. Я еще допустил бы подобную возможность в другой обстановке — ну, скажем, высокий обрыв над морской пучиной. Это было бы, по крайней мере, так сказать, поэтично. А то представь себе: такая изящная дама, барахтающаяся в черной полужидкой грязи!

Он расхохотался и уже весело и ласково добавил:

— И не будь глупой, а то смотри, какой кислый разговор мы затеяли при Ильине. У него от сочувствия тоже глаза почти на мокром месте.

Ильин, до сих пор молча сидевший у окна, поднялся и взял шлем. Слова Ленуара не оскорбили его. Ведь этот несчастный капитан не знал, что теперь для Ильина дело идет не о самоубийстве и не о побеге. Но стало мучительно неловко перед Мадлен. Это был первый случай, когда при посторонних обнажалась трещина, разделявшая капитана и его жену, и, очевидно, слишком уже натянулось что-то между ними, если такой разговор мог произойти в присутствии постороннего. Он молча поклонился и направился к дверям, но Мадлен решительным жестом остановила его.

— Я очень прошу вас остаться, — сказала она. — У меня такое настроение, что мне бы не хотелось быть сейчас одной.

Капитан взглянул на побледневшее и немного растерянное лицо Ильина и уже совсем дружелюбно усадил его в кресло:

— Сидите, Ильин. Мадлен нужно сбросить желчь, и только. Вы-то как раз подойдете в качестве сочувствующего слушателя, а я для этого

очень мало приспособлен… И не сердись на меня, милая, — мягко добавил он, — я знаю, что тебе скучно и тяжело. Но тут уж ничего не попишешь. Хотим мы или не хотим, но великое дело, начатое здесь, требует от каждого из нас известной жертвы… Я ухожу сейчас по делу к профессору Крозу и часа через полтора вернусь к обеду. Надеюсь, застану тебя уже в хорошем настроении!

Капитан приветливо улыбнулся и вышел. Повисло молчание. Мадлен сидела, склоня голову, и медленно перебирала рукой складки скатерти. Ильин не решался приступить к объяснению первым.

— Мне очень тяжело, — начал он наконец, — что я присутствовал при этом разговоре. Впрочем, быть может, это даже и к лучшему: я шел сюда отчасти с целью переговорить с вами как раз на затронутые сегодня темы. Самое главное — вам надо настоять на своем отъезде в Европу.

Молодая женщина подняла опущенные глаза и грустно усмехнулась:

— А вы думаете, сегодняшний разговор был первым нашим столкновением по этому поводу? Вы же сами видели, что ваш совет исполнить не так легко. По-своему мы с вами в одинаковом положении, Ильин.

Ильин быстро шагнул к молодой женщине, но внезапно остановился. Последними словами Мадлен разорвала тонкую и прозрачную, но все-таки отталкивающую преграду, их разделявшую, и решимость пьянящей волной смыла колебания и тоску последних дней.

— Капитан сегодня заявил, — сказал Ильин, — что судьба не наградила меня избытком решимости. Это неверно, Мадлен.

Он в первый раз в жизни назвал ее просто по имени и сам даже не заметил этого.

— Я полагаю, — продолжал он, — что вам еще придется проверить мои слова на деле… Пока же я могу сказать вот что: у нас в СССР решимость раньше дела не брызжет искрами, но история наглядно показала, какую ломающую преграды волю к победе мы развернули в великой борьбе последних десятилетий. Эге! Разве мы не тряхнули старым миром так, что гнилые щепки, вроде нашего Ахматова, полетели через границу в самые отдаленные углы земного шара? — В его голосе зазвучали совсем новые интонации беззаботной, уверенной и властной силы. Он взял обе руки молодой женщины и прижал их ладонями друг к другу.

— Знаете, Мадлен, — добавил он. — Дело вовсе

не так плохо. Это вы увидите. Мне нужно только одно: когда понадобится, то решительно и без всяких колебаний полагайтесь на меня. Мы еще будем товарищами не только по несчастью.

Он мог бы поцеловать безвольные руки Мадлен, но, движимый каким-то властным инстинктом, не сделал этого, вместо того крепко пожал руку молодой женщины и молча вышел наружу.

Он уже знал, что в то мгновение, когда он стоял рядом с Мадлен, сжимая ее тоненькие, совсем покорные руки, что-то огромное совершилось, и лишние слова более не нужны.

Мадлен опустилась на стул у окна и, запрокинув назад голову, долго смотрела вдаль, ничего не видя перед собой. В ее уме беспорядочно теснились мысли — неясные, радостные и страшные. Мгновениями перед глазами, как на экране кино, появлялась и снова исчезала громадная фигура Ильина, как она его видела минуту назад — с беззаботной улыбкой и будто чужими на его приветливом лице железными серыми глазами.

Самое жуткое было в том, что ведь он сейчас держал ее в своих руках и даже не сделал попытки ее поцеловать и обнять. Это потому, что для него она уже не была женой врага, а только его товарищем, связавшим с ним свою жизнь.

И вдруг обнаженно ясно стало, что вся ее прежняя жизнь, надламываясь, уходила куда-то назад! Что-то новое надвигалось — непредставимое, радостное и страшное…

Глава 20. Драма в саду

На другой день Ильин не зашел повидать Мадлен. Он не смог объяснить себе, почему так поступил. Может, со вчерашнего дня мысль о ней стала всеохватывающей и неотвязной? Он чувствовал, если не сдержать себя напряжением воли, образ Мадлен вытеснит из мозга все остальное, а этого при создавшемся положении нельзя было допускать.

К вечеру решение стало уже глубоко обдуманным и твердым, а назавтра — неизвестно, как это случилось, — Ильин уже поднимался на веранду под пальмами.

Мадлен оказалась одна. На ней было узкое золотисто-медного цвета платье — то самое, так понравившееся Ильину. Тогда Мадлен смеялась и обещала часто его надевать, но будто бы забыла о том. Может, это впервые исполненное сегодня обещание не было случайным, или просто сегодня должны были быть произнесены назревшие слова — неизвестно. Так или иначе, все произошло сразу, прямо и просто. Ильин молча поклонился молодой женщине и, усевшись против нее, вдруг неожиданно для самого себя

сказал:

— Знаете, чрезвычайно скверное дело. Оказывается, я вас люблю.

Мадлен на мгновение подняла на него глаза, затем снова опустила их и ничего не ответила. Ильин глубоко, словно взбираясь на гору, вздохнул и продолжал тихо, делая длинные промежутки между словами:

— Тогда в саду я сказал вам правду. Даже в последний раз я подошел к вам как к другу, и в этом я не обманывал вас, потому что в ином я тогда не решился бы признаться даже себе. Теперь это случилось, и это плохо, потому что быть около вас в создавшейся обстановке я не могу, а покинуть Ниамбу не имею сейчас возможности. Это во-первых. А во-вторых, боюсь, что теперь в вас не будет необходимого доверия ко мне, а оно абсолютно необходимо, так как положение продолжает ухудшаться. Вы чувствуете? Вокруг нас нарастает громадное напряжение, и скоро, быть может, оно разразится взрывом. Моментами я нестерпимо боюсь за вас. Ну вот, я это сказал, и не сердитесь на меня. А теперь я уйду и попрошу вас иметь ко мне такое же доверие, как если бы ничего не было сказано.

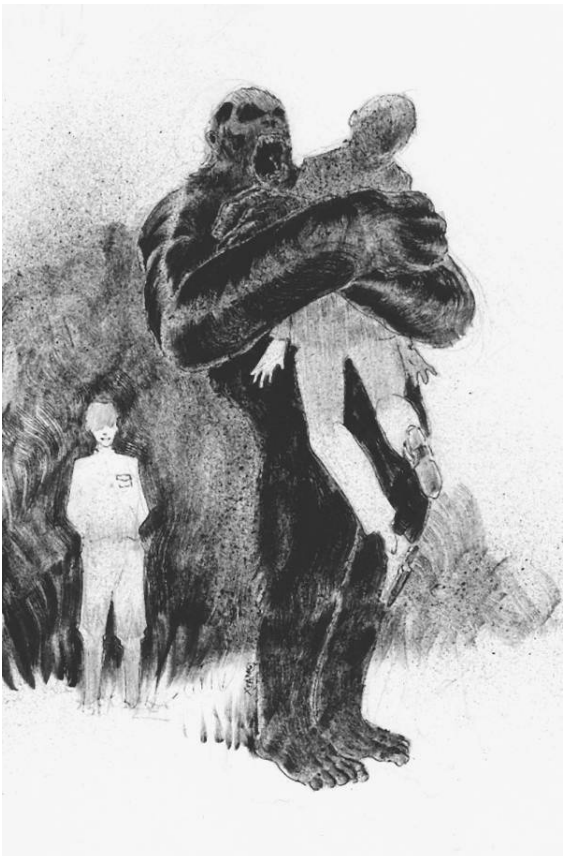
Он поднялся и секунду стоял, не решаясь на

прощание прикоснуться к ее руке.

Мадлен подняла на него глаза и улыбнулась.

Ильин глядел на нее, еще не веря глазам, затем Мадлен также встала и дотронулась до его рукава.

— Уйдемте отсюда, — сказала она. — Может быть, хорошо, что вы это сказали. Мне тоже нужно переговорить с вами, и я не хочу, чтобы кто-нибудь пришел сюда, и мне пришлось бы опять изображать хозяйку дома.



Еще через минуту они шли по дальней аллее сада, и Ильин взволнованно и торопливо оправдывался:

— Не сердитесь на меня. Я и сам не представляю, как это случилось. Верно, потому, что сегодня вы в этом платье. Да. Я думал, что вы нарочно не надевали его, когда я об этом вас просил, а теперь я вас в нем увидел, и мне показалось… что вы сделали это… ну, не случайно.

Молодая женщина обернулась к нему и серьезно ответила:

— Да, это не случайно… Я не знаю, для чего я это сделала. — Она вдруг улыбнулась. — Но только все-таки не случайно. Может быть, мне хотелось сделать вам приятное… или… я не знаю…

Все-таки Мадлен сказала достаточно. По крайней мере, Ильину так показалось. Они остановились. Уже совсем просто и без всяких колебаний он сжал ее руки, а через несколько минут как-то само собой случилось, что Мадлен, положив ему голову на плечо, радостно и облегченно плакала…

Едва ли Ильин смог бы повторить впоследствии то, что было сказано в эти минуты, когда они шли рядом по темной, закрытой низко склонившимися ветвями аллее. Он рассказывал, как он думал о

ней с момента пробуждения и до поздней ночи.

Мадлен шла молча, иногда поднимала глаза на Ильина и спокойно улыбалась. Несколько раз она тихо дотрагивалась до его руки, потом вдруг остановилась и прижалась к его груди.

Резкий треск ветвей и голос Ленуара раздались с такой нелепой внезапностью, что в первую секунду Ильин как-то не поверил в реальность этих звуков. В следующий момент он одним прыжком бросился навстречу выходившему из-за кустов капитану.

Ленуар остановился, но не сделал никакого движения для защиты, а только коротко и резко свистнул. В то же мгновение черная масса, ломая кусты, ринулась откуда-то сбоку, и детски бессильными оказались великолепные мускулы одного из лучших спортсменов Москвы в мохнатых лапах чудовища. Оскаленные клыки лязгнули у самого уха, нестерпимо зловонным дыханием пахнуло в лицо, и последним усилием воли Ильин принудил себя закрыть глаза, чтобы встретить смерть по крайней мере с меньшим напряжением ужаса.

Странно, что он не слышал окрика капитана… или, может быть, тот подал знак рукой. Объятия гориллоида вдруг разжались, и Ильин упал на

песок дорожки.

Когда он поднялся, Ленуар спокойно стоял в нескольких шагах от него. Возле скамьи, опрокинувшись навзничь, лежала в глубоком обмороке Мадлен.

Всем остатком воли Ильин выпрямился и взглянул в лицо врагу.

— Вы трус и негодяй, капитан! — сказал он. — Конечно, у вас не хватит храбрости своими руками или оружием защитить свою честь, если таковая у вас имеется.

— Это вы, очевидно, насчет поединка? Хотите дуэль? — Капитан широко расхохотался. — Господи, какие еще чудаки живут на свете! Он думает, что я, Марсель Ленуар, после такого оскорбления доставлю ему радость сразиться как равному и умереть от моей руки. Нет, мой друг, вам предстоит иной конец. То есть я пока еще не знаю точно какой. Я подумаю. Во всяком случае, я не хотел бы быть на вашем месте, мсье Ильин! Может, это будет сегодня, а может, еще очень нескоро. Я хочу доставить вам возможность хорошенько почувствовать ваше положение. Надеюсь, вы не имеете возражений?

Ильин почувствовал, что холод безотчетного ужаса волной прошел по нему. Но страх быстро

покрылся вспышкой слепой ярости, и со спокойствием в голосе он ответил, глядя в глаза капитану:

— До сих пор я вас не считал скверной гадиной, капитан, и поскольку выяснилось, что я заблуждался, примите от меня это вполне заслуженное определение.

— Ну, как угодно, — Ленуар слегка вздрогнул и побледнел.

Несколько коротких на непонятном языке слов, и гориллоид одним прыжком кинулся вперед. Снова бессильной оказалась короткая попытка сопротивления. В следующий миг руки Ильина были плотно прижаты вдоль тела. Он почувствовал, что поднят в воздух и что его, как маленького ребенка, несут вдоль аллеи. В памяти прочно застряли вытаращенные от изумления глаза обалделого часового у ворот. Когда гориллоид бросил свою ношу на пол какой-то комнаты, голова Ильина запрокинулась, искры яркого света рассыпались перед глазами, и он потерял сознание.

Глава 21. Узники Ниамбы

Когда он очнулся и, шатаясь, встал на ноги, оказалось, что он находился в довольно большой комнате, очень просто, почти бедно обставленной, за исключением решетки в окне, ничем не напоминавшей тюрьму. В открытое окно виднелся диск солнца, опускавшийся к горизонту, а ниже — чахлые мангровые деревья.

Ильин подошел к окну и огляделся. В нескольких шагах начиналось болото, и по узкой полоске сухой земли ходил с винтовкой гориллоид.

Дверь оказалась запертой. Меблировка состояла из стола, стула и узкой железной кровати, но сама квадратная комната не напоминала тюремную камеру.

Голова сильно болела и кружилась. Мысли сбивались, и, чувствуя себя неспособным сейчас обдумать положение, Ильин прилег на кровать. Забытье наступило сразу, но он спал недолго: открыв снова глаза, он узрел алый отблеск солнца, бросавшего в окно последние лучи. Ильин уже хотел встать и пройти по комнате, как вдруг уловил еле слышные шаги за стеной, подпертой кроватью. Короткий сон значительно поднял

силы, и он почувствовал в себе волной нахлынувшую предприимчивость.

Во всяком трудном положении прежде всего нужно выяснить получше обстановку — такого правила Ильин всегда придерживался. В данный момент, кроме звука шагов, ничего слышно не было. Стена была деревянная, в кармане должен был находиться нож.

Он сунул в карман руку и вытащил складной, довольно длинный кривой нож с острым лезвием и красивой роговой рукоятью. Такие ножи, как он слышал, были в большом ходу у хулиганов Парижа, где он его и купил. Раскрытое лезвие удерживалось особой пружиной так, что нож в этом положении превращался в кинжал.

Без дальнейших околичностей Ильин начал прорезать дырочку в стене, используя уже имеющуюся щель между досками.

Стена была толстая, и работа шла медленно, так как надо было избегать всякого шума. Но пальцы у Ильина были крепкие, да и лезвие выковали на совесть, так что час осторожной работы пролетел, и конец клинка вдруг углубился неожиданно легко, а в образовавшемся проколе блеснул свет. Еще увеличив осторожность работы, Ильин через несколько минут заглянул в отверстие. Какая-то

фигура в сером пиджаке ходила по комнате, но отверстие было настолько узкое, что кроме пиджака ничего не было видно.

Затем фигура нагнулась и села на стул.

«Что же это такое?.. Идаев? Но до чего он постарел!..»

— Александр Григорьевич!..

— Что? Что такое? Кто это говорит?

Голос был еле слышен, но все же слова удавалось разбирать.

— Александр Григорьевич, тише. Говорит Ильин, ваш ученик. Я здесь, рядом с вами, и говорю через отверстие в стене. Подойдите ближе.

— Ильин… Постойте, я не узнаю голос.

Профессор наклонился к щелке, закрыв собою свет, и в его интонациях прозвучало сомнение.

— Тем не менее это я, Александр Григорьевич, и чтобы устранить всякие сомнения — смотрите, я отойду к окну… Видите меня?

— Постойте… Да. Как же вы изменились! Но ведь тогда вы были еще мальчиком, студентом. Слушайте, как вы сюда попали, Ильин?

— Меня запрятал сюда капитан, этот мерзавец Ленуар. А вы, профессор?

— Но вы не можете себе представить! Оказывается, Кроз пытается присвоить открытие

гибридов негра с человекообразными обезьянами. Я целый ряд лет ничего не помещал в печати, так как меня упрашивали сохранить пока все в тайне, и вдруг я узнаю, что в отчетах Французской Академии…

— Погодите, Александр Григорьевич. — Ильин перебил профессора не вполне вежливо, но в том положении, в каком он находился, надо было поскорее добраться до сути дела. — Из-за чего же все-таки они вас посадили за решетку?

Голос Идаева зазвучал раздражением:

— Само собой разумеется, я не мог допустить, чтобы дело моей жизни было украдено и опубликовано кем-то другим. Я начал категорически настаивать на праве опубликовать свою работу, но они решительно отказывали и не соглашались выпустить меня с острова. Когда я с одним служителем послал тайно свои рукописи, они были при обыске найдены. Меня сначала перестали выпускать даже за стену. Это было уже после того, как я настоял на вашем приезде. Позже я вновь обратился к научному сообществу, в роли посредника здесь выступил преданный мне слуга-африканец. В послании я раскрыл гнусные махинации надо мной, равно как и попытку украсть плод моих многолетних исследований. А потом меня

лишили свободы, заключив под домашний арест и даже укрепив мой дом решетками.

— Значит, вы, Александр Григорьевич, имеете в распоряжении весь этот дом?

— Конечно. Только из того, что я прорабатываю сейчас в лаборатории, они не узнают ни слова. Довольно и того, что я до сих пор был так глупо доверчив. Впрочем, постойте, — спохватился профессор, — я говорю все время о себе. Дорогой мой, ведь это, верно, из-за меня вы тоже попали в какую-то нелепую историю… Как это все с вами произошло?

Ильин наскоро описал происшествие этого дня и, прервав выражения негодования и возмущения со стороны профессора, приступил к выяснению, не сможет ли Идаев в нужный момент отпереть дверь его комнаты и ходят ли часовые с противоположной стороны дома.

Оказалось, что угол дома с комнатой, где находился Ильин, был изолирован и имел особый выход и что два караульных обходят здание со всех сторон.

Идаев был готов продолжать беседу без конца, но Ильин чувствовал необходимость основательно обдумать и переварить все новые обстоятельства и, сославшись на слабость после

удара об пол, попросил отложить разговор до другого дня…

Глава 22. Подкоп

Когда огромный негр, поставив на стол миску с обедом, подошел к Ильину и, широко улыбаясь, крепко пожал ему руку, тот в первый момент ничего не мог сообразить. Должно быть, это достаточно ясно отразилось на его лице, потому что негр засмеялся и голосом, смутно отозвавшимся в памяти, сказал:

— Товарищ забыл. Я видел товарища.

— А, так это ты! — Ильин вдруг вспомнил черную ночь в парке института и могучую черную фигуру, подавшую ему записку из Ниамбы.

— Да, я принес письмо товарищу.

— Да как же ты сюда-то попал?

Ильин схватил обеими руками негра за плечи и от радости сильно потряс его. Широкая черная физиономия просияла, и гигант снова крепко встряхнул руку Андрея Николаевича.

— Меня тогда больно побили немножко и посадили сюда, за стену. Больше ничего.

— И что ты тут делаешь?

— Варю обед капралу, потом старику, тут рядом, потом белой мадам, помогающей дети родиться.

— В каком смысле помогающей?

— Смотрит, чтобы хорошо родился дети у наших женщин, кто родит обезьян.

— А, акушерка…

Ильин перешел к более существенной теме:

— Слушай, ты не сможешь увидать Дюпона?

— Я сегодня видел товарищ Дюпона, — ответил негр.

— Ну, и что он говорил обо мне?

— Товарищ Дюпон говорил: «Передай товарищу, что я действую и скоро немножко разорю все гнездо».

— И больше ничего?

— Нет. А еще дал записку.

— Батюшки, какой чудак! Что же ты мне ее сразу не передал?

Негр молча улыбнулся, порылся в своем несложном костюме и вытащил бумажку.

Коротенькая записка была написана, видимо, второпях, карандашом:

«Дело дрянь. Если не поторопимся, капитан вас убьет. Обдумайте, как вам выбраться из дома, когда я дам сигнал. Остальное — мое дело. Наш план быстро продвигаю. Записку уничтожьте».

— Ну, прощай, товарищ! Завтра я опять принесу обед. — Негр еще раз пожал Ильину руку, вышел из комнаты и запер дверь.

«Выбраться из дома наружу?..» — Ильин задумался. Он долго ходил вперед и назад по комнате, затем упал на кровать и стал перебирать последовательно все мыслимые варианты. Перепилить решетку? Во-первых, нечем, во-вторых, бесцельно, потому что постоянно под окном торчит или вышагивает часовой. Пробить стену? Об этом нелепо и думать: стены сложены из кирпича на цементе. Пробить потолок? Пожалуй, возможно, но нужно провести эту операцию в одну ночь, иначе наутро дыра будет видна, и все откроется. Остается подкоп. Пол деревянный, на высоте около метра над землей. Значит, под ним имеется промежуток. Грунт местности песчаный — рыть будет легко, и воды на уровне подошвы фундамента не окажется. А кроме того, вылезать из-под земли — не так заметно, как прыгать из окна или с крыши.

План казался пока правдоподобным, и, так как времени терять не приходилось, Ильин без долгих колебаний начал исследовать пол.

Очевидно, резать надо было в стороне стены с окном, чтобы помешать часовому что-либо увидать через решетку. Как раз в этом месте в углу стоял небольшой шкафчик. Ильин отодвинул его и ножом принялся перерезать на шаг от стены

крайнюю половицу. Поскольку было нужно, чтобы перерезанный кусок не провалился, Ильин выбрал место, где линия гвоздей показывала присутствие под полом опорной балки.

Стоп! А если часовой обратит внимание, что его не видно в комнате?..

Ильин подошел к кровати, свернул в трубку лежавший на полу войлок и накрыл его на постели одеялом.

«Готово! Я накрылся с головой и заснул. А теперь за работу!»

Перерезка половицы отняла не больше получаса, но гораздо труднее было вырвать из балки прикреплявший доску гвоздь. Будь Ильин послабее, вероятно, ему ничего бы и не удалось сделать, но руки у него были весьма недурны, и, рискуя ножом и ногтями, он все-таки с треском вывернул половицу. Дыра была ему только-только в обрез, но кое-как Ильин в нее протиснулся. Подполье простиралось под всем домом. Грунт оказался не песчаным в полном смысле этого слова, но копать было все же сравнительно легко. Для подкопа Ильин выбрал самый угол дома, чтобы меньше осыпалась земля, и начал копать ножом и руками, выгребая землю в стороны и устраивая пологий откос. Работа шла быстро, и

часа через полтора на глубине метра он достиг низа фундамента.

Однако надо было проверить, что делается в камере. Там все оказалось в порядке, и Ильин снова полез вниз.

Еще часа через два под фундаментом был закончен основательный туннель, под чьими сводами можно было стоять на четвереньках, и Ильин решил пока на этом остановиться: когда будут получены указания от Дюпона, он в два-три часа сможет подрыться кверху, а пока надо снова привести в порядок себя и доску в полу.

Так как костюм был предусмотрительно снят перед спуском в подвал, Ильин только тщательно вытер рубашкой с голого тела пыль и землю. Бросив рубашку и нож под пол, он оделся и поставил половицу на место. Задвинуть в старую дыру гвоздь было нетрудно, но гораздо сложнее оказалось придать вполне натуральный вид щели, прорезанной в доске. Пришлось опять спуститься под пол за серой глиной, прослойками попадающейся в песке. И вот щель исчезла, приняв цвет грязного пола, затем и шкафчик был сдвинут на место.

Ильин улегся на кровать и предался заслуженному отдыху. Первое время он лежал без

всяких мыслей, ощущая лишь усталость после тяжелой работы, потом точно очнулся и снова принялся анализировать положение. С подкопом дело почти обеспечено, но нельзя же удирать одному — бросить старика Идаева. Придется побеседовать с ним насчет побега. Технически особых затруднений не представится, потому что всегда возможно и в его комнате прорезать снизу одну половицу в последний момент перед побегом, когда все прочие приготовления будут закончены. Посвящать его в эти планы пока не стоит — только расстроишь старика. Да и вообще нечего болтать раньше времени, если без этого можно обойтись.

В конце концов утомление от напряженной работы в согнутом положении взяло свое и, значительно успокоенный достигнутым успехом, Ильин, не раздеваясь, заснул.

* * *

На другой день не было ничего нового. Негр занес обед и, обменявшись с ним парой фраз, ушел. Записки к Дюпону Ильин не дал, а ограничился словесной передачей. Так же прошли и следующие два дня.

На пятый день заключения негр принес от Дю-

пона следующую записку:

«Я всегда знал, что вы молодец, товарищ Ильин, и очень хорошо, что у вас все подготовлено, потому что момент действия настает.

Капитан точно сошел с ума и стал зверем. Нескольких гориллоидов за что-то запорол до смерти, самого Луи вздул хлыстом прямо по морде. Все это я использую, будьте готовы в любой момент».

Ильин раз десять перечитал записку, потом мельчайшие ее кусочки протолкнул в щели пола и уже собирался начать подробный разговор с Идаевым, когда дверь отворилась, и на пороге, в сопровождении двух вооруженных гориллоидов, показался капитан Ленуар.

Ильин невольно вздрогнул.

Капитан эту реакцию заметил. Лицо его озарилось ужасной усмешкой.

— Очень рад видеть, мсье Ильин, — сказал он, — что вас тут уже начинает потряхивать. Думаю, что завтра мы увидим это вторично, потому что я принес вам приятную новость. Хотите знать, какую?

Ильин стоял молча. Лицо его было бледно, но уже спокойно.

— Так вот, — продолжал капитан, — завтра вы

умрете. Я нарочно зашел к вам с этой маленькой новостью, чтобы у вас было время хорошенько подумать об ожидающих вас завтра развлечениях. Видите ли, послезавтра мне придется послать в Париж телеграмму о несчастном случае, происшедшем с русским ассистентом Ильиным, — мол, тот неосторожно зашел в клетку к гориллам и был разорван ими… Ребята мои — народ злой, и, поскольку я им разрешу с вами побаловаться, они будут иметь полное удовольствие. И я также. Значит, до завтра, покойной ночи!

Капитан любезно поклонился и вышел. Дверь замкнулась, и Ильин почувствовал, что громадное напряжение воли, помогавшее сдерживать себя, разом исчезло. Ноги задрожали, и он бессильно упал на кровать.

Момент настал, надо бежать! Но каким способом он проберется через стену, если у Дюпона пока еще не все готово? Наконец, даже оказавшись каким-либо чудом по ту сторону стены, он будет иметь лишь минутную отсрочку, ибо дамба занята военным караулом, а по болоту с острова никуда не уйдешь.

Правда, в десять раз лучше утонуть в болоте, чем быть разорванным полузверями, но… совсем не хочется, мучительно не хочется умирать! Была

еще надежда на то, что негр зайдет с ужином и успеет предупредить Дюпона, а Дюпон ускорит свое выступление...

Глава 23. Побег

Время тянулось нестерпимо медленно. Наконец солнце начало склоняться к закату. Время ужина пришло и прошло, а негр все не появлялся…

Солнце село, узенький серп молодой луны засеребрился над болотом. Мерные шаги часового за окном нарушали глубокую тишину ночи.

Ильин понял, что решительный момент настал. Надо действовать. И если придется погибнуть, пусть он умрет в борьбе.

Разговор через стенку был короток. В сильных выражениях Ильин объяснил Идаеву положение дел и свое решение — бежать почти без надежды на успех, потому что здесь все равно его завтра ожидает верная и ужасная смерть. Старик разволновался и растерялся, бегал по комнате, ерошил на голове остатки седых волос, затем категорически отказался участвовать в этом безумном предприятии, и вдруг в тот момент, когда Ильин, сделав куклу на кровати, уже лез в подпол, профессор жалобно и умоляюще подозвал его к щели и сказал, что он тоже бежит.

Через минуту Ильин уже работал, взрезая половицу комнаты Идаева. Нож порядочно иступился,

и работа шла медленно. Наконец последние волокна дерева были перерезаны, доска отогнулась вниз, и в отверстии показались сначала ноги в туфлях, потом серые штаны, затем седая борода Идаева.

Старик-профессор начал было с жалобы на судьбу, но Ильин почти грубо оборвал его и, опустившись под фундамент, принялся копать проход вверх.

Каждую порцию земли нужно было проталкивать через нору под фундамент и затем выгребать вверх в подполье, и прошло несколько часов, пока наконец руки Ильина, работавшего в глубочайшем мраке, не дошли до корней травы. Через минуту на голову ему свалился подрезанный ножом дерн и, подняв запорошенные глаза, он увидел над собой крупные яркие звезды.

Шаги невидимого часового раздавались справа, потом он, вероятно, повернул назад, и они начали приближаться. И вдруг из-за угла выдвинулась гигантская, особенно в ночном мраке жуткая фигура гориллоида. Ильин замер, но часовой ничего не заметил и спокойно повернул за угол.

Ильин нырнул в дыру подкопа и в двух словах объяснил Идаеву, как надо вылезти, быстро, без шума отбежать в сторону, пока часовой прохо-

дит за домом, и снова залечь на землю, чтобы пропустить его. Сначала Ильин, за ним профессор пролезли под фундаментом и выбрались на поверхность.

Когда Ильин быстрыми легкими шагами отбежал метров на сто и, опустившись в какую-то канавку, оглянулся назад, он невольно вздрогнул: старик-профессор, топая как медведь, неуклюже бежал к нему и вдруг, наклонившись, стал шарить руками по земле.

— Андрей Николаевич! Андрей Николаевич! Постойте, я пенсне потерял и ничего не вижу, — почти громко сказал он.

«А, черт бы его взял, этого старого младенца!» — мысленно выругался Ильин.

Вскочив на ноги, он бросился к Идаеву, схватил его за руку и потащил за собой. В ту же секунду на фоне серпа луны выросла гигантская фигура у угла здания, злобный лающий крик огласил ночную тишину, чудовище стремительными прыжками бросилось вперед, и один за другим загремели несколько выстрелов. Теплая жидкость брызнула Ильину в левую щеку. Тело профессора вдруг осело и, оглянувшись, Ильин увидел при свете звезд черную бесформенную маску вместо лица Идаева…

Еще через мгновение он, как заяц, зигзагами несся в темноте, сам не зная куда. Вслед раздавался тяжелый топот гориллоида, и мимо самых, казалось, ушей одна за другой часто и гулко жужжали пули.

Ильин не так давно выступал форвардом в хорошей футбольной команде и, конечно, тяжелому неуклюжему чудовищу не по силам было его догнать. Через минуту гориллоид остался где-то далеко позади, но зато беглец чуть не влетел с разбегу прямо в болото.

Сзади как будто не было ничего слышно и, ступая как можно тише, Ильин попробовал углубиться в поле, взяв направление по возможности к воротам в стене.

Внезапно со стороны тюремного помещения раздались громкие голоса, промелькнул огонек… другой… третий… Огни начали быстро расходиться в стороны, и один из них приближался к Ильину.

«Дело дрянь. Организованная погоня, да еще с фонарями!..»

Ильин покачал головой и стал быстро подаваться вправо. Но справа также показались два огонька, шум и крики усиливались, и Ильину стало ясно, что дальше бродить в темноте

опасно, — надо принять какое-нибудь трезво-обдуманное решение.

Прежде всего надо было спрятаться, иначе не пройдет и получаса, как его найдут. Первую мысль — о кустарниках — он сразу откинул, потому что, конечно, именно там и будет устроена наиболее основательная облава. Пару минут никакой здравой идеи не приходило в голову, затем вдруг выплыла мысль, очень простая и хотя не разрешавшая положения, но дававшая слабую отсрочку:

«Зарыться в песок! Как это сразу не пришло на ум?..»

Кругом были крупные и мелкие бугры и ямы — очевидно, окопы, вырытые во время тактических занятий. Лишняя неровность не привлечет ничьего внимания… а там, может быть, что-нибудь устроит Дюпон…

Было как раз время, потому что огоньки мелькали уже близко. В следующую минуту два гиганта с винтовками и фонарями в руках прошли совсем рядом, едва не наступив ему на живот.

У Ильина было впечатление, что в лагере полная суматоха, и он не мог толком уяснить себе смысл такой отчаянной ночной погони: ведь ничего не стоило подождать до утра и при днев-

ном свете отыскать беглеца — ему все равно ведь некуда было деваться. Единственное правдоподобное объяснение состояло в том, что его, Ильина, стоило непременно поймать раньше, чем о побеге узнает Ленуар. Судя по тому ужасу, что капитан внушал подчиненным, это предположение было вполне вероятным.

Часы текли медленно и тоскливо, суета по всему острову стала заметно уменьшаться, зато где-то, как раз позади, шум и крики все усиливались, временами переходя в общий рев.

Ильин поднял голову и оглянулся. Стенка канавы мешала видеть назад, но восточный край неба заметно побелел, и через час-полтора, очевидно, должен был наступить рассвет.

Если еще имелась какая-нибудь возможность спастись, то действовать нужно было немедленно.

Ильин поднялся, стряхнул с себя песок и посмотрел назад. Рев, крики и суета в той стороне, казалось, еще возросли, но огоньков кругом уже не было видно, и он поспешно, но осторожно двинулся в ту сторону, где, как он полагал, находились ворота. Расчет оказался более или менее правильным: перед ним выросла серая громада бетонной стены.

Однако, идя влево, он вскоре уперся в болото и должен был вернуться назад. Еще несколько десятков шагов, и он остановился, замер. Из мрака вырисовалась шевелящаяся темная масса, издающая негромкие невнятные звуки. Медлить все ж было нельзя, и Ильин, улегшись на землю, снова пополз вперед.

Масса разделилась пополам и превратилась в двух гориллоидов, сидевших на земле и что-то бормотавших. Затем раздались уже совсем явственные звуки рвоты, и ветерок донес отвратительный запах спирта.

«Пьяны!..»

Глава 24. Переход в наступление

Ильин почувствовал, что гнетущая тяжесть, обручем давившая его в последние дни, свалилась, рассыпалась и покрылась ослепляющей радостью. Дюпон, значит, сделал свое дело и сделал как раз вовремя! До спасения еще бесконечно далеко, но он уже не один. Где-то во мраке действует верный и храбрый товарищ, и восход, наступающий через час, озарит, вероятно, дикий бунт опьяневших зверей.

Может быть, он сам погибнет при этом, но хорошо уже то, что сломалась жесткая дисциплина лагеря гориллоидов, а в сумятице бунта, хотя бы и пьяного, всегда есть шансы на какой-нибудь случай, и теперь уже во многом от него самого, от его решимости, силы и мужества будет зависеть исход борьбы.

Немного подальше валялся на земле и громко храпел третий гориллоид, а в двух шагах сбоку лежала брошенная на песок винтовка.

«Часовой! А у часового на шее должен находиться ключ от запора с этой стороны ворот». Эту деталь Ильин хорошо запомнил во время предыдущих посещений лагеря.

Храп чудовища был таким громким и указывал на такой глубокий сон, что Ильин смело подполз вплотную. Ключ действительно оказался на мохнатой груди. Быстрое и осторожное движение ножом — и он перешел в руки беглеца, после чего Ильин уже безо всяких предосторожностей пошел прямо к воротам.

Может быть, это был результат той вспышки духоподъемной радости, охватившей его минуту назад, но Ильин действовал, как во сне, очень быстро, не обдумывая обстановки, с той мгновенной интуицией, в критические минуты жизни часто обеспечивающей победу.

Подойдя к воротам, он повернул ключ в замке и дернул за веревку.

На звонок отворилось окошечко в дверях, показались глаза и нос часового.

— Кто это? Почему ночью? Что это за шум у вас? — раздался голос часового.

— Кто? Сам видишь, что человек, а не обезьяна! Отворяй скорей! В лагере пьяный бунт, и горилллоиды гонятся за мной!

В голосе Ильина было, естественно, самое неподдельное беспокойство беглеца.

— Да кто ты такой? Я что-то тебя не могу признать.

— Отворяй, бестолочь! Вон они уже близко! Да давай уже, ради бога!

Калитка открылась. Часовой с ружьем наперевес загородил дорогу, чутко вглядываясь в лицо вошедшего. Все дальнейшее случилось не более чем в две секунды, ведь Ильин был несравненно сильнее любого среднего по сложению и росту человека.

Прикладом вверх взлетела вырванная из рук винтовка и с глухим стуком обрушилась на череп часового. Солдат охнул и мешком свалился на землю, а Ильин, не заперев калитки, уже летел по направлению к стоявшему слева под группой пальм дому капитана.

Несомненно, что всего за минуту перед тем у него не было никакого определенного плана действий, да и сейчас он не знал еще, что сможет предпринять в оставшиеся полчаса ночного мрака, и тем не менее решительно бежал вперед. Только одно было для него ясно: он увидит сейчас Мадлен, а все дальнейшее выяснится после…

* * *

Комната Мадлен выходила окнами в сад. Перешагнув через забор, Ильин несколькими прыжками подбежал и заглянул внутрь. Внутри

было темно, и кроме бесформенных теней мебели ничего не удалось рассмотреть. Первое побуждение — постучать — он отбросил сразу.

«А если там Ленуар?..» От бешеной злобы Ильин скрипнул зубами. Подойдя к окну, капитан легко сможет сверху вниз пристрелить его. Нет, надо сначала влезть внутрь, и если эта гадина окажется там, Ильин свалит его на пол и ногою прижмет горло к земле.

Москитная сетка, натянутая на деревянную раму, вывалилась внутрь от слабого нажима. Одним прыжком Ильин вскочил на подоконник и легко спрыгнул в комнату.

— Кто здесь?..

В крике Мадлен был безумный ужас.

— Это я, Мадлен, — прошептал Ильин, — это я…

— Андрей?!

Молодая женщина порывисто бросилась ему навстречу:

— Это ты!.. Это ты!.. — Все тело Мадлен трепетало, и слезы теплыми каплями стекали по щеке Ильина. — Я так боялась… я думала… — молодая женщина вздрогнула.

— Да!.. Я бежал из заключения, где сидел, ожидая смерти. Нужно действовать быстро, потому

что рассвет близок. Необходимо использовать каждую минуту ночного мрака. Если твой муж обнаружит, что…

— Он не муж мне! — Мадлен выпрямилась, и даже в темноте было видно, как загорелись ее глаза. — Не смей, Андрей, слышишь, никогда не смей говорить мне это!

Ильин секунду неподвижно смотрел на молодую женщину, затем поднял ее на руки, как перышко, поцеловал и снова бережно поставил на землю, тихо смеясь.

— Одевайся, да в один момент. Я буду пока рассказывать, а ты помогай советом. Я бежал, как видишь, с большими приключениями, но о них после… Профессор Идаев бежал со мной, но его застрелили — и это его кровь у меня на лице… В лагере гориллоидов какая-то суматоха. Они сначала ловили меня в темноте, затем, очевидно, пользуясь ночной суетой, добрались до винного склада и перепились… Ворота в стене открыты, и часовой лежит, оглушенный ударом приклада… Через час или, может быть, в любую минуту, гориллоиды будут здесь. Администрация удерет по дамбе, но нам этот путь закрыт. По крайней мере, мне. Если бы здесь был Дюпон — знаешь, механик, мой товарищ, — мы смогли бы захватить

аэроплан, потому что он был раньше летчиком, и с ним мы могли бы улететь из этого пекла, но я не знаю, где он. Поэтому я думаю так: беги через дамбу, а я уже как-нибудь вывернусь, когда начнется возня и суматоха и когда всем будет уже не до меня.

— Никогда! — Мадлен с возмущением подбежала к нему. — Я буду с тобой, Андрей, что бы с нами ни случилось! Понял? И ни одного слова больше об этом!

— Хорошо! — Ильин утвердительно кивнул. — Постой, мне пришла в голову следующая мысль: бежать через дамбу можно, только когда начнется суматоха. Раньше нас все равно не пропустят. Значит, где-нибудь надо ждать. Попробуем подождать в ангаре. Мы будем там около аэроплана и постараемся увидать и перехватить Дюпона, а в крайнем случае будем отсиживаться, потому что бетонные стены ангара можно прошибить разве что пушкой. Но тогда новый вопрос: как туда попасть? Дверь всегда заперта на замок. Послушай, ты не обратила случайно внимания, какой толщины там дужка замка?

Молодая женщина задумалась.

— Дужка замка? Тракар несколько раз водил меня в ангар. Постой! В самый последний раз

замок долго не отпирался. Да, почти помню. Приблизительно в мой палец.

— В твой пальчик? — Ильин весело рассмеялся. — Да если он будет вдвое потолще, я выверну его без труда, потому что мои-то пальцы, к счастью, потолще, да и покрепче… Ну, ты готова? Идем!..

Одним прыжком соскочив в сад, он принял на руки Мадлен, поставил ее на землю и, взяв под руку, быстро повел к ангару.

Глава 25. Бунт гориллоидов

Дужка замка оказалась значительно толще пальчика Мадлен, но в нескольких шагах от стены валялись металлические брусья и прутья. Ильин засунул под дужку подходящий кусок в метр длиною, раздалось негромкое царапанье и шуршание, затем замок звонко хрустнул, и дужка вывернулась наружу.

— Ну, вот и готово! Теперь входи.

Ильин ввел Мадлен внутрь ангара и притворил тяжелую железную дверь, оставив только небольшую щелку. После этого, чувствуя себя уже сравнительно в безопасности, он принялся внимательно осматриваться.

Ночной мрак уже разошелся, вся восточная сторона неба пылала пурпурным золотом. Ворота на обезьянью территорию отсюда не были видны, но, очевидно, они были открыты, потому что на площади бродили, переходя с места на место, несколько гориллоидов, чего никогда еще не бывало.

Из-за стены доносился глухой шум, прорезавшийся отдельными резкими выкриками. Судя по тому, что расстояние от ангара до стены было

порядочное, толпа чудовищ бушевала уже совсем недалеко от ворот.

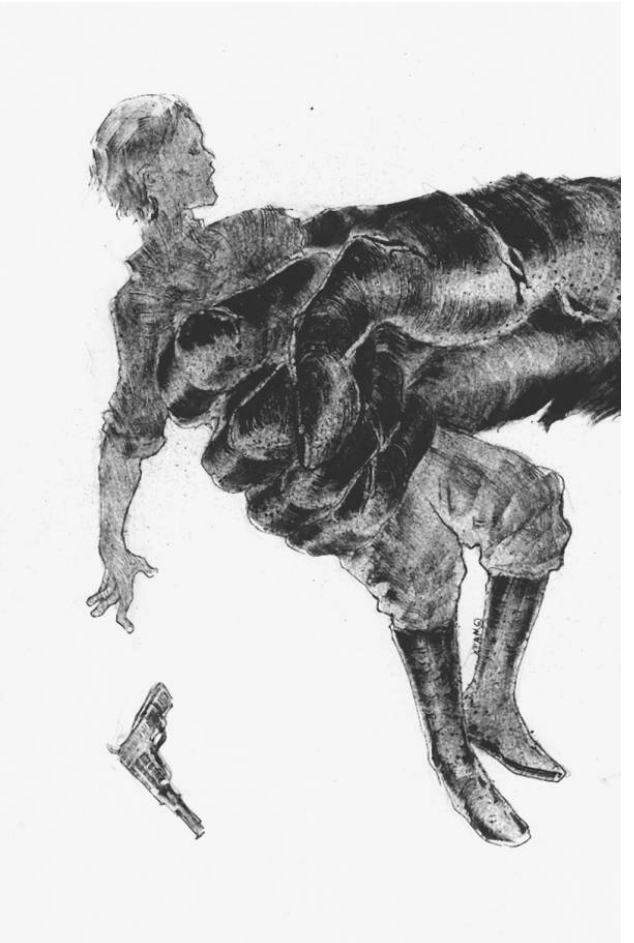
Потом сухо и гулко прогремел одиночный ружейный выстрел.

Из-за угла караульного дома, где помещалось человек двадцать солдат, высунулась какая-то физиономия, оглянулась кругом и моментально скрылась.

Через несколько минут из дома выбежала группа солдат с капралом во главе. Они быстро построились и, держа винтовки наперевес, бросились к воротам, а один, пересекая площадь, со всех ног кинулся к дому капитана.

Гориллоиды попятились. Солдаты, обогнув угол ангара, скрылись из глаз, но почти в ту же минуту глухой гул перешел в потрясающий рев ярости. Тут же вспыхнула учащенная ружейная стрельба, и несколько солдат в панике пробежали обратно, отступая к дамбе.

В следующий момент взвод вооруженных чудовищ неудержимо хлынул на площадь.



* * *

Удирающие со всех ног уже еле виднелись в глубине площади, когда Ленуар с кольтом в одной руке и хлыстом в другой вышел из дома и быстрым твердым шагом направился к ревущей, беснующейся толпе гориллоидов.

Привычный страх сразу раздвинул в стороны массу чудовищ. Ближайшие трусливо пятились назад и, спотыкаясь, пытались спрятаться за других, задние поспешно удирали, и казалось — еще мгновение, и бунт будет ликвидирован. Но вдруг волосатый гигант, весь в кровавых рубцах и с горящими яростью глазами, вырвался из толпы и бросился на Ленуара.

Две пули, пробившие могучее туловище, не преодолели инерции — кольт вылетел из переломанной руки капитана, и в тот же миг его тело, охваченное гигантской лапой, повисло у мохнатой груди, как кукла. Кровавые глаза чудовища точно впивали предсмертный ужас человеческих глаз, затем страшные челюсти с хрустом сомкнулись у капитана на голове, и два тела забились на залитой кровью земле…

Смерть Ленуара смяла остатки страха и повиновения. Если пал тот, кто был богом этих

приученных к борьбе и натиску чудовищ, то что значили остальные! И кого же еще можно было бояться?

Всеобщий оглушающий рев приветствовал гибель капитана Ленуара, и толпа чудовищ в беспорядке ринулась к жилым строениям и складам. Угол стены ангара закрывал собой эту сторону, и о дальнейшем можно было судить только по доносившимся справа звукам разрушения и борьбы. Оттуда раздавался рев опьяненных спиртом и победой гориллоидов, пронзительные крики боли и ужаса и выстрелы.

Мадлен забилась в угол ангара и тихо плакала.

Стрельба затихала. Видимо, короткое сопротивление было сразу сломлено. А Дюпона все еще не было… Ильин, охваченный острым беспокойством, прислушивался к звукам, и его тревога становилась нестерпимой. Если Дюпон погиб, то неизбежна и их гибель, потому что только он мог управлять аэропланом.

Трещавший ранее по всему острову ружейный огонь теперь сосредоточился лишь в двух пунктах: у ближайшего к ангару дома, где жил летчик Тракар, и в самом конце острова, вероятно, у казармы, замыкавшей выход на дамбу. Очевидно, только здесь продолжалось еще сопротивление.

В глухой бетонной стене ангара с этой стороны не было никаких окон. Если бы имелась лестница, по ней можно было бы добраться до окон в нижней части крыши, но лестницы тут не оказалось. Ильин окинул взглядом внутренность ангара и вдруг сообразил, что добраться до верха, пожалуй, как-нибудь удастся. Крыша на уровне верха стягивалась железными поперечинами. Если попробовать перекинуть через одну из них канат?

Он поспешно вытащил из угла связку веревок, быстро навязал на веревке узлы и, сделав на конце петлю, бросил вверх. Веревка перекинулась сразу, но болтавшийся вверху конец был слишком короток. Ильин зацепил его за петлю крючком, наскоро согнутым из толстой проволоки, подтянул вниз, и путь к перекладинам был готов. Связав вместе концы, он посадил на них Мадлен, чтобы веревка не качалась, быстро вскарабкался наверх, отворил раму и осторожно выглянул наружу.

Глава 26. Взрыв

Из-за деревьев полыхало пламя и валил густой дым. Судя по месту, это должен был быть склад провианта. Оттуда несся сильнейший шум, и волосатые фигуры то выскакивали с какими-то предметами в руках на берег болота, то снова мчали обратно. Гориллоиды, как было ясно, грабили склады. Еще дальше, в стороне дамбы продолжалась стрельба, но что там делается — из-за деревьев не видать...

У стены дома летчика лежала груда тел. Вероятно, опьяневшие чудовища бросились на приступ без соблюдения предосторожностей и были сметены огнем защитников. Те были скрыты густыми кустами, но из-за деревьев летели одиночные выстрелы, и было видно, как пули выбивали стекла и щелкали по карнизам и рамам. Дом мрачно молчал, но количество трупов на земле наглядно показывало, что защитники решили дорого продать свою жизнь. Немного поодаль, под деревом, лежало тело Кроза без всяких видимых повреждений. Даже одежда профессора была в порядке. Очевидно, он погиб от пули, и тело, находясь под огнем защитников,

не подверглось насилию чудовищ.

Дом стоял совсем близко от ангара. Вопрос лишь, кто там находится. Когда с целью получше осмотреться Ильин высунул голову наружу, две пули щелкнули в стену почти рядом, и несколько мелких камушков рассекли щеку, но зато из дальнего окна дома раздался голос Ахматова:

— Ильин! Эгей, Ильин! Как вы попали в ангар? И где вы были все эти последние дни?

— Через дверь с той стороны, — ответил Ильин на первый вопрос. — А кто сейчас с вами в доме?

— Тракар и еще один рабочий.

Ильин почувствовал, что сердце его усиленно забилось.

— Какой рабочий?

— А черт его знает! Просто рабочий. Слушайте. Как нам попасть в ангар?

Ильин молчал какое-то время.

— Ахматов, я сам ничего не могу придумать. Где Тракар и рабочий? Позовите их сюда или сменитесь с ними, если им нельзя отойти. Только один Тракар знает все, что есть в ангаре, и сможет дать какой-либо совет.

Наступило молчание, только изредка прерываемое выстрелами, и пули так метко били наискосок в окно, что молодой ученый уже не

рисковал высовываться и, скрывая голову за выступом стены, ждал ответа.

Затем раздался тонкий пронзительный голос Тракара:

— Ильин, вы меня слышите?

— Слышу.

— Вот что. Единственное спасение для нас — попасть в ангар. Выскочить из дома и обежать кругом до двери — нечего и думать: Ленуар так выучил стрелять этих мерзавцев, что мы не успеем достигнуть угла, как будем убиты. В дальнем углу направо в большом ящике лежат аэропланные бомбы — в пятьдесят и в двадцать кило. Возьмите меньшую. Стена в промежутках между колоннами не толще пятнадцати сантиметров, и двадцати кило хватит. Там же рядом в соседнем ящике — тротиловые шашки, капсюли и бикфордов шнур. Привяжите шашку к бомбе, вставьте капсюль и возьмите шнур подлиннее — скажем, метра два. Изнутри взрывать нельзя. Вы, может, и уцелеете, но аэроплан будет взрывом подброшен и смят. Поднимите бомбу по веревке, спустите наружу с зажженным уже, конечно, шнуром, пока она не ляжет на землю. Поняли? И не бойтесь. Осколки будут направлены выступом стены и полетят только вперед, а не вбок. За аэроплан

тоже нечего опасаться, потому что он у другой стены. Действуйте как можно скорее. Если сюда соберутся остальные дьяволы и бросятся со всех сторон, то второй атаки мы не выдержим.

Ильин приподнялся выше, чтобы его ответ был хорошо слышен:

— Тракар, кто кроме Ахматова с вами в доме?

— Какой-то рабочий.

— Какой именно?

— Да вам-то какое дело! Механик, и больше ничего. Все равно аэроплан поднимает только трех. Поняли? И валяйте скорее.

Ильин отвечал, отчеканивая слова:

— Тракар! Теперь нужно, чтобы поняли вы. Этот рабочий — мой товарищ, и он полетит с нами, и так как я вам не очень верю, то пусть он будет здесь у окна и ответит мне. В противном случае, оставайтесь. А я — разобьюсь или нет, — попытаюсь улететь хоть один.

Летчик злобно выругался:

— Не будьте болваном, Ильин! Я вам толком сказал, что машина не поднимает больше трех. Можете вы вместить в своей башке эту простую вещь?

— Не могу вместить, Тракар, и повторяю: если механик Дюпон не будет здесь, я вам помощи

не окажу.

После короткого молчания летчик ответил уже спокойно:

— Хорошо, я позову его…

— …Товарищ Дюпон, это вы?

— Я думал, что вы уже погибли, товарищ Ильин. Вы оказались молодцом, а я чуть не погубил себя и вас. Но сейчас не время болтать. Тракар сказал, что вы будете подрывать стену. Действуйте, поговорить успеем после.

Когда Ильин спустился вниз, его встретили сияющие счастьем глаза Мадлен.

— Андрей, значит, мы сейчас улетим, значит, нас не убьют?

Ильин засмеялся:

— Улетим, дорогая. Сейчас с нами будет товарищ Дюпон. Он умеет вести аэроплан!

Приготовления с бомбой не заняли много времени. Через пять минут новая веревка была перекинута через перекладину, снаряд подтянут к крыше, и Мадлен, наваливаясь изо всех сил на веревку, с ужасом глядела на доверенную ее слабым силам и висящую у нее над головой тяжелую бомбу.

Раскачиваясь как маятник, Ильин взобрался по узловатой веревке на балку, поставил на нее

бомбу и зажег шнур. Еще несколько секунд, и снаряд опустился на веревке вдоль наружной стены, а Ильин, скользнув вниз, схватил молодую женщину на руки и прижался с ней в угол за широким бетонным выступом.

Затем потрясающий взрыв всколыхнул все здание.

Осколки стекол посыпались дождем, аэроплан, как раненая птица, подскочил вверх и черкнул крылом стену перед самым лицом прижавшихся к ней людей. Еще мгновение, и столб черного дыма погрузил в непроницаемую тьму всю внутренность ангара. Снаружи густо затрещали выстрелы, и последним восприятием Ильина был револьвер, неожиданно вынырнувший из мрака перед его глазами…

Глава 27. Драма в ангаре

Откуда-то совсем издалека раздавались голоса. Страшная боль в голове… Почему-то никак не выходило поднять подвернутую под спину руку, и все покрывалось непрерывным гудящим, все наполняющим шумом… Никак не удавалось чего-то вспомнить и как следует проснуться. Потом любимый голос зазвучал такой тоской и страданием, что сознание сразу вернулось, и Ильин открыл глаза.

— Так значит, вы спутались с этим канальей? Хорошее дело…

Тракар стоял у аэроплана и торопливо возился около пропеллера.

Туман от взрыва еще наполнял помещение, но различать все можно было уже легко. Инстинктивная попытка двинуть рукой, и положение разъяснилось. Руки за спиной были связаны.

— Как вам это понравится, Ахматов? — говорил Тракар. — Когда этот прохвост-рабочий назвал его товарищем, меня словно кипятком ошпарило, и всю их махинацию я понял сразу. Ну, того-то я хорошо угостил пулей, да и этот получил свою порцию. Пусть меня посадят переписывать в

канцелярии бумаги, если весь этот дикий бунт не является делом рук их шайки.

Голос Ахматова донесся откуда-то слева:

— Скоро ли у вас будет готово?

— Не торопитесь. Нельзя поспеть скорей скорого. Вы думаете, очень легко сменить в одну минуту пропеллер, особенно если смята резьба у гайки? Если бы не этот проклятый осколок, мы бы уже летели. Впрочем, ничего. Смотрите хорошенько за своей дырой еще десять минут, и мы будем в воздухе.

— А что мы будем делать с мадам Ленуар? — спросил Ахматов.

— С мадам Ленуар?.. — Летчик на мгновение перестал работать, и голос его зазвучал серьезно и глухо.

— Ведь я вас любил, мадам. Вы это знаете. И мне не было обидно, когда вы не ответили на мое чувство. Ведь вы были женой фашиста, вождя и героя. Но как же так вышло, что вы связались с этой дрянью? Вот чего я совсем не могу понять! — Летчик мотнул, как от боли, головой и снова взялся прилаживать пропеллер.

Голос Мадлен дрожал, но слез в нем не было:

— Я его люблю. Поняли? Я его люблю. Вашей я не буду. Вы думаете, что я слабенькая девочка?..

Нет, умереть и я сумею.

Мадлен замолчала, потом сказала тихо и с мольбой:

— Тракар, будьте человеком. Сделайте для меня одно, бросьте здесь. Андрей убит… — Рыдания прервали слова молодой женщины.

Летчик расхохотался:

— Бросить здесь? Ну нет, милочка! Вчера бы я полез к черту на рога, если бы вы того пожелали, а сегодня… Сегодня другое дело. Что касается смерти, то это от вас никогда не уйдет, но раньше вы еще пригодитесь на что-нибудь путное… Готово. Ну, Ахматов, что там делают эти обезьяны?.. Ничего поблизости не видно? Идите сюда, и подкатим машину к воротам.

Ильин, лежавший до сих пор без движения и тщетно пытавшийся выдавить из головы хоть какую-нибудь дельную мысль, бешено рванул веревки и завозился на земле. Мадлен с криком бросилась к нему, но в следующий момент она уже билась в руках Тракара.

— А ну-ка, Ахматов, дайте мне веревочку. Ничего не поделаешь, придется связать ей лапки… Осторожнее! Я не имею никакого желания повредить вам кожу. Ну, так хорошо. Теперь лезьте, Ахматов, в машину, а я ее вам подам… Ремнями

к сиденью, да покрепче. Постойте, я сам… Готово. Слезайте, заворачивайте хвост машины.

Машина медленно покатилась к воротам. Пару мгновений Ильин с холодным гневом провожал взглядом бледное лицо, склоненное над бортом аэроплана, затем сломилась воля, и не стало силы смотреть. Бессильным движением он опустил голову… и вдруг невольно вздрогнул всем телом.

Без перерыва загремели выстрелы…

Темная, залитая кровью фигура выползла из-под крышки полуразбитого ящика и, тяжело припадая на ногу и придерживаясь за стену, наклонилась к лежавшему у пролома оружию. Оба фашиста стремительно обернулись, и рука летчика уже опустилась к кобуре у пояса, когда почти без перерыва загремели выстрелы… Продолжением чудовищного сна показался Ильину Дюпон, весь измазанный кровью и поспешно развязывающий у него на руках узлы веревок.

Тракар лежал на спине близ левого крыла. Его лицо, белое от сильного внутреннего кровоизлияния, сохраняло выражение изумления. В двух шагах от него хрипел и дергался Ахматов.

Когда распахнулись массивные железные ворота и яркий свет залил внутренность ангара, странно было, что солнце еще едва перевали-

ло за полдень. Рокочущий гул мотора покрыл отдельные беспорядочные выстрелы, и, когда мангровые деревья болота темными точками упали в пропасть, Ильин с бесконечной нежностью обнял склонившуюся рядом с ним в глубоком обмороке молодую женщину и принялся развязывать узлы веревок.

Глава 28. Рассказ Дюпона

Выключив мотор, Дюпон широкими кругами спускался вниз. Чаша горизонта резко сплюснулась и сжалась, узенькая ниточка реки стала широкой лентой, затем далеко убежали края поляны, минуту назад казавшейся лоскутком среди бескрайней пелены леса, и аэроплан мягко запрыгал по высокой траве.

Дюпон перегнулся назад. Его лицо было белым.

— Андрей, я уже не думал, что дотяну до земли. Ты тоже ранен. Если у тебя хватит сил, посмотри… — голос Дюпона прервался, — посмотри, у меня, кажется, два ранения. Если бы их перевязать… я бы немножко отдохнул и потом опять…

Ильин с глубокой нежностью прервал его.

— Постой, я помогу тебе слезть на землю. Я тоже получил чем-то по голове. Еще не могу сообразить чем.

Собрав силы, он попытался поднять ослабевшее тело механика и беспомощно опустил руки:

— Ну, кажется и я… не могу… похвастать крепостью…

Дюпон с напряжением приподнялся, перешагнул на крыло и, увлекая пытавшегося его

поддержать товарища, мешком упал на землю. Тяжелый толчок словно расколол голову, радужные круги метнулись перед глазами, и Ильин, теряя сознание, свалился у аппарата…

* * *

Как тогда в ангаре, его пробудил голос Мадлен. Он оживил смутные, явленные будто сквозь туманную завесу, образы кошмарного дня, бледное истомленное лицо, склонившееся над ним, тревожное и вдруг озаренное радостью… Пару глотков обжигающей жидкости сразу смыли остатки тумана, и Ильин без усилия поднялся на ноги.

Мадлен смотрела на него сияющими глазами.

— Я уже перевязала тебе голову, Андрей. Это было очень удобно сделать, потому что она у тебя обрита. Пуля только порвала кожу. Я вымыла рану коньяком, потому что нет воды, тебе, конечно, стало больно, и ты зашевелился. И начал, должно быть, ругаться, только я не поняла, потому что ты ругался по-русски.

И молодая женщина залилась счастливым смехом.

Ильин, улыбаясь, смотрел на ее горящее радостью лицо, затем решительно повернулся к

лежавшему на земле Дюпону.

— Я его тоже осмотрела, — сказала Мадлен, — у него на левой руке, видимо, оторван палец. Уже перевязан, кровь не идет. Я побоялась трогать. Может, опять пойдет кровь, а я не сумею ее остановить…

Ильин осмотрел руку лежавшего неподвижно товарища.

— Да, кровь не идет. Значит, с этим можно пока не торопиться. Надо его раздеть, ведь не от одного же пальца он потерял сознание.

— Я думаю, что сначала лучше попытаться привести его в чувство, — сказала молодая женщина.

— Правильно. Подай, пожалуйста, сюда коньяк…

Однако обморок Дюпона был довольно глубоким. Только минут через десять глаза его открылись. Какое-то время механик мутным взором, будто ничего не видя, смотрел вперед, затем начал медленно говорить:

— Значит, из ямы мы все-таки вылезли, только с дырявой кожей. Нога болит не очень, но отчаянно горит палец.

— Нога? Куда же ты ранен? — спросил Ильин.

— В бедро. Я держал винтовку в левой руке, а

правой отворял дверь, когда в дыму взрыва этот дьявол выстрелил в меня сзади. Винтовка выпала, и, зацепившись на бегу за порог, я грохнулся на землю, а он выстрелил еще раза два, но из-за дыма попал не туда, куда хотел.

Мадлен прервала:

— Об этом вы после расскажете, Дюпон, а сначала надо перевязать ваши ранения!

Рана на бедре оказалась сквозной, но кость не была задета. С одной стороны отверстие было закрыто сухим сгустком крови, с другой кровотечение снова началось, когда сняли прилипшую к ноге ткань. Края раны омыли коньяком. На перевязку пошла рубашка Дюпона, и, с удовлетворением рассматривая аккуратно завязанную ногу, он глубокомысленно заявил:

— Черт возьми! На войне такая дырка была бы счастливым лотерейным номером. Нога будет цела, несколько месяцев в госпитале, и вместо тебя за это время кого-нибудь другого стукнут на фронте.

Палец по совету Ильина не стали трогать, поскольку кровотечения не было, и все трое разлеглись в тени крыла аэроплана.

— У нас есть пословица, — начал Ильин, — «дуракам — счастье». Это специально про нас с

тобой. Не знаю, что и как вышло у тебя, но я-то действовал наобум. Да, впрочем, ничего другого в моем положении и не оставалось. Бежать надо было во всяком случае этой же ночью, хотя не было никаких шансов на успех. Ты знаешь, это было как выигрыш в сто тысяч, когда часовой у ворот оказался мертвецки пьяным. И уже вовсе не поверил я глазам, увидя тебя вылезающим из-под ящика в ангаре. Слушай, как это тебя занесло именно в квартиру летчика?

Механик засмеялся:

— Могу тебя уверить, что это вышло без всякого заранее обдуманного плана. Я встал перед рассветом от страшного гвалта и суматохи возле барака — я ведь ночевал в лагере, на постройке. Луи найти сразу не удалось. Думаю, что он проявил свою инициативу, так как я увидел его только в толпе пьяных зверей возле разбитого склада спирта. Что тут было!..

Дюпон покосился на Мадлен и продолжал:

— Я видел раз еще на фронте погром винного склада. Но ведь там были люди, а здесь ошалелые чудовища, да еще с заряженными винтовками в лапах. Должно быть, перед моим приходом вышла какая-то драка, потому что на земле лежало несколько трупов, а Луи сыпал направо и налево

удары, валившие этих двухметровых тварей на землю, точно соломинки. В общем, это была такая сумасшедшая заварушка, что я еле унес ноги. Кинулся, конечно, к домику, где ты сидел. Часовых не оказалось, а старик Идаев лежал с простреленной головой. Мне это не понравилось. Когда все двери оказались запертыми, а твоя камера — пустой, я сначала стал в тупик. Потом в голову пришла дельная мысль, и я начал осматривать землю от трупа Идаева к дому, — ведь не ангелы на крыльях перенесли его за сто шагов от клетки, — да вдобавок я знал, что у тебя подготовлен подкоп. Естественно, я наткнулся на дыру в земле и здорово, знаешь, тебя похвалил. Прежде всего надо было тебя отыскать и, само собой, не на обезьяньей территории. Я подался к воротам, выбрался наружу… И вот тут-то мне никак и не пришло в голову, что ты первым делом займешься…

Дюпон взглянул на Мадлен и вовремя поперхнулся.

— …А то бы я, конечно, отыскал тебя сразу. Почти вслед за мной стали один за другим выходить из ворот гориллоиды, и я решил держаться поближе к ним, чтобы при случае через Луи попытаться направлять события. В этот момент

капрал с несколькими солдатами выскочил из караульного здания, бросился к воротам и сразу же за стеной наткнулся на целую толпу. Все-таки молодец был покойник: ничуть не оробел, первую же попавшуюся обезьяну ударил в грудь прикладом. Но только результат-то вышел совсем непредвиденный. Винтовка тут же вылетела из его рук и, прежде чем капрал смог что-нибудь понять, обрушилась на его лысину. В общем, головы он не снес. Остальные солдаты, отстреливаясь, бросились бежать, несколько этих чудовищ за ними, а одно почему-то кинулось за мной. Зря я задержался там дольше времени. К двери ангара мне бежать было уже нельзя, потому что дорогу загораживали другие черти, и я подался полным ходом в ближайший домик — к летчику.

— А он уже знал о бунте?

— Преспокойно выпивал с этим пучеглазым лаборантом и выругал меня, когда я влетел к нему в комнату. Потом, надо отдать ему справедливость, он весьма отчетливо и первой же пулей прямо в голову положил ворвавшуюся за мной образину. В доме было несколько винтовок, и мы выскочили уже вооруженные. В это время поднялся невероятный рев, и вся масса ошалелых демонов с ружьями в руках бросилась в нашу сторону.

Мы заперлись в доме и открыли огонь. Помню еще, что профессор Кроз бежал навстречу своим питомцам и размахивал руками. Должно быть, пуля угодила ему в хорошее место, потому что он как упал, так и не пошевельнулся. Нас, конечно, спасло только то, что вся толпа пробежала мимо и занялась продуктовым складом… Но это было с моей стороны, а что было с вашей? И почему все эти дьяволы сразу вдруг словно сорвались с цепи?

Ильин опасливо посмотрел в сторону Мадлен и сделал предостерегающий знак.

— Погоди. Об этом успеем потом. А как вышло, что ты уже раненый оказался все-таки в ангаре?

Дюпон поднял брови и пожал плечами:

— Не дожидаться же мне, пока обезьяны сделают из моей головы яичницу! Рана мне не мешала, и нога затекла уже потом, так что я просто вошел в дыму взрыва в ангар и залез под первый попавшийся ящик. Рассуждать долго не приходилось, потому что ты ведь был в ангаре, и если у нас и был какой-нибудь шанс, то, конечно, только вдвоем, а не поодиночке…

— Ну, а потом?

— Потом? Ты не издавал ни звука. Думал, они с тобой покончили — значит, расчет совсем

простой: во-первых, надо дать Тракару сменить пропеллер, потому что сам я с дырявой ногой и без пальца с ним не справился бы, во-вторых, я один и без оружия, а их двое, поэтому надо подождать, пока они кончат и подкатят машину, чего я сам также не сделал бы. Мне оставалась одна задача — за их спиной подойти к пролому и взять револьвер. И видишь, все так и вышло. Ну, теперь выкладывай твою историю.

Ильин рассказал про ночные и утренние события, вплоть до момента взрыва, умолчав об участи капитана Ленуара.

Глава 29. Бивак на поляне

Дюпон слушал с напряженным вниманием, затем с усилием повернулся на бок и взглянул на опускающееся к горизонту солнце.

— Во всем этом деле, — сказал он, — есть только одна слабая сторона — мы не захватили с собой еды. После всей этой передряги я до того хочу есть, что съел бы ломовую лошадь. И главное — неизвестно, когда в следующий раз нам удастся пообедать.

— У нас есть кое-что, — сказала Мадлен.

Дюпон даже привстал:

— Так за чем дело стало!.. Где вы нашли?

— В сумке сбоку сиденья. Там несколько коробок консервов и четыре бутылки вина. Хлеба нет, воды тоже нет. Тракар говорил, что воду могут пить только утки.

Молодая женщина быстро достала консервы и бутылки. Ильин открыл ножом коробки, и, когда голод был утолен, Дюпон начал обсуждать план дальнейших действий.

— Большая половина дела сделана, но и над остальной частью надо еще хорошенько поломать мозги. Главный вопрос, конечно, не в том,

чтобы улететь. Это-то сделать мы всегда сумеем, а в том, чтобы начатое дело довести до конца.

Ильин обернулся к молодой женщине:

— Я думаю, что прежде всего надо, пока светло, подумать о ночлеге. Дюпон полежит пока здесь, а мы вдвоем сходим за ветвями вон к той группе деревьев. Правда, у меня голова сильно болит и кружится, но как-нибудь я все-таки дотащусь.

Мадлен с возмущением прервала его:

— Как тебе не стыдно говорить такие глупости! Как будто я сама не могу сходить и нарезать веток! И лежи, пожалуйста, смирно, слышишь!

Когда она отошла на несколько шагов, Ильин быстро заговорил:

— Я нарочно так повернул, чтобы Мадлен ушла. Я не хочу, чтобы она возненавидела и нас. Все-таки ведь это мы были причиной смерти ее мужа. Правда, она чувствовала к нему только ужас, но все-таки…

— Так значит, Ленуар убит?

— Ну конечно. Ты же видел, как я сворачивал в сторону, как только разговор подходил к этому пункту. Раненая обезьяна загрызла его.

— Здорово!

— Так видишь, — продолжал Ильин, — дело нужно доводить до конца, но надо, чтобы она

этого не знала. Перед насилием и кровью у нее болезненный ужас, и, если она узнает, что разгром и резня в Ниамбе — дело наших рук, она отвернется от меня.

Дюпон засмеялся:

— Любовь, следовательно! Ну ладно, пусть так. Теперь о деле. Когда мы спускались, я, уже теряя сознание, все же запомнил громадный столб дыма над Ниамбой. Доблестные воины покойного капитана, да, кстати, и их долготерпеливые черные мамаши теперь уже, вероятно, начисто разнесли и спалили все заведение. Луи был в толпе и направлял ее к складу. Но, конечно, руководить пьяными чертями во всем он не мог. Все-таки мне кажется, что это он нарочно отвлек толпу к продуктовому складу, иначе они мигом сломили бы наше сопротивление. Конечно, у него свои соображения, и я никогда не мог влезть в его дикую сумасшедшую башку. Я уверен в его успехе, поскольку его ужасающие амбиции о кровопролитии и господстве как раз и требуют выполнения так необходимых нам сейчас шагов. Изначально условие было следующим: уничтожить Ниамбу, завладеть крупным судном у причала, перевезти животных на противоположный берег реки, чтобы начать наступление на

институт. Один молодой африканец, работавший на этом судне, мое доверенное лицо, должен был на время извлечь какую-нибудь важную деталь из двигателя, чтобы предотвратить отплытие судна в момент начала хаоса. Радио я испортил сам сегодня ночью и испортил на совесть. По этой стороне реки пути нет ни направо, ни налево из-за болота, да и кроме того, институт на *той* стороне. Значит, там еще ничего не могут знать. Впрочем, я не думаю, чтобы птенчики сегодня переправились через реку. Несомненно, все обезьяны пьяны в доску, а с ними, конечно, и негры, кроме разве двоих наших.

— Так ты убежден, что они не тронули негров? — спросил Ильин.

— Ну конечно. Все-таки ведь «родственники».

— Но в таком случае нам тут нечего делать. Надо скорей лететь в институт, оповестить своих…

Дюпон отрицательно покачал головой:

— Сегодня я еще очень слаб, и скоро вечер — это во-первых и во-вторых, а в-третьих, армия генерала Луи прибудет туда берегом только завтра во второй половине дня. Значит, самое правильное — сегодня отдохнуть и выспаться, а завтра утром двинуться в путь.

Когда Мадлен притащила охапку ветвей,

Ильин, несмотря на все протесты молодой женщины, сходил за остальными нарезанными ею ветками и устроил довольно приличную постель.

Ночь пришла сразу, как это бывает под тропиками, и когда звездами загорелось черное небо, все трое, накрывшись брезентом, улеглись рядом под крылом аэроплана.

Мадлен скоро задремала, положив голову на руку Ильина. Несколько раз она быстро-быстро начинала говорить жалобные и бессвязные слова, два раза во сне всхлипнула по-детски, затем постепенно успокоилась и крепко заснула.

Дюпон давно уже тихонько насвистывал носом. А вот Ильину не спалось.

Ночь была тихая и теплая. Яркие звезды глядели с бездонного неба. Со всех сторон несся переливающийся неумолчный звон цикад. Жутко кричала вдали на опушке леса какая-то ночная птица. Черные тени огромных нетопырей ныряли откуда-то сверху к белевшему на поляне силуэту аэроплана и снова исчезали во мраке.

Прислушиваясь к звукам ночной жизни тропического леса, Ильин перебирал в памяти сумбурные воспоминания сегодняшнего дня. Дикий рев толпы гориллоидов, окровавленная,

бессильно обвисшая фигура Ленуара, злорадные нотки в голосе Тракара и радость победы, когда глубоко внизу остались выстрелы и пылающие развалины Ниамбы и когда, обнимая одной рукой хрупкое безжизненное тело Мадлен, он развязывал узлы веревок.

Потом, как на экране кинематографа, на мгновение почему-то вырисовались залитые весенним солнцем колонны Большого театра в Москве, красивые розовощекие девушки в легких ярких платьях и сказочно-прекрасный Кремль, нависший высоко над рекой, — и в звенящей радости жизни постепенно растворились остатки засыпающего здоровым сном сознания…

Глава 30. Снова в воздухе

Утром Дюпон, кряхтя и ругаясь, попробовал пройти несколько шагов и, убедившись в безнадежности этой попытки, определил положение следующим образом:

— Ногу хоть выброс. Сейчас в ней меньше толку, чем если бы ее вовсе не было. Голова в порядке. Следовательно, беру ответственность в воздухе не только за себя, но и за вас обоих, дорогие товарищи.

У Ильина только слегка болела голова. Повязок трогать не стали и, опорожнив на троих две жестянки консервов, принялись общими силами водружать механика на аппарат. Задача оказалась довольно трудной, потому что простреленная нога затекла и потеряла способность двигаться. Зато железные плечи механика приняли деятельное участие в «погрузке», и в конце концов он был помещен в сиденье пилота. Через несколько минут, оправившись от перенесенной встряски, Дюпон оглянулся на уже сидевших позади спутников, включил самопуск, и аппарат после короткого разбега стремительно рванул вверх.

Несколькими громадными кругами Дюпон набрал высоту, затем направился в сторону Ниамбы.

Прозрачная завеса светло-серого дыма еще покрывала остров. Черная точка медленно переплывала реку. Аэроплан круто скользнул вниз, и шевелящееся пятно ясно вырисовалось на том берегу реки.

Ильин наклонился к летчику и, стараясь покрыть рев мотора, крикнул ему в ухо:

— Есть! Уже переплыли!

Дюпон утвердительно кивнул и снова направил аппарат круто вверх.

Широко развернулась чаша горизонта, и тоненькой блестящей ниточкой казалась потонувшая в лесной чаще река. Не доходя до резко выделяющихся угловатых пятен зданий института, аэроплан повернул вправо и на далеком расстоянии обошел их громадной дугой. Затем мотор был выключен, и аппарат красиво спланировал на большую поляну у берега реки.

Когда аппарат остановился, Дюпон обернулся к Ильину.

— Вот что, дружище. Идти, конечно, придется тебе, и это очень скверно, потому что я бы легко обладил там наше дело, а тебе устроить все как

следует будет трудно.

— Ну, я хорошо знаю все здания и окрестности института.

— Да. Но ты не знаком с рабочими. Это во-первых, — Дюпон критически осмотрел измазанную кровью физиономию и одежду товарища. — А во-вторых, если бы только ты мог сейчас посмотреть на себя в зеркало! Сомневаюсь, чтобы твой вид мог внушить доверие честному человеку. — Он рассмеялся. — В таком виде, конечно, нечего и думать идти. Прежде всего, спустись к реке, вымой физиономию и выполощи, насколько удастся, рубашку.

— Я это ему сделаю, — вмешалась Мадлен.

— Отлично! Значит, умойся и возвращайся скорей, нужно еще обдумать как следует план дальнейших действий.

Когда через несколько минут Ильин с мокрым, но уже чистым лицом подошел к аппарату, Дюпон сидел, глубоко задумавшись.

— Чем больше я думаю, — сказал он, — тем труднее кажется задача. Во-первых, надо предупредить и снять всех рабочих, а это мудреное дело. Во-вторых, как думаешь, погладят ли их — да и нас также — по головке, если рабочие придут в порт, бросив в беде начальство?..

— А если, — сказал Ильин, — без всяких хитростей: просто предупредить всех в институте, а самим махнуть по воздуху в порт? Там ведь нас, как спасшихся от катастрофы, несомненно встретят с распростертыми объятиями.

Лицо механика загорелось непримиримой ненавистью.

— Ну нет! Все что угодно, только не это! Значит, спасти своими руками гнездо гадов, готовивших здесь это чудовищное дело? Свести все только к бою, где через несколько дней мобилизованные негры и гориллоиды будут избивать друг друга? Нет, этого мало, Андрей! Расправа должна быть такой, чтобы там, в Европе, вздрогнули от ужаса, чтобы раз и навсегда отбить охоту заниматься таким делом. Всю чашу бедствий, уготованных ими для рабочих кварталов, пусть они сами выпьют до дна! Они сотворили дьявола, так пусть дьявол сделает их жизнь адом! Пойми, что это нужно не из мести — хотя и она была бы естественна, — а для надежности действия лекарства!

Несколько секунд Ильин стоял молча, опираясь локтем на крыло аппарата, потом поднял голову:

— Ты прав. Пусть будет так.

— И если даже мы погибнем, — добавил Дюпон, — и если подвергнутся преследованиям

наши здешние товарищи, это не будет дорогой ценой за полную ликвидацию дьявольского плана. Теперь вот что. Идти советую берегом, чтоб не заплутать в лесу. К счастью, рабочий поселок построен отдельно и далеко от ограды парка, притом как раз с этой стороны. Я для того сюда и опустился. Зайди к шоферу. Его домик — крайний слева. Передай его жене эту записку. Она ничего женщина, но все-таки лучше много ей не говори. Я пишу, чтобы он и еще один товарищ сговорились с тобой, как провести это дело. Путь туда займет не больше часа, и времени до прихода отряда Луи хватит за глаза, тем более что ребят во избежание подозрений на них надо будет снять, если можно, в самый последний момент.

Когда через минуту Ильин надел принесенную Мадлен мокрую, но уже более или менее чистую рубашку, Дюпон снял с головы фуражку.

— Повязку на голове, — сказал он, — надо закрыть. Теперь ты будешь иметь менее сенсационный вид. И возьми револьвер: кто знает, может быть, он тебе пригодится.

Глава 31. Не все идет по плану

На опушке леса Ильин обнял молодую женщину.

— Дальше, дорогая, идти нельзя. Ты будешь мне мешать и поставишь меня в опасное положение. Возвращайся к аппарату, жди меня и будь умной. Не беспокойся, я вернусь, и завтра мы, вероятно, будем уже вне всякой опасности.

Какое-то время она провожала его глазами, затем зеленая завеса скрыла мелькающую между деревьями фигуру…

* * *

Вдоль берега шла тропинка, местами углублявшаяся в чащу, но снова сворачивающая к реке. Кругом было тихо, встречных не было, и, напряженно прислушиваясь к каждому звуку, Ильин быстро шел к поселку. Через час впереди, сразу в нескольких местах, явились просветы, и, еще увеличив осторожность, Ильин выбрался на опушку.

Домики для квалифицированных рабочих были расположены группой на холме близ края

поляны. Ниже и ближе к реке виднелись многочисленные хижины негров. Осторожно обогнув по опушке край поляны и скрываясь за густым кустарником, Ильин оказался против крайнего домика. Кругом было пусто, и, быстро пройдя по открытому месту, он постучался в дверь.

Открыла молодая, но болезненная на вид женщина. При виде незнакомого бледного лица и повязки, предательски выглянувшей из-под фуражки, она испуганно отшатнулась.

Ильин протянул ей записку.

— Эту бумажку Дюпон просил передать вашему мужу.

— Дюпон!.. — молодая женщина еще откровеннее попятилась. — Кто вы такой? Дюпона давно отправили в Европу.

Ильин улыбнулся.

— Дорогая хозяйка, Дюпон не в Европе, а здесь, недалеко отсюда. И не пугайтесь моего немного странного вида. Произошли события, ставящие в опасное положение вашего мужа и вас, и я пришел для того, чтобы сообщить ему крайне важные для него вещи.

Молодая женщина растерянно засуетилась.

— Ну, конечно, я так и знала. Я всегда этого боялась. Я всегда ему говорила, чтобы он не путался

с этим Дюпоном и не ввязывался в политику. Вот теперь и вышло. Его, значит, хотят арестовать?

Ильин снова улыбнулся.

— Вовсе нет. Дело не в том. И мой вам совет: если вы хотите избежать очень большой опасности для него и себя, как можно скорее передайте ему эту записку. Постарайтесь не иметь при этом взволнованного вида и никому, понимаете, *никому* ни слова об этой записке и моем приходе не говорите.

Молодая женщина несколько секунд испуганно на него смотрела, затем бесцельно засуетилась, схватила записку, выскочила за дверь, снова вернулась и уставилась на гостя. Как ни серьезно было положение, Ильин от души расхохотался.

— Я вижу, вы боитесь оставлять меня одного в квартире. Заприте ее, а я посижу в саду. И поверьте, я пришел вовсе не затем, чтобы забрать ваши горшки.

Смех Ильина почему-то успокаивающе подействовал на молодую женщину, и голос ее сразу стал приветливым:

— Посидите здесь, — сказала она. — Я вовсе этого не думала, только я так боюсь за мужа и так измучилась последнее время, особенно когда исчез Дюпон… — И, притворив дверь, она быстры-

ми шагами пошла к видневшейся за деревьями высокой крыше лаборатории.

* * *

Высокий чернобородый хозяин квартиры был поражен встречей и не сразу обрел дар речи.

— Я ничего не понимаю, мсье, — пробормотал он в конце концов. — Вы ведь находились в Ниамбе?

Ильин улыбнулся.

— Да, я был в Ниамбе, и я только что прибыл оттуда на аэроплане после разразившейся там страшной катастрофы. Вы слышали, что в Ниамбе скрещивали людей с обезьянами?

Шофер заволновался.

— Какая чушь! До нас доходили слухи, но этой сказке, конечно, никто не верил.

— Это было, — возразил Ильин, — и в больших размерах. Десять тысяч женщин должны были в ближайшее время прибыть для этого в Ниамбу. Затем то же самое было решено широко развернуть по материку. Пользуясь тем, что эти монстры к восьми годам взрослеют, военное министерство намеревалось создать из них свирепейшую армию для подавления революционных выступлений рабочих.

Шофер медленно попятился назад и, делая жене знаки глазами, встал у двери. Легкая усмешка, мелькнувшая на его губах, объяснила молодому ученому, какой эффект произвели его слова, и он сделал усилие, чтобы остаться спокойным.

— Я вижу, вы считаете меня душевнобольным. Не торопитесь, товарищ, с заключением и выслушайте меня внимательно. Вчера среди этих чудовищ разразился пьяный бунт после того, как они овладели складом спирта. В результате Ниамба разрушена до основания, почти все жители перебиты. Я один из троих, уцелевших от погрома.

Шофер еще раз провел глазами по бледному лицу и истрепанному костюму молодого ученого, затем, составив себе уже окончательное заключение, внезапно захлопнул дверь и щелкнул засовом. Ильин потерял у двери несколько драгоценных мгновений и, когда бросился наконец к окну, сквозь стекло мелькнуло как тень лицо хозяина и раздался стук запираемой ставни. Несколько секунд он беспомощно метался во мраке, затем зацепился, очевидно, за столик, с грохотом опрокинул его и растянулся на полу. Поднявшись, он сел на подвернувшийся диван, чтобы возможно спокойнее обдумать положение.

Глава 32. «В тюрьму или в сумасшедший дом?»

История была настолько дурацкой, что ничего хуже при всем желании нельзя было бы придумать! Ясно, что за ним вскоре явятся. Совершенно ясно также и то, что администрация института уж никак не признает его сумасшедшим. Значит, через час он будет сидеть за решеткой, а затем придут гориллоиды…

Свежие воспоминания вчерашнего дня вспыхнули с такой остротой, что Ильин даже вздрогнул. Слепая, безрассудная ярость ударила в голову, и, схватив подвернувшийся под руки табурет, он изо всех сил принялся бить по оконной раме. Дождем посыпались стекла, рама затрещала, но ставня упорно не поддавалась. Потом с треском разлетелся на куски табурет, и он сразу опомнился. «Теперь кончено! Теперь ни у кого не останется ни малейших сомнений в моем безумии!»

Через минуту за стеной раздались шаги и истерический озлобленный крик хозяйки:

— Это ты, несчастный идиот, сошел с ума. А?! Запер сумасшедшего у себя в комнате! Да ты мог

же, дурак, сообразить, что он там все переломает. Что здесь без тебя было! Ведь там во всей комнате не осталось ни одной целой вещи.

Несмотря на трагизм положения, Ильин не мог удержаться от смеха.

— Черт бы его взял. Он вовсе не произвел на меня впечатление буйнопомешанного, — ответил голос хозяина.

Второй, низкий, медью отливающийся голос вмешался в разговор:

— Я одного не понимаю, Жан: ведь у него была записка Дюпона.

— А почему ты думаешь, что это записка Дюпона?

— Но ведь ты смотрел на его почерк? — продолжал тот же голос.

— Почерк как почерк. У всех людей почерк более или менее одинаковый. Нужно быть экспертом в суде, чтобы отличить их друг от друга.

— Но разве у тебя не было какого-нибудь письма Дюпона для сравнения? — вклинилась с весьма резонным вопросом хозяйка.

— Если бы оно и было, я давно бы его уничтожил, и ты сама понимаешь почему. Но ты напрасно сомневаешься. Как только ты показала мне бумажку, я уже заподозрил, в чем дело. Ведь

все мы отлично знаем, что Дюпон отправлен в Европу. Когда я взглянул на его лицо и блуждающие глаза и выслушал этот дикий бред, так всякие сомнения исчезли. Как-то я в Льеже долго болтался без работы и дошел до такой крайности, что поступил сторожем в сумасшедший дом и проработал там месяца два. Так что отличить такого больного я всегда сумею. Могу тебя уверить, львиная доля тамошних квартирантов казалась вполне здоровой по сравнению с этим несчастным… Но ты права. Я поступил как круглый идиот, заперев его в комнате. Он там, должно быть, переломал всю мебель.

Ильин, до этого момента тихо слушая, чтобы уяснить окончательно положение, теперь постучал в стену.

— Товарищи, послушайте минутку толком, что я вам говорю. Я вовсе не сумасшедший, и письмо действительно от Дюпона, и я могу сейчас проводить вас к нему. Наш аэроплан стоит километрах в шести или семи отсюда, за лесом. Дюпон находится там, но он ранен и не мог сам прийти. Не будьте идиотами. Пойдем туда вместе, и вы убедитесь в правильности моих слов. Но прежде этого оповестите всех рабочих собраться сюда и готовиться к бегству. Большой отряд помесей че-

ловека с гориллой идет из Ниамбы, разрушенной до основания! Это громадные, ростом в два метра, волосатые и свирепые животные, и горе тому, кто в их лапы угодит. Они вооружены винтовками, метко стреляют, великолепно обучены воинскому строю самим Ленуаром, и здешним солдатам не сдержать их и пяти минут.

— Слышишь, Менье, — голос хозяина звучал торжеством. — А ты еще сомневался. Беги предупредить администрацию, а я покараулю здесь снаружи, и черт бы их взял! Если они распустили здесь по лесу сумасшедших профессоров, я заставлю их заплатить мне за поломанную мебель!

Ильин в полном отчаянии схватился за голову и заметался по комнате, натыкаясь в темноте на разбросанные и поваленные вещи.

Со всех точек зрения положение было безнадежным. И самое скверное, что никак не придумать разумного выхода!.. Под ноги снова попался тот же диван. Охваченный внезапно наступившей апатией, Ильин вытянулся на нем, бездумно уставившись глазами в узкую, как ниточка, полоску света, проникающую между ставнями.

Время тянулось медленно, снаружи царила тишь, и утомленное сознание уже начало

мало-помалу заволакиваться мглой, когда послышались шаги идущих к дому людей. Дверь отворилась, поток яркого света залил комнату, и в тот момент, когда сначала ослепленные глаза Ильина вернули способность видеть, от двери раздался громкий и оскорбительно наглый смех.

Впереди вошедших стоял знакомый по давнишней встрече в столовой хлыщеватый лейтенант в белоснежном кителе и шлеме, с моноклем в глазу. Похлопывая хлыстиком по щегольским коричневым крагам, лейтенант внимательно осмотрел Ильина и только одной головой повернулся немного влево.

— Нельзя сказать, чтобы этот ученый… — он по-особенному протянул последнее слово, — имел слишком элегантный вид. Вы знаете, я не люблю русских главным образом за то, что с ними никогда не знаешь, надо их сажать в тюрьму или в сумасшедший дом. — И лейтенант снова рассмеялся.

Ильин никогда впоследствии не мог сообразить, как это случилось, что, взяв на прицел монокль, он нажал спуск парабеллума. Стоявшие в дверях с ужасом шарахнулись в стороны и, перешагнув через упавшее поперек коридора тело лейтенанта, Ильин с размаху ударил дулом

револьвера в рыжий затылок оказавшегося перед ним начальника местной полиции и одним прыжком выскочил наружу.

Перед домом толпой стояли, с любопытством вытягивая шеи, рабочие. С этой стороны забор палисадника загораживал путь, и Ильин метнулся между кустами влево.

Сзади раздался выстрел, потом другой, у самого уха свистнула пуля… какая-то фигура бросилась навстречу с распростертыми, как для объятий, руками и сразу замерла, увидев револьвер в руках беглеца. Ильин нырнул в калитку, выскочил на улицу и кинулся бежать, сам не зная куда.

Глава 33. Гибель тропического института

Ослабленное потерей крови сердце колотилось, разрывая грудную клетку, и дыхания уже не хватало, когда, спотыкаясь от усталости, он подбежал к крайнему домику поселка. Впереди был кусок открытого поля. За ним ограда института. Бежать туда было незачем, да он бы и не смог бежать дальше.

Шум толпы раздался совсем рядом, какая-то женщина с визгом выскочила из дверей дома и метнулась в сторону. Почти машинально, уже не зная, зачем он это делает, Ильин из последних сил вбежал во двор, вскарабкался по приставленной к стене лестнице на крышу и спрятался за трубой, под густо сплетавшимися ветвями стоявшего рядом с домом дерева.

Через несколько секунд двор наполнился шумящей и кричащей толпой.

— Ты, я вижу, очень умный! Лезь, коли хочешь, сам на крышу. Видел, как он угодил прямо в глаз лейтенанту?

— Приставляй лестницу правей, ребята!

— Какую там лестницу! Здесь надо с чердака проломать дыру на крышу.

Потом, покрывая отдельные выкрики, раздался уже знакомый Ильину медный голос рабочего, давеча говорившего с шофером.

— Стой, ребята, не валяй дурака. Это вам не кролик. И вовсе незачем нам подставлять лоб под пули.

— А с чего это он взбесился, дядюшка Менье?

— Черт его знает с чего! Ну, расходись, пускай администрация достает его, как знает. Нам ведь не положат прибавки к жалованью за лишнюю дырку в шкуре.

Шум на дворе начал стихать, и толпа, прекратив наступательные действия, рассеялась по краям двора, не желая упускать зрелище.

Ильин, весь залитый потом, лежал под ветвями без мыслей в голове, наслаждаясь, как усталый зверь, покоем отдыхавших мускулов и прислушиваясь, как сердце все медленнее, тише и ровнее билось в груди.

Через несколько минут он поднял голову. Группа черных солдат с офицером во главе быстрым шагом направлялась сюда от ворот института. Рядом с офицером, твердо ступая негнущимися от подагры ногами, шагал высокий старик с длин-

ной бородой — в нем Ильин узнал директора института, молчаливого и сурового профессора Деляроша. Подойдя к дому, часть солдат развернулась со стороны улицы, часть вошла во двор и оцепила само здание.

Ильин быстро и жадно оглядел бездонное синее небо и темную полоску опушки леса, глубоко вздохнул и вложил в револьвер новую обойму. Страх и беспокойство исчезли. На сей раз через несколько минут все будет кончено. Он твердо знал, что живым его не возьмут.

Слабо гудевшая до сих пор толпа замолкла. Справа за углом слышался звук разговора: очевидно, там обсуждался план действий. Ильин еще раз глубоко вздохнул, медленно повел взором по четко вырисовывающимся на фоне неба вершинам пальм парка и расширившимися глазами вдруг впился в дальнюю опушку леса. На поляне, развернувшись фронтом к реке, молчаливо и быстро двигалась длинная черная цепь.

Несколько секунд Ильин смотрел, еще не веря своим глазам. Да, это были они, в этом не было ни малейшего сомнения. Громадные даже на таком расстоянии фигуры, волосатые, неуклюжие и стремительные. Сутулые плечи и длинные, ниже колен руки со взятыми наперевес винтовками…

И все же это было нечто совсем другое, чем вчера. Как тогда, на памятном ученье в Ниамбе, цепь шла неуловимо правильным шахматным порядком — каждое заднее звено в промежутке двух передних, — и гибельная мощь несокрушимого натиска чувствовалась в стройном и стремительном движении чудовищ.



В эту минуту справа, по ту сторону институтских зданий, грянул краткий отрывистый залп, затем другой, и разом закипела сильная ружейная перестрелка. На дворе сразу стало очень суматошно, но Ильин уже ни о чем более не думал, весь отдавшись наблюдению развертывающегося перед ним небывалого боя. Очевидно, часть гориллоидов повела вдоль реки, «в лоб», наступление и, судя по выстрелам, уже ворвалась в институтские здания. Другая часть шла в охват, в промежуток между институтом и рабочим поселком.

Во дворе паника усиливалась. Солдаты, не видя снизу происходящего, но слыша в стороне института разгорающийся ружейный огонь, выскакивали на улицу и строились по резкой отрывистой команде. Отряд бегом двинулся обратно к воротам института. Позади них, неторопливо шагая своими длинными негнущимися ногами, одиноко шел по полю старик-директор. Обходящая цепь гориллоидов, видная Ильину с крыши как на ладони, была для находящихся внизу еще скрыта складкой местности.

Когда солдаты подошли к ограде парка, ворота открылись, и оттуда вырвался поток людей, в дикой панике бежавших по направлению к ра-

бочему поселку. Затем выскочили десятка три солдат, кативших за собой два пулемета, но в тот же момент на гребне холма уже совсем близко показалась цепь гориллоидов.

Вопль ужаса огласил равнину, и толпа беглецов в полном беспорядке рассеялась — назад к институту, в сторону реки и вперед к поселку. Густо и дробно застучали выстрелы пулеметов, и струи пуль облили шеренги нападавших.

Ильин, забыв обо всем — о своей безопасности, о задании Дюпона и об оставшихся за лесом товарищах, — встав во весь рост на крыше, впился глазами в картину начинающегося перед ним на равнине необычайного боя.

Как только первый пулемет хлестнул по рядам гориллоидов, их шеренги, словно придавленные лопатой, пали на землю, но тут же краткими, но непрерывными перебежками снова рванулись вперед. Звенья, находящиеся под первейшим ударом потока пуль, лежали, словно вросшие в землю, или стреляли из положения лежа, другие звенья стремительными скачками бежали вперед.

Перебежки, как искры, непрерывно вспыхивали и гасли по фронту наступавших цепей, и, почти не веря глазам, Ильин видел, что, несмотря

на кажущуюся сумятицу падавших и вскакивавших фигур, обе шеренги хранят известное равнение, а каждое звено по-прежнему остается в промежутке сзади или впереди двух соседних. И несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, позади цепей почти не видно было павших.

Да, Ленуар знал, что делал!

Горе человечеству, если бы это оружие уцелело в его руках…

Сопротивление было коротким. Через две-три минуты солдаты, побросав пулеметы, кинулись туда, где, собственно, не могло быть спасения, то есть к реке. И гориллоиды с победным ревом рассыпались по всей равнине, настигая и осыпая пулями бегущих. Малая часть беглецов, сохранивших остатки хладнокровия и удержавшихся от панического бегства к реке, все же прорвалась к поселку. За ней гнались отдельные гориллоиды.

Оставаться на месте грозило гибелью. Спускаясь с крыши, Ильин увидел в хвосте бегущих задыхающегося и еле передвигающего ноги барона Деляроша, тащившего за руку свою молодую дочь. Последнее, что врезалось в память из картины, был штык в волосатой руке, поднятый над спиной барона, тонкая в голубом шелковом пла-

тье фигура, перекинутая через плечо чудовища и пронзительный, полный нечеловеческого ужаса вопль…

Лавируя меж деревьев и перескакивая через клумбы, Ильин уже мчал к дальнему концу поселка. Население там имело достаточно времени для бегства, и дома были уже пусты. Местами на земле валялся разный домашний хлам, наспех захваченный хозяевами и затем брошенный, когда пули гориллоидов засвистали вдоль улицы. За полем, где большая дорога в порт углублялась в лес, белели фигуры последних беглецов.

Так как дорога эта, срезая широкую извилину реки, далеко отходила от нее в сторону, Ильин направился полем к черневшей невдалеке лесной опушке. Преследования не было, и он не торопясь шел, изредка оглядываясь назад.

Глава 34. Тянуть на последних каплях

До леса оставалось не более тридцати-сорока шагов, когда у правого уха взвизгнула пуля и Ильин, сломя голову, бросился к спасительной опушке. Вторая пуля взбила пыль в двух шагах впереди, третья щелкнула в землю где-то у самых ног сзади. До ближайшего куста оставалось не больше двух метров. Еще секунда, и он выйдет из-под прицела.

Небольшой толчок в бок, как от удара веткой, но Ильин уже несся в лесном сумраке, виляя между деревьев. Там, где бок зацепило, немного саднило. Он машинально провел по этому месту рукой и, вытирая пот со лба, увидел, что ладонь в крови.

«Что за черт! Неужели это была пуля?» — подумал Ильин.

Выстрелов больше не было, он остановился и поднял рубашку. Весь правый бок был залит кровью, обильно вытекающей из дырочки в мышце под плечом. Короткий осмотр показал, что рана пустячная, но допускать еще потерю крови нельзя было никоим образом.

Вряд ли стоило опасаться преследования оди-

нокого беглеца. Поэтому, обернувшись на всякий случай лицом к опушке, он разорвал пополам рубаху, связал концы вместе и, как мог, туго стянул себе этим жгутом под мышками грудь. Кровотечение уменьшилось, но не прекратилось. Тем не менее больше ничего уже нельзя было сделать своими силами, и Ильин повернул влево, чтобы поскорее выйти на знакомую тропинку. Последняя оказалась в двух шагах, и он поспешно зашагал в направлении, обратном пройденному утром пути.

...Часто впоследствии, как заснятая на фотографии, вставала пред его глазами картина этой узенькой тропинки, извивавшейся в лесном сумраке между громадными деревьями. Стройные стволы гигантских пальм, высоко в небе сплетавших в густую крышу свои кроны, круглые блики света на зеленом мху, и светлая, какая-то детская радость. Такой легкой была голова, так легко переливались одна в другую мысли. Такими пустяковыми представлялись все опасности предшествовавшего дня, и легким, невесомым и порхающим казался он себе в сравнении с этими тяжелыми и беспомощно медлительными чудовищами. Временами, как от шампанского, светло кружило голову, и только геометрическими те-

лами представлялись деревья и даже товарищи там впереди, на поляне.

Ильин не знал, какое расстояние прошел, когда головокружение и слабость сделались тягостны и неприятны. Светлая радость потухла, и через внезапные прорывы в холодном сознании скользко пролез и расползся страх. Кровотечение, хотя и слабое, продолжалось. Сколько он потерял крови, и хватит ли остатка, чтобы дотащиться до поляны? А если вдруг он свалится на тропинке? Потом наступит ночь и придут обыскивать лес гориллоиды?.. Нет, он не сдастся! Воли у него хватит. Выжав последнее из слабеющего тела, до аэроплана он все-таки дойдет…

Когда между деревьями показались просветы, голова закружилась с такой силой, что удержаться на ногах Ильин не смог. Через минуту, сжав зубы, он усилием воли снова поднял свое тело и, хватаясь поминутно за деревья, пошел вперед. Когда он был уже в нескольких шагах от опушки, земля, как карусель, завертелась под ним, он упал и, вероятно, лежал долго, ибо, поднявшись с первым проблеском сознания на ноги, заметил и запомнил большущее пятно крови на смятом зеленом лопухе.

Затем — огненный блеск солнца на поляне и

донесшийся издали крик ужаса и радости.

На этот раз он не потерял сознания и довольно ясно увидел склонившееся над ним лицо Мадлен, потом ощутил острый и противный вкус коньяка, затем услышал рокот подведенной к нему по земле Дюпоном машины и, наконец, звучавший с несомненным уважением голос товарища:

— Однако дружище, ты, видно, был в новой переделке. Как они тебя!..

Каким образом он попал внутрь аэроплана, Ильин не помнил. Как рассказывала впоследствии Мадлен, он влез туда сам. Но совсем непонятным осталось то обстоятельство, что в правой руке у него оказался парабеллум, поставленный на предохранитель, с шестью пулями в обойме. Судя по тому, что ни кобуры, ни пояса, ни даже карманов в брюках не было, он после перевязки все время нес револьвер в руке. Ничего подобного он не помнил.

Новая перевязка остановила кровотечение, и через несколько минут, откинувшись с закрытыми глазами на спинку сиденья, Ильин уже вполне сознательно расслышал слова Дюпона:

— Он молодец, ваш Андрей. Что он там натворил, это мы узнаем после, сейчас не до того. Но во всяком случае, он до места дошел, сам стрелял,

что видно по закопченному стволу, в него стреляли, что видно по новой ране, и во всяком случае он сумел выбраться из заварившейся там каши. А вы знаете, когда там разгорелся бой и его долго не было, я вам ничего, конечно, не говорил, но думал, что вряд ли увижу нашего товарища… И потом, знаете, если бы вы… были летчиком, то знали бы, что не особенно легко на последних каплях бензина дотянуть аппарат до места. А он дотянул себя на последних каплях крови.

После паузы Дюпон опять заговорил:

— Теперь о деле. Наши задачи здесь кончены, и мы можем подумать о себе. Я рассчитал запас бензина, — хорошо, что мы залили баки тогда, в ангаре, — горючего вполне хватит до Капстада. Переночевать придется на второй трети пути, и завтра к вечеру у нас и постель будет, и доктора, и прочее… Я решил по прибытии направиться прямо к товарищам, и мне кажется, что наиболее умным будет отдохнуть там денек-другой. Идет?..

Очевидно, Мадлен жестом выразила согласие, потому что Дюпон включил самоспуск, и гулкое эхо ответило со стороны леса на рев мотора.

Глава 35. Отклики в прессе

Первая весть о катастрофе в Ниамбе была сообщена европейским читателям короткой телеграммой агентства «Гавас»:

> 10/XII 19… г. «В Тропическом исследовательском институте в Гвинее вырвалась из закрытых помещений группа диких животных. Несчастье сопровождалось человеческими жертвами».

Однако вслед за этим известия стали более тревожными. Вот что можно было прочесть в эти дни в телеграммах и газетных статьях:

> *Journal de Paris,* 12/XII 19… г. «В министерстве просвещения получено сообщение о несчастье в нашем Тропическом институте на реке Габун в Нижней Гвинее. Гориллы, над которыми велась в институте научная работа, вырвались по недосмотру из клеток и напали на обслуживающий персонал института. По-видимому, число человеческих жертв

довольно значительно».

Matin, 13/XII 19… г. «*Тайна Ниамбы!* Последние сведения о бедствии в Тропическом институте были настолько странны, что наш талантливый репортер Клод Борегар получил специальное задание собрать по этому поводу исчерпывающие данные, и мы надеемся быстро снять покров загадки с этого дела».

Дальнейшие строки принадлежат перу К. Борегара (в той же газете):

«Поскольку первые вести о катастрофе в Ниамбе шли из министерства просвещения, мы направились туда и были приняты заведующим отделом научных учреждений мсье Дориньи. Последний казался чрезвычайно потрясенным.

– Я счастлив дать сведения вашей уважаемой газете, – сказал он, – но предупреждаю вас, мсье Борегар, что эти сведения очень тяжелы. Несомненно, наша прекрасная Франция лишилась нескольких выдающихся ученых. Тропический институт значительно пострадал. Какое несчастье, дорогой мой, какое несчастье!

После короткой паузы профессор продолжал:

– Я должен информировать вас, что в институте велась работа громадного научного значения над выяснением вопроса о происхождении человека. Нашим талантливым ученым, профессором Крозом, отсутствие сведений о котором вызывает сильнейшее беспокойство, были получены интереснейшие помеси человекообразных обезьян – друг с другом и даже с людьми негроидной расы…

При этом необычайном сообщении у меня вырвался возглас изумления. Профессор развел руками.

– Конечно, Кроз не торопился с опубликованием своих открытий ранее конца начатого широкого исследования! Гибриды отличались большими ростом и силой, и малочисленная стража не смогла их удержать. Кроме того, они были вооружены. Надо сказать, в опытах было несколько заинтересовано военное министерство, но это уже выходит из сферы моей компетенции…

Откланявшись и выразив мсье Дориньи

соболезнование от имени нашей газеты, я приказал шоферу развить максимальную скорость и через несколько минут был у подъезда военного министерства. Начальник отдела колониальных войск отказался нас принять. Тем не менее после часа ожидания мне удалось выхватить его в коридоре. Генерал де Монвер был чрезвычайно раздражен и не пожелал что-либо сообщить.

– Я совершенно не понимаю, мсье, – сказал он, – чего вам от меня нужно?

– Но катастрофа в Тропическом институте…

– Такового по военному министерству не числится.

– Но мсье Дориньи сказал…

– Не знаю никакого Дориньи, – и генерал захлопнул передо мной дверь кабинета.

Но наши читатели знают, что для „Матэн“ нет тайн, и что в самое ближайшее время они узнают все.

К. Борегар».

Humanite, 13/XII 19… г.

«*Кровь и грязь:* катастрофа в Ниамбе вскрыла новую чудовищную затею капитала (и его агентов), чьей целью было прибавить лишнее звено к цепям, сковывающим трудящиеся массы. По-видимому, бесспорно, что „научная работа“ пресловутого института была лишь ширмой для каких-то невероятных по ужасу опытов военного министерства. Совершенно бесспорно и то, что там ставились – и широко ставились – опыты скрещивания человека с обезьяной. Созданных чудовищ планомерно обучали обращению с оружием. Для чего это делалось? На этот вопрос, конечно, нетрудно ответить. Рукоять меча уже выпадает из рук мирового капитала. Уже опасным считается доверить оружие народным массам. И вот была сделана попытка сотворить рабов, бессловесных и свирепых, которых можно было бы в любой момент направить против трудящихся. Но совершен просчет. Оружие обратилось против вооружающихся. Жертвы ужасны. Пусть же они послужат уроком для прочих!»

Агентство «Гавас» сообщало:

«14/XII 19… г. Войска, посланные против чудовищ, разрушивших Тропический институт, вчера были атакованы по пути в густом лесу. Потери чрезвычайно тяжелы. Остатки отряда прибыли к устью Габуна. Спешно принимаются меры обороны».

Правительственное сообщение от 15/XII 19… г.:

«События, имевшие место в результате неудачных опытов в Тропическом институте, вызвали необходимость серьезных мероприятий. Наши войска вследствие тяжелых условий боя в густом лесу понесли значительные потери. Необходимые меры обороны приняты. Два транспорта завтра высаживают войска на побережье. Посланы военные суда. Мирное население опасного района эвакуируется.

Правительством назначена следственная комиссия, которая произведет всестороннее и беспристрастное расследование причин происшедших событий».

Action Francaise, 15/XII 19… г.:

«Опубликованное сегодня правительственное сообщение говорит само за себя. Сгнивший и разлагающий страну парламентаризм постарается тут же переложить вину на предшествующее министерство и на тех, кто понимал, что для борьбы с растущей красной угрозой нужны совершенно особые меры. Так преклонимся перед памятью молодого героя, который всю жизнь свою отдал делу молодого фашизма и теперь погиб в силу какой-то нелепой случайности. Все те, кто знал талантливого капитана Ленуара, согласны, что мы потеряли в его лице нашего будущего вождя, доблестного и энергичного. Крепче сомкнем ряды, и пусть живые будут достойны погибших!..»

Агентство «Рейтер» сообщало из Капстада:

«15/XII 19… г. 10 декабря сюда прибыли спасшиеся на аэроплане из Ниамбы русский ученый Ильин, жена погибшего коменданта Ниамбы капитана Ленуара и

механик Дюпон. Ильин и Дюпон, вследствие полученных ими ран, посетили больницу. По словам Дюпона, из населения Ниамбы спаслись только они трое».

Агентство «Гавас» сообщало в двух телеграммах:

«16/XII 19… г. После тяжелого и упорного боя на равнине в 15 километрах от порта Либревилль наши только что высаженные войска принуждены были отойти. Гориллоиды сражались в правильном боевом порядке, и атака их была до того стремительна, что части правого фланга, слишком долго задержавшиеся на позиции, не смогли отступить и, по-видимому, погибли. Часть населения успела погрузиться на пароходы. Остальные под прикрытием войск отходят к северу».

«17/XII 19… г. Негры, бежавшие из института, показывают, что отрядами гориллоидов командует индивидуум исключительного даже для этих существ роста и обладающий, в отличие от них, человеческим разумом. В Ниамбе его звали Луи. Есть сведения, что в его отряд

входят, кроме гориллоидов, небольшие группы отверженных племенами аборигенов».

Journal de Paris, 18/XII 19… г.:

«Фирмы Гагенбека и Руэ, ведущие торговлю дикими животными, уже обратились в военное министерство с предложением закупить всех пленных, взятых в ходе предстоящих военных операций. Предложение это министерством обсуждается».

Matin, 21/XII 19… г.:

ТАЙНА НИАМБЫ РАСКРЫТА!!!

ПОТРЯСАЮЩИЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ КОРОЛЯ РЕПОРТЕРОВ КЛОДА БОРЕГАРА.

Мрачная тайна, окутывавшая ужасные события, так глубоко потрясшие нашу страну, как известно, до сих пор оставалась нераскрытой. Но читатели «Матэн» должны знать истину, и потому мы отправили на место событий человека, для проникновенного гения которого, как это хорошо знают читатели «Матэн», не

существует преград и препятствий.

Наш талантливый репортер вылетел из Парижа пять дней назад на специальном трансокеанском аэроплане. За это время он собрал сведения по побережью среди бедных беженцев, посетил руины Ниамбы, проследил до Капстада конец найденной им в прежних поисках нити, и мы можем сообщить читателям «Матэн», что тайна Ниамбы перестала быть тайной. Послезавтра статья Борегара будет помещена в «Матэн».

И, конечно, 23 декабря (запомните это число) каждый грамотный человек во Франции купит номер «Матэн».

* * *

Статья Борегара в номере *Matin* от 23/XII, набранная аршинным шрифтом, занимала первых две и часть третьей страницы газеты.

Еще с ночи толпы ожидающих стояли перед типографией. Первые партии номеров расхватывались и разрывались в клочья. Мальчики-газетчики в течение дня сбились с ног, но зато получили крупный заработок. Все ротационные машины работали круглые сутки до самой ночи,

и тираж достиг десятикратных размеров.

По выдержкам из обширной и потрясающей своими разоблачениями статьи «самого талантливого из репортеров Франции» можно судить о всей статье Борегара и проследить наиболее интересные моменты финала трагедии в Ниамбе.

Глава 36. Их точка зрения

«Дважды два — всегда четыре, а не двадцать пять, — так начиналась статья Борегара. — Множество запутанных и кошмарных преступлений были бы легко раскрыты, если бы следователи и прокуроры наших трибуналов не забывали этой простой, но великой истины. Истина всегда проста, но почему-то простота особенно трудно постигается человеческим мозгом. Однако переходим к фактам.

Ключ тайны был, несомненно, в Ниамбе. От этого простого факта я исходил в своих поисках. Из населения Ниамбы в живых осталось только трое, не считая, конечно, негров и чудовищ, разрушающих сейчас прекраснейшую часть нашей цветущей и доходной колонии. Значит, только по пути движения троих спасшихся от катастрофы можно было найти и раскрыть тайну.

Первый след беглецов зафиксирован в памятный день 8 декабря в рабочем поселке института, в домике шофера Жана Лаланда.

В результате напряженных поисков среди толп беженцев на морском побережье мне удалось найти ряд очевидцев событий, в том числе (что

особенно важно) жену Лаланда. Сам шофер погиб. Жена покойного, убитая горем, тем не менее дала нам, как увидят далее читатели „Матэн“, ряд ценнейших справок и сведений.

Восстановим основные факты.

Русский ученый Ильин в момент появления в поселке находился в состоянии острого помешательства. Этот факт, подтверждаемый всеми очевидцами, находится, по-видимому, вне сомнений. Достаточно указать на совершенное им убийство лейтенанта виконта де Керюзеля и на его бегство по крышам, чтобы все сомнения в этом отношении отпали.

Но это помешательство имело направление, я бы сказал, социалистическое (прошу извинения за этот термин у уважаемых депутатов входящей в правительственный блок объединенной социалистической партии).

Это видно, во-первых, из того, что он систематически (заметьте!) обращался к шоферу, его жене и другим присутствовавшим, именуя их *товарищами*; во-вторых — из того, что он пустил пулю в голову лейтенанту, а не стоявшим рядом и также загораживавшим ему выход рабочим; наконец, из того, что, как сообщает вдова шофера, Ильин просил предупредить об опасности только

рабочих. На этот второй факт также обращаю внимание наших читателей.

Перейдем далее. Рабочий Дюпон, несомненно, был на одном аэроплане с Ильиным. Это видно из того простого обстоятельства, что они затем вместе прилетели в Капстад. Констатирую это как третий факт. Рабочий Дюпон, несомненно, принадлежал к местной коммунистической организации, был за это арестован и предназначен к отправке в Европу, но вместо этого переведен в Ниамбу. Вот четвертый факт высочайшей важности.

На выяснение обстоятельств перевода Дюпона в Ниамбу я потратил наибольшие усилия. Департамент полиции в ответ на запрос по радио сообщил, что получил сообщение об аресте Дюпона и о нахождении у него уличающей коммунистической литературы. Иных сведений департамент не имеет.

Я понял, что многое мог бы сообщить начальник полиции на территории института, раненный, как известно, Ильиным и находившийся в госпитале на борту парохода. К счастью, к моему приезду лихорадка оставила бедного малого, и он передал мне следующее: Дюпон действительно подлежал после ареста отправке в Европу, но был

переведен в Ниамбу по предложению капитана Ленуара. Отмечаю этот пятый факт.

Третьей из спасшихся была вдова капитана. Вопрос, почему именно жена известного убежденного фашиста была спасена убийцей бедного де Керюзеля Ильиным и коммунистом Дюпоном, привлек мое внимание.

Должен сознаться, сначала я предположил здесь романическую подкладку, но чуткое изучение дела показало, что о ней не могло быть речи. Спасшаяся, к счастью, одна из горничных института показала, что Ильин отличался весьма нелюдимым характером и совершенно не интересовался женщинами, хотя и был, по словам той же горничной, весьма недурен собой. Мои очаровательные читательницы, конечно, согласятся с невозможностью допустить, будто красивая и элегантная дама из общества могла бы увлечься нелюдимым, угрюмым и неряшливым русским ученым. Кроме того, всем нам известно, что русские не отличаются темпераментом.

Таким образом, гипотеза о романической подкладке отпадает, и на этом факте я также останавливаю внимание читателей.

Увидеть лично Ильина, Дюпона и мадам Ленуар я не мог, так как на другой же день по прибытии

их в Капстад они улетели на аэроплане в Европу. Лечивший Ильина врач расхохотался, когда я сообщил ему, что его пациент душевнобольной. В следующий момент он пришел в ужас, узнав, что лечил убийцу лейтенанта де Керюзеля.

„Во всяком случае, мсье Борегар, — сказал он мне, — я могу категорически заявить вам одно: что бы ни представлял собою этот таинственный русский ученый, он не более нас с вами является душевнобольным“.

Чтобы покончить с вопросом о душевной болезни Ильина, остается указать на недавно полученную из Харькова и всем уже известную телеграмму, сообщающую, что известный ученый Андрей Ильин сделал двухчасовой доклад о ниамбских событиях. После доклада была единогласно принята резолюция, утверждающая, что „только мировой социальный переворот может предупредить повторение подобных чудовищных экспериментов“. Что ж, остается указать, что, по справке конторы воздушного транспорта, билеты Ильина, Дюпона и мадам Ленуар были взяты *via* Капстад — Харьков (через Каир и Константинополь). Вывод? Думаю, что для того, чтобы его сделать, не нужно быть первым репортером газеты „Матэн“, и цепь приведенных мною

фактов с железной необходимостью приводит к самоочевидным заключениям.

Был ли Ильин сумасшедшим? Конечно, нет! Его поведение 8 декабря было просто симуляцией для того, чтобы избежать ответственности на случай ареста.

Если Ильин бежал на аэроплане именно с Дюпоном, а ни с кем другим, если он убил де Керюзеля и ранил начальника полиции, если Дюпон бесспорно был коммунистом, если все трое получают возможность спешно отправиться по воздуху в СССР — что это значит?

Нужно быть круглым идиотом, чтобы найти два возможных решения. Ясно, что они делали одно дело, и, конечно, не случайность, что катастрофа произошла через какие-нибудь два-три месяца по прибытии Ильина в Ниамбу.

Ильин и Дюпон спасают именно жену своего злейшего политического врага Ленуара, причем, повторяю, не может быть и речи о какой-нибудь романической подкладке; Ленуар добивается освобождения арестованного коммуниста Дюпона и устраивает его на службу у себя; любимый солдат и сподвижник Ленуара, свирепый горилоид Луи, принимает после смерти капитана командование обученными им монстрами,

избивает без пощады население целого ряда местностей и опустошает значительную территорию одной из лучших колоний нашего дорогого отечества. Что все это значит? Если дважды два четыре, а не двадцать пять, если две величины, равные порознь третьей, равны между собой, то ответ может быть только один: капитан Ленуар никогда не был фашистом. Это был один из самых хитрых и опасных агентов Коминтерна, разбросанных, как известно, по всему миру для подготовки мировой революции.

Он погиб, погиб по какой-то неизвестной для нас случайности, но созданный им ужас и бедствия растут и ширятся. Избиваются в войне с чудовищами офицеры и солдаты наших доблестных войск, гибнут вложенные в колонию капиталы.

К ответу виновных! Пускай самыми решительными мерами будет в корне пресечена возможность проникновения агентов врага в сердце национальной обороны, а строжайшее следствие обнаружит соучастников Ленуара среди высших чинов военного министерства».

Воспроизводится по изданиям: журнал «Всемирный следопыт», №№ 4–8, 1929.

Натаниэль Готорн
Ядовитая красота

Много лет тому назад один юноша по имени Джованни Гвасконти прибыл в Падую с юга Италии с целью завершить образование в ее знаменитом университете. Юный студент, обладавший лишь несколькими дукатами, выбрал себе квартиру в древнем здании, бывшем некогда дворцом благородной падуанской фамилии, чей герб все еще красовался над главным входом. Знавший в совершенстве великую эпическую поэму Италии, юноша припомнил, вглядевшись в щит с гербом, что один из потомков этого рода — может статься, один из обитателей этого дворца, — был помещен Данте в один из кругов ада. Воспоминание это вкупе с грустным чувством, нарожденным первой разлукой с родным домом, сжало сердце Джованни, когда он вошел в огромную пустую комнату, снятую им для жилья. С его уст сорвался невольный вздох.

— Пресвятая Дева! — вскричала старуха Лизавета. Будучи вполне завоевана приятной наружностью юноши, она старалась побыстрее

привести в порядок его комнату. — И горько же вы вздыхаете, синьор! Разве этот старый дом кажется вам таким печальным? Выгляните, прошу вас, в это окно, озаренное лучом прекрасного неаполитанского солнца.

Гвасконти исполнил машинально пожелание старухи. Солнце Ломбардии показалось ему далеко не таким радостным, как светило его родины. Тем не менее, насколько он мог видеть, оно озаряло своими лучами довольно красивый сад, наполненный разнообразными цветами. Цветы эти, казалось, пользовались чьим-то тщательным уходом.

— Разве этот сад принадлежит этому дому? — спросил Джованни старуху.

— Да избавят нас от него небеса до тех пор, пока он весь не будет засажен овощами! — ответила Лизавета. — Нет, сад этот принадлежит доктору Джакомо Раппачини, чья слава, как я полагаю, должна распространяться гораздо дальше Неаполя. Он сам ухаживает за своими цветами и, как говорят, извлекает из них могучие свойства. Вы можете, синьор, видеть его часто за работой — так же, как и его дочь, с искусством и прилежанием ухаживающую за удивительными цветами их сада.

Закончив уборку комнаты молодого человека, старуха удалилась, препоручив его покровительству всех святых.

Оставшись один, Джованни с целью чем-нибудь убить время принялся смотреть в окно, выходившее в сад доктора. Сначала сад показался ему схожим с теми ботаническими оранжереями, какие ему приходилось видеть в прочих провинциях Италии, но затем ему пришло в голову, что сад этот, вероятно, был достоянием какого-нибудь богатого рода. В самом деле, посреди него виднелся мраморный фонтан, изваянный с редким изяществом, как можно было заключить, вглядевшись в него внимательней, так как время значительно изгладило его первоначальные очертания. Но струя воды постоянно била из узкой выемки в мраморной трубке, ниспадая затем в бассейн, и ее легкое журчание доносилось до ушей Джованни, словно жалобный голос воздушного духа, прикованного злой судьбой к этой мраморной развалине. Местность вокруг фонтана, орошенная водой, пробивавшейся из трещин бассейна, была покрыта мощными растениями, обладающими широкой листвой и гигантскими цветами. Среди них особенно выделялся один куст, богатый на пурпурные цветы,

чей блеск напоминал руины Голконды, освещая, словно второе солнце, весь сад свой жгучей яркостью. Сверх того, вся почва сада была занята менее красивыми и яркими растениями, явно пользующимися не меньшим уходом, свидетельствующим о том, что их владельцу была хорошо известна их неочевидная польза. Одни из них помещались в элегантных вазах, другие — в грубых глиняных горшках. Иные пресмыкались, словно змеи, по земле, другие, вздымаясь купами кверху, казалось, сами напрашивались на удивление зрителя. Одно из растений росло у подножия статуи Вертумна[24], обвивая ее гирляндой листьев. Вероятно, и рука ваятеля не расположила бы такое украшение с бóльшим вкусом!

Пока Джованни рассматривал эти диковины, еле слышный шорох и колебание листьев предупредили его о чьем-то присутствии в саду. Скоро в нем появился человек высокого роста, с болезненной бледностью в лице, одетый в черный костюм ученого. Почти совсем седые волосы и борода ясно указывали на его близость к пределам человеческой жизни, и его строгая фигура, сог-

[24] Примечания: 24

Вертумн (лат. Vertumnus) — древнеиталийский бог времен года и их различных даров. Также его называли богом превращений, так как имя происходило от латинского слова «verto» — «поворачиваться».

бенная привычкой к размышлениям, казалось, никогда не обладала способностью выражать собой волнения юного пылкого сердца.

Ученый рассматривал каждое растение с сосредоточенным вниманием, словно прямо здесь проникая в его затаенные свойства и открывая сам механизм природы по созданию разнообразной флоры. С методическим тщанием изыскивал он законы строения листьев, окраски и запаха цветов. Между тем, хотя он и казался совершенно знакомым с подобными законами, его обращение с растениями не доходило до пределов близости к ним. Наоборот, казалось, он избегал малейшего соприкосновения с ними, и его обхождение напоминало собой поведение человека, находящегося среди каких-нибудь опасных предметов или же подверженного какому-либо вредоносному влиянию. Его осторожность произвела крайне неприятное впечатление на Джованни — ему показалось странным, что настолько невинное занятие, как уход за цветником, занятие, считающееся всюду способным доставить самое живое удовольствие, могло быть предметом боязни. Кто же этот человек, содрогающийся от страха перед цветами, насажденными им же самим?



Для того чтобы сорвать несколько поблекших листьев или очистить густой цветочный куст от лишних побегов, осторожный старик всякий раз старательно защищал руки толстыми перчатками. Перед тем как подойти к прекрасному растению, чьи пурпурные цветы возвышались вблизи фонтана, он прикрыл в пароксизме предосторожности нижнюю часть лица особой маской — словно это растение, будучи чудом природы, одарено было не только блестящей красой, но и зловредными свойствами. Тем не менее эта крайняя предосторожность, по-видимому, не показалась ему достаточной, и он, попятившись назад на несколько шагов, снял маску, вскричав дрожащим голосом:

— Беатриче! Беатриче!

— Я здесь, папа! Что вам угодно? — раздался в ответ юный серебристый голос, доносившийся, казалось, от противоположной стороны здания. — Вы в саду?

— Да, Беатриче, и я нуждаюсь в твоей помощи.

В тот же миг прекрасная молодая особа показалась под темным сводом входа в старый дом — девушка, полная такой же прелести, как и самый яркий из цветов в саду, настоящее чудо красоты в полном расцвете молодости, свер-

кающей здоровьем. Корсаж обрисовывал ее девственные формы, способные соперничать с античными статуями.

Воображение Джованни, возбужденное в крайней степени этим видением, внушило ему самые причудливые мысли. Ему казалось, что эта прекрасная незнакомка и сама была цветком, сестрой прочих цветов сада, такой же бесподобной — нет, даже более бесподобной, чем самый роскошный из них. Джованни с удивлением заметил, что девушка, явно далекая от мысли надеть перчатки и маску для того, чтобы подойти к цветам, медленно прошла по главной аллее сада, вдыхая их аромат без малейшей боязни.

— С этой стороны, Беатриче, — сказал ей ученый. — Ты видишь теперь сама, насколько твой уход необходим для самого драгоценного из наших сокровищ. Я охотно заплатил бы и жизнью за то, чтобы подойти к нему, но я очень опасаюсь, что, даже приняв все потребные меры предосторожности, все-таки буду вынужден вверить заботу о нем исключительно тебе.

— С превеликим удовольствием, — отвечала девушка, обвивая руками куст, как будто желая обнять его. — Да, моя сестра, да, моя прелесть, Беатриче будет твоей верной сиделкой за одно

только счастье насладиться твоим живительным ароматом…

Затем, перейдя от слов к делу, она занялась растением с крайним вниманием, а его оно, по-видимому, требовало. Джованни, наблюдавший эту сцену с вполне значительного расстояния, машинально протер себе глаза, так как не был более в состоянии определить, была ли то юная девушка, занимающаяся своим любимым цветком, или на самом деле сестра, нежно ухаживающая за своей родственницей. Но эта иллюзия длилась недолго. Окончила ли дочь Раппачини работу в саду или недреманное око ее отца приметило незнакомую фигуру в окне — неизвестно, но он взял дочь за руку и повел прочь из сада. Скоро наступила ночь, и под влиянием приятного аромата, проникающего через полуоткрытое окно в комнату, Джованни заснул, грезя цветком и молодой девушкой, чьи гибельные прелести слились под конец в одно смешанное существо — полуцветок и полуженщину.

Яркий свет радостного утра обыкновенно рассеивает те грезы, что навевает на нас воображение в течение неясных сумерек или ночной темноты, хотя бы смягчаемой бледным светом луны. Первой мыслью юноши по пробуждении было

подойти к окну и бросить взор на сад, бывший местом действия его таинственных грез. Он был удивлен и даже чуть смущен, не встретив в нем ничего, кроме обычного его вида, украшенного ласковым бликом восходящего солнца, придавшего новую прелесть каждому цветку и сообщившего им всем их настоящий вид.

«Клянусь честью, — подумал Джованни про себя, — я счастлив тому, что, живя в самом центре города, могу иметь возможность любоваться в свободную минуту этой роскошной растительностью. Цветы доставят мне неоценимое преимущество — постоянно созерцать природу вблизи».

В этот день ни доктор, ни его дочь не показывались в саду, и Джованни дошел до того, что старался отдать самому себе отчет в том, что особенного заметил он в тех двух лицах, чтобы они могли так занять собой его мысли. Его испытующий взор блуждал по саду.

Днем он отправился засвидетельствовать свое почтение синьору Бацциони, известному физиологу, профессору медицины Падуанского университета, снабдившему юношу своим рекомендательным письмом. Профессор пребывал в полном расцвете сил, отличался некой врож-

денной веселостью и шутливым характером. Он пригласил молодого человека к обеду и показал себя, вопреки всей учености, весьма приятным собеседником, непринужденно и легко ведущим разговор, особенно оживившийся после бутылки-другой тосканского вина.

Во время обеда Джованни, полагая, что двое ученых, живя в одном городе, не могли быть незнакомы, осмелился произнести имя Раппачини.

— Ему стоило бы занимать первое место между посвященными в нашу божественную науку, — отвечал скромно профессор, желая оценить по достоинству такого знаменитого ученого, как Раппачини. — Но я потерял бы доверие и дружбу вашего отца, мой дорогой синьор Джованни, если бы не посоветовал вам остерегаться его! Тем или иным способом этот человек может прибрать вашу жизнь к своим рукам. Я не спорю, что Раппачини, за исключением одного-двух человек, быть может, самый выдающийся ум во всей Италии. Но его врачебная практика однажды уже вызывала серьезные упреки…

— Что же такое ставят ему в вину? — заинтересованно спросил юноша.

— Разве же вы, мой друг Джованни, настоль-

ко страшитесь за свое здоровье, что так сильно интересуетесь нашими врачами? — спросил, улыбаясь, профессор. — Ну, хорошо… Утверждают, что Раппачини гораздо более предан науке, чем человечности, и что для него больные являются лишь интересным материалом для опытов. Он охотно пожертвовал бы всем человеческим родом, своей собственной жизнью, *всем,* что ему всего дороже на свете, для того только, чтобы прибавить хоть бы и одну песчинку к уже накопленным им зыбучим пескам знаний.

— В таком случае, — сказал Гвасконти, припомнив холодное и наблюдательное лицо Раппачини, — он должен быть ужасным человеком. Однако, по вашим словам, он из числа людей возвышенного ума. И много ли, как думаете, сыщется тут таких вот индивидуумов, способных довести любовь к знанию до таких пределов?

— Избави нас боже от них, — резко ответил профессор, — если у них нет более здравого суждения о врачебной науке, чем у Раппачини. Его лекарства состоят только из одних ядов, добываемых из возделываемых им растений. Утверждают, что ему удалось открыть целую линейку новых и весьма устрашающих притом ядов. Чего совершенно точно отрицать не выйдет,

так это того, что им приносится гораздо меньше вреда, чем следовало бы ожидать от обладателя таких убийственных тайн. Время от времени он действительно совершает прямо-таки чудесные исцеления, как бы желая показать свои незаурядные способности. Но, по моему суждению, синьор Джованни, ему не следует приписывать всецело чести за все удачные случаи исцелений — произошедших, в большинстве случаев, совершенно случайно, — тогда как случаи неудачного лечения, говоря по правде, должны быть строго поставлены ему в вину.

Быть может, Джованни не вполне поверил бы речам Баццони, если бы ему было хоть немного известно о тайном старинном соперничестве двух ученых профессоров и о перевесе, одержанном Раппачини в этой борьбе на ниве науки. Желающих лично во всем убедиться мы приглашаем заглянуть в кое-какие книги, напечатанные готическим шрифтом обеими враждующими сторонами — они до сих пор хранятся в публичной библиотеке Падуанского университета.

— Я не знаю хорошенько, уважаемый профессор, — снова заговорил после небольшой паузы Джованни, — до какой степени нежности доходит в своей любви к науке этот старик Раппачини, но,

на мой взгляд, у него есть гораздо более достойный предмет любви — это его прелестная дочь.

— Ага! — воскликнул, смеясь, профессор. — Вот вы сами себя и выдали, мой дорогой друг Джованни. До вас, вероятно, дошли слухи об этой девушке — по ней сходят с ума все мои ученики, хотя вряд ли трое-четверо из них ее мельком видели. Сознаюсь вам, что я знаю слишком мало о синьоре Беатриче — разве что ее отец так глубоко посвятил ее в тайны естествознания, что она одна, как говорят, стоит целой научной кафедры. Может статься, ей он и предназначает мою кафедру! Но полно нам заниматься глупыми бреднями, без сомнения, ни на чем не основанными… Осушите-ка, мой милый Джованни, этот вот стакан «лакрима кристи» — это самое лучшее вино.

Чуть отуманенный несколькими стаканами вина, выпитыми у профессора, Гвасконти вернулся домой. Перед глазами у него все витали образы Раппачини и его прелестной дочери. Встретив по дороге цветочника, он купил у него свежий букет.

Войдя в свою комнату, он сел возле окна, полностью поместясь в тени, отбрасываемой стеной, чтобы иметь возможность следить за всеми, оставаясь незамеченным. Сад был пуст. Чудес-

ные растения, наполнявшие его, казалось, с наслаждением вбирали в себя солнечный свет, нежно склоняясь друг к другу — словно в знак взаимного сочувствия или родства. Посредине, возле фонтана, возвышался роскошный куст, чьи рубиновые цветы, облитые ярким солнечным светом, отражались в воде бассейна. Как было сказано выше, сад казался покинутым и пустынным. Вскоре, однако, грациозная фигура девушки, чьего появления Джованни ожидал со смесью надежды и легкой опаски, показалась под резным сводом старинного крыльца, медленно двигаясь вперед среди цветов, возносивших к небесам, как таинственные курения, свои жгучие, сильные ароматы. По легкой походке ее можно было смело сравнить с сильфидой[25]. То была Беатриче. Любуясь безукоризненно ясными чертами ее лица, молодой человек мог убедиться в том, что ее красота гораздо более превосходит собой бледные воспоминания о ней, достроенные воображением. Сияя юностью и жизнью, она красовалась среди цветов, и Джованни даже показалось, что она оставляет за собой как бы сияние, блестящий, сверкающий воздушный след. Ныне он лучше

[25] Примечания: 25

Сильфы, сильфиды — воздушные духи, описанные в трудах Парацельса в XVI веке; невидимые грациозные сущности воздуха, его элементали.

разглядел ее лицо, нежели накануне, и был поражен его кротким и простодушным выражением, ибо именно эти качества не входили во впечатление, составленное им о ее характере. Что же за дивное создание перед ним? Не преминул он также заметить или вообразить, что существует некая схожесть между этой красивой девушкой и великолепным кустарником, наклонившим рубиновые кисти к фонтану. Но эту странную схожесть Джованни приписал работе своего чересчур взбудораженного воображения и костюму Беатриче, будто бы в некой степени заимствующему цвет и крой у ее любимого цветка.

Подойдя к кустарнику, она открыла объятия, как бы со страстным жаром, и так прижала к себе его ветви, что ее лицо скрылось на минуту в зелени и ее блестящие локоны смешались с цветами.

— Напои меня своим дыханием, сестра! — воскликнула Беатриче. — Обычный воздух только лишает меня силы. Дай мне и цветок твой… Я сорву его дружеской рукой и помещу у сердца. — И она сорвала ветку, выходившую из середины куста. Одновременно с этим ее действием произошел странный феномен, на минуту заставивший Джованни заключить, что винные пары все еще продолжают омрачать его голову. Маленькое

пресмыкающееся оранжевого цвета, геккон или хамелеон, переходило как раз в это время тропинку у самых ног Беатриче. Струйка сока от сорванной ветки вдруг пролилась ему прямо на голову. Мелкая ящерица сперва замерла, а потом вдруг завертелась, судорожно замахала хвостом и странно растянулась на песке. Она умерла — в этом у Джованни не было никаких сомнений.

— О, бедняжка! — тихо воскликнула Беатриче и печально, но без удивления посмотрела на мертвую ящерицу. Потом она спокойно приколола роковую ветку к корсажу. На ее груди растительный придаток, казалось, снова ожил, стал более свежим и блестящим.

С челом, покрытым каплями пота, Джованни отскочил от окна, говоря самому себе:

— Не теряю ли я разум? Или так шутит со мной воображение? Что это за создание, столь грозное и прекрасное?

Расхаживая взад и вперед по саду, Беатриче подошла к окну молодого человека. Тот вынужден был высунуться наружу, чтобы не потерять ее из виду. В эту минуту красивая бабочка перелетела через стену в сад; она, вероятно, долго порхала по городу, не находя ни цветов, ни зелени среди старинных каменных домов, пока тяжелый

аромат растений доктора Раппачини не привлек ее в сад. Бабочка принялась боязливо порхать над самими цветками, словно не осмеливаясь опуститься на них — как будто бы их аромат и формы были ей совсем незнакомы. Затем, подлетев к Беатриче, она принялась описывать вокруг нее все более и более близкие круги, намереваясь сесть на голову девушки. И тут, верно, зрение обмануло Джованни, ибо ему показалось, что в то время, как Беатриче с детской радостью следила за насекомым, оно все больше и больше теряло силы, пока, наконец, не упало к ее ногам. Его яркие крылышки затрепетали, лапки съежились — бабочка была мертва! Джованни не мог установить никакой видимой причины ее смерти, кроме разве дыхания самой Беатриче, чье лицо вторично подернулось тенью грусти. Опечаленная, она отступила от трупика бабочки.

Невольное движение Джованни привлекло к нему взгляд девушки, заметившей в окне прекрасную фигуру юноши, похожего скорее на грека, чем на итальянца, казавшегося неким мраморным изваянием работы Фидия, одушевленным новым Прометеем.

Видя себя обнаруженным, Джованни безотчетно бросил ей букет — тот самый, что он купил у

цветочника по дороге домой и до сей поры напряженно сжимал в руке.

— Синьора, — сказал он, — эти цветы чисты и безвредны. Примите их ради любви — от Джованни Гвасконти.

— Благодарю вас, синьор, — ответила Беатриче звонким гармоничным голосом. — Я от всего сердца принимаю ваш подарок и желала бы предложить вам взамен этот цветок — но он, увы, слишком легок для того, чтобы я могла бросить его вам. Придется вам, Джованни Гвасконти, удовольствоваться моей словесной благодарностью.

Она подобрала букет, упавший на траву, грациозно раскланялась с Джованни и мирно продолжила прогулку по саду. Спустя несколько минут, когда она приблизилась к крыльцу своего дома, Джованни показалось, что цветы, врученные ей совершенно точно свежими, уже увяли. Без сомнения, это была совершенно безумная идея — кто же мог бы на таком расстоянии отличить свежий цветок от увядшего?..

* * *

В течение нескольких дней после этого случая молодой человек избегал открывать окно, выходившее в сад доктора Раппачини, словно

опасаясь увидеть снаружи что-то очень страшное, чудовищное. Он ощущал, что после разговора с Беатриче он поддался влиянию неизъяснимой силы. Если сердцу его грозила действительная опасность, то ему всего лучше было бы оставить свое жилище и даже Падую или смотреть всякий день на Беатриче и привыкнуть видеть в ней просто молодую женщину, такую же, как и все другие. И все же Джованни оставался, несмотря ни на что, и, глядя на нее, испытывал нечто вроде тихого осознания близкой опасности. Однако Гвасконти не был поражен неизлечимой любовью, или, по крайней мере, он и сам не знал глубины испытываемого им чувства, но он был от природы одарен жгучим воображением и всей живостью южного темперамента, доходящей подчас до настоящей горячки. Обладала ли Беатриче сходством с цветами, прелестными и вместе с тем ужасными, или нет — не суть важно. Главное ведь, что она отравила его самым утонченным, самым предательским из всех ядов на свете. Чувство, всецело овладевшее им, нельзя было определенно назвать любовью к ней, хотя ее удивительная красота была вполне способна внушить любовь. Не было оно и чувством ужаса, хотя он и подозревал вредные и ядовитые свой-

ства, таившиеся в этом чудном теле. Нет, это было как бы соединение любви и ужаса, столь тесно сливающихся в его сердце, что ему самому невозможно было отдать себе ясный отчет в том, какое из них преобладало. Он не знал, чего должен был бояться и на что надеяться — и страх, и надежда жестоко боролись в его сердце без малейшего перевеса друг над другом. Чувство радости или скорби может зачастую быть спасительным, но вот смешение двух столь противоположных друг другу начал опасно приближает людей к тому состоянию, что в апокрифических текстах именуется *вечным проклятием.*

Джованни часто пробовал заглушить бушевавшее внутри него волнение прогулками по улицам Падуи или экскурсиями за город, но его шаги делались все быстрее и быстрее по мере того, как быстро работала его мысль, и вскоре превращались в настоящий бег, словно он пытался бегством спастись от одолевавших его дум.

В одну из таких прогулок, в то время, когда он бежал по городу, его остановил, перейдя перед ним дорогу, какой-то человек высокого роста.

— Эй, синьор Джованни, приостановитесь немножко! Разве вы меня не узнаете? Да, я понял бы ваше невнимание, пожалуй, если бы моя

наружность подверглась той перемене, какую я замечаю в вас…

То был Баццони. Джованни избегал ученого со времени последней встречи — из-за боязни, что профессор разгадает его тайные думы. Молодой человек попытался собраться с духом и ответил, словно внезапно пробужденный ото сна:

— Да, я Джованни Гвасконти, а вы профессор Баццони. Позвольте же мне теперь удалиться…

— Сию минуту, синьор Джованни Гвасконти, — проговорил с улыбкой профессор. — Слишком долго я был другом вашего отца и поэтому не могу допустить, чтобы на старых улицах Падуи его сын, встретившись мне, чуждался меня, как постороннего человека! Бога ради, остановитесь, юноша. Прежде чем расстаться, нам надо кое о чем поговорить.

— В таком случае поторопитесь, почтенный профессор, — ответил с лихорадочным нетерпением Джованни. — Ведь вы видите, что мне некогда!

В то время, когда он произносил эти слова, мимо них прошел нетвердой походкой, точно больной, какой-то пожилой мужчина, одетый с ног до головы в черное. Его тощая и бледная фигура несла на себе отпечаток многих трудов и размышле-

ний. Но заметно было и то, что под тщедушной наружностью у этого слабого старика скрывался закаленный дух. Этот человек, проходя мимо профессора, обменялся с ним холодным поклоном, при этом его взгляд остановился на Джованни с неприятной сосредоточенностью. Тем не менее во взгляде этом не было ничего враждебного, он походил скорее на пытливый взор ученого, чем на взгляд обыкновенного любопытствующего.

— Это доктор Раппачини, — проговорил шепотом профессор Баццони, когда незнакомец уже отошел от них. — Видел ли он вас до этих пор?

— Не знаю, — ответил Джованни, вздрогнув при имени Раппачини.

— Полагаю, видел… определенно видел! — заметил Баццони с живостью. — И у него на вас есть свои виды, иначе он не стал бы так всматриваться! Я уже подмечал за ним такой взгляд, когда он с холодным, но опаленным неким внутренним огнем лицом наклоняется над птахой, мышью, бабочкой, убитыми испарениями его ядовитого сада… Взгляд этот так же глубок, как сама Природа, только нет в нем свойственных Природе теплоты и любви. Я, синьор Джованни, ручаюсь жизнью: вы без вашего ведома служите предметом одного из опытов доктора Раппачини!

— Вам угодно свести меня с ума? — вскричал вне себя Джованни. — С вашей стороны, господин профессор, это очень дурная шутка!

— Я повторяю вам, мой бедный друг, что Раппачини обратил на вас свои взоры с какой-либо научной целью. Вы попали в его безжалостные руки, и я сильно обманусь, если вдруг предположу, что синьора Беатриче не играет в этом некой таинственной роли…

Найдя настойчивость Баццони невыносимой, Гвасконти рванулся в сторону и, прежде чем профессор смог опомниться, был таков. Баццони проводил взглядом молодого человека и, покачивая головой, пробормотал:

— Беды я не допущу. Мальчик — сын моего друга, и с ним не должно случиться никакого несчастья, какое не способно отвратить медицинская наука. Кроме того, со стороны доктора Раппачини непростительно дерзко вырвать юношу из моих рук, если так можно сказать, и использовать его для своих чудовищных опытов. А его дочь? Я буду тщательно следить за ней… Быть может, мудрый Раппачини, я заставлю вас потерпеть поражение там, где вы менее всего его ждете…

Между тем Джованни, пробежав по отдален-

ным и запутанным улицам с умыслом заставить Бацциони потерять всякий след, добрался до дверей своего дома. Он постучался, и старуха Лизавета открыла ему дверь с таинственной улыбкой, словно желая привлечь к себе его внимание. Но это было напрасно, так как возбужденное состояние молодого человека вскоре уступило место полному упадку настроения.

— Хорошо ли синьор прогулялся, как себя чувствует сегодня, не нужно ли ему чего? — протараторила старая женщина. Лицо ее, сведенное подобострастием, потешно походило на маску гротескной средневековой скульптуры, потемневшую от времени. Но Джованни посмотрел на нее непонимающими, лихорадочно горящими глазами и, ничего не ответив, стал подниматься по лестнице.

— Если синьору не нравятся прогулки по городу, он всегда может пройти в сад доктора Раппачини. Из этого дома есть ход! — крикнула Лизавета ему вслед.

— Что?! Ход из дома в сад? — воскликнул, не веря своим ушам, Джованни и спустился с лестницы. — Покажите мне, где он находится!

— Тише, тише, не говорите так громко, — прошептала Лизавета, прикладывая палец к

губам. — Да, одна дверь здесь выходит в докторский сад, где вы можете любоваться самыми редкими, несказанно прелестными цветами. Многие из молодых людей в Падуе охотно бы заплатили мне золотом за одну только возможность туда проникнуть.

Джованни сунул дукат в ладонь старухи.

— Укажите мне дорогу в сад, — коротко произнес он.

В то же время у него мелькнуло в уме подозрение, несомненно возникшее вследствие последнего его разговора с Бацдони. Вмешательство старухи Лизаветы, быть может, могло быть приписано коварному плану доктора Раппачини, обрисованному профессором. Но это подозрение, хотя и смутив Джованни, не обладало достаточной силой, чтобы удержать его от попытки войти в сад. Едва забрезжила возможность сблизиться с Беатриче, он понял, что именно к этому стремилась каждая клеточка его тела. Не имело вовсе значения, ангел она или демон. Он был обреченно притянут к ней и должен был покориться силе, влекущей его к непредвиденному исходу. Однако парадоксально, его вдруг охватили сомнения: а не была ли пылкая заинтересованность девушкой лишь иллюзией и действительно ли его

чувство столь глубоко, чтобы оправдать безумие, толкающее в лицо неизвестности? Не является ли все это плодом незрелой страсти, не имеющей ничего общего с подлинными чувствами?

Он замер в нерешительности, готовый отступить… но все равно двинулся вперед. Старая женщина провела Джованни лабиринтом длинных темных коридоров и наконец подвела к двери. Слегка приоткрыв ее, он уловил шелест листвы и увидел зелень деревьев, пронизанную солнечными лучами.

Джованни сделал шаг вперед и, с усилием раздвинув цепкие побеги, обвивавшие потайную дверь, оказался в саду доктора Раппачини, прямо под окном своей комнаты.

Как часто, когда невероятное становится реальностью и призрачные мечты обретают ощутимые формы, мы внезапно обнаруживаем в себе невозмутимость и хладнокровие в обстоятельствах, мысль о коих прежде довела бы нас до исступления от радости или ужаса! Судьба любит играть с нами подобным образом. Страсть может ворваться внезапно, а может и неоправданно задерживаться, когда, казалось бы, благоприятное стечение обстоятельств должно было бы вызвать ее немедленное появление. Так

было и с Джованни. Раньше, от одной только мысли, что он может встретиться с Беатриче, этой розой Сарона, и оказаться с ней наедине в этом саду, купаться в лучах ее неземной красоты и, наконец, прочесть в ее глазах разгадку тайны, ставящей на кон, как он считал, всю его дальнейшую жизнь, кровь начинала безумно колотиться в его висках. Сейчас же в его душе воцарилось неуместное спокойствие. Осмотревшись и не увидев ни Беатриче, ни ее отца, он принялся внимательно изучать растения, по большей части ему совершенно неизвестные. Рассматривал ли он их порознь, вглядывался ли в их общий вид — они все одинаково казались ему неприятными. Их блеск казался ему лихорадочным, страстным и неестественным. В саду почти не было куста, каковой, попадись он одинокому путнику в лесу, не заставил бы того вздрогнуть и изумиться, что такое чудовище могло встретиться рядом с обыкновенными деревьями, как будто из чащи глянул на него какой-то дьявол. Другие растения тоже царапали восприятие своим искусственным видом, свидетельствующим: тут гибрид растений разных пород, не замысел Творца, а чудовищное порождение испорченного воображения человека; красота таких гибридных чудовищ зловеща и

обманчива. Они, вероятно, явились результатом опыта по насильному скрещению флоры. Раппачини удалось, взяв и соединив растения сами по себе прелестные, создать нечто чудовищное, обладающее зловещими свойствами, как и все, что росло в этом саду. Среди всех растений Джованни нашел только два или три знакомых ему — и те, как он знал, были ядовиты.

В то время, как он изучал сад, послышался шелест шелкового платья. Обернувшись, Джованни увидел Беатриче, выходившую из-под сводов старинного портала. Он пока не решил, как следует поступить: извиниться ли перед девушкой за непрошеное вторжение в сад или же сделать вид, что он находится здесь с ведома, если не по желанию самого доктора. Но поведение Беатриче позволило ему обрести непринужденный вид, хотя и не избавило от сомнений: кому он был обязан удовольствием ее видеть? Заметив его у фонтана, она пошла ему навстречу легкой походкой. Хотя на лице ее было написано удивление, его скоро сменило выражение доброты и искренней радости.

— Вы, вероятно, знаток и любитель цветов, синьор, — произнесла она, улыбаясь, явно намекая на букет, брошенный им к ее ногам из окна. — Я

вовсе не удивляюсь, что, любуясь издали редким собранием растений моего отца, вы уступили искушению полюбоваться ими поближе. Если бы он был с нами, он мог бы сообщить вам интересные сведения о природе и свойствах своих питомцев, так как изучению их он посвятил всю свою жизнь, и этот сад составляет для него весь мир.

— Кажется, и вы сами, синьора, — возразил ей Джованни, — если только верить молве, также глубоко проникли в тайные свойства всех этих цветов. Если бы вы соизволили быть моей руководительницей, то, благодаря вашим объяснениям, я мог бы достичь не меньших успехов, чем под руководством самого доктора Раппачини.

— Как же, обо мне ходят такие слухи? — воскликнула Беатриче со звонким смехом. — Меня считают такой же ученой, как мой отец? Вот, в самом деле, превосходная выдумка! Нет, синьор, я хотя и выросла среди этих цветов, но не знаю о них ровно ничего, кроме цвета и запаха. Прошу вас поэтому не верить глупым выдумкам о моей мнимой учености и обо мне судить лишь по тому, что вы узнаете и увидите сами.

— Должен ли я верить вполне тому, что видел? — сказал молодой человек, намекая на то, чему был свидетелем раньше. — О, нет, синьора,

вы требуете слишком много. Скорее прикажите мне верить лишь тому, что вы скажете.

Без сомнения, Беатриче поняла его намек, так как внезапная краска прихлынула к ее щекам. Она взглянула прямо в лицо Джованни и ответила с крайним высокомерием:

— Да, я это приказываю вам, синьор. Забудьте о том, что вы могли видеть. То, что вам кажется верным, может оказаться и ложным, но слова Беатриче Раппачини идут от сердца, незнакомого с притворством. Им одним вы обязаны верить!

Ее горячность показалась Джованни светом самой истины. Однако пока она вещала, восхитительный аромат наполнил окрестный воздух, и юноша боялся вдыхать его полной грудью. Было ли то дыхание Беатриче, распространяющее это жгучее благоухание, или это дышал сам сад? А может, так остро и дурманяще пахли цветы, приколотые к ее корсажу? Этого Джованни не мог определить. На недолгий миг он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок, но эта слабость тотчас же исчезла, и Джовании, посмотрев в глаза милой деве, бывшие зеркалом ее искренней души, незамедлительно и всецело ей поверил.

Между тем яркая краска, заливавшая щеки Беатриче, мало-помалу исчезла. Она вновь пове-

селела и, казалось, ощущала живейший интерес в разговоре с Джованни. Можно было сказать, что это разговаривает единственная обитательница какого-то далекого пустынного острова с пришельцем из цивилизованного мира. Очевидно, что все известное ей о жизни ограничивалось пределами ее сада. Она осыпала молодого человека тысячей очень наивных вопросов о Падуе, о его родине, друзьях, матери, сестрах — вопросов, обличающих такое неведение житейских обстоятельств и задаваемых со столь наивной кротостью, что юноша отвечал ей, будто ребенку. Ее душа вполне раскрывалась перед ним, походя на прозрачный ключ, выбившийся из земных недр к ослепительному сиянию солнца и словно дивящийся тому, что его воды одновременно отражают небо и твердь; безумно прыгая, он покрывает свою поверхность радужными пузырьками, напоминающими блеском алмазы. Точно так же глубокие мысли и блестящие образы мелькали одни за другими даже в самых ребяческих вопросах Беатриче. Время от времени Джованни дивился тому, что идет подле прелестного создания, кому его воображение в припадке нелепого ужаса приписало столь гибельные качества. Он был безмерно удивлен также и тем,

что разговаривает с ней как брат с сестрой — искренне и просто.

Беседуя, они прошли поперек всего сада, сделав притом несколько оборотов по его извилистым аллеям. Вскоре они достигли развалин фонтана и растущего близ них удивительного растения, осенявшего водоем пурпурными ветвями. Оно испускало запах особого рода, и он показался Джованни тем же самым, какой он приписал дыханию Беатриче, но гораздо более сильным. Едва взор Беатриче упал на растение, юноша увидел, как она прижала руку к сердцу, словно желая удержать его порывистое биение.

— Впервые в жизни, — сказала она, обращаясь к цветку, — я забыла о тебе.

— Мне помнится, синьора, — произнес Джованни, — что вы обещали мне одну из этих рубиновых веток взамен того букета цветов. Позвольте же мне сорвать ее и сохранить на память о нашем свидании. — Говоря эти слова, он сделал шаг вперед с намерением взяться за одну из веток куста, как вдруг Беатриче, побледнев от страха, вскрикнула и схватила его за руку, отдернув назад с такой силой, какую трудно было в ней заподозрить.

— Не прикасайся к нему! — вскричала она дро-

жащим голосом. — Заклинаю тебя твоей жизнью — не тронь его. Это растение гибельно!

Затем, закрыв лицо руками, она убежала от него и скрылась под готическим порталом. Там Джованни, провожавший ее взглядом, заметил изможденную фигуру и бледное лицо доктора Раппачини, бывшего немым свидетелем этой сцены.

Едва Джованни очутился в уединении своей комнаты, как образ его возлюбленной Беатриче предстал перед ним во всем блеске девственной красы и душевной чистоты. Она была одарена самыми восхитительными качествами женщины — достойная обожания и, со своей стороны, способная в любви на подвиги! Все признаки, прежде им считаемые только доказательствами роковых свойств ее духовной и телесной природы, были либо позабыты, либо софистикой страсти обращены в драгоценные качества, делавшие Беатриче тем более достойной восхищения, что она была *единственной в своем роде*. Все, что раньше казалось в ней чудовищным, теперь виделось прекрасным, а то, что неспособно было подвергнуться подобной алхимической трансформации, ускользнуло и потонуло в омуте недодуманных мыслей, коими полнятся сумрачные чертоги,

скрытые от яркого света нашего сознания.

В этих размышлениях провел Джованни ночь и заснул, лишь когда заря пробудила цветы в саду доктора Раппачини, где витали мечты юноши. Яркие лучи полуденного солнца, коснувшись сомкнутых век юноши, нарушили его сон. Джованни проснулся с ощущением жгучей, мучительной боли в руке — там, где его схватила Беатриче, когда он пытался сорвать драгоценную ветвь. На ладони он ясно различил красные пятна, вполне соответствующие отпечатку четырех ее тонких пальцев, а на кисти руки — знак, схожий с оттиском большого пальца женской руки. Но такова не только сила любви, а даже того ее подобия, что царит в одном нашем воображении, не пуская глубоких корней в сердце! Должно быть, вера в того, кого полюбил, безгранична до той секунды, пока сам предмет любви не исчезнет, подобно легкому пару. Джованни спросил себя, какое насекомое могло его так покусать, после чего машинально обернул руку платком и, весь в думах о Беатриче, *забыл* свою боль.

Неизбежным последствием первого свидания стало второе, третье, четвертое; вскоре эти свидания уже не были для Джованни случаем, но обратились в обыденное дело и, так сказать,

стали отныне необходимым условием его жизни. Со своей стороны, дочь доктора с неменьшим нетерпением ждала ежедневно появления юноши и, едва заметив его, бежала к нему навстречу с такой резвостью и фамильярностью, будто он был другом ее детства. И если по какой-нибудь случайной причине он запаздывал на свидание, она становилась перед его окном и мелодичным голосом, всегда находившим отклик в его сердце, кричала ему:

— Джованни! Джованни! К чему промедленья? Иди же!..

И он тотчас же торопился спуститься в отравленный Эдем.

Несмотря на это сближение, обращение Беатриче отличалось такой сдержанностью, что в воображении юноши не возникало даже и мысли о нарушении ее границ. Они любили друг друга — все доказывало это, — а их глаза давно уже изменили им и выдали эту сладкую тайну, бывшую слишком священной для того, чтобы сорваться с их уст. Правда, они нередко говорили о любви, но никогда — в пылу страсти, когда их пламенные вздохи почти мешались меж собой. Никогда они не обменялись ни одним поцелуем, ни пожатием руки, ни какой бы то ни было другой маленькой

вольностью, составляющей мелкую любовную монету. Ни разу Джованни не осмелился дотронуться хоть бы и кончиком пальца до одного из шелковых локонов Беатриче. Одним словом, физическое препятствие, отделяющее их друг от друга, было настолько велико, что девушка старалась даже, чтобы ее платье, тронутое порывом ветерка, не задело ее возлюбленного.

Едва Беатриче замечала, что юноша готов нарушить эту преграду, на ее лице тут же появлялось такое выражение печали и боязни, что для того, чтобы привести его в себя, не было никакой надобности в слове упрека. Тогда самые ужасные подозрения пробуждались в его сердце, и чудовище поднимало перед ним свою безобразную голову; любовь исчезала по мере того, как его сомнения становились все более и более основательными. День ото дня он решался допросить Беатриче по поводу ее загадочного образа действий, но едва лишь показывалось перед ним ее красивое чистое чело, как он тут же воспринимал один только его вид за самый победоносный ответ на химеры его рассудка.

Между тем со времени последней встречи Джованни с профессором Баццони прошло уже немало времени. Но Баццони не забывал о сыне

своего друга, и однажды неожиданно появился в его комнате. Этот визит был неприятен Джованни, он предпочитал оставаться один со своими мыслями в последнее время. Поэтому Джованни холодно принял доктора и отвечал односложно на его вопросы. Но Баццони решил не обращать внимания на прием.

Поговорив об университете, где Джованни бывал теперь достаточно редко, и о разных городских новостях, Баццони сказал:

— Недавно читал я старинного классика и вычитал интересную историю, касающуюся Александра Македонского. Один индийский князь подарил ему рабыню редчайшей красы. Помимо простой физической привлекательности эту женщину отличало поистине странное свойство — от ее тела исходил такой аромат, как будто легкий ветер приносил запахи со всех розовых полей Персии разом. Как и следовало ожидать от молодого завоевателя с горячей кровью, Македонский мигом положил глаз на интригующую иностранку. Но ученый врач, изучив это чудо красоты, открыл в нем ужасную тайну.

— Тайну?.. — спросил Джованни, потупив глаза и избегая прямого взгляда профессора.

— Это очаровательное создание, — продол-

жал Баццони, — с самого дня своего рождения питалось всевозможными ядами — небольшими, но увеличивающимися дозами. Постепенно организм привык к этим ядам, и наконец для рабыни они стали совершенно безвредны, ибо она вся пропиталась ими и сама стала сильнейшей отравой, отравой во плоти. Для любого другого человека эта женщина была опасна, как ядовитая змея. Ее дыхание заражало воздух — один поцелуй в ее уста причинял немедленную смерть… Подарив рабыню Александру, тот князь просто желал таким хитроумным способом убить его. Не правда ли, это занятная история?

— Сказка, вполне пригодная для детей, — ответил Джованни, нетерпеливо отодвигая свой стул. — Удивительно, что ученый муж вроде вас может приносить в жертву подобным пустякам свое дорогое время.

— Но, кстати, — сказал профессор, поглядывая вокруг себя, — в вашей комнате царит какой-то необычайный аромат. Не надушены ли ваши перчатки? Это очень тонкий, очень сильный… но в то же время и крайне неприятный запах. Я чувствую, что не смог бы дышать им без вреда для себя продолжительное время. Можно предположить, что этот жгучий дух исходит от какого-то

цветка, но, однако, я не вижу ни одного в вашей комнате?..

— Цветов здесь в самом деле нет, — возразил Джованни, побледнев при последних словах профессора. — Я думаю, во всем повинно ваше воображение. Обоняние принадлежит к таким чувствам, что одинаково зависят как от духовной, так и от физической природы человека; и не было бы ничего удивительного в том, что вас ввел в это заблуждение обман собственных чувств. Память о запахе — одна лишь мысль о нем! — часто способна заменить собой действительность до степени полной иллюзии.

— Быть может, вы и правы, — сказал Бацтони. — Однако же мое холодное воображение редко меня обманывает. Оно не столь живо, чтобы я грезил запахами наяву. Мой почтенный коллега, доктор Раппачини, придает своим лекарствам вот такой же приятный запах. Думаю, и на его прекрасной ученой дочери лежит обязанность составлять для его пациентов некие сборы — душистые, как и все ее существо… Но да сохранит человека Небо от удовольствия дышать подобным ароматом!

Пока он говорил, на лице Джованни отражались противоречивые чувства, боровшиеся в его

душе. Тон, в каком профессор говорил о чистой и прекрасной дочери Раппачини, был истинной пыткой для его души, но намек Бацдони на скрытые стороны ее сути внезапно пробудил в нем тысячи неясных подозрений, и все они вновь отчетливо встали перед его глазами, подобно оскаленным дьяволам. Но он приложил все старания, чтобы разогнать их и возразить Бацдони с уверенностью истинной любви:

— Синьор профессор, вы были другом моего отца, и я желаю верить в ваше намерение перенести часть вашей дружбы на меня. Мне не хотелось бы ничем нарушать того чувства почтения, какое я обязан питать к вам, поэтому здесь я умоляю вас выбрать иной предмет для разговора. Вы не знаете синьорины Беатриче и потому не можете понять, какое зло — нет, святотатство! — совершают те, кто легкомысленно или оскорбительно отзывается о ней.

— Джованни! Мой бедный Джованни! — промолвил профессор голосом, полным самого ласкового сочувствия. — Я знаю эту несчастную девушку гораздо лучше, чем вы. Вы должны выслушать правду об этом отравителе Раппачини и его ядовитой дочери, столь же ядовитой, сколь и прекрасной! Слушайте же, и даже если вы стане-

те оскорблять мои седины, это не заставит меня замолчать. Эта древняя легенда об индийской красавице превратилась в факт, благодаря глубоким познаниям отца Беатриче в смертоносных искусствах!

Джованни застонал, закрыв лицо руками.

— Раппачини не жесток по натуре, — продолжал Бацтони, — но он любит науку больше всего на свете, больше собственной и любой чужой жизни. И чтобы открыть одну из тайн природы, он готов принести в жертву *любую* жизнь. Отцовские чувства к своему ребенку не остановили его — прошло уже немало времени с тех пор, как он схоронил свое сердце на дне химических реторт. Вот и Беатриче он сделал жертвой своих опытов… Она, конечно, не испытывает физических страданий от этого. Ее организм приучен к ядам, они сделались составной частью ее существа. Беатриче юна, жизнерадостна, блещет красотой и здоровьем. Но одна капля ее отравленной крови… одна слеза, упавшая из этих прекрасных глаз… все это грозит смертью всякой живой твари. Думаю, Раппачини избрал и вас объектом какого-то нового жестокого опыта. И какая тогда судьба ожидает вас? Смерть, если не что-нибудь похуже! Когда доктор ставит целью интересы того, что

считает «чистой наукой», он ни перед чем на свете не остановится.

— Но это ужасный сон, — прошептал Джованни, — наверное, это только сон…

— Ободритесь, не теряйте мужества, дитя мое, пока еще не в чем отчаиваться! Быть может, нам удастся даже избавить это несчастное дитя от ужасной участи, приготовленной ей безумием отца. Взгляните-ка на этот серебряный флакон. Он произведение знаменитого Бенвенуто Челлини и может быть предложен в подарок самой гордой красавице Италии. Но содержимое его — вот что поистине бесценно: одна капля содержащегося в нем могучего противоядия была способна обессилить самые ужасные отравы Борджиа. Не сомневайтесь же в том, что оно подействует и против ядов Раппачини. Подарите этот флакон Беатриче, заставьте ее выпить жидкость и ждите наилучших результатов!

Баццони поставил на стол восхитительный флакон, верх искусства флорентийского художника, и тотчас же удалился, желая дать своим словам необходимое время для того, чтобы они подействовали на молодого человека.

— По крайней мере, я уничтожу этого Раппачини, — говорил он самому себе, спускаясь по

лестнице. — При всем том, нужно сознаться, что это удивительный человек. Да, в самом деле, удивительный, но тем не менее он все же жалкий эмпирик, шарлатан… такому, как он, из уважения к нашей профессии мы не должны позволять заниматься медициной…

В это время Джованни терзался жесточайшей нерешимостью. Нужно ли сомневаться ему в своей Беатриче или следовать тайному влечению своего сердца? Должен ли юноша верить словам Баццони и тем подозрениям, что пробудились в его душе при виде случая с ящерицей, с увядшим букетом, со жгучими метками на руке там, где девушка коснулась его? Среди этой решительной борьбы молодой человек ощущал, как сильно возрастает в нем любопытство по отношению к Беатриче. Оно было настолько сильно, что Джованни твердо решил удовлетворить его, подробно расспросив девушку и возобновив как можно тщательнее свои наблюдения. Преследуемый этим решением, он посетил цветочника и взял у него букет из самых свежих цветов, еще покрытых блестящей россыпью росинок.

Был как раз тот час, когда он обыкновенно спускался к Беатриче. Прежде чем сойти вниз, Джованни взглянул в зеркало, страшась увидеть

в нем свое измученное, истомленное какой-нибудь неизвестной болезнью, чьи симптомы умудрились ускользнуть от внимания, лицо. Он был приятно удивлен, заметив, что еще никогда цвет его кожи не был так свеж, да и глаза казались исполненными жизни и блеска. «По крайней мере, — подумал он, — ее яд не успел еще коснуться моего организма. Да и сам я не цветок, гибнущий от одного касания».

И тут его взгляд упал на букет, все это время удерживаемый им в руке. Необъяснимый, леденящий ужас охватил его, когда он заметил, что недавно распустившиеся и сверкающие росой цветы поникли головками и увяли, точно сорванные давным-давно! Белее полотна Джованни замер перед зеркалом, в испуге глядя на свое отражение, как будто узрел перед собой монстра.

Вспоминая слова Баццони о странном запахе в комнате — должно быть, исходившем от его собственного отравленного дыхания! — Джованни содрогнулся от страха перед самим собой. Выйдя из ступора, он заметил паука, усердно плетущего обширную паутину в углу старинного карниза; усердный труженик энергично и ловко сновал туда-сюда по сложным переплетениям нитей.

Джованни наклонился поближе к ткачу и, на-

брав полную грудь воздуха, выдохнул на него. Тот резко остановил работу. Нежные нити задрожали, сотрясаемые конвульсиями маленького тела. Джованни снова дунул на паука, направив более сильный поток воздуха, теперь отравленного и ядом его души. Он не понимал, какие чувства им движут — злоба или просто безысходность. Паук в агонии дернул лапками и мертвый безвольно повис в сетях.

— Проклятье! Проклятье! — с отчаянием воскликнул Джованни. — Неужели я настолько пропитан ядом, что мое дыхание смертельно даже для несущего собственный яд паука?

В это время он услышал за окном переливчатый голос Беатриче:

— Джованни, почему ты не идешь? Я давно жду тебя.

— Сейчас иду! — ответил несчастный юноша. «Да, — проговорил он уже про себя, — уж конечно, я хочу быть сейчас возле тебя, Беатриче… Ты одна, к кому я могу приблизиться без страха сделаться убийцей».

И он сбежал по лестнице, как безумный, и выскочил в сад.

Ласковый взгляд девушки и ее оживленная улыбка сразу утешили Джованни. Он встал подле

нее, молчаливый и неподвижный. И когда она сказала: «Ну что же, идем!», молодой человек последовал за ней, как послушный ребенок. Когда они подошли к огненно-алому кусту, Джованни начал жадно вдыхать его аромат — так, как истомленный путник припадает иссохшими губами к холодному источнику.

— Беатриче, — в какой-то момент придя в себя, резко спросил он, — откуда появилось это растение?

— Его создал мой отец, — наивно ответила она.

— Как создал? — переспросил Джованни. — Что ты подразумеваешь под этим?

— В природе нет более тайн для моего отца, — произнесла она. — Растение это вышло из земли в тот самый день, когда я появилась на свет. Мы оба его дети. Одна — плод науки, другая — любви… Не подходи к нему ближе, Джованни! — вскричала она в страхе, заметив, что юноша подобрался почти вплотную к кусту. — Оно обладает свойствами, о каких ты даже не подозреваешь… Мой возлюбленный Джованни, я выросла в его тени, питаясь летящей от него пыльцой… Оно моя сестра, и я питаю к нему любовь, как к человеку, потому что — увы, ты верно заметил это, — меня связывает с ним тайна…

Тут Джованни бросил на девушку такой мрачный взгляд, что она, дрожа, остановилась, но затем, стыдясь своей боязни, продолжила:

— Да, надо мной тяготеет грозная судьба — роковая наука моего отца разлучила меня со всем миром. До той минуты, когда небеса ниспослали мне тебя, мой милый Джованни, твоя Беатриче пребывала в полном одиночестве.

— И ты находишь свою участь ужасной? — спросил юноша, пристально глядя ей в глаза.

— Только очень недавно я поняла весь ее ужас, — нежно произнесла она, — так как до этого времени мое сердце было словно в оцепенении, бывшем для меня покоем.

Долго сдерживаемая беспомощная ярость Джованни вспыхнула при этом, подобно молнии из тучи.

— Проклятая! — вскричал он гневно. — И нужно же было тебе только потому, что горечь одиночества снедала тебя, вырвать в свой черед и меня из общества моих ближних… лишь для того, чтобы увлечь в ту ужасную изоляцию, что стала тебе домом!

— О, Джованни! — только и смогла вскричать Беатриче, устремив на него взгляд больших и ясных глаз. Она еще не осознала всего значения

сказанных им слов, но сам тон, каким он произнес их, как громом поразил ее.

— Да, да, ходячая отрава! — продолжал он вне себя от гнева. — Ты добилась своего и заклеймила меня проклятием. Ты влила яд в мои жилы, отравила мне кровь и сделала из меня такое же ненавистное смертоносное существо, как ты сама, отвратительное чудовище! А теперь, если наше дыхание одинаково смертельно для нас, как и для всех других, давай соединим наши уста в поцелуе ненависти и умрем!

— Что ты такое говоришь? — прошептала Беатриче. — Пресвятая Дева, сжалься же над моим разбитым сердцем!

— И ты еще взываешь к Деве? — продолжал Джованни все с тем же презрением. — Разве молитвы, срывающиеся с твоих уст, не отравляют воздух дыханием смерти? Что ж, хорошо! Помолимся, пойдем в храм и омоем руки в чаше со святой водой у входа! Те, кто поступят так же после нас, падут мертвыми, как от чумы. Мы можем еще осенить воздух крестным знамением, изображая руками своими священный символ, и посеем вокруг себя смерть!

— Джованни, — ровным голосом произнесла Беатриче, так как скорбь уничтожила в ней даже

намек на обиду. — Зачем соединяешь ты меня и себя в этих ужасных проклятиях? Ты прав, я чудовище, но ты? Что тебя держит здесь, почему, содрогнувшись от ужаса при мысли о моей судьбе, не оставляешь ты этот сад, чтобы смешаться с себе подобными и навсегда забыть, что по земле ходит такое презренное создание, как бедная Беатриче?

— И ты еще притворяешься незнающей? — грозно спросил Джованни. — Взгляни, вот какой силой наградила меня чистая дочь Раппачини!

Рой мошек носился в воздухе в поисках пищи, обещанной им ароматами экзотических цветов в роковом саду. Они вились и вокруг головы Джованни, по-видимому привлеченные тем же ароматом, какой влек их к кустам. Он дохнул на них и горько улыбнулся Беатриче, увидев, как рой маленьких насекомых мертвым просыпался на землю.

— Теперь я вижу, вижу! — воскликнула Беатриче. — Это все плоды черной науки моего отца. Я непричастна к этому, нет, нет! Я хотела только одного тебя любить, мечтала побыть с тобой хоть недолго, а потом отпустить, сохранив твой образ в сердце. Верь мне, Джованни, хотя тело мое питалось ядами, душа — от Бога, и ее пища — любовь.

Мой отец соединил нас страшными узами без моего ведома. Презирай меня, Джованни, растопчи, убей — что мне смерть после твоих проклятий? Но не считай меня виновной! Даже ради вечного блаженства не совершила бы я такой грех!

Между тем гнев Джованни, вылившись в словах, мало-помалу исчез. В нем осталось только болезненное чувство, но не без примеси нежности вследствие тесной связи, что уже существовала между ним и Беатриче. Они оба стояли в саду — юные, прекрасные, глубоко любящие друг друга, одинокие, но находившиеся в очаровательном уединении, от внешнего мира отделенные только несколькими кустами цветов. Они могли жить так, как хотели, друг другу заменяя весь мир, вдали от грязи и мелочности того света, отлучение от которого им казалось столь жестоким. Здесь, в саду, и был уготован для них рай вечного счастья.

Но Джованни не осознавал этого.

— Моя дорогая Беатриче, — сказал он, приблизившись к девушке, задрожавшей при его прикосновении. — Дорогая Беатриче, судьба наша не так уж безнадежна. Взгляни сюда! В этом флаконе заключено, как заверил меня один ученый доктор, противоядие, обладающее могущественной, почти что божественной силой. Оно

составлено из веществ, совершенно противоположных по своим свойствам тем, с чьей помощью твой отец навлек столько горя на тебя и меня. Выпьем его вместе и так очистимся от зла.

— Дай, дай скорее! — вскричала Беатриче, протягивая руку, чтобы схватить флакон, вынутый Джованни из-за пазухи. — Я выпью… Но ты подожди действия этого противоядия и только потом последуй моему примеру!

Она поднесла флакон к своим губам. В то же самое время на пороге погруженного во мрачную тень крыльца появилась бледная фигура Раппачини, медленно направлявшегося к влюбленным. При виде этой прекрасной пары улыбка торжества озарила безрадостное лицо старика — улыбка художника, закончившего свое образцовое произведение и попятившегося назад, чтобы полюбоваться его общим видом. Он остановился; его стан, казавшийся давно и безнадежно согнутым годами, выпрямился; он простер над ними руки, подняв взор к небесам, словно моля их ниспослать благословение на молодых людей. Но руки его были теми же самыми руками, что напоили их ядом. Джованни весь задрожал, и Беатриче тоже затрепетала, но совсем по другой причине. Она поднесла руку к сердцу, словно

желая сдержать его биение.

— Дочь моя, — произнес Раппачини, — ты не будешь больше одинокой в мире. Сорви же один из прелестных цветов этого куста твоей сестры и вручи его избраннику твоего сердца. Он не может более быть ему вредным. Моя наука и ваша любовь совершили это чудо. Так ступайте же теперь, дети мои, в среду этого развращенного мира, обожая друг друга и оставаясь роковыми для всех, кто приблизится к вам.

— Отец, — произнесла Беатриче слабым голосом, все еще держа на сердце руку, — зачем наградил ты таким ужасным даром твою несчастную дочь?

— Несчастную? — повторил Раппачини. — Что хочешь ты этим сказать, безумное дитя? Думаешь ли ты, что можно быть несчастной, будучи одаренной таким чудесным талантом? Против тебя останутся бесплодными все усилия самого могущественного из врагов, оттого лишь, что насколько ты прекрасна, настолько и грозна. Несчастная! Разве ты предпочла бы оставаться обыкновенной женщиной, беззащитной перед оскорблениями и неспособной отомстить за них?

— Мне хотелось бы скорее быть любимой, чем

возбуждать во всех чувство боязни, — прошептала Беатриче, приближаясь к обмороку, — но теперь уже слишком поздно. Теперь я удаляюсь туда, где наполняющий меня яд исчезнет, как дым, и где благоухание ядовитых растений сменится ароматом райских цветов. Прощай, Джованни, твои слова, брошенные во гневе, разбили мне сердце, но я скоро забуду их…

Так погибла Беатриче — та, кому яд был жизнью, а противоядие причинило смерть. Так увяла у ног своего отца и возлюбленного эта печальная жертва науки и судьбы.

В эту минуту в окне комнаты Джованни явилось лицо профессора Баццони. Голосом, полным торжества с примесью ужаса, ученый вскричал, обращаясь к своему перепуганному коллеге:

— Раппачини! Раппачини! Такого ли результата ждал ты от своего опыта?..

Перевод с английского А. Галибина[26]

---

[26] Примечания: 26

Воспроизводится по изданию: Фантастические рассказы / Натаниэль Готорн; пер. А. Н. Галибина — Москва: Университетская типография, 1900. — С. 45–95. Примечателен факт, что знакомство с рассказом Готорна именно в настоящем переводе вдохновило русского писателя-символиста Федора Сологуба на написание драмы «Отравленный сад».

Эдвард Герон-Аллен
Девушка-гепард

После долгого и муторного дня в Лондоне я вернулся домой, физически и чувственно истощенный. Все мои обязанности были выполнены, и я чувствовал, что готов ко всему. Однако я осознал, что даже мысль об убийстве жены — сущее безумие. «Я собираюсь убить жену» — вот, я написал эти слова с целью привести себя в чувство… Ведь только сегодня я думал о том, что люблю ее сейчас даже больше, чем в пору нашего свадебного путешествия несколько месяцев назад.

Хотя это ужасно звучит, ей нужно уйти из жизни как можно скорее. Для благополучия человечества необходима ее гибель. Безусловно, будет проведено следствие после смерти, и я уже сейчас боюсь, что могут обнаружить при вскрытии ее великолепного тела. Но все же я тщательно все обдумал и решил, как все устрою. Очень сложно будет связать меня с ее уходом из жизни даже косвенно. Однако я уладил все дела в меру сил на тот случай, если меня все-таки обвинят в убийстве.

Я не намерен оправдываться или разъяснять

свои действия. Мне нужно сделать это в честь ее матери, в память о моем предшественнике на кафедре физиологии в университете и воспоминании о трех месяцах, когда я испытал наивысшее блаженство. Даже если я решу объяснить свой поступок, кому это будет интересно? Возможно, у меня есть способные склонить чью-нибудь веру на мою сторону доказательства, но смогу ли я потом нормально чувствовать себя в обществе? Ха, никогда! Однако в интересах науки я обязан изложить обстоятельства, приведшие к моему решению, какое я ныне стремлюсь воплотить в жизнь.

Я оставлю этот документ в университетском архиве с условием, что его можно будет прочитать только после моей смерти через много лет. У меня нет близких родственников, я не собираюсь вступать в брак во второй раз, и никто из живущих сейчас не пострадает от этого знания. В любом случае информация, содержащаяся здесь, вероятно, не будет широко распространена, даже если она окажется важной для будущих физиологов и если ее вообще можно будет передать кому-либо без нарушения профессиональной тайны.

На том завершаю я свое введение. Разумно начать эту хронику с 19… года, когда я, удостоив-

шись степени доктора медицинских наук, был назначен ассистентом и лаборантом профессора Пола Бэрроудейла, члена Королевского общества и главы кафедры физиологии в университете Космополиса. Я не буду касаться сейчас нашей академической деятельности — определенную информацию насчет исследований, проведенных под руководством этого блестящего смелого физиолога, не составит труда отыскать в современных периодических изданиях, посвященных науке. Нет, здесь я в первую очередь попытаюсь описать наши с ним межличностные отношения; практически сразу они переросли у нас в крепкую дружбу. Работая вместе с ним в университете, я увидел в Бэрроудейле выдающегося ментора, а он во мне — преданного и прилежного ученика. За пределами работы наши интересы и взгляды до странности совпадали, ибо Пол Бэрроудейл не был ограниченным или сухим ученым. Он вполне ценил радости жизни, любил вино, женщин, музыку, путешествия, литературу и искусство. Его увлечения находили во мне живой отклик, и мы стали настолько близкими друзьями и товарищами, насколько это вообще возможно между ученым профессором и его скромным ассистентом.

Однако была одна тема, какой он всячески избегал даже в самые откровенные секунды, и я ни разу не осмеливался нарушить этот обет молчания, распространяемый профессором в первую очередь на себя. Речь шла об одной особе по имени миссис Клэйборн. Вокруг этой женщины в университете ходили всякие слухи, особенно учитывая свободный образ жизни Бэрроудейла, что вызывал неудовольствие у иных профессоров и их жен. Но никто так и не решился на открытый конфликт, понимая, что любой скандал придется быстро замять, если Бэрроудейл захочет жениться на одной из дочерей сотрудников университета. Вкушавший все радости холостяцкой разгульной жизни ученый, чтобы вы понимали, обладал слишком уж хорошим денежным состоянием, и на многое в его отношении смотрели сквозь пальцы.

Миссис Клэйборн жила в уютном домике в пяти километрах от города. Считалось, что Бэрроудейл был ее доверенным лицом и управлял ее делами. У нее была дочь, но ее никто не видел, и никто не знал, родилась девочка до или после приезда женщины. Одна из дам нашего академического света, матрона с дочками на выданье, зашла так далеко, что сумела выяснить: рождение девочки,

носившей вычурное имя Юнона, не было зарегистрировано в реестре округа. Кроме этого, не было известно ровно ничего. Бэрроудейл никогда о ней не заговаривал, и если, как иногда шушукались в университете, затаив дыхание и с глазу на глаз, девочка и приходилась ему дочерью, ничто в официальных документах не могло хоть как-то указать на сей факт или послужить его недвусмысленным доказательством.

Я видел ее однажды: прогуливаясь с Бэрроудейлом, мы встретили миссис Клэйборн и ребенка — уродливое, землисто-смуглое маленькое существо, показавшееся мне на редкость отталкивающим. Миссис Клэйборн выглядела как нервная, увядшая, абсолютно невзрачная женщина с повадками тихони и не запоминающейся внешностью. Она никуда не ходила и никого не хотела знать. Ни мать, ни дочь ни в малейшей степени не занимали мои мысли. Время от времени, припоминаю, студенты презрительно отзывались о «женщине старика Бэрроудейла», но иных настойчивых пересудов по университету не ходило.

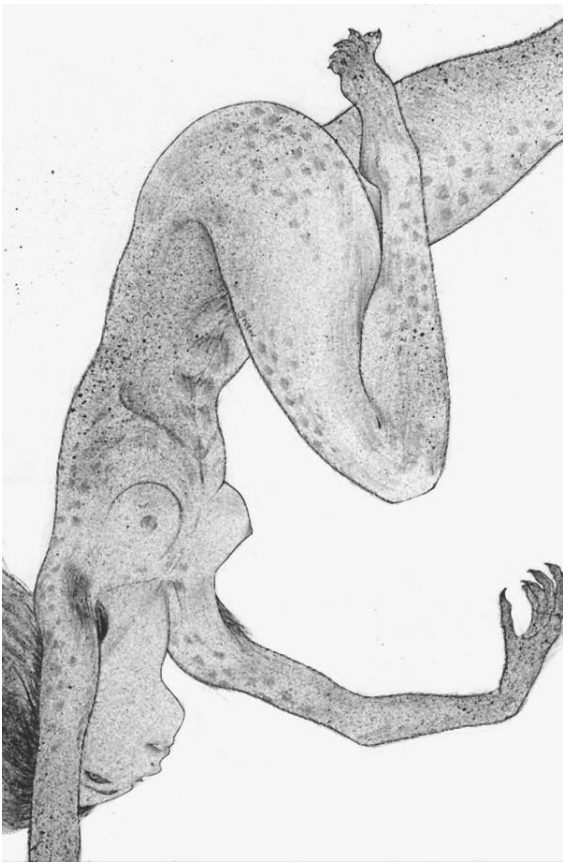
Несколько лет пролетели незаметно, как день. За это время работа в лаборатории и на факультете, а также радость товарищеского общения

так тесно сплелись воедино, что я даже отклонил предложение о профессорской должности в Северном университете. Я не хотел разлучаться с Полом Бэрроудейлом и прерывать наши совместные исследования, имевшие огромную физиологическую значимость. Он был мне признателен за это решение и, я уверен, не упускал возможности донести до руководства, что видит во мне подходящего и наиболее желаемого преемника на кафедре после его ухода на пенсию или в случае его кончины. А кончина его, к сожалению, наступила неожиданно, с ужасающей быстротой… Всего за несколько дней до нее Бэрроудейл выглядел измученным, нервным и каким-то, не знаю, потерянным. Мне было известно, что он несколько раз навещал миссис Клэйборн. Одним вечером он вернулся домой совершенно обессиленным и промокшим до нитки. На следующий день у него поднялась высокая температура, а к вечеру развилась септическая пневмония в самой опасной форме. Через сутки его не стало.

Вскоре я узнал, что Пол Бэрроудейл определил меня, наряду со своим юридическим представителем, уважаемым пожилым человеком из высшего света Лондона, исполнителем завещания и распорядителем всех дел. Миссис Клэйборн

была назначена получательницей ежегодного дохода в шестьсот фунтов стерлингов; после ее кончины выплаты должны были перейти к Юноне. Вероятно, Бэрроудейл не имел близких родственников, ибо оставшаяся часть его состояния была передана в дар университету.

Бедная женщина, казалось, была опустошена кончиной Бэрроудейла. Она навещала меня в Космополисе всякий раз, когда ей требовалась консультация по делам, оставаясь все такой же тревожной, тусклой личностью. Должен признаться, я питал надежду, что она как-нибудь упомянет об отце Юноны, но, несмотря на мои ненавязчивые попытки, она ни разу не ответила на мой интерес, а я, не испытывая особого любопытства, не стал углубляться в этот вопрос. Меня куда больше заботило то, что я стал преемником профессора на кафедре физиологии — соответственно, у меня не было ни времени, ни желания беспокоиться о своих двух негаданных подопечных.



Забежим теперь вперед во времени. Последний семестр подошел к концу, и весь наш преподавательский состав радостно гудел в предвкушении долгого отпуска. Я запланировал длительный вояж через Луару на юг Франции: оставленные мне завещанием Бэрроудейла щедрые десять тысяч фунтов могли не просто позволить мне это путешествие, но и приятно его скрасить. В этот памятный день я получил от пожилого лондонского компаньона по распорядительству наследием Бэрроудейла какую-то бумагу, связанную с изменением плана инвестиций. Решение требовало подписи миссис Клэйборн, и я, не располагая временем для сочинения корреспонденции, вскочил в свой двухместный автомобиль и поехал к ней домой прямой наводкой. Каково же было мое удивление, когда на мой звонок в дверь откликнулось самое прелестное создание из всех, мною виденных за жизнь, а я ведь повидал немало!

— Миссис Клэйборн?.. — начал было я.

— Матери нет дома, — ответила прелестная незнакомка. — Вы же профессор Мэгли? Ах, прошу вас, заходите внутрь.

Она протянула мне руку, и я осторожно пожал ее. Так, держась друг за друга, мы с ней и вошли

в гостиную — уютное маленькое помещение, обставленное с хорошим вкусом и все еще несущее на себе сильный отпечаток прижизненных пристрастий Бэрроудейла. Здесь все было устлано персидскими меховыми коврами, пропитанными теплым, чувственным духом, и я вдруг понял, что от пальцев девушки, плотно сомкнутых на моих собственных, идет будто электрический разряд, посылая волну сильного физического желания прямо в бедный мой мозг. Когда она наконец дозволила мне свободу, выпустив руку и встав перед мной, да еще при этом чуть приотворив губы в улыбке, более возбуждающей, чем все, что мне до сей поры доводилось видеть, я просто онемел и застыл, тараща глаза на нее. Мое сердце бухало в груди молотом.

Передо мной стояло изящное существо, ростом выше среднего, скорее драпированное, чем одетое, в тускло-красный шелковый халат, сдержанно зафиксированный на ее талии замшевым пояском. Халат, запахнутый в области груди — и одна грудь, совершенной формы, почти вырывалась из складок ткани, — опускался немного ниже колен, где босые ноги были обуты в меховые домашние тапочки. Мне казалось, что под этим облегающим одеянием на ней совер-

шенно ничего нет! Ее лицо трудно было описать простой, расхожей палитрой слов, используемой джентльменами для живописания женской красоты: у нее были каштановые густые волосы, собранные в свободный пучок на макушке, и очень густые темные брови, бросавшие тень на по-египетски длинные, ленно полуприкрытые глаза; и само лицо имело золотисто-смуглый оттенок из-за пушка, едва заметного на щеках, но очень явного в уголках верхней губы. Она опустила руки, глядя на меня с этой завораживающей улыбкой, а кончик ее алого языка медленно пробежал вдоль нижней губы. Даже в этот сам по себе магический момент я поразился ее маленьким, но удивительно длинным клыкам, почти *собачьим*, что придавали ее улыбке какое-то невыразимое и уникальное очарование.

Не говоря ни слова и, думается, совершенно бессознательно я протянул ей руки, и она сама шагнула в мои объятия. Я прижал ее тело к себе, и наши губы соединились. До тех пор я считал, что изведал поцелуи. Наивный я! Томительная страстность лобзаний Юноны не походила ни на что, о чем я мог мечтать, что мог представлять в грезах. Ее язык, искавший мой, был странно длинным и твердым, и, несмотря на все исступление,

ее вкусовые сосочки запомнились мне набухшими и почти шероховатыми. Утонченная сила ее поцелуя видится мне чем-то за гранью описания. Она плотно сдавила меня руками, сплетя пальцы у меня за спиной, и ее теплая ляжка проскользнула меж моих колен с игривой уверенностью. Уверен, что упал бы, если бы она мягким движением не высвободилась и, снова найдя мою руку, не потянула меня к низкому дивану, покрытому тонко выделанными шкурами — очевидно, тут она и нежилась, когда я пришел. Добравшись до дивана, она бросилась на шкуры, и тут ее на диво мускулистая, лишенная девичьей рыхлости нога, оголившись до середины бедра, выскользнула из-под ткани халата. Она протянула ко мне руки в очевидно зазывном жесте, и как раз в этот момент открылась дверь, и в комнату тихо вошла миссис Клэйборн.

Я не знаю, что можно было прочесть на моем лице, когда я повернулся к ней, но если оно повторяло выражение Юноны, миссис Клэйборн должна была быть слепой, чтобы не понять все с первого взгляда. Я начал, то и дело запинаясь, рассыпаться в извинениях и кое-как сбивчиво объяснять причину своего визита. Она явно была очень расстроена и огорчена, но отвечала лишь

короткими, отрывистыми фразами:

— Понимаю, понимаю. Я не могла ожидать — никто не приходит сюда… выходить не стоило… я обычно отвечаю сразу… Пожалуйста, принесите бумаги сюда. — Женщина увела меня в столовую, где держала ручки и прочие письменные принадлежности.

Все это время Юнона не шевелилась и не издавала ни звука, а просто лежала, клубком свернувшись на диване, наблюдая за мной огромными глазами и как бы покачивая прекрасной улыбкой из стороны в сторону — иначе я не могу это описать. Тапочек свалился с ее ноги, оставшейся беззаботно не прикрытой ее халатом, и двигалась единственно эта нога, точнее пальцы: они размыкались, смыкались и загибались к стопе в ритмичном танце — и это казалось мне чем-то очень распутным, зовущим к немедленному соитию.

Миссис Клэйборн подписала все документы нетвердой рукой, ни словом не обмолвясь о Юноне. Тишина давила на нервы, и я решился нарушить ее, заметив тактично:

— Как быстро ваша дочь доросла до такой… яркой, зовущей… молодой особы!

— Яркой? — бездумным эхом повторила миссис

Клэйборн. — Да, она быстро растет. Как-то даже *слишком* быстро. — Она нервно закусила губу и без того серую и изжеванную. — За ней нужен глаз да глаз. Если это в моих силах, я не оставляю ее одну, но я не ждала гостей, вот и вышла по пустякам… служанки нет… так что… — Просыпав в воздух еще несколько таких вот бессвязных фраз, женщина замолчала. Я осознавал, что чем-то очень смущаю ее, так что, прощаясь, старался вменить ей собственные радушие и непринужденность. При этом кровь закипала у меня в жилах, а сердце не желало унимать бег.

Покинув дом, я глубоко вздохнул, не в силах отделаться от ощущения, будто я с ног до головы пропитан резким, мускусным ароматом комнаты Юноны и самой ее хозяйки. Был ли надушен ее диван или она сама, не знаю, но только все ее тело источало аромат, поистине опьяняющий и немного *дикарский*. Он овевал меня на всем пути домой и даже дома, где я распахнул все окна, лишь бы отделаться от него. Едва ли нужно добавлять, что я не мог выбросить ее из головы весь день — да и не желал того! — и грезил о ней наяву и во сне!

На следующее утро я продолжил сборы во Францию. Университет пустел, один за другим

преподаватели отбывали на лето, и я сказал себе:

— Господин хороший, лучше вспомни — ты законный опекун этой девицы! Бэрроудейл доверился тебе в ее отношении. Очень славно, что завтра ты уезжаешь на долгих три месяца. А как воротишься, держись от нее подальше, будь умницей! — Так увещевал я себя, остро понимая, что хочу Юнону больше всех благ на свете.

К полудню в университете не осталось практически ни души. Покончив со сборами, я взялся было за мудреный немецкоязычный цитологический трактат, но мой разум просто отказывался сосредоточиться на чтении. Все мои чувства были выкручены на максимум, до одури обострены и гипертрофированы.

Услышав, как кто-то, крадучись, вышагивает по двору и быстро взбегает вверх по моей лестнице, я напрягся. В дверь осторожно, но настойчиво постучали… о, еще не открыв, я уже был уверен в личности моего гостя — точнее, гостьи!

Секунда, и мы сплелись в жарких объятиях. Наш долгий французский поцелуй для меня был подобен исполнению самой грандиозной мечты. В моей комнате стоял диванчик — не менее сподручный добровольный соучастник, чем за-

драпированная шкурами софа в ее покоях, — и мы повалились на него без единого слова. У Юноны, как выяснилось, подступил срок месячных — в такое время молодые женщины обыкновенно воздерживаются от резвых ласк, — но даже это не помешало нам отдаться друг другу, забывая обо всем, кроме стремления к взаимному обладанию, и кружась в алом мороке экстаза.

Вскоре, когда мы смогли заговорить — до тех пор ни она, ни я не проронили ни слова, — я поинтересовался, как ей удалось сбежать от матери.

— О, она всю ночь прошаталась по дому без сна, — сказала Юнона, — а нынче днем до того измоталась, что просто заперла парадную дверь и черный ход и завалилась спать. Но я вылезла из окна и спустилась по стене! Я так сильно, так страстно хотела к тебе…

Время пролетело в вихре чувственного восторга, и о нем невозможно рассказать прямо — не из желания утаить что-либо. Я намерен зафиксировать все произошедшее с предельной точностью и без купюр, а потому, что волшебство, явленное Юноной, выходило за рамки словесного выражения и описания. Я наивно полагал, будто знаю, что такое страсть, — как же я ошибался! Я даже не подозревал об ее истинных масштабах.

Если Юнона была восхитительна в своем простом алом халате, то что можно сказать о ней без него! Ни один живописец или ваятель даже в самых смелых фантазиях не создавал и уж тем более не воплощал настолько идеальное тело. Ее грудь, совершенная по форме, напоминала дуэт безупречных взгорий, а соски интересно выделялись на фоне ореолов из мягких, каштановых кудряшек, пленяя взгляд своей розовой нежностью. Ее подмышечные впадины поражали густотой волос, и я быстро понял, что прикосновения и поцелуи в этой области вызывали у нее бурю эмоций. Этот факт заслуживал внимания и, как выяснилось позже, оказался весьма полезным.

Все ее тело покрывал нежный пушок, характерный для многих блондинок, но у нее он был более насыщенного оттенка, с вкраплениями небольших полос и кругов более темного цвета. Ниже пупка этот пушок плавно переходил в роскошные лобковые кущи, пролегающие от одного бедра к другому. Густота волос сочеталась с необычайной мягкостью — кошачий мех, да и только! Это было так восхитительно и, если использовать единственное слово, способное описать любую из ее экзотических особенностей,

опьяняюще… Ее предплечья и ноги отличались приятной пушистостью, а вдоль спины тянулась тонкая полоска меха, словно приглашая к самым изощренным ласкам.

Мы лежали в объятиях друг друга, шепча страстные тайны. Я был в шелковом халате, а она была обнажена, лишь в украшении своей кожи и волос. Внезапно дверь — мы, конечно, забыли ее должным образом запереть, — распахнулась, и перед нами предстала сама миссис Клэйборн, этакая обескураженная каменная гостья.

Я вскочил и заговорил, торопясь взять ситуацию под свой контроль.

— Не осуждайте нас! — воскликнул я. — Наше чувство искренне, я никогда не испытывал подобной любви. Мы поженимся, я заключу официальный брак завтра, Юнона станет моей супругой. Простите нашу страсть, мы не могли ей сопротивляться. Вы, как женщина и мать, должны понять… Теперь у вас не только дочь, но и преданный зять! — На этом заявлении я взял для передышки паузу, предоставляя женщине возможность сказать свое веское слово. Но миссис Клэйборн молчала, будто язык проглотив. С серым и изможденным лицом она опустилась в кресло, переводя взгляд с меня на Юнону. Юно-

на возлежала на диване весьма беззаботно, не задумываясь о своей обнаженности, и смотрела на нас с той же прекрасной улыбкой, что меня очаровывала прежде, а ее красный язык плавно скользил по нижней губе в уже знакомом сигнале соблазнения. Затем миссис Клэйборн с трудом встала и сказала:

— Нет, нет, никогда этого не должно быть. Вы… вы не понимаете. О, я испорченная женщина! И она… В такие моменты она не несет ответственность за свои поступки, не зная, что делает. Я никогда не оставлю ее без присмотра, пока угроза не минует. Просто… просто дайте мне унести ее!

Не поняв логику ее посыла, я решил стоять на своем:

— Дорогая леди, необходимо решить этот вопрос. Мы оба молоды — ну, будем честны, я *сравнительно* молод, — и, учитывая мою позицию в университете и весьма недурной доход, я могу предложить вам лучшее будущее. Для вас я буду как сын, а для нее — как муж. Уверен, наш общий друг Бэрроудейл дал бы добро. Он ценил меня больше всех, когда был жив, и…

Когда прозвучало имя Бэрроудейла, женщина вздрогнула и воскликнула:

— Нет, нет! Уж он-то бы не согласился! Он бы

скорее покончил с собой — после того, как покончил бы с *ней,* — чем позволил бы этой ситуации сложиться вот так. Прошу меня искренне извинить… но я… я забираю ее сейчас же. Мы уходим, Юнона!

— Просто поймите, я уже согласен на помолвку, — неуклюже объяснился я.

— Что? *Помолвка?* Ну вот еще! Она никогда не выйдет замуж. Ей это… нельзя! Точка!

С этой женщиной не было смысла вступать в долгие переговоры. Честно говоря, она казалась мне безумной, как шляпник.

Юнона встала во всей своей величественной голой красоте и позволила матери одеть ее дрожащими руками, пока я наблюдал за происходящим. Мой вид в тот момент был жалок. Когда с облачением было покончено, миссис Клэйборн увела Юнону. Они обе удалились, даже не оглянувшись на меня.

Инцидент оставил меня напрочь раздавленным. Невозможно передать фантасмагорию мыслей, мучавших меня всю оставшуюся часть дня и весь вечер. Было очевидно, что мне нельзя покидать Англию, пока я не разберусь в этом деле и не поставлю его на прочный фундамент. Я продолжал размышлять. Что за дикая блажь уда-

рила в голову этой женщине? Я пытался понять и напрягал свой ум в поисках объяснения. Девушка была полна страсти, ей все равно суждено было рано или поздно попасть в объятия какого-то случайного эгоиста, и даже если предположить, что эта страсть в какой-то степени продиктована чем-то вроде душевного расстройства, то разве не естественно препоручить ее мужчине, способному о ней позаботиться?..

Я утомил себя этими размышлениями и в полночь упал на постель.

В кромешной тьме, около трех часов, неожиданный стук в дверь вырвал меня из тенет сна. Сердце бешено заколотилось, я мигом поднялся — это могла быть только Юнона! И действительно, на пороге стояла она. Позже выяснилось, что она смогла обмануть сторожа, убедив его, что мать направила ее со срочным известием, а также используя иные доводы, оказавшиеся весьма действенными.

— Любимый, я вновь упорхнула, — проговорила Юнона, как только я обнял ее. — По-моему, мать потеряла рассудок. Укрой меня от нее и прими к себе. Завяжем узы брака или нет, мне все равно, я обожаю тебя и так и жажду столь сильно, что готова уничтожить кого угодно, кто встанет

между нами…

Что мне оставалось делать? Моя страсть к ней не уступала ее к страсти ко мне. Она жаждала любви — немедленной, горячей, — но я-то со своим, смею надеяться, отчасти здравым смыслом приготовил кофе, тосты и омлет и заставил ее поесть со мной.

Потом мы тихонько сошли вниз, пройдя мимо щедро подкупленного сторожа (после окончания семестра он снова стал обычным человеком, а я перестал быть преподавателем), донесли мои уложенные с утра сумки до гаража, вывели автомобиль и отправились прямой наводкой в Лондон, где заселились в тихом отеле на западе центрального городского района. На следующий день утром я посетил адвоката Бэрроудейла, а Юнона отправилась гулять по магазинам — она-то оставила дом совершенно без приданого!

В общих чертах изложив произошедшее адвокату — он был ужасно сконфужен, — я получил в коллегии юристов специальное разрешение на заключение брака. Мы с Юноной расписались, после чего сбежали — да, иначе об этом просто не сказать — в Париж. Оттуда мы сообщили миссис Клэйборн о нашем новом статусе, не указав адрес, а лишь дав понять, что уедем как минимум на три

месяца и отправим ей адрес в надежде на ответ и извинения. Единственным человеком, кто знал мое местоположение, был тот продолжавший ужасаться ситуации адвокат.

* * *

Будь обстоятельства иными, я бы с огромным удовольствием увяз в воспоминаниях и зафиксировал бы на бумаге все те чувства изумления и восторга, что переполняли меня во время нашего невероятного свадебного путешествия — самого прекрасного, какое только может привидеться смертному. Юнона, к моему изумлению, прежде ни разу не покидавшая пределов Космополиса, была очарована увиденным, и ее восторг проявлялся не наивным и ребяческим образом, как можно было ожидать, а был исполнен глубокого благоговения. Величие природы, произведения искусства, архитектурные шедевры и пережитки древних эпох наполняли ее душу глубоким счастьем, — и это удивительным образом переплеталось с чувственным наслаждением жизнью. Обладая проницательным умом, она проявляла живой интерес ко всему, что видела, и как только мы оказывались в каком-нибудь живописном месте, ее охватывала особая волна

страсти, мигом передающаяся и мне. Пейзажи Вандеи и бесчисленные уголки западной и южной Франции, где мы спонтанно останавливались и бродили без цели, отпечатались в моей памяти как декорации, щедро украшенные вязью утонченного чувственного удовольствия. Поспешность, сопровождавшая наше бегство из Космополиса, казалось, в полной мере раскрыла телесные и душевные качества Юноны, но и впоследствии она проявляла удивительную восприимчивость к эмоциональным стимулам, и порой я даже опасался, что это истощит ее силы. Но мы были полны решимости жить настоящим моментом и наслаждались днями и ночами, превосходящими и самые смелые фантазии восточных сказочников.

Однажды утром, в Авиньоне, когда Юнона нежилась в моих объятиях, наблюдая за восходом солнца сквозь распахнутое окно, она прошептала, нежно прижавшись губами к моим:

— Рекс, я жду ребенка.

Этого оказалось достаточно, чтобы наше счастье стало полным, даже если с тех пор взаимное влечение стало более обдуманным и, возможно, чуть менее пылким. Я всегда умел вызывать в ней сильное желание, нежно касаясь и переби-

рая восхитительные волосы в ее подмышечных впадинах, и, удовлетворив ее потребность, мог тем же способом успокоить и погрузить в сон. В то же время ее страстное влечение ко мне как к мужчине постепенно сменилось сильными материнскими чувствами.

Едва осознав свою беременность — в ней у нее не было никаких сомнений, — Юнона написала матери, и мы с нетерпением ждали ее ответа, чувствуя, что новость станет шагом на пути к материнскому прощению и примирит миссис Клэйборн с браком, коему она столь упрямо противилась. Прошла неделя, и я получил телеграмму от лондонского поверенного. Она гласила: *«Миссис Клэйборн скоротечно скончалась при скорбных обстоятельствах, рассчитываем на ваше скорейшее возвращение»*.

Я был в ужасе и не знал, как сообщить эту новость Юноне. Мы сидели в «Имперале», где было в ту пору совсем пусто; подумав, что лучше возможности не будет, я начал:

— Дорогая, сегодня у меня плохие новости.

— Мы должны вернуться?

— Да, но…

— Я не буду сильно возражать — у меня ребенок. — Она всегда говорила о нем так, будто он

уже родился.

— Дорогая, — сказал я, набрав полную грудь воздуха, — дело в том, что твоя мать…

Юнона очень серьезно посмотрела на меня и спросила:

— Ее больше нет?

Я был шокирован: этаким тоном впору спрашивать, готов ли обед! Но, стряхнув изначальную оторопь, я снова заговорил:

— Ну, не стоит принимать это чересчур близко к сердцу. У тебя есть я, и…

— И мой ребенок. Все остальное имеет мало смысла. Когда мы поедем домой?

Честно сказать, мне стало не по себе от такой невозмутимости. Впрочем, с учетом обстоятельств, Юноне лучше было воспринять известие спокойно, без излишнего стресса, способного сказаться на ребенке. В общем-то, даже хорошо, что она такая стойкая! Когда я сообщил ей, что теперь она будет получать шестьсот фунтов в год, она сказала:

— Мне ведь не придется ничего из этого тратить, правда? Ты довольно богат. Я сохраню все деньги для моего ребенка. — Она почему-то никогда не говорила «наш ребенок». — А как ты считаешь, покойный профессор Бэрроудейл

— мой отец?

То был прямой, неожиданный выпад, и я замялся, отвечая:

— Ну, я и сам часто задавался этим вопросом, но он со мной не делился на этот счет. А твоя мать разве ничего не рассказывала об отце? — Мне было, что и греха таить, любопытно послушать ее ответ, так как прежде мы не касались столь щепетильной темы.

— Нет, — ответила она. — Я спросила ее всего раз, и тогда она страшно расстроилась и сказала, что я никогда не должна заговаривать с ней об отце. Ей было невыносимо думать о нем. — Помолчав, она добавила: — Не думаю, что профессор Бэрроудейл зачал меня. Никогда не видела в нем отцовскую фигуру. Да и с чего бы? Он больше *следил* за мной, чем любил. Интересовался, как я справляюсь с уроками и всем прочим и как я расту… Иногда вообще казалось, что я его чем-то отталкиваю от себя. — Юнона, замечу, всегда употребляла слово «отталкиваю» исключительно в значении «отвращаю». — Ну, если послушать тебя, то он все-таки был ужасно милым и достойным человеком… Посмотри, как он позаботился о нашем будущем!

— Да, он был хорош, — твердо ответил я, — но

никто так и не узнал, сколько добра он сделал. В особенности для женщин — таких, о ком ты никогда не слыхивала. Для женщин, угодивших в беду и оказавшихся без средств…

— Для проституток, получается?

Я давно перестал удивляться внезапным замечаниям моей жены, демонстрирующим основательное, но неизвестно где добытое ею знание о подноготной мира.

— Ну, — сказал я, — в общем-то, да.

— Рада, что он был добр к ним. По мне, так ужасно, что мужчины свысока относятся к сестринству, чьи ряды я бы, скорее всего, пополнила, не женись ты на мне. Они относятся свысока… и кичатся этим! Но разве не на них ответственность за их появление?

— И на них тоже, дорогая.

— Но ты не один из них. Я так сильно возжелала тебя, едва увидела, что ты не мог этого избежать. Никто не вправе заявить, что это ты соблазнил меня! — Сказав это, Юнона переключилась на что-то другое, будто это был обычный обеденный разговор без пикантных тем. И в тот момент — не в последнюю очередь как раз из-за этого — я был предельно пленен ею… Я никогда не любил ее больше, чем тогда или, если уж на то

пошло, чем сейчас. По правде говоря, я и сегодня ответил бы так же, как часто отвечал, когда она интересовалась:

— Как сильно ты меня любишь, Рекс?

— Чуть больше, чем вчера, но не так сильно, как буду любить уже завтра.

Трое суток ушли у нас на возвращение в Лондон. Я старался, чтобы для Юноны они прошли легко и беззаботно, без неудобств. Но на британской земле мой мир рухнул, и ничто более не способно его восстановить.

* * *

Приехали мы под вечер, в конце лета, и разместились в той же самой гостинице, где уже находили приют, когда спасались бегством из Космополиса. На следующий день я нанес визит пожилому компаньону-поверенному, встретившему меня с серьезной, исполненной записного официоза миной. Из его поведения было ясно, что он видит во мне искусителя юных неоперившихся особ и ко всему прочему негодяя, косвенно повинного в смерти миссис Клэйборн. Я попытался начать вежливый разговор:

— Обстоятельства сложились, без преуменьшения, печальные…

— Печальные? Сэр, они истинно трагические! — перебил он меня.

— Что вы имеете в виду?

— Профессор Мэгли, — ответил он, — я не обязан, да и не желаю, выносить оценку ваших поступков или даже выражать свое мнение, хотя, конечно, я придерживаюсь позиции тихого неодобрения… Ограничусь фактами. Как только вы похитили — да, это вполне официальный юридический термин — дочку миссис Клэйборн, мать явилась в город для встречи со мной. Ее реакция была прискорбной, она назвала произошедшее катастрофой. Она безмерно себя упрекала за то, что потеряла бдительность и дала вам возможность спутаться с нашей общей подопечной, но необычайная и, если можно выразиться, *неприличная* скорость развития событий помешала ей «исполнить свой долг» — здесь я привожу в точности ее собственные слова. Я не знаю, что она понимала под этим «долгом» и какие взгляды у самой женщины и покойного профессора Бэрроудейла были на будущее ее дочери. Допускаю, что ее ужас от вашего поступка был преувеличен в свете того, что вы загладили свою вину, насколько ее в принципе можно было загладить, скороспелым браком с Юноной. Так или иначе

миссис Клэйборн не объяснила мне ситуацию, но я уловил, что она торжественно обещала сделать все возможное, чтобы предотвратить брак своей дочери, раскрыв некие сведения, известные только ей и покойному профессору. Подробности мне неизвестны, но предполагаю, что они содержатся в письменном заявлении — его-то мне и нужно передать вам. После этой беседы я больше не встречался с миссис Клэйборн, но поехал в Космополис, чтобы уладить ее дела и поприсутствовать на дознании.

— На *дознании?*

— Вы что, не читали утренних газет?

— Я прибыл вчера вечером, а сегодня ранним утром отправился прямо к вам, так что увольте!

— Дознание произошло вчера, и к вечеру тело миссис Клэйборн нашло свой последний приют на местном кладбище. Она желала, чтобы ни вы, ни ее дочь более не видели ее. Она имела на то право: думаю, ее бренные останки представляли собой неуместное зрелище для молодой дамы, готовящейся стать матерью…

— Итак, вы уже в курсе.

— Да. Не удивляйтесь. Я узнал от служанки, что, получив письмо от нашей подопечной о ее положении, миссис Клейборн провела два дня,

не вставая со стула, отказываясь от еды и встреч с соседями — с ними, как призналась она сама, была знакома лишь поверхностно. Безутешная женщина не выходила из гостиной, и на третье утро горничная, только войдя, обнаружила ее бездыханное тело на софе, насквозь пропитанной кровью. Миссис Клэйборн весьма, скажем так, неумело нанесла себе рану в области шеи простым перочинным ножом. Очевидно, смерть наступила от медленной потери крови. Ее трахея не была задета, только яремная вена повреждена настолько, чтобы кровь вытекала постепенно… очень медленно, и смерть вышла мучительной, увы. Она оставила послание для меня, и вам тоже стоит его прочесть.

Он протянул мне листок с хаотично пляшущими рукописными строчками. Там было написано следующее:

Я не могу с этим жить, я оказалась трусихой: я ведь знала, что так и будет, когда придет час. Я должна была… но не смогла. Я решила уйти из жизни. Я не могу смотреть в глаза Юноне, она никогда не должна узнать, я обещала Полу Б. передать документы тому, кто пожелает взять ее в жены. Я не успела, но даже если бы и было время, уверена, я не сумела бы. Их должен увидеть мистер Мэгли – только он и никто другой, даже вы. Они у вас – та папка, переданная мной вам после кончины Пола Б. Он поймет. Что бы он ни предпринял потом, я заочно прощаю его, это не его вина, а моя; он поймет, как только все прочтет. Да поможет Господь ему и ей заодно. Это все чудовищная ошибка.

Урсула Клэйборн

— И как же… как же это все понимать? — спросил я таким изменившимся голосом, что еле-еле себя узнал.

— Мне неизвестно. Однако, профессор Мэгли, я испытываю крайний ужас и искренне вам соболезную. Пол Бэрроудейл был личностью

весьма эксцентричной. В его прошлом были моменты, скрытые от посторонних глаз, и то, что я смог уловить по обрывочным сведениям и его случайным ремаркам, повергало даже меня — человека, привыкшего к странностям человеческой психики, — в трепет. Не утверждаю, что мистер Бэрроудейл был психически нездоров — напротив, он был на редкость вменяем, но… он питал в себе жуткое и болезненное влечение к запретному. Вопреки тому, что мое мнение о ваших действиях не изменилось, уверяю вас, я глубоко сочувствую, опасаясь, что наказание за содеянное вами — а я рассматриваю это именно как *преступление,* — может стать непосильным грузом для любого человека. И все же я ничего не знаю наверняка, лишь строю предположения, но и от этих догадок моя голова идет кругом. Сейчас я отдам вам папку с документами — именно на нее миссис Клэйборн ссылалась в своей предсмертной записке. Мне стоило немалого труда сокрыть эти материалы от следователей, но я руководствовался профессиональной этикой и тем, что бумаги принадлежали не ей, а Бэрроудейлу, а значит, вам и мне как его душеприказчикам. — С этими словами старик вручил мне большой картонный конверт, на каждом клапане запеча-

танный сургучом с оттиснутой личной печатью Пола Бэрроудейла.

— Если дозволите мне еще совет, — продолжал он, — я искренне прошу вас не вскрывать это, пока вы и ваша жена не уладите жилищный вопрос. До тех пор вам понадобится все присутствие духа и ума. Не стану скрывать от вас, что вы навлекли на себя много такого, что, по всей видимости, негативно скажется на вашей карьере и положении в университете.

Во рту у меня пересохло, как у морфиниста, и могильный холод растекался по телу до самых кончиков пальцев на руках и ногах. Я чувствовал, что мой мир рушится, и неведомые мне силы погребают меня под его тяжкими обломками.

Я вернулся к Юноне будто в полузабытьи. К счастью, она была на удивление спокойна и не проявила никакого интереса к моему визиту к поверенному. Прошло несколько дней. За это время я наведался в Космополис, снял скромный меблированный домик и, повинуясь внутреннему порыву, принял на работу служанку, ранее работавшую у миссис Клэйборн. Не знаю, было ли это следствием нервного напряжения, предчувствием грядущей беды или же голосом совести, но мне казалось, будто кое-кто из знакомых и

коллег смотрит теперь на меня с непристойным любопытством, а общение с товарищами по работе с тех пор не клеится.

Так моей главной целью стало налаживание быта и познание правды, какая бы тьма в той ни поджидала.

Я привез Юнону в Космополис, где она обосновалась в своем новом доме, словно кошка в уютной корзинке. Она ни разу не заговорила о судьбе своей матери. Я наказал служанке, обладающей неуемным любопытством, не говорить с Юноной на определенные темы, но опасения оказались напрасными. Юнона почти не выходила из дома и большую часть времени проводила на диване, украшенном мною шкурами в согласии с ее желанием. Казалось, она не замечала, что в те дни во мне не было и тени страсти к ней. Ночами она прижималась ко мне, обвивая руками и ногами, словно я был ей братом, и безмятежно спала, пока я лежал без сна, слушая удары университетских часов и моля о наступлении рассвета.

Я медлил с открытием конверта Пола Бэрроудейла, я страшился этого момента.

Мне требовалось утихомирить нервы, прежде чем приступить к чтению… *чего?*

И все же настал момент, когда я взял себя в руки

и решил раскрыть эту тайну. Однажды вечером, около месяца назад, когда Юнона уже спала, я сломал печати. Я читал. И все это время непрестанно, как мне казалось, университетские часы отбивали *новое время*, бросая в пыльный куль прошлого одну страницу моей жизни за другой.

Рукопись Пола Бэрроудейла

Я должен все это записать. Когда-нибудь кто-то может захотеть жениться на Юноне, и этот кто-то должен быть осведомлен. Мне жаль его, кем бы он ни был, но неученье — тьма. Вслед за введением, излагающим ход физиологических исследований, приведших к дикому положению дел, описанных здесь, я подам все события в виде удобоваримой повести.

В течение всей моей карьеры меня существенно занимало изучение физиологических явлений беременности и размножения, а также эволюции родов и видов. С этим вопросом тесно связаны прекрасные опыты — и их результаты — по искусственному оплодотворению партеногенетических яйцеклеток, проведенные Жаком Лебом, Батайоном, Делажем и т. д.

Результаты их исследований, по-видимому, неопровержимо доказали, что функция мужского

сперматозоида в оплодотворении женской яйцеклетки — в первую очередь чисто механическая. Они оплодотворили и довели до выраженной стадии развития личинок и даже до относительной зрелости партеногенетические яйцеклетки иглокожих и амфибий с помощью искусственной стимуляции (гипертонических растворов, инъекций тонкой иглой, раздражения кисточками из верблюжьей шерсти — я привожу в обобщенном виде лишь ряд методов, используемых в научных лабораториях). Кто хочет узнать об этом больше, может обратиться к многочисленным материалам по сему предмету, опубликованным в научных журналах, а в последнее время и в учебниках. Итак, исходим из того, что у сперматозоида действие прежде всего *механическое*: он просто прокалывает и возбуждает яйцеклетку и, так сказать, запускает ее, и поэтому может быть заменен искусственным средством, в той же мере механическим по своему действию или даже механическим в прямом смысле.

Если это так, мы можем обратиться к теории, глубоко занимавшей ум Альфонса Милн-Эдвардса в последние годы его жизни. Возникает вопрос, почему должны существовать какие-либо ограничения на возможность скрещения родов? Мы

знаем, что в пределах рода родственные виды могут скрещиваться, как, например, лошадь с ослом, тигр с ягуаром, лиса с собакой — примеры могут быть в значительной степени расширены. Но роды при этом не могут скрещиваться с родами, как, скажем, кошка с собакой, конь с гиеной, слон с бараном или, возводя все в высшую степень, мужчина с кобылой, женщина с собакой. Но почему нет? Если действие мужского сперматозоида в основном механическое, *почему бы и нет?* Эта проблема занимала ум Милн-Эдвардса, и он обсуждал ее с Рэем Ланкестером незадолго до своей смерти. Ланкестер изложил свои впечатления от этой дискуссии в одном из самых последних томов своего собрания научных эссе. Я приведу здесь его слова. Ученый пишет: «Он (Милн-Эдвардс) считал вполне вероятным, и с этим согласились бы многие физиологи, что оплодотворение яйцеклетки одного вида спермой другого, даже отдаленно родственной, в конечном счете предотвращается химической несовместимостью в том смысле, что очень сложная молекулярная структура таких тел, как малоизученные антитоксины и сыворотки, является „химической“; все прочие препятствия для оплодотворения являются вторичными и

могут быть преодолены или устранены в ходе эксперимента. Он предложил ввести одному виду „сыворотки“, извлеченные из другого — таким образом, чтобы с наибольшим успехом привести химическое состояние их репродуктивных элементов в гармонию… в состояние, когда они не будут активно антагонистичны, но допустят слияние и объединение. Итак, по его мнению, путем обмена органическими жидкостями (посредством инъекции/перелития) между самцом и самкой разных видов можно гармонизировать химическую конституцию этих организмов и достичь такого вероятного воздействия на их репродуктивные элементы, что виды смогут избежать несовместимости и оплодотворить друг друга».

Обратите внимание, что в этом случае влияние мужского сперматозоида будет больше, чем просто механическим: самец передаст физические характеристики зиготе — вызванному к жизни эмбриону. Когда яйцеклетки морского ежа, упомянутые мной выше, прокалываются (это вполне можно устроить в лабораторном опыте) волокнами сперматозоидов морской лилии *Comatula,* волокна сперматозоидов воздействуют на оболочку яйцеклетки, не внося при этом

никаких субстанций в эмбрион, развивающийся из яйцеклетки. Они всего лишь стимулируют ее и запускают изменения. Но если бы физиологическая техника могла быть доведена до степени гармонизации жидкостей морской лилии и морского ежа, мы получили бы, в теории, гибрид между *Comatula* и *Echinus*.

Это и есть, говоря вкратце, конечный желаемый итог.

Как, увы, часто мы можем видеть крепкую молодую женщину, вышедшую замуж за физически совершенного молодого человека, страстно желающего завести детей, в полной мере использующего свои супружеские привилегии для достижения этой цели, бездетной! Ясно, что их сыворотки токсичны друг для друга. Мужчина заводит мимолетный роман со служанкой или продавщицей, и у той сразу же появляется ребенок; женщина время от времени отдается любовнику и тотчас зачинает; они нашли натурально близких людей. Я убежден, что смелого хирурга или физиолога ждет огромное будущее, когда он исправит положение в подобных стерильных браках, приведя мужа и жену в состояние взаимного равновесия с помощью инъекций, прививок или переливаний, как предлагал Милн-Эдвардс.

Но как этого добиться?

Ответ приходит к нам из лабораторий физиологов и из экспериментальных клиник.

Как часто мы читаем в газетах и даже в романах о преданных друзьях, предлагающих свою кровь, когда их товарищ страдает от сильного кровотечения! Иногда нам говорят, что, несмотря на героизм друга, пациент умер: в девяти случаях из десяти это происходит как раз из-за героического дружеского дара. Пациент был убит этим даром наверняка — с тем же успехом хирург, проводящий операцию, мог прорезать дыру в его мозгах.

Военные госпитали в начале двадцатого века дали нам сперва примеры, затем опыты и, наконец, уроки. Усвоив их, мы устранили угрозы, сопровождающие переливание крови от одного человека к другому. Было установлено, что в этой области человеческие субъекты подразделяются на четыре различных класса. Если капли крови донора и акцептора смешать на предметном стекле микроскопа, эритроциты либо свободно плавают вместе в смешанной сыворотке — в этом случае процедура может быть проведена безопасно, — либо происходит гемолиз, агглютинация: кровяные тельца «склеиваются», и мы знаем, что реципиент почти сразу погибнет. Но до того, как

мы это узнали, сколько пациентов, возможно, стали жертвами «героизма» не подходящих по крови друзей? Чтобы прояснить этот вопрос, если вы еще не знакомы с ним, я воспроизведу таблицу из «Хирургии» Бека и Эдварда (стр. 79):

Исследуемая сыворотка	Стандартные гемагглютинирующие эритроциты			
	0 (I)	A (II)	B (III)	AB (IV)
0 (I)	–	+	+	+
A (II)	–	–	+	+
B (III)	–	+	–	+
AB (IV)	–	–	–	–

В случаях, отмеченных плюсом, происходит агглютинация. Ну, а при минусах никакой агглютинации не происходит. Таким образом, мы видим, что кровь четвертой группы может быть безопасно перелита любому реципиенту, носителей этой группы недаром называют в медицине абсолютными донорами. Сыворотка первой группы не агглютинирует при смешивании с сывороткой любой другой группы, люди с данной группой крови являются абсолютными

акцепторами. Но перелейте кровь третьей группы пациенту со второй, и вы его убьете. В случае бесплодных браков простой анализ крови такого рода установит факты, способные направить действия хирурга по безопасному руслу.

Кем бы ни был будущий читатель моей рукописи, он, несомненно, спросит, к чему тут эта долгая научная преамбула. В свете последующего повествования пусть он примет ее за *апологию* в самом классическом смысле слова.

В молодые годы и позже я поставил множество экспериментов, доказывая истинность изложенной выше теории, и многие из них прошли всецело успешно. Я производил гибриды между далеко отстоящими друг от друга родами, что часто шокировало даже меня самого. Я не решался поведать миру о своих исследованиях — нужное время для этого не настало, и научный кругозор пока недостаточно широк. Я был равнодушен почти до бесстрашия пред лицом общественного мнения, но стремился минимизировать выпады невежд, а таковые последовали бы сразу за публикацией материалов моих исследований. Охота на ведьм — то есть, простите, на вивисекторов — тогда была в самом разгаре. Пресса раздувала клевету на серьезных ученых, занимавшихся

физиологическими исследованиями, и среди физиологов господствовало негласное мнение: наши исследования должны вестись преимущественно в секрете. Университетские власти с непреходящей тревогой вели надзор за биологическими лабораториями, ожидая какого-нибудь сенсационного скандала или подрывной теории, что вызовет бурю нападок на методы научной работы университетов со стороны темных слоев населения. Но в моей частной лаборатории, превращенной в настоящий зоологический сад, я никогда не сидел сложа руки.

Должно быть, вы ужаснетесь, но едва ли будете удивлены тем, что я собираюсь сказать далее. В качестве кульминации своей профессиональной деятельности я страстно желал разработать нечто среднее между человеком и каким-либо из наиболее развитых видов в животном царстве.

Поясню здесь свою позицию. Половой союз человека и зверя, без сомнения, вызывает оправданное содрогание, как, возможно, одна из самых гнусных форм непотребства. Это преступление фигурирует в наших законах под названием «скотоложество», и до недавних лет оно наказывалось смертью, а в наши дни — пожизненной каторгой. Как мог ученый в моем положении от-

дать себя во власть человека, согласного на столь грязный эксперимент? Вспомним, что различные формы содомии рассматривались как отклонения от нормы, но тем не менее наказывались длительными сроками тюремного заключения. В скотоложестве же видели еще более низкий и отвратительный вид порока. Мой сообщник непременно был бы преступником низшего разряда: связавшись с ним, я непоправимо запятнал бы себя, и никто не воспринял бы меня всерьез. Очевидно, я сам мог бы стать активным участником эксперимента, но на это отвечу, что вся моя душа с содроганием и отвращением бунтовала против этой идеи, с личной точки зрения я оказался бы физически бессилен подойти к этому вопросу. Я ознакомился с жутким трактатом Дюбуа-Дессоля, посвященным данной теме и опубликованным в 1705 году: у меня перехватывало дыхание при чтении длинного реестра ужасов, воскрешенных им из гробницы забытых уголовных дел.

Скотоложество как преступление восходит к глубокой древности. В более ранних изданиях нашей Библии открыто сказано, что этот порок был распространен среди иудеев, как мужчин, так и женщин, и о нем прямо упоминают книги

Исход (22:19) и Левит (18:23 и 20:15–16). В мифологии зоофилия предстает как обычная уловка богов — впору решить, что им было даже легче соблазнить дочерей человеческих, превращаясь в животных, нежели придерживаясь своего истинного божественного облика. Наглядными иллюстрациями в тех же «Метаморфозах» Овидия представляются легенды о Фебе и Иссе с Лесбоса, о Пасифае, Леде, Ио. В Средние века дьявол якобы принимал облик козла с целью сексуальной связи с предполагаемыми ведьмами. В трудах Вольтера содержится немало описаний рожденных от связей с животными монстров. В Индии скульптуры в храмах Шивы, особенно в Ориссе, постоянно изображают половые сношения женщин с обезьянами, собаками, волами.

Уголовные кодексы Пруссии, Германии и Соединенных Штатов чтут скотоложество за преступление. Папа Иоанн XIII назвал его «простительным грехом» при уплате денежной епитимьи в двести пятьдесят ливров. Такие историки, как Элиан и Афиней, не раз и не два описывают случаи зоофилии как исторические факты. И сравнительно недавно, в 1882 году, Лакассань выпустил работу «Преступления против царства зверей». Дела против людей как активных или

пассивных участников половых сношений с животными нередки в истории юриспруденции, и труд Тардье по этой теме — он приписывает зоофилию «атавистическому желанию» — более чем хорошо известен всем патологам, психиатрам и юристам.

Зоофилия как известная склонность включается Крафт-Эбингом наряду с садизмом, эксгибиционизмом, некрофилией и урнингизмом в охватный термин «парестезия». Можно найти свидетельства о ней во тьме легенд и преданий, начиная с «Золотого осла» Апулея и заканчивая «Тысячью и одной ночью». Также мы находим их у Николя де Венетта и далее вплоть до простых упоминаний у Монтеня, Бальзака, Армана Шарпантье… В отношении диких народов мы располагаем удивительными свидетельствами Поля дю Шайю, причем еще и относительно «свежими». Скандальные «романы» де Мюссе («Гамиани»), Бишопса и других порнографов нас не должны особо интересовать, так как это, очевидно, никак не претендующее на правду или знание предмета художественное преувеличение. Интереснее научное отношение к рассматриваемому отклонению, но его никак не выйдет, хотя бы из-за спорности восприятия

наукой понятия «мораль», унифицировать и кодифицировать. Перед лицом худших проявлений людской природы, известных как грех или преступление, ученый не ударяется в протесты — он ищет причины и придает всем следствиям видимость систематического порядка.

Приведенный выше краткий исторический обзор показался мне необходимым, чтобы наметить траекторию исследований — если такие исследования кому-то вдруг потребуются — этого ужасного предмета.

Я успешно экспериментировал с искусственным оплодотворением низших животных, но стоило мне помыслить о возможности переноса этих опытов на высших, как я столкнулся с непреодолимым чувством ужаса и отвращения. И тем не менее, теоретически, это стало в моем сознании навязчивой идеей — безвредной, ибо ей, как казалось тогда, предписано было никогда не покидать гетто пустого теоретизирования.

Здесь я вплотную подхожу к тому, что случилось четырнадцать лет назад — к одному успешному достижению, бросившему тень на весь остаток моей жизни…

* * *

Когда я добрался до этого момента в рукописи Бэрроудейла, меня бросило в дрожь и я резко поднялся. Меня тошнило от отвращения, и я чувствовал, как ужас и зловещее предчувствие затуманивают мое сознание. Что ждет меня впереди? Я отложил манускрипт, глотнул изрядно бренди и вышел на улицу, чтобы подышать ночным воздухом, собраться с мыслями и справиться с нахлынувшим ужасом. Я даже хотел прекратить чтение, но меня вдруг осенила одна страшная мысль. Вероятно, она же придет в голову и другим читателям. Я пытался отбросить ее, она буквально терзала меня, но я понимал, что должен продолжить.

Спустя час я вернулся в дом и тихонько вошел в спальню. Юнона спокойно спала, ее прекрасные губы приоткрылись в очаровательной улыбке. На мгновение я почувствовал облегчение, но затем снова поддался страху и ужасу. Что бы ни было написано дальше, я сам навлек это на себя, и я снова взял в руки эту проклятую рукопись.

* * *

Животных, требуемых мне для исследовательской работы, я обычно покупал в порту у преемников знаменитого Чарльза Джамраха[27]. Все они принимали меня за представителя Зоологического общества, и я никогда не опровергал догадки этой публики. Однажды от своих поставщиков я получил письмо, сообщающее, что у них появился в наличии отменный экземпляр *Felis jubata* — индийского охотничьего леопарда, или, проще говоря, гепарда. Давно мечтал заполучить это животное из-за его любопытной способности привыкать к людям и жить с ними в качестве домашнего питомца. То был прекрасный зверь, такой же послушный и отзывчивый на ласку, как любая кошка, уже выдрессированный кем-то. Я приобрел его и договорился о перевозке в мой загородный дом, где содержались все мои подопытные. Те немногие из моих коллег, кто знал о моих экспериментах, называли дом «Виллой

[27] Примечания: 27

Чарльз Джамрах (урожденный Иоганн Кристиан Карл Джамрах, 1815–1891) — известный торговец дикими животными, птицами и моллюсками в Лондоне XIX века. Он владел магазином экзотических животных на Рэтклифф-хайвей в восточном Лондоне — в то время это был крупнейший подобный магазин в мире.

доктора Моро», ссылаясь, разумеется, на небезызвестного уэллсовского персонажа. Но моя работа не имела ничего общего с ужасами, описанными у господина Уэллса. Благодаря общей и местной анестезии мои животные никогда не тревожились и не осознавали, что являются «мучениками науки», как назвали бы их антививисекционисты. Они жили одной дружной семьей в покое и удобстве, производили или не производили на свет желаемый гибрид, и всех их я отправлял по завершении экспериментов на «заслуженную пенсию» в Риджентс-парк. За все время моих наблюдений ни одно животное не ушло из жизни по моей вине, исключая случаи, когда причиной становилась пневмония либо другие недуги, вызванные особенностями климата или неестественными условиями содержания.

Одним поздним вечером я шел по Рэтклифф-хайвей, наблюдая за разношерстной толпой моряков разных национальностей, заполнивших эту знаменитую улицу, и падшими женщинами, зарабатывающими себе на жизнь своим ремеслом. Одна из них, проходя мимо, легонько дотронулась до моей руки и полушепотом спросила:

— Эй, не желаешь поразвлечься?

Я взглянул на нее и отмахнулся. Она выделялась своей стройностью и дерзким видом, казалась моложе прочих и принадлежала к более развитой расе — светлая кожа, белокурые волосы, аккуратная, хотя и небрежная одежда, большие задумчивые серые глаза и ровные белые зубы. Ее внешность меня поразила. Мой взгляд ободрил ее, и она быстро сказала:

— Я самая порочная девушка на Хайвей, и мне нравятся пожилые мужчины. Я сделаю все что угодно. Реально, все, что пожелаешь. Не хочешь ли пойти со мной? Я тебя удивлю.

— Убирайся к дьяволу, — резко ответил я, — иначе я сдам тебя в полицию.

— Как скажешь, папочка, — ответила она и далее перешла на французский: — Я ухожу. До свидания! — Прежде чем я успел осознать ее безупречное произношение, она бросилась прямиком под колеса приближающегося трамвая.

Потрясенный, повинуясь инстинкту, я бросился за ней, схватил за лодыжку и вытащил с рельсов. Водитель трамвая затормозил, но передние колеса успели раздавить ее шляпу. Еще немного, и она бы сама погибла. Я выволок ее на тротуар, где тут же собралась толпа зевак — моряков и проституток. Она потеряла сознание.

— Расступитесь! — выкрикнул я. — Я врач. Кто-нибудь что-то знает об этой девушке?

— Знает? — воскликнул какой-то матрос. — Ага, мы знаем все, что нужно знать, и это досадно, ведь ничего о ней знать вообще не хочется. Грязная шваль!

— Гас-с-сподь всемогущий! — пронзительно взвизгнула отвратного вида тетка с лицом в прыщах, пробивающаяся в центр толпы. — Джентльмен — тот еще везунчик, а? К нему-то сама Салли-Кунсткамера прицепилась!

— Кем бы она ни была, — горячо возразил я, — ее нельзя оставлять здесь. Где она живет?

— Куда потащишь, там и живет, — высказался другой грубиян. — Эй, а ну вставай, Салли, дуреха! — И он бесцеремонно ударил ее пяткой в бок.

Я вскочил и хотел схватить это животное за ворот, но, вполне возможно, к счастью, среди нас появился крепкий и невозмутимый полисмен, и толпа отступила.

— Кто… кто она такая? — спросил я блюстителя порядка.

— Пропащая девка, сэр. Пожалуй, одна из самых пропащих.

Моя спасенная помаленьку начала приходить в себя.

— Поднимайтесь, милочка, — продолжал констебль, — и ступайте-ка лучше домой, если таковой у вас есть, не то мне придется отвести вас в участок.

— Я врач, — быстро сказал я и протянул ему свою карточку. — Кем бы она ни была, я не могу оставить ее одну в таком состоянии. Помогите мне отвести ее вон туда.

Неподалеку от места происшествия находился утлый кафетерий. Констебль помог мне сопроводить пострадавшую внутрь и усадить за столик в углу. Скопление людей рассеялось.

— Старый джентльмен в хороших руках, удачи ему! — крикнула на прощание потаскуха в засаленной одежде, и странное прозвище эхом отозвалось вокруг:

— Салли-Кунсткамера! Салли-Кунсткамера!

Я заказал бренди и стал смотреть, как она постепенно приходит в себя. Девушка не произносила ни слова поначалу. Потом, сподобившись на короткий хриплый смешок, она заявила:

— Зря старался. Сам же послал меня к дьяволу — вот я и попробовала пройти короткой дорогой к нему, рогатенькому. Если ты не хочешь мною попользоваться, зачем спас?

— Я человек, а не изверг, — коротко, но емко

ответил я.

— Все мужики — изверги, — бросила она с вызовом.

В ее речи звучала странная смесь акцентов. Она легко и охотно толковала на уличном жаргоне кокни, но определенные ее слова и интонации, казалось, резко контрастировали с грубостью остального.

— Не все, — сказал я. — Я уж точно не изверг. И все-таки, зачем вы бросились у меня на глазах под трамвай?

— Думаешь, тебе это надо знать?

— Давайте скажем так: ваш возраст и здоровье не позволяют вам желать смерти, даже если ваша жизнь кажется отвратительной. Пока живешь, есть надежда. Вас нужно спасти.

— Спасти? Ох, Господи! Давай на этом и разойдемся. Ты проклятый проповедник — вот кто ты такой. Сейчас ты начнешь разглагольствовать о моем теле, как о храме, о Боге и так далее. Я не храм, я яма для отходов, и нет никакого Бога надо мной. Отпусти меня!

— Я не проповедник и не собираюсь обращать вас в веру. Я доктор и я хочу понять, что все это значит.

— Это означает, что я на исходе. Я уже держа-

лась достаточно долго. Ты слышал, как меня назвали Салли-Кунсткамера. — Она произнесла это редкое для ушей слово. — Я пала слишком низко, и ни один уважающий себя сутенер не захочет взять меня под крыло. Мне нигде не дают снять жилье — разве что в китайском квартале, — и я не могу найти мужчину, если он не новичок в этих местах, вот почему я так зацепилась за тебя, или не изверг, не сущий изверг…

— Вы находитесь в состоянии глубокой паники, это явно видно. Слушайте, раз я спас вашу жизнь, то сейчас вы находитесь под моей опекой до тех пор, пока я не изменю своего решения. — На этих словах она понимающе усмехнулась, так что я сразу же пояснил: — Я не имею в виду использование вас. Ну, разве что сейчас я заставлю вас кое-что съесть.

— На это я согласна. За два дня во рту — ни маковой росинки. Что ты задумал, отче?

— Ничего особенного, — заверил я, — но вам нужно поесть. Нельзя просто сидеть здесь и ничего не заказывать — это неуважительно по отношению к заведению в конце концов!

Я сделал заказ, и вскоре его принесли нам. Еда была проста, но вкусна. Моя спасенная ела скромно, с причудливым изяществом, что удиви-

тельным образом контрастировало с ее манерой общения. Когда она закончила есть, я зажег трубку и предложил ей сигарету.

— Послушайте, — снова начал я, — вы испытываете какую-либо благодарность ко мне за мои действия?

— Нет, не испытываю, — ответила она, — но это ведь и не важно. Есть много способов благодарить без благодарности. Я поступлю так, как нужно, когда посторонних глаз с нами не будет.

— Нет. Вы обещаете больше не повторять такое.

Она молча уставилась на меня, поддерживая подбородок рукой и аккуратно дымя — так, чтобы сигаретный дым не летел мне в лицо.

— Ну? — наконец спросил я.

— Тихо! Я размышляю, — ответила она.

— Даю пенни за ваши мысли!

— Я возьму пенни. Пригодится. Или может быть, шиллинг?

Я выложил на стол целый соверен.

— Это вам поможет?

— Вот это щедрость! Ты хорош, отче. — Она ловко спрятала монету в чулок, при этом не переставая изучать мое лицо.

— Я заплатил целый соверен, но ни одной мыс-

ли так и не услышал, — заметил я.

Она вынула сигарету изо рта и произнесла довольно медленно, без малейшего следа выговора кокни, заставив меня испытать не меньшее изумление, чем испытал, наверное, Валаам, когда с ним заговорила ослица:

— По моему мнению, вы обладаете высоким интеллектом — я бы даже сказала, что вы похожи на ученого. У нас в этих местах не так уж много врачей, кого по праву можно было бы назвать ученым. Как вы, умный человек, можете быть настолько глупым, чтобы просить меня больше этим не заниматься? Помните, что сказала в романе «Крошка Доррит» та девица, мисс Уэйд, главному тупице Кленнему? К слову, я часто гадала, понимал ли Диккенс, что весьма точно описал сапфистку… Вопрос, буду ли я продолжать этим заниматься или нет, не имеет ко мне никакого отношения. В данный момент все зависит от вас или, скорее, от той очень ничтожной роли, какую вы исполняете в бурном потоке роковых превратностей судьбы.

Я был ошеломлен! Настала моя очередь сидеть и смотреть на нее во все глаза.

— Ты, отче, я смотрю, «сиянием внезапным

ослеплен»[28], — заявила девушка и, взяв со стола мой портсигар, достала новую сигарету. Наконец я нашелся со словами:

— Как, во имя всего святого, вы дошли до этого? Да вы же слишком хороши для…

— Не стоит, отче, не стоит. Так говорят все миссионеры, беседуя с распутницами. Ничего «святого» при мне тоже не поминайте — все это пустая растрата метафор.

— Тогда давайте говорить просто и прямо. Очевидно, что вы женщина образованная и, дозвольте оценочную характеристику, даже утонченная. Вы слишком хороши для торговли собой на Рэтклифф-хайвей. И если продавать тело — ваше жизненное кредо, почему бы тогда не перебраться на панель в Вест-Энде? Мужчины там — ровно такие же скоты, но все же от них лучше пахнет и у них манеры пообходительнее.

— Я знаю. У меня было много мужчин, попадались даже вполне знатные. Но однажды, возвращаясь домой из Китая, я безумно влюбилась в ласкара. Обычный матрос, бронзовый бог… Я хотела его и я соблазнила его, это не отняло много времени. У меня тогда были деньги, но

---

[28] Примечания: 28

Цитата из «Смерти Артура» Альфреда Теннисона в переводе Светланы Лихачевой.

мне было стыдно — о, тогда я еще была способна на стыд, — взять его с собой в Вест-Энд. И я поселилась с ним здесь. Сама я иногда ездила в Вест — никто тут об этом не знал, — когда просто жаждала любви от кого-то, кто такой же, как я.

— То есть?..

— Да, вы все поняли верно.

— Так, помимо всего прочего, вы…

— Сапфистка — не бойтесь это сказать.

— Но я не понимаю, как вы…

— Это достаточно просто. Мужчины не знают о тех публичных домах, где мы можем получить все, что желаем, и за что способны заплатить. Единственная разница между ними и… другими… в том, что весь «персонал» — любительницы; попадаются там продавщицы и секретарши, но подавляющее большинство — очень благородные женщины. Вы никогда не слыхали о доме № 100 на Кентербери-сквер, не так ли? Вряд ли, о нем рассказывают лишь шепотом. Но я туда не ходила, я предпочитала заводить собственные романы.

— Романы!

— О да, только представьте себе, какое наслаждение после здешнего зверья встречаться глазами в омнибусе, чувствовать, как соприкасаются

бедра, как нога касается твоей, будто случайно! Несколько обычных слов — предложение снова встретиться, а потом где-нибудь выпить чаю, а после поужинать и провести прекрасную ночь…

— В этом мне не видится ничего «прекрасного»!

— Вы джентльмен, то есть всякая изысканность такого рода для вас недоступна. Я навидалась повадок джентльменов благодаря моему избраннику-матросу. Если бы он подумал, что я отлучаюсь сугубо из-за нужды заработать денег, он бы бил меня смертным боем, пока я не отдам ему этот излишек. Пока хватало моих средств, мы жили в довольно приличной квартире и прекрасно проводили время, но, боже мой, он был груб, нередко поколачивал меня, и мне это нравилось. А какой развратник! Не хочу, чтобы у вас волосы встали дыбом. Я прочитала много грязных книг здесь и за границей, и мне казалось, что я знаю все грани порока. Но то, что он делал со мной и что заставлял меня делать!.. Говорю вам, Содом и Гоморра вместе взятые были монастырем траппистов по сравнению с нашим домом. Он приводил ко мне своих дружков, а те нередко приходили с животными… О, вы, люди к западу от Ченсери-лейн, даже не можете себе

вообразить, каким порокам предаются ласкары, китайцы, малайцы, белая рвань, негры, полукровки всех мастей. Под конец оргий с ними уже не знаешь, кто ты — женщина, мужчина или скотина. Хорошо еще, что люди и животные не могут давать совместное потомство…

Странная, горькая улыбка промелькнула на ее губах.

— Теперь, мой друг, — беспечно подвела черту она, — вы знаете, кого спасли.

Волосы у меня все-таки встали дыбом. По крайней мере, я ощутил, как кожа на голове похолодела и сжалась, и в глазах на какой-то момент все расплылось.

— Это ужасно. Как вы могли это вынести, почему терпели?

— Мне нравилось.

— *Нравилось?*

— Не питайте иллюзий, будто я грешница, познавшая раскаяние. Я пускалась во все тяжкие исключительно в угоду собственным душевным порывам. И я за это заплатила очень суровую цену. После того как мои финансовые ресурсы иссякли — а их, надо сказать, было немало и хватило на приличное время, — я почувствовала, что иду ко дну. Казалось бы, хуже уже некуда…

но пока есть средства расплачиваться, ты еще держишься на плаву. Я погружалась все глубже и глубже, самые мерзкие типы со всего света, словно почуяв меня, тянулись ко мне, подобно тому, как магнит притягивает металлическую стружку. И уйти от них было уже невозможно. Я стала «Салли-Кунсткамерой» — мягкой подстилкой для зверей, людей, да для кого и чего угодно. И вот где я сейчас. Я раскрыла вам всю правду: ни одна достойная представительница моей профессии не снизойдет даже до болтовни со мной. И если какой-либо белый мужчина проявит ко мне интерес, товарки тут же оттолкнут меня и набросятся на него, рассказывая ему всякие истории, часто правдивые. Более того, ни одна из них не станет работать с мужчиной, узнав, что он побывал со мной. Даже среди уличных проституток есть своя иерархия, и я, боюсь, нахожусь на самом донышке этой древнейшей профессии, даже в ее самом грязном проявлении на Рэтклифф-хайвей! Я редко ем досыта — меня бы сюда не пустили, если бы не ваше приглашение. Теперь вы понимаете, почему я хочу уйти из жизни. Если я этого не сделаю, один из этих монстров меня убьет. Видите этот шрам? — она обнажила плечо. — Это работа одного из этих зверей, когда я пыталась

сбежать от него. С меня хватит. Разве я не права?

Я не мог вымолвить ни слова. Меня сковал ужас, особенно от ее спокойного тона, когда она говорила об этих нечеловеческих зверствах. Я вспомнил ее слова и прошептал:

— Вам это нравится!

— Да… иногда… это так. Но я боюсь конца, я боюсь!

Она закрыла лицо руками и задрожала. Я сидел, смотрел на нее, наконец-то обретя отстраненное спокойствие. Смотрел, как на пациентку психиатрической лечебницы с необычным заболеванием… И тогда мне в голову пришла ужасная, но невероятно притягательная мысль.

Гепард!

Чувствуя, как азартно колотится сердце в груди, я стал искать к ней подступ.

— Вашу жизнь не назовет легкой даже слабоумный, — заметил я. — Но, если честно, вы меня очень интригуете — в таком вот качестве исключительной распутницы.

— Неужели? — прозвучал вопрос, взгляд вдруг встретился с моим. — И вас это нисколько не отталкивает? — Легкий смешок сорвался с ее уст, и она добавила: — О, забавно! Полагаю, при случае вы проявили бы такую же испорченность, как и

любой другой… если бы правда о вас никогда не вышла наружу…

— Что, если в этом суждении касательно меня вы правы?

— О, меня это не задевает, я повидала слишком многое. Но удивлена именно я: вы с вашей манерой безупречного старого профессора…

На мгновение я задумался, а затем, к своему сожалению, принял решение. Понимал, что второго такого шанса может и не быть, и выложил карты на стол:

— Представим, что я и впрямь пресыщенный старый развратник со своими скрытыми слабостями. Давно утоливший жажду всех обычных пороков. И вот, я предлагаю вам: «Не желаете ли покинуть это место и поселиться в тихой деревне? Я укажу в своем завещании сумму, способную обеспечить вас в случае моей кончины. Я настоящий ученый — причем порочный, если угодно. И мне бы хотелось ставить над вами разного рода опыты». Что бы вы ответили на такое предложение?

— Я ответила бы, как говорят американцы: «Веди, командир». Хуже, чем я уже сделала с собой, вы мне не сделаете. И я только рада буду оказаться подальше от этой толпы. Когда начнем?

Мы продолжали беседу еще около получаса, после чего я удалился. Она оставила мне адрес для переписки — до востребования. Спустя месяц она поселилась в коттедже, где тогда располагалась моя исследовательская лаборатория. Общаться с местными жителями у нее не было никакого желания, но для приличия и ради информирования местного священника она представилась молодой вдовой, миссис Клэйборн. Разумеется, сразу заметили, что она переехала по моей инициативе и что, когда я приезжал в лабораторию, она постоянно была у меня в гостях. Сельчане сделали свои собственные — неизбежные! — выводы, но, поскольку я постоянно пресекал любые их попытки завязать со мной какие-либо отношения, нас это не волновало.

Урсула Клэйборн оставила позади, в Ист-Энде, все следы своей «профессиональной» карьеры — акцент, словарный запас и манеры. Когда мой поверенный — старик, что вместе с моим ассистентом Рексом Мэгли станет моим душеприказчиком, — заверил ее, что в любом случае ей будет обеспечен определенный доход, она отказалась от всякой сдержанности в общении со мной. До тех пор наши отношения были несколько натянутыми; она, казалось, не могла понять,

что я был твердо намерен постоянно блюсти ее интересы, а не просто с ней развлекаться какое-то время. Она превратилась в поистине прелестную компаньонку. Я был холостяком, но точно не евнухом, так что общество Урсулы Клэйборн было не только интересно — оно еще и приносило удовлетворение в иных отношениях. Постепенно я узнал ее жизненные обстоятельства — они, хотя и не имеют веса в этом повествовании, все-таки проливают свет на ее выдающуюся распущенность.

В восьмидесятых годах прошлого века, как помнят очень старые люди, горячая волна так называемых противоестественных пороков, практикуемых почти открыто и без всякого стеснения, захлестнула английское общество. То был итог эстетического помешательства, тесно связанного с именем Оскара Уайльда. В конечном счете в девяностые годы классик заплатил за всех, а затем умер под гнетом публичного позора, окруженный плохо скрытым восхищением изгоев. Обсуждение интриг среди дам и господ, занимавших самое видное положение в обществе, стало обычным делом. Урнингизм и сапфизм были в моде, пускай и в тайной. Выдающимся извращенцем мужского пола слыл известный

пэр, меценат искусств и баснословный богач. В его загородном доме собирались содомиты обоих полов; здесь же, как утверждалось, проходил «свальный грех», активно потом обсуждаемый в самых модных будуарах. Видное место в этом обществе занимала одна крайне знатная дама, в чьих руках ни одна женщина не была в безопасности. Она была эпицентром разврата, проникшего, как разъедающая язва, почти во все классы общества. Маскулинность леди Зет и женственность лорда Икс подтолкнули их друг к другу в рамках вопиющей, никак не угодной Всевышнему порочности. Они сблизились до того тесно, что, к вящему удивлению всего полусвета, леди Зет родила девочку, окрещенную позже Урсулой. Дочь отправили на воспитание в Италию; на ее содержание и образование была выделена приличная сумма, полностью перешедшая к ней по достижении совершеннолетия. При такой наследственности неудивительно, что Урсула рано открыла для себя мир плотских утех и развила в себе *désinvolture*[29]. Родители не жалели для нее денег, и девушка могла беспрепятственно потакать своим наклонностям. Она поведала

[29] Примечания: 29
Бесстыдство (фр.)

мне свою раннюю, поразительную сексуальную историю, каковая никого не касается — хватит и того, что она рассказала мне на Рэтклифф-хайвей и что я уже записал. К тому времени, как она поселилась в «нашей деревне», ее пыл уже догорал, ее сексуальные интересы были в известной степени удовлетворены, и в манерах и склонностях не осталось и следа ураганов, сотрясавших ее молодость. Она была прелестна как компаньонка, умна и восхитительна в постели.

Что касается гепарда, носившего кличку Кейф, он был нашим домашним любимцем, большим и нежным, привыкшим к обоим нашим домам. Бывало, когда Урсула выгуливала его на поводке между домами, он вызывал трепет у жителей деревни — как у людей, так и у животных, — но это случалось редко, и вскоре все привыкли к «профессорскому зоопарку». Привязанность между Кейфом и Урсулой становилась все крепче, и порой я опасался, что события могут опередить свое время. Однако Урсула была слишком увлечена моим опытом, чтобы рисковать его результатом ради обычного нетерпения. Я проводил эксперимент, чутко следуя рекомендациям Милн-Эдвардса. Сделать Кейфу прививку под местной анестезией не составляло труда, ведь он

не подозревал, что кто-то из нас может причинить ему вред.

В один прекрасный день анализы крови показали полную совместимость. Сыворотка одной принимала клетки крови другого без признаков гемолиза. Дальнейшее я доверил Урсуле.

Не знаю, чего я ожидал от эксперимента. Результат был очень уж непредсказуем. Как практикующий хирург, я был опытен в акушерстве и не испытывал беспокойства по поводу родов, а лишь сильное любопытство. Если и были у меня какие-то ожидания, то это касалось странного маленького монстра, коему я должен был позволить прожить достаточно долго для полного формирования. Затем я планировал препарировать его как экземпляр, якобы полученный от туземного коллекционера в Индии.

Спустя всего шесть месяцев Урсула родила одного из самых прекрасно сложенных младенцев женского пола. Девочка была на удивление уже покрыта пушком, но, впрочем, новорожденные часто такими бывают — и, как и в случае с этим ребенком, теряют его через месяц-два. Следует отметить, что для Урсулы был снят дом на южном побережье, где мы ожидали знаменательного события. Я сам принимал роды. Девочку заре-

гистрировали как незаконнорожденную под вымышленной фамилией и назвали Юноной. Не могло быть и речи об уничтожении столь совершенного образца человеческого рода. Возвратившись в деревню, Урсула при необходимости объясняла появление девочки тем, что во время своего вояжа взяла подкидыша из приюта.

Девчушка росла не по дням, а по часам, поражая меня красотой и очарованием. Когда дочке исполнилось два года, Урсула Клэйборн покинула свой скромный домик и поселилась в доме неподалеку от Космополиса, где и проживает до сих пор. После появления на свет Юноны я прекратил эксперименты в этой области, увенчавшиеся столь неожиданным успехом, и передал свою коллекцию животных в распоряжение зоопарков. Результат моей работы поверг меня в неописуемый ужас, преследующий меня до сих пор. Внешне Юнона ничем не отличается от обычного человека, и все-таки я постоянно замечаю в ее поведении, пристрастиях и мышлении кошачьи черты. Что же произойдет, когда она повзрослеет? Что будет, когда наступит период полового созревания и у нее проявится влечение? Одна только эта мысль меня повергает в дрожь. Очевидно одно: ей ни в коем случае нельзя поз-

волить выйти замуж. Какие последствия будут иметь законы Менделя в ее случае? Будут ли ее дети нормальными? Как только она достигнет зрелости, потребуется радикальное хирургическое вмешательство: удаление яичников и матки — это единственная подходящая мера. Но как ей объяснить необходимость этой операции? Лишить детородных функций здоровую, внешне нормальную красивую девушку… Сомневаюсь, что кто-то, кроме меня, сможет провернуть это, но буду ли я жив к ее зрелости?

Существует лишь один выход, но он разрушит наши жизни — мою и Урсулы. Пока мы двое — и никто больше — знаем страшную правду о рождении Юноны, нам тревожиться не о чем. Единственная опасность — сплетни соседей, считающих Урсулу моей любовницей. Я часто жалею, что не оформил наши отношения с Урсулой до переезда в Космополис, тогда я мог бы более внимательно следить за Юноной и лично заниматься тем, о чем сейчас пишу. Если кто-то когда-либо захочет жениться на Юноне, ему придется раскрыть всю правду. Это будет ужасно, и, возможно, предстоит *не один* тяжелый разговор… рано или поздно правда при таком сценарии станет достоянием общественности. Но если, от-

ринув весь шок, какой-нибудь мужчина окажется достаточно смелым, чтобы настоять на своем желании жениться на ней, его нужно поставить в известность о крайней важности принятия всех мыслимых и доступных мер предосторожности, чтобы избежать рождения детей от нее.

Вполне возможно, что я умру раньше, чем все это случится, и тогда — да поможет ей Всевышний — бремя ответственности ляжет на плечи Урсулы Клэйборн. Именно поэтому я и создал эти записи со всеми их неприглядными деталями, не утаивая ничего и не опуская ни единого факта. Урсула приложит максимум усилий, чтобы отвадить всех потенциальных женихов Юноны, но если кто-то проявит упорство, ему потребуется открыть всю правду.

Так прямо и без обиняков, как об этом поведал здесь я.

Пол Бэрроудейл, август 19… года.

* * *

За этим явным финалом шла еще одна запись, сделанная десять лет спустя.

* * *

Я вновь обращаюсь к своей рукописи, хоть и надеялся никогда больше не листать эти страницы. И все-таки имеется очевидная необходимость поступить так.

В возрасте одиннадцати лет Юнона завершила половое созревание и является сейчас полностью развитой и очень красивой девушкой, пройдя через стадию, когда, несмотря на прекрасное сложение, представляла собой землисто-смуглого и отталкивающего ребенка. Все ее тело классически совершенно, и в том, что касается демонстрации его матери и мне, она абсолютно не стыдится полной наготы. Она покрыта легким «персиковым» пушком, что делает многих белокурых женщин такими привлекательными, но пушок этот у нее светло-рыжеватый и напоминает шкуру бедного Кейфа (увы, я умертвил его после ее рождения — в силу чистой необходимости). Местами, с более-менее регулярными промежутками, пушок переходит в небольшие и неровные кольца более темного цвета — близкого к цвету волос на ее голове, но не такого темного. На наш опытный взгляд, эти кольца напоминают узор на шкуре Кейфа. Другая странная черта ее

внешности — гипертрофированная обволошенность подмышечных впадин и лобка; ее волосы в этих зонах феноменально, нечеловечески густы. Имеется у нее и еще одна явно наследственная черта: если она бывает несчастна, что редко, или раздражена, что случается еще реже, или впадает в какой-либо мимолетный приступ детского озорства и непослушания, нам достаточно лишь запустить руку в густые завитки под ее руками и щекотать и ласкать ее, как животное. Ее настроение в тот же миг становится безмятежным. Я ненавижу использовать это слово, но она, очевидно, «мурлычет» от неги и, если осторожная ласка продолжается, быстро засыпает.

Основная цель этого постскриптума, однако, состоит в ином — привлечь внимание к очень серьезному вопросу. Дело в том, что во время периодических расстройств, имеющих место не ежемесячно, а с промежутком в три-четыре месяца, Юнона подвержена тому, что по праву можно назвать *гоном,* безудержной страстью соития. Технически она совершенно невежественна в сексуальных вопросах, но инстинкты обостряют ее черты, и она постоянно прибегает к стимуляции сосков и промежности пальцами. В такие дни она беспокойна и не способна на что-либо

отвлечься и по непонятной самой себе причине рвется покинуть дом и искать чужого общества. Как правило же, она замкнута и совершенно равнодушна к общению, даже с матерью.

В подобные периоды, поразительно долгие, нередко длящиеся две-три недели, за ней нужно очень тщательно следить. Прежде всего, ей нельзя позволять вступать в контакт с мужчинами. Злосчастное дитя! Я твердо верю, что это обернулось бы для нее настоящей трагедией, а негативные последствия, помянутые ранее, почти неизбежно последовали бы за этим. Урсула Клейборн это прекрасно понимает, и я уверен, что она никогда не оставит Юнону в подобной ситуации. Ее будущему мужу, если таковой когда-либо появится, также необходимо знать обо всех угрозах. На этом мои полномочия исчерпываются.

Пол Бэрроудейл, май 19… года.

* * *

Трудно описать, что я почувствовал, когда дочитал до конца рукописи Бэрроудейла. Солнце светило вовсю, когда я поднялся в спальню. Юнона лежала, подложив под голову правую руку, ночная рубашка соскользнула с ее правой груди, чьи нежные очертания прямо-таки приглашали

к ласке. Я прижался к ее груди губами и сомкнул их в долгом поцелуе. Тонкий опьяняющий аромат, теперь вполне объяснимый, поразил меня сильнее обычного. Под моими ласками она на мгновение проснулась и сказала:

— Ах, милый! Значит, это был не сон… Не останавливайся.

И она заснула в моих объятиях, прижимаясь ко мне, и спала, пока слуга не принес наш утренний чай.

После завтрака я сказал ей, что работал до утра и хочу прогуляться, выветрить туман из головы. Она ответила:

— Хорошо, если только ты не попросишь меня пойти с тобой. Я свернусь калачиком на диване и буду думать о своем ребенке.

Я вышел. Ее *ребенок!* Чем он будет? Мы с Бэрроудейлом провели в свое время целую серию экспериментов, связанных с наследственностью, и я не мог закрыть глаза на лучшее наследование характеристик, передаваемых по женской линии. Вероятность регресса генов в сторону кошачьих — мысль эта послала дрожь по всему телу, — виделась сценарием почти что предрешенным, неизбежным. Ничего другого не оставалось: аборт — мерзкое слово, но это дитя не должно

появиться на свет, от него следовало как можно скорее избавиться!

Юнона была уже почти на втором месяце беременности, и я вновь задрожал, подумав о том, к чему может привести даже и выкидыш. Я знал, что мне предстоит страшная задача, и от ее решения никак не уклониться. В ту минуту я не мог предвидеть, как это все ужасно и какое влияние окажет мой нравственный выбор на нас обоих.

Пытаясь найти поддержку, я обратился к одному доктору, кого не без оснований всегда считал нашим домашним лекарем. Это был человек с отзывчивым сердцем и безупречной репутацией, чьи знания и опыт были отточены годами практики. Он искусно помогал людям появиться на свет и покинуть его, давал мудрые советы молодым матерям в борьбе с детской хворью и находил слова утешения для взрослых пациентов, делая вид, что разбирается в их проблемах, хотя в обычной жизни он никогда бы не стал этого утверждать. С момента моего приезда в Космополис между нами установились приятельские отношения. Я был уверен, что могу на него положиться и что он с сочувствием и деликатностью поможет мне решить мою сложную проблему. Это была единственная ошибка, допущенная

мной за все время моих злоключений, и именно из-за нее теперь я вынужден готовиться к позору, публичному осуждению, а возможно, и к чему-то еще более страшному. Ранее я замечал явные признаки неприятия, с коим в Космополисе восприняли «похищение» Юноны и самоубийство Урсулы Клэйборн, казавшееся в отсутствие иных объяснений прямым результатом моих дурных действий, но я не осознавал и недооценивал всей силы этих чувств.

Доктор Фишер принял меня сдержанно, строго и будто даже несколько сконфуженно. Заметив и внутренне ощутив его непривычную холодность, я все же смог убедить себя, что в состоянии нервного напряжения просто раздуваю любую мелочь, и поспешил перевести наш разговор в более формальное русло.

— Мне нужно поговорить с вами кое о чем, — произнес я. — Это касается моей супруги. Ее самочувствие тревожит меня. Есть очень веские причины подозревать воспаление матки. Пока эта проблема не будет решена оперативным путем, я считаю, что беременность крайне нежелательна.

Он хранил молчание, и я продолжил:

— Я не уверен, согласится ли она сразу на

осмотр, но я прошу вас его провести.

— Вы допускаете вероятность ее беременности? — В этом звучало больше уверенности, чем вопроса.

— Да. И если мои опасения подтвердятся, думаю, что беременность лучше отложить… по крайней мере, на время.

Врач поднялся с кресла, подошел к окну и долго стоял в тишине, как будто обдумывая что-то. Затем, обернувшись ко мне, он произнес:

— Профессор Мэгли, я буду предельно честен с вами. Вам должно быть известно, что в городе существует негативное отношение к вашим действиям, связанным с тем, что вы отлучили молодую девушку от матери. И это отношение лишь усилилось из-за трагических последствий. Я не собираюсь вас осуждать, это — дело вашей совести. Но сейчас вы просите меня избавить вас от неприятных последствий, фактически предлагая сделать аборт?.. Что ж, я категорически отказываюсь участвовать в подобном. Если ваша жена обратится ко мне, я сделаю все возможное, чтобы защитить ее от этого. Нам следует закончить этот разговор, чтобы не сказать лишнего. Я советую вам забыть, что наш разговор имел место, но имейте в виду — я его не забуду!

Доктор пересек кабинет и открыл для меня дверь. Могу только сказать, что я пустился в самое натуральное позорное бегство.

* * *

Безусловно, я допустил огромнейший промах. Если в принципе существовал выход из этой ситуации, то уповать приходилось лишь на собственные силы и на Юнону.

В тот вечер Юнона, устроившись в моих руках на диване, наслаждалась ласками. Я, машинально поглаживая ее восхитительные волосы в области подмышек, легко довел ее до состояния блаженного, почти экстатического восторга. Именно тогда я завел разговор, задав вопрос:

— Ты действительно сильно желаешь родить этого ребенка?

— Естественно, как ты мог сомневаться? Представляешь, каким он вырастет!

К сожалению, мое воображение было слишком ярким и реалистичным, рисуя в моем сознании кошмарные образы. Я продолжил:

— Я вот что подумал, дорогая, наше счастье друг с другом настолько велико, что было бы обидно сразу же обрывать его, заводя ребенка. Не будет ли лучше для нас обоих немного повременить

— к примеру, годик? Все это время мы могли бы всецело принадлежать друг другу. Сейчас я испытываю легкую ревность к будущему ребенку, но примерно через год…

— Что ты пытаешься сказать? — перебила она, отстраняясь и смотря на меня своими яркими полными удивления глазами. — Нам незачем ждать — ребенок уже зародился.

— Ну, едва ли, — ответил я, пытаясь создать впечатление, что мы обсуждаем какой-то пустяк. — Такие вещи легко исправить… избежать. Я ведь хирург, а также доктор медицины. Я мог бы быстро привести тебя в порядок. Никаких забот или опасностей и практически никакого дискомфорта или беспокойства…

Юнона резко вскочила на ноги.

— Что ты имеешь в виду? — повторила она.

— О, все очень просто. Наркоз, совсем небольшая операция, и мы будем такими же, как раньше, и сможем не торопиться с рождением ребенка. Этот зародыш — он ведь еще даже не полноценное дитя! Он плод случая, несколько досадного и преждевременного…

Юнона вытаращила на меня глаза с выражением дикого отвращения и ужаса. Ее груди возбужденно вздымались, губы были приоткры-

ты… но не в улыбке, а в ужасном *оскале,* и эта зловещая несказанная гримаса обнажала острые маленькие клыки.

Она цеплялась пальцами за халат, отводя его от груди, будто в припадке удушья. Затем Юнона произнесла голосом, совершенно ей не свойственным, низким, рычаще-шипящим:

— Ты предлагаешь… мне… убить… *моего ребенка?*

— О, ни к чему драматизировать. Я всего-то и хотел, что сказать…

— Ты хотел сказать… *хотел сказать?!* Ты… ты… подонок, зверь, дьявол!

— Дорогая!

Я резко поднялся и рванулся к ней. В ответ она отмахнулась обеими руками, толкнув меня в грудь с такой силой, что я, утратив равновесие, рухнул на диван. Она сделала шаг вперед, нависая надо мной.

— Не трогай меня… И больше… не подходи… ты, убийца! — отчеканила она и рванула прочь из комнаты. Я попытался догнать ее, но она успела добежать до спальни, захлопнула и заперла дверь. Я услышал, как щелкнул замок на двери моей гардеробной.

— Дорогая, послушай меня! — проговорил я че-

рез дверь, боясь повысить голос из-за внимания прислуги. — Все не так, как тебе кажется. Я не хотел тебя расстраивать. Обещаю, я больше не буду говорить об этом. Просто открой или хотя бы впусти меня. Мне нужно с тобой пообщаться. Ты все неправильно поняла! — Мои слова диктовало отчаяние.

После нескольких минут мольбы открыть дверь, я услышал ее голос, все еще хриплый от слез, прозвучавший с угрозой:

— Если я приоткрою дверь и скажу тебе кое-что, ты поклянешься мне своей мужской честью, что не ворвешься сюда силой?

Что мне оставалось делать? Я дал клятву. Юнона открыла дверь. Она сбросила халат, оставшись в короткой шелковой ночной рубашке. С одного ее плеча соскользнула бретелька, оголяя часть тела. Никогда прежде она не казалась мне столь сатанински прекрасной. Тихо, почти шепотом она произнесла:

— Если ты попытаешься войти сюда сегодня ночью, я разорву тебя на части. Я искусаю тебя, я убью тебя, исполосую тебя когтями. Может быть, завтра я смогу на тебя смотреть. А сейчас мне нужно подумать. Оставь меня с моим ребенком.

И она снова закрыла и заперла дверь.

Я спустился вниз. Весь ужас ситуации обрушился на меня. Юнона регрессировала, вернулась к исконным видовым чертам. Она более не была девушкой — она стала гепардом! Звериный инстинкт, яростно пробудившийся в ней для защиты потомства, дошел до крайней точки. Я не пытался закрывать глаза на тот факт, что она стала опасной. Ради защиты своего пока еще не родившегося на свет детеныша она была способна на все — и даже на убийство. На мгновение мне захотелось, чтобы она действительно прикончила меня… Смерть сулила свободу от всех забот. Но вот умру я, и что дальше?.. Учитывая «родословную» Юноны, не выйдет сказать наверняка, как долго она будет вынашивать плод. Вполне возможно, что она выносит и родит быстро, как кошка… Мой затылок похолодел от одной лишь мысли об этом: я не могу позволить монстру-акселерату увидеть свет! Стать соучастником в зарождении расы чудовищных гибридов… ну вот еще! И если дело приняло подобный оборот, если мне приходится принимать меры предосторожности, чтобы Юнона не погубила меня, я обязан убить ее. И в то же время я любил ее, как никто и никогда не любил. Я любил ее бесконечно, слепо и даже в этот в высшей степени ужасный миг

мечтал о ее прекрасном теле. Я жаждал ласкать ее, желал обладать ею…

Я попытался уснуть на диване. Хотя я и был измучен, сон не шел. Я метался до утра, иногда выходя в летнюю ночь, чтобы остудить лихорадочный жар, бушевавший в каждой клеточке тела. Я пил — это помогало притупить истерзанные чувства и на время забыться. Но даже под парами виски я боялся того, что может сделать Юнона, если в теперешнем состоянии застанет меня бесчувственным. Стремясь наставить себя на путь ясного ума и вернуть подобие бдительности, я выбросил практически полную початую бутыль дорогого и восхитительно крепкого напитка из окна — она разбилась во дворе.

На следующий день Юнона после обеда спустилась вниз. Она шарахнулась в сторону, когда я полез к ней с объятиями.

— Присаживайся, — произнесла она, к облегчению, своим обыкновенным, бархатно-мелодичным тоном. — Будь готов к серьезному разговору!

Я сел и приготовился слушать. Она прохаживалась по комнате тихой, своеобразной поступью, в ней чувствовалась грация хищника. Спустя несколько минут она заговорила:

— Я размышляла всю ночь. Мне известно, что у тебя в мыслях… Не стоит пытаться меня умиротворить. У меня возникло новое чутье, подобное звериному, новое осознание, и я способна защитить себя и нашего ребенка. До его рождения и, возможно, навсегда после я не допущу твоих прикосновений или близости. Я буду постоянно настороже в твоем присутствии. Я не притронусь к еде, если ты мог иметь хоть малейшее отношение к ее готовке. Буду находиться рядом с тобой днем, если только не решу, что это невыносимо. В противном случае, я уеду и буду существовать на свои сбережения, и ты меня не найдешь. Но у тебя здесь работа, и я не желаю рушить твою карьеру попусту…

Бедная девочка! Она не знала, насколько все уже было разрушено. Я и сам едва знал.

Протестовать было бесполезно. Ее инстинкт был безошибочен. В ее глазах я отныне представал хитрым врагом, стремящимся уничтожить ее приплод, и что самое забавное, это была сущая правда!

* * *

Прошло уже несколько недель с той кошмарной ночи. Знаю, на моей академической карьере

стоит жирный крест. Чтобы избежать всякой неловкости, я уведомил университет о своем уходе с поста профессора физиологии по собственному желанию в конце семестра. Сейчас, насколько знаю, уже ведется поиск моей замены.

Время от времени Юнону охватывает ностальгия по моей любви, и она позволяет мне без сопротивления гладить себя даже при свете дня. Стоит мне проявить хоть малейшую настойчивость, и она отстраняется, словно кошка, уставшая от внимания хозяина. Я сплю в гардеробной, установив на двери задвижки. Между нами — напряженное перемирие. Порой выдаются моменты, когда она позволяет мне взять ее руку и поиграть с ее подмышечными кудрями, как в былые времена, и тогда она почти теряет бдительность. Но если мои руки начинают исследовать ее прекрасное тело, она тут же приходит в себя и отталкивает меня. Но это дало мне ключ к окончательному решению. Время не ждет, я должен действовать. У меня есть шприц, наполненный аконитином. Однажды, когда эта единственная нехитрая ласка, дозволяемая ею, погрузит ее в мимолетный транс, я сделаю ей инъекцию — под корни волос под мышкой. Я проверну это в мгновение ока, и место укола выйдет незаметным. Да, конечно,

потом проведут аутопсию… Если рассечение матки подтвердит мои самые худшие опасения, профессиональная этика сохранит это открытие в тайне. Что я буду делать потом, еще предстоит решить. Теперь я понимаю, что Пол Бэрроудейл был… нет, я не могу назвать его трусом, зная о годах его страданий, но я уверен, он покончил с собой, введя культуру септической пневмонии себе в кровь. Все приняли это за естественную смерть, но теперь я, вооруженный печальным знанием, вижу правду так же ясно, как собственное отражение в зеркале.

Научная значимость событий, приведших к этим трагедиям, слишком велика, чтобы скрыть их от будущих физиологов. Я думаю передать рукопись Кристоферу Блэру, нашему архивариусу, в запечатанном конверте, завещав вскрыть его лишь через двадцать пять лет после моей смерти, когда новое поколение забудет Рекса Мэгли и все странные треволнения, омрачившие его последние месяцы присутствия в этом мире.

Постскриптум

Почти три десятилетия, а точнее, лет двадцать восемь прошло с того момента, как Рекс Мэгли доверил мне этот текст. Уже тогда было заметно, что

он переживает серьезный нервный срыв. Я был в курсе нашумевшего «инцидента», связанного с его именем, и вполне понимал его стремление покинуть университетскую должность. Он поделился планами увезти жену за границу и обосноваться где-то на юге или западе Франции, где они провели медовый месяц. Не прошло и недели, как, вернувшись с ужина в одном из университетских клубов, где его уже давно перестали привечать, он обнаружил супругу бездыханной на софе в гостиной. На дознании он заявил следователю, что оставил ее в самом добром здравии и прекрасном расположении духа, когда рано утром ушел из дома. Через пару дней он и сам тяжело заболел, в рекордный срок у него развилась острая форма двусторонней септической пневмонии, и через полутора суток он скончался. Все эти печальные события на несколько недель стали главной темой для разговоров в городе и университете, после чего Мэгли, его жена и миссис Клэйборн были преданы забвению.

Долго я колебался, стоит ли уничтожать эту рукопись. Неоднократно я был близок к этому, но в итоге решил, что не имею права уничтожать выдающийся труд, посвященный одной из самых мрачных сфер познания. Я намерен вновь ее за-

печатать: манускрипт будет вскрыт лишь спустя многие годы после моей кончины. К счастью, ни у Пола Бэрроудейла, ни у Рекса Мэгли не было близких родственников. Имущество Бэрроудейла по завещанию отошло университету, а состояние Мэгли — государству.

Перевод с английского Г. Шокина

Рэймонд Феррерс Брод
Опыт доктора Фасетки

Николас Фасетка[30] — это, конечно же, не его настоящее имя. Я придумал эту литературную маску, имея в виду ту же причину, что стоит буквально за каждой загадкой предложенного читателю ниже нарратива. Прочтя эти записи, вы перестанете удивляться моему заявлению о том, что я если и знал доктора, то очень поверхностно, учитывая, что наше знакомство случилось уже позже одного скандала, тихо погубившего репутацию блестящего ученого.

Почему же он решил доверить эти записи мне — практически чужому человеку? Ну, полагаю, сказался тот факт, что незадолго до кончины доктор остался практически один против всего мира, без крепких дружеских связей. Я, видимо, казался ему не самым плохим душеприказчиком. Кроме того, возможно, доктор хотел, чтобы хотя бы через меня эти его записи увидели свет.

---

[30] Примечания: 30

Фасетка — в специальном значении — скошенная грань чего-либо, например зеркала или отшлифованного камня. В зоологии — часть, долька сложного глаза членистоногих.

Я встретился с ним во второй раз после того, как его имя было вычеркнуто из списков, и он рассказал мне единственную историю, заставив меня поклясться не разглашать ее. В ней говорилось, как после его смерти завладеть этой рукописью. Сейчас он мертв вот уже пять лет как — именно такой срок он указал в качестве интервала перед публикацией, о чем всякому любопытствующему несложно дознаться.

Пять лет назад его нашли мертвым в его отшельническом убежище. Он умер не своей смертью, и умер, в общем-то, не он один. В большом медном котле в задней части дома было… ну, это когда-то был мужчина, судя по всему.

Расследование закончилось вынесением открытого вердикта по обоим делам; ни один из детективов не смог найти никакой связи случившегося со смертью пожилой женщины, скончавшейся в своей постели вполне мирно в миле от них. Естественные причины — так это все назвали. Нападавшего на доктора, в свою очередь, так и не нашли.

Над его телом тщетно строили теории: почему у него было так ужасно изуродовано горло? Прозекторы сказали, что оно выглядело так, словно его обглодал и оторвал от живого владельца

какой-то крупный грызун — скажем, хорек или большая крыса. В доме, насколько я знаю, еще несколько дней работали бригады чистильщиков — он оказался поражен какой-то загадочной культурой плесени, очень живучей и совершенно нетипичной для, в общем-то, нисколько не запущенного жилища. В целом, для местных жителей это жилище теперь — нечто вроде гиблого места, ведь в лесах, окружающих его, якобы с недавних пор обитает «пенистый дьявол», нападающий по ночам на скот. Тварь никто толком не видел, но если на мгновение предположить, что события, описанные в рукописи Николаса Фасетки, не плод воспаленного воображения ученого, осмеянного и отвергнутого научным сообществом за «веру в глупый алхимический миф» (так это назвали в одной критической заметке), то есть все основания обеспокоиться и заняться разбором ситуации более основательно.

Что ж, взглянем поподробнее на рукопись доктора — ту самую, что он так тщательно оберегал, заметая следы своих, мягко говоря, странных преступлений…

5 декабря

Итак, я свободен — да, свободен, потому что именно так я должен на это смотреть. Я знаю, что иногда мне будет казаться, будто цена свободы слишком высока: я пожертвовал признанием, богатством, репутацией. Все это было бы моим, если бы я был доволен тем, что они называют нормальным образом жизни. Но однажды, когда намеченная работа будет завершена, мое имя — имя первопроходца — прогремит по всему миру. Сожалею лишь о том, что навлек на себя позор, но, возможно, даже это в своем роде благо. Это означает, что я буду забыт и что мои исследования никогда не окажутся в центре внимания. Здесь я смогу полновесно посвятить себя им. Мои базовые потребности тут будут удовлетворяться с легкостью: в сельской местности жить дешево, и материалы будут под рукой. Лекарства — самые лучшие и *естественные* — человек с моими знаниями способен здесь добыть прямо из-под ног, в любой канаве.

Когда я закончу приготовления, я смогу начать искать подопытных, и они тоже будут под рукой — никто не сможет мне отказать. Кролики, маленькие дикие животные с полей, совы, крысы.

Возможно, даже насекомые на первых порах. А потом, после… после будет после. Пока есть и другие заботы.

Я собираюсь вторгнуться на территорию Запретного, надо думать. Но кто меня здесь осудит? Да и все запреты для настоящего ученого — вздор. Можно подумать, что мы еще не вышли из Средневековья. Я похож на современного Галилея с телескопом, за исключением того, что доля мученика меня не прельщает. Я кто угодно, но не мученик.

Завтра я стану сельским сквайром и отправлюсь гулять по окрестностям. У меня почти нет соседей в радиусе нескольких миль, но я должен произвести хорошее впечатление. Мне нужно найти домработницу. Боже, начинать жизнь с чистого листа — такое счастье!

6 декабря

Мои домашние дела завершены, и за несколько шиллингов в неделю я могу избавиться от излишних хлопот. Мне даже еще раз повезло, потому что мне пришло в голову упомянуть доброй женщине, теперь работающей на меня, что я интересуюсь здешним «культом трав». Она оказалась настоящим кладезем информации о местах,

где можно найти растения, меня интересующие. Так что завтра я отправляюсь на поиски. Здесь я полностью анонимен, и очень мал шанс, что кто-нибудь встретит меня, не говоря уже о том, чтобы узнать когда-то известного специалиста.

4 января

Я не собираюсь регулярно заполнять этот дневник по датам, а скорее в соответствии с ходом работы. Отсюда — перерыв в один месяц, ушедший на подготовку к проверке одной из моих теорий. (Здесь в рукописи закрашено тушью несколько строк, по-видимому, для удаления формулы) — сильнодействующий препарат, что сразу бросается в глаза. Поймал в полях мышь, сделал ей инъекцию. Прошло два часа, прежде чем она пришла в сознание, а затем, прежде чем я смог ее остановить — по глупости я забыл заткнуть ей рот, — она начала метаться по столу с пеной на мордочке. Я попытался поймать ее и через две минуты понял, что остался и без подопытной, и без реторты, упавшей на пол и разбившейся. Это безумно досадно, так как у меня ограниченный запас лабораторного оборудования, и я не хотел бы покупать больше — помимо расходов, это может привести к нежелательному

вниманию к моей персоне.

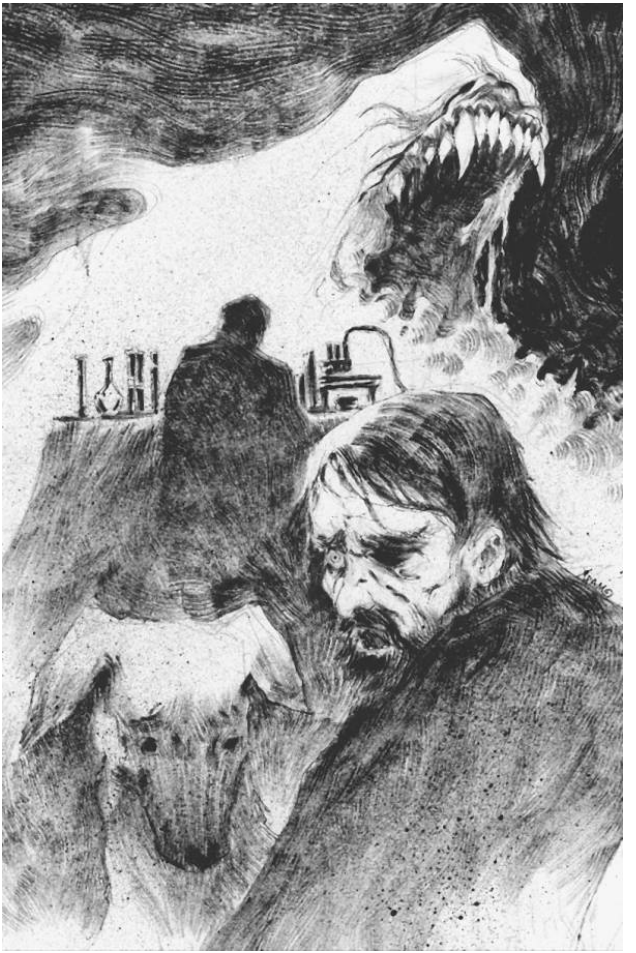
1 февраля

Сегодня вечером я очень устал после нескольких дней непрерывных экспериментов, но теперь я уверен в одном — бесполезно пытаться получить клетку от обычного животного. Я терпеливо и тщательно следил за этим, и результат всегда был отрицателен. К сожалению, это стоило жизни многим зверушкам, а суровая зима все больше затрудняет их поиск. Меня сводит с ума мысль о том, что я могу задержаться на определенном этапе работы из-за нехватки материала, и я всячески экономлю при использовании уже собранного запаса.

Я обнаружил, что мне приходится быть очень осторожным из-за моей любезной, но безмозглой экономки — кое-что, как ни крути, не скроешь. Вчера она спросила, зачем мне столько кроликов, и, чтобы удовлетворить ее любопытство, пришлось запечь одного из ушастых к ужину. Таким образом, в моем запасе осталось всего четыре особи. Их было бы шесть, если бы не мои усилия по созданию удовлетворительного отклонения от нормы. С помощью кумулятивных инъекций мне, конечно, удалось свести двоих из

них с ума, но, похоже, что этого искусственного или культивируемого безумия недостаточно. Пару дней спустя я убил одного из подопытных и, как и прежде, обработал мозг, печень и органы кроветворения дистиллятом. Но все мое терпение и тщательность не привели к тому, что в полученном коллоиде появился хоть бы и намек на самоорганизующуюся новую клеточную структуру.

Я сижу в полной растерянности, не знаю, что делать дальше. Осмелюсь ли я рискнуть полной потерей остальных моих животных, поместив второго безумного кролика в клетку? Я мог бы, опять же, накачать его дурманом, чтобы склонить к каннибализму, а позже мало-помалу попробовать вывести из него этот психически неполноценный выводок, мои «зерна безумия».



27 апреля

Я действительно в отчаянии, потому что, кажется, не могу найти подходящих слов. И все же, должен же быть какой-то способ. Вижу, что моя последняя запись была о безумном кролике. Остаток холодной погоды я потратил на различные бесплодные попытки сохранить жизнь этому животному, что было проблемой. Затем я попробовал метод разведения. Но чем это обернулось! Эксперимент успешно дошел до того, что появился кроличий выводок — я осмотрел его с большим удовлетворением. Но не успел я повернуться к самке спиной, как услышал визг: самец-кролик прокусил ей горло. Я оттащил зверя, и он, конечно же, тяпнул меня за руку, пришлось поспешно прижечь рану. Когда я вернулся, помет был уничтожен и частично съеден, а горе-отец сидел, уставившись на меня с окровавленным ртом. В порыве гнева я сбросил его на пол и растоптал. Потом я, пошатываясь, вернулся в свою комнату, чувствуя себя разбитым от разочарования, и весь последний месяц меня трясла лихорадка, вызванная перенапряжением и инфекцией в месте укуса — прижигание, увы, не обеспечило должную дезинфекцию.

Сегодня я поскреб по самому дну адской сковородки и едва ли способен испытывать благодарность за то, что все еще жив. Я почти жалею, что экономка — должен признаться, она помогла мне выкарабкаться и проявила удивительную заботу о моем благополучии, — ушла. Я начинаю бояться за ее действия. Только с огромным трудом мне удалось отговорить ее от того, чтобы она послала за доктором. Что за мысль! Ночью, когда она ушла, пришлось заставить себя встать с постели, несмотря на температуру, чтобы убедиться: мои коллоиды в безопасности. Я не знаю, как много она выяснила или что она могла выболтать… Я сижу тут, слабый и трясущийся от лихорадки, и моя несчастная рука все еще бесполезна, так что я не могу доверить себе управление лабораторной установкой. Я бьюсь над расчетами, но не могу претворить их в жизнь. Как это странно, что, как только я становлюсь недееспособным, на меня обрушиваются новые теории. Их я пока не могу опробовать!

Можно сойти с ума от одной мысли, что в Средние века действительно преуспевали в создании жизни из мертвой животной материи и что я со всеми многолетними знаниями не в состоянии повторить успех. Иногда мной овладевает

страстный порыв… но это весьма опасная блажь, ее нужно сдерживать. При моем нынешнем состоянии здоровья блажь легко может превратиться в навязчивую идею, и все придет к тому, что… нет, нет. Долой все эти мысли. Какой это будет бесславный конец для меня — осуждение за убийство!

И все же, в конце концов, какая же это глупость, что мне приходится работать вот так, прячась по углам. Моя задача преследует высочайшие цели и полностью отождествляется с биологическим прогрессом, даже если многие средства могут показаться малоприятными.

Неужели я потерплю неудачу из-за недальновидности законов этой страны?

Неудача — я с трудом могу заставить себя написать это слово.

Несомненно, должен же быть какой-то открытый путь.

Ну, ничего, поправлю здоровье, залечу руку, и тогда меня не будут эти болезненные мысли тревожить.

9 июня

Какая удача! Какая удивительная удача! Подумать только, еще месяц назад я опускался все

ниже и ниже, даже дошел до того, что начал медитировать на саморазрушение! Простая жара — вот что перевесило чашу весов.

У меня не осталось ничего, кроме культур, и я уже подумывал о том, чтобы выбросить их, когда нашел собаку. Это была облезлая, блохастая дворняга. Внезапная жара свела ее с ума в нескольких ярдах от моей калитки — то самое естественное безумие, о коем я молился. Должно быть, я сильно рисковал, ловя ее, но был слишком взволнован, чтобы беспокоиться о жизни. Достаточно того, что я поймал…

(Далее большой фрагмент рукописи затушеван)

…смешанный с культурой, взятой у кролика, в тщательно отрегулированной по части температуры среде. По-видимому, именно высокая температура способствовала успеху. После недели тестирования с использованием реактивов я обнаружил под микроскопом четкую и подвижную клеточную структуру в центре студенистого коллоида, по-видимому, питающего ее. Мой почерк дрожит от волнения, и это неудивительно. Я создал амебоид — первый этап на пути искусственной эволюции! Если только я смогу найти ускоритель, я, возможно, смогу помочь форми-

рованию клеточной системы — конечно, на этот раз я не буду разочарован, ведь мой рассвет действительно забрезжил на горизонте!

17 июня

Я не знаю, как от этого избавиться, потому что меня одолевает ужасное искушение. В каком-то смысле, когда я смотрю на это дело, мне кажется, что Природа преподнесла мне подарок, и все же… и все же… осмелюсь ли я?

Вчера я нашел его — грязного, полуголодного бродягу, лежащего без сознания в кустах в саду. История была очевидна: отсутствие еды, какие-то врожденные болезни. Даже если моего имени больше нет в справочниках, я все еще врач, и чувство гуманности заставило меня принять его, хотя его состояние делало мои действия несколько неприятными.

Я насильно влил в него бренди, но долгое время не мог привести его в чувство. Это низкорослый человек-крыса, и форма его черепа наводит на мысль о неполноценности. Мне потребовалось два часа, чтобы разбудить его, и как только я это сделал, у него случился эпилептический припадок, после чего он снова впал в кому.

Ночью мне приснился ужасный сон. Что-то

стояло у моей кровати и шептало: «Тебе нужен был сложно устроенный подопытный. Ну и чего ты медлишь?»

Конечно, я не могу этого сделать. Я должен избавиться от этого человека — отправить в ближайший город за помощью, повидаться с ним напоследок. Это предложение экономки — конечно, я не смог скрыть от нее нового человека в доме. Проклятая назойливая женщина! «Лучше бы его посадить под замок — он небезопасен, у него такие припадки». Что до этого, то у него было еще два приступа, второй — более жесткий, чем первый. Очевидно, как я уже отмечал, он не в том состоянии, чтобы его перевозили. Всему свое время. Я лучше разберусь с ним, а потом избавлюсь от этой женщины, а то впредь она будет доставлять мне неприятности. Из-за нескольких кроликов и без того было много хлопот. Придется справляться без нее.

Конечно, я не могу это сделать. Я все очень тщательно продумал. Даже если сделать весьма смелое предположение, что у бродяги-придурка нет никого, кто трясся бы за участь столь низко павшего индивида… все равно это ужасный риск. Полиция все выяснит. И это, как ни крути, убийство. О, будь прокляты эти соблазнительные

мысли! Я переутомился, вот что! Мне нужно отдохнуть, раз мой гость все еще здесь…

Нет, какой же я все-таки дурак. Если бы я не был так нерешителен сегодня, он бы уже был готов для опытов. Нет, не сейчас, но завтра… завтра что-то решится.

18 июня

Уже поздно, и я знаю, что устал. Но я не могу успокоиться, а выпитый бренди жжет меня изнутри.

Я сделал это. Мои руки обагрены — в переносном смысле, конечно. Я был слишком осторожен, и ни капли крови не было пролито взаправду.

Боже мой! Я что, сумасшедший, что могу так спокойно писать об этом? И все же пот струится по моим вискам, а нервы ни к черту. На самом деле я не собирался этого делать, совсем не собирался. Это был несчастный случай, чистая случайность во время борьбы. В конце концов, я должен был защищаться, а сила иных юродивых делает их опасными… Ни один суд присяжных не сочтет меня виновным…

Но, знаете, на самом деле я поступил так не из-за этого. Я мог бы справиться с ним, если бы попытался, когда он, пошатываясь, поднялся с

кушетки. Я мог бы поставить ему укол и успокоить его. Но, видите ли, я этого не сделал. Мне нужен был труп, а не живой человек. Мертвая *материя*. Я хотел заполучить его гнилой мозг и его пропитую кровь.

Моя ли рука выводит эти строки? Ну да, чья же еще. Я должен быть осторожен впредь. *Я должен быть осторожен.* Я повторяю это про себя, очень медленно. В этом доме и без того достаточно безумия, чтобы добавлять к нему еще и мое собственное. Теперь я сжег за собой мосты. Я не могу вернуться.

Я использовал стоящий здесь огромный медный котел. Теперь это биореактор. Даже если экономка что-то заподозрит, крышка слишком тяжелая, ей не под силу ее снять.

Эта женщина — что я ей скажу? Так, просто нужно сохранять спокойствие. Скажу ей, что этот человек исчез. Как прибыл, так и убыл. Она поверит. А что ей еще останется?

Как странно, что большинство людей совершают убийства так неуклюже. Я полагаю, это потому, что они нервничают и не имеют представления об анатомии. В конце концов, все было так просто, так чисто. Просто равномерное давление двух больших пальцев, по одному с каждой

стороны дыхательного горла, останавливающее приток крови к мозгу по сонным артериям… Его лицо так легко воскресить в памяти. Но я ничего воскрешать, само собой, не стану. Мне это не требуется. Никакой необходимости…

Кроме того, у материала в биореакторе *нет никакого лица.*

Экономка… да черт с ней пока что! Через час рассветет. У меня нет времени, чтобы тратить его впустую, и, кроме того, разница между успехом и неудачей очевидна любому, кто начинает жизнь с чистого листа…

(Здесь целая страница, вырванная из рукописи. Судя по контексту, в ней описываются какие-то подготовительные меры, занявшие, по гипотетическим подсчетам, порядка трех часов.)

…образование. Мне пришлось очень осторожно переложить его в сосуд куда большего размера и поставить его на пол маленькой верхней комнаты без мебели — ее я буду держать запертой. К счастью, это прочная дверь, и она не вызовет у нее любопытства. Откажусь от ее услуг сегодня же — держать ее в доме дальше неразумно. Я далеко не уверен, каков будет результат; эксперимент может не достичь целей. Материала в биореакторе хватит еще на несколько испытаний, или

он послужит питательной средой, если культура клеток все-таки разовьется в своей новой форме.

Итак, еще немного приготовлений… Древние знахари из «культа трав», оказывается, не такие уж и дураки. Жабы, змеи, разрыв-трава и кошачья кровь… Далеко не все из этого — антинаучный вздор. Прослеживается солидный, если так можно сказать, академический пласт — лишь слегка замаскированный байками про ведьмовские шабаши и вызов демонов.

Иногда колдун — это неправильно понятый химик.

Сколько мне еще ждать?

18 июня (или уже 19?)

Не знаю, правда, какое число. Просидел сутки без сна, чувствую себя одуревшим. И я напуган. Еще бы, эта адская женщина… она мне, видите ли, не верит.

Я проявил радушие, когда она приехала сегодня утром, хотя я так устал, что это стоило мне огромных усилий. Я знал, что могу чувствовать себя в безопасности, ведь не осталось никаких доказательств или намеков на то, что произошло, способных меня выдать. Та часть подопытного, что химически бесполезна, надежно зарыта, а

все остальное — в медном котле, и крышка у этой штуковины слишком тяжелая для экономки… нет никаких указаний даже на то, что я сам ее открывал. Вся моя химия получена безвредным синтезом — пусть любой это сам проверит. Я не дам на анализ только определенные очень неприметные жидкости и коллоиды в моей импровизированной лаборатории. Даже процесс экстракции я маскировал с помощью мощных дезодорантов.

Что могло заставить это проклятое создание так странно уставиться на меня, когда я сказал ей, что бродяга ушел ночью? Она сказала что-то о том, что «одинокой женщине это приятно слышать», и обычный лепет о том, что она-де боится умереть в постели. Вот зачем она приплела эту тему с убийством? Чуть не повергла меня в панику, сказав, что собирается уведомить власти. Мне стоило огромного труда отговорить ее, и все это только усилило ее подозрения. Боюсь, что придется и ее устранить.

Что я написал? Что за мысли овладевают моим мозгом? Собираюсь ли я — и могу ли я — совершить второе убийство? Первое не было убийством. Это был научный акт, сугубо для прогресса моего исследования. Если бы я не поступил

так, как поступил, каковы были бы последствия? Полоумный бездомный, практически дикарь по уровню развития, лег бы еще одним бременем на и без того трещащую государственную казну. Чьи-то налоги стабильно уходили бы на содержание этого дурня в специальном учреждении. Его бесполезной жизни потворствовали, тратя впустую деньги, время и мастерство. Он был неизлечим — я врач, уж я-то в таких вопросах кое-что смыслю. Неизлечим, и точка. Черт возьми, я оказал властям услугу, распорядившись им по-своему. Я благодетель…

Но полиция, конечно, все увидит в другом свете.

Эта женщина, эта толстая, слюнявая ведьма! Она собирается предать меня. Ко мне в дом нагрянет толпа следователей. «Ваше имя, сэр… род занятий? Вы приютили пропавшего человека… позволили ему сбежать… почему вы никого не уведомили? Бездомный с явным деструктивным психическим расстройством — по-вашему, он не опасен? У нас есть ордер на обыск — отойдите в сторону, сэр…»

В сторону? Ну уж нет. Научный труд величайшей важности не должен пропасть зазря.

Я покончу с экономкой. Я знаю про одно редкое

растение. Образцы под рукой. Ничего подозрительного, она умрет во сне этой же ночью. Нужно придумать предлог задержать ее здесь допоздна, чтобы у нее не было времени, когда она уйдет от меня — как это говорят? — «настучать», «спалить поляну». Да, молодежь как-то так выражается в этой глуши. Если старушка убоится идти по темноте домой, я лично ее сопровожу — с хорошими манерами у меня никаких проблем нет. Я постараюсь расположить ее к себе в течение дня, завоевать ее доверие… Я бы хотел, чтобы был какой-то другой способ, но его нет. В конце концов, это будет всецело безболезненно для нее. Уснет и не проснется. Сердечная недостаточность. О, будь прокляты все эти отвлекающие факторы, когда я хочу, чтобы все мои способности были направлены в ту маленькую комнатку наверху!

20 июня

Сейчас как раз двадцатое, потому что уже далеко за полночь. У меня почти кружится голова от усталости, я совсем не спал прошлой ночью. Я должен лечь в постель на несколько часов, иначе я просто развалюсь на куски.

Ну, она уже ушла — давно ушла. С ней все прошло так просто. Бессердечно так писать, да?

Видимо, после второго убийства и впрямь развивается некая устойчивость. Иммунитет. Она выпила мой чай за милую душу. Это ее трогательное доверие. И благодарность, когда я провожал ее домой…

Хватит об этом. Пустая истерика. Те отрывки из моего дневника, что я просмотрел, похожи на бред сумасшедшего. Я должен отредактировать их, когда у меня будет время, и сделать записи больше похожими на научный трактат. Я очень тщательно готовлюсь к этому. Каждую ночь записи прячутся в тайнике, где мой юный друг из газеты обнаружит их после моей смерти. Черт его знает… Будет грустно умереть, не оставив наследия. Работа должна быть основательно задокументирована, даже незавершенная. Всегда найдется кто-то, кто готов подхватить… Но в этом не будет необходимости. Я чувствую, что близок к блестящей победе.

Только что с ужасом осознал: прошло больше двадцати часов с тех пор, как я последний раз осматривал этот образец. Правда, по моим расчетам, пройдет несколько дней, прежде чем станет заметен какой-либо результат, но я должен взглянуть на него сейчас, прежде чем лягу спать. Через несколько часов эта женщина… Нет,

она этого не сделает. Я совсем забыл. Она никому не настучит, не выйдет. Пишу какую-то чепуху — мозг от усталости ничего не соображает.

22 июня

После последней проверки прошлой ночью, не отметившей никаких изменений, я был совершенно не готов к тому, что обнаружил сегодня утром. Несколько секунд я стоял в дверях, едва веря своим глазам.

Мой материал, как я уже писал, состоял из равных частей ингредиентов человека и животных, а также некоторых реагентов, чей состав подробно описан ранее. Когда я уходил вчера вечером, среда в биореакторе казалась стабильной — тусклая паста, по консистенции напоминающая густую глину. Но сегодня утром она приобрела форму неправильного шара — огромное слоеное напластование плесени, с виду как тесто, приготовленное с избытком закваски.

Я поместил этот образец вместе с частью среды в стеклянное блюдо с вертикальными стенками высотой в четыре дюйма, и сегодня утром масса выступала на дюйм над краем, тогда как раньше она занимала блюдо до половины его глубины. Два часа спустя я отметил прирост еще на три

дюйма, и во время моего последнего визита несколько минут назад серовато-коричневая грибовидная структура возвышалась над сосудом на целый фут.

По внешнему виду я могу охарактеризовать ее только как отталкивающую. Запах, что исходит от нее, — едкий, раздражающий слизистые. Я, кажется, забыл упомянуть: комната, где я содержу образец, герметична, и я с большой точностью поддерживаю в ней заранее рассчитанную температуру в девяносто градусов по Фаренгейту.

Интерес и любознательность быстро победили охватившее меня вначале отвращение. Я внимательно осмотрел образец еще раз, с интересом отметив регулярную, хотя и слабую пульсацию верхней части массы, заставляющую ее приподниматься и оседать. Я решил не зондировать образец, чтобы не нарушить деликатный процесс его развития. Но термометр, поднятый на дюйм от поверхности, быстро нагрелся до ста десяти градусов по Фаренгейту. За последний час образец не увеличился в размерах на сколько-нибудь заметную величину, и я определенно придерживаюсь мнения, что образовавшаяся структура представляет собой разновидность яйца. Через несколько часов, судя по скорости развития в по-

следнее время, инкубация должна завершиться. Я приготовил в комнате большой запас особой подкормки — это (далее следует затушеванный отрывок).

…похоже, я не свободен. С моей стороны крайне глупо это признавать, но я излагаю это на бумаге, чтобы прояснить свой разум — определенные помутнения вновь беспокоят меня. Как только я пытаюсь отдохнуть, передо мной встает мокрое лицо бродяги, а за ним — эта ухмыляющаяся толстая горгулья-экономка, умершая тихо и безболезненно… Должно быть, она все-таки умерла, потому что не вернулась в дом. И все же удивительно, что рядом со мной не было никого, кто мог бы доложить мне об этом. Почему? Это что, такая тактика затишья перед бурей? Так, я должен преодолеть эту глупую паранойю, охватившую меня. Зачем кому-то «мариновать» меня? Кто вообще может прийти? Ее коттедж в миле отсюда, а других поблизости нет. В деревне всякое может случиться, и ни одна душа об этом не узнает. Нет никаких причин кому-либо думать, что она была *уб…* как мое перо цепляется за это слово! Убита. Убита. Я написал это дважды, чтобы доказать себе, что у меня под контролем каждый дюйм ситуации. Но каким мерзким кажется это слово.

У нее было слабое сердце. Я понял это по ее затрудненному дыханию. Она была одна со своим домом и садом, коровой и курами. Она часто говорила про коров и кур, одну даже приготовила для меня. Кто теперь позаботится о безвинных животных? Они наверняка там проголодались — мычат, кудахчут. Я должен пойти и покормить их — это меньшее, что я могу сделать. Пройду мимо безмолвного домика, где неподвижно лежит ее жирная туша.

Неужели никто никогда не навещает ее?

Я не могу все бросить и уехать. У меня много работы.

Наверху какой-то шум. Нужно сходить, проведать. Черт бы побрал темноту! У меня есть стеариновые свечи, так что…

21 июня

Почему я не поспал немного, пока была возможность? Я почти допил бутылку бренди, чтобы продолжать работать. Мне нужно прояснить мозги, чтобы я мог покончить со всем этим.

Комната наверху забаррикадирована, и *эта дрянь* не может выбраться. *Пока* не может, во всяком случае, как бы быстро ни разрасталась.

Когда я спустился, моей первой мыслью было

уничтожить эту рукопись, чтобы ни одна живая душа, насколько это в моих силах, не совершила того же ужасного поступка, что был претворен мной. Ужасного, омерзительного поступка!

Но теперь, когда я знаю, что я вызвал к жизни, я понимаю, что лучший способ — это все-таки оставить этот сценарий. Пусть будет так. Весь этот час я просматривал все, что тут написал, уничтожая каждую ссылку, каждую формулу. Это все, на что я способен. Пусть все знают, *что* я сделал, но не знают *как*. Ни одна из этих строк не должна сделаться отправной точкой для будущих исследователей.

И все это время, пока я это делал, существо наверху билось в забаррикадированную дверь. Когда я закончу, я поднимусь наверх, чтобы уничтожить нечто противоестественное. Его споры повсюду, они густо разрастаются на моем столе, витают в воздухе — загрязняют все, на что попадают! Я больше не могу писать, иначе истощу себя до последней попытки. Уж в ней-то я не смею потерпеть неудачу. Я знаю, что я могу сделать, и сделаю это любой ценой.

* * *

Очнувшись от беспокойного сна от стука, настырно доносящегося сверху, я взял свечу и пошел наверх. Только оказавшись на лестнице, я запнулся при мысли о том, что мой богопротивный эксперимент пришел к какому-то немыслимому завершению. По лестнице спускался сухой едкий запах, похожий на тот, что я чувствовал раньше в герметизированной комнате, но гораздо сильнее и существенно хуже. Воздух загустел, и я закашлялся. Свеча у меня в руке — и та горела синим низким пламенем, жалобно потрескивая. Еле движущееся облако газа темно-коричневого цвета почти скрыло дверь и медленно стекало по лестнице, чья площадка была непрозрачна из-за его густого тумана, цветом и запахом наводящего на мысли о броме. Я пошатнулся, хватая ртом воздух, — казалось, мне пришлось пробиваться сквозь эту гадость, чтобы добраться до двери, в то время как она вздымалась вокруг меня бурлящими волнами.

Я переложил свечу в левую руку, чтобы правой повернуть дверную ручку. Взгляд мой упал на рукав — и кровь буквально застыла в жилах. «Газ» толстым слоем оседал на одежде мелким

сухим порошком. Я вспомнил о чудовищном яйцевидном образце, вымахавшем в стеклянном блюде, — об этой огромной слоеной глобуле. Разломать ее — значит выпустить облако спор: мелких, порошкообразных частиц — *семян безумия*. Я стоял, застыв столбом, когда до меня начало доходить. Я прислушался, и что-то сначала шлепнулось, а затем глухо стукнулось об пол в комнате. Значит, это были и грибы, и яйца одновременно. Меня охватил кромешный ужас. Что это? *Что* я сотворил?

Пламя плясало и опадало у меня в руке, предупреждая, что, ежели я не трус, у меня мало времени. Я стиснул зубы и дрожащей рукой взялся за дверную ручку.

Я услышал, как существо внутри отлепилось от двери, как будто отодвинулось, а затем уселось ждать меня.

Я распахнул дверь.

Бурая пыль, густая и пахучая, окутала меня огромным клубом, как будто всколыхнутая порывом ветра, и в угасающем свете свечи я увидел белесый, скользкий предмет — что-то гротескное, безмерно уродливой формы. Оно было размером с дворнягу и, клянусь, скалило покрытые пеной губы, *рыча* на меня. Помедлив секунду, оно начало

метаться по полу, будто в одном из тех припадков, что разбивали моего полоумного бродягу.

Я отскочил назад, захлопнув дверь прямо перед этим жутким созданием, мною же и сотворенным. Я не мог справиться с ужасающим зловонием, исходившим от него. Спиной я прислонился к деревянной панели, дыхание застряло комом в горле, и меня вырвало с неудержимой силой.

И все это время чудовище царапалось и кусалось, желая прорваться ко мне.

В данный момент я не могу заставить себя написать больше. Я хочу собрать всю силу воли, какой только располагаю, чтобы заставить себя снова подняться по этой лестнице. Я *должен* это сделать. Я не смею даже дождаться рассвета — мой подопытный может к тому времени вырваться на свободу.

Смогу ли я когда-нибудь снова спуститься по этой лестнице? Я не знаю. Я так-то этого не заслуживаю. На моих руках кровь, густая, как эти кроваво-красные споры, клубящиеся вокруг меня. Бумага становится слишком скользкой, чтобы писать! Ладно, я кладу записи туда, где их найдет мой поверенный, и… выхожу. Нужно подняться… вверх по лестнице…

Перевод с английского Г. Шокина

Унно Дзюдзас
Монстр в неволе

— Эй, почему бы нам не выйти ненадолго на улицу?

— Да… давай.

Должно быть, мы немного перебрали с выпивкой. Шагали шатко, нетвердо, едва ли не спотыкаясь. Я положила голову на сильное плечо Мацунаги, обвила руками его сильную шею и крепко прижалась к нему. Мое дыхание, горячее, как огонь, коснулось красных мочек его ушей и вернулось ко мне же ласкающим щеки ветерком.

Холод заполз мне за воротник. Вот мы уже и на крыше, кругом — кромешная тьма, и только лужи дождевой воды сверкают у меня под ногами.

— Вот, вот скамейка. Садись…

Он прислонил мое обмякшее тело к спинке скамьи. Ах, холодное дерево. Приятно. Я откинула голову назад, чувствуя, что чего-то не хватает. Я широко раскрыла рот.

— Ты чего? — спросил он. Его голос звучал как-то странно, будто издалека.

— Эй, не уходи… Я хочу курить.

— А, вот оно что. — Он был настолько любезен, что вложил мне в рот новую зажженную сигарету. Я сделала затяжку-другую. Вот. То, что нужно.

— Эй, ты в порядке? — Не успела я опомниться, как Мацунага уже прижимался ко мне.

— Все в порядке. Я бы еще погуляла.

— Час поздний. Думаю, вам стоит вернуться домой пораньше, *госпожа Мурото.*

— Прекрати! — закричала я на него. — Не смейся! Какая я тебе госпожа!..

— Твой муж, каким бы чурбаном ни был, заметит рано или поздно, что его супруга где-то задерживается, запаздывает каждый вечер.

— И что? Что в этом плохого? Ты его боишься?

— Разве я такое говорил? Я не боюсь, но и хорошего в этом ничего нет.

— Думаешь, тебе что-то грозит? Только мне достанется.

— Ну, вот тебе и повод не злить доктора. Поднимать шум — дело пустое. Давай лучше просто хорошо и спокойно доживем этот день. Вернись домой пораньше и обвей его шею своими белыми ручками.

Мацунага, конечно, боится моего мужа, поэтому и болтает всю эту чепуху. Он же, по сути своей,

сопляк. Слово «муж» для него — что-то вроде идолища. Но для меня оно давно уже утратило всякую мощь. Мой муж — ученый, и я испытываю огромное давление из-за того, что он больше десяти лет просидел в своей лаборатории, занимаясь одними только исследованиями. Что значит быть ученым в наши дни? Для меня мой муж — законченный идиот, пугало для ворон. Будь по-другому, он бы не проводил дни и ночи напролет в своей каморке, играя с трупами, сколько ему заблагорассудится. За последние три или четыре года он даже и пальцем не прикоснулся ко мне.

Это болезненно напомнило мне о тех тревогах, терзавших меня прежде.

Если слово «муж» будет и дальше камнем лежать поперек нашей общей дороги, Мацунага, этот славный юноша, определенно найдет мне замену. Кого-то побезопаснее. Он определенно попытается найти мне замену…

Ужасно, ужасно. Если это случится, всякая воля к жизни умрет во мне. Мацунага не просто развлечение, увы, я люблю его и дня прожить без него не могу. И что делать? На данный момент у меня нет другого выхода, кроме как разыграть свой последний козырь. О, этот последний козырь!..

— Эй, — сказала я, притянув его к себе. — Вер-

нись с небес на землю.

— Что такое?

— Я собираюсь сказать кое-что очень серьезное. Навостри уши, ведь я буду говорить это тихо.

Он посмотрел на меня с озадаченным видом и наклонился ко мне ухом вперед.

— Дорогуша, — понизив голос, прошептала я ему на ухо, — ради тебя я убью господина ученого сегодня ночью!

— А? — Услышав это, Мацунага напрягся в моих объятиях. Какой же он трус, хотя ему уже двадцать семь лет!..

* * *

Наш дом был погружен в непроглядную тьму *(мне это на руку!),* луна всю ночь не показывала своего бледного лица с небес.

Мои шаги гулким эхом разносились по длинному коридору. Тусклый свет в коридоре отражался от покрытого паутиной потолка. Дойдя до угла, я свернула вправо и окунулась в облако сильной химической вони. Химикаты и трупное разложение — вот чем провонял наш дом. Лаборатория моего мужа находилась прямо здесь.

Я встала перед дверью и робко постучала. Ответа не последовало.

Это не имело значения. Я сильно повернула ручку, и дверь открылась без каких-либо проблем. Муж вообще не ожидал моего визита. Вот почему на дверях не было замков. Я проскользнула между полками, уставленными бутылками с заспиртованными образцами, и прошла вглубь помещения. В самом дальнем конце анатомического кабинета я услышала лязг металлических инструментов. Ах, анатомический кабинет! Я ненавидела это убежище больше всего на свете — эту глупую вонючую каморку, нисколько не напоминающую какой-то там Светлый Храм Науки, — и все же я здесь слегка робела и проклинала себя за это…

Доктор Мурото, склонившись над прозекторским столом, где лежал очередной бедный образец, предоставленный медицинским университетом — то есть чей-то труп, — резко поднял голову, стоило мне войти. Из-под белой хирургической шапочки и закрывающей всю нижнюю половину лица маски я могла видеть только его выпученные глаза. Растерянный взгляд постепенно разгорался гневом. Но сегодня вечером я подобных вещей не боялась.

— Я слышала какие-то странные стоны на заднем дворе. И еще там что-то постоянно мерцает.

Посмотри, пожалуйста…

— Ух, ух, — запыхтел мой муж, как какое-то проклятое животное. Утробный, звериный на все сто процентов звук. — Черт, не говори глупостей. Это неправда.

— Я не вру. Звук идет от того пустого колодца. Это все из-за тебя! Бросать в древний колодец то, что ты туда бросаешь, не очень-то осмотрительно…

Пересохший колодец находился в саду за домом. В руках моего нерадивого ученого мужа он превратился во вкопанное в землю мусорное ведро: туда он бросал кости и разного рода ошметки, оставшиеся после вскрытий. Дно было так глубоко, что, сколько бы гадости колодец в себя ни принимал, гадость эта, нагромоздившись в кучу, так и не доходила до поверхности.

— Довольно с меня! Я посмотрю завтра.

— Я не буду ждать до завтра. Посмотри, пожалуйста, прямо сейчас. Если не хочешь, я позвоню в полицию и попрошу их приехать к этому колодцу.

— Стоп, стоп. — Голос мужа чуть дрогнул. — Я посмотрю, посмотрю. Пойдем. Покажи мне, что тебя беспокоит. — Он сердито бросил скальпель на столик для инструментов, очень осторожно,

с благоговением накрыл труп непромокаемой тканью, стянул перчатки и пошел навстречу мне — впервые за долгое время.

Мой муж взял с полки мощный фонарик и быстрым шагом вышел. Я последовала за ним, отстав шагов на десять. Плечи хирургического халата моего мужа были уродливыми и угловатыми, что придавало ему неописуемо неприглядный вид сзади. При каждом шаге его ноги подпрыгивали, как будто они за что-то цеплялись. Так мог бы шагать механический автомат.

Меня охватило дикое желание ударить по уродливой спине моего мужа. Чувство странного гнева, испытанное мною в тот момент, часто возвращалось ко мне впоследствии, и каждый раз меня подташнивало. Но в то время я точно не знала, почему меня так от этого тошнит. Позже, когда тайна была раскрыта в одно мгновение, меня охватили неописуемые шок и горе. Позже вы поймете почему, поэтому я не буду вдаваться в подробности сейчас.

Спустившись в тихий дворик, мой муж включил фонарик. Свет ярко освещал садовые камни и заросли травы, как будто мы смотрели сквозь негатив пейзажной фотографии. Мы продолжали молча продираться сквозь сорняки.

— Там ничего нет, — тихо пробормотал мой муж.

— Там, куда ты светишь, — конечно же, ничего. Я же говорю, колодец…

— И у колодца ничего не будет! Это все иллюзия, вызванная твоей трусостью! Что-то я не вижу никаких вспышек света и не слышу стонов!

— Не кричи! Ты странно себя ведешь!..

— Я-то? Странно?

— Послушай, ну, хоть сегодня подыграй мне. Посвети на колодец. Его крышка…

— Что там с крышкой? Стоп… ее кто-то снял. Что это за шуточки?..

Крышка у колодца напоминала монолитную железную плиту чуть больше метра в диаметре. Очень, очень тяжелая штука. Сверху в ней было проделано отверстие овальной формы — своеобразный глазок пятнадцать на двадцать сантиметров, лакуна-овал.

Мой муж медленно подошел к тайному колодцу. Вероятно, он планировал незаметно заглянуть за край, этак украдкой. Я увидела, как напряглись мышцы его уродливой спины, как он весь, точно палочка, переломился в талии. Все его внимание поглотило колодезное жерло — он даже не заметил, что я стою прямо у него

за спиной. Он *никогда* меня толком не замечал, словно не понимал, зачем ему вообще жена, и впервые я была благодарна за это. Впервые мне выпал хороший шанс!

– *Провались ты пропадом, доктор Мурото!* — выкрикнула я, хватая припрятанную тут же во мраке двора старую деревянную оглоблю и со всей силы обрушивая ее на спину мужу. И это, конечно же, не могло не застигнуть мерзавца врасплох.

— Ч-что ты делаешь, Уоко!..

Только теперь до его сушеного ученого ума дошли мои злые намерения. Его крик еще не успел стихнуть, как он уже исчез с лица земли. Он упал прямехонько в мерзостные недра этого древнего колодца. Фонарик успел выпасть из его руки и покатился по влажной траве.

«Я это сделала», — явилась абсурдно простая мысль, и внезапно мой разум прояснился. «Я все сделала… неужели это конец? Неужели теперь я могу выдохнуть спокойно?»

— Наконец-то ты это сделала, — раздался позади меня другой голос, придав мысли звук и силу. Я, конечно, узнала его — он принадлежал Мацунаге, — но все равно вся задрожала от неожиданности.

— Помоги мне. — Я посветила подобранным фонариком на большой камень, в два раза больше лежащей у моих ног каменной крышки, придавливающей бочку, где мы мариновали такуан[31].

— Что ты собираешься делать?

— Подтащи его поближе. Да не поднимай, а просто переверни. Ну вот, дальше он сам покатится. Так, сюда…

— Госпожа Мурото! Хватит! — вскрикнул он, поспешно пытаясь пресечь мои попытки оторвать от земли этот дурацкий камень.

— Ну же, катись-катись! — И каменный снаряд покатился. Мелькнув над жерлом, он обрушился в колодец, как какое-то первобытное ядро. Вот он, мой последний подарок мужу! После короткой паузы из глубин земли донесся какой-то странный звук — не то сдавленный человеческий стон, не то глухое хлюпанье стоячей жижи на самом дне.

Мацунага дрожал рядом со мной.

— Теперь будь умницей, снова воспользуйся лебедкой и закрой крышку.

Скрипнула цепь, и тяжелая железная крышка

---

[31] Примечания: 31

Такуан — способ приготовления дайкона (японской селекционной редьки) и одноименное блюдо. Для его готовки дайкон сушат на солнце в течение нескольких недель до гибкости, после чего несколько месяцев маринуют под гнетом с солью и специями.

опустилась на дыру в земле, запечатав ее будто бы еще основательнее, чем прежде.

— Загляни в глазок на ней. Прошу тебя. Посмотри, что там.

Мацунага, все еще немного потрясенный, выступил вперед. Боязливо склонился над железной могильной плитой — да, теперь это была именно что *могильная плита,* — и вдруг отпрянул.

— Что там? Что-то есть?..

— Ничего, — вымолвил он одними губами. — Ничего… нет. Я ничего не вижу там, Уоко.

* * *

Было бы чудесно, если бы ночная тьма продолжалась вечно. Было бы чудесно, если бы мир, где были только мы вдвоем на этой мягкой кровати, навсегда исчез из поля зрения всего остального мира. Но прежде чем я успела что-то предпринять, белая заря забрезжила за занавесями.

— Я, ну… оставлю тебя ненадолго. — Мацунага был честным банкиром, и если я хотела вечного счастья, у меня не было другого выбора, кроме как отпустить его на работу. — Ты не грусти тут без меня… Я вернусь рано вечером.

Он вышел, беспокоясь о своих опухших глазах.

В этом большом особняке, где не было прислуги,

царила тишина, совсем как в доме с призраками. Раз в неделю приходил нанятый мальчишка-посыльный — пополнить запасы продуктов и забрать белье в прачечную. Я могла делать все, что мне взбредет в голову, — да хоть бы и спать сколь угодно долго, — ведь моего мужа больше не было рядом. Он не звал меня, не требовал подать обед, не давал мне глупых «научных» поручений. Так что я могла оставаться сколько угодно в постели… но по какой-то причине не могла нежиться спокойно.

Чувствуя себя разбитой, я наконец встала с кровати, переоделась и подошла к зеркалу. Бледное лицо, налитые кровью глаза, сухие губы…

— Убийца! — бросила я отражению в зеркале и усмехнулась. Ну да, я совершила что-то непоправимое. Тело моего мужа гниет в колодце, видимом за окном. Из-под земли ему не восстать. Его жизнь надломилась, как грифель карандаша. Его исследования, его семья (то есть одна лишь я — другой родни не осталось), его активы — все это вышло из-под его власти. Выдающийся, безмерно перспективный доктор Мурото… трудился напрасно! И кто же во всем виноват? Я, убийца. Женщина в зеркале. Но, видит небо, у меня на то имелись веские причины. Конечно,

я могла быть умнее в свое время и выйти замуж за другого мужчину. Но все мы бываем слепы. Все мы допускаем промахи. Может, сейчас я тоже промахнулась — да так, как еще ни разу в жизни не промахивалась? Не стоило убивать его…

Я больше не могла выносить тревогу, нарастающую во мне. Есть ли что-нибудь, что могло бы мне помочь? Да, конечно. Деньги. Деньги, оставшиеся от доктора. Нужно найти их.

Однажды я застала мужа за пересчетом купюр — так много их было, что глаза разбегались. Дело было пять лет назад, но даже если он спустил их на свои исследования, что-то должно остаться. Найду их и пущусь во все тяжкие, прямо с сегодняшнего вечера.

Остаток дня до вечера я провела в поисках спрятанного сокровища моего невинно убиенного супруга: обыскала гостиную, спальню, книжный шкаф в кабинете, ящики стола и даже комод для одежды. Излишне говорить, что это ни к чему не привело. Пятьдесят иен — весь мой капитал! Я уже подумывала было войти в прозекторскую и осмотреть брюшную полость трупа, гниющего там *(с ним ведь тоже надо что-то делать!),* но у меня не хватило смелости даже подступиться к этой комнате. Однако, даже не заходя так да-

леко, я поняла, что нет смысла искать дальше. Я обнаружила несколько сберегательных книжек, но баланс на каждой был крошечный — меньше одной иены. В конце концов я поняла, что финансовое положение моего мужа сделалось очень плохим. Неожиданно, печально, но факт.

Разочарование на какое-то время погрузило меня в ступор. Кажется, придется продать этот ненавистный дом и прилежащий крупный участок земли. Когда придет Мацунага, надо будет с ним это обсудить. Он скоро вернется, так ведь? Так он сам сказал, никто за язык не тянул. Я снова повернулась к зеркалу и пригладила волосы.

Но если день плохо начался, как водится, дальше — только хуже. Я ждала, ждала, но мой милый Мацунага все никак не приходил. Полчаса, час… прежде чем я успела осознать, что день прошел, часы пробили двенадцать.

Стоило догадаться! Он сбежал от меня — убийцы! — навсегда!

Я совершила ради этого инфантильного слизняка сущий подвиг, и смотрите-ка, его слабое сердце пропиталось страхом. Сбежал от Черной Вдовы! И к кому? Я, возможно, даже не узнаю…

Ночь прошла в муках. Новый день с первых минут оказался ненавистно-прекрасным. Расту-

щее чувство изоляции распаляло во мне злость. Сотрясаемая изнутри легионом бесов, я, крича как зверь, бросалась всем телом на грязную серую стену. Крайнее одиночество, неизгладимое чувство вины, надвигающийся страх — агония, родившаяся из этих слагаемых, оказалась столь ужасной, что я уже заподозрила, будто теряю разум. Если б тяжелую крышку можно было поднять самой, я, возможно, последовала бы за мужем в жерло.

Крича, извиваясь и мечась, мое тело наконец-то истощилось, и я бросилась на кровать. Я заснула, но мне снился один ужасный сон за другим, снова и снова. От какого-то из них я резко очнулась. Кто-то безжалостно громко стучал в стеклянное окно, выходящее в сад.

Полиция, быть может? Катастрофа! Неужели все вскрылось так быстро?..

— …Да, та еще беда, — говорил Мацунага — это, конечно же, был он, — как-то чересчур жизнерадостно. — Средь ночи кто-то обчистил хранилище местного банковского отделения и сбежал. Мы не знаем, кто это был. Охранник филиала Аояма Кинношин был убит. И как ни странно, хранилище стоит запечатанным! Единственные пути доступа — вентиляционное отверстие и

окно, высоко расположенное, в фрамуге. Окно не рассматриваем — стальные запоры на нем нетронуты. У вентиляционного хода есть съемная заглушка — она круглая, но всего-то двадцать сантиметров в диаметре, сопряженная с такой же по узости трубой. Человеку в такую дыру никак не пролезть — хоть маслом мажься, не выйдет! И все же никак не отвертеться от факта: преступник проник внутрь. Чертовщина какая-то!

— И что, много денег украли? — осведомилась я.

— Да, около тридцати тысяч иен. Все сотрудники банка попали под подозрение. Мне, как сотруднику младшего звена, даже уйти не дали — пришлось натурально переночевать на работе. Тот еще опыт! — Мацунага достал сигарету из кармана и с удовольствием закурил. — Ну, каково, а?

— А как убили охранника?

— От груди до живота идет длинный тонкий след от скальпеля, и он странно обожжен. На первый взгляд это похоже на старую рану… вот только она не старая! Я подслушал разговор о результатах вскрытия, так вот под этим порезом оказалось самое интересное: легкие, сердце, желудок и кишечник охранника исчезли. Все ор-

ганы пропали! Кому о таком расскажи — примут за небылицу…

— Да, странное что-то. — «Странное что-то» в тот момент творилось у меня в душе. Я кое-что вспомнила. Вспомнила и ужаснулась.

— Но эта странная расправа в конечном счете спасла нас, арестованных сотрудников. Это доказало, что на нас никакой вины нет.

— То есть…

— Кто-то взломал сейф, не взламывая его, украл тридцать тысяч иен и, если говорить напрямую, украл органы охранника. Банкир на такое не способен, верно? — Мацунага глупо усмехнулся.

— Украл органы? — эхом повторила я. — Какой-то чересчур смелый вывод.

— Пришел какой-то известный детектив. Убедил в этом даже всех сотрудников следственного отдела. Говорит, что уже примерно знает, как ловить преступника. Ну, даже если и так, не думаю, что этакое дело можно раскрыть немедленно. А все-таки ужасные вещи подчас вытворяют люди, верно?..

— Давай о таком не будем сейчас, — поспешила сказать я. — Я хочу расслабиться.

Мы почали бутылку мягкого западного вина из запасов моего мужа, и весь мрак куда-то очень

быстро выветрился. Хотя был еще ранний вечер, мы решили задернуть шторы и лечь спать. Той ночью я крепко спала: облегчение от возвращения Мацунаги и усталость от прошедших дней гармонично смешались с чарами вина, и забытье не заставило ждать себя.

Я встала с первыми лучами солнца, чувствуя себя обновленной. Каждая клеточка во мне исполняла песнь отдохновения.

Но Мацунаги не было ни на кровати — я-то думала, он все еще спит рядом со мной, — ни где-либо в доме. Я подождала какое-то время, думая, что он, возможно, гуляет в саду, но так и не услышала его шагов. Как-то рано он ушел — разве у него сегодня не выходной?

Мой рассеянный взгляд упал на стол, и по глазам резанул какой-то квадратный конверт — раньше его там точно не было. Дурное подозрение сжало когтистой лапой сердце.

Конверт развернулся в записку — несомненно, написанную рукой Мацунаги, причем очень дрожащей, как стрелка сейсмографа, рукой. С большим трудом удалось мне разобрать слова:

Моя дорогая Уоко, прости за то, что поступаюсь счастьем быть с тобой. Увы,

я не хочу больше показываться тебе на глаза. Почему, спросишь ты? Из предосторожности! Я не знаю, кто стоит за ограблением банковского хранилища, но это явное чудовище, и полагаю, его истинной целью был я. Ночью я проснулся от странной боли, все мое лицо горело, и, пройдя к зеркалу, увидел, что мой выдающийся нос и упругие губы (не смейся над этим восхвалением собственных черт – оно в любом случае последнее) кем-то срезаны подчистую! Меня ужасно изуродовали – так, что я ничего не почувствовал! Молюсь о том, чтобы этот загадочный мститель не провернул нечто подобное и с тобой…

Бумага выпала у меня из руки. Все это напоминало сон. Кто-то украл деньги из банка, убил охранника, выследил Мацунагу у меня дома и изуродовал его прекрасное лицо во сне? Какому негодяю, если он человек, под силу такое? Что ему сделал лично Мацунага?

Может, все дело в… Нет, нет, никаких «может». Мой муж мертв. Он тут ни при чем.

В этот момент я внезапно заметила на полу

странный предмет и подошла к нему, чтобы рассмотреть поближе. Это был комок коричневого пепла. Комок пепла — определенно что-то, что я уже видела раньше. Должно быть, он остался от одной из немецких сигарет, так обожаемых моим мужем. Странно, что он здесь, в этой комнате, убранной мною первый раз позавчера и еще раз накануне. Выходит, кто-то зашел сюда вчера вечером, выкурил сигарету и бросил окурок на пол. Мацунага не курит. Тогда, возможно, кто-то, кого я очень наивно сочла мертвым…

Все потемнело перед моими глазами. О, разве могло произойти что-то более ужасное? Я толкнула его в колодец и сбросила ему на голову огромный камень…

В этот момент медная ручка входной двери начала поворачиваться сама собой. Сухо щелкнул ключ. Дверь бесшумно открылась. Она постепенно отворялась, и, наконец, в проеме встал человек, несомненно, мне знакомый.

— Ты призрак? — глупо спросила я. — Или это… действительно… ты?

— В каком-то смысле призрак, — изрек он буднично, очень знакомым голосом. — То мое старое тело еще только предстоит достать из колодца. Хорошо, что я заранее подготовил себе новое…

Я не сразу поняла, что кричу. Он молча подошел ко мне, не говоря ни слова. В правой руке он держал свою любимую старую трубку, а в левой — саквояж, полный хирургических инструментов. Меня охватил сильнейший страх. Что, черт возьми, он собирался сделать?

Мой муж с грохотом поставил кладь на стол. Он со звоном открыл замок, и половина саквояжа рухнула вниз, обнажив блестящие хирургические инструменты.

— Ч-что ты делаешь? — еле вымолвила я.

Мой муж молча взял большой блестящий скальпель. Затем он медленно приблизился ко мне. Свет причудливо играл на заточенном хирургическом лезвии.

— Это сон, — пробормотала я. — Я сплю.

— Ну, сейчас и впрямь поспишь, — глухим голосом вымолвил он. Потом что-то белое вылетело из его руки, мелькнуло перед моими глазами, запечатало ноздри, сурово взрезало белый лист восприятия острием сильной медицинской вони, и мир убежал из моей хватки.

Придя в себя, я поняла, что лежу в кромешной тьме, на чем-то наподобие соломенной циновки, — гостиная с мягкой кроватью осталась позади. Жутко болела спина. Похоже, меня разде-

ли догола. Я попыталась встать, но, когда начала двигать телом, странные ощущения атаковали меня со всех сторон. Руки… не двигались? Я задалась вопросом, что не так, и когда я присмотрелась, поняла в чем дело. Неудивительно, что я не могла пользоваться руками, — обе они были отрезаны ниже плеч!

— Ну, как ощущения? — донесся до меня голос мужа. Так вот в чем дело. Он отрезал их мне, пока я была без сознания. Конечно, он захотел отомстить и сделал это по-своему.

— Ты, кажется, проснулась. Давай я помогу тебе встать, — сказал мой муж и просунул свои холодные ладони мне под мышки. Он поднял меня. Нижняя часть моего тела казалась невероятно легкой. Я смогла встать, но только условно — стоять-то было не на чем. Бедра и все, что ниже, — *почти* все исчезло.

— Ты просто кошмарен, — сообщила я мужу. — Ты меня… всю обкорнал.

— И позаботился о том, чтобы ты не почувствовала боли.

— Ты так говоришь, будто это имеет какое-то значение! Ты ужасный, ужасный тип!

— Знаешь, как говорят: где-то потеряешь, а где-то найдешь…

Странный намек, маячащий за словами этого безумца, заставил меня содрогнуться. Что, милостивые небеса, он сотворил со мной?

— Сейчас я тебе покажу. Смотри, хорошенько посмотри на свое лицо в этом зеркале!

Свет фонарика больно ударил мне по глазам, и в зеркале, удерживаемом этим извергом на вытянутой руке передо мной, я увидела то, чего видеть вовсе не хотелось.

— Нет, нет, нет, пожалуйста, остановись. Убери это…

— Не нравится? Но почему? Второй нос, что вырос посередине твоего лица, когда-то принадлежал твоему ненаглядному возлюбленному. И эти губы, выросшие поверх твоих губ, — ты ведь так любила их целовать! Могла бы и спасибо сказать, неблагодарная.

— Может, просто убьешь меня?

— Подожди, подожди. Это было бы слишком просто. Давай, ложись на бок. Пришло время поесть. С этого момента я обязуюсь кормить и поить тебя трижды в день.

— Да я лучше голодом себя заморю, чем…

— Я посажу тебя на внутривенное питание, если будешь противиться.

— Лучше убей меня как можно скорее.

— Но зачем, скажи на милость? С этого момента я должен тебя учить. Теперь ложись, и я научу тебя одному забавному занятию. Там есть дыра в полу… Посмотри вниз.

Глазок в полу оказался размером с циферблат наручных часов. Я вся изогнулась, как гусеница, и уставилась в него. Внизу я увидела стол в окружении подносов с инструментами. Это была лаборатория моего мужа.

— Видишь что-нибудь?

…Да. Немного повертев головой, я увидела-таки. Он хотел, чтобы я смотрела на него — на человека с лицом, изуродованным до монструозного состояния, привязанного к одному из стульев. Мне хватило и взгляда на его одежду, чтобы узнать его. О, как страшно Мацунага изменился! В моей груди затрепетало мятежное чувство.

— Нет, знаешь, не буду я туда смотреть. И ты меня никак не заставишь.

— До чего же ты глупая женщина, Уоко. — Мой муж рассмеялся где-то рядом в темноте. — Я и не планирую тебя заставлять. Хоть смотри, хоть не смотри — скоро ты почувствуешь, какие у меня планы на тебя.

— И что же ты хочешь заставить меня почувствовать?..

— О, муж и жена — одна сатана! Подумай об этом хорошенько! — сказал мой муж и, выстукивая странный ритм подошвами, покинул чердак.

Так началась странная жизнь на чердаке. Я могла только лежать. Мое тело походило на мешок с мукой. Как и было обещано, мой муж приносил мне три раза в день еду и клал ее мне в рот. Я начала чувствовать себя счастливой от того, что у меня нет рук. Отсутствие рук означало, что мне не нужно трогать свое кошмарное лицо с двумя носами и четырьмя губами. Я гадала, какую подлость могу учинить ему, и однажды всю ночь орала до хрипоты, но мой искушенный в медицине мучитель пронзил мне горло иглой — казалось, она прошла насквозь, — и голос покинул меня. Все, что мне осталось, — какой-то вялый, безжизненный хрип. Что бы со мной ни делали, я, как заключенная, не могла сопротивляться.

Что случилось с бедным обезображенным Мацунагой, я так и не узнала. Придя в себя на следующий день, я заглянула в глазок и увидела, что он исчез. С тех пор я видела лишь одно: мужа, как обычно, окруженного гротескными анатомированными телами, кусками конечностей и органами, законсервированными в стеклян-

ных емкостях, орудующего своим скальпелем с деловитой сноровкой. Я проводила каждый день с утра до вечера, наблюдая за его работой с потолка.

«Какой же он все-таки преданный исследователь!» — подумала я однажды, но сразу себя одернула. Такая мысль — первая ласточка того, что я вот-вот попаду в ловушку моего мужа. «Муж и жена — одна сатана», — так сказал он. Но что же он имел в виду?

И в один ужасный день я ясно это поняла.

Десять дней спустя с первой зорькой, чей слабый свет сочился в окно, целая делегация полицейских собралась в комнате подо мной. Детективы деловито обыскивали весь наш дом. Немного в стороне от прозекторского стола стоял столик для маджонга, а на нем — что-то вроде плотно закрытой засолочной канистры. Странная вещь не укрылась от внимания наводнивших дом сыскарей. Они сняли ее, изучили, попытались откупорить, но, вопреки видимости, крышка прилегала плотно, и сковырнуть ее было непросто.

— Отложите эту банку на потом, — сказал кто-то, по-видимому, начальник. Детективы, услышав его слова, снова разбежались во все сто-

роны. Банка осталась сиротливо стоять на полу.

— Мы не можем его найти. Преступник сбежал!

Они, конечно, искали меня и мужа. Я захотела дать им какой-то сигнал, но, не так давно крепко связанная грубыми веревками и лишенная голоса, я только и могла, что шуршать, как мышь на чердаке. Вскоре сыскная команда покинула лабораторию, вытекла наружу…

Но куда делся мой муж?

И что это? В комнате подо мной, как я ясно уловила, что-то задвигалось. Что-то вдруг начало дребезжать и трястись. А, та странная емкость! Канистра, опущенная со стола на пол, нетерпеливо покачивалась, как будто внутри было что-то живое. Но что в ней могло поместиться? Кошка, маленькая собака, какой-нибудь краб…

Думая, что дом наконец-то полноправно стал особняком монстра, я провела остаток дня, развлекаясь глядением на гремящую канистру. В конце концов, ничего подобного мне видеть прежде не приходилось. День закончился, наступил следующий; я ползала по полу к снабженной гибкой трубочкой емкости с водой, потихоньку начавшей портиться, и у меня урчало в животе, но муж не приходил. Канистра, казалось, потеря-

ла изначальную прыть, но, как и накануне, она до сих пор время от времени погромыхивала.

Я была так голодна, что не могла этого вынести.

Так прошел четвертый день, пятый… Тухлая вода в бачке с трубкой подходила к концу — скоро к голоду обещала присовокупиться жажда. У меня больше не было сил даже поднять голову, да и канистра перестала двигаться. И вот наконец наступил седьмой день. Откуда-то снизу донесся дребезжащий звук. Я перевернулась на бок и прильнула к глазку. Сыскари вернулись. С ними был проворный мужчина в деловом костюме — его я раньше не видела. Этот щеголь что-то втолковывал своим спутникам.

— …Доктор определенно не покидал эту комнату. Жаль, что я не пошел с вами раньше. Думаю, сейчас уже слишком поздно. Это определенно доктор пробрался в надежно запертое хранилище того банка. Может показаться странным, но правда в том, что он проник в эту комнату через вентиляционную трубу диаметром всего двадцать сантиметров…

— Это не имеет смысла, Хомура, — крикнул кто-то, судя по интонации, кто-то старший, привыкший отдавать приказы. Начальник полиции,

наверное. — Просто смешно думать, что тело человека могло пролезть в такую тонкую трубу.

— Позвольте мне показать вам тело доктора — уверен, вы измените свое мнение!

— Что? Вы знаете, где доктор?

— Да, он здесь! — Мужчина, названный Хомурой, наклонился и указал на канистру у своих ног. Полицейские разразились смехом от того, насколько это было нелепо.

Хомура, нисколько не сердясь, положил руки на канистру, перевернул ее вверх дном и принялся возиться с крышкой. В конце концов он почтительно поклонился емкости, принес откуда-то ножницы по металлу и вскрыл ее. Изнутри вывалилось что-то вроде подушки болезненно-желтого цвета.

— Господа, перед вами изможденный труп доктора Мурото, высшего авторитета в хирургии в нашей стране! — торжественно объявил Хомура.

Полицейские, шокированные до крайности, инстинктивно отвернулись. Содержимое канистры едва ли походило на тело человека. Это было что-то вроде змеи с человеческой головой и кожей человеческого же оттенка, покрытой бахромчатыми ложноножками. За всю жизнь мне не приходилось видеть ничего ужаснее.

— Перед вами наиболее ужасная форма вивисекции человека, подробно описанная в дневнике Мурото. Это *оптимизированное* тело. В нем два легких объединены в одно, часть мышц и выведенных канальцами наружу органов секреции формирует условное подобие двигательного аппарата улитки, желудок усечен и присоединен к кишечнику. Реорганизация поистине экстремальная! Но мозг в подобном теле… мозг, согласно исследованиям Мурото, функционирует в двадцать раз быстрее, чем у обычного человека! Разработав этот метод, Мурото долго и упорно применял его на себе…

Стражи порядка с выписанным на лицах неверием внимали Хомуре.

— Эта канистра — ложе доктора. Идеальная кровать для идеального тела. Кстати, как доктор мог ходить на публике, будучи *таким?* Позвольте теперь показать его конечности.

Хомура встал и подошел к столику, где стояла банка. Он лихорадочно поискал центр столешницы, а затем взялся за ее края и сильно надавил сверху. Он услышал скрипящий звук, и стол разложился в подобие скелета из стальных трубок.

— Смотрите. Если бы крышка этой банки открылась и тело доктора вознеслось на эту высоту,

электромагниты позволили бы этим искусственным конечностям идеально встать на место. Но чтобы это произошло, доктор должен через отверстие в дне канистры нажать скрытую кнопку в основании. Если он не нажмет ее, крышка емкости не откроется. В ней доктор Мурото умер от голода — канистру убрали со стола, пока он спал.

— Но зачем ему обворовывать банк? Убивать сторожа? Чего он добивался?

— Мы вряд ли узнаем все тонкости. Уже по одному масштабу эксперимента ясно, что он был безумен. Деньги требовались ему на сложное оборудование, органический материал людей — на бесконечные опыты. Возможно, он перестал видеть в людях красоту личности, они стали для него не более чем ходячими конгломератами плоти! Чудовище пришло в банк в подобии человека, а в хранилище проскользнуло, будучи змеей. Теперь вы видите, что моя теория не смехотворна…


XIANG

Через некоторое время Хомура призвал всех уйти.

— Но где же его жена? — спросил шеф полиции, вспомнив меня.

— В дневнике доктора говорится, что госпожа Уоко, не вытерпев ужасов жизни с ним, удалилась в горный храм отшельницей. У меня есть одна догадка… давайте поспешим…

Полицейские один за другим покинули комнату.

— Подождите! — Я кричала так громко, как только могла. Но мой голос не достиг их ушей. Ах ты, идиот Хомура! Посмешище, а не детектив! Так сложно догадаться, что этот «горный храм» — это всего лишь горница, чердак? О, этот прохвост, мой муженек, змеей ускользнул через дыру в колодезной крышке. Проклятый камень не поразил цель! И теперь меня ждет медленное угасание от голода. К тому времени, как этот дурак Хомура вернется, я уже не буду принадлежать этому миру. Муж и жена — одна сатана? Одна смерть — вот что этот подонок Мурото хотел мне сказать. Возможно, он даже предвидел, что когда-нибудь произойдет что-то подобное. Ну что ж, я отпраздную смерть здесь, в «горном храме», — с сердцем гордым и очищенным от порока!

Перевод с японского Г. Шокина

Рональд Росс
Жертва вивисекции

В 1860 году, получив медицинское образование в Лондоне и располагая небольшим состоянием, я решил посетить различные университеты и научные общества мира. Я путешествовал по Германии, Франции, Испании, Италии, России, Персии, Турции, Индии и Китаю. Увидев легион микстур, вливаемых в больных, выслушав противоречивые мнения пяти тысяч профессоров, я в конце концов убедился, что лучшее лекарство от большинства болезней — вода, принимаемая внутрь. Еще я пришел к выводу, что жизненно необходимо основательнее изучить психологию; как мы можем починить часы или машину, если не знаем принципов их работы? Конечно, горячее масло может принести пользу, если его влить в устройство, но оно может и засорить механизм. Гигиена — самая важная часть медицины. Но физиология еще важнее, без нее мы просто надеваем очки и блуждаем в темноте. Эти великие тайны жизни и смерти, рождения, роста, действия и мысли были для меня Мексикой, а их решения

заменяли Эльдорадо. И поэтому я с энтузиазмом ступил на землю Америки, страны экспериментов. Я отправился на восток, встречаясь с людьми, прежде мне знакомыми только по научным трудам. Но я остался не вполне доволен.

В большом городе Сноггинсвилле я повстречал хорошо известного доктора Силкатта, прославившегося замечательными сочинениями о мозговой деятельности политиков. Он оказался таким же адептом психологии, как и я. В то время всеобщее восхищение вызвало его недавнее замечательное открытие, что золото, приложенное к нервным окончаниям чиновников, производит совершенно иной эффект, нежели медь. Прикосновение первого из упомянутых металлов к ладони вызывает сокращение сгибающих мышц, в то время как прикосновение второго ведет к сокращению разгибающих мышц. Сам ученый был высок, худощав и не склонен к шуткам. Он жил в собственных апартаментах при госпитале. Я оставался при нем довольно долго, и мы стали друзьями. Вместе с доктором проживал старый джентльмен, страдавший от слабоумия, — я поначалу полагал, что это отец ученого.

Накануне того дня, когда я намеревался покинуть Сноггинсвилль, Силкатт повел меня в свой

частный музей медицинских курьезов. Помню, когда мы вошли в комнату, он, сильно увлекшись спором, оставил дверь открытой. Переходя от одного экспоната к другому, мы наконец добрались до самого любопытного приспособления. Грубо говоря, это был двойной насос с четырьмя трубками (по две от каждого насоса), соединенных с центральным механизмом. Каждая помпа представляла собой тяжелый квадрат, действовавший по принципу поршня. Если установить этот механизм на полу, он мог совершать движения вверх и вниз без рычагов. Силкатт, казалось, хотел пройти мимо, но я поинтересовался, для чего нужно это приспособление, но не успел я закончить фразу, как позади послышался крик, заглушенный взрывом смеха. Там стоял вышеупомянутый пожилой джентльмен, тоже осматривающий заинтересовавшую меня конструкцию. Силкатт тут же нахмурился и ухватил старика за руку. Тот поднял правую ногу и поставил ее на низкую скамейку, находившуюся совсем рядом. Его лицо налилось кровью, и белые волосы, брови и небольшие бакенбарды резко контрастировали с цветом его кожи. Вены на шее набухли, а на лбу выступили капли пота. Его зубы сжались, а глаза выкатились. И хотя вся эта

трансформация заняла лишь несколько секунд, казалось, что мужчина испытывает жестокие телесные страдания. Он согнулся, как будто поднимал обеими руками огромную тяжесть, а потом начал двигать руками вверх и вниз, как будто управляя описанным выше насосом. Он то смеялся, то кричал, через несколько секунд на губах у него выступила пена, он затрясся и повалился на пол в эпилептическом припадке.

Силкатт сказал:

— Он не мой отец. С ним часто случаются такие приступы. Он прожил со мной около двадцати лет. Сегодня я отдам вам рукопись, где описан его случай, а также этот механизм. Единственное условие — вы не должны обнародовать содержание документа, пока мы оба живы.

Прежде чем лечь спать, я обнаружил на прикроватном столике рукопись, в конце стояла подпись «Уильям Силкатт». Открыв папку, я прочел нижеследующее…

* * *

Я работал в госпитале в Сноггинсвилле в качестве практиканта-медика с 1838 по 1840 год. Патрик Макаллиган, мужчина лет сорока, был здешним санитарным инспектором. Тогда он

увлекался экспериментальными исследованиями в области физиологии и терапии. Ему требовался ассистент, и он обратил внимание на меня. Меня обе темы живо интересовали, мы целыми днями трудились в лаборатории. Лазарет располагался на холме, это длинное здание с башенками на концах крыши. В то время пациенты занимали только половину здания. В верхней части башенки в пустующем крыле располагалась наша лаборатория. Здесь мы работали и зачастую спали, порой целыми днями не видя других людей. Лаборатория состояла из пяти комнат: зал для подопытных животных, химическая лаборатория, зал с микроскопами, мастерская, операционная. Это последнее помещение находилось в центре башни, окна операционной выходили на запад. Стены были окрашены в черный цвет, чтобы на них не оставалось заметных следов крови. В углу стояли таз и кувшин. Вдоль стен были столы с разными ножами, пилами, пинцетами. В ярде от одной из стен находилась обычная печь, труба тянулась прямо к крыше. В центре помещения стоял операционный стол, остроумно величаемый нами «алтарь науки», — сложная конструкция, обтянутая кожей и покрытая водонепроницаемой

пленкой. Стол можно было раздвинуть или, наоборот, сдвинуть, чтобы на нем могла комфортно уместиться хоть обезьяна, хоть морская свинка. К нему крепилась паутина ремней. Дверь и окно были обиты специальным материалом, чтобы звуки, вырывающиеся из операционной, не побеспокоили пациентов.

Макаллиган был ирландским эмигрантом. Роста он был среднего, бледный, со светлыми песочными волосами. Он отличался серьезностью. Большие передние зубы блестели, когда он разговаривал. Руки у него были длинные и волосатые. Углубляясь в исследования, он сутулился и опускал голову. Длинный шрам тянулся от его левого глаза ко рту, и это уродство делало доктора еще более замкнутым. Он был протестантом и, когда не занимался вивисекцией, чаще всего перечитывал сборник гимнов, частенько напевая их про себя. Он говорил мне, что был сыном ирландского врача и ушел из дома в семнадцать лет после семейной ссоры.

Мы часто обсуждали ужасную проблему смерти. Можно ли ее предотвратить? Может ли наука надеяться на то, что будет найдено противоядие? Он говорил:

— Почти все ткани можно восстановить, как

кости, исправить или заменить какими-то иными материями, поэтому я уверен, что причина смерти — не в этих частях, какие вполне можно назвать *принадлежностями жизни,* но отнюдь не *хранилищами* ее. Чем старше тело, тем слабее его способность залечивать раны. Почему? Потому что целительная сила старше и пассивнее. Что такое целительная сила? Где она скрыта? Полагаю, что в нервной системе или в крови. Мы умираем не потому, что разрушаются наши мускулы и органы, а по другой причине: либо механизм мозга, связок и ганглий изношен и стерт, либо же кровь настолько истощена после долгого использования, что уже не может должным образом служить телу. Мы не можем дать животному новый мозг, но мы можем его снабдить свежей кровью. В таком случае проверим, может ли кровь быть вместилищем жизни. Намеченный план таков: я создам искусственное сердце, подлежащее заполнению свежей кровью недавно убитого животного. Потом нам следует раздобыть труп человека, умершего от кровопотери; нужно поторопиться, подсоединить аппарат к кровеносным сосудам и восстановить циркуляцию. Так, — закончил он, потирая руки, — я надеюсь вернуть мертвого к жизни.

* * *

Чтобы понять рассказ доктора Силкатта, читатель должен знать основы циркуляции крови. Все очень просто. Сердце разделено на две части, правую и левую. Кровь попадает в правую часть, откуда она проникает в легкие, из легких она переходит в левую часть и распространяется по всему телу, а из тела возвращается в правую — и так до бесконечности. Аппарат Силкатта, если описывать его, не прибегая к анатомическим терминам, являл собой искусственное сердце, только две части были совершенно разделены и работали под разным давлением. Грудная клетка была открыта, и в большие кровеносные сосуды, подающие кровь в сердце и из сердца, вставлены длинные каучуковые трубки — таким образом кровь из тела поступала в правое искусственное сердце или насос, а потом опять в тело и так далее. Эти искусственные сердца напоминали обычные насосы двойного действия: клапаны всасывали жидкость в одном направлении и выталкивали ее в другом, но, будучи полностью герметичными, они отличались исключительной массивностью, и насосы можно было запустить лишь с огромным усилием. Каждый насос был помещен в

ванну с горячей водой, чтобы сохранить кровь при высокой температуре. Насосы располагались по обе стороны от мертвого тела. Но вернемся к рукописи…

* * *

Прошло немало времени, прежде чем в госпитале появился подходящий субъект. Нам требовался человек, просто истекший кровью до смерти, не получивший никаких серьезных повреждений, кроме разрыва кровеносных сосудов. Мы всегда держали наготове обезьяну, чтобы получить требуемую жидкость. Мы часто практиковались, вставляя каучуковые трубки в кровеносные сосуды умерших пациентов. Нам удавалось осуществлять операцию всего за пять минут.

Наконец утром 5 октября 1840 года в лазарет привезли пациента, раненого в голову и потерявшего много крови. Его ударили ножом в уличной драке. Это был высокий сильный мужчина с густыми рыжими волосами и бородой, со злобным и хитрым выражением лица. Когда я его увидел, он уже слабел — очевидная склонность пациента к пьянству ничуть не способствовала выздоровлению. За исключением сиделок, только я один

осматривал его и ухаживал за ним. Я перевел его в отдельную палату, где он и умер в 5 часов вечера. Заранее сообщив о происшествии Макаллигану, я ждал внизу, пока доктор настроит свой аппарат. Я отослал сиделок из палаты после смерти пациента. Потом я завернул мертвеца в простыню и, забросив его руки себе на плечи, вытащил тело в коридор. Ожесточенная буря, только что разразившаяся, стала мне лучшей защитой. Я запер дверь отдельной палаты и потащил свою ношу по узким ступеням в башню. Когда я появился в лаборатории, устройство было уже готово, и насосы стояли в резервуарах с горячей водой, подаваемой из бойлера. Обезьяну уже убили, и свежая кровь поступала в нашу машину.



Макаллигана переполняло возбуждение.

— Теперь, — провозгласил он, — мы, по крайней мере, что-то узнаем. Либо у нас будет полезный отрицательный результат, либо вывод, меняющий весь мир.

Тело усопшего я разместил на столе. По левую руку от него стоял насос — я включил его, чтобы наладить циркуляцию крови по организму. С правой стороны от него Макаллиган соединил механизм с легкими. Спустя короткое время я зафиксировал конечности на столе и освободил от одежды область груди. Макаллиган достал нож и одним движением рассек тело до самого сердца. Я придержал края разреза. Почти тотчас же доктор вставил трубки в артерии и вены и в считаные секунды зашил грудную клетку, соединив и кожу, и хрящи, и покрыв разрез быстро застывающей пастой, чтобы предотвратить попадание воздуха и позволить пациенту дышать. Все это удалось сделать за десять минут после смерти. Тело было бледным и холодным, глаза приоткрыты, а зрачки обращены вверх. Мы накрыли тело простынями, чтобы сохранить тепло. Буря снаружи все усиливалась, капли дождя стекали по окнам, и ветер обрушивался на башню так, что казалось, будто она вот-вот рухнет. В воздухе разносились

самые неестественные звуки, тьма сгустилась так, что мы с трудом могли рассмотреть все детали опыта. Я видел, однако, как Макаллиган дрожит от азарта. Сам я всегда был флегматичен, но происходящее меня тоже взволновало.

— Вы готовы? — хриплым голосом спросил доктор, хватаясь за свой насос. — Тогда вперед. — И обе помпы заработали одновременно.

Мы двадцать раз нажимали на рукояти, кровь медленно проникала в разрез на грудной клетке, все шло неплохо. Еще двадцать движений, и щеки подопытного слегка порозовели. Макаллиган остановился, мы сняли пиджаки, и ветер снаружи взвыл с удесятеренной силой. Мы вновь взялись за дело — глаза пациента закрылись. Мы продолжали работать в течение четверти часа.

— Он дышит! — воскликнул мой напарник.

Действительно, можно было заметить слабое движение диафрагмы. Макаллиган вдруг приказал мне остановиться и, подойдя к пациенту, прислушался к его дыханию. Когда мы посмотрели в лицо этому мужчине, его глаза внезапно открылись и он уставился прямо на моего друга. Тот отпрянул обратно к насосу, не в силах сдержать дрожь. Мы работали молча, человек на столе по-прежнему смотрел на Макаллигана, чьи

волосы встали дыбом, а лицо переменилась так сильно, что я с трудом узнавал доктора. Сам я был так потрясен, что не мог поверить в реальность происходящего. Мы никак не ожидали, что произойдет полное восстановление и что пациент покинет коматозное состояние. Тут мужчина, выглядевший так, словно только что очнулся от действия хлороформа, громко сказал:

— *Эй, уставь-ка это!*

— Оставить что? — хрипло спросил Макаллиган.

— Уставь эту толкотню. Энта штуковина всю землю прудавит и выйдет с туй стуруны. Энто бесполезняк. — Потом он добавил: — Странные вы. Вам бы яйцы взбивать.

— Яйца взбивать! — повторил Макаллиган, возбужденно смеясь. — На себя посмотри.

— Чего! — ответил мужчина, улыбаясь одним углом рта. — Ты шутник. Из тех шутников, какие глупусти разные сказывают.

— Нет, я не такой. — С этими словами мой товарищ приподнял подбородок пациента и весело ему подмигнул.

— Ну, парень, — продолжал пациент, — глянь на свои волусы, никто тебе не скажет, что ты не

квакер[32]. И сильно уж ты дрожишь для таких дел. Ты, верно, водопруводчик, с таким-то насусом, а, дружище? — И он плюнул в потолок.

— Почему ты так подумал, парень? — спросил мой друг, проводя по губам языком и не переставая работать у насоса.

— Ну, — грубо расхохотавшись, ответил мужчина, — по виду твуему угадал. Я говорю, — он снова подмигнул, — ты нередко втыкиваешь свои трубки в эти штуки при вивисекции. А теперь для вивисекции детишек нету, а?

— Нет, парень, это не про меня, — расхохотался Макаллиган.

— Странно-то как! Ох, мужик, конечно, я ли не был вивисектуром в старой Ирландии и духтором вдобавок.

— Надеюсь, ты сам-то многих истыкал, — рассмеялся мой друг.

— Каких-таких многих?

— Сам же сказал, что был доктором.

— Ну, — мужчина рассмеялся и подмигнул, — запиши-ка эфто у себя в дневнике, а опосля устраивай обед в гудовщину, каждый год беспре-

---

[32] Примечания: 32

Квакеры (от англ. quaker — букв. «трепещущий [пред Господом]») — представители радикального движения протестантов, зародившегося в Англии в середине XVII века.

менно. Да, сэр, я был дохтур, и важный при этом, и получал тысячу в год, и жил на Меррион-Сквер, верняк! Но занялся физиологией… занялся физиологией — и кранты! Говорю же, разве дьявол меня не поджарит за всю эфту вивисекцию, за резню-то? За привязи всякие? Скажет он мне: «Надо было дать хлороформ». Но мне нету дела до дьявола. А? Покамест я не помру? А?

— А если ты уже умер? — громко вскричал Макаллиган. — А, парень, если ты *уже* умер?

— Эге? Ну, чужак, ты, вижу, качаешь в меня воздух эфтим насосом. Я говорю, — завопил пациент, — перестань немедленно! От каждуго толчка у меня в груди колотун страшный!

Пациент, казалось, заволновался. Он не сводил взгляда с моего напарника. Потом он обернулся ко мне, и стало ясно, что он меня узнал. Он начал дергать руками и ногами, а Макаллиган, не сознавая, что говорит, все повторял и повторял:

— А что, если ты мертв? Что, если мертв?..

И мы не переставая продолжали работать насосами.

— Ах-х-х! — прошипел мужчина, и на лице у него проявилось устрашающее выражение. — Что это? Что это? Я мертвый! Дьявол, я только что помер… околел от удара по голове и выпил

бутылку вискаря, чтоб околеть пьяным! О Боже! Вижу… Я в аду и я еще пьян!

Он продолжал вопить, пытаясь освободиться от ремней.

— Так и есть, Пат, — крикнул мой друг. — Так и есть.

— Ах! Боже! И чего ж они скажут, ежели я приду на суд пьяным? Может, я уж и был в суде, но так набрался, что ничегошеньки не помню. Я был в дым пьян и не мог даже ничего по делу сказать…

— Так и было, Пат, так и было. Ты был чертовски пьян в порту, верно.

— Эх! Пропал… — забормотал человек, его взгляд блуждал от инструмента, воткнутого в грудную клетку, к швам на коже и трубкам, тянувшимся к насосам. — Ох! Святой Патрик, все пунятно! Вот мне наказание за все, что я делал. А вы пара дьяволов, а я на вивисекции, и мне будут устраивать вивисекции вечно, вечно, без конца. Ох! Боже… вот же проклятье… проклятье… проклятье…

Тут Макаллиган нечаянно сбился с ритма, и пациент отчаянно втянул в горло воздух.

— Эй, больше так не делай, милый, — продолжил он. — Я не стану больше ругаться, добрый мой демон. Я не прочь бы с тобой сторговаться,

но ты же хитрый дьявол, честно говоря, я таких на земле не видывал, и в а... нигде не видал. Ты еще не так много обо мне узнал, да?

— Мы пока только перевяжем твои желчные протоки и сегодня проделаем свищ у тебя в боку, дружище, — сказал Макаллиган, подмигивая мне.

— И вы все это сделаете? О боже мой!

— Завтра мы твою брыжейку положим под микроскоп, чтобы увидеть, как в ней кровь циркулирует.

— О нет! А на следующий день чего вы учините?

— Посмотрим, сколько мозгов сможем у тебя вырезать, прежде чем ты перестанешь думать.

— Почему ж вам не пуверить, что думалка у меня где-то под ложечкой, а? Одна только радость — все эфто скоренько кончится, потому как у меня на теле живого места не будет.

— Ничего подобного, дорогой мой сэр, — взревел Макаллиган, как будто обезумевший от волнения. — У тебя все раны мигом заживут в одном месте, стоит нам взяться за другое.

— Ну, тогда у меня никакой надежды не останется. А что это ты сейчас делаешь?

— Ввожу тебе обезьянью кровь, чтобы прове-

рить, когда ты заорешь.

— Я точно этого не сделаю, но скажу тебе, что чувствую себя особо сообразительным и хитрым. Я тебе дам совет — попытай-ка удачи с прежней микстурой. Ты ведь не устраивал экспериментов с алкоголем, да, дружище?

— Нет… зачем?

— Ну, могешь выяснить, сколько в меня виски вольется, приятель. Боже! — выкрикнул он, осмотревшись. — Как хорошо я их помню: скальпели, щипцы, иглы и все такое. Я и сам много раз устраивал эксперименты навроде твоих.

Иногда мужчина переходил с грубого ирландского наречия на калифорнийский сленг.

— Понимаешь, — продолжал он, — я, типа, важный парень в медицинских делах.

— И как ты лишился этой важности?

— Однажды я по уши ушел в работу над своей теорией диабета, и когда пудель залаял у меня под ногами, я вместо того чтобы его пнуть, подхватил и засунул себе за пазуху.

— Ну, и?..

— Ну, это ж был пудель жены вице-короля, или вице-королевы, она предлагала за него сотню фунтов. Один мошенник и заметил, как я его тащу с собой, сказал полисмену… а тот проследил

за мной до дома, вошел, поднялся в лабораторию и увидал там такого же пуделя со вскрытым нутром. Меня забрали за кражу собаки, а я как раз добрался до чертовой сути дела и, вместо того чтоб попасть в Королевское общество, оказался в каталажке. Когда я вышел, то стал пить и отправился в Америку за собачками. И здесь их до черта, клянусь! Ты ведь не дашь мне хлороформ, ладно? А может, лучше коктейль с джином? Иисусе, как же воют энти черти!

Во время этого необычайного разговора ветер все усиливался, башенка явно начинала раскачиваться туда-сюда. Темнота тоже начала сгущаться, и хотя еще не было и половины седьмого, черные облака наскоро заволокли небо. Мы возились уже больше часа, пытаясь опередить время, как будто гребли против течения. Руки мои устали, и я сильно вспотел. Макаллиган кричал и смеялся, словно пьяный или сумасшедший, его лицо опухло от натуги, а длинные светлые волосы сбились ему на глаза. Внезапно взгляд мой упал на термометр в ванне, позволяющей поддерживать температуру крови на уровне необходимых 100 градусов. Термометр показывал 97,4. Огонь в печи угасал.

— Нужно поддать жару, — заметил я.

— Давай, подложи, — ответил Макаллиган. — Но мы оба должны остановиться разом.

По его сигналу мы перестали качать и я, стоявший ближе, подскочил к печи, распахнул дверцу и забросил внутрь целое ведерко угля. Когда я вернулся, пациент потерял сознание, мы тотчас вернулись к работе. Я заметил:

— Он тогда чуть не вырубился, Макаллиган.

— Че такое? — пробормотал пациент, озираясь. — Забери вас преисподняя, черти, как вы прознали, что меня кличут Макаллиган?

— Что, правда? — спросил Макаллиган, и брови у него поползли вверх.

— Дык!.. Ясен пень, Джозеф Макаллиган из замка Макаллиган в графстве Лейтрим, сын старого Макаллигана оттуда ж! Будь я проклят, если не так!

Едва прозвучали эти слова, как мой напарник издал самый ужасный вопль, какой мне только доводилось слышать.

— Так ты мой брат! — заорал он. — Ха-ха-ха! Взгляни на это! — И он показал на свой длинный шрам. Челюсть пациента отвисла, он сильно задрожал. Когда мой друг стал качать медленно, больной повалился на спину и запричитал без всякого акцента:

— Ах, до чего же!.. Они отправили моего брата, чтобы досаждать мне. Того самого, кому я нанес удар ножом и оставил шрам на лице — просто потому, что он старше меня всего на пять минут и именно ему доставались все деньги? Так ты не умер, милый Патрик? Ты не призрак, о, диво! Ты меня не умучишь, хоть мы с отцом и выкинули тебя в Америку?

— Нет, нет! — кричал Макаллиган. — Я жив! Ты жив! Мы все живы! Я хирург в госпитале Сноггинсвилля. Я открыл способ воскрешать мертвых, вливая им в вены горячую свежую кровь. Мне требовался подопытный, истекший кровью до смерти. Ты был первым, кто нам подвернулся. Если мы перестанем качать на пару минут или печь погаснет и вода остынет, тогда кровь свернется и ты тотчас умрешь!

Не могу описать, какое лицо было у Джозефа Макаллигана во время этого монолога. Он сыпал проклятиями, бранил брата, устроившего такой опыт, и звал на помощь. Но ветер заглушал его крики. Он то молился, то плакал. Мои руки совсем уже устали, и спина ныла, напоминая, что телу требуется отдых. Внезапно заходящее солнце, уже почти коснувшееся горизонта, выглянуло из-за облаков и бросило алый отсвет на лицо Патрика

Макаллигана. Я никогда не забуду выражения этого лица — казалось, оно принадлежало не человеку, а обезьяне. Оно было красным и морщинистым, рот широко распахнулся, обнажая зубы и даже десны. Язык высунулся наружу, вены на горле и лбу набухли, длинный шрам на щеке побелел и как будто увеличился в длине, протянувшись до верхней губы и расширившись у лошадиных зубов. Галстук и воротничок были расстегнуты, и доктор дышал очень быстро, как пес. Круглые выпученные глаза смотрели прямо на Джозефа Макаллигана — не с яростью и не с ужасом, а вообще без всякого выражения. Единственный луч кроваво-красного света, протянувшийся от окна, казалось, коснулся Патрика Макаллигана с некой особой целью. Потом луч скользнул по его волосам. Был виден лишь он один: луч, осветивший его, растаял без следа. Я разглядел и руки Патрика, сжимавшие насос: они неимоверно напряглись, и вены на них набухли.

Он негромко заговорил:

— Ты причинил мне зло. Мы близнецы, и я был слабее. Ты должен был защищать меня, а не изводить. Мы оба любили Люси Хэган, но она предпочла меня. Однажды я сказал: «У меня есть мозги, мне не нужно имущество, я попрошу Люси

выйти за меня замуж, и мы уедем в Америку!» Я пошел к ней через лес. Ты валил там деревья. Ты бросил в меня топор, крикнув: «Я тебя одолею, слабак!» Сталь рассекла мне щеку. Неделю спустя я пришел к Люси. Она сказала, что подумает обо всем, и вечером отправила мне отказ, написанный по-французски, и сборник гимнов, где были отмечены ее любимые строки. Она сообщила мне, что собирается выйти за тебя. Я встретился с ней, чтобы поблагодарить за гимны, и убил на месте. Потом я укрылся в Америке и там узнал, что отца нашли мертвым в постели. Я сказал: «Мой брат Джозеф убил его». Оба мы убийцы, и вполне естественно, что мы сделали следующий шаг и стали вивисекторами — и это наша кара.

— Ну, — ответил второй, обернувшись к лучу света, — думаю, что тебе, а не мне, надо было заняться таким учением природы. У тебя и интересу немало, и причина была — ударил же я тебя по щеке. Ежели ты качать больше не хочешь, так позови кого на помощь, чтоб тебя сменили. Да притащи чего-нибудь холодненького, а то жажда меня мучит чертовски.

— Если один из нас остановится хоть на пару минут, ты умрешь, ясно? А обезьян у нас больше нет, — сказал Патрик. — Одним насосом не обой-

тись, тебе легкие разорвет. И звать на помощь бесполезно — никто тут не услышит. Нужно как минимум четыре минуты, чтобы добраться до другого крыла здания и обратно, а к тому времени кровь уже застынет и все сосуды забьются.

— Ну, — заметил Джозеф, — а почему б вам обоим не сделать чего-то вместе? Мне жарко уже, как на сковородке.

Посмотрев на термометр в чане с водой у моей помпы, я увидел, что он показывает 102. Огонь в печи, взметнувшийся от порывов ветра, ревел все громче, пожирая кучу угля.

— Включи холодную воду, — сказал Патрик.

Вода полилась из крана, потом ручеек иссяк — труба сломалась во время шторма. Температура все росла: если она будет выше 120, то кровь нагреется до такой степени, что свернется или повредит нервные окончания пациента. Мы остановились. И я бросился к печи, но кочерги и совка на обычном месте не оказалось. Пациент задыхался.

— Если вы, негодяи, не будете кровь качать, я с вас шкуры спущу! — угрожал он.

Мы вновь взялись за дело. Луч света уже не касался лица Патрика, но печь светилась в темноте, и мы слышали рев огня. Патрик шатался как

пьяный и тяжело дышал. Язык вывалился у него изо рта, губы изгибались все сильнее, с каждым движением дрожь в его руках усиливалась. Сам я уже не чувствовал рук, потому что, как я уже говорил, насосы были очень тяжелыми. Я механически толкал и тянул, сердце у меня ныло, я не мог ни о чем думать, глаза мои остекленели, я видел только медленно ползущий вверх столбик термометра. Джозеф вырывался и выл.

— Эй, черти! — кричал он. — Вы меня огнем палите! Ну-ка бросьте! Клянусь, я встану и вас обоих укокошу! — Мы остановились на секунду, но тут он завопил: — Давайте, адские души, или я все дьяволу доложу! О, господи! Лихоманка какая!

Термометр показывал уже 106.

— Ну, — бормотал Джозеф, — подготовили ж вы меня к аду! Попрошусь туда старшим кочегаром, потому как огонь меня уж не пугает.

Патрик попытался заговорить, но не смог. Огонь в печи разгорелся еще сильнее и охватил уже всю гору угля. Термометр застыл на отметке 108 — такая температура только при самой сильной лихорадке возможна.

Джозеф произнес:

— Я отравил отца опиумом и заставил брата убить его невесту, но теперь можно меня и на

небеса пустить, потому как этой кары уже довольно. Чертовски тяжело для бедного парня умирать дважды и платить такую цену за пропуск на вечные муки. Ах, держитесь, парни… Даже кровь десяти тысяч ослов… если влить ее в меня… Ей-богу! Да вы и сами изрядно вспотели — ничего, кроме костей, от вас и не осталось, — но вы держитесь, парни, держитесь! Давайте! Браво, браво! О, ну и жара… Я возьму виски со льдом, спасибочки. Лед! Спасибо, лучше бы повторить…

Потом он умолк и стал сильно дрожать. Последние слова, сказанные им, были таковы:

— Прощай, Патрик. Займусь я твоей вивисекцией на том берегу Иордана…

Термометр показывал уже 116,5. Вой ветра был ужасен. Патрик качался из стороны в сторону. Пот заливал мне глаза. Я не чувствовал рук от самых плеч. Патрик вдруг глубоко вздохнул, завыл, вытянул руки и свалился ничком. Джозеф последним усилием освободил руки, сел, сжал пальцами горло и упал на спину. В тот же миг порыв штормового ветра разбил окно. Буря ворвалась в комнату, язык пламени взметнулся над печью, и я рухнул на пол.

Я проснулся утром. Печь остыла, и Патрик крепко спал. Я не мог подняться и не мог пошевелить

руками ниже локтей. Пришлось ползти вниз по лестнице за помощью.

Джозеф Макаллиган умер и вскорости был похоронен. Патрик жив, но он слабоумный и страдает от приступов эпилепсии. А я… я *совершенно здоров*.

Подпись: *Уильям Силкатт*.

* * *

Я прочел эту замечательную рукопись, и мысль о вивисекции с тех пор вызывала у меня сильнейший ужас — такое впечатление произвел отчет о пытках и мучениях живых существ. Летом я собирал бабочек, зимой охотился, а медицинскую профессию решительно забросил. После смерти Силкатта и Макаллигана я изложил эту историю президенту общества «За полный запрет вивисекции». Он пригласил меня в местное отделение клуба, чтобы я там прочел рукопись.

После прекрасной охоты на голубей, когда было убито более двухсот птиц, мы собрались за обедом. Тогда я ознакомил собравшихся с документом. Они преисполнились такого возмущения, что немедля приняли сорок пять резолюций и закончили день ужином с устрицами и снетками. Я убежден, что читатель, способный поверить в эту

ужасную и отвратительную историю, непременно станет *абсолютным антививисекционистом*.

Перевод с английского А. Сорочана

Хуан Ми
Черная статуя

— А я всегда говорила — от доктора добра не жди! — кричит женщина, и приступ кашля сгибает ее пополам. Группа зевак перекочевывает к бровке тротуара и, открыв рот, глазеет на отгороженные от внешнего мира ставнями окна.

— Так ты и не видела своего Джима с минувшего понедельника?

— Ни разу, а ведь прошла уже неделя. Говорила же я ему, когда он в то утро уходил — брось лучше эту работу, от доктора Хезарта добра ждать нечего! Я просто когда вижу этого типа, у меня мурашки по коже гуляют!

— А что Джим?..

— Сказал: «Нам не из чего выбирать». Доктор ему хорошо платил.

— И с тех пор ты его не видела?

— Нет! Бьюсь об заклад, он над ним теперь экспериментирует!

— Что же ты не заявила в полицию?

— Я заявила! Они здесь бродят уже все утро…

Показывается мужчина в сопровождении двух

констеблей. Толпа снова запруживает тротуар перед двухэтажным домом мрачной наружности.

— Разгоните этот табор, Джексон, — говорит мужчина, и с помощью повторенных не раз и не два «разойдись-к!», сопровождаемых и более увесистыми доводами, зевак сгоняют на угол, где они ждут, как будут развиваться события. — А теперь, Смит, постучитесь…

Но ни первый, ни второй, ни третий стук не производят ни малейшего эффекта — не считая того, что сгорающая от любопытства толпа вновь напирает на перила крыльца.

— Ломайте, — спокойно велит мужчина, и спустя несколько минут проход открыт; и до чего же взволнованно дышат зеваки в затылок блюстителям правопорядка! — Джексон, а ну-ка очистите тротуар. А вы, Смит, следуйте за мной. — Дверь за ними закрывается, и толпа в беспорядке отступает за угол. Констебль прохаживается туда-сюда перед входом в дом. Двое вошедших оглядывают прихожую. Она пустует. Пусты и остальные комнаты первых двух этажей.

— Осмотри подвал, Смит.

Они спускаются по лестнице и останавливаются перед необычной дверью.

— Похоже, железная! — восклицает старший,

постучав по ней костяшками пальцев.

— Железная и есть, — соглашается с ним констебль.

— Попробуем чем-нибудь поувесистее. Смит, хватай-ка вон тот дрын. Посмотрим, есть ли тут кто-нибудь живой.

После первых же ударов дверь распахивается, и глазам полиции предстает мужчина в легких брюках и рубашке с высоко закатанными рукавами. Он чисто выбрит и аккуратно подстрижен.

— Что вам здесь… — начинает он, но сразу смиряется: — А впрочем, проходите. — Как только они входят, он притворяет за ними дверь. Его логово выглядит странно и производит непростое впечатление. Дальний конец комнаты отгорожен занавеской от пола до потолка, множество полок и полочек у стены уставлено стеклянными сосудами и поблескивающими стальными инструментами, чей вид красноречиво говорит об их предназначении. В угловой нише размещена статуя не то греческого бога, не то героя-олимпийца в человеческий рост — сплошь из черного мрамора.

— Что означает это вторжение? Что вам от меня нужно? Я все еще в Лондоне или как-то умудрился угодить в совсем другую часть земного шара,

где посторонним с руки ломать двери и мешать проведению научных исследований?

— Позвольте, да ваш дом уже неделю — все равно что заброшенный! Ваш слуга зашел сюда неделю назад, и до сих пор не вышел.

— Слуга? Вы имеете в виду моего посыльного? Я рассчитал его десять дней тому назад, и с тех пор не видел.

— Он приходил сюда в понедельник.

— Нет, не приходил. Но я вижу, вы мне не верите. Может быть, вы думаете, что я убил его, а? Разумеется, вы ведь перетряхнули весь дом. Ну, знакомьтесь — это моя лаборатория. А здесь, за занавеской — еще одна комната.

Полицейские делают шаг вперед, мужчина отдергивает пыльную штору.

— Ну же, ознакомьтесь. Здесь никого нет. А теперь, если вы вполне удовлетворены, я предпочел бы остаться в одиночестве. Раз уж вы смогли самостоятельно добраться до меня, то найти обратную дорогу вам не составит труда, верно?..

* * *

Три года мрачный дом на площади пустует. Доктор Хезарт путешествует по Европе. Пропавший посыльный в Лондоне не появлялся с того

самого дня, когда он столь внезапно и загадочно исчез. Зеваки, проявившие когда-то такую заинтересованность в этом деле, забывают его в погоне за другими сенсациями. Но интерес их столь же быстротечен.

Но дует ветер перемен, и хозяин возвращается. Проворные люди озабоченно измеряют полы и окна рулеткой, на досках сидят и жадно курят британские работяги. Все тут лучится оживлением. Наконец, наступает день, когда последний рабочий неохотно оставляет дом, и прибывают фургоны с мебелью. Они извергают на тротуар свое содержимое, призванное превратить мрачное холостяцкое логово в уютное семейное гнездышко — да, ходят слухи, что доктор Хезарт привозит с собой жену.

Она прекрасна, и это не могут не признать те немногие бездельники, коим повезло увидеть выходящую из экипажа молодую пару. Но что-то в этой красоте есть отталкивающе-холодное. На ее лице — столько же льдистого презрения, сколько и в улыбке доктора. Что ж, кажется, подобное притянулось к подобному. Доктор Хезарт помогает жене спрыгнуть из экипажа наземь; она поднимается на крыльцо, оборачивается — и видит, как к ее мужу резво подбегает молодая

женщина и хватает его за руку.

— Вы нашли его, доктор? — спрашивает она.

— Кого?

— Моего брата, Джима. Вы знаете, он работал у вас.

— Нет, нет, любезная. Уходите. Да и как бы я мог его найти? — Он пытается стряхнуть ее руку с рукава, но она держится крепко.

— Вы знаете, где он, доктор! — в отчаянии кричит она. — Вы знаете, где он!

— Тише, любезная, тише. Откуда мне это знать?.. — Не вступая в дальнейший разговор, он отстраняет женщину рукой и направляется к дому.

— Нет, вы знаете это! Так же хорошо, как я сама знаю — он до сих пор здесь! — И она указывает на дом.

Жена доктора ждет его уже внутри, у окна.

— Кое-кто из твоих знакомых, кажется, слишком хорошо тебя помнит, — замечает она, когда доктор заходит в дом и встает рядом с ней.

— Ну да. Не обращай внимания. Ее брат исчез три года назад, и она думает, что в этом как-то замешан я.

— А ты замешан?

— Шутишь!

— Я никогда не шучу. Уж мне ли не знать, что жизнь для тебя — ничто.

— Наоборот, жизнь для меня слишком много значит. Я изучаю ее с пристрастием. Мне не терпится показать тебе кое-что из того, чему я научился, раз уж мы дома. Здесь у меня есть все — все, что нужно для препарирования жизни и смерти.

— А вот я, к своему ужасу, обнаружила, как мало ты думаешь обо всем остальном.

— Да, ты права, — спокойно соглашается доктор. — Больше мне ничто не интересно. Ну, пойдем, я покажу тебе дом.

— Интересно, почему я вышла за тебя замуж? — спрашивает она, заглядывая ему в глаза.

— В качестве благодарности за услуги, оказанные мной твоему отцу, полагаю.

— Интересно, почему после этого я не покончила с собой?

— Ну что за детский лепет!

— Я содрогнулась, только увидев тебя в первый раз. Одно твое присутствие показалось мне гибельным. Медленно и злобно, заручившись подмогой тишины, ты плел свои сети. И вот теперь мой отец связан по рукам и ногам… а мое сердце разбито. Ты купил меня у отца, я — цена

твоего молчания.

— Ты много раз говорила об этом и раньше, — насмешливо обронил он.

— А теперь говорю в последний раз, — тихо, с легкой дрожью замечает она. — Этот дом весь провонял смертью. И эта смерть — твоя. Она достойна такого дьявола.

— Громкие аплодисменты с галерки, — цинично замечает доктор. — А сейчас мы все-таки посмотрим дом. Видишь ту железную дверь? — обращает он ее внимание, когда они минуют длинный гулкий коридор. — Моя лаборатория жизни. Или кузница смерти — я не удивлюсь, если ты видишь ее исключительно в таком свете. Хочешь посмотреть на нее, покуда наука не вступила в свои права?

Она кивает и входит после того, как муж включает свет. Холодно оглядывает комнату — зная, что муж чутко следит за переменами в ее лице, — и вдруг отшатывается. Рукой она указывает на угол, образуемый стеной и занавесом на медных кольцах.

— Кто там? — восклицает она. — Там кто-то есть!..

Доктор пересекает комнату, сдвигает штору и поворачивается к ней.

— Ты слишком пуглива, — усмехается он. — Статуи из черного мрамора достаточно, чтоб тебя вогнать в ужас. Ну, подойди поближе. Посмотри, какое исполнение. С какой точностью вырезаны каждый мускул, каждое сухожилие, каждая вена.

— Кто ее сделал?

— Я — по образу и подобию живой модели. А ты не знала, что я силен в скульпутре? О, я так-то много в чем силен…

— Прекрасная работа, — шепчет она, стараясь вернуть самообладание, но все же чувствуя, как беспричинный страх закрадывается в ее сердце. — Очень жизнеподобно.

— Действительно, очень. Дай руку. — Он кладет ее ладонь на черный каменный бицепс. — Здесь, — спокойно произносит он, — почти можно уловить пульсацию подкожных мышц. Удовольствие только больше, если вспомнить, что рука когда-то двигалась. И это, как ты сама сказала, очень жизнеподобно.

Отдернув руку, она слепо нащупывает стул и облокачивается на него с растерянным видом.

— Он… эта вещь… она похожа на того пропавшего человека? — спрашивает она.

Доктор Хезарт кривит губы и критически огля-

дывает статую.

— Хм! Странно! — говорит он наконец. — Как только ты об этом сказала, сходство будто бы появилось… — Он протягивает ей руку.

— Не касайся меня!

— Ладно, как скажешь.

— Этот эксперимент ты провел здесь?

— Конечно. И это мой величайший эксперимент. Так ты, значит, слышала о пропаже того посыльного? — Он кивает на статую.

— Но ведь это ложь! Ты дуришь мне голову!

— Это правда. Это тот самый человек. И я бросаю миру вызов — пусть его найдут!

Ее лицо освещается вспышкой ярости. Он ловит ее за запястье — и выворачивает его до тех пор, пока она не оказывается с ним лицом к лицу.

— И запомни, Беатриса, — говорит он негромко, — в этом доме лучше быть послушной и благоразумной. Иначе не сносить тебе головы — это так же верно, как и то, что я стою тут, рядом с тобой. Я могу устроить так, что в этом уголке появится еще одна глупая статуя.

* * *

— Как тебе портвейн, Герц?

— Чудесен. Сорок седьмой год, верно? — ото-

звался мужчина, поднося бокал к свету.

— Нет, куда моложе. Выдержан по моей технологии.

— Замечательный ты парень, Хезарт. Всегда порадуешь друзей чем-нибудь новеньким, всегда что-то да изобретешь.

— Называть искусственную выдержку вина изобретением — вздор. У меня прибережено для этого мира несколько реальных открытий. Вот взять, к примеру, освещение этих комнат — эти энергосберегающие лампы будут гореть много лет, без замены и ухода. Электричество до конца не понято людьми и по сей день. А мне кристально ясно, что это сила, способная управлять миром, невообразимо продлять человеческую жизнь, сохранять его тело навечно. Для древних бальзамирование было высшей честью. Они бальзамировали ушедших в мир иной, чтобы те даже могли присутствовать на их земных пирах. Мертвые на пирах, — тихо подчеркивает голосом доктор Хезарт, хмурясь при взгляде на сидящую напротив жену. Уж слишком очевидно, что он ею недоволен — даже гости, смущаясь, срочно переводят тему с мертвецов на светские новости. Но упорный сухарь Герц возвращается к этой колее:

— Значит, изобретен электрохимический про-

цесс, останавливающий распад тканей?

— Да.

Жена доктора, опершись на стол, наклоняется к мужу.

— Ты открыл процесс, останавливающий распад тканей тела? — говорит она, стараясь сохранять спокойствие. — И здесь, в кругу друзей, ты так запросто признаешься в этом?

— Разумеется, — подтверждает доктор, осторожно стряхивая пепел с сигареты.

— Удивительно! — восклицает Герц. — Миссис Хезарт, ваш муж — человек, каких мало. Вы должны им гордиться.

— Гордиться… им? — вырывается у нее. Она склоняется над столом, пальцами теребя край скатерти. — Извините, Герц, но я не могу им гордиться. Я дрожу, когда вижу его, и не от большой любви. Он говорит правду — он действительно что-то такое изобрел. И это дает ему безнаказанно убивать людей, превращая их в истуканы из черного мрамора. Да, очень уж точно вы подметили — есть чем гордиться…

Оба гостя с удивлением глядят на женщину, вставшую со стула. Глаза ее раскрыты так широко, что вот-вот будто выпрыгнут из орбит. Но ее муж продолжает спокойно сидеть на своем

месте, и сигарета лениво свисает с пальцев его отставленной руки.

— Милая Беатриса, — произносит он. — Ты опять накрутила себя до истерики. Боюсь, что я зря так много болтаю о науке в твоем присутствии. Это все-таки не для всех. Мы, за этим столом, не обидимся, если ты пойдешь к себе и немного передохнешь…

— Ты убийца, — чеканит она. — И пусть это знают все твои гости. Ты убил посыльного, что работал у тебя три года назад. Его искали по всему Лондону — и не нашли. Почему же? Потому что он так и не вышел из этого дома. Он и сейчас здесь. Проведи своих друзей в свою лабораторию, покажи им эту вещь. Эту статую! Его ты убил… и меня убьешь, даже не сомневаюсь — если, конечно, посмеешь потом взглянуть моему отцу в глаза.

Доктор хмурится и, колеблясь, смотрит на гостей.

— Прошу прощения, друзья, — говорит он, касаясь плеча сидящего рядом Герца. — Все это так грустно… Бедняжка. Вы понимаете, о чем я говорю. Вы не будете возражать, если мы все попробуем ее немного развлечь? Тогда пойдемте. Взглянем на ту статую, что пугает ее. Великолепная работа — изваяние греческого чемпиона.

Купил ее во Флоренции.

Доктор и его коллеги спускаются в лабораторию. Беатриса следует за ними. Украдкой гости осматривают помещение, задерживая взгляды на разных приборах и инструментах, заполняющих шкафы и полки, на странного вида змеевиках и других аппаратах и стендах, чье точное назначение никому, кроме хозяина, кажется, неизвестно.

— Сюда, пожалуйста, — предупредительно возвещает доктор, вставая у занавешенной ниши. — Как живая, честно признаюсь — прямо как живая. Смотрите! — Почти театральным жестом он отдергивает штору. Свет падает на полированный мрамор — изваяние мужчины вытянулось в нише во весь рост, перекрестив на египетский манер руки на груди. Все гости застывают в восхищении.

— Как вам моя статуя? — спрашивает доктор с улыбкой.

— Твоя жертва, ты хотел сказать?

— Тихо, Беатриса. Ты мешаешь моим друзьям наслаждаться искусством.

— Великолепная! — замечает Герц завистливо.

— Да, — продолжает доктор, — очень жизнеподобная. Обратите внимание на рельефные

мышцы рук, на кистевые и височные вены. А поясные складки! Ну разве не высший класс? Как живой… но все-таки, это мрамор… всего лишь мрамор, Беатриса, — говорит доктор и берет со стола небольшой пестик. — Вот, убедись в этом сам, Герц, дружище.

— Хезарт, ну как я могу… произведение искусства…

— Да брось. Ради нее! Может, она хоть так успокоится?

Герц кладет ладони на гладкую холодную поверхность статуи и легонько постукивает по ней кончиками пальцев.

— Это тело! — кричит женщина. — Это труп, неужели вы не чувствуете?

— Дорогая мисс Хезарт! Это не труп, полно вам! Это всего лишь прекрасная мраморная статуя!

— Герц, идиот…

— Беатрис, как ты смеешь!

— Доктор, все нормально, — спешит заверить друга Герц. — Не возбуждайте ее. Ох, беда-то какая…

— Это мрамор, Беатриса. Как можно этого не видеть в упор? Мрамор, просто мрамор! — кричит доктор, ударяя по фигуре кулаком. — Но скоро, Беатрис, у нее появится пара. И это будет Венера.

Я давно заказал ее, долго ждал… да, пришлось проявить терпение. Но меня известили на почте — не пройдет и недели, как она будет здесь!..

Весь остаток вечера доктор Хезарт вкладывает в свои слова двойной смысл. Он уже не скрывает свое отношение к жене, да и она отвечает тем же — ненавистью на ненависть, презрением на презрение, насмешкой на насмешку. Доктор принимает приличествующие случаю соболезнования от друзей с подобающим достоинством, запирает дверь, когда они все уходят, и направляется обратно в лабораторию.

— Вот так и задумаешься — даже хорошо, что у меня в окружении сплошь дураки. Тут и сетовать не на что! — бормочет он. — Были б люди поумнее — мне бы не поздоровилось… Чертова мегера! Ты слишком опасна, чтобы спокойно жить дальше, Беатрис.

Он проходит во внутреннюю комнату. Оттуда доносится скрежет жестяных жбанов, влекомых по полу, и плеск жидкости, переливаемой широкой струей в ванну. Работающая печь бросает багровые отсветы. Становится жарко, и доктор снимает сюртук. В багровом свете работающей печи он подключает провода к одному из тех странных аппаратов, что приводили в изумление

его гостей. Противоположные концы проводов прочно закреплены на стальной пластинке, погруженной в ванну. Доктор раскуривает сигарету, подает ток — и начинает ждать.

Через четверть часа он опускает в реагент стержень — и, вынув его, с удовлетворением изучает покрывшую зонд черную гладкую корочку. Отбросив зонд в сторону, он покидает лабораторию.

Несколько мгновений он стоит, прислушиваясь, а затем начинает осторожный подъем по лестнице. В доме тихо. Сквозь большое овальное оконце в двери льется лунный свет, полосами ложась на паркет. С улицы слышны шаги — приближающиеся и удаляющиеся. Часы пробивают два.

Он медленно крадется к покоям жены. Несомненно, она спит, и это облегчает задачу. Вдруг он ощущает чье-то присутствие в темноте, окутавшей лестничный пролет; слышит сдавленное дыхание испуганного человека.

Он достает из кармана флакон и, стараясь держать его подальше от лица, выливает его содержимое на расстеленный в ладони носовой платок. Снова вслушивается. Да, кто-то тут есть. Это Беатриса. Может быть, крадется ему навстре-

чу. Задумала упреждающий удар.

Он прыгает вперед и хватает ее за горло. Короткая борьба, пока он прижимает к ее рту носовой платок, придушенный стон — и она мертвой кучей оседает у его ног.

Волоча тело по полу, он спускается в лабораторию. Там темно, свет погас.

— Вот дьявол, — бормочет он, — как не вовремя! А я еще хвастался, что эти лампы долго прослужат…

Он проходит дальше, во внутреннюю комнату, где багровые отсветы печи позволяют различить контуры ванной, затем медленно и осторожно опускает свою ношу. Наконец она лежит на дне ванны, вытянувшись во весь рост. Реагент вот-вот расплещется через край.

Возвращаясь в наружное помещение лаборатории, в свете спиртовой лампы он тщится отыскать неисправности в системе освещения. Он работает, низко склонившись над столом, и в этот момент из полуоткрытой двери выскакивает женщина. Она смотрит на него, затем — на нож в своей руке, но, вспугнутая его внезапным движением, бесшумно пересекает всю комнату и скрывается за занавеской, драпирующей пустую нишу.

Доктор, держа лампу над головой, тревожно оглядывается вокруг. Занавесь шевелится, как будто за нею кто-то есть. Отступая на шаг, он задерживает дыхание, но тут же замечает приоткрытую дверь. Посмеиваясь над собственными страхами, он притворяет ее и берется опять за работу.

Проходит немного времени, и в помещении вспыхивает яркий свет. Он проходит назад во внутреннюю комнату и заглядывает в ванну. На дне лежит фигура, будто высеченная из черного отполированного мрамора. Но из-за спины доносится негромкий вздох… Он резко оборачивается — и невольно испускает крик ужаса:

— Беатриса!

Должно быть, это какое-то умопомешательство… Схватившись за край ванны, доктор заглядывает внутрь. Да, там лежит женщина — но не Беатриса, а сестра того человека, что застыл в нише. Оба теперь превратились в камень.

Он знает, что жена приближается к нему, но не может сдвинуться с места, как если бы все тело парализовало. В этот момент она хватает его, и он, обмякший и безвольный, падает на пол рядом с ванной.

Он должен стряхнуть с себя это странное

оцепенение! Сверхъестественным усилием он поднимается — и пытается сделать шаг ей навстречу. Но огонь безумия, разгорающийся в ее глазах, выбивает почву из-под его ног. Он в ужасе отступает… натыкается спиной на край ванны, теряет равновесие… и падает — навстречу смерти, приготовленной им для нее.

Перевод с английского Г. Шокина

Сведения об авторах

Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) — знаменитый британский писатель, эссеист и публицист. Автор признанных классикой жанра научно-фантастических романов («Война миров», «Человек-невидимка», «Машина времени»), известен также «романами нравов» и сатирой («Великие искания», «Отец Кристины-Альберты»), философской спекулятивной фантастикой («Утопия-модерн», «Сон Сарнака»). Видный представитель критического реализма и сторонник фабианского социализма. Трижды посещал Россию, встречался с советскими лидерами Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным.

Конрад Лоэле (1856–1922) — немецкий писатель, о чьей жизни и литературной карьере имеется очень мало информации. Кроме «Цюллингера и его выкормков» он написал еще по меньшей мере три романа, опубликованных посмертно. Лоэле был связан с USPD, немецкой радикально-социалистической партией — в нее он, вероятно, вступил по окончании Первой мировой войны. На это указывает тот факт, что все

его произведения печатались в близких к социалистическому движению издательствах. Лоэле верил в социальные восстания 1918–1919 годов и был, как и многие интеллектуалы, сильно разочарован их неудачей. Хотя «Цюллингер…» и не стал настоящим бестселлером, роман имел в свое время определенный успех, был переиздан в 1923 году; однако в течение десятилетий, последовавших за Второй мировой войной, он редко обсуждался даже и в контексте исследований антиутопической литературы. Последний раз книга была переиздана в 1998 году в Мюнхене издательством «Бельвиль Верлаг».

Борис Константинович Фортунатов (1886–1936) — ученый-зоолог, писатель; родился в семье статского советника, судебного чиновника. Учился в Смоленске и Ельце, окончил Первую Московскую гимназию (1904). Еще в шестнадцать лет вступил в партию эсеров, участвовал в революции 1905 года, был ранен (дважды), несколько раз подвергался арестам, в 1907 году был выслан за границу. Вернувшись в 1909-м, продолжил обучение. Окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (1912) и три курса ИВТУ (1915), публиковал статьи по химии. В 1915–1917 гг. служил

солдатом в армии. Участвовал в Февральской революции, был членом Петроградского комитета ПСР. Руководил эсеровским сопротивлением советской власти в Поволжье, но позже перешел на сторону красных, был командиром в Первой конной армии. Охраняя заповедник Аскания-Нова, занялся зоологией, заведовал научной частью. В 1925–1928 гг. заведовал зоопарком, позже возглавлял заповедник, руководил работами по сохранению зубров. В 1933-м был арестован за участие в КРО, осужден на десять лет, попал в Карлаг. По ходатайству в мае 1936 года был досрочно освобожден, направлен в совхоз «Гигант», где руководил НИС по животноводству. Позже заболел, скончался в лагерной больнице.

Эдвард Герон-Аллен (1861–1943) — весьма разносторонне одаренный английский ученый, писавший книги по археологии, буддийской философии, хиромантии, скрипичному делу; переводчик Омара Хайяма, исследователь фораминифер; среди всего прочего автор романа «Принцесса Дафна» (1885) и фантастических рассказов, изданных под псевдонимом Кристофер Блэр и изложенных от лица профессоров некого вымышленного университета Космополиса; все они вошли в сборник «Архив странностей докто-

ра Блэра» (1932).

Натаниэль Готорн (1804–1864) — американский писатель и литератор, один из первых и наиболее общепризнанных мастеров американской литературы. Внес большой вклад в становление готического жанра, обогатил литературу романтизма новаторским введением элементов аллегории и символизма. Признание Готорну принес сборник рассказов «Дважды рассказанные истории» (1837, расширенное издание позже вышло в 1842 году), состоящий из исторических зарисовок, притч и аллегорий о пуританстве в Новой Англии XVII в.

Рэймонд Феррерс Брод (1906–1950) — родившийся в Британской Вест-Индии автор научных статей по бактериологии, пособия по садоводству и двух фантастических историй, опубликованных в британских антологиях ужасов, презентовавших читающей публике в первой половине двадцатого века множество молодых авторов, впоследствии исчезнувших с литературного горизонта напрочь. Для многих из этих «пионеров британского массового хоррора» — как, по-видимому, и для Брода — сочинительство ужасных историй было делом несерьезным: пробой пера в лучшем случае, в худшем — чем-то почти что

постыдным. Оттого многие британские рассказы ужасов в антологиях Герберта ван Тала и Флавии Ричардсон подписаны очевидными псевдонимами. При этом, однако, означенные проекты богаты на оригинальные, самобытные истории, невозможность массовой публикации которых на русском языке (ввиду полного отсутствия информации о наследниках прав на тексты) видится крайне досадным обстоятельством.

Унно Дзюдза (настоящее имя — Сано Сеити, 1897–1949) — японский писатель, автор книг в жанре научной фантастики и детектива, художник манги и популяризатор науки. Его также часто называют отцом японской научной фантастики. Нередко обращался к мотиву науки как гибельному инструменту в руках безумцев. Во время Второй мировой войны писал сатирические антиамериканские памфлеты. После войны не имел возможности публиковать свои работы: из-за промилитаристской позиции подвергался цензуре и преследованию со стороны союзных оккупационных сил. На русском языке также опубликованы его рассказы «Прах человеческий» и «18-часовая музыкальная ванна» («Смех сумасшедших», 2022).

Рональд Росс (1857–1932) — британский уче-

ный, врач, паразитолог, член Лондонского королевского общества (1901), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1902). Шотландец по происхождению. При жизни опубликовал девять сборников стихов и драматических произведений, три романа и мемуары. Посмертно напечатаны два его рассказа в жанре ужасов: «Жертва вивисекции» и «Кольцо огня».

Хуан Ми — совместный псевдоним Чарльза Г. Мэнсфилда (1864–1930) и Уолтера Э. Мэнсфилда (1870–1916), братьев-писателей из Англии, работавших в жанре детективных и мистических историй. Рассказ «Черная статуя» был впервые опубликован в журнале The Harmsworth Magazine в 1899 году.